

Вас. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

НА КЛАДБИЩАХ

Воспоминания
и впечатления





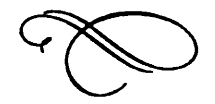
русские мемуары

XIX-XX вв.

Вас. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

НА КЛАДБИЩАХ

Воспоминания и впечатления



Москва
«Русская книга»
2001

УДК 93
ББК 63.3(2)6-8
Н 50

Составитель, автор примечаний и аннотированного указателя имен
Т. Ф. Прокопов

Вступительная статья
В. Н. Хмары

Оформление
Г. Н. Метченко

Немирович-Данченко Вас. И.
Н 50 На кладбищах: Воспоминания и впечатления / Сост., примеч. Т. Ф. Прокопова. Вступ. статья В. Н. Хмары. — М.: Русская книга, 2001. — 544 с. 1 л. портр. (Русские мемуары. XIX—XX вв.)

«На кладбищах» (1922) — так скорбно назвал свою новую рукопись воспоминаний, оказавшись в изгнании, патриарх русской литературы, популярный романист и талантливый корреспондент многих газет и журналов Василий Иванович Немирович-Данченко (1844/45 — 1936). В своей искренней книге-документе писатель соединил два века, представив их нам живыми портретами выдающихся сынов России. Среди них — полководец М. Д. Скобелев, с кем он дружил и совершал ратные походы, государственные деятели, министры М. Т. Лорис-Меликов и Д. А. Милютин, писатели Н. А. Некрасов, А. П. Чехов, М. А. Лохвицкая, Н. С. Гумилев...

ISBN 5-268-00460-3

УДК 93
ББК 63.3(2)6-8

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вехи судьбы Василия Немировича-Данченко

Есть такое хорошо известное и, к сожалению, не устаревшее выражение: «Иваны, не помнящие родства». Мы часто и долго, теряя в знании и мудрости, оказывались ими по отношению ко многим деятелям нашей отечественной культуры — в первую очередь к писателям, художникам, философам. В том числе и по отношению к Василию Ивановичу Немировичу-Данченко...

Почти 92 прожитых года. От 170 до (по другим сведениям) 250 томов написанных произведений: почти мировой рекорд, а может быть, и рекорд, — тут, по замечанию одного из более молодых современников писателя, Д. Мейснера, пришлось бы точно подсчитать страницы, написанные им и Александром Дюма. Романы, рассказы, стихи, записки путешественника, репортажи с фронтов четырех войн (за что, в том числе за участие в боях в Сербии, на Шипке и под Плевной, где был контужен и ранен, награжден двумя солдатскими Георгиями и орденом св. Анны с мечами), воспоминания, наконец, — вот его жанровый диапазон. Очерки и впечатления о поездках в Соловецкий и Валаамский монастыри на севере и в Святогорский на юге (на Донце), на Каму и Урал, на Волгу и Кавказ, «Очерки Испании» и книги «По Германии и Голландии», «Под африканским небом», сербско-турецкий фронт в 1876 г., уже названные Шипка и Плевна в 1877—1878 гг., Лаоян, Порт-Артур, Мукден в 1904—1905 гг (только за первый год 350 корреспонденций), Польский и Галицийский фронты Первой мировой войны, затем Верден, Реймс, Ипр, итальянский фронт — вот неполная география его творчества, масштабы его интересов.

Таков был Василий Иванович Немирович-Данченко, сын кавказского офицера, дослужившегося до чина подполковника, потомка запорожских казаков и небогатого помещика Черниговской губернии Ивана Васильевича Немировича-Данченко; сын армянки, дочери коллежского асессора Александры Каспаровны Якубовой. Василий Иванович — старший брат драматурга, театрального деятеля и критика, прославленного режиссера, одного из создателей Московского Художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

Впрочем слава, по крайней мере известность, самого Василия Ивановича при жизни тоже была на зависть многим широкой: и во времени, и в пространстве. Ведь он начинал свою литературную деятельность за двенадцать лет до смерти

Н. А. Некрасова в 1877 г. и опубликовал в его «Отечественных записках» в 1871—1872 гг. несколько стихотворений под общим заглавием «Песни о павших», а в 1874 г. и «Очерки Мурманского берега». В том же году, в «Вестнике Европы» М. М. Стасюлевича напечатал «Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами», вызвавшие высокую оценку, в том числе И. С. Тургенева: «Отличная вещь», — написал он в письме главному редактору журнала. Стихи Немирович-Данченко публикует также в «Гражданине» Ф. М. Достоевского (1872—1874 гг.), хотя впоследствии тот и отзывался неодобрительно о его произведениях. Немало критических высказываний о тоне, языке Немировича-Данченко у Л. Н. Толстого, в то же время высоко оценившего, к примеру, рассказ «Махмудкины дети» и рекомендовавшего несколько десятков его произведений издательству «Посредник» для «народного чтения». «Талантливым писателем» назвал Немировича-Данченко А. П. Чехов. М. Горький, уничижительно упоминавший о нем, в то же время признал в разговоре с М. Н. Слонимским: «А ведь Немирович хорошо написал о Кавказе». Творчество Василия Ивановича привлекало внимание Г. В. Плеханова. Его сочинения были в библиотеке Александра II. Эмигрантская газета «Русское эхо» имела все основания писать: «В России нет грамотного человека, который не знал бы Василия Ивановича Немировича-Данченко. Несколько поколений русских читателей выросли на его книгах». Еще в 1921 г в России Немирович-Данченко занимал одно из первых мест в читательских предпочтениях.

А в 1924 г книги Немировича-Данченко были изъяты из библиотек: в 1922 г., получив разрешение о выезде за границу работать в архивах для задуманного исторического труда «Народные трибуны, вожди и мученики», — писатель не вернулся на родину, осев (после годичного пребывания в Берлине) в Праге. Навсегда. До самой смерти в 1936 году.

О причинах эмиграции он — глухо и по-своему самокритично — предуведомил, еще будучи в России. В «письме из Москвы», опубликованном под заголовком «Как живут и работают русские писатели» в «Вестнике литературы» за 1921 год, он, поведав о «голодной, холодной» обыденщине зимы 1919—1920 гг., о воспалении легких, которым заболел, продолжает: «Но не подумайте, что бы я оставался равнодушен к нашей яви. Я отходил от нее временами, как солдат в зимнюю ночь на позициях к костру погреться. Она выдвигает такие грандиозные события и картины... что для оценки их и воплощения в точные образы и типы нужно время и даль». Нужны время и даль...

Но суть, конечно, глубже. Позже, в неопубликованной рукописи «Иов на гноищах», он как бы добавил к написанному в 21-м — тоже деликатно и самокритично: «...все чего-то ждали мы. Не нам-де судить грозу и бурю. Так трудно было нам, интеллигенции, признать бессмысленность событий, которых с сердечным трепетом ждали всю нашу большую, подготовившую их жизнь».

Он очень многое знал и многое — по жизненному опыту да и, пожалуй, по складу своего характера, хотя и признавался в былых, скорее теоретических, радикальных увлечениях, — многое не принимал в жестоких буднях революции. И все-таки не вступил в открытую и последовательную конфронтацию с покинутой родиной, пусть даже на первых порах у него и вырывались жесткие слова о том, что «Россия всегда была урядочным царством» и что ныне «собачью морду опричника» сменил «волчий оскал комиссара». Говоря об «Иове на гноищах», воспоминаниях, написанных в эмиграции, отмечая их судорожность,

литературную необработанность, современный исследователь творчества Немировича-Данченко Ю. Сенчуров, пожалуй, справедливо делает вывод: «...автор не хотел их публикации в течение еще долгого времени, опасаясь как христианин, что рассказом о жестокости одного поколения может ожесточить поколение следующее...»

Так или иначе, но ответный ход последовал: книги изъяты; в Краткой литературной энциклопедии Немировичу-Данченко посвящены всего 26 строк со сносками. Лишь в 1946 г. «Литературное наследство» (49—50 т.) публикует его первый и на долгие еще годы последний литературный труд — воспоминания о Н. А. Некрасове, переврав даты рождения и смерти писателя. Постыдным образом даже в 1954 г., в примечании к 28 т. Собрания сочинений М. Горького, его хоронят почти на десять лет раньше — в 1927 г. (Зато в Собрании сочинений Н. Щедрина — год издания 1949-й — четырьмя годами позже действительной даты.) Только в биографическом словаре «Русские писатели. 1800—1917» ему воздали — более или менее, с энциклопедической сдержанностью — должное. В 1977 г. в Тбилиси, где он родился 5 января (по новому стилю) 1845 г., в научном сборнике «Новые материалы к истории русской литературы и журналистики» обнародованы его стихи. В 1990 г. в Донецке появляются его «Святые горы», еще одна книга «паломничеств» и странствий. В 1993 г. Воениздат публикует «личные воспоминания и впечатления» о знаменитом полководце — «Скобелев» В 1996 г. издательство «Терра» выпускает собрание его сочинений в трех томах.

Так начинается неспешное возвращение к нашему читателю крупного — уже по масштабам сделанного — человека и литератора. Так появляется возможность воочию, на деле оценить абстрактные «незаурядность и правдивость» творчества, наполнить реальным содержанием извилистые его оценки: с одной стороны, «картинность и свежесть изображения», с другой — «одновременно преувеличения и погоня за внешними эффектами». Возможность мерой собственного вкуса сопрячь все суждения «про и контра», в таком обилии доставшиеся Василию Ивановичу Немировичу-Данченко: от «верного выразителя действительности» до «потрафления интеллигентной толпе». Возможности, которой мы, как, увы, и во множестве других случаев, были так долго лишены...

Публикацию «Моих встреч с Некрасовым» Немировича-Данченко в «Литературном наследстве» предваряет статья видного в ту пору литературоведа С. Макашина. Статья, мягко выражаясь, лукавая, предвзятая во многих отношениях. С набором пропагандистских клише («отрыв от национальной почвы» и проч.) и редкостного нелюбопытства к реальной жизни и реальному значению писателя.

«Писательское имя Василия Ивановича Немировича-Данченко, — пишет сей ученый, забыто современным читателем». Как это имя оказалось в забвении, мы знаем — с удалением книг из библиотек.

Еще перед Первой мировой войной «его произведения не перечитывались и скоро забывались», — продолжает наш автор. Очень странное утверждение о писателе, многие книги которого как раз переиздавались до революции десятки раз и переведены на многие европейские языки; о литераторе, который выпустил перед 1917-м годом 50 томов собрания сочинений.

«Подведя еще перед Первой мировой войной итог своей деятельности.. Немирович-Данченко, — ничтоже сумняшеся продолжает С. Макашин, — писал после этого мало и случайно. Интерес к нему как писателю иссяк уже тогда». Писал мало и случайно? Но как же тогда быть с корреспонденциями с фронтов

той самой Первой мировой войны: русского, французского, итальянского? Что делать с двенадцатью томами повестей и рассказов и тремя романами, оставшимися в письменном столе? Интерес к нему иссяк? Меж тем Немирович-Данченко был одним из самых читаемых и издаваемых писателей русского зарубежья (не случайно он был почетным председателем Пражского союза писателей и журналистов, почетным членом — кстати, после И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского — чешского объединения «Художественная беседа», почетным председателем и участником работы первого всеэмигрантского съезда русских писателей в Белграде. Знак признания Немировича-Данченко в русском зарубежье и в том, что писатели его удостоили, по инициативе И. С. Шмелева, титула «наш старшина».

«От начала до конца своего долгого литературного пути, — гнет свое ученый муж, — Немирович-Данченко оставался писателем, схватывающим явления жизни поверхностно, никогда не поражая ни глубиной, ни яркостью». И это сказано об авторе «Соловков», которые положили, по широкому свидетельству, начало подлинной славы Василия Ивановича, которые, как сказано, привлекли внимание не одного И. С. Тургенева. Даже Карл Маркс, как известно, к концу жизни изучавший русский язык, русскими же буквами вписал «Соловки» в каталог своей библиотеки. Надо думать, не только за литературную яркость, но и за экономическую дотошность, с цифрами и фактами, изображения жизни своеобразной крестьянской, или, как сказано у Брокгауза и Ефрона, «религиозно-промышленной общины». Это сказано об авторе книги «Год войны», созданной на основе корреспонденций с фронтов русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и получившей восторженную оценку в европейской печати. Об авторе многих прозаических произведений, ставших, можно сказать, хрестоматийными — не в последнюю очередь за правдивость и задушевность, за выразительность как раз, за яркость, меткость языка.

При этом отнюдь нет нужды преувеличивать достижения Немировича-Данченко как беллетриста. Тем более, что он сам, в конце концов, трезво оценивал свой литературный талант. Проживший эмигрантом в Праге сорок лет и знавший Немировича-Данченко Д. И. Мейснер пишет в своей книге «Миражи и действительность»: «...Василий Иванович никогда, мне кажется, не преувеличивал своего значения в русской литературе. Он считал себя, и это я лично не раз от него слышал, посредственным романистом, добросовестным и неутомимым журналистом и хорошим военным корреспондентом. Эту свою работу он особенно ценил».

Художественная проза Немировича-Данченко вторична в значительной мере, так сказать, генетически — по отношению к его журналистике. К примеру, романы «Горные орлы», «Горе забытой крепости», «Князь Селим» и некоторые другие являются своего рода беллетризацией многолетних кавказских путевых наблюдений, впечатлений и воспоминаний. «Плевна и Шипка» — можно сказать, парафраз его корреспонденций с русско-турецкого фронта. «Контрабандисты» — итог поездок в Испанию.

Страдая некоторой упрощенностью характеров, излишней их «выверенностью», мелодраматизмом, порой монотонностью действия, его романы, однако, имеют и свои достоинства. Они привлекают колоритностью языка — авторского и героев. Они — по крайней мере, в кавказском цикле — отличаются редкостным интересом к быту и нравам изображаемых народов. Те же «Горные орлы» и «Забытая крепость» — увлекательные, самодостаточные повествования, основанные на легендах, преданиях, песнях и других источниках мифических и полумифических

верований горцев. Здесь приведены примеры религиозного ослепления и рыцарской верности слову и обычаю даже по отношению к «неверным». Факты рабского подчинения самым дремучим установлениям (вроде безропотного, а то и радостного, желанного следования в рабство, в турецкие гаремы: то был выход для них из безысходной нищеты) и в то же время необычайно развитого чувства свободы, собственного достоинства. Свадебные и похоронные обряды, каноны куначества и ритуал прекращения кровной мести, сведения о социальной иерархии... Ничто, кажется, не забыто из жизни этих людей.

Это доброжелательство к чужой культуре (которым, в конечном счете, проникнуты и герои романов), это любовное погружение в нее совершенно меняют тональность, если можно так сказать, военного противостояния русских и горцев, как бы снижает его драматизм и делает эти разные народы ближе и совместимее, чем может показаться на внешний взгляд. Впрочем, это качество присуще творчеству Немировича-Данченко в целом.

Но мы знаем и другое: резко критические отзывы о его творчестве наших классиков. М. Горький называл писателя «Немирович-Вральченко», а словами «патриотически врет» походя перечеркнул по существу самое дорогое Василию Ивановичу — его военную прозу. Язвительнейшее сближение Н. Щедриным Немировича-Данченко с Балалайкиным из «Современной идиллии» тоже нанесло удар по документалистике писателя. Авторы инвектив — серьезные авторитеты разных эпох. Как возразить им? И надо ли?

Дело ведь в другом. Следует ли нетерпимо и нетерпеливо загонять то или иное художественное явление в узкие рамки собственного или конкретно-исторического предпочтения вместо того, чтобы расширять пространство освоенного искусства? Вместо того, чтобы понять и понимать художника в его собственных координатах прежде всего? В координатах (специфике) таланта, нравственности, мировоззрения и мироотношения?

Немирович-Данченко, конечно, никогда не был социально мыслящим — в давно устоявшемся смысле — писателем. Но он был зорким, памятливым и совестливым литератором. Не только в романах, к примеру, в «Волчьей сыти» и «Царях биржи. Каиново племя в наши дни», он открыто, без экивоков (как видно из подзаголовка второго романа, кстати, переведенного с сочувственным предисловием на английский) обличал нравы дикого капитала, но и в путевых очерках, документальной прозе в целом. Не будучи радикальным, он не проходит мимо фактов духовного застоя и невежества, общественных несуразиц, экономических невзгод и нонсенсов. Как писал он сам применительно уже к началу двадцатых годов, «авторская наблюдательность беспрестанно снимает помимо желания негативы с окружающей действительности...»

Радуясь всякому встреченному им факту экономического здоровья, он трезво осознает масштабы этого факта. «Словно богатырское горе-злосчастие, — пишет он в «Керженском понизовье», — обошедшее весь этот берег, не заметило Работок, и оно избегло той нищеты лютой, что давит под собой русскую силу». Рассказывая в книге «Беломорье» о жизни Шенкурского уезда (цифры, цифры, статистические данные), он как бы мимоходом замечает: «В каждом пустынном уголке Двинского, Печерского и Лойского края непременно гнездятся два или три капиталиста, которые в течение нескольких голодных или малоурожайных лет сумели закабалить себе окружающее их население. Это именно те пиявки, которые неутомимо высасывают лучшие, производительнейшие соки наших захолустий».

Не без восторга рисует он хозяйственную жизнедеятельность Соловецкого монастыря. Монахи здесь не только водят, но и строят суда, делают ножи, косы, топоры, железо для которых закупают в Архангельске и даже Норвегии, собираются строить и свой железоплавильный завод. Они возводят мосты, сооружают каналы, ловят рыбу, нерпу, тюленей. Выращивают лук, капусту, картофель, огурцы, морковь, редьку. «И это под 65° с. ш.!» «Тут есть резчики, столяры, кузнецы, гончары, полеводы, огородники, опытные садовники, живописцы, даже золотопромышленники». Соловецкий монастырь «все, что ему необходимо, производит сам, кроме хлеба, круп и каменного угля...» Монах здесь всегда сыт...

Итожа эти достижения, писатель задается вопросом, как бы излагая свой идеал: почему наша пресса на тысячи ладов хулит мужика и «отчего же, скажите на милость, здесь он и умен, и сметлив, и заботлив, и изобретателен, и чист в своей домашней обстановке? <...> Тут он имеет возможность пьянствовать и не пьянствует; имеет возможность не работать, а работает хорошо, хотя и не чувствует над собой палки или не боится голода. Тут он, наконец, преисполнен сознанием собственного своего достоинства, как член могучего социального тела, и не поступится перед вами ни одним своим правом, так же как не забудет ни одной своей обязанности. Отчего это?»

Ответа он не знает. Но главное все-таки в том, что, рисуя эту идиллию, Немирович-Данченко понимает: она грустно уравновешена судьбами, ведущими людей сюда, в монастырь. Жизнью богомольцев за его стенами — «самой подлой», с гнетущей борьбой за кусок хлеба. «Тяжко нам ноне, так ли тяжко, что хоть в хомут», — говорит один из богомольцев — олончанин. Он видит и убогий духовный уровень жизни по монастырскому уставу, согласно которому упорно отваживают от чтения молодого одаренного зырянина («не к добру это»); и «хор на славу был — да непригоже монастырю этим заниматься... Не подобает монаху о красе клирного молитвословия заботиться. Просто, пустынно петь надо, чтобы слух не занимало». «Не подобает» монахам и к «земным медикам» прибегать: «Точно они сильнее Царя небесного. Ох — неверие. Что медика призывать, что идолу поклоняться — все едино!»

Да, Немирович-Данченко не был решительным и открытым, откровенным врагом строя. Но опять же, он многое видел и многое помнил. И в книге воспоминаний «На кладбищах», первой и последней из задуманного трехтомника, вышедшей в Ревеле в 1921 году, он, переживший разочарование в революции, тем не менее с пониманием и даже сочувствием приводит пророчество о революции известного из учебников истории деятеля времен Александра II, «диктатора сердца», пытавшегося соединить твердое правление с уступками либерализму, — графа М. Т. Лорис-Меликова. «Наше полицейское правительство, — говорит этот человек, по слову Немировича-Данченко, «умереннейшего прогрессивного направления», — совсем архаическое. Оно слепо и глухо». «Александру III и в голову не приходит народное образование. Если Победоносцеву удастся, он все его сосредоточит в руках попов. В этом ужас. Безграмотностью масс воспользуются умные демагоги и направят этот темный океан, куда захотят». «Я не знаю, откуда придет гроза, но она идет... Какой-нибудь нежданный враг ударит на нас. И расшибет... А потом неизбежный ход истории: другого хода нет. Побежденная страна потребует реформ. Но нынешнее же правительство их не даст. Оно все время сидит на штыках... Сам народ возьмется за дело. Ну, первые попытки будут подавлены...»

Это сказано почти за двадцать лет до первой русской революции. До поражения в войне с Японией...

О состоянии дел в России в ту пору красноречиво (и удивительно актуально!) говорит высказывание другого персонажа воспоминаний «отечественного Цинцинната», генерал-фельдмаршала, участника пленения Шамиля и реформатора русской армии Д. А. Милютина: «Французы подняли гвалт по поводу Панамы. Да у нас такие Панамы случались в каждом министерстве, имевшем доступ к казенному сундуку, и все было и шито и крыто. Даже была в ходу сакраментальная фраза: надо держать высоко честь мундира! И эта честь заключалась не в том, чтобы свернуть мошеннику голову, а в том, чтобы прикрыть его, лишь бы не узнал сосед. Если уж проворовавшийся был особенно противен, его выкидывали вон, но с мундиром, пенсией и знаком беспорочной службы».

...Немирович-Данченко, наконец, не был наделен гением Н. Щедрина и Максима Горького, Ф. Достоевского и Л. Толстого. Но его изобразительный талант, тем не менее, безусловен. Его язык временами блистателен и виртуозен, удивительно живописен и точен. Его образы предметны и выразительны: «Тут было темно, только где-то на высоте, словно острие ножа, светилась какая-то щель». «Словно желтая тесьма, взбежала по косогору извилистая тропинка». «Темное знамя дыма над пароходом». Описания динамичны и лаконичны: «Весла блеснули, и лодки прорезали покойную влагу». Сравнения неожиданны и емки: монах засмеялся «густым, жирным, точно маслом смазанным баском». «Белая, без тьмы и свету, ночь окутала острова» — трудно, пожалуй, сказать лучше и изобретательней. Или: «Его глаза были не только без блеска, но и без взгляда». А может ли не запасть в память такая картинка: «За коленом Косьвы — песчаный мысок. От него отошли утесы, а с их высоты к самой воде сбежали пихты — кипарисы сурового края. В их зеленую раму вдвинулась, сверкая золотом только что ободранного чистого свежего леса, большая домовина в два яруса... Окна весело горят. Надвинула железный картуз и тот переблескивается с солнцем. У самой воды пылающая в новом кумаче и желтом шелковом платье яркая баба». Умение играть цветом и светом — вообще сильная черта Немировича-Данченко. А еще он видит предмет и явление в какой-то особой, сложной динамике, неожиданно стереоскопично и доходчиво: «Серая ящерица быстро пробежала по земляному полу галерейки, оставляя за собой извилистый след и как-то широко расставляя лапы». А чего стоят «рыжие, тощие, с лысинами, вечно что-то нюхающие крысы...» Немирович-Данченко десятки раз описывает горные ущелья, водную гладь, леса и лески и каждый раз находит удивительно простые и несхожие, но западающие в душу слова.

Не удивительно, что его путевые очерки имели столь широкий успех. В эпоху, так далекую от кино и телевидения, они позволяли увидеть, открыть страну и страны мира во всем своеобразии красок (многообразии верований, обычаев тоже). Впрочем, позволяют и сегодня...

Немирович-Данченко не был мастером портрета, но у него был глубокий и искренний интерес к человеку. К людям, прежде всего, как он сам сформулировал в названии одной из своих книг, — «бодрым, сильным, смелым». Подобно любимому своему герою — генералу Скобелеву, одному из самых талантливых, «Суворову равному», образованнейшему военачальнику. Он поражал писателя «изумительным прибытком силы», целеустремленностью, «решительностью и способностью к инициативе», безумной, но (как оказалось, и

всегда продуманной) храбростью (он часто вызывал огонь на себя, чтобы выявить огневые позиции противника). Безудержно, беспощадно требовательный в строю и в бою, не прощавший трусости, особенно офицеров, он в остальное время был «отцом-командиром», тоже не без расчета: любовь и авторитет приобретаются, говорил Скобелев, «не сразу... И не даром». Тогда «чудеса сделать можно». А он был безмерно почитаем солдатами: за искренность, справедливость, «отзывчивость на чужую нужду и горе. Он никогда не брал своего жалования корпусного командира, оно сплошь шло на добрые дела». В то же время Скобелев дорог Немировичу-Данченко и тем, что, до мозга костей военный, словно созданный для сражений, он, «как русский человек был... не чужд внутреннему разладу». В минуты и часы боя «Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни...» «В триумфаторе просыпался мученик» и «недавний победитель мучился и казнился как преступник от всей этой массы им самой пролитой крови». Полководец был дорог и, пожалуй, близок Немировичу-Данченко своим кредо жизни, высказанным писателю непосредственно: «...Мой символ жизни краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство». При этом, предупреждает Немирович-Данченко, «он не был славянофилом в узком смысле — это несомненно. Он выходил из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. <...> Если уж необходима кличка, то он скорее был народником».

Конечно, Скобелев, этот, согласно восторженным словам Немировича-Данченко, «замечательный тип гениального русского богатыря», «русский цезарь», не знавший себе равных «военный психолог», «военный мыслитель», имевший «задатки великого вождя» (отчего, возможно, и умер достаточно загадочно в 37 лет), занимал особое место в сердце писателя, тем более — военного писателя, тем более — писателя, прожившего с ним бок о бок не один год. Но, в сущности, те же качества целеустремленности, фанатичного следования избранному пути, качества натуры целостной и волевой привлекают его и в «мирской печальнице», героине одноименного рассказа, барышне Танечке Фирсовой. «Худенькая, бледная-бледная, ни кровинки в лице, губы — белые, как у чахоточных. Профиль один!», — и она, начитавшись в газетах об ужасах быта переселенцев в Сибири, отправилась, вопреки отговорам, к ним («Я училась медицине, ходить за ними могу...»). Отправилась «в легоньком пальтишке — на сибирские морозы», ухаживать за больными, нянчиться с детьми, возиться с бродячим людом. «Подвиг, будем так уж называть ее добровольно наложенное на себя послушание, захватывал ее всю безраздельно, ничему другому не оставив места!»

Совсем другое послушание — затворничество — наложил на себя иеросхимонах Иоанн из «Светлых гор», проживший семнадцать лет в заточении, в «черной щели пещеры с могильной сыростью», где «два узких и скудных луча дрожат... ничего не освещая». Немирович-Данченко, человек жизнеактивный, недолюбливал монахов и монашество в их аскетической крайности особенно. «Громадной тучею, — пишет он в «Святых горах», — на минуту показалась мне эта обитель. Черною душною тучею. Гаснет в ней свет ума, опускает крылья живое чувство. Темные призраки аскетизма ширятся и растут, и глохнет под ним болезненный крик вконец измученной души — глохнет безотзывно». «Царством смерти и покоем могилы» называет он монастырь. «Его Бог — не Бог милосердия и любви, а Бог гнева и кары», — говорит его персонаж в «Соловках» о монахе-аскете.

И все-таки он не мог не восхититься решимостью Иоанна, этого заживо схоронившего себя схимника, его своеобразной жизненной волей, даже направленной против жизни. «...В высшей степени любопытный характер», — отмечает писатель и посвящает ему отдельную главу. «Какой фанатизм!» — воскликнут многие, отступая совершенно справедливо перед этой страшной эпопеей страданий, — пишет он. — Позвольте, почему же фанатизм, а не характер? Будь направлена та же громадная сила на достижение благих целей, на дело, которому мы могли бы сочувствовать, и перед нами был бы, несомненно, характер, и никаким иным именем мы бы его не назвали». Перед нами «характер, питающийся лишениями и страданиями и укрепляющийся ими, как организм здоровой пищей: характер, как железо в горниле, твердеющий под молотом...»

Уже заголовки книги произведений — «Вечная память. Из летописей освободительного движения», «Великий старик», «Семья богатырей», даже «Незаметные герои», «Люди малого дела» — свидетельствуют о привязанности писателя к людям внутренней цельности, одержимым, одухотворенным. В этом, как ни парадоксально это покажется, он близок (и даже предшествовал) раннему Максиму Горькому — не случайно один из рассказов Немирович-Данченко посвятил ему.

И он выискивает, он подчеркивает, его влекут эти черты в великих и малых мира сего. Внутренний, неизменный его интерес: характер, люди — личности. Именно этим отмечено большинство героев воспоминаний «На кладбищах», последней книги его «советского» периода. (В ней он, наверное, говоря его же прекрасными и грустными словами «письма из Москвы», «уравновешивал неизбежное настоящее с навсегда ушедшим прошлым».) Несомненной личностной крупностью, значительностью, внутренней независимостью ему интересны М. Т. Лорис-Меликов и Д. А. Милютин. Своей всепоглощающей преданностью поэзии — Мирра Лохвицкая, довольно рано «погасшая звезда» (старшая сестра сегодня гораздо более читаемой Тэффи), «маленькая фея», завоевавшая «всех ароматом своих песен», как несколько вычурно говорит писатель, покоренный ее творчеством. Он не мог не рассказать о ныне известном, пожалуй, лишь специалистам Федоре Федоровиче (Фридрихе Фридриховиче) Фидлере, которого А. П. Чехов назвал «лампадой перед иконой русской литературы»: за неизменное благоговение перед ней, прекрасные переводы ее поэзии на немецкий язык, за неутомимое собирательство маломальских фактов и свидетельств о ней. О Фидлере с его «серенькими альбомчиками», куда он просил «вписать что-нибудь» и от «которых, случалось, наша пишущая братия бегала, как черт от ладана», как с добродушной усмешкой пишет Немирович-Данченко. О Фидлере, который «с аккуратностью образцового аптекаря вел дневник встреч и бесед с нашим писательским братом» и мог через несколько лет вспомнить: «А вот в таком-то году и месяце, кажется, такого-то числа ты думал иначе». О Фидлере, приязненно-иронический рассказ о котором Немирович-Данченко завершает неподдельно грустным (и уже не к одной этой судьбе относящимся) пассажем: «Он умер — и никто из нас не знал об этом. Над Россией носились громы внезапно разразившейся революции. Начиналась искупительная страда великого народа, повинного в целых веках терпеливого рабства. В бешенстве возмущенных стихий, где история молниями во мраке писала свои неумолимые приговоры, и, казалось, внимала им, трепетала земля от полюса до полюса, — кому была заметна смерть «общего друга нашей печати!»

«На кладбищах», пожалуй, одна из лучших документальных книг Немировича-Данченко. Несмотря на мрачноватое название, мемуары отнюдь не мрачны. Здесь соседствуют юмор — добрый и не очень, насмешка — авторская и героев, саркастические замечания и неподдельное восхищение чужим талантом и волей, печаль по тому, чему не суждено было сбыться. Книга написана о живших когда-то, о живых людях. Здесь рядом воистину фарсовая история о двух — даже не поименованных — литераторах, поэте и критике, вызвавших друг друга на дуэль, но по пути к месту дуэли распивших водки и расставшихся друзьями, и грустно-сочувственный рассказ о «не герое» — Осипе Константиновиче Нотовиче, незадачливом издателе газеты «Новости». «Бедняга садился между двумя стульями», стараясь сохранить свою газету до лучших времен, которых «этот несчастный редактор так и не дождался», убив «на газету все состояние своей жены — милой и преданной Розалии Абрамовны...» (а все-таки и он по-своему из одержимых). Саркастические замечания Чехова о спиритуалистической «дури» некоторых коллег и современников («Все люди трусы. Одни морочатся оккультизмом. Этакая, слушайте, цаца — тысячу раз жила! Другой матушка земля создать не могла, все зады повторяет») перемежаются порывом тоски больного человека: «А ведь, слушайте же, так мне жить хочется... Чтоб написать большое-большое. К крупному тянет, как пьяницу на водку. А в ушах загодя — вечная память».

Чехов, конечно, главный персонаж этой книги. В очерке о нем Немирович-Данченко по преимуществу вспоминает впечатления о встречах с великим писателем во время совместного пребывания на курорте в Ницце, повествует, так сказать, о его буднях. Рассказывает о человеке глубинной внутренней жизни, упорно сторонившемся развязных и назойливых любителей знаменитостей, не скрывавшем нелюбви к фанфаронству, презрения к показушному «либрфрондёрству» (вольнодумству). Очерк проникнут безоговорочным для Немировича-Данченко почитанием чеховского гения. Он решительно отвергает тут сравнение Чехова с Мопассаном: «Что между ними общего? Разве только объем маленьких рассказов и миниатюр... Гюи де Мопассан, мастер шаржа и смеха, почти вовсе лишен юмора, которым Чехов был одарен в высшей степени». «А по отношению к глубине проникновения в человеческую природу, в душу маленьких, незаметных, хмурых, никчемных людей... нет никого равного Антону Павловичу». Он тяжко здесь переживает рано прерванный полет Чехова: «В этом слабом теле, потрясенном и разрушенном поездкою на Сахалин и возвращением через Сибирь, жила большая душа, которая только к 1904 году — год смерти — почуяла свою силу и рванулась на простор...»

И здесь он защищает Антона Павловича от начавшейся в известной части печати (в Москве) травли, как «писателя совсем не нужного, для борьбы непригодного, нытика и т. д.», «в лучшем случае только легкое чтение для сытых буржуев». Отвечая на это, Немирович-Данченко говорит: да, верно, «он сейчас в этом хаосе, тщетно ожидающем всемогущего «да будет свет!», был бы не нужен. По существу, Антон Павлович и в свое время был врагом всяких насильственных переворотов. Сколько раз в той же Ницце подымался вопрос о неизбежности революции в России. Мы — Ковалевский, я, Джаншиев — горячо отстаивали ее своевременность и необходимость, Чехов, один из убежденнейших сторонников эволюции, с чувством внутренней боли отзывался о возможности переворота, продиктованного злополучным, тупым и невежествен-

ным царствованием Ананаса III, как звали тогда императора Александра Александровича за роковую фразу его вступительного манифеста — «а на нас лежит обязанность», — отменявшего всякое поступательное движение вперед и санкционировавшего эпоху «точки». «И хотя «прежнее признание действительности сменялось ее отрицанием, сознанием необходимости пером, как мечом, бороться с нею», Чехов, убежден Немирович-Данченко, остался «художником прежде всего», он «как гражданин был неисправимый мечтатель о всеобщем счастье человечества, мечтатель об идиллии вечного мира, благоденствия и — опять повторяю, лет через двести, когда нас с вами не будет...»

Немирович-Данченко тут словно подводит черту и под своим прошлым, оставляя в нем свой былой и до того умеренный, благоразумный либерал-радикализм.

Но оставил-то он нам гораздо больше.

Он оставил нам, прежде всего, пример любви к родине. Отнюдь не квасной патриотизм, как кое-кто утверждал, а чувство сложное и трезвое, близкое, пожалуй, некрасовскому: ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь. Не раз и не два, — во всех своих этнографических и «богомольческих» — по сути просветительских — очерках он пишет «об истощении почвы, о крайнем падении скотоводства, о том, что нищенство растет не по дням, а по часам». Но он радуется всякому проявлению таланта и силы духа русского народа, будь то хозяйственная сметка крестьянина-монаха в «Соловках» или самоотверженность «мирской печальницы» Танечки — «истинной представительницы альтруизма нашего века, альтруизма, оклеветанного, осмеянного, но которому все-таки принадлежит будущее». И он восклицает — в тональности и порыве, которые напоминают сразу и о Гоголе, и о Чехове: «Да, блистательна, исключительно хороша твоя будущность, наша дорогая родина. Пусть ты покрыта коростою, пусть в тебе больше кабаков, чем школ и церквей, — найдутся между детьми твоими не обезличенные и честные деятели, верные русскому чувству. И развернешься ты во всей красе и станешь ты тверда, предписывая сверху свои законы — законы мира, любви и братства народов».

Немирович-Данченко был честным и наблюдательным свидетелем своего времени. Перечитывая, а точнее — заново прочитывая сегодня его произведения, порой диву даешься, насколько они злободневны, насколько он и его герои являют для нас поучительный и провидческий урок.

Нам так кстати сегодня его кавказская проза, лишенная великодержавной заносчивости, проникнутая стремлением понять другие народы, отмеченная религиозной и национальной терпимостью, взывающая и являющая примеры взаимной терпимости. Это вообще постоянный, принципиальный мотив в его произведениях (ибо, пишет он в 1902 г., «абсолютизм и нетерпимость — сначала задушают страну, а потом сами погибают на пустом месте»), что не мешает ему спокойно, но ясно показать злобное лицо религиозного фанатизма тех лет — в мюридах, которые для «неверных» оставляли «от моря до моря — черную пустыню», которые «сами не искали жизни и не оставляли ее врагам», — знакомо, не правда ли?

Немирович-Данченко, по собственному признанию, «всегда ценил свободу внепартийной работы». Он сторонился крайностей и категоричности (порой, до щепетильности: так, последовательно не любя аскетизм, он находит нужным однажды оговориться: «Я сетовал на аскетизм, не чувствуя в эти минуты, что

в жизни у человека бывают моменты, когда такой аскетизм является живой потребностью его души»). Тем убеждающе вся его проза позволяет увидеть в прошлом России «много такого, — как пишет современный исследователь творчества Немировича-Данченко, — о чем теперь правнуки дореволюционных рабочих не хотят знать (подобно правнукам крепостных рабов в их нынешней ностальгии о «поручиках Голицыных»)».

Но актуальны не только эти свидетельства прошлого. «Свобода народов не есть их братство, — говорит у Немировича-Данченко Д. А. Милютин. — Они часто сплетаются вместе, чтобы сейчас же расплестись и еще дальше отбросить их одни от других». Как это понятно нам сегодня... А помыслы М. Д. Скобелева — нынешнему ли дню принадлежат? — «...Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого — одно только общее — войска, монеты и таможенная система». Но, — добавляет этот действительно незаурядный человек, — «племена и народы не знают платонической любви», и свершится все это, «когда у нас будет настолько много «пищи сил духовных», что мы будем в состоянии поделиться с ними ею, а во-вторых, когда «свободы нашей яркий свет» действительно будет ярок и целому миру ведом...»

«...Я прошел громадную жизнь, — писал Немирович-Данченко в «письме из Москвы». — Сознательно я начал ее в эпоху, когда рухнуло крепостное право, и кончаю, когда весь мир в небывалой грозе, в страшных катаклизмах перестраивается заново. Живой свидетель этого, я был бы счастлив, если бы судьба дала мне возможность в моих последних работах создать нечто достойное этой эпохи трагического крушения стари и новой борьбы титанов».

Этой надежде, кажется, не суждено было сбыться. Но он оставил нам творчество и судьбу, которые — как творчество и судьба многих других художников — взывают к взвешенному и просвещенному, «памятливому» взгляду на историю, ближнюю и дальнюю. Взгляду тем более востребованному, что и сегодня есть немало желателей выбросить за борт истории целую литературную эпоху.

Помимо книг, которые нам еще предстоит освоить, Василий Иванович Немирович-Данченко оставил нам в посвященном ему юбилейном, но вышедшем лишь в год смерти сборнике «Венок» заветы:

«Свободное «Я» в свободном народе. Беспощадная борьба с угнетением».

«Счастье в независимости, красоте и правде твоей родины, служи ей, пока она несчастна и угнетена, и всему человечеству, когда она сильна и благополучна».

«Помни: все человечество связано невидимыми флюидами, и горе одного, как круг по воде, передается в даль и в ширь всем, кто мыслит, чувствует и любит».

«Когда право служит сильным, будь со слабыми».

«Люби жизнь, пока дышишь, работай, пока живешь».

Заветы, которым неизменно следовал сам Василий Иванович.

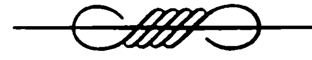
Будем надеяться, что знакомство с его творчеством продолжится и дальше. И мы еще многое узнаем о мире. Прошлом и настоящем.

Валентин ХМАРА,
кандидат филологических наук.

НА КЛАДБИЩАХ

■

Воспоминания



От автора

«Воспоминания» писались в первые дни революции. На них поэтому отражаются впечатления так скоро минувших событий, великих облетевших надежд и ярких миражей, сменившихся суровою, беспощадною действительностью. Непонятною одним, страшною другим. Стихийное творчество, как и мировое разрушение не справляются ни с катехизисом, ни со сводом законов, как бы мудры они накануне ни казались всем, кто приговорен торжествующей новью к смерти и уничтожению. Ведь в Истории чаще, чем думают, логика сменяется неизбежностью. Бродя по полузабытым кладбищам, невольно воскрешаешь мертвецов, независимо от того, какие они играли роли — большие или малые. Ведешь с ними нескончаемые беседы, повторяешь прошлые. Впоследствии они понадобятся бытописателю, который пожелает, как библейская Руфь, со скошенных пажитей собрать и эти оставшиеся колосья. Медовый месяц революции прошел. Начни я эту книгу теперь, многое в ней написалось бы иначе. Но мне именно дороги тогдашние настроения. Хотелось сохранить в наши рабочие будни радужные отсветы погасших праздничных огней. Притом же мои «Воспоминания» печатались далеко от меня, и по старой рукописи нельзя было пройти корректирующему сегодня. Пусть же в них отражается то время, со всеми его плюсами и минусами. Это тоже нужно и имеет право на существование.

Неодолимые условия нашей яви помешали сделать некоторые исправления и даже восстановить опущенные места. Записки о Чехове читались неоднократно публично, и из них выпали две-три страницы. Таким образом, на стр. 47, между строками 18—19, оказался досадный пропуск. Разумеется, не по вине типографии, а по моей: несколько анекдотический рассказ насмешливого Вас. Пант. Далматова о странствии его с А. П. Чеховым и Влад. Тихоновым по ранним обедням ведется как бы от моего лица. Далматовское «я» — оказалось моим.

Беглые воспоминания о Д. А. Милютине — только дополнение к тому, что о нем было мною напечатано ранее[1]. *По цензурным условиям эта глава, разумеется, в свое время появиться не могла. О гр. Лорис-Меликове я тоже дал немногое, потому что мои записки о нем находятся в прекрасном далеке. Писать приходится в Петрограде, а дневники, которые я вел когда-то, и памятные книжки остались в Италии...*

Все, помещенное в эту книгу, — является в первый раз.

---

[1] Вас. Немирович-Данченко. Зигзаги и Профили. Изд. «Просвещение», 1913.

О ЧЕХОВЕ

Не раз хотелось писать об Антоне Павловиче Чехове, но мне было так трудно передать о нем мои воспоминания. Почему-то он мне представляется весь в нежных полутонах, неуловимых, как некоторые Мурильевские картины, где в сгущенных сумерках надо угадывать неясные фигуры.

На юге есть такие туманы: палевые, и в них теряется определенность и четкость очертаний. Образы писателя были определенны и выпуклы, но он сам, удивительно зоркий наблюдатель струившейся мимо жизни, оставался в стороне красивою и милою загадкою для тех, кто, как я, встречался с ним то часто за границей, то с большими промежутками в России.

Я никогда не был с ним очень близок, если исключить три месяца, проведенных вместе в маленьком русском пансионе в Ницце.

Сейчас я роюсь в прошлом и, точно во влажный вешний день, любуюсь зыбкими, едва намеченными сквозною молодою листвою тенями. Может быть, он и не был таким, и, по всей вероятности, друзьям, лучше его знавшим, он является в более точных рисунках и ярких красках, но это все равно. Я говорю о моих личных впечатлениях, и только.

Думаю, что негативы, взятые слишком близко, лицом к лицу, часто уступают таким же издали. В последних более цельности, особенно, когда дело идет о крупных величинах с их соотношениями ко всему окружающему.

— Меньше всего знает мужа его жена именно потому, что видит его каждый день. Она хорошо помнит, где у него обрывались пуговицы, пришитые ею, но самого человека заслоняют такие мелочи, сквозь которые, как в ином лесу сквозь кустарник, не пробраться. Он, может быть, велик, а она никак не забудет, как он храпел и не давал ей спать или ссорился с нею из-за не вовремя поданного счета кухарки.

Это — слова самого Антона Павловича, врезавшиеся в мою память. Мы с ним тогда смялись над тем, как одна итальянка

определяла своего, ну мужа, что ли, — одного из крупнейших и талантливейших русских ученых и профессоров.

— Не понимаю, почему его все так уважают, а он терпеть не может, когда мясо жарят на самом лучшем оливковом масле. И когда он спит — кажется, что рядом кто-то полощет себе горло.

Только она и могла вынести из долголетней близости с ним.

Сверх того, о таких любимцах своего интимного кружка, как Чехов, трудно писать потому, что многие «друзья», зачислившие себя в этот, если хотите, завидный чин уже после смерти писателя, — очень ревниво оберегают свое захватное право: свидетельствовать ложно о покойнике. Каждого, кто это делает, хотя и правдиво, они готовы взять за шиворот и сдать любому казенному городовому: «Караул, меня обокрали!»

Кому случалось одиноко проводить вечера за письменным столом, тот знает, как из потемочных углов на него смотрело его прошлое, далекое-далекое, едва различимое.

Оторвешься в раздумье от работы, откинешься, и за маленьким световым кругом от абажура лампы оно, это прошлое, мерещится отовсюду.

Так именно намечается передо мною первое мое свидание с бледным и веселым юношей у другого — и тогда малоизвестного, а теперь и вовсе забытого — романиста, поэта и фотографа (за что только он ни брался!) Хрущова-Сокольникова. Случилось это в Москве. И Чехов еще не был Чеховым, а в печати впервые появился «Антоша Чехонте».

Я вернулся из первой поездки в Италию и, должно быть, уже слишком был в восторженном угаре только что пережитых впечатлений. Рассказывал о них и вдруг из угла послышалось:

— Эх, грошей не ма! А то бы и я... Нет, впрочем, не хочу туда!

— Почему?

— Слушайте же... Лакированная она у вас какая-то... Италия! Точно новый паркет, только что полотеры ушли — он весь и горит... И потом скользко...

— Это в старых галереях, в развалинах?

— И все-таки, хоть и обвалилась и потрескалась, а лакированная. Вот вы, например, о дожде в Вероне, так ведь дождь-то ее еще больше обмыл, и мокрая она так блестит на солнце. Потом вся она каменная. Домам на земле тесно, сбились в кучу и на небо лезут. Вон, по-вашему, в Генуе дылды в девять этажей.

— И по двенадцати есть в порту.

— Ну вот, это уж не жизнь, а воздухоплавание... С Ивана Великого только и приятно, что плюнуть на голову*** (он назвал одного тогдашнего издателя), когда он аванса не даст. Да и Вероны никакой нет. Ее Шекспир выдумал, а вы ее видели

на декорациях «Ромео и Джульеты». Нет, я, слушайте, простор люблю и деревенский домик, и петуха на заборе, и гусей в пруду, и ракиты... И длинные сумерки на крылечке. А из кухни чтобы жареным поросенком пахло.

Его все-таки через много лет вытащил А. С. Суворин, и именно в Венецию. Потом уже старик рассказывал мне.

— Вот уж... Антон Павлович там ни на что не смотрел. Больше с Алешей (сын его) в винт играл. В Венеции мне хотелось, чтобы он памятник Кановы осмотрел. Знаете: на plazza degli Frari[1]. Взял с него слово. Утром спрашиваю: — Видели? — Видел! — Ну что ж? — Хоть сейчас на Волково кладбище! — Я даже плюнул. А потом добился: он там и не был. Купил себе открытку с этим памятником и на том успокоился. Упрекаю его — а он: «А зачем мне? Я ведь не собираюсь открывать мастерскую надгробных монументов для рогожских купцов». Идем мы с ним мимо великолепной конной статуи кондотьери Коллеоне. Я останавливаюсь, а он: «Да ну, Алексей Сергеевич, пойдем. Есть на что: мало вы в Берлине конных городовых видели!» Или винтит или сидит у Квадри и ест granita d'arancio2. «Голуби-то, — радуется, — совсем, как у нас на Собачьей площадке».

Было ли это безразличием, отсутствием любознательности? Нет, разумеется. Но он до болезненности страстно любил Россию. Зарубежные дива его занимали не много. Он проходил мимо, спокойный. У нас есть все, говорил он, и яркое, и тусклое. Почему-то нас называют серенькими в серенькой природе, — а мы раскинулись вон как, и у нас найдутся и краски, и такие эффекты, до которых, пожалуй, и вашей Италии далеко. Ее, эту Италию, еще здорово смыть надо, чтобы она уж не очень блестела.

Разгадка такого отношения к странам, куда нас тянет так сильно, была в том, что как тонкий психолог Чехов интересовался больше человеком, чем сценой, на которой тот действует. И человеком у себя дома. Чужого — еще пойми, да и к чему? У него свои изобразители, а родное постоянно на глазах и мучит, и волнует, и требует воплощения в звуки и образы. Ему наши тусклые будни поэтому были понятнее и дороже и ближе солнечных раев...

Все это уж было позже, когда Суворин влюбился в молодой талант и старался расчистить ему дорогу от неизбежных волчцов и терний. Сам Антон Павлович в этот медовый месяц так поздно выпавшего на его долю головокружительного успеха только отошел от себя в сторону, смотрел на восторги еще вчера неведавшего о нем читателя извне и даже недоумевал:

---

[1] Площадь Фрари (*ит.*).

[2] Апельсиновое мороженое (*фр.*).

— Вот еще нашли! Это все Григорович с Бежецким выдумали, а Суворин им поверил: он ведь сколько лет гения ищет. Многих на эту мерку прикидывал, вот и меня тоже. Талант! А Лейкин его по восьми копеек за строку ценит, и строка у него не строка, а дистанция. Сколько лет пишет Чехонте! Правда, Левинский меня по плечу хлопал: не без способностей-де парнишка, — но ведь до гения, как до звезды небесной...

Я кстати вспомнил о Бежецком. Теперь он больной, со сломанной и плохо сросшейся ногой, старый писатель и профессор, мало оцененный по достоинству.

Григорович в истории нашей литературы является чуть не Колумбом, открывшим Чехова. Это не совсем справедливо. Первый, кто не раз говорил об этой Америке Суворину, был именно Бежецкий (А. Н. Маслов), сам талантливый беллетрист и драматург, чуткий и не раз обращавший внимание на прекрасные миниатюры «Антоши Чехонте». Лейкин, потом не в меру гордившийся тем, что он приютил в своих «Осколках» будущего великого писателя, считал его чем-то вроде зауряд-прапорщика. Когда Антон Павлович потребовал с него прибавку в 2 коп. за строку, тот огорчился и вознегодовал.

— Помилуйте, если Чехову платить по десяти за строку, сколько же я должен назначить...

Не хочу раздражать самолюбий и потому умалчиваю имя одной инфузории, которая и под микроскопом-то едва различима в капельке из литературной Мойки. Родовые боли, пережитые Чеховым, были трудны и мучительны. Он бился из всех сил, работая по мелочам, слишком гордый для того, чтобы искать себе места в кружковщине крупных изданий. Он любил свободу и независимость прежде всего: не он искал — а его нашли.

Кто-то изображал Чехова застенчивым.

Совсем не то слово.

Он, как всякая крупная творческая сила, был спокоен и скромен. Терпеть не мог разговоров о своих очерках. После его встречи с Вас. Вас. Верещагиным, например:

— Точно им не о чем говорить. Уж кому-кому, а Верещагину стыдно, кажется. Сам головой в потолок, а тоже передней расписывается. Зато Левинский меня утешил. Вчера смотрит на меня с удивлением. Спрашиваю: «Чего вы? Как козел в зеркало». А он: «Кто бы мог думать! Правда, не без способностей, я всегда это говорил, но... Этак вы, пожалуй, потребуете теперь пять копеек на строчку надбавить».

Раз, в театре Корша в Москве какая-то поклонница — настоящая песья муха — набросилась на него, точно ей до смерти пить захотелось. От восклицательных знаков перешла к цитатам, и не успел еще бедный Антон Павлович отчураться, как она одну из его страниц восторженно и крикливо наизусть, а кругом милостивые государи таращатся и по-собачьи заискивающе в глаза ему смотрят.

Чехов весь пошел красными пятнами. И, скрывая негодование под улыбкой, обернулся к приятелю:

— Слушайте же... Уведите ее. У меня в кармане свинцовка есть. Я ведь и убить могу.

Помните А. М. Горького: что я вам балерина, что ли?..

Но это была исключительная дура. Ее любил только покойный Мачтет, которого она усердно знакомила с его собственными произведениями (одарит же природа новую девицу Кукшину столь феноменальною памятью!). Он, бывало, уставится в нее и поглаживает себе длинную, как у библейских праотцев, бороду. А поклонница, закрыв глаза и взвизгивая, чеканит строчку за строчкой.

Спрашиваю его: как вы ее выносите?

— А что?

— Да ведь липкая.

— Гм... Не скажите: у нее большой литературный вкус есть. Она хорошо понимает писателей.

Подчас гг. обыватели в этих случаях доймут так, что хоть пол провались под ногами, и то слава тебе Господи! Встреча с бенгальским тигром в джунглях не так ужасна! И, во всяком случае, более интересна.

Чехов не выносил и более скромного любопытства на свой счет.

— Слушайте же... Давайте о другом. Тоже нашли предмет.

Или делался мрачным.

— Знаете: заграница одним хороша — никому до тебя никакого дела. Ходи вольно! А то, помилуйте, пошел я к Тестову (очень подовые пироги люблю!), а напротив какой-то купец бараний бок с кашей ел. «Смотри, Чехов!» Выпучился на меня, поперхнулся и всю даму жирной гречихой обрызгал. Та ему благим матом: «Ты что ж, дурак, медведя на Кузнецком увидел, что ли? Все мне платье испортил, по двенадцати рублей аршин у Сапожниковых плачено. И Чехов твой этого не стоит!» Слушайте же — ну что тут красивого? Не дали подового пирога окончить.

Но и заграница не долго его баловала таким сравнительным покоем. Заграница загранице рознь. Особенно Ницца — город тогда почти русский.

Я не могу забыть встречи в Ницце с одною из самых неистовых наших соотечественниц. На беду А. П. Чехова мы с ним как-то пошли завтракать в «Réserve». Я был ей накануне представлен. Она оказалась за соседним столом. Ей сказали, кто со мной, и вдруг, не успели мы еще заказать себе, как она на всю залу мне:

— C'est monsieur Tchekoff[1].

---

[1] Это господин Чехов (*фр.*).

И произнесла, как будто забыла русские «ч» и «х» — Тшекофф.

— Alors présentez le moi, je veux faire sa connaissance...[1] Пришлось представить. Какой-то недоносок рядом взбросил монокль в глаз и тоже: «Tiensi c'est monsieur Tchekoff»[2]. И французу около — и француз-то был поганый с лакированной мордашкой и усами штопором: «Это русский писатель... Célèbre!»[3] И во все глаза на Антона Павловича... Дама, разумеется, захотела сейчас же поразить всех своей образованностью, и с места:

— Ах, я так люблю писателей... У меня бывают... M-sieur Forcet[4]... Вы его знаете, он в Petit Nicois[5]... Когда я приехала, он обо мне целую статью: La belle de Moscou[6]... Хотите, я вас ему представлю? Скажите, М. Тшекофф, вы в каком роде пишете?.. Вот князь (кивок по направлению к своему кавалеру) уверяет, что вы почти русский Мопассан... C'est très joli — Maupassant[7]... Хоть я больше люблю Шерлока Гольмса... У нас так не умеют. Я вашего Толстого не выношу, хоть он и граф... У него все à la moujik[8]... А что вы теперь творите? (Не пишете, а творите!)

И Чехов мрачно:

— «Хороший тон» Германа Гоппе.

— Это что же, роман?

— Вроде...

— А как Лейкин — вы не можете? Вчера у августейшего (подразумевался поклонник этого писателя, вел. кн. Алексей) читали его. Лейкин, это очень смешно... Ce sont les купец, toujours les coupetz[9].

Такие, разумеется, и между нашими редки... Но, действительно, бедному Антону Павловичу иногда от его поклонниц житья не было. Сядешь на скамейку Promenade des Anglais[10], засмотришься на сиреневое море, дышишь чудесным солоноватым воздухом, и вдруг рядом пара соотечественниц... И бесцеремонно.

— Chère[11], ты читала последнюю вещь Антона Павловича Чехова?

Как будто не знает его.

— Ах, какая прелесть... Понимаешь...

---

[1] В таком случае представьте меня, я хочу познакомиться (*фр.*).
[2] Вот как! Это господин Чехов (*фр.*).
[3] Известный, знаменитый (*фр.*).
[4] Господин Форсе (*фр.*).
[5] «Маленькая Ницца» (*фр.*).
[6] Московская красавица (*фр.*).
[7] Это очень красиво — Мопассан (*фр.*).
[8] Подобно мужику (*фр.*).
[9] Это [купец], всегда купец (*фр.*).
[10] Английский бульвар (*фр.*).
[11] Дорогая (*фр.*).

И начинает рассказывать содержание, разумеется, перевирая его.

Но Ницца это — город в то время русский. Там, пожалуй, наш язык слышался чаще французского — а Европа была действительно отдыхом и для Чехова, и для более ранних писателей.

Туда стремились все почти — и в самые глухие уголки ее.

Как-то в Петербурге вышли мы с ним поздно ночью от Гнедича. Тогда еще его мучила свойственная каждому таланту неуверенность в себе.

— Они говорят, а я им совсем не верю.

— То есть?

— Очень просто. Иной раз кажется: выдумали они меня нарочно и назло тычут мною в глаза кому-то. Только Далматов меня утешил: хороший ты, говорит, писатель, не стану спорить, а попробуй-ка Рюи-Блаза сыграть? Посмотрю я, как ты в окно вскочишь!

Меня еще в «Чехонте» поражала своеобразная тонкая наблюдательность. От него ничто не ускользало. Он окружающее воспринимал полностью. Вот уж именно был без шор. И свет, и тени на его внутреннем негативе ложились со всех сторон с изумительною точностью и пропорциональностью. Ничто не выступало в ущерб другому преувеличенным, подчеркнутым. Он часто жертвовал рельефом и красками — простой будничной правде. Он не только не злоупотреблял ими — в нем было какое-то монашеское целомудрие, сдержанность и скромность. Бывало, говорит о чем-нибудь (редко, он чаще отмалчивался, слушал и занотовывал в памяти) и вдруг точно из мешка посыпятся у него и сравнения, и тонкие черточки, и неуловимые для других подробности. У наших крупнейших писателей они часто загромождают целые страницы. Но одно дело разговор — другое бумага. На бумаге Чехов был скуп на такую разменную монету. Он в письме любил характеризовать своих действующих лиц одною какой-нибудь совсем незначительною, по-видимому, мелочью. Но только по-видимому. Кажется, ни к чему она, а в ней весь человек, и она к нему приклеивалась, как ярлык. Вы видите «милостивого государя» живым. В интимном разговоре, случалось, А. П. уходил в подробности, нанизывал их, как зерна в четках, но стоило ему взяться за перо, как в его творческой работе начинала действовать точно какая-то веялка. Просеивалось настоящее, цельное, самое нужное, полновесное зерно и отбрасывались шелуха и сор. Возьмите карандаш, разверните наугад любую страницу наших первоклассных мастеров — Достоевского, Тургенева — вы найдете всегда, что́ можно без ущерба вычеркнуть. Но самому придирчивому критику не удалось бы совершить такой операции над Чеховым.

Я сказал: аскетическое целомудрие творчества...

Но оно предполагает нечто намеренное. Я думаю, что в Чехове его внутренний, подсознательный аппарат работал таким образом. Антон Павлович, если бы и хотел, не мог бы писать иначе. Или просто это была строгость к себе и порою мучительная неуверенность: все-де говорят, а вдруг это неправда. У него как-то раз вырвалось: «Счастливый человек Мачтет! Сам убежден, что он великий талант, и это помогает ему жить. Попробуй его переспорить. Он вас будет сверху слушать! А я вот... Вы, кажется, рассказывали о***. Целый театр ему восторженно аплодирует, а*** уходит в уборную переодеться и спрашивает у вас: «За что это мне?.. Я, кажется, сегодня совсем не в ударе был».

В каждом талантливом писателе, как червяк в яблоке, живет и разъедает его сомнение: да, полно, стóю ли я? А вдруг это наваждение, и завтра все от меня отвернутся? Не то ли самое выразил так ярко поэт: «Мысль изреченная есть ложь»? Все, что выйдет из-под твоего пера, а тем более из-под печатного станка, является и бледнее, и бессильнее того, что рисовалось в бессонные ночи и складывалось в молчании и самоуглублении писателя. Точно кто-то стер все рельефы и оставил одни только неясные очертания на плоской доске... Вероятно, и Чехову — все «изреченное» казалось недостойным того, что он задумывал...

А работал он, действительно, — порою страдальчески, трудно, точно на каждом слове сам себя поправляя, проверяя, обрезывая крылья воображению, не давая ему простора ни вверх, ни в стороны. Как будто он боялся самого себя. Самоограничивал. Вначале, говорят, ему все давалось легко. За один присест набрасывал страницу за страницей. Потом выработалась требовательность к себе. Успех обязал. Думаю, что он больше всего боялся изменить правде жизни.

В Ницце наши комнаты были рядом.

Моя смотрела большими окнами на золотые закаты и горевшее под ними море. Чехов любил эти прощальные часы южного дня, но ему было предписано врачами ни под каким предлогом именно в эту пору не оставаться вне комнаты.

— Мой враг умирающее солнце... А я его страшно люблю!

Он приходил ко мне и подолгу смотрел в стекла закрытого окна. Золотились пальмы, розовело небо, ярким полымем тлели по краям облака. И дождавшись, когда солнце уходило в резкую черту морского горизонта, Антон Павлович возвращался к себе. От него — другая картина. Еще сияли аметистовые горы на северо-востоке и неясная полупрозрачная синь медленно ползла по садам и рощам...

Как-то вечером я вернулся и вспомнил, что он просил меня заглянуть к нему. У него было темно. Электричество в наш скромный пансион проведено не было. У Чехова только и света, что под зеленым абажуром тусклой лампы на круглом столе

посредине большой комнаты, довольно-таки мрачной в этот час наступающей ночи. Под абажуром начатый лист бумаги. Осматриваюсь. Точно утонувший во мрак, в углу едва-едва мерещится Антон Павлович. Уселся в глубокое кресло. И без того бледное лицо кажется еще более похудевшим, чуть намеченное. И глаза ушли, далеко, точно присматриваются к чему-то за этими стенами.

— Сейчас...

Встал. Подошел к столу. Написал строчку и опять в свой угол. Через минуту вновь под абажур. Вычеркнул набросанное.

Я хотел уйти.

— Погодите!

И опять Чехов у стола. Новая строка... И еще раз то же — вычеркнул и опять вывел...

— Слушайте же. Сегодня легко пишется.

Смотрю на него — шутит он? Нет, лицо серьезное.

— Вообще работается трудно, только не сейчас. Ужасно легко думать, что именно напишешь. Кажется, всего и остается: присесть — и перебелить готовое в голове. А начнешь — и пойдет московская мостовая. О каждый булыжник встряхивает... Спотыкаешься... А иногда как по рельсам целые страницы. По-старому, пожалуй, во вдохновение уверовал бы. Только такие страницы не очень удачны.

Так у меня и осталось в памяти зеленое пятно от лампы в потемках и бледный неясный Рембрандтовский облик Антона Павловича в углу. Об одном из крупнейших писателей он говорил:

— Слушайте же, я никому так, как Игнатию Николаевичу, не завидую... Его манере письма. Большой талант, и работник же! Заграницей у него бы давно и виллы были свои, и отель в Париже, и в Лионском Кредите, по крайней мере, миллион. А у нас он с хлеба на квас, милый человек, околачивается!..

— Чему же вы завидуете?

— Как же? Он всегда может писать. Надо, чтобы у него мигрень в висках сверлила и кругом все, кому не лень, шумели. А он присядет к уголку — непременно к уголку — стола, съежится над ним и мелко-мелко лист за листом исписывает...

— Ночь хороша? — помолчав, спрашивает.

— Да. Тепло и звездно. Море притаилось.

— А что, если мы пойдем на набережную?.. Впрочем, нет. Слушайте, у меня сегодня в груди точно «мыши скребутся». Посидим лучше. Вот, Якоби! То совсем некстати шляется, а то точно утонет. Вытерли его резинкой и нет его. А сейчас я бы ему обрадовался. Все-таки живой человек, хоть надоедная страсть у него старые анекдоты рассказывать, такие, которые все попугаи наизусть знают. Верно, в Монте-Карло поехал на чужие выигрыши облизываться.

Оглядываешься назад — на все пройденные пути, и на них точно вехи — могилы. Позади не жизнь, а кладбище! С Якоби Чехов в Ницце встречался чуть не каждый день. Знаменитый художник только что рассорился тогда с Академией. Отряхнул прах от сандалий и, как всегда это бывает, чуть не отплевывался, вспоминая ее. Точно alma-mater на всю остальную жизнь ему поперек горла стала. Был он милый человек и хороший товарищ, но никак не мог позабыть, что когда-то считался красавцем, и до последних дней своих мнил себя таким, хотя в его вандиковском воротнике дряблая, морщинистая и худая шея — торчала, как у заколотой и ощипанной курицы в птичьей лавке. Волосы и бороденку он себе красил в разные сверхъестественные цвета — это под предательским южным солнцем — и, запахнувшись в чайльд-гарольдовский плащ, он так победоносно смотрел на всех женщин, что одна, в том же Монте-Карло, схватила его за хохолок (меланхолическое воспоминание о когда-то великолепной шевелюре!) и крикнула на всю террасу:

— Bonjour, mon coco![1]

Я уже говорил о его великой страсти рассказывать такие похабные анекдоты и повторять старые заплесневевшие остроты, от которых любого купеческого почтенного кладеного кота стошнило бы.

Он, впрочем, был очень добродушен. Раз А. П. Чехов не выдержал и остановил его:

— И когда вы перестанете первый своим анекдотам смеяться? Вы посмотрите, Максиму Максимовичу (Ковалевскому) плакать хочется, а вы хохочете.

— Разве не смешно?

— Да ведь такие во блаженные памяти Императриксы Елисавет царствование наши прапрадедушки прапрабабушкам рассказывали, и то на ухо. Точно вы бригадир с полинявшего портрета в лавке старого старья у Сухаревской башни.

— Ну, вы тоже!

И Якоби надувался, но ненадолго и через минуту-две начинал снова.

— Ну, уж на этот раз... Знаете, у нас на Васильевском острове брандмайор был...

Я, думаю, не оскорблю прекрасной памяти крупного художника и гражданина Валерия Ив. Якобия, давшего русскому искусству ряд великолепных картин — таких, как «Петр и Царевич Алексей», «Утро во дворце Императрицы Анны», «Привал арестантов», «Ледяной дом», «Робеспьер», «Волынский в кабинете министров», «Светлый праздник нищего», «Смерть Бирона», «Соколиная охота» и ряд ярких солнечных этюдов африканской пустыни. У больших людей часты мелкие недо-

[1] Добрый день, мой дорогой! (*Фр.*)

статки. Они делают еще милее и ближе нам, простым смертным, тех, кто несколькими головами перерастает толпу. Смотришь на них и думаешь: это плоть от плоти, кость от костей наших, и роднишь их со всем человечеством. Их недочеты — наши, их заслуги и гений — принадлежат им. Якоби в это время уже подтачивал недуг, который вскоре и свел его в могилу. Как-то он оказался особенно в ударе. Рассказывал нам о великой княгине Марии Павловне — жене Владимира, которая через несколько лет, уже после смерти его, была президентом Академии Художеств. Эта дама, поставленная, таким образом, во главе российской живописи и скульптуры, столько же понимала в них, сколько другой вел. князь — Алексей — в морском деле. Что эта знаменитая компания ухлопала народных денег на глупые опыты и еще более глупые покровительства всевозможной междуплеменной челяди, один Бог знает, да и тот никогда никому не расскажет. Ведь говорили же про любовницу нашего морского министра, жадную француженку Балетта, что она разъелась на русских дредноутах, получая за каждый заказ по нескольку миллионов и часто проглатывая, не поперхнувшись, целые днища океанских гигантов, выходивших из Тулонских верфей однодонными. Мария Павловна, в рассказах знавшего ее близко художника, являлась истинным изображением того изумительного времени, когда по высочайшему повелению безграмотные сибирские попы делались митрополитами, пьяные конокрады — ближайшими вдохновителями императорского правительства, кабацкие затычки и завсегдатаи публичных домов — вершителями верховной воли и блюстителями народного достоинства.

Мария Павловна в Академии — она еще не была президентом этой художественной Сахары:

— Это, разумеется, этюды Рафаэля? Я видела их в немецком журнале «Die Kunst»[1].

— Так точно! — угодливо забегает вперед художник — из желающих попасть под августейший взгляд.

Я было заикнулся: «Это Иванова!» — как на меня со всех сторон угрожающие персты. А елейный (голова на бок и в глазах всеподданнейшая преданность) москвич шипит мне на ухо: «Разве великая княгиня может ошибаться?»

— А это, узнаю, — разумеется, Константин Маковский.

Тут уж и такой царедворец, как «тогдашний», Якоби не выдержал.

— Ваше высочество, это мое!

— Неужели... А ведь совсем Маковский!

— Да... Да... Удивительное сходство в письме и в колорите! — восторженно заговорили вокруг алкавшие и жаждавшие высочайшей милости.

---

[1] «Искусство» (*нем.*).

За то эта августейшая невежда торговалась, как маклак, при жизни ее супруга, когда хотела купить что-нибудь нравившееся ей лично. Если автор не уступал, секретарь Академии и прочие придворные льстецы и прихлебатели — ему намекали: «Отдайте, мы вас компенсируем из других источников».

И отдавал.

Один из ловких малых все-таки поднадул ее.

Продал ей какого-то Малафеева за Гверчино. Висит ли эта голова Христа до сих пор во Флорентийском палаццо на Дворцовой набережной, или ее убрали?

После этих рассказов, ценных для летописца нашей неразберихи, Якоби опять утонул в банальщине затрапезных анекдотов и сам уже не хохотал над ними, а как-то надтреснуто дребезжал тошнотворным остротам.

Идет от него со мною Чехов.

— А Якоби скоро умрет.

— Это почему?

— Самого себя обманывает. Вы всмотритесь: рассказывает гадости, а в глазах у него ужас. Слушайте, ведь это же видно... Да, впрочем...

Он выдержал паузу.

— Мы все... приговоренные.

— С самого рождения.

— Нет, я про себя. Мы в первую очередь. Вы еще жить будете. Вон у вас какие татарские ребра и легкие — меха кузнечные... Придете сюда к морю. Сядете на эту скамью... Какая даль сегодня! Посмотрите, вон парус. Совсем крыло. Это я у вас прочел. Сравнение очень верно. А вот какого оно цвета, море?

Смотрел, смотрел. Думал.

— Сиреневое! Слушайте же — сиреневое, ведь! Это уж мое. Завтра патент возьму, чтобы приятели не украли.

Потом уже я у него прочел это сравнение.

— Да, да... сиреневое и в складках!

— Да, всем жить! — опять потемнел он: — И вон той паршивой собаке, если ее фурманщик не зацепит. А я буду упокояться во блаженном успении. А, ведь, слушайте же, так мне жить хочется... Чтобы написать большое-большое. К крупному тянет, как пьяницу на водку. А в ушах загодя — вечная память. Иной раз мне кажется — все люди слепы. Видят вдаль и по сторонам, а рядом локоть к локтю смерть, и ее нарочно никто не замечает или не хочет заметить. Точно сговорились, без слов. Вон Якоби, тот себя одурманивает смешными анекдотами. А ведь, как и я: видит ее, видит... В бессонницу воображает себя молодым красавцем, необыкновенно пленительным. Обманывается сказкой. Все люди трусы. Одни морочатся оккультизмом. Этакая, слушайте, цаца — тысячу раз жила! Другой

матушка земля создать не может, все зады повторяет. Опять того же Ивана Ивановича на свет роди в новом издании. Подумаешь! Соломко, например, уверяет, что он был жрецом-скрибом в Мемфисском храме, а Далматов гладиатором и с самой Мессалиной путался. Луговой Алексис либр-пансером притворяется, а на спиритические сеансы бегает свою мамашу вызывать. Это же так понятно. Я вот помню: в Татьянин день у Яра Мачтет напился, влез на стол и умолял товарищей: похороните меня рядом с Гоголем... — Зачем? — спрашиваю. — А как же? Кто первый воскреснет, тот другого разбудит. — Кто-то ему, кажется, Гольцев: да, может быть, он уже воскрес и перевоплотился! — Ну нет, иначе я его в себе почувствовал бы.

В этот день был такой великолепный закат.

Как я уже говорил — перемена температуры в этот час гибельна для слабогрудых. Из своей комнаты Антон Павлович перешел ко мне. Весь запад в багрянце. На листве вспыхивало и трепетало пламя.

Магнолии — их большие и белые, как молоко, цветы — порозовели, точно бледные лица, залитые румянцем. Лилии казались горевшими кадилами. Худые, тонкие пальцы Чехова поводило.

— А все-таки я ее надую.

— Кого?

— Курносую. Врут все и вовсе мне не опасно... И зачем я только их слушаю? Сам доктор, и хороший доктор! — упрямо подчеркнул он, точно кто-нибудь его оспаривал. — Отчего вы у меня не лечитесь?

— А потому, что я не болен.

— Жаль, а то бы я вас, ей-Богу, вылечил. Не напрасно мертвецов потрошил, знаю. У кого нынче грудь сильна? У вас! Так разве вы человек?..

— Благодарю.

— Слушайте же. Я об организме. Ассирийские быки такие были. Видели — снимки с раскопок? Навуходоносор на подножном корму, когда его Иегова обидел. Так и вы. Разве это грудь? Наковальня. Ведь, в самом деле, чепуха. Вон пробирная палатка (о нем ниже) идет, снял шапо и лоб вытирает. Жарко, а я сиди дома. Мои родные и похуже меня были, а до семидесяти лет доживали. Я вот говорю: сам доктор. А самому доктором быть скверно. Все преувеличиваешь. Всякую мелочь на научную мерку. На что вам с вашей наковальней наплевать — для меня уже показатель. А показатели брешут и только жить Эскулапам мешают. Возьму и начихать мне на всех, и прежде всего самого себя надую. Пожалуй, еще до такого нахальства дойду, что, как Вейнберг, ни одних похорон не пропущу. Буду над каждой могилой речи произносить. С бюро похоронных процессий заключу условие: так и в счетах будет. «Купцу первой гильдии

Синепопову за речь писателя Чехова над могилою родителя, коммерции советника и кавалера Ионы Синепопова тож — пятьсот рублей». При удаче — хорошенькая эпидемия, например, или широкая масленица с кислой капустой на первой неделе поста — все пятнадцать тысяч в месяц. Чем не заработок?

И засмеялся, и повеселели и мы. Кстати, подошли другие русские, чуть не до двух часов ночи проболтали.

С этого дня Чехов чувствовал себя повышенно бодро.

И я от всей души верил ему.

— Слушайте, врачи мне наврали про мою болезнь, а я им поверил. Еще как поживем! Потанцуем на вашей свадьбе. Куплю вот козу и буду ее сосать. Или коровьи сливки ведрами пить. А то, как нероновская Поппея, купаться в молоке девятисот ослиц!..

Потом, когда я уже встречал его в Петербурге и в Ялте, он сильно в этом отношении переменился. О болезни избегал говорить и терпеть не мог, когда ему замечали: «Вы сегодня очень хорошо смотрите! Отличный вид у вас!» Он морщился и ронял: «У меня всегда хороший вид!»

Он даже сделался суеверен в этом отношении. Запоминал сны, интересовался приметами.

Еще за год до «русского пансиона» в Ницце мы встретились в Больё, в прелестной Villa Batavia у Максима Максимовича Ковалевского. Тогда на Ривьере жило много наших писателей, профессоров и врачей. Между прочим, Джаншиев и, кажется, А. Н. Плещеев. А. П. Чехов чувствовал себя великолепно и только понять не мог: зачем его сюда послали — на юг? На одном из завтраков у Ковалевского он вдруг ни с того ни с сего:

— Слушайте же, я, ей-Богу, буду теперь некрологи писать.

— Какие некрологи?

— Почему именно некрологи?

— А вот чувствую, что я именно для этого создан. Человеку с фантазией воспоминания — лафа. Ври, сколько хочешь. Нынче покойники не стучатся в окно. Я так и сделаю: сначала буду морить больных за хороший гонорар, а потом за еще лучший вспоминать их.

В Ницце по субботам в одном из пансионов давали так называемые «русские обеды». На них бывал и Чехов.

У Антона Павловича то и дело вырывалось:

— Ну, зачем я здесь?

— Разве плохо?

— Нет, а только все чужое. В Москву хочу.

Потом в «Трех сестрах» это «в Москву, в Москву!» прозвучало, как лейтмотив. Так и у него оно выходило — подчеркнуто, с особенным ударением. Те, которые не слышали этого от самого Чехова, не понимали всей тоски и мечтательности его восклицания «в Москву, в Москву».

— А то еще куда меня гонят? В Африку. Что я Васко да Гама, что ли? Ведь это, слушайте же, в опере хорошо... Ни за что не поеду. Тоже нашли Стенли. Пусть Василий Иванович едет. Его мамка в детстве ушибла. Ему чем дальше, тем лучше... А я ни за что. Мало я черномази видал! Даже если мне еще тарелку гречневой каши дадут, не поеду!

И, разумеется, на зиму все-таки поехал, если мне не изменяет память.

Как-то выходим от Ковалевского.

В его саду только что поднялась великолепная пальма. Ствол еще не подрос, и вся она роскошным венцом точно к земле припала.

— В Москву хочу!

— Ну что в Москве хорошего? — смялся я. — Посмотрите здесь — какая это прелесть!

Чехов с ненавистью взглянул на пальму.

— Нашли тоже: жирная индюшка села, и встать ей трудно. То ли дело наши березки. Скромные, стыдливые, беленькие. Совсем мещанские невесты из старозаветной, хорошей семьи. Вывели Феничку к жениху, а она не знает, куда ей глаза девать. А то еще сравнение — пальма! просто громадный кочан какой-то — нашли красоту!

В последние годы он стал молчалив, а тогда любил думать вслух.

— Я только что из Ментоны. Сидели рядом на берегу в креслах чахоточные. Ноги в толстых пледах, теплые шапки на нос надвинуты. Злятся и плюются. А море, здоровое, сильное, смелое, катится к ним. У кресел жены или мужья. Хорошо бы написать, как они ненавидят этих умирающих, как рабы, прикованные к галерам. И про себя думают: скоро ли тебя, подлеца, черти унесут... И только природе нет дела ни до тех, ни до других.

Немного спустя:

— Пришло мне, слушайте, очерк один. Сельская учительница в крестьянском возке. Едет в город за жалованьем. Наголодалась и нахолодалась. Сама в овчинном тулупе, в сапогах. Лицо бурое, грубое, обветренное. Грязью захлестало всю. Шелудивая лошаденка добежала до чугунки и стоп — проезду нет. Опустила голову, тяжело дышит. Мимо громыхают вагоны. В окнах первого и второго классов мелькают молодые, нежные девушки. Хорошо одетые. Вот и вагон-ресторан бежит. Чисто, тепло, сытно. Учительница смотрит, в каждом улыбающемся тонком личике себя узнает. Такой, какою сама была несколько лет назад... Подняли шлагбаум. Возок покатился. Мужичонка корявый, жесткий, как мозоль, оглядывается, что это-де случилось? Видит и понять не может, чего это учительша ревет. — «Нешто кто тебя обидел?» — Сама себя обидела.

2 Зак. 2495

Мне это понравилось.

Через несколько лет спрашиваю:

— Написали?

— Нет, что ж... И не буду. Не выходит как-то. Не стоит.

Я начал возражать.

— Если хотите, вставьте при случае главку. А мне... я пробовал и разорвал.

Рвал он много начатого и неудававшегося ему. Неудававшегося, разумеется, по его мнению.

Я прожил большую жизнь. На моих глазах ушло, родилось и выросло много пишущей братии, но, повторяю, я не знал никого, кто бы так строго относился к себе, как А. П. Чехов. Легендарные десять лет, которые выдерживал в своем письменном столе рукописи И. А. Гончаров, — по нынешнему времени уходят в область дидактического баснословия. Всякая работа нынче утратила бы свое значение, особенно при ускоренном темпе современности, начавшемся уже в чеховские годы. Тургеневское «пусть спеет» было возможно, потому что у него барского doice far niente[1] оказывалось в распоряжении с зари и до зари.

Чехов жил тем, что зарабатывал, да и семью содержал. Ему нельзя было щеголять такими писательскими причудами и господскими затеями. Великому Л. Н. Толстому тоже не трудно было выжидать да по десяти раз перекраивать и передиктовывать свои сочинения. Нам, литературному пролетариату, время — деньги, и уж очень-то щедро тратить его не приходилось. Случалось продавать самые дорогие сердцу авторскому произведения на корню, и наша совесть молчала, потому что работалось впроголодь и впрохолодь. Да еще на каждый наш рубль десяток ртов было разинуто! Попробуй выдержать роман в письменном столе при деликатных намеках: «Что же это вы, батюшка, аванс взяли — а оригинала и по сию пору в типографии нет? Это уж мы вам предоставляем сообразить, как это называется между порядочными людьми», — и т. д. в том же милом и деликатном роде.

Но Чехов, действительно, каждую строчку оглядывал, взвешивал и примерял Бог весть сколько раз. Разумеется, продли ему судьба жизнь, он — уже сравнительно более обеспеченный в своем ялтинском уголке — начал бы настоящую ювелирную обработку задуманного. Его авторская трагедия в том и заключалась, что он ушел в тот момент, когда от него можно было ожидать таких сочинений, которые составили бы эпоху в нашей изящной словесности. В этом отношении небо особенно немилостиво к русскому писателю. Вспомните Веневитинова, Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Слепцова, Помяловского, Гаршина, Надсона.

---

[1] Сладкое ничегонеделанье (*ит.*).

Глупые Парки ткут без конца нити всевозможных жизней никому не нужной бездарности и обрывают те, с которыми перевились радужнейшие из наших ожиданий и надежд.

Чехова сравнивали с Мопассаном, воображая, что делают великую честь русскому писателю — одни, или ставят рядом две одинаковые величины — другие. Мне это казалось всегда обидным для памяти нашего Антона Павловича. Блестящий французский рассказчик и вдумчиво-глубокий наблюдатель русской жизни. Что же между ними общего? Разве только объем маленьких рассказов и миниатюр. Уже одно то, что у талантливого парижского новеллиста всюду почти на первом плане адюльтер, который у Чехова встречается редко и в такой скромной форме, точно его и нет совсем. Гюи де Мопассан, мастер шаржа и смеха, почти вовсе лишен юмора, которым Чехов был одарен в высшей степени. Правда, на палитре у первого были гораздо более яркие краски, но ведь неизвестно еще, не показал ли бы нам Антон Павлович такие же. Ведь нельзя же одними колерами рисовать Чухлому и Козмодемьянск или Алжир и Прованс. Такой сильный художник-наблюдатель, как автор «Трех сестер» и «Вишневого сада», разумеется, не стал бы макать свою кисть в северную мглу, чтобы смелыми штрихами набросать картины солнечного юга. А по отношению к глубине проникновения в человеческую природу, в душу маленьких, незаметных, хмурых, никчемных людей — во всю эту протоплазму конца 80-х и начала 90-х гг.— в действовавшей и действующей литературе Франции за последние сто лет, разумеется, нет никого равного Антону Павловичу. Это сравнение с Мопассаном, которое казалось вначале очень лестным маленькому Антоше Чехонте, заставляло его добродушно улыбаться, когда он дорос до настоящих размеров своего гения. «Пускай их — ведь они без ярлыка или сравнений обойтись не могут. А так навесят на человека этикетку, и рады. С нею и бессарабское за настоящий шатолафит сойдет». Разумеется, продли судьба Антону Павловичу жизнь еще на несколько лет — иное дело. Все такие сравнения и для литературных слепышей показались бы более чем странными. Антон Павлович был отнят у нас в те годы, когда русский гений только прочно становится на ноги и чувствует мощь своих развернутых крыл. Из орленка, несомненно, разросся бы настоящий орел. В этом отношении Чехов увеличил собою Четью-Минею рано отнятых у нас судьбою властителей дум. Я хотел было сказать «угасших», но именно это не подходит к Антону Павловичу. Его костер только что разгорался ярким пламенем, и судьба задула его, когда в нем было еще многое, чему оставалось пылать. Ведь добрых 10 лет А. П. Чехов потерял на завоевание себе жизни, на борьбу с обыденщиной, в скитаниях по мелким журнальцам, набрасывал сотни крохотных рассказов из эпохи нашего печального безвре-

менья, когда старые идеалы слиняли, идеалисты ушли со сцены, а новые еще не выступили на нее. Несомненно — проживи он еще — осуществились бы и его мечты о большом романе. Я помню, как он мне в Крыму говорил: «Не умру без большого романа. Настоящего большого. И Немировичу и всем (он не мог не подтрунивать, у него все переплеталось с шуткой) нос утру». И потом уже серьезно: «У меня он, этот роман, давно в голове. Все, что я писал, только размахивался. Пробовал. Это были этюды перед большою картиной. Отдельные черточки. Всю бы русскую жизнь хотелось втиснуть, так листов в пятьдесят—шестьдесят печатных. Меня вон с Мейсонье сравнивают, а я чувствую силы и для громадных полотен, так чтобы не стесняться размерами. Кого хочу, того и ввожу, и всем есть место».

Думаю, что роман А. П. Чехова создал бы эпоху в нашей словесности. Недаром с такою тоскою он повторял: «Ах, мне бы здоровья. Силы побольше. Страшно подумать — могу, и не сделаю, а миллионы, которые не могут и не делают, — живут, живут, живут... Мне бы еще десять лет, только десять. Я бы заперся на это время, как старцы уходили в пустыню. В Фиваиде, и там бы писал, писал, писал»...

Большой роман! Мне из-под пера Чехова он представлялся равнозначащим в литературе «Дон Кихоту» Сервантеса, «Мертвым Душам» Гоголя и «Обломову» Гончарова. Он, живописавший житейскую пошлость, — только еще начинал размахиваться на более крупное, смелое и сильное. От своего добродушного безразличия к изображаемым им людям — он уже переходил к более страстному отношению к наблюдаемым тонко и художественно явлениям. Поразительный реалист, он уже угадывал новую, слагающуюся вдали, жизнь! В этом слабом теле, потрясенном и разрушенном поездкою на Сахалин и возвращением через Сибирь, жила большая душа, которая только к 1904 году — год смерти — почуяла свою силу и рванулась на простор... Прежнее признание действительности сменялось отрицанием ее, сознанием необходимости пером, как мечом, бороться с нею — да, большой роман скоро из мечты перешел бы в явь, и сама фигура его автора выросла бы перед нами в более грандиозном размере. Судьба, все давшая ему для этого, — все отняла у него на самом повороте с проселка на большую дорогу.

Я сказал: безразличие Чехова. Было ли это безразличием? Не думаю. Как можно было относиться иначе к тем элементарным явлениям житейской пошлости, которую тонко наблюдал и художественно изображал он? Ведь, чтобы убить блоху — не надо ни грома, ни молнии. Та явь, которая раскрывалась перед Чеховым, не стоила иного отношения. Он убил ее именно верным ее воспроизведением. Не находите ли вы, что в этой бесстрастности есть беспощадность? Вот тебе зеркало — взгляни,

каков ты, и исчезни или спрячься от собственного твоего безобразия и ничтожества.

Люди, обрушивающиеся на Чехова, судят его не за то, что он написал, а за то, чего он не написал. Но это противно даже евангельскому: за словесы твоя буду судить тебя, рабе лукавый!

Чехов при том никогда не священнодействовал. Не было в нем противного лицемерия самовлюбленных ничтожеств. Много и мучительно работая, он терпеть не мог, чтобы говорили об этом. Ему нравилось слыть бездельником. Помню в той же Ницце:

— Ленюсь, баклуши бью. А публика, она наивная, воображает, что я от письменного стола не отрываюсь.

— Ну, положим.

— Что?

— Весь прошлый вечер.

— Так я притворялся. А то от культяпки нельзя было отделаться. Он все добивался, что я о «пробирной палатке» думаю.

У нас в «Русском пансионе» было два смешных постояльца.

Один, хромой, взъерошенный, ощетинившийся дыбом на весь мир и несуразный, как солдатский сапог. Приехав сюда прямо из пробирной палатки, где он был первой спицей в колеснице, вообразил себя среди простых смертных чуть ли не Киром, царем персидским. Страшно был горд и тем, что он статский советник, переводя по-французски себя в государственные советники, и еще более тем, что кругом были бесчинные — «пожалуй, что мещане, а то поповичи!» Про Чехова и меня он говорил кому-то: «Я, знаете, по человечеству никем не гнушаюсь. За табльдотом формуляром не интересуешься!» Второй, совсем уж шут гороховый, явился из Варшавы и с первой же встречи огорошил Чехова. За общим столом он оказался рядом. Я передаю точно все это — хоть порою оно сбивает на анекдот.

— Извините, я, может быть, неприятен вам, — шепотом обратился он к А. П. Чехову.

— Почему?

— По роду своих занятий.

Бледный. Усы еще не пробиваются, глаза испуганные, наивные. Весь в веснушках. Губы по-детски пухлые... Из чудом выживших недоносков.

— А вы кто же будете? Какие у вас занятия?.. — Вижу, Чехов серьезен, а в глазах у него загораются веселые искорки.

— Я... извините... шпион.

— Что?

— Шпион.

И он целомудренно потупился.

— Почему?.. Что такое?..

Никто из нас ничего понять не мог.

— Так точно. Потому что гимназию окончить не мог. Ну, а генерал Пузыревский, он знаменитый генерал, мою мамашу

очень уважал. У меня мамаша почтенная. Она пансион получает и папашу с военной музыкой хоронила.

Час от часу не легче.

— А генерал причем?

— А он как будто благодетель... Хотите, говорит, я устрою вашего мальчика в секретное отделение. Мамаша спрашивает: «А двадцатого числа жалованье за это полагается?» — «Не только двадцатого, но и так поштучно награждают». И вот, извините, устроил... «Мы ему жалованье, и как он у вас слабенький, так для легкого воздуха будем его заграницу на казенный счет в командировку посылать». И, извините, послал.

— Слушайте же, — серьезно добивается Чехов, а у самого глаза еще пуще смеются: — так вы и на меня при случае донесете.

— Помилуйте! Как же это можно, извините! Чтобы я посмел! Я вас читал. У нас на службе знаменитых людей уважают. На домах даже мраморные доски: «Здесь умер такой-то». Что вы! Да как это... Мне даже страшно слушать от вас такое. Извините!

— Да ведь вы, слушайте же, должны доносить?

— Уж как полагается.

— О чем?

— Вообще... извините. Вот...

Уставился тупо в угол, и совершенно неожиданно:

— О направлении умов...

— То есть как же это?

— Мы должны все слушать и соображать. У нас, извините, служба тонкая. Ее понять надо. Мамаша меня при его высокопревосходительстве на колени поставила и маткой-бозкой ченстоховской благословила. У меня ассигновка была для оправдательного документа. В нашем, извините, управлении даже есть действительный статский советник, и у него в петличке и на шее всякая кавалерия.

Очень меня занял этот «извините, шпион».

Чехов это заметил.

— Слушайте же... Василий Иванович. Вы мне его уступите! Я его во весь рост написать хочу.

Смаковал он его, смаковал, и все-таки бросил. А тип попался благодарный.

— Вы знаете, чем он меня утешил?

— Кто?

— «Извините, шпион-с!» «Я, говорит, маленький человек, а сейчас на одну линию с вами попал». — «Например?» — спрашиваю. — «А как же! Вы были на Сахалине в казенной командировке, а я на такой же здесь... Для пользы службы». — «Помните один из анекдотов Якоби о концертировавшем Николае Рубинштейне и господине, ехавшем в одном с ним ва-

гоне на Нижегородскую ярмарку: Ну, как наши с вами дела пойдут?»

И расхохотался.

Смеялся он редко, но когда смеялся, всем становилось весело, точно луч в потемках.

— Сейчас у меня с ним опять разговор был. Спрашиваю его: «Слушайте же, ну что заставило вас идти на такую должность?»

— А что?

— Да ведь поганая она?

— Извините. Как же поганая, когда мне даже Станислава в петличку могут дать за отличие? Должность хорошая. Каждое двадцатое число пришел и получил. Чистая служба. Об нас даже в романах пишут. Потом, извините, нас все боятся, а мы никого.

— Но ведь иногда и бьют.

— Разумеется, извините, это неприятно и... больно. Но, во-первых, не надо попадаться. А потом гимнастика! Нас, говорят, будут обучать с гирями. На случай чего, не дай Бог, извините! Я на эту гимнастику очень надеюсь. Она выручит. У нас есть... — И он назвал какую-то фамилию.

— Тоже шпион?

— Извините, да-с. Но он уже на днях статским советником будет. Ему даже его высокопревосходительство руку подает Ну так он хорошо эту гимнастику знает. От трех один отбился. Он у нас как бы героем считается. Он большой, черный, как калмык, волосатый, и его все боятся. Мне так рассказывали, что его взгляд редко кто выдержать может. Только я его не одобряю-с. Извините, он иногда и пытает даже. А уж это не благородно...

Может быть, я ошибался, но мне казалось, что у А. П. Чехова была особая манера творчества от малого к большому. Прежде чем писать, он пробовал остроумное сравнение, веселый рассказ или его эпизод на собеседнике. Как будто невзначай вставит и смотрит: какое производит он впечатление? После встречаешь уже в печати знакомую подробность. Угадывал он это впечатление удивительно. Сидит, заложивши ногу за ногу, смотрит через ваши головы куда-то далеко и видит и замечает все кругом. Потом у него вырвется несколько слов, по которым ясно, что мимо его наблюдательного аппарата ничто не прошло, не оставив следа на этом чутком негативе. Каждая беседа с ним мимоходом, наскоро — вносила свою черточку, что-то оставляла в душе. Западет, бывало, чеховская фраза, вспомнишь ее после и любуешься. Я забыл уже, у кого это было. Заговорили о малороссах и наших. Спорили много, Антон Павлович будто и не слушал даже, а потом вдруг:

— Знаете... На Сахалине раз посетил я острог. Спрашиваю у хохла: «За что ты здесь?» И он плаксиво, по-бабьи: «За

напрасно, то есть вот как Бог на небе. Ничего же уж я не сделал, страдаю невинно! По чужому оговору». Слезы в голосе, а сам весь скис и осел. А рядом русский. И к нему я с тем же: «Ты как сюда попал?» Тот, не опуская глаз, смотрит на меня, даже, если хотите, вызывающе: «Известно как. За хорошие дела сюда не посылают».

— Да, может быть, первый и в самом деле не виноват.

— И я было подумал. Справился: двух прирезал и на третьем попался.

Была в его характере одна комическая черточка: терпеть не мог похвал его таланту и художественным произведениям и в то же время близко к сердцу принимал сомнение в своих врачебных достоинствах. Зашел ко мне в Петербурге. Жил я тогда в гостинице Англия, на Исаакиевской площади. В этот день чувствовал себя неважно. Целую ночь кололо сердце, были перебои. Говорю ему. Послушал он мой пульс.

— Ниточка дрожит. У вас пульс клубного игрока, хоть по ночам тот за картами, а вы за письменным столом. Лестницу перемените, нельзя вам высоко жить. Я бы на вашем месте думал: на какой ступеньке хлопнусь?

Я засмеялся.

И он вдруг обидчиво.

— Да вы, что же, не верите мне? Плохой я врач, по-вашему?

— Как сказать? Только нельзя быть одинаково крупным и в литературе, и в медицине. Чехов-писатель, разумеется, заслоняет Чехова-доктора.

Потемнел, и потом долго спустя, капризно:

— Слушайте же. Когда-нибудь убедятся, что я, ей-Богу, хороший медик.

Как-то заболела моя знакомая. Рассказываю ему...

— А вы бы посоветовали ей, чтобы меня позвала. Да, впрочем, вы меня считаете скверным доктором. Слушайте же, это черт знает что. Я пять лет учился даром, что ли?..

Мне было ясно, что он искренно огорчен.

Как-то задела меня заметка газетного рецензента, усомнившегося, был ли я в Испании. Очевидно, по невежеству он считал Испанию такой далекой страной, в которую «русскому писателю никак не попасть». Да и очень неправдоподобными показались ему тамошние нравы. Встречаю А. П., рассказываю ему, не без чувства обиды.

— А где он живет?

— Кажется, на Гороховой.

— Слушайте же. На Гороховой ведь этого нет, потому он и не верит. Помилуйте, ведь и у него глаза есть. По тротуару в редакцию ходит, — видит: где они, эти самые тореро? Нет их! В Зоологический сад ездит — нет там пальм. И вы тоже. Желудок у него хоть проспиртованный, но слабый, а вы ему

столько этой шпанской мушки насыпали. Ну, он и не выдержал. Войдите же и вы в его положение. Свет-то у него весь с куриный нос, а вы вон какие горизонты раздвигаете. Вы думаете, мне не приходилось встречать таких? Хоть бы вчера, один по поводу моего двоеженца: «Это неестественно», — а у самого нос круглый, глупый и глаза, знаете, веселые, как у сытых свинок. Другой даже в печати: никогда Чехов сумасшедшим не был, а сумасшедших изображает, как они чувствуют, что им кажется. Я и на него не сержусь. Еще бы, ничего такого в «Альпийской Розе» нет, а он ведь дальше «Альпийской розы» не бывал. С Сивцева вражка в «Альпийскую розу», по пути в редакцию, за авансом. Вот и все шесть частей света.

Я заношу все эти мелочи в свои беспорядочные воспоминания об Антоне Павловиче, потому что у таких, как он, каждая фраза, строка письма, носит на себе отражение его самого. Эти крупицы — как жемчужная россыпь, ее надо собирать, не пропуская ни одного зерна. Солнце его таланта горело, как в росинках, в кажущихся незначительными встречах, случайно оброненных фразах, мимоходом брошенных сравнениях. Хотя, принимаясь писать, он — не на первых порах, а впоследствии — и свой смех, и шутку облекал в трагические краски. Точно ожидание близкой смерти бросало свою траурную тень, как громадное черное крыло, на этого часто по-детски веселого человека. Мне мой брат Владимир — создатель Московского художественного театра — рассказывал:

— Чехов все грозился: «Слушайте же... Я, ей-Богу, напишу фарс»... Или: «Ужасно тянет меня на фарс... Вот увидите... В следующий раз приеду в Москву и привезу фарс... да еще какой! Вся публика хохотать будет». Написал, приехал и привез... «Вишневый сад».

Повторяю, Антон Павлович любил шутку и понимал ее.

Если бы не вечная забота о своем здоровье — этот живописец потемок и хмурых людей был бы одним из самых жизнерадостных наших товарищей. Я помню, в той же Ницце, «Пробирная палатка» (культяпка тож) надоела нам всем до одури. Мы не знали, куда от нее деваться: двуногая пошлость совалась под нос всюду. Одно только нас утешало: это его духовное сходство с Кузьмой Прутковым. В этом авторе бессмертных афоризмов братья Жемчужниковы угадали культяпку. К ниццской аристократии того времени принадлежала семья Арнольди, богатых людей, у которых на четвергах бывал весь fine fleur[1] этого интернационального гнезда. Тут мешались в одну пестрядь и великие князья, и прелаты, и французская знать, и американские выскочки-миллиардеры, и выдающиеся писатели, художники. Рядом с таким популярным ученым, как профессор Макс.

[1] Избранная часть какого-либо общества (*фр.*).

Макс. Ковалевский, протискивался нашумевший о себе прощелыга с громким, заимствованным у предков именем, английская леди и нью-йоркская прачка, вышедшая замуж за свиновода из Чикаго. Президент республики, посещая это райское поморье южной Франции, не забывал хоть на четверть часа показаться на five-o-clock tea[1] у «Василисы». Мы звали так хозяйку великолепной виллы Арнольди, написавшую и издавшую в Париже под этим заголовком на французском языке недурный роман из модной тогда русской жизни. Милая семья соотечественников отличалась этим маленьким недостатком. Все мало-мальски заметное должно было непременно украсить салон «Василисы».

Супруги Арнольди считали себя несчастными, если кто-нибудь избегал этой общеобязательной повинности.

Василиса в таком случае отряжала непременно мужа на охоту за редким экземпляром, появившимся в местной светской фауне, и тот не успокаивался, пока не подавал его — на ближайшем четверге, под надлежащим гарниром.

Парижские знаменитости в таких случаях являлись столь ослепительными павлинами, что рядом с ними совершенно терялись скромные птицы нашего отечественного курятника. Я помню, каким маленьким казался тут Алексей Николаевич Плещеев, бок о бок с необычайно встопорщившимся и всех обдававшим мыльною пеною своего мирового величия Викториеном Сарду. Его только Григорович сумел поставить на свое место удачною шуткой, в которой самомненный французский драматург почувствовал силу не по плечу.

Но это случилось потому, что Григорович — сам сын матери француженки — умел по-тамошнему чудесно пускать пыль в глаза и не позволял наступать себе на ногу никому, кроме... их высочеств!

Разумеется, появление Чехова в Ницце — взволновало маленький муравейник Василисы.

На первом же четверге она прижала меня к стене.

— Это тот самый?

— ?

— Ну, которого переводят теперь французы?

— Да.

— Настоящий?

— Чего настоящее быть не может. 96-й пробы, с ручательством на три года.

— Вы все смеетесь. Почему же его до сих пор здесь нет?

— Он нигде не бывает.

— Да, но у меня все!

По ее мнению, весь мир сосредоточивался в ее салоне, остального не существовало!

---

[1] Файф-о-клок (*англ.*); чаепитие между вторым завтраком (ленчем) и обедом, принятое в Англии и США.

— Он, верно, мрачный ипохондрик?

— Слава Богу, нет. Очень веселый и милый человек.

— Тогда я ничего не понимаю... Привезите его ко мне pour faire sa connaissance![1]

— Не поедет.

— Как же это так? Им заинтересован даже августейший.

— ?

— Михаил Михайлович.

— Да какое дело Чехову до него?

— Значит, он нигилист. Неужели из тех, что с револьверами в карманах ходят?

Я расхохотался.

— Ну, вот видите, сами смеетесь, значит, нет. Так почему же?

Черт меня дернул сказать: «Чехов привык, чтобы к нему ездили!»

И старого Арнольди Василиса немедленно командировала вниз в город (их вилла была на горе Montborron) во что бы то ни стало найти, добыть и привезти к ней нашего писателя. А собравшейся на этот четверг публике было объявлено: в следующий — у нас будет наша национальная слава, знаменитый Antoin de Tchekoff, писатель...

— Вроде кого? — заинтересовалась леди Грей, слывшая здесь за esprit fort[2] и знавшая весь Олимп Англии и Франции.

— Вроде... вроде... Мопассана doublé de votre Thackeray[3].

— Ао!..

Это стало понятно и успокоило всех.

Дать имя — достаточно. Никаких других определений не надо было. Вечером мы с Чеховым до истерики хохотали над этою литературною характеристикой Мопассана, подбитого автором «Пенденниссов».

— Как это тонко! — восхищалась леди Грей... — Только вы можете так в двух словах.

Василиса благосклонно улыбалась, принимая поздравления.

— Где его можно застать на нейтральной почве? — пристал ко мне Арнольди.

— Позовите его к себе. Он когда у вас бывает?

— Больше по ночам.

— По ночам я сплю! — обиделся старик. — Поймите же. Он приезжий. Неловко же мне к нему первому. Есть известные правила.

— Да, но что же с ним поделаешь? Он, вообще, оригинал.

— А, ну это другое дело.

Дать кличку — значит успокоить все сомнения.

---

[1] Чтобы познакомиться (*фр.*).

[2] Вольнодумку (*фр.*).

[3] Двойника вашего Теккерея (*фр.*).

Оригиналу, раз я признан таким, можно то, чего никому другому нельзя. И в то же время у оригинала все признается особенным. Даже если он вынет носовой платок, высморкается в него и положит обратно.

И Арнольди подъехал в «одно прекрасное утро», в своем великолепном ландо с еще более великолепным ливрейным лакеем, к нашему скромному пансиону и, не застав ни Чехова, ни меня, оставил нам карточки.

Старая лиса нашлась pour sauver les apparences[1]. Он же был у своего старого знакомого, у меня, и, мимоходом, кстати, оставил карточку и Чехову.

Вернувшись, мы нашли у себя обе карточки.

Чехова даже перекосило.

— Слушайте же... Не хочу я знакомиться с ними, чтобы Василиса меня под разными соусами подавала знатным обоего пола персонам.

— Не избежите...

— А вон увидим.

В этот день мы особенно были злы на пробирную палатку. Надоел он нам до отчаяния. Вздумал читать свои сочинения о пробирной палатке и давал Чехову тему для рассказа.

Сошли к портье.

— Это карточка не ко мне.

— Excusez[2], в ландо... С ливрейным лакеем. Un vieux monsieur très chique![3]

— Знаю, знаю: et bien propre![4]

— Voilà![5]

— Это не ко мне. Может быть, к знаменитому государственному советнику (conseilleur d'Etât), почем я знаю... Им все гранддюки[6] интересуются.

Француз сделал благоговейное лицо: il n'y a que les russes![7] и, точно боясь обжечься, взял карточку Арнольди. Мы потом только узнали, что он, ничего не сумняшеся, опустил ее в ящичек культяпкин. Лохматая коряга, щеголявшая в куцем пиджаке (я ведь здесь инкогнито — намек на вицмундир), с точным на бортах и лацканах меню всего съеденного за неделю, изумилась.

— Это что за Арнольди? С какой стати он оказывает мне знаки почтения?

---

[1] Для соблюдения приличий (*фр.*).
[2] Извините (*фр.*).
[3] Старый господин весьма пожеванный (*фр.*).
[4] Весьма опрятный (*фр.*).
[5] Вот-вот! (*Фр.*)
[6] Великосветские (от *фр.* grand duc: великий герцог).
[7] Он не был русским! (*Фр.*)

— Как же вы не знаете? Там постоянно бывают великие князья... Он и к вам, как к высокопоставленному.

— У него президенты и днюют и ночуют, — вставил невинно Антон Павлович: — ведь вот какой: мне он, небось, не сделал визита... Слушайте же — ну, прочел ваше имя в «Petit Niçois» parmi les étrangers célèbres[1] и поспешил.

— В ландо и с ливрейным лакеем.

— Да!.. Ну, я теперь понимаю. А то как хотите, странно!

— Ведь не каждый же день государственные советники в Ниццу попадают.

— Поезжайте к нему непременно в четверг, часа в четыре.

— Пожалуй... Знаете, все-таки это с его стороны любезно.

— Ну, и великим князьям будет приятно узнать: есть-де в Ницце шеф пробирной палатки, имя рек. И царю в Питер напишут: «Видели-де здесь такого-то». Приятно быть, черт возьми, сановником.

— Ну, уж вы... — разнеживалась культяпка, не замечая гоголевских цитат.

— Смотришь, приглашение ко двору на малые вечера...

— А оттуда и в министры рукой подать. А из министров в графское Российской Империи достоинство!

Пробирная палатка вздулась, как гуттаперчевый шар, и, уходя, подала нам с Чеховым — два пальца.

Можете себе представить, какое впечатление культяпка произвел в роковой четверг на fine fleur[2] европейской колонии у Арнольди с герцогинею Соммерсет, леди Грей, Вандербильтом и велик. кн. Владимиром Александровичем. При появлении в дверях этого ощетинившегося сапога из пробирной палатки сначала все онемели, особенно, когда, хорошо наставленный нами, он начал подходить поочередно к рукам всех дам. Как в первых домах.

На другой день пробирная палатка явилась к табльдоту мрачнее ночи.

Весь дыбом. Дикобраз дикобразом. С какой стороны ни подступи — наколешься.

— Ну что, пили чай с великим князем? — завистливо спрашивает Чехов.

— Нда... — неопределенно промычал государственный советник. — Чай!

— Правда, гостеприимный дом?

Пробирная палатка только засопела, как тюлень из воды.

Через день встречаю на Promenade des Anglais Арнольди.

— Ну, знаете, и хамы завелись в Ницце.

— А что?

---

[1] В «Маленькой Ницце» в числе знатных иностранцев (*фр.*).

[2] Избранная часть какого-либо общества (*фр.*).

— Можете себе представить. В четверг у нас. Является какое-то неряшливое чудо костромских лесов... днем во фраке и ордена! И первым делом с левого фланга всем дамам не представленные руки целует. Жена (Василиса) чуть не в обмороке. Вошла горничная Франсуаз — он и ей чмок. Я его поймал за жабры и к себе в кабинет, а оттуда другим ходом выпроводил. Его Высочество, слава Богу, нашел это забавным и поэтому мы долго смеялись потом... Я вас спрашиваю, что это такое? А ваш Чехов так у меня и не был!

И потом уже я слышал установившееся о нем в этих кругах Ниццы:

— Да, это большой талант, почти гений, но как человек, он très mal élevé![1]

Сидим мы на набережной в Ялте.

Совсем индиговое море у наших ног. Чмокается в деревянные пристани, чуть покачивая замершие у берега лодчонки. Кипарисы, вытянувшись в струнку, млеют в солнечном тепле и свете. Дали чистые, прозрачные, в их лазури рая мерещутся.

Мимо одна из местных литературных девиц (на этом типе я остановлюсь когда-нибудь!) и еще издали расстреливает глазами Антона Павловича.

— Еще одна ваша победа, — простодушно замечает он.

— Слушайте! Вы это что же? За пробирную палатку меня принимаете?

— Нет... я ведь видел.

Я его поднял на смех.

— Жаль, Нефедова нет.

— А что?

— Он бы поверил, сдвинул бы кудлатый парик набекрень и побежал бы за этой пучеглазой трясогузкой... тоже и Мачтет для этого хорош.

Дача его только что была отстроена.

Ее все видели на рисунках. Где только после смерти А. П. не было снимков! Даже «Illustration» дала «Villa de Tchekoff» en Crimée[2]. Она мне не нравилась. В этом солнечном краю в ней было слишком мало солнца. Точно она заслонялась от него или повернулась к нему спиною. Большой кабинет даже весь в потемках. Чехов остался и в этом верен себе. Отгораживался от всего яркого, слепящего. Мне казалось, что на радостном юге, пышном и пестром, он хотел создать себе уголок любимого им севера. Как я припоминаю (давно ведь это было!), громадное окно этой рабочей комнаты писателя казалось тусклым.

— Экая прелесть кругом! — как-то заметил я. — Ну чего вам недостает в Крыму?

---

[1] Весьма плохой ученик (*фр.*).

[2] «Виллу Чехова» в Крыму (*фр.*).

— Снежку бы. Да саночки. Поднял воротник шубы, засучил рукава — вожжи натянул и айда! Мужика бы нашего сюда.

— Сколько угодно их кругом!

— Это не то. Это все полтинники в сапогах бегают, да легкой наживы ищут... Уж на что эти долбоносы-дятлы, здешние греки, и те лучше.

— А татары?

— Татарин святой человек у себя в горном ауле. Ну, а как в руки московской купчихи попадет, так прямо ему камень на шею и в воду. Тут у меня приятель был Мурадка. Чудесный мальчик! А как ***купила ему штаны, куртку и шапку с позументом — сейчас ему хоть желтый билет вместо паспорта... Из-за них мне и Ялта опротивела. Случись мне теперь покупать землю и строиться, ни за что бы в этом лупанаре не бросил якоря!..

Он, впрочем, скоро купил небольшой участок в Гурзуфе. Но ему не удалось, насколько я припомню, поставить там простенького дома, о котором он так мечтал.

Средства к нему пришли тогда, когда он уже был обречен. Смерть протянула над ним властную руку; как доктор, он хорошо понимал это, а как человек большого и исключительного самооценивающего ума, знал, что его творчество еще не достигло своего высшего расцвета. Перечитывая его произведения, видишь, как ступенька за ступенькой он подымался по лестнице неизменно и неотступно и остановился, не дойдя даже до середины. Я думаю, неизбежность раннего конца была великою мукою его последних лет. Он продал А. Ф. Марксу свои сочинения за семьдесят пять тысяч рублей, причем издатель за каждую новую книгу платил ему опять, и по гораздо большему расчету. Гонорар со своих пьес он получал сам. Семьдесят пять тысяч потом были почти ничто, тогда они являлись крупною цифрой. Товарищи ему завидовали и, разумеется, молва значительно преувеличила эту сумму. Преувеличила настолько, что на Чехова стала закидывать удочки всякая предприимчивая мразь.

— Слушайте же, — жаловался он в Петербурге. — Они ведь меня миллионером считают. Я их буду посылать к Немировичу.

Я уже жил на углу Невского и Малой Морской (ныне улицы Гоголя) в номерах баронессы Риттергольм. Комнаты были чудесно отделаны. Случайно я попал в те, которые в последний приезд сюда занимал И. С. Тургенев, что, разумеется, подало повод злым языкам сквернословить на мой счет.

— Стоило умереть Тургеневу, и Григорович сейчас отделал под него свою шевелюру, а Немирович поселился в его номерах.

Точно в этих до меня не жили всевозможные милостивые государи и госпожи, хотя и принадлежащие к легкому чтению, но все-таки ничего общего с литературою не имеющие.

Через день после шутливой угрозы Чехова ко мне постучался сюда необыкновенно корректный, на все пуговицы застегнутый, сюртук с какою-то ленточкою в петличке и моноклем в глазу. Это — в десять утра!

— Антон Павлович, принимающий участие в моем затруднительном положении, посоветовал мне обратиться к вашему просвещенному содействию... тем более, что я так восхищался вашими прекрасными произведениями: «В пороховом дыму» и «Los novios»[1].

— «В пороховом дыму» написано Н. Н. Каразиным, а «Los novios» — графом Салиасом, — поправил я его: — но это все равно. В чем дело?

Монокль только поперхнулся, но не смутился.

— Скажите!.. Как это я мог смешать! Мне, видите ли, нужно на первый раз триста тысяч...

— Неужели только!

Я величественно развалился в кресле...

— Отчего не больше? Стоит ли о такой мелочи!

— Да... говорю: «на первый раз». За это лицо, которое бы пожелало вступить со мною в компанию, не далее, как в три года, получит миллион. Не больше, не меньше. Ровно миллион!

И он поднял передо мною указующий перст с таким твердым ногтем, что, кажется, не было на свете живья, которое бы не растерзал он.

— Позвольте пожать вашу руку. О благодарю, благодарю!

— Помилуйте не стоит, мы можем платить столько, потому что дело пахнет миллиардами.

— Я, знаете, никогда не нюхал миллиардов и совсем не знаю их запаха, но позвольте узнать, на какое дело вам нужны эти деньги.

— На соединение морей Черного с Каспийским. Мы убьем Англию...

— За что ж ее убивать?

— Она стоит на нашем пути к востоку... Весь восток будет наш.

— И только триста тысяч!

— Да, представьте, только... На разведки и предварительные расходы. А потом золото рекой польется в наши с вами карманы.

— Я, признаюсь, никогда еще таких рек не видал. Должно быть, очень красиво. Да и карман для такой реки надо особенный заказать, иначе прольется даром. Сколько же вам ассигнует Антон Павлович?

— Он мне сказал: столько же, сколько и вы. Если по полутораста, выйдет ровно триста!

— Счет верен... Но у меня сейчас и полутораста рублей нет.

---

[1] «Женихи» (*исп.*).

Он даже ладонь к уху надставил: не ослышался ли?

— Как вы изволили сказать?

Я повторил.

— Нет полутораста, не рублей, а тысяч? Так, может быть, мы удовлетворимся меньшей суммой, только нам придется искать третьего компаньона. И, разумеется, делить этот миллион на несколько долей.

Мне эта комедия надоела. Я решил ее оборвать разом.

— Мне некогда, вы меня простите. Будем говорить серьезно. Вы совершенно напрасно обращаетесь с этим к русским писателям. Все мы настоящие пролетарии. Живем работою и только работою, которая оплачивается очень скупо, а часто и вовсе не оплачивается. Я, например, вам и полутораста копеек не дам. Мы ведь тоже помогаем своим. А вот посоветовать вам могу: не беспокойте вы Чехова, он человек больной, и ему это очень вредно.

— Право, — говорил мне потом Антон Павлович, — надо завести секретаря писать ответы. Слушайте же, ведь это невозможно. Все денег просят. Какие-то чиновники, дамы...

— Пошлите их к черту.

— Да ведь и эти три слова надо писать, не считая адреса.

— Охота вам отвечать!

— А вы сами? Какая-то девица на приданое требует — и вы ей на трех страницах. Или вдова — на перевоз праха схороненного здесь мужа к месту ее новой службы, а вы сейчас подробно: насколько ее желание неисполнимо. Нет, в этом мы все одним миром мазаны.

Он по отношению к обращавшимся к нему анонимам и просто знакомым был удивительно деликатен. Я помню, как он изводился за границей, составляя письма по-французски и по-немецки (плохо знал языки) к разным переводчикам, библиографам, издателям и просто праздным любителям, интересовавшимся русскою литературою, вообще, и им, в особенности.

— Слушайте же, нельзя не отвечать. Мне Суворин говорил, что я это для популярности, а я о ней и не думаю. По горло сыт — благодарю! Как же бросить письмо в корзинку, да еще с маркой, приложенной на ответ? Ведь это все равно, что не приподнять шляпу на поклон или не пожать протянутую вам руку. Свинство, ведь?

Ему едва удавалось отбиться от самозванцев-актеров.

В Петербурге завелся такой промысел: бритые молодые люди осаждали писателей, имевших какое-либо отношение к сцене. Мне приходилось таким образом отплачиваться, как брату своего брата Владимира — создателя и руководителя Художественного театра. Чехову — как автору великолепных пьес. С раннего утра надо было ожидать паломничества, и, должно быть, оно было организовано очень правильно. Роли распределялись между

этими бездельниками в полном порядке. Сегодня один, завтра другой. А потом очередь дам, якобы принадлежащих к театральному миру и застрявших здесь без ангажемента. И те, и другие в совершенстве обладали способностью выбрасывать в минуту тысячу слов. Такой скороговорки я не слышал и в пулеметном бою. Она вас оглушала, лишая всякой способности соображать и думать вообще. Начиналось это перечислением городов и трупп, потом шли пьесы, причем для большей убедительности называлась не только фамилия автора, но и его имя и отчество и адрес. Если у него была жена, ссылались и на обворожительную Анну Кондратьевну. Вам не давали вставить ни одного слова. Очевидно, все это было заучено наизусть и выпаливалось, как зубрилами на уроке, без знаков препинания. Дамы при этом закатывали глаза и обнаруживали готовность здесь же у вас изобразить такую истерику, что весь дом мог бы сбежаться на ее пронзительные вопли. Надо отдать справедливость — дело было основано на весьма правильных заключениях: и бритые молодые люди, и вопленицы никогда не просили более двадцати пяти рублей, причем соглашались принять и красненькую бумажку. Одно, что ставило героинь провинциальных подмостков в затруднение, — это просьба написать свой адрес. Увы, многие из них были совершенно безграмотны. Когда Чехов останавливался у Суворина, к нему не пускали эту орду, в отелях — другое дело. Осада писателя начиналась с утра...

Я говорил уже о продаже Чеховым своих сочинений А. Ф. Марксу. В свое время очень много сплетничали об этом литературные фарисеи; нашли, что Маркс чуть ли не ограбил Чехова. Антону Павловичу надо было обеспечить себе существование, особенно ввиду его болезни. Никто, я подчеркиваю это, не давал ему и половины того, что ему предложил издатель «Нивы». Суворин, принимавший такое участие в делах Антона Павловича и, надо отдать справедливость Алексею Сергеевичу, сделавший много и много для того, чтобы поставить Антошу Чехонте на ноги, — когда ему предложили купить сочинения этого писателя, отказался уплатить ему сумму, предложенную Марксом. Маркс тогда уже начал страдать болезнью сердца, и травля, поднятая на него в газетах (мы ведь всегда великодушны за чужой счет!), значительно ускорила смерть его. Сверх семидесяти пяти тысяч он, когда обозначился успех полного собрания Чехова, никем — и прежде всего самим автором — не побуждаемый, уплатил ему еще двадцать тысяч плюс сумму, следовавшую Антону Павловичу за новые его сочинения. Я встречал Маркса в это время. На нем лица не было. Он очень дорожил репутацией издателя, впервые на небывалую высоту поднявшего литературные гонорары и послужившего, вообще, чужому ему народу. Ни один министр народного просвещения в России не сделал столько для распространения в народе истинно прекрасных

произведений русской словесности, сколько Маркс. Этот пришлый немец, составивший у нас большое состояние, с лихвою отблагодарил обогатившую его страну. Поддерживаемый Ю. О. Грюнбергом, управлявшим его конторою, он смело выбросил миллионами экземпляров, по неимоверно дешевой цене, в читающую массу, на погосты, в волости, в уездные города и жалкие местечки, не только старых классиков, но и современных ему лучших русских писателей. До него были невозможны такие издания, как 100 000 экземпляров Достоевского, 250 000 Тургенева, Гончарова, Салтыкова. Если расходилось восемь, девять тысяч какого-нибудь из популярных авторов, это уже считалось небывалым успехом. За каких-нибудь шесть рублей подписчик «Нивы» получал не только журнал с отличным подбором беллетристики, но и, напр., полное собрание Достоевского. Возвращение полуинтеллигентной массы, после Маркса, к старой площадной литературе — было уже немыслимо. Подчеркиваю и повторяю: простой берлинский мещанин, явившийся к нам вторым приказчиком в иностранное отделение книжного магазина М. О. Вольфа, — разумеется, оставил в нашем народном просвещении более глубокий след, чем все не только отрицательные министры этого ведомства, вроде Толстого и Делянова, но и лучшие из них.

Разумеется, Маркс взял большой барыш на издании Чехова — но ведь раньше и после него не нашлось никого, кто бы Антону Павловичу предложил то, что дал Маркс. А потом, когда растерявшийся от нападок издатель «Нивы» соглашался разорвать с Чеховым контракт — никто из других бескорыстных благожелателей книжного рынка не пошел на эту, по их же словам, выгодную сделку, все они бросились в кусты, а А. Ф. Маркс слег окончательно, оклеветанный, и больше всего — писательскою братией, которая до него и не мечтала о гонорарах, которые он начал ей платить. Говорю все это с полным правом, так как он меня не издавал, а за печатавшееся в «Ниве» платил мне минимально. Лично я ему ничем обязан не был, и в данном вопросе мною руководит не чувство благодарности, а только справедливость.

Последний раз жизнерадостным я встретил Чехова у П. П. Гнедича.

Гостеприимная хозяйка Евгения Андреевна собирала у себя и писателей, и артистов. Я не помню вечеров проще, милее и содержательнее. На них так легко, хорошо и искренно говорилось и чувствовалось. Тон безобидной шутки и большого литературного вкуса заставлял многих добиваться приглашения сюда, и не знаю, был ли в те времена, кажущиеся теперь такими далекими, хоть один художник, выдающийся актер или беллетрист, который не побывал бы в этой скромной гостиной. Кажется, в день, о котором я вспоминаю, здесь были Антон Павлович

Чехов, Влад. Алексеевич Тихонов, С. И. Соломко, только что вернувшийся из Индии убежденным буддистом, Вас. Пант. Далматов и красавицы дочери писательницы Желиховской — Надежда, потом вышедшая замуж за славного генерала Брусилова, командовавшего галицийским фронтом, и Елена. Тогда засиживались долго. Приезжали пить чай после театра и расходились, когда уже светало. Улицы по ночам были безопасны, никто у вас не спрашивал паспорта и не кидался из-за угла снимать с вас на морозе шубу и сапоги. Извозчики тоже еще не стали Вандербильтами и Морганами и не грабили вас, как грабят теперь. Я помню, как в этот вечер Соломко читал буддийские молитвы, из которых мы уловили первые строки: «Будда-будда-брысь» — кличка, которая за ним так и осталась. Далматов впал в горделивый транс и горячо доказывал, что князья Лучичи (его фамилия, только без неизвестно откуда прилепившегося к ней титула) имеют право на далматинскую корону, «а может быть, и хорватскую», и при этом принимал вид такого неистового величия, что Чехов рекомендовал ему поступить в качестве натурщика в мастерскую надгробных памятников монументных дел мастера Кузьмы Стоеросова на Швивой площадке в Москве. Влад. Алекс. Тихонов был мрачен и, впав в покаянное настроение, объявил неизменное решение ехать к заутрене в Исаакиевский собор.

— Грешники мы... Пьяницы... Блудники... — лопотал он всю дорогу туда.

Красное вино у Гнедича было превосходное и страшно подняло в Тихонове ужас перед бездною его нравственного падения.

— Нет нам прощения!

— Отчего же, — протестовал Далматов. — А я надеюсь. Вот например, Ной, на что уже безобразничал, последние штаны пропил, а все-таки попал в святые. А Лот... Обрадовался, что жена в соляной столб обратилась и сейчас же с собственными дочерьми. Да еще как с пьяных глаз тоже...

— Не ври, Вася. Соляной столб был потом...

— А все-таки ради него Господь чуть Содом не помиловал. Вот какие были праведники!

— Неужели праведники?

— А то как же! Надейся!

— Не верю. Не может этого быть. Впрочем, в Ветхом Завете чего не было!

— Вспомни Давида! Надейся, Володя.

— Боже мой, Боже мой! Весь я в грехе, весь по уши в грязи.

— У тебя дома ванна есть.

— Нет, я по субботам в баню.

— Ну так вот. Авось до субботы не умрешь. На тот свет чистым попадешь. Точно на бал.

Я простился с ними у Исаакиевского собора и пошел к себе. Жил я тогда в Hotel d'Angleterre, напротив. Потом уже В. П. Далматов очень картинно рассказывал, что происходило за ранними обеднями в это утро. Сцены, переданные им, совершенно не сходятся с «Воспоминаниями» Вл. Тихонова, напечатанными в «Историческом Вестнике». Где правда — не знаю. Вл. Тихонов этому эпизоду придал мрачный характер покаянного самобичевания, участие в котором не совсем свойственно было тогда еще жизнерадостному, неудержимо веселому и скептическому Чехову. Впоследствии он очень изменился, но в ту пору А. П. умел и любил посмяться и всех заражать комизмом создаваемых им положений. Думаю, что сам великолепный импровизатор В. П. Далматов уже от себя прибавил хождение по церквам после Благовещенской. Как ни кратко было посещение каждой из них и как ни длинны ранние обедни, едва ли бы эта компания, точно целиком выхваченная из сцен Бомарше, успела все рассказанное проделать, даже если бы к ее услугам были буцефалы Александра Македонского. Привожу все это полностью, потому что уж очень характерна была в них фигура самого рассказчика, тоже крупного лица в истории русской сцены. Надо прибавить еще, что действующие лица иногда собирались у меня, а так как перед тем в Петербурге была холера, то в моем шкапу хранился еще большой запас коньяку, настоянного на калгане. О нем-то и упоминает В. П. Далматов в своем, как мне кажется, анекдотическом сказании.

Весь рассказ этот идет уже от лица В. П. Далматова.

Приехали в Исаакиевский. Сумрак. Трепет огоньков. Чуть мерещатся тусклые ризы. Длинная черная фигура едва выступает из мрака. Читает.

Тихонов бух на колени.

— Пьяницы мы, грешники... Прости меня, непотребного.

Слезы на глазах.

— Никогда! Обет даю. На изнанке иконы напишу: вина отнюдь.

Опомнился.

— Этого вина! Крепкое оно, Господи, выдержанное в погребе у Рауля! Плоть наша немощная.

Чехов рядом серьезно:

— Кстати, Володя, вспомни: у Немировича — от холеры спирт на калгане настоянный остался. Клянись и его никогда! Ишь, как он тебя прошиб.

— И калгана ни под каким видом. Негодяй Василий Иванович: он не меня одного. Он и Кигна (Дедлова) этим калганом свалил. Господи, это уж не на мне, а на нем грех. С него, нераскаянной души, и взыскивай.

Чехов опять суфлирует:

— Плачь, Володя, плачь! Много тебе за твои пьяные слезы простится. Слушайте же, ну если человек обеты дает этой марки

те пить! Как же Богу не обратить на него внимания! В Москве у нас есть водка такая — «Очищенная слеза».

— Свинья я перед тобою, Господи! Ты видишь — свинья.

— Копченая!

— А все-таки я знал, что ты меня любишь...

— Неужели Бог ветчину ест! Опомнись.

— Больше, чем Чехова и Немировича. Зачти мне, Господи, их издевательства надо мною...

Отмолился он, вышли.

— Мало! — решил Чехов. — Слушайте же, неужели чуть поплакал и довольно? Валяй к Благовещению.

— Да, хорошо у Благовещения, — пускал Тихонов слюну на губы. — Очень хорошо у Благовещения... Дьякон там. Двенадцать рюмок поставит в одну шеренгу и сейчас им перекличку. И закусывает только по двенадцатой, да и то — хлебца понюхает. Святой человек.

— Какие у тебя мысли, Тихонов? А еще каяться едешь! Опомнись!

— Бог мне теперь радуется... Больше, чем девяносто девяти праведникам... Праздник я ему устроил, Богу! Немирович будет гореть в геенне неугасимой, а я прохладою райской упьюсь...

— Даже и в раю упиться хочешь... Ах, Володя, Володя!

У Благовещения Тихонов уже не плакал, но усердно бил себя кулаком в богатырскую грудь. «Я старик железный!» — любил говорить он. Действительно, человек был силы необыкновенной. Сам на себя врал: был-де гусаром гродненским, а через полчаса: я крючником на Волге — на пароходе во какие тюки носил. Начнешь разбираться, и понять не можешь, когда он гусаром служил, а когда крючником. Выходило как будто — в одно и то же время.

— Молись, Володя, молись! — поощрял его Чехов.

— Господи! Прости и Немировичу. Вспомни, как он, не предупреждая, угостил меня спиртом на калгане. Чем я тогда виноват был, что немецкого булочника за нос в вас ист дас вытащил? Пусть и Немирович ответит. Из-за него я в участок тогда попал... Хорошо, что к знакомому приставу. Пили мы тогда с ним ликеры. Джинджер! Прости меня, недостойного!

И окончательно распустил губы.

— Нет... Ты многомилостив. Ты и Немировича простишь... У него в шкапу всегда хорошая мадера есть...

— Мало! — мрачно чудил Чехов.— Всю жизнь, слушайте же, пакостил и думает двумя церквями отделаться. Тоже гусь... Гайда на Сенную.

Продемонстрировал Тихонова у Спаса на Сенной и потом повез его к Владимирской Божьей Матери.

На Сенной наш кающийся был гораздо спокойнее и молился уже за нас.

— Господи, прости их, подлецов. Насмешники они. Негодяи! Нашли, кого по домам Божиим возить.

У Владимирской — уже озлился и начал нас Богу ругать.

— Тебе, Господи, нечего рассказывать. Ты сам сверху отлично видишь, какие они. А еще писатели! Соль земли — подумаешь! Везде печатаются, а кто их читает! Какие гонорары им платят!

Но под конец — когда мы его хотели в Александро-Невскую лавру возить — остервенел и чуть не с кулаками полез на нас. На обратном пути остановил извозчика.

— Пойду топиться.

— Слушай же, Володя. Ведь ближайшая прорубь далеко. Лучше же завтра со свежими силами. Нельзя же на такое дело, не отдохнув. Сам ты говоришь, что у Немировича в шкапу какая-то особенная мадера есть...

— И херес!

— Ну вот видишь: и херес. Что ж, их так оставлять? Побойся Бога.

— Я доказал, что боюсь: зарок дал.

— Так зарок на красное: понте-кане, выдержанное в погребах...

— Рауля.

— Как видишь. Я свидетель, что о хересе и мадере ни в одной из церквей никаких обетов не произносил.

— Верно?

— Еще ж бы!.. Ну, а завтра я, как доктор, осмотрю тебя. Мы подпишем протокол, что ты в полном разуме и твердой памяти. Надень чистое белье — и ступай топиться. Никто тебе не помешает.

— Никто? Побожись.

— Ах, Володя, а еще только что молился. Забыл: не призывай имени Божьего всуе!

— Тогда клянись гробом своей матери.

— Да она у меня, слава Богу, живая!

— Все равно... Бабушка умерла?

— Да...

— Именем бабушки! У меня бабушка была! Какие наливки делала! Много я потом разных бабушек видел, но таких наливок нигде не пивал.

Чехову принадлежит и знаменитый устный рассказ о белых слонах на Знаменской площади. Действующими лицами в нем являются опять-таки железный старик Влад. Тихонов, Дедлов (Кигн) и уж не помню кто еще. Он настолько известен (кто только над ним не смеялся!) — что я не привожу его здесь.

У нас не раз ставили вопрос: что такое Чехов в политическом отношении? Пытались определить эту крупную литературную фигуру как гражданина, и ни к чему не пришли. Сейчас в известной части печати (в Москве) началась даже травля Антона

Павловича, как писателя совсем не нужного, для борьбы непригодного, нытика и т. д. Короче, не крупнейший талант, отметивший собою целую эпоху в нашей словесности, — а отброс и в лучшем случае только легкое чтение для сытых буржуев. И несправедливо, и глупо, как всякая оценка, производимая узкопартийными людьми в шорах, с миросозерцанием короче своего вздернутого ноздрями вверх носа. Но в одном нельзя отказать этим новым судебным приставам печати. Они, действительно, признав Чехова непригодным для своей пропаганды, — стали на верный путь. Он сейчас в этом хаосе, тщетно ожидающем всемогущего «да будет свет!», был бы не нужен. По существу, Антон Павлович и в свое время был врагом всяких насильственных переворотов. Сколько раз в той же Ницце подымался вопрос о неизбежности революции в России. Мы — Ковалевский, я, Джаншиев — горячо отстаивали ее своевременность и необходимость, Чехов, один из убежденнейших сторонников эволюции, с чувством внутренней боли отзывался о возможности переворота, продиктованного злополучным, тупым и невежественным царствованием Ананаса III, как звали тогда императора Александра Александровича за роковую фразу его вступительного манифеста — «а на нас лежит обязанность», — отменявшего всякое поступательное движение вперед и санкционировавшего эпоху «точки». Поклонник эволюции — (помните в «Трех сестрах» у полковника Вершинина?) «этак лет через двести», Чехов в политическом отношении был человек довольно беззаботный и на все партийные программы, вожделения и работы смотрел сверху вниз и настолько сверху, что даже не замечал, есть ли там что внизу или нет. Еще ошибочнее было бы считать его кадетом. Я никак не мог бы представить себе Антона Павловича в Государственной Думе, заседающим под отеческим крылом Милюкова, Винавера и их присных, как бессилен был бы вообразить его сотрудником газеты «Речь», если бы он дожил до созыва нашего парламента. Замысловские и Келеповские в нем вызвали бы брезгливое отвращение, а Репетиловы вроде Керенского — веселый смех. Если хотите, это был скорее анархист-индивидуалист, хотя оригинальный склад его души вывел бы Чехова из каких бы то ни было рамок. Он никак не умещался бы в них и стер бы себе до крови локти и колена в их рожнах, решетках и заставах. Я думаю — художник прежде всего, Чехов как гражданин был неисправимый мечтатель о всеобщем счастье человечества, мечтатель об идиллии вечного мира, благоденствия — опять повторяю, лет через двести, когда нас с вами не будет, а нам лишь бы дожить в тишине и спокойствии. Поэт и мечтатель — он, как только дело касалось лучшего устройства нашей жизни, отходил в сторону, терял все свои драгоценные свойства реалиста и трезвого наблюдателя. Впрочем, был ли он настоящим реа-

листом? Ведь в самых его реальных произведениях действительность является обвитою полупризрачными сумерками, скрадывающими резкость и определенность очертаний. И самый смех его — не тот презрительный, оплевывающей маленьких людей ядовитою слюною, оподляющий будничные недостатки серенького мира, а добродушный, снисходительный, в котором каждый почувствует доброжелательного брата, всем своим любвеобильным сердцем прилепившегося к этой изображаемой им яви.

Да, Чехову, разумеется, сейчас не было бы места в печати.

Не потому, что самой печати нет. В громах и ураганах нашего катаклизма никто не услышал бы его голоса.

А может быть, и не захотел бы услышать.

Чехов ведь не умел ни предостерегать, ни вести за собою толпу, ни удерживать ее от стихийных порывов. Он бы остался — в своем темном кабинете, в углу под слабым светом закутанной в зеленый абажур лампы, — рембрандтовской фигурой, одинаково чуждой и подлому насильническому прошлому, и вихрю социалистической мести, творящей сейчас свой, быть может, и жестокий, но вполне заслуженный нами правеж.

Поэт отечественной протоплазмы, любивший Россию такою, как она есть, — он бы не угадал того таинственного будущего, к которому бурно и бешено стремятся ее творческие силы, и не только не угадал, но, пожалуй, и проклял водополье, смывшее все, чем он привык любоваться. Как бы он представил себе Епиходовых, несущих во главе революционных вопленин красные знамена в багровый мрак, разрываемый мгновенными зигзагами гневных молний!

Не сомневаюсь, что его вера в Россию выдержала бы и такие испытания, через которые наше отечество сейчас проходит. Я помню, как-то у меня собрались случайно Владимир Соловьев, Чехов и еще не помню кто! Это было задолго до Маньчжурской войны, и Соловьев прочел свое известное стихотворение, проникновенно предсказывавшее страшные события на нашем Дальнем Востоке. Они были первым предостережением отечеству, внезапно остановленному в своем движении вперед гибельною эпохою точек. Чехов задумался, потемнел даже. И потом вдруг встал и заговорил горячо, возбужденно, даже, я сказал бы, гневно, совсем не похоже на него и по возбуждению, и по языку:

— Выдержим, и не такое еще выдерживали. Край громадных масштабов. Нельзя его судить и отпевать по событиям сегодняшним. Они пройдут, а Россия останется. Останется! Мы переварили и монгольское иго. Оно только сплотило нас. Пожалуй, тогда удельные княжества впервые поняли, что они только отдельные члены великого народа. И 1612 г. мы сумели пережить и еще сильнее стали после. Я уж не говорю о 1812-м. Это была ошибка Александра I Германского на русском престоле.

И я вижу, что нас ждут великие бедствия. России надо рассчитаться за все свое прошлое. Родовые боли мухи или слона различны. Представьте, в каких гигантских страданиях должна родиться новая Россия в конце XX века. И они неизбежны. Великому народу и гигантские болезни. Только не надо терять веры в свой народ, какой бы он ни был!

Сейчас я вспоминаю эти слова. В самом деле, то, что мы предвидели, пришло на 50 лет раньше, да ведь и события, его вызвавшие, — пятилетняя мировая война — могли взболтать громадный океан России, а бури этого океана нельзя сравнивать с бурей в стакане воды. Ведь с Петра Великого мы не переживали такого страшного перелома. Тогда в преобразованиях венценосного революционера (потому что П. В. был настоящий революционер!) перерождалась новая Россия, а теперь в недрах нашего отечества перерождается весь мир, вся вселенная. Если нам так тяжко — не надо забывать, что императорская власть, со дня освобождения крестьян, более 50 лет — полвека — боролась с народным образованием. В 35 лет выросли из безграмотных болгарских райи грамотные Болгария, Сербия, Греция. И ход нашей революции в просвещенном народе был бы иной. Думаю, и Чехов — с его верою в великую свободную Россию — не поколебался бы в ней и теперь.

Перед Маньчжурской войной я его еще раз встретил за границей.

Он очень поддался. Недуг изменнически, неотступно делал свое...

— Вы все счастливцы... Все, кроме меня.

— Это как? Теперь, когда вас уже не пугает нужда я вы можете работать, когда и как хотите!

— Вы будете жить, когда меня зароют.

Через год я возвращался, утомленный, с Лаоянских позиций.

Только что окончился бой, один из тех, в которых гибла старая Россия, тяжко расплачивавшаяся за свое равнодушное, покорное, тупое рабство. Позади еще глухо ахали крупные орудия. Маньчжурские дали уходили в сизый туман. Едва-едва намечались в нем китайские ольхи с круглыми темными шапками омелы. Под ними, точно ощетинившиеся драконьи хребты, прятались причудливые кровли кумирен.

Навстречу — какой-то незнакомый офицер.

— Слышали?

— Что?

— Чехов умер!

И голос у него дрогнул.

Отвернулся, чтобы не выдать волнения.

Я вдруг почувствовал, как и он: оба мы утратили дорогое, милое, близкое. Я — в последнее время редко встречавшийся с Антоном Павловичем, он — и вовсе с ним не знакомый...

Острая боль обиды. Совершилась злая шутка над человечеством. Великая и бессмысленная несправедливость.

Эта коротенькая фраза:

— Чехов умер! — стерла из памяти зрелище только что виденных отчаянных наступлений, упорного боя одних, паники других, тысяч разбросанных по залитой кровью земле продырявленных трупов, перемешанных с грязными лохмотьями и тоже похожих на лохмотья. Погасли стоны раненых, грохот барабана, рев далеких пушек и визгливые стенания разрывавшейся шрапнели.

Все это вдруг показалось неважным — после громадной всемирной утраты:

«Чехов умер».

ДИКТАТОР НА ПОКОЕ

Каждому, кто дожил до великой русской революции, таким далеким, странным и чуждым кажутся и время, и люди, о которых я вспоминаю теперь. А они сыграли в нашей истории и даже в том, что творится сейчас, громадную роль. Ведь случайностей нет. События кажутся неожиданными только слепым кротам да деревянным идолам, которых народное движение из министерских дворцов бросило в темничные казематы. Их бездарность и политическое невежество равнялись только их наглости. Все ужасы, переживаемые нашею родиной, могли бы быть предотвращены, если бы эти ташкентцы приготовительного класса хотя немного знали то, что происходило в Западной Европе с Людовика XIV до крушения Наполеона III. Они ничего не видели и не предвидели. Титулованные и сановные шуты гороховые в этом отношении отстали даже от сотрудников и современников Александра II, хотя и этим, говоря правду, была не большая цена на всемирной правительственной бирже. Настоящее царство самоуверенной и варварской никчеми началось с его сына и преемника на прародительском троне, Ананаса III и последнего. Вы помните его знаменитый манифест, отменявший даже канунные призрачные упования: «А на нас лежит обязанность»? Ананас III и последний разогнал всех деятелей предшествовавшего царствования, все-таки кое-что делавших для своей страны и народа. Одного из таких я встречал. «Старый кот на покое», как непочтительно называл его дух тьмы и человеконенавистничества, мрачный инквизитор Победоносцев, был очень словоохотлив и любил делиться своими воспоминаниями.

Некогда «диктатор сердца» граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов медленно умирал тогда в Ницце. Он был выброшен новым курсом за борт вместе с Д. А. Милютиным, замкнувшимся в кипарисовые рощи Симеиза в Крыму. России оказались совсем не нужными люди даже умереннейшего прогрессивного направ-

ления. Зловещая фигура бритого Кощея из-за широкой спины ограниченнейшего из монархов грозилась на всех, кому тогда хоть в некоторой степени могла доверять страна. Правда, и Лорис-Меликова и Милютина Ананас III не раз вызывал в Петербург, но им там нечего было делать и они отказывались даже от участия в «совете нечестивых». Ведь какие же компромиссы могли быть у них с Победоносцевым и с полуграмотными собутыльниками государя!

Я помню встречу у А. Ф. М. с тогдашним временщиком.

Только что царь помиловал кого-то, и веревочная петля на этот раз болталась, осиротевшая, впусте. Победоносцев был раздражен. Его так и поводило всего. Зло и подозрительно он оглядывал всех нас и, казалось, только искал повода высказаться. Такой ему и дал едва ли не покойный Терпигорев:

— Россия устала от виселиц.

Победоносцева так и подняло.

— Неправда, неправда, неправда!

Злобная, ехидная судорога свела его бескровные сухие губы.

— Не велика тяжесть — выдержит. Есть от чего устать — от нескольких повешенных негодяев. России сейчас нужны не виселицы, а настоящий правеж черных сотен. Как при Рюриковичах: любо ли? — и бросай сверху на ножи и топоры. Иоанну Грозному, вот кому пора вернуться! Иоанну Грозному.

Он неслышно, на мягких подошвах, подошел к столу и ударил в него желтым кулачком, похожим на сморщенный гриб.

— Да-с, трижды Иоанну Грозному. Неву трупами запрудить! Брюхами вверх! Не время сентиментальничать... Политическая власть синоду, а в синод — если нет, так выдумать Торквемаду.

— Нечего и выдумывать. Есть готовый! — спокойно проговорил Григорович.

— Принимаю ваш намек, Димитрий Васильевич... Во всей его полноте. Гордился бы, если бы соответствовал идеалу. Великого испанца до сих пор не понимают.

— Чего уж понимать! Когда так говорит бывший прогрессивный профессор уголовного права...

Тертий Филлипов довершил:

— Да ведь, ваше высокопревосходительство, — мягко вставил он, — ведь синод не сам работает, а творит волю пославшего.

Победоносцев запнулся.

Удар пришелся метко.

Сел в кресло... помолчал. И вдруг, точно ужаленный.

— Да-с? Волю-то пославшего вы знаете? Помните, что он повелел Израилю о роде и племени Амалека?.. До последнего младенца... до последнего младенца-с! — сладострастно подчеркивал он.

— За что же мы вешаем собак на Ирода?

— И Ирод. Хороший государь был. Кого Господу-Богу понадобилось спасти — он спас. Послал вывести деву с младенцем в Египет... На осляти-с... На осляти.

Я слушал и ушам не верил. Слишком уж это было откровенно.

— Я вам скажу, Тертий Иванович, вы меня вашей отсебятиной не собьете. Всякий-с в Библии находит свои желуди. Я вот вполне согласен с вел. кн. Владимиром. Он вчера в государственном совете : не миловать надо — а виселицы, виселицы, виселицы! От Александро-Невской Лавры до Адмиралтейства... а то, пожалуй, от Питера до Москвы. Зима-с, гнить не будут — так до весны в назидание современникам. На всех телеграфных столбах... Гроздьями... гроздьями. Висите, голубчики! А публику туда и назад катать бесплатно, по очереди. Зрелище и увеселение. Пусть любуется.

Понятно, что Лорису незачем было ехать сюда.

Особенно, когда он в присутствии Ананаса III обернулся к Константину Петровичу и морщась:

— Что это так дымом пахнет?

Победоносцев потянул носом.

— Не нахожу!

— Да вы привыкли. Вам ничего. В святом братстве (Германдада) и не к этому принюхаешься.

— Я знаю, что не остроумно, — сознавался Михаил Тариелович, — рассказывая это, — но Александр III удостоил улыбнуться... «Высочайшею был награжден улыбкой». И ее-то Победоносцев, разумеется, никогда мне не простит. С тех пор он нас всех, живущих за границей, предлагает лишить жалованья, аренд, чуть ли даже не конфисковать нашу землю в России. Меня он называет изгоем и князем Курбским из Армян. Злой клеветник, не останавливающийся ни перед чем. У Александра III была очень хорошая черта: он очень любил очные ставки. Я помню, как-то в первые дни после смерти его отца вхожу в Аничков дворец, и вдруг мне государь: «Граф, за что это вы меня вчера обозвали мраморным геркулесом, пояснив, что истуканам мозгу не полагается? Несколько деликатнее правда, но смысл таков».

— Вчера?

— Да. У великого князя Константина.

— Вашему величеству солгали. Я вчера действительно должен был поехать к его высочеству, но остался дома. У меня был мой обычный приступ ревматизма. Я не выходил из спальной. Разрешите, государь, узнать, кто это оклеветал меня.

Александр III сделал удивленное лицо и обернулся к Победоносцеву.

— Что же вы мне рассказывали, Константин Петрович, будто вы сами видели графа?

— Думал, что видел.

Он весь пошел желтыми пятнами.

— Народу было много. Показалось... А слова графа передавались в круглой гостиной.

— Не всякому слуху верь!

И царь расхохотался.

— У Романовых это вообще было очень характерное. Они любили ссорить между собою всех, кто около. Даже железный рыцарь, как его называли, Николай I не гнушался этим. Раз он таким способом поссорил Желтухина с Ростовцевым и сам рассказывал Михаилу Павловичу, как они со злости начали выводить один другого на чистую воду. «Много я узнал тогда любопытного!» — смеялся Николай.

О последних годах Александра Второго Лорис-Меликов говорил мало.

— Мне жаль. Он так много сделал и еще больше хотел сделать для России. Он, как все Романовы, был подозрителен, и этим пользовалась часто придворная камарилья. Ведь она всегда сильнее самодержца. Самодержавие — фикция. Правят государствами не неограниченные монархи, а пронырливые и бессовестные временщики и партии. Не надо трогать его память. На него, сверх того, слишком большое влияние имели женщины. Вы помните, когда великий князь главнокомандующий стоял с победоносною армией «у врат Царьграда». Султан уже приказал готовить себе дворец в Бруссе, а казармы Константинополя очищать для наших войск. И ведь не дали России этого удовлетворения за все пережитые боевые невзгоды! Александр II упорно повторял одно и то же: «Я дал королеве Виктории слово не входить в Византию!» Ведь не шесть же маленьких английских крейсеров испугали нас тогда! Государь по какому-то случаю чувствовал себя виновным перед нею и расплачивался Россией... Вотчинный порядок. Государь освободил крепостных, но сам остался помещиком своей империи...

— Да, женщины имели на Романовых громадное влияние. Исключением была только Дагмара. На Александра III Черевин — уж, кажется, пьяный и глупый человек, — а умел действовать, как никто. Победоносцева царь втайне очень не любил, но поддавался его сухой, непреклонной воле. А Марье Федоровне стоило вмешаться, чтобы испортить все. Его отец — иное дело. Возьмите, например, его вторую жену. Я говорю о Юрьевской. Мы никогда не понимали ее власти над ним. Он, которого коробило все угловатое (настоящий Петроний на троне!), грубое, не замечал, до какой степени она была вульгарна. Даже в мелочах. Ей ничего не значило на интимных вечерах класть вам сахар в стаканы пальцами или ими же брать остывший картофель с блюда. Я старый солдат. Мне ничего, ну, а других поводило от этого. Как-то при ней рассказывали об арабском обычае: шейх, оказывая особый почет гостю, берет руками с блюда горсть жирного рису и

деликатно предлагает ему открыть рот. Юрьевская расхохоталась и тут же проделала то же с дежурным флигель-адъютантом. Зато она была не интриганка; добра, хоть и ограниченна. Никого не сделала несчастным, и в ее обращении — сначала особенно — было что-то неуверенное, смущенное. Точно она извинялась за то, что заняла при дворе такое положение. А могла ведь наделать всем немало горя. Она даже личных врагов своих щадила. Как-то она выручила какую-то придворную знатную даму, первую сплетницу, много и часто портившую ей жизнь. Другая бы воспользовалась и утопила врага, а она не отставала от Государя, пока тот не только не простил эту остзейскую баронессу, но и восстановил ее во всех ее должностях. «Как вы могли простить ее?» — спрашивали у Юрьевской. — Что вы хотите... У каждого своя манера мстить. — Когда ей приходилось особенно жутко от какого-нибудь дворцового скорпиона, она задумывалась:

— Верно, я сама, не зная, в чем-нибудь уж очень провинилась перед ним.

Ее терпеть не мог наследник, но ему на нее пожаловаться нельзя было. Она ни разу не воспользовалась случаем отплатить ему той же монетой. А таких представлялось не мало. Ведь вы знаете, какие трения бывают между двумя дворами, старым и будущим, готовым сменить его. Напротив, я знаю, например, что Александр II был очень гневен на сына. Юрьевская в такие минуты предупреждала наследника не попадаться отцу на глаза. Делала все, чтобы, как она выражалась, «утихомирить» мужа. Он очень ценил это.

— Ты ее не знаешь, — говорил он, — это ангел.

Она, впрочем, иногда выходила из себя. У Мих. Дм. Скобелева было два злейших врага, вел. кн. Владимир и Воронцов-Дашков. Раз они взапуски начали, как выражались тогда, кормить царя вяземскими пряниками, то есть лгать на Скобелева. Это было легко: народный герой ненавидел двор и не скрывал своего отвращения к нему. Владимира он называл prince-consort[1] Бисмарковской содержанки, а Воронцову-Дашкову, которого посылали в Туркестан за дешевым Георгием (приехал, пообедал и получил!), он не дал такого.

Юрьевская сначала слушала спокойно, а потом вскочила, — так, что весь сервиз с маленького чайного столика полетел на пол и вдребезги — особа она была весьма «комплектная»:

— Как вам не стыдно!

— Что?

— Повторите это при генерале, когда он будет здесь. Только трусы и клеветники лгут на отсутствующих. Он столько сделал для России, что его можно было не забрасывать грязью, особенно при его государе.

---

[1] Принц-консорт; супруг царствующей королевы (*англ.*).

Александр III никак не мог помириться с нею. После смерти императрицы он боялся коронования Юрьевской. А окружавшие нашептывали ему, что ослабевший и опустившийся царь может в угоду жене изменить и самый порядок престолонаследия. Близкие к наследнику пьяницы и реакционеры — разумеется, прежде всего боялись за свое будущее. Разумеется, император вовсе не думал об этом. Он хотел только объявить жену государыней, узаконить ее положение при дворе, не собираясь нисколько отнимать у дофина его родовых прав. Коронация или нет, но ей дан был бы титул Величества и одновременно с этим высочайше дарована была бы русскому народу та самая куцая конституция, о которой столько говорили в свое время. То есть созваны были бы в государственный совет депутаты от сословий с правами только совещательного голоса.

Чтобы не повторяться, я об этом больше говорить не буду, так как сказал все, что мне было известно, в своих воспоминаниях о Милютине.

Я не знаю, какое письмо Михаил Тариелович получил из Петербурга, но я раз застал его очень раздраженным. Он лежал в постели совсем оливковый, глаза его зло сверкали из-под седых нахмуренных бровей, а большой нос казался еще длиннее, так он за эти часы осунулся. И погода была подлая. Pallazzo, кажется, Cataldi[1] на площади Гримальди заслонился ото всех садом, пальмы которого сейчас неистово трепал ветер, срывавший палевые бенгальские розы и далеко уносивший отсохшую осеннюю листву. Я жил в отеле рядом, но пока я перебежал эти несколько шагов, меня чуть не вывернуло наизнанку. В этот вечер «диктатор сердца» высказывался гораздо резче, чем всегда.

— Если бы ум Александра III равнялся его характеру и воле, да при этом дано было ему еще и образование, хотя бы такое же, как и германским принцам, например, — его царствование отметилось бы как одна из блистательнейших страниц в истории России. Но, к сожалению, он был не только невежда. Это еще ничего. Недостаток сведений пополняется знаниями окружающих. Он боялся умных и ученых людей! Он ненавидел их. Самым ужасным приговором для государственных людей в его устах было: он слишком умен для меня. Настоящие курдские мозги!

— Что? — не понял я.

— Курдские мозги... А вы еще кавказец! Неужели не слышали дома: «У него курдские мозги»?

— Не случалось!

— У нас есть пословица: вбил дурак гвоздь в курдский мозг и сто умных, как ни потели, вытащить его не могли. Раз А. III

---

[1] Дворец... Катальди (*ит.*).

влетела в голову какая-нибудь мысль, — кончено. Вы могли созвать всю Академию наук и доказывать, что это чепуха — все равно. Он тупо смотрел бы вам в глаза и повторял: «Я сказал». А. II в свое помазанничество не верил. Считал это прерогативой самодержавия — такою же, как корона, скипетр и держава... Регалией, что ли, власти, и только, а А. III признавал, как догмат, что его ум и сердце в руке Божией и что он ни делает — во всем исполнение воли Всевышнего. Если он ошибается, значит, ошибается и Всеведущий. С этого его свернуть нельзя было. Ни один папа не верил так в свою непогрешимость. Как-то при нем заговорили о союзе Павла I с Фридрихом, как гибельном для России. Он очень резко возразил: «Об этом судить может только Бог. Ему виднее — зачем он направлял в эту сторону мысли государя». Если хотите, в пережитке средневековья у А. III было свое величие. Во всяком случае, это была не трость, ветром колеблемая, а громадный утес, о который разбивались и события и убеждения, и дела и люди, и правда и ложь. Я не знаю, каков он сейчас. Я давно не был в Петербурге. Повлияла ли на него действительность — не думаю.

В том же доме, где жил Михаил Тариелович, была большая и великолепная квартира хлебосольной «старой барыни» Челищевой, тоже коротавшей свой век в Ницце. Она, как и Лорис-Меликов, не мирилась с новым временем и новыми птицами. Тогда в этом солнечном городе образовалась русская колония, будировавшая из прекрасного далека, за «чертою досягаемости». В ней видную роль играло потом семейство Арнольди. M-me Arnoldi написала когда-то недурный роман из русской жизни «Vassilissa», и появиться у них на «четверговом пироге по-московски» без глубокого знакомства с этим классическим произведением считалось неприличным. Помню даже, как Макс. Макс. Ковалевский заехал ко мне из Больё.

— Нет ли у вас «Василисы»?

— Нет. А что?

— Да ведь мы с вами обедаем у Арнольди.

— Ну?

— Она заговорит о романе... Расскажите мне, в чем там дело?

Раз, когда я сидел вечером у Челищевой за русским самоваром (она любила демонстрировать писателей, художников и государственных людей хотя бы третьего сорта) и вел как-то спор с Викториеном Сарду, высокомерно изумлявшимся, что я не согласен с ним в каком-то вопросе о русской яви, от Лориса появился лакей. «Михаил Тариелович просит вас».

Я застал его за моей книгой.

— Слушайте, а ведь вы революционер.

— ?

— Да... И самый вредный в их смысле. Они, дураки, только не понимают вас... К вам никак только придраться нельзя. Вы в каждой странице точно вода под землей просачиваете, роете подземные норы. Вот ваши «Плевна и Шипка» и «Год войны», — сколько вас за них ругали! Даже, помню, в шовинисты вас записали... А вы ведь войну так рисуете, что прочти я такие книги юношей, проклял бы мундир, вместо академии генерального штаба пошел бы в университет и сделался штафом. А в «Соловках»... Разве это у вас обитель? Что вам Гекуба? Вы просто воспользовались Германом и Савватием, и за их иконостасом рабочую коммуну изобразили. Ну и Федора наша цензура!

— Остается радоваться, граф, что вы не у власти.

Он (лежа в постели) приподнялся на локоть и, остро сверля меня черными горячими глазами:

— А почему вы думаете, что я не ваш единомышленник? Во всяком случае, я не с ними...

Помолчал, помолчал...

— Да, тогда мне и читать некогда было. Меня и с газетами больше Александр Аполлонович[1] знакомил.

— Россия идет к великой катастрофе. Наше полицейское правительство — совсем архаическое. Оно и слепо, и глухо. Я радуюсь, что умру скоро. Не доживу до страшных дней, когда наше отечество рухнет... В бессонные ночи — а они у меня часты — я вижу этот неизбежный суд истории. Подумайте: сколько времени прошло с раскрепощения крестьян, а им императорская власть не дала даже сносной школы. Александр II несколько раз говорил об этом, но наша придворная св. Германдада всегда становилась между ним и народом. Александру III и в голову не приходит народное образование. Если Победоносцеву удастся, он все его сосредоточит в руках попов. В этом ужас. Безграмотностью масс воспользуются умные демагоги и направят этот темный океан, куда захотят. И во всем так: возьмите родное мне военное дело. С турецкой войны сколько прошло? Ведь мы нашу балканскую кампанию едва-едва дотянули. Все у нас расползалось и разлезалось. А с тех пор ни одна прореха не заштопана. Успокоились на дешевом «Гром победы раздавайся» и заснули. Александр II говорил: «Нужно оставить это сыну». А сын взял Ванновского, который хвастается: «Вот я никакого высшего образования не получил, а сделался военным министром!» И вся мощь громадной империи в таких руках. А государь радуется: «Наконец я нашел человека, который мне понятен». Я не знаю, откуда придет гроза, но она идет. Я вот в этой комнате, закутавшейся от света в темные гардины,

---

[1] Скальковский — брат писателя.

предчувствую, вижу грозу... Какой-нибудь нежданный враг ударит на нас. И расшибет... А потом неизбежный ход истории: другого нет. Побежденная страна потребует реформ. Не нынешнее же правительство даст их. Оно все время сидит на штыках. Положение неудобное... Сам народ возьмется за дело. Ну, первые попытки будут задавлены... А потом... Знаете, ужасно то, что эти люди думают, будто для них история создаст новые пути, а не погонит их по старым. Поэтому их не пугает пример других династий и режимов. Я у вас прочел: «Когда история приговаривает к смерти тот или другой порядок, он не находит к своим услугам ни талантливых, ни сильных, ни умных людей». Какая это правда! Я отсюда оглядываюсь на Петербург. Ведь там уже исполняется этот приговор. Вокруг Александра III — нет таких. Я их всех знаю и вижу отсюда. Какая это все бездарность! Да, вы правы, страшно правы. Хорошо умереть теперь... Советую и вам не дожить до исполнения вашего зловещего пророчества.

В это время он уж не выходил из дому.

Очень плохо себя чувствовал. Сам говорил: в груди арба скрипит... Лежал целые дни и только в окно любовался великолепными пальмами, магнолиями и такой святой чистотою лазури, какой не видел и в небесах родного ему Кавказа.

Он знал, что дни его сочтены, и ждал спокойно. Любил повторять:

— Я старый солдат, и если смерть до сих пор меня щадила, так уж никак не по моей вине. Каждый день для меня отсрочка и... не особенно ценю ее. Время такое, что мы с Милютиным не нужны. А так коптить небо скучно.

В Ницце было сильное землетрясение.

— Наш дом ходуном, — рассказывали мне на place Grimaldi. — Ждали, вот-вот рухнет. Все бежали, кого в чем застало (дело было ночью) — на улицу, на площадь, к берегу.

Денщик (при нем остался такой) будит графа.

— Вставайте, ваше сиятельство!

— Зачем?

— Земля трясется! Сейчас все провалится!

— Что провалится?

— Земля!

— Куда?

— Скрось землю!

Как раз в это время глухой удар и судорога кабинета, где спал на диване Михаил Тариелович.

— Что ж, ты думаешь, если я встану, земля успокоится? Ступай, не мешай мне спать!

Перевернулся и заснул.

А кругом росла паника, обезумевшие ниццарды чуть не кидались в море. Перепуганные иностранцы в костюмах, не

поддававшихся описанию, сослепу носились по улицам, а великолепный Мамонт Дальский, как был в постели, так и влез на фонарный столб, весьма основательно сообразив, что дома, пожалуй, и не уцелеют, а столб во всяком случае устоит.

Вечера он проводил за винтом. Постоянным партнером графа был Харитоненко. Вообще, это была не жизнь, а медленное, скучное доживание.

— Я в первый раз узнал, что в сутках двадцать четыре часа! — говорил он.

Ему некуда было девать их. Другой осколок эпохи Александра II — Д. А. Милютин, уединившийся под тень Симеизских тополей и кипарисов, разводил виноградники, писал свои воспоминания (интересно узнать, в каких кладезях государственного или семейного архива хранятся эти драгоценнейшие документы?). Его посещали выброшенные за борт уцелевшие работники «времени реформ». Наконец, когда ему надоедало однообразие крымского пустынножительства, он садился на пароход в Севастополь и делал экскурсии в Константинополь, Афины, Патрас и через Апулию в Неаполь и Рим. В одной из таких я его встретил, и изумился бодрости и неутомимости этого старца. Лорис-Меликов переходил от дивана к столу, и только. На его лице все чаще и чаще я замечал уныние. Как-то у него вырвалось:

— Не знаю, зачем живу... Меня оторвали от живого и кипучего дела. Я ведь не знал минуты покоя. Все последние двадцать лет провел в бреши или, как один из ваших героев говорит, на Малаховом кургане.

Действительно, до тех пор, до этой ниццской живой могилы, обвеянной шелестом пальм, дыханием поздних роз и ласковым трепетом моря, но все-таки могилы, он стоял на страде, не отрывая рук от государственного руля. Хорошо или нет, но делал свое дело. Во всяком случае, несравненно лучше, чем полуграмотные дворники Александра III. А тут вдруг — уходи в пространство — ты нам не нужен. Понадобились гробокопатели, которые сведут на нет все, что удалось до сих пор сделать, несмотря на невозможнейшие условия законодательного зодчества. Отнята надежда на лучшее завтра, право крикнуть предостерегающее «берегись», когда видишь, что корабль несется на подводные рифы или на утесы, не различимые слепотствующим кормчим в туманах такого близкого будущего.

Он потому и дряхлел так быстро, — человек неутомимой борьбы, боевой тип. Он и в мирный труд в Петербурге, Харькове, на Кавказе, всюду, куда его бросала судьба или «высочайшее повеление», вносил решительные приемы военного времени, не знал сна и досуга, — а тут сплошное безделье, и некуда девать этих растягивавшихся в бесконечность, ничем не наполненных часов. И тянутся они для беспокойного характера, кипучей энергии и стальной воли так, что хоть головой в стену бейся...

Я упомянул о Милютине и его записках.

Лорис-Меликов вел тоже свои, но это был человек живого дела, а не письма, который сейчас же хотел видеть, что выходит из его работы. Милютин и на посту военного министра, и в бесчисленных комитетах — оставался профессором и писателем, обладавшим недюжинным талантом. Я помню его записки о Кавказской войне, в которой он участвовал еще при Николае I (ведь тогда все эпохи русской истории скрещивались не наиболее важными течениями народной жизни, — а вотчинным порядком — именами царей, часто враждебных собственному народу!). Не могу не повторить еще раз — авось это направит кого-нибудь, имеющего силы на такой подвиг, подобный Геркулесову в Авгиевых конюшнях — надо во что бы то ни стало найти мемуары Д. А. Милютина. Ведь они освещают дела и людей самой интересной эпохи нашей истории — эпохи, где этот просвещенный автор и по тогдашнему либеральный «сановник» был не только ответственным работником, но часто вождем и вдохновителем. Не ждать же нового беспардонного Носаря, который по малоумию и мстительному гневу возьмет да и сожжет государственный архив, как он жег такой же Петербургского Окружного Суда и Судебной Палаты. Там же ведь ждут во блаженном успении архангельской трубы многочисленные письма и записки М. Д. Скобелева. По повелению Александра III их отбирали у всех друзей и знакомых гениального полководца, может быть, для того, чтобы окутать непроницаемой тайной все обстоятельства его убийства спадассинами «священной дружины», убийства, совершенного по приговору, подписанному без ведома царя, — на это бы Ананас не пошел — одним из великих князей и «Боби» Шуваловым, считавшими этого будущего Суворова опасным для всероссийского самодержавия.

Да, Лорису было хуже, чем Милютину.

Мне кажется, что он и записки свои бросил.

По крайней мере, он не раз говорил:

— Я привык, любезный друг, не писать, а подписывать.

Еще диктовать туда-сюда, но и для этого в тогдашней ниццской русской колонии он не нашел бы достаточно грамотного и досужего человека. Визиты, сплетни, интриги вокруг русской церкви, файфоклоки, флирт и Монте-Карло поглощали все время этих в большинстве пустых и глупых недоносков. А кто был поумнее, у тех оказывались свои большие дела и неотложные работы.

«Либеральный чиновник» — это теперь звучит наивно и смешно. Мы берем такие верхние ноты, чуть ли не в трехчетвертное ля-бемоль социального творчества попали, что средний регистр нас не удивляет, но в те времена, о которых я вспоминаю, даже такой слабительный лимонад, как «диктатура сердца», был в

диковину. Лориса-Меликова, впрочем, всегда тянуло влево. Он в своем изгнании дружил с Белоголовым, с Джаншиевым, с эмигрантами-врачами. Как-то я застал у него зловещую и несколько театральную фигуру настоящего бундиста. Было ли это со стороны Лориса-Меликова лукавство, но он так заворожил мрачного незнакомца, что тот, выходя со мною, несколько раз повторял:

— Вот это человек!.. Никогда не думал!

А на другой день Михаил Тариелович мне: «Знаете, каждого купить можно. Одного звездою, другого деньгами... А этот, вчерашний, дешевле всего».

— ?

— Так... Он, уходя, так мне жал руки... А я, всего только, его внимательно не слушал!

Потом он о таких же типах:

— Страшные люди! Мы все не верим себе. Жизнь большинства из нас — сплошное ложное положение. Мы думаем одно, говорим другое и делаем третье. Эти верят тому, что они говорят. За ними большая сила. Весь их кругозор — в куриный нос, но у других он еще короче, а убежденность их, разумеется, увлекает массу. У них готовые лозунги, и они так же легко воспринимаются ею, как... впрочем, вспомните апостолов. Ведь и всю их философию, все учение можно уложить в десять строк всего — легко усвоить, выучить и повторить другим. А главное, не надо думать, догадываться. Я читал ваши книги давно, признал в вас революционера, но у них будет больше успеха. Вы доказываете — а народу это скучно... Эти проще: они приказывают, и толпе это понятнее.

Блуждавшие по Европе сановники тоже заглядывали к нему. Но с опаской... Или точно совершая подвиг невероятного мужества.

— Я ничего не боюсь... Я даже у Лориса был...

И сам на себя любуется в зеркало: вот-де какая я цаца, смотрите на меня, православные.

Даже заплечные мастера Ананаса III показывались у него, складывали губы пупоном и журчали: как-де у нас жалеют, что вашего сиятельства нет в Петербурге. А между тем стоило бы вам, граф, пожелать и... Наш Августейший сколько раз вспоминал... Ваша государственная мудрость... и проч. и проч. и проч., все, что полагается Иуде Искариоту говорить в таких обстоятельствах. После них, бывало, Лорис-Меликов отдувается, точно он воз в гору тянул.

— Много я теперь согрешить могу. Два вечера с Дурново провел. Сейчас бы умереть — прямо в рай.

Он с ними и говорить не умел, а может быть, и не хотел. Только с ласковою усмешкой слушал. Понимай-де, как хочешь.

— И ведь всякий щучий мозг воображает, что он обвел меня вокруг пальца. А в Питере хвастаться будет: «Я-де армяшку

так пронял. Он уж и туды, и сюды, а я его и в хвост, и в голову». Знай-де наших, какие мы богатыри.

Я помню раз такое свидание.

К Лорису приезжали «каяться» разные старые сослуживцы и единомышленники, побратавшиеся при дворе с Победоносцевыми и Толстыми. Вращаясь вокруг грузной фигуры А. III, поневоле ставили точки ко всему движению народа и государства, все-таки начавшемуся в прошлое царствование. И не только ставили точки, но и делали мерзости, а старое тянуло к другому, к либерализму интимных вечеров и товарищеских обедов в отдельных кабинетах у Донона. Отдыхая за рубежом, они считали долгом (заметая след лисьими хвостами) собеседовать с Михаилом Тариеловичем в минорном тоне. По Щедрину — являлись «сечься». Лорис, лукаво щуря глаза и пряча под большим армянским носом насмешливую гримасу, добродушно выслушивал все...

А сам молчал.

— Отчего же вы ему не отвечали?

— Так ведь это он тут, в смокинге, между обедом в Кафе Режан и ужином в Арменонвиль. А как нацепит в Питере вензеля — сейчас опять будет каяться в другую сторону, с сокрушенным видом и столь же искренно и откровенно. Вот-де, что мне этот восточный человек, Карапетка, говорил... Ну уж... Только бы дожить.

И вдруг:

— Тяжело мне... Как тяжело, без дела.

— И ведь, что ужасно: ясно вижу, черным по белому, как бедной России придется расплачиваться за эти знаки препинания Александра III...

Он так часто из своей ниццской кельи уносился тревожным предчувствием к далекой России, что и я, поневоле, вспоминая встречи с ним, возвращаюсь то и дело к этой излюбленной им теме. Он, казалось, читал в закрытой книге неумолимых судеб то, что ждало нас в очень близком будущем. Он даже предвидел неизбежную войну с Японией, и в его смятенной душе росло сознание общей вины перед народом, которому суждено пройти через катаклизмы: «И они будут так же неизмеримы, как громаден он. Маленькие политические единицы легко проходят через всякие потрясения. В какой-нибудь Португалии, напр., родовые боли революции пройдут в неделю-две, а в России даже не определишь, сколько этому чудовищному котлу надо будет перебродить, чтобы все в нем опять отстоялось... И это неизбежность! Пока еще есть время, и я в Петербурге говорил, писал туда — и в ответ: «Давно ли вы, граф, стали трусом...» Или: «У страха глаза велики». А Победоносцев даже в государственном совете отрезал мне: «Разумеется, злоумышленникам нужна будет диктатура сердца... Поставь кое-кого из их пособ-

ников и покровителей к рулю — тогда действительно и у нас повторится 93 год, и новый Людовик XVI взойдет на эшафот. Пусть нас не пугают инородцы (это, разумеется, — намек на меня). У русского царя найдется достаточно и кандалов, и штыков, и мест, которые на географических картах обозначаются точками, для тысячи самозванных Дантонов, Маратов и Робеспьеров...» Я поднялся и спрашиваю: «Кого это ваше высокопревосходительство считаете инородцами?» А кощей, сверля меня в упор злыми глазами: «Как кого? Ведь ваше сиятельство изволили только что говорить, что в России революция будет особенно ужасна потому, что наша страна представляет конгломерат десятков народов, интересы которых часто не только не сходятся, а противоречат одни другим. И что успокоение, которого можно достигнуть в одноплеменном государстве легко — идя навстречу его господствующим требованиям, — почти невозможно там, где все это сшито на живую нитку и готово расползтись при первом удобном случае». И потом ехидно подчеркнул: «Прошу заметить, что, по толкованию графа, любовь к царю, вере и отечеству является только живой ниткой... Ну что же, у его величества найдутся, когда понадобится, не только живые нитки, но и мертвые петли!»

— Не могут, — волновался Лорис-Меликов, — такие преступления правителей проходить безнаказанно для их подданных. Народы, которые терпят подобную власть, так же виновны, как и она. Перед высшим судом истории они всегда в ответе. И, разумеется, к вашему социалистическому раю, — насмешливо подчеркнул он, — России, хоть она и православная, придется пройти через католическое чистилище.

— Вы спрашиваете: откуда придет гроза? Почем я знаю. Я не сейсмограф, чтобы указать это. Да и сейсмографы отмечают только то, что уже где-то началось... Думаю, что созданная при благосклонном содействии российских императоров Голштейн-Готторпской династии могучая Германия толкнет нас куда-нибудь в опасную и, во всяком случае, безумную авантюру, чтобы ослабить нас и, обессиленных, утративших волю, гений, характер, — разгромить, расчленить и вернуть к границам Великого Княжества Московского. На нашем востоке растут страшные силы... Представьте, чем будет пробудившийся Китай... А что такое молодая, или, лучше сказать, воскресающая Япония? Я присматривался, когда стоял у власти, к их дипломатам. Могу сказать, они не по плечу нашим. Сюсюкающие, пронырливые, наблюдательные, они видят все... И их обязательная улыбка — является для меня зловещее трагической маски... Я когда-то заговорил об этом с государем накануне моей отставки... Он удостоил только засмеяться и потом — Черевин мне передавал — Александр III ему: «Представьте себе, Лорис меня Японией пугать вздумал». Ну, разумеется, общий хохот. А приглашенный

в этот день к высочайшему столу Ванновский как будто вскользь заметил: граф видит, что почва под ним колеблется после ужасного события (1-е марта), ну и строит себе золотой мостик в государственные канцлеры и министры иностранных дел.

— А теперь, ведь, немного прошло, посмотрите, кто остался в Петербурге. Кого оттуда гонят? Всех сильных людей, людей инициативы, способных брать все на свою ответственность. Глупым людям — нужны слепые исполнители, каменщики, а не архитекторы, писцы, а не законодатели. И ведь жизнь не ждет. Мировые воды бегут мимо, созидают рядом вавилоны. Под лежачий камень они не текут, а через него перебрасываются... Сейчас мне пишут о нашем способе защищать западную границу: немцы там — крепость, а мы против сейчас же церковь, две, три. В иноверной массе! По австрийскому рубежу — швабы нарыли сплошной ряд твердынь, которые придется одолевать нашим серым богатырям, а мы — визави — православные обители, точно Холмщина и вся эта окраина сразу воссоединится с нами от звона колоколов. Подумаешь, какие трубы израильские против новых иерихонов... А в военном ведомстве — полный простор безымянному доносу. Теперь начальству приходится трепетать не только своих помощников, но и писарей. Чуть что — сейчас же анонимное послание Ванновскому, а он на место командирует Баранка или кого другого. А роль жандармов в дивизиях и корпусах! Следи-ка за офицерами, за направлением умов... Да... Не сразу все придет. Сначала боевые неудачи... Потом крах внутри и развал всего Государства.

— Ну уж и всего Государства!

— Не так это глупо, как вам кажется. Какие обручи сбивают Россию в одно политическое тело? Ведь не внутренняя связь, не химическое сродство, а именно обручи... Хоть и железные. А если кто или что их собьет? Что же, доски сами удержатся? Разве это «отечество» для населяющих его народов? В лучшем случае, кордегардия или Управа Благочиния. Была когда-то такая. Пришел, дал взятку и грабь. Своего рода папская индульгенция вперед... Обеспечение полной безнаказанности... Эх, лучше не думать. А только вот что скажу вам: умру скоро, вы меня переживете и не раз позавидуете мне.

Разве покойный не был хорошим пророком?

Сколько раз в роковые дни всероссийского боевого позора, сначала у Тихого океана, а потом на западе, и теперь в страшную эпоху народного гнева, творческого, но беспощадного, я завидовал ему, лежащему в своей далекой могиле.

Мертвые сраму неймут...

Как жаль, что я не принадлежу к тем живым, которые его не чувствуют!

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЦИНЦИННАТ

Память Лорис-Меликова вся сплелась с эпохою хотя и лучшего из Романовых, но все-таки неустойчивого и слабовольного Александра II. При Николае I он только что был выпущен в офицеры и проходил боевую школу на Кавказе. В еще большей степени это должно сказать о личном друге царя и не только участнике, но и инициаторе многих реформ — Д. А. Милютине. Без него — начинания молодого императора оборвались бы в самом начале, потому что государь был именно тростью, ветром колеблемой, и неистовая реакция петербургского двора скоро бы свернула его с путей, о которых он мечтал еще наследником. Россия не получила бы и того малого, что он ей дал. Милютин, с одной стороны, Ростовцев, заглаживавший свое подлое предательство, — с другой, умели оборонять монарха от происков и интриг высокопоставленных вотчинников. И не в этом только роль, которую в нашей истории сыграл скромный профессор академии генерального штаба Милютин. На протяжении всего царствования Александра Николаевича он, и только он, будучи военным министром, в сущности, являлся и министром народного просвещения. Ему совершенно справедливо ставили в упрек, что он не столько заботился о подъеме боевой мощи России, сколько о распространении в ней грамотности, делая военные части настоящими школами. Говорю об этом вскользь, — ниже остановлюсь на образовательной деятельности Д. А. Милютина подробнее.

Мы шли из Патраса в Бриндизи.

Адриатика казалась совсем воздушной.

Точно мы, не касаясь волн, неслись в сказочном царстве лазури, — так в этот удивительный день и море, и небо сливались в одно марево.

Я вышел на палубу.

Направо — белый Миссолунги с белыми свечками минаретов и тяжелыми, горевшими на солнце, изразцовыми куполами ме-

четей. Кто-то вспомнил, что тут умер и погребен был Байрон, дравшийся за свободу Греции, и мы все приподняли шляпы, чествуя память не только великого поэта, но и героя-человека.

Вдруг слышу около несколько строк по-русски. Смотрю — Д. А. Милютин, цитирующий Пушкина о Байроне.

Я искренно обрадовался этой встрече.

Давно не видел его. Он жил отшельником в Симеизе, не в милости у Александра, которому бывший министр казался живым укором. Он называл графа в насмешку «Димитрий-Просветитель», считая это и злым, и остроумным. Жалка была аудитория, угодливо хохотавшая на эту царскую шутку, — бившую другим концом коронованный медный лоб. Ананасу III и еще неприятнее был Д. А. потому, что в свой либеральный период (у наследников — всегда бывают такие, почему легковерные народы связывают с августейшими лгунами все свои надежды на лучшее будущее...), до вступления на прародительский трон, он не раз повторял Милютину: я дам народу широкую конституцию. Срам, мы ввели такую в освобожденной нами Болгарии — и, вернувшись, обманули все упования русского общества. И по поводу только что составленного Александром II манифеста о выборах в государственный совет народных представителей:

— Я бы постыдился обманывать Россию такими фальшивыми документами.

И хотя это высочайшее повеление было уже подписано, но царь был убит до его обнародования.

И как все наследники, когда пришлось уплачивать по принятым на себя обязательствам, он оказался банкротом. Вместо «широкой конституции» явился «Ананас», а прогрессивных деятелей так много обещавшего либерального кануна выкинули за борт, чтобы те... не мозолили глаз.

— Я, должен сознаться, — говорил Д. А. Милютин, — верил Александру III. Ведь еще за несколько дней он называл Победоносцева старым подьячим, святошей, говорил, что от него пахнет лампадным маслом. И сейчас же после смерти отца он позвал к себе Константина Петровича... Говорят, что «Ананас» был продиктован этим кувшинным рылом петербургской реакции, сыгравшим на трусости растерявшегося и ограниченного царя. «Ананас», впрочем, стоил манифеста, написанного Лорис-Меликовым о цареубийстве, начинавшегося бессмертной фразой: «Воля Всевышнего свершилась». Таким образом, сделав Рысакова и Кибальчича верными и исполнителями Божьих велений, он все-таки их повесил, повесил бы и Бога, но тот оказался вне черты досягаемости.

Многие считали смерть Александра II большим ударом по России.

Были даже капитаны Копейкины, приписывавшие ее интригам малого двора и дворянской партии, испугавшейся даже призрака конституции.

Я сказал об этом Милютину.

Его мнение сходилось с таким же Лорис-Меликова.

— Вы знаете, я в Александре II потерял не только государя, но и друга. Мне тяжело вспоминать об этом, но уж если говорить правду: какая же это была конституция? Несколько совещательных голосов от земств, городов и сословий, без права решающего голоса, какого не имел и государственный совет, потому что царь то и дело соглашался с меньшинством... Эти «совещатели» не имели бы никакого значения, потому что старые служилые бонзы совета всегда бы их подавляли численностью. Они только и могли делиться с их высокопревосходительствами своими сведениями с мест. Нечто вроде справочного бюро при госуд. совете. И это была бы не реформа, а взятка общественному мнению...

— Почему взятка?

— Неужели вы не знаете: готовилось признание морганатического брака со светлейшей княгиней Юрьевской (Долгоруковой тож).

— Да, мне говорил об этом Лорис-Меликов. Но ее бы не короновали.

— О, нет! Не только предполагалась коронация, но и дарование всех великокняжеских прав ее детям. Манифестом о конституции предполагалось так восхитить народ, что он с энтузиазмом примет и благословит новую императрицу, приписывая Великую Реформу ее благодетельному влиянию. Если бы Россия осталась равнодушна к этой новой высочайшей милости, куцое[1] — вы помните Минаева — представительство впоследствии можно было бы и смазать. Тот же государственный совет, раболепный и угодливый, мог бы подать петицию о неудобстве нового порядка, «мешающего течению дел этого высшего в империи учреждения». Ведь трения с его старцами всегда можно было вызвать. Особенно на это пригодились бы прибалтийцы.

Д. А. Милютин очень любил Александра II.

В Милютине чувствовался не царедворец, а друг. Царедворцем он и не мог быть по характеру. И он с едва скрываемою грустью говорил, что государь в последние годы сильно изменился. Он так подпал под влияние Юрьевской, что министры, прежде чем являться к нему, заходили к светлейшей. В Александре II предполагали начало прогрессивного паралича, хотя,

---

[1] Четырехстишие Дм. Минаева тогдашнему временщику, диктатору политики сердца графу Лорис-Меликову:

На первый раз, хоть куцую
Нам дайте конституцию!
Мы сами уж потом
Снабдить ее хвостом.

Это один из вариантов.

кажется, никаких задатков к этому у него не было. Глаза у него сделались точно стеклянные, и он всегда шел, глядя неподвижно и прямо перед собою, точно ноги у него были заведены скрытым механизмом. Он не замечал на пути никаких препятствий. Заботою окружавших было отодвигать по этой прямой линии столы, стулья, все, что он не видел или не удостаивал видеть. Потом я точно такие глаза, широко открытые и бессмысленно стеклянные, встречал у короля Италии Гумберта. У того и другого не мигающие и потому жуткие...

— Это был в высшей степени человек личных отношений. Он не потерпел бы около гения, если бы тот не сумел быть ему приятен. Такая бездарность, как Краббе, окончательно сгубивший наш флот, только и держался на министерском посту благодаря умению хорошо рассказывать скверные анекдоты. Во сколько сотен миллионов обошелся народу веселый хохот государя! Повторяю то же, что вам говорил Лорис: Романовы вообще смотрели на Россию, как на вотчину, и раздавали ее всякому, кто умел вовремя подойти, занять их и, разумеется, понравиться. Так за семь миллионов рублей были проданы Соединенным Штатам наши Северо-Американские владения с Клондайком, давшим в первые же годы миллиарды предприимчивым янки. Так разбрасывались на ветер концессии в явный ущерб казне. Так, начиная с великих князей и кончая любым ловким проходимцем, разворовывался Кавказ, лучшие угодья которого они подобрали к рукам, так из государственного ящика платились долги всевозможной сволочи, умевшей вовремя попасться на глаза и выразить и глазами, и телодвижениями полную угодливость, выдавались сногсшибательные пособия, содержались всевозможные принцы иностранных династий. Выплачивались громадные суммы дон Карлосу, напр., Черногорским бедным князькам, и раз состоявшееся в этом смысле высочайшее повеление не отменялось никогда. Субсидия не прекращалась даже за смертью осчастливленного такой высочайшей милостью, а как недвижимое имущество переходило к наследникам. На воспитание светлейшего князя Суворова, когда он был еще ребенком, ассигновали довольно значительное ежегодное вспомоществование, и он продолжал его получать даже и тогда, когда ему стукнуло за семьдесят. Не знаю — уплачивают ли эту сумму его родственникам, когда он уже покоится во блаженном успении.

— Как это ни странно, но в нем было что-то Фамусовское. Впрочем, ведь Фамусов — это общечеловеческий тип, в особенности заметный у нас. За рубежами фамусовщина ограничена законодательством, дисциплиною, свободою печати, а у нас ей простор. Александр II в своей «вотчине» — России, как помещик, считал себя единственным хозяином, которому принадлежат ее земли и воды. Так, когда его брату вел. кн. Михаилу —

наместнику Кавказа — приглянулись Боржом и Аббас-Туман, два перла этого великолепного края, царь одним росчерком пера «быть по сему» отнял их у живых владельцев и без всякого вознаграждения отдал его высочеству. Настоящие собственники пошли по миру. И это часто повторялось в Грузии, Имеретии и по Черноморскому побережью. «В Берлине есть судьи» — ведь это было еще при Фридрихе Великом в Пруссии, ну, а у нас и до сих пор нет таких судей, потому что рядом с неограниченным самодержавием не существует законов, на которые они могли бы опираться в борьбе с самоуправством верховной власти.

— Даже, — рассказывал Милютин, — когда «приятного человека» ловили на скверном деле: крупной взятке, перепроданной чудовищной концессии, проведенной через высокопоставленных хапуг неопрятной афере — такому почти всегда удавалось не только вывернуться из беды, но и сохранить свое положение. Надо было только подать это дело государю вкусно и смешно, и все оканчивалось цитатою из Гоголя: «Смотри у меня — не по чину берешь». Или еще проще и милее. Александр II добродушно замечал: «Бедный человек, пусть покормится. Россия от этого не разорится». Французы подняли гвалт по поводу Панамы. Да у нас такие Панамы случались в каждом министерстве, имевшем доступ к казенному сундуку, и все было и шито и крыто. Даже была в ходу сакраментальная фраза: надо держать высоко честь ведомства! И эта честь заключалась не в том, чтобы свернуть мошеннику голову, а в том, чтобы прикрыть его, лишь бы не узнал сосед. Если уж проворовавшийся был особенно противен, его выкидывали вон, но с мундиром, пенсией и знаком беспорочной службы. Сколько надо было усилий, чтобы поднять дело о грандиозном, превыше всяких Панам, и наглейшем мошенничестве с башкирскими землями. А ведь такая Башкирия у нас была в каждой губернии. Ведь из-за этих башкирских земель — я особенно настаивал о всей строгости законов по отношению к виновным — он сказал мне: «Нам с тобою, Димитрий Алексеевич, нельзя служить вместе. Лучше расстанемся добрыми приятелями». На другой день я приехал к нему с прошением об отставке, он расплакался — слезы у него были необыкновенно легкие! — и, обняв меня: «Прости, между такими старыми друзьями не должно быть никаких счетов. Я виноват»... И швырнул мою просьбу в камин. Но вся строгость законов осталась тоже в... камине.

— Он, собственно, не был врагом представительного образа правления. Напротив! Я помню, как-то раз мы засиделись у него после карт. Кажется, Адлерберг заговорил о вырабатывавшейся Иванюковым (профессором) и Соболевым конституции для болгар. Она ведь куда шире бельгийской. Александр II обрадовался: мы-де зажали рот Джон Булю. «Воображаю, как

Виктория оторопела, никак не ожидала!» — «Одно неловко, — заметил Адлерберг, — Болгарии дали, а дома...» И запнулся. Царь понял и с улыбкой ему: «Что ж, я не прочь, даже рад. Мне будет гораздо легче. Ну, а вот вам всем придется скверно. Это я не о тебе, Димитрий Алексеевич. Ты — либерал. Ты почувствуешь себя, как рыба в воде. Ну, а Адлербергу»... И расхохотался... И, разумеется, Адлерберг увял и остерегался возвращаться к этой теме.

— Иногда он нас очень изумлял. Я помню, на интимном обеде его любимец и конфидент, немецкий посол Швейниц — которому Россия обязана самыми реакционными мерами Александра II и разорительнейшими уступками Германии — насплетничал Его Величеству, желая насолить чуть ли не Мак-магону, тогдашнему президенту Французской республики, о том, что этот глупый, но самолюбивый генерал весьма непочтительно отозвался о царе. Александр II приказал, не скрывая, точно передать подлинные слова Макмагона. Швейниц, разумеется, только этого и хотел — и наврал, якобы с военною немецкою откровенностью, и обидно, и подло, и расшаркиваясь во все стороны. Государь задумался. Пауза продолжалась довольно долго.

— Решительно не припоминаю!..

Опять молчание.

— Нет... Роюсь в прошлом...

Наконец, Швейниц позволил себе спросить:

— О чем угодно вспомнить Вашему Величеству?

— Не понимаю. За что он меня так? Ведь я никогда не имел случая сделать ему доброе...

— Влияние немецких послов в это царствование было ужасно, с ним никто не мог бороться, и только впоследствии, когда все тайное станет явным в России, поймут, сколько зла ее народам сделали немцы. Особенно старик Вильгельм, перед которым Государь благоговел. Мы всегда отмечали рост реакции — после каждой поездки Александра II в Эмс. Там два императора проводили вместе от месяца до шести недель. Пили воды и не разлучались. Они гуляли вдвоем, окруженные в почтительном отдалении германскими шпионами, оберегавшими их. Многие мировые вопросы были решены на этих интимных tête-à-tête в ущерб России. Раз Александр II, вернувшись из Эмса, сказал мне: могущественная Германия — наша единственная опора и естественная союзница. Впрочем, и вся его политика строго направлялась к этой цели. Вмешайся Россия в датскую авантюру Бисмарка — и Шлезвиг с Голштейном остались бы в рубежах маленького и дружественного нам народа. И Австрия не была бы разгромлена — если бы мы шелохнулись только в эту злополучную для нее войну. Александр II весь был одна открытая рана. Этакого самолюбия я не знаю другого в истории последнего

времени. Он никогда не руководился пользами государственными или, лучше сказать, отождествлял их со своими личными счетами. Романовы вообще мстительны до слепоты. Желая наказать Австрию за ее роль в нашу Крымскую кампанию — он позволил Германии разбить ее и усилиться за ее счет, то же самое по отношению к Франции. Поставить войска на рубежах Австрии и удержать ее от реванша в 1870 году — мог только ослепленный жаждою мести, личной мести Наполеону III, император. Так мы, и именно мы, подняли на ноги и позволили создать чудовищную силу германскому престарелому государю, которому наш был не только преданным племянником, но и вернейшим вассалом. Лучше всего то, что после торжественного вступления германских войск в Париж Александр II сказал мне: ну, я теперь свел свои счеты с Францией... За меня заплатил ей с процентами император Вильгельм. — Таким образом, у него на первом плане были всегда свои счеты, и только. После нашей турецкой войны мы отдали румынам, нашим союзникам, болгарскую Добруджу, которою мы не имели никакого права распоряжаться, и вернули себе болградский уезд с Килией — чисто румынские, чего маленькое государство никогда нам не простит. Этот клочок нам вовсе не нужен. Мудрое правительство великодушно забыло бы о нем, ввиду боле крупных интересов и установления прочнейшей связи с народом, оказавшим нам в трагический момент прошлой войны важную услугу. Но, к сожалению, Романовы отличались всегда громадною памятью, особенно там, где это... было вовсе не нужно!

— Скажите, граф, правда ли, что существовал такой план: ввиду обеспечения России от польской опасности — начать фиктивную войну с Германией, причем наши войска должны были отступать до линии Вислы, не принимая боя. Затем, уступив всю эту часть бывшей Речи Посполитой, заключить с империей Вильгельма мир, получив взамен какой-то совсем не нужный нам клочок в Турции...

— Кто вам говорил об этом?

— Секрета тут нет. Генерал Черняев и потом Скобелев.

— Вы позволите мне не ответить на ваш вопрос?.. Вообще, как это ни горько, но последние годы покойный император, особенно во внешней нашей политике, делал одну ошибку за другою. Страшно сказать — особенно мне, его другу, но судьба вовремя вычеркнула его... Теперь хуже, но я думаю, если бы жил Александр II, мы играли бы в Европе очень плачевную роль...

Александр II плохо разбирался в своих симпатиях и антипатиях. Одно время он считал своими злейшими врагами всех Крапоткиных, потому что от души возненавидел бывшего камерпажа, талантливого социолога и крупного ученого анархиста-эмигранта, князя Крапоткина. Когда ему доложили о его бегстве

из Петербургской тюрьмы — одной из самых героических в истории революционного движения страниц — у государя вырвалось:

— Жаль, нет Муравьева... Он умел справляться с ними... Повешенные не бегают.

— Царь менялся в лице, когда кто-нибудь называл Крапоткина. Опять личное самолюбие... «Мой камер-паж, подумай, мой камер-паж!» Это была какая-то слепая злоба. Я вспоминаю случай, который был бы забавен, если бы от него не пострадал совсем невиновный человек. Он где-то в числе дворцовой прислуги (кажется, если мне не изменяет память!) увидел новое лицо. Подозвал. Спросил, откуда. Оказался костромич. Давно ли назначен?

— Два дня, ваше императорское величество!

— Как зовут?

— Иван Крапатин.

Государь подался назад и приказал:

— Убрать!

И потом, негодуя:

— Только у меня Крапоткиных и недоставало. Узнайте, кто его назначил.

Вечером ему Адлерберг осторожно: управляющий дворцом не виноват. Фамилия нового лакея не Крапоткин, а Крапатин.

И чтобы государь не принял это за дерзость министра, осмеливающегося поправить его ошибку, пояснил: лакей, верно, перепугался и неясно произнес свое имя.

— Да?

Александр подумал.

— Ну все-таки пусть он переменит его.

И Крапатин стал Крапоткиным. Ведь вы знаете: цари ошибаться не могут. Александр Благословенный раз по ошибке какого-то генерала вместо Петра назвал Ардалионом, и в ту же ночь были переделаны все документы его превосходительства. И. Ф. Горбунов сделал из этого один из остроумнейших своих рассказов.

После Петра это, пожалуй, был лучший из царей, но интересы государства он понимал, повторяю, только по отношению к своему «я». Вы помните назначение Александра Баттенберга на Болгарский престол? Мы все умоляли его не делать этого. Знали, какими бедами грозит России такой выбор. Ведь германский князек не скрывал своей ненависти к народу, освободившему придунайские провинции. Адлерберг даже стал на колени. Царь милостиво его поднял.

— Я верю, что ты предан мне... Но я обещал императрице.

Которая, разумеется, служила своим германским родным. Она не обращала внимания на его внебрачные привязанности, а он ее компенсировал, поступаясь, где это случалось, нашими кровными выгодами.

Это «я дал слово императрице» долго и тревожно звучало в наших ушах. Тем более, что оно было повторением другого такого же, но, пожалуй, еще более изменнического по отношению к родине. Вы помните, когда мы остановились в Сан-Стефано у ворот Царьграда? Пришли англичане. Их была горсточка — до смешного перед нашей победоносной армией. Ведь вы сами были там, на месте. И Галлиполи был тоже в наших руках. Мы могли бы эти шесть маленьких мониторов не выпустить из Мраморного моря. Даже Бисмарк дал царю, едва ли не в первый и не в последний раз, искренний, дружеский совет: beati possidentes[1]. Великий князь Николай Николаевич умолял его согласиться на бескровное занятие Константинополя. Армия дрожала от нетерпения — ведь для нее это было бы единственным заслуженным удовольствием за все перенесенное ею. Скобелев из Сфунто-Георгио ночью прискакал к главнокомандующему, предложив ему сейчас же занять город с его дивизией и завтра судить его, генерала, по всей строгости военно-полевых законов, только не отдавать обратно Византии. Весь Петербург, вся Россия ждала этого заключительного аккорда, раз и навсегда решавшего кровавый восточный вопрос... И что же: мне и всем, всем царь упорно повторял одно и то же:

— Я дал королеве Виктории слово.

— Но ведь Англия сама нарушила свои обещания, помогая туркам в эту войну.

— Все равно. Она могла обмануть меня, но русский государь должен держать свое слово!

Горчаков убеждал его, что впоследствии Россия морями народной крови своей заплатит за эту роковую ошибку. Мы все доказывали черным по белому, чем это грозит нам в будущем.

— Да... да... Я сознаю... Все это верно... Вы правы. Разумеется, мы за это поплатимся... Но я дал слово.

Наконец, он согласился и послал главнокомандующему телеграмму. Но прямого провода в армию не было, и с этой высочайшей телеграммой случилось нечто невероятное. Она не дошла до Николая Николаевича. Меня уверяли, что сам Александр ее вернул тайком от нас... Он ведь дал слово!..

— Бывало, окружающие настроят его как следует. Ведь он сам по себе не был ни зол, ни деспотичен, но эти очередные поездки в Эмс — уничтожали всю нашу работу. Великий германский император был — под грубоватою внешностью тяжеловатого солдата — одним из самых лукавых людей. Кровь Фридриха сказалась в этом. Меня, напр., он ненавидел и внушал своему племяннику, что я «слишком русский», это, видите ли, было преступлением в его глазах. Когда это не помогло, он советовал

[1] Счастливы обладающие *(лат.)*.

Александру II назначить меня или наместником на Кавказ — лишь бы подальше от Петербурга — или министром народного просвещения и оставил меня в покое, получив от царя категорическое: «Я могу переместить Милютина только на пост государственного канцлера и министра иностранных дел».

Это уж, разумеется, не входило в виды Вильгельма. Он со своими немцами уже работал, выдвигая Ламсдорфов, Гирсов и tutti quanti[1].

А, говоря правду, Милютин в министерстве иностранных дел был бы гораздо более на месте.

— На Александра II трудно было угодить. Его не так озабочивали крупные события, как выводили из себя мелкие, на которые другой не обратил бы никакого внимания. Я помню, на одном из дворцовых балов капитан граф Келлер обратил на себя внимание государя. Граф носил маленькую Henri IV бородку, и очень щеголял ею. Половина ее была совсем серебряная, а другая — русая. К молодому офицеру генерального штаба это очень шло. Александр II шел мимо с дамой, которою интересовался, — кажется, англичанкой. Он в этом отношении был очень слаб. Злые языки под сурдинку называли его «Августейшая беда от нежного сердца». Его дама залюбовалась бородою Келлера. Этого было совершенно достаточно, чтобы царь, проходя мимо, заметил: «У тебя бороденка в два цвета? Где ты ее взял?» — и нахмурился. Келлер, впоследствии отличный боевой начальник штаба и потом генерал, показал себя еще лучшим придворным. Не выходя из Зимнего дворца, сбежал вниз к приятелю, приказал подать себе бритвенный прибор и... бороду прочь. Вернулся, как ни в чем не бывало, и постарался попасться опять на глаза его величеству.

— Это ты, Келлер?

— Так точно, ваше императорское величество.

Пауза. На лице у государя улыбка.

— Поздравляю тебя моим флигель-адъютантом.

Как-то в Царском Селе. Выходит государь с собакой. Мимо гвардейский офицер, под руку с дамой. Так бы царь не обратил на него внимания, но собаке он почему-то понравился — она ему лапы на плечи. Штабс-капитан и не думал встретить императора в неурочный час и гулял по парку без сабли.

— Поди сюда... Ты почему не по форме?

Разумеется, вместо ответа ряд междометий.

— Твоя жена?

— Виноват! — наконец нашелся офицер, — не заметил.

— Я тебя не о сабле, а о твоей даме.

— Так точно, ваше величество, жена.

---

[1] Поголовно все *(ит.)*.

— Отправляйся на три дня на гауптвахту. Стыдно гвардейцу показываться таким лодырем. Скажешь, что я тебя прислал. О жене не беспокойся. Сударыня, вашу руку.

И, как истинный рыцарь, довел ее до дому, изумив по пути всех встречных.

Квартира ее была довольно далеко. Вернувшись, он приказал послать ей из своих оранжерей букет великолепных цветов и особых, готовившихся в дворцовых кондитерских, конфет. Дама была прехорошенькая. Когда об этом узнали при дворе, многие бросились знакомиться с нею... но быстро охладели.

— Знаете, она бы себе и мужу могла сделать какую карьеру!

— Ну?

— Всю дорогу, дура этакая, промолчала.

— Дура не дура... Но у нее большой порок. Слишком верна своему поручику.

— Я думаю, и он ее не похвалит. Могла бы попасть «в случай».

Таковы были нравы.

Потом царь встретил этого офицера. Память у всех Романовых на лица была удивительная.

— Ты на меня не сердишься? У тебя милая жена. Цени ее. Таких мало. Когда ее именины?

И в этот день она получила великолепный бриллиантовый браслет с приказанием надеть его на первый же бал в Зимнем дворце.

И потом она получала постоянно приглашения на такие.

У него очень быстро утомлялось внимание. На больших докладах, когда надо было, чтобы он до конца выслушал какой-нибудь особенно важный, Милютин радовался, если при этом присутствовал Суворов или Рылеев. Они отлично рассказывали анекдоты и, посмявшись, Александр опять делался внимателен, хоть и говорил светлейшему:

— Молчи, ты мешаешь Димитрию Алексеевичу. Он ведь строгий.

Он часто менял свои мнения, но никогда не подозрительное отношение к тем, кто, как ему казалось, был к нему враждебно настроен или не умел ярко выразить своей преданности. В Александре II было нечто женское: он хотел всем нравиться. Он не терпел критики и еще более — равнодушия. Восторги, встречавшие всюду его появление после варварской и мрачной эпохи Николая I, испортили его на всю жизнь. Он привык быть идолом. Не идеалом, для такой претензии он был слишком умен, но именно идолом, овеянным фимиамами, стоящим на цоколе или у вечно пылающего жертвенника, внимающим хоровым молитвам жрецов и народа. Всякая попытка, откуда бы она ни исходила, переместить его с этого неудобного положения в хотя бы и передовые ряды человечества — принималась им

как кощунство. На этом играли и выигрывали многие и, разумеется, такой спокойный мыслитель, как Д. А. Милютин, видел все и страдал за своего государя и друга. Он пытался влиять на Александра II в лучшем смысле, но достаточно было появиться кому-нибудь из привилегированных своих придворных немцев или германских, типа Швейница, чтобы все посевы военного министра пропадали бесследно в этой женской душе.

— Был ли он добр?

Милютин с удивлением посмотрел на меня.

— Разумеется, нет. Обаятелен, когда хотел завоевать когонибудь, кем он почему-нибудь дорожил, но добр, нет! Слишком сентиментален, чтобы быть добрым.

— Его считали великодушным.

Д. А. задумался.

— Пожалуй, когда он имел дело с людьми ему не приятными. Вы понимаете, на той высоте, на которой он стоял, довольно было не делать зла, чтобы прослыть великодушным. Совесть его была всегда спокойна. Я видел его после совершенных с его безмолвного согласия казней. Они не оставляли следа в его душе. Во-первых, это казалось ему обязанностью, а во-вторых, вы не забывайте, что, как «помазанник Божий», он не считал себя в ответе ни за что. Все, что ни совершалось, — воля провидения, а он умывал себе руки. Он не так верил в свое помазанничество, как его сын А. III, но ему это было удобно. Ведь люди часто верят именно тому, что им нужно, выгодно и приятно. Что бы он ни делал — причем же он сам? Ведь «сердце царево в руке Божьей». Он унаследовал от своего деда Александра Благословенного наивное коварство считать самые жестокие поступки непониманием его воли. Иначе разве он мог бы терпеть Муравьева-Виленского? Разумеется, нет... Но Муравьев был для него оправданием. Я помню, как государь раз при мне говорил:

— Что ж я могу сделать? Я поручил это Муравьеву... Это уж его дело — его и ответ. Не в силах же я все один. И при том я знаю, что он мне предан.

Это «он мне предан» оправдывало все.

— Оставьте его, он мне предан... Не трогайте N. N. — он меня любит. Что про X. X. ни говорите, но я убежден, что могу на него положиться... Он такой приятный человек.

В преданности Муравьева он, разумеется, глубоко ошибался.

Свирепый, беспощадный, прямолинейный Муравьев был слишком умен, чтобы не видеть насквозь чувствительного на словах императора, которому хотелось все ужасы его правления свалить на широкие плечи виленского герцога Альбы. Царь-де тут ни при чем. Нужно же доверять своим слугам. Они ведь не поняли его воли.

— Мне Муравьев рассказывал сам, что царь отменял смерт-

ные казни после того, как они по его расчету совершались. Таким образом, его величество в глазах полек, умолявших его о пощаде, оставался чист, а Муравьев-Вешатель делался еще гнуснее. В Вильно поэтому стало общим местом: Александр — ангел, а вот Муравьев — сатана, обманывающий его и творящий зло без ведома государя. Как-то, узнав, что красавица-полька, кажется, — может быть, я путаю фамилию — Свянторжецкая помчалась в Петербург кинуться к ногам царя и вымолить у него прощение осужденному на виселицу отцу, Муравьев слукавил. Задержал казнь на несколько дней. Александр II со своей обольстительной улыбкой принял Свянторжецкую не сразу, а через два дня после ее приезда. Когда она упала перед ним на колени, он ее поднял; обласкал, обещал все и при ней послал Муравьеву телеграмму: объявить Свянторжецкому полное помилование.

— Я, — продолжал Муравьев, — немедленно освободил арестованного и ответил: воля вашего императорского величества исполнена, — Свянторжецкий выпущен, ему выдан заграничный паспорт и сегодня он выехал во Францию.

Государь остался недоволен.

— Черт знает, что делается со стариком. То он безбожно спешит, то делается забывчив и медлит.

— И все-таки я любил его и до сих пор благоговею перед его памятью, — закончил Милютин последнюю нашу беседу. — Ни один царь после Петра не сдвинул так Россию с реакционного пути восточной деспотии, как Александр II. Я помню, мы вместе были молоды. Тогда он кипел, работал, был великодушен, верил людям. О, если бы он и в старости остался таким! Какую блестящую эпоху внес бы он в нашу отечественную историю. Его мечты, я до сих пор без слез не могу думать о них. Целые вечера, когда он был наследником, мы проводили вместе. В нашем воображении вся Россия покрывалась школами, гимназиями, университетами. Грамотный, свободный народ в раскрепощенном государстве! А потом? Его испортил двор, который как пчелиное гнездо дает мед одним и жалит других. Двор и, главное, немцы. Я иногда рассчитывал, не выгоднее ли было бы России раз навсегда отделаться от прибалтийских провинций. Все упорное, злое, тупоумное, низкопоклонное шло оттуда. И главное — мы все смотрим врозь, каждый за себя, а они в куче и в унисон. В нашей разноголосице балтийский согласный хор доминировал...

— Его испортила неограниченная власть, такое уж это скверное ремесло... Государственный человек должен быть готов к неблагодарности одних и равнодушию других. Судить нелицеприятно будут потомки, на современников надеяться нечего. Выстрел Каракозова перевернул Александра II. Он никак не

мог понять, что благородные, высокие замыслы не должны колебаться от случайностей.

Солнце уже опускалось... Над розовевшей Адриатикой наметилась аметистовая кайма итальянских берегов. Лицом на восток Бриндизи, плоскокровельный и белый, казался уголком, выхваченным из мусульманской дали. Оттуда на нас шло громадное океанское чудище — пароход в Индию. На палубе его играл оркестр... Мы отличили германский флаг.

— Вот наши наследники! — с горечью окончил Милютин.

— Все, что разроняли и разбросали мы, — подберут они. И дай Бог, чтобы только этим закончились наши злоключения. Александр II, о котором мы с вами проговорили весь день, свел счеты с Австрией, позволив ее разгромить под Кенигрецом и Садовой, и с Францией в 1870 г. Это было местью первой за «величие ее неблагодарности» и второй за Севастополь, а, в сущности, он действовал, как немецкий приказчик. Мы с вами, может быть, не доживем, но наши дети увидят, какого беспощадного врага мы вырастили в облагодетельствованной нами Пруссии.

Он не увидел.

Но я остался свидетелем того, что Милютин был не только большой государственный человек, но и дальновидный пророк. Но он не угадал в мрачной дали надвигавшихся на Россию туч, что вместе с Вильгельмом — рука в руку пойдут против своей истекающей кровью матери-родины и наша трусость, и наше подлое предательство...

И еще одно упустил он.

Великую Англию и латинский запад. Эти воспользовались безумием ослепленного своим могуществом германского императора, не рассчитавшего, что и без этой варварской, истребительной войны — весь восток стал бы данником его торговой и промышленной тевтонской вотчины. Защищаясь, они нанесли ему и ей страшный удар... Удар не только по сегодняшней силе, но и по всей злой монархической стари. Как это ни странно — но абсолютизм был убит хищною жадностью последнего Гогенцоллерна, наиболее монархического изо всех монархов... В истории мистическая справедливость. Она карает великих преступников и тернистыми путями ведет их народы через Голгофы к негаданным воскрешениям свободы и братства.

Но...

Ведь каждая война есть кровавый посев на более или менее далекое будущее...

Величайший физический закон — «угол падения равен углу отражения» — одинаково существует и в судьбах ничего не забывающего и ничего не прощающего человечества. И я радуюсь тому, что одною ногою уже стою в могиле. Я не увижу

реванша, которым ответит восстановившая свои неисчислимые силы Германия европейскому западу и востоку, как в 1918 г. ответила ей Франция за 1870 г. ... Свобода народов не есть их братство. Они часто сплетаются вместе, чтобы сейчас же расплестись и еще дальше отбросить их одни от других. Святые лозунги красных знамен — овеянных восторгом сегодняшних победителей — завтра они поблекнут вместе с этими знаменами, и народное брюхо опять станет повелительнее народного сердца... Искра мести тлеет в памяти побежденных... Первый ветер со стороны — раздует ее в нежданное пожарище и опять охватит дымом и угаром несчастное человечество. Война — вечна, как вечно наряду с добром — злое чудовище вражды и эгоизма...

Старость — нелицеприятный судья прошлого над настоящим.

И потому я в семьдесят пятую годовщину моей жизни не радуюсь сегодняшней победе права... Отраженная волна отхлынула далеко, но она клубит там свои усталые воды. Они соединяются с другими, долго в покое и тишине копившими свою стихийную силу... В час, определенный нарушенным равновесием, опять подует грозный ветер и нежданно поднимется гневный, оперенный пеной и молниями, первый вал отмщения и возмездия...

Только тогда, когда победители будут великодушны и сами залечат язвы побежденных, новая розовая заря поднимется над человечеством... Но такого чуда ни Будда, ни Кришна, ни Христос сделать не могли. Воинственный и жестокий Аллах Магомета и Ягве Моисея — так же вечны, как всепрощающий Бог галилейского мечтателя... И едва ли Карл Маркс в этом случае будет счастливее распятого царя иудейского...

ПАМЯТКА О НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДЕ

В громадном пожарище, охватившем Россию, незаметно погасла казавшаяся еще недавно яркой «лампада перед иконою русской литературы».

Так А. П. Чехов называл Ф. Ф. Фидлера, благоговевшего перед нашими писателями, переводившего почти всех отечественных поэтов — и больших, и малых — на немецкий язык, причем эти переводы порою не только не уступали подлиннику, но, случалось, превосходили его. Мало-мальски заметное лирическое стихотворение, затерявшееся в печатной макулатуре, скромный цветок, спрятавшийся в бурьяне, — бездыханный, то есть безымянный, — останавливал его внимание. В этом — он был необыкновенно чуток и проходил мимо только наглости и крикливой самодовольной посредственности. Стоило выступить начинающему поэту, загореться искорке настоящего дарования, да не в вышедшей книге, а где-нибудь на задворках захудалого журнала, на затычке маленькой газетки, Фидлер уже верхним чутьем (и нос у него на это был особый, немецкий, большой, точно обнюхивающий издали!) ловил его, и не успокаивался, пока не приводил к себе в свою скромную квартиру на Николаевской... Трудно себе представить ту страстную любовь, которою всю трудовую и короткую жизнь горел к нашим художникам слова покойный. Все, что касалось их, он собирал с религиозным чувством. Переписка, часто незначительная, а иногда освещавшая целые эпохи русской печати, воспоминания, вскользь набросанные заметки, портреты, карикатуры, признания — считались тысячами в его богатейшем архиве. Я помню, как-то сижу у себя и рву старые рукописи. Входит Фидлер.

— Ты что это делаешь?

— Видишь.

— Оригиналы, да? Ты с ума сошел!

А у самого ужас на лице.

— Вандал... варвар... дикарь!

Бросился к корзине, собрал все лоскутки, отнял у меня необорванное еще. Уложил в портфель. Через несколько дней захожу к нему — и вижу: все эти лохмотья (мы пишем на одной стороне бумаги) подобраны, один к одному наклеены.

— Всю ночь не спал. До десяти утра работал. Тут два пустых места... Вот карандаш, видишь, — впиши, что недостает.

А внизу с германскою аккуратностью: отнято у Немировича-Данченко Василия (род. 25 декабря 1844 г., умер...) в его квартире на Адмиралт. Наб. дом № 6, вход с Чернышева переулка.

В другой раз — он зашел к покойному И. Л. Щеглову. Тот сидел у печки и жег свои рукописи.

Щеглов рассказывал мне:

— Я даже перепугался. Лапами прямо в огонь, обжегся и вытащил еще недогоревшее. Спрашивает: «Что это?» Объясняю ему — наброски романа, который никогда не был напечатан. Ведь, поверишь, — заплакал. Едва я его бутылкой коньяку привел в себя... И то он продолжал чертыхаться и ушел, взяв с меня клятвенное обещание восстановить сожженные места. А пепел — в конверт и написал сверху: «Такого-то числа, года И. Л. Щеглов по свойственной русским писателям невежественности собственноручно бросил в огонь... да простит ему Феб-Аполлон этот смертный грех».

Он как-то засиделся у меня; был второй час ночи. Не помню, кто — едва ли не Влад. Алекс. Тихонов — сообщил: «Был сегодня у Далматова. Он разбирал переписку с писателями. Откладывал, что истребить, что сохранить». Федор Федорович вдруг вскочил и начал прощаться. Мы знали, что утром у него начинаются рано лекции в женском институте, и не удерживали. Затем следует рассказ В. П. Далматова.

— Послушай, что, твой Фидлер совсем спятил?

— А что?

— Да как же! Я играл третьего дня в Панаевском театре... И знаешь... Привез оттуда к себе... Одну... Ну, понимаешь сам... И вдруг ночью — звонок... Да ведь какой! Пока мой человек встал — все трещит. Ни на секунду не останавливается. Я, правду сказать, струсил. Думаю, не обыск ли — а у меня дама. Она тоже с перепугу в шкаф... Выхожу — этот твой долбонос Федор Федорович. Спрашиваю: «Что случилось?» — «Сейчас у Немировича рассказывал Тихонов, что вы, Василий Пантелеймонович, собираетесь уничтожить письма писателей». Я взбесился. «Вам, говорю, какое дело». — «Как какое! — вскакивает. — Да что вы маленький Омар, что ли!» Ничего не пойму. Правда, за обедом был у меня соус из омаров. Таращусь на него. Думаю, он сошел с ума или мне снится. «Ведь вы то же самое повторить собираетесь. Вам ни в этой, ни в той жизни история русской литературы не простит». — «Постойте, — ору

на него, — какой Омар?» — «А халиф, который Александрийскую библиотеку Птоломеев сжег!!» И ведь не ушел, пока я ему не открыл письменный стол и не отдал пачку писем. Там и твои есть, и Маслова (Бежецкого), и Гнедича, и Суворина. Так он еще спрашивает: «А вон в этом шкапу — ничего нет?» Не прогони я его — он бы все мои сундуки обшарил. У меня в передней подзеркальный ящик. Провожаю я его — он мне: «Можно?» — «Что можно?» — «Да в этот ящик...» — «Там мои старые шляпы». Посмотрел, убедился... Вздохнул и наконец убрался... Я скорей к даме — а та уже оделась. «Милая, куда вы?» — «Нет, уж довольно. Прощайте... Это свинство. И никак я от вас такого страха не ожидала!» И как бомба вылетела. Слушать ничего не хотела. Да я тебе забыл еще. Уже в дверях Фидлер останавливается, вынимает серенькую книжку. Подает карандаш: «Впишите что-нибудь». Должен был какой-то глупый экспромт ему туда...

Он был неразлучен с этими маленькими серенькими альбомчиками, от которых, случалось, наша пишущая братия бегала, как черти от ладана. Потому что с Ф. Ф. нельзя было встретиться — ни на улице, ни в лавке, ни на панихиде по какому-нибудь литератору, — чтобы немедленно перед вами на столе, на прилавке, на скамейке, на свечном ящике не оказывался такой серенький альбомчик. И при нем карандаш.

— Пиши.

— Что хочешь.

И ни крестом, ни постом бывало от него не отделаешься, пока не набросаешь афоризма, стихов или просто «Господи, убей громом Фидлера, а то от него никакой твоей твари спасения нет»...

Особенно покойный любил вечера у Лукашевич-Хмызниковой и у других, у кого собиралась вся тогдашняя «действующая» беллетристика. Он на такие являлся весь нагруженный серенькими альбомчиками. Бесцветными глазами — фиалки в молоке — он намечал жертву, подходил сбоку, брал под руку, усаживал за стол; вручал серенький альбомчик и кратко и выразительно просил:

— Что-нибудь...

Некоторые, как покойник Мамин-Сибиряк, доходили до бешенства.

— Уйди, Федор... Убью.

Рычал он на него, вращая своими удивительными громадными глазами.

— Потом — убей, а сначала напиши.

— Ведь — обругаю тебя.

— Ничего — только свою фамилию внизу, число и где.

— Нет, убью сначала, а потом эпитафию о тебе.

Триэф, как я его прозвал (Фед. Фед. Фидлер), брал со стола нож.

— Вот тебе — только экспромт.

Не могу забыть, как он поймал Владимира Соловьева, ежившегося под дождем в какой-то подбитой собачьим лаем крылатке и ценою предложенного тому зонтика заставил его тут же под этим зонтиком написать ему что-то в альбом.

Не могу вспомнить, чей юбилей или свадьбу мы праздновали в Кононовской зале. Только Фидлер проплясал кэк-уок, потому что иначе ему, кажется, Л. Б. Яворская не соглашалась ничего вписать в эти неизбежные святцы. Но настоящей жатвой для его сереньких альбомчиков были именно эти литературные поминки-юбилеи. Тут Ф. Ф. — являлся гордо, во всеоружии, в сознании полных своих прав на наши экспромты, таким триумфатором, что Дм. Нарк. Мамин как-то предложил ему надеть на себя абажур, а то вся публика ослепнет.

Десятки тысяч таких страниц наполнены шутками, автографами, стихами, парадоксами, беглыми мыслями, случалось, вдохновенными и яркими тирадами большой интимности и искренности. Не успевало вылететь чье-нибудь крылатое слово, остроумное сравнение, афоризм, как из-за спины протягивалась рука с сереньким альбомом и слышалось повелительное: напиши! Позволяю себе думать, что для биографий наших больших и малых писателей, богов и божков — эти странички важнее скучных и нудных памяток, которые друзья пишут о своих мертвых товарищах.

Сам Фидлер с аккуратностью образцового аптекаря вел дневник о встречах и беседах с нашим писательским миром. Каждый вечер, прежде чем лечь в постель, он записывал все, что ему казалось интересным или метким в своих разговорах с нами. Вся эта летопись — на немецком языке. Он рассчитывал впоследствии издать ее, когда нас уже не будет. Но увы — нам пришлось его самого провожать в раннюю могилу. Эти дневники чуть не за двадцать пять лет — истинные сокровища для закулисной истории русской печати. Нужна была его феноменальная память, чтобы удержать в ней до вечера малейшую деталь. Тут были памятки не об одних художественных и культурных течениях. Целые главы — интимной жизни, где наш мирок выступал так выпукло и красочно, как ни в одной монографии. Случалось, и сам забудешь яркое сравнение, остроумный экспромт, определение, вырвавшееся случайно, и вдруг через несколько лет Триэф напомнит:

— А вот в таком-то году и месяце, кажется, такого-то числа ты иначе думал.

И в наличности оказывалась подлинная цитата — слово в слово.

В этом отношении нашего общего друга напоминал отчасти Сергеенко.

Как-то заговорили об искусственных выкидышах. Один из писателей возмущался ими, и совершенно неожиданно биограф Л. Толстого:

— Значить, вы теперь переменили свое мнение.

— ?

— Тринадцать лет назад — (угрожающе) у меня все записано! — вы оправдывали это.

— Ах черт возьми! — Слишком поздно соображаешь, что не только карманы, но и язык надо иногда застегивать на все пуговицы.

Наш общий друг устраивал обеды беллетристов и писателей.

Они начались по почину Чехова, Гнедича и моему. Потом — все взял в свои руки Фидлер и, разумеется, сейчас же открыл двери всем без разбора — лишь бы скорей заполнять свои серенькие книжки. Думаю, что этому надо приписать быстрое прекращение таких собраний, особенно, когда они от Донона — перебрались к Палкину и в Малый Ярославец. Эти брали нисколько не дешевле Донона, — но Фидлер поставил наши трапезы на демократическую ногу, потому что товарищи в косоворотках и чудища костромских лесов воротили носы от хороших ресторанов. Фидлер был непременным членом всех литературных учреждений, кружков и обществ. Едва ли за все время их существования он пропустил хоть одно заседание или даже опоздал на какое-нибудь самое скучное и незначительное. Особенно он любил устраивать юбилеи. Мне в большой минус он ставил, что, проработав (до его смерти) пятьдесят три года — я ни разу не отпраздновал своего юбилея.

— Подумай... ты мог бы уже сколько, постой: 10-летний, 15-летний, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Девять юбилеев. Ты понимаешь, девять юбилеев справить! Девять юбилеев! Все справляют, а ты что за цаца? Раз было я без тебя все устроил: сорокалетний! А кто-то тебе проговорился, ты взял заграничный паспорт и удрал в Венецию...

Я ему объяснил, почему я, с удовольствием участвуя в таких у товарищей, своего допустить не хочу. Он внимательно выслушал — и сейчас же серенький альбомчик на стол.

— Пиши...

— Что?

— А вот, что ты сейчас... Постой, я вверху помечу: мнение В. И. Н. Д. о своем юбилее.

На этих юбилеях Фидлер любил выступать с остроумными характеристиками писателя или приветствиями ему, составленными из названий его повестей, рассказов, романов. Кропотливая, истинно немецкая работа, от которой порою пахло потом.

Его квартира — была настоящим литературным музеем. Вы не могли вспомнить ни одного писателя, ни крупного, ни мелкого, чей портрет или бюст — первый непременно с автографом или посвящением — не занимал бы своего места на стене, на шкафу, на этажерке. Целая галерея карикатур значилась тут же. В папках, в ящиках фотографии — сколько бы то раз,

где бы то ни было, как бы вы ни снимались — все равно, гравюры с вас, помещавшиеся в каких бы то ни было журналах, десятки папок с приведенными в самый аптекарский порядок письмами писателей, помеченными, когда, кому, откуда и по какому случаю. В целом мире не было другой такой коллекции — и, разумеется, живи Триэф не в России — он бы сделался настоящею знаменитостью среди коллекционеров. Его музей посещался бы тысячами людей, город или академия отвели ему бы громадные залы... Но, увы, наш общий друг имел злополучие родиться и работать, чего греха таить, в варварской России... Кто теперь вспоминает его декабрьский праздник, кажется, четвертого, когда к нему собиралась вся русская печать? Приходили званые и незваные. От наших корифеев до незаметного репортера... Эта была своеобразная живая выставка наличных сил печати. На свои крохотные средства Ф. Ф. ухитрялся хоть раз в год — накормить и напоить всех, именно всех без исключения. Более близкие и интимные друзья собирались к нему сверх того каждое воскресенье на интимный пирог с капустой и на Калинкинское пиво.

А средства у него были действительно крошечные, но он ухитрялся жить без долгов... это был человек честности кристальной. Сколько раз, бывало, зная, что он попал в безвыходное положение, предлагаешь ему деньги.

— Ни за что, ни под каким видом.

Как-то, впрочем — его захлестнула мертвая петля.

Бедная жена его — не подымавшаяся уже с кресла, скорченная каким-то особым видом паралича, нуждалась в каком-то особенно дорогом средстве. По дороге домой он зашел ко мне на Николаевскую, бледный и растерянный.

— Что с тобою?

Рассказывает.

Я ему силой навязал деньги.

Не прошло получасу — звонок.

Прислуга отворяет. Фидлер! Сунул ей в руки конверт и опрометью с лестницы.

В конверте — вся сумма, которую он у меня занял.

«Извини, писал он, но я никак не могу взять ее... Скорее, чем у кого-нибудь, я занял у тебя, но это против моих правил...»

Насколько я знаю — он никогда не пользовался ссудами ни из Литературного фонда, ни из кассы взаимопомощи...

Когда я уезжал заграницу — он и тогда не оставлял меня в покое. То и дело я получал от него открытки, требовавшие ответа. Больше, чем на открытки, он не претендовал. Они ему нужны были для обогащения коллекций писательских автографов. Я помню его жалобу на Мамина-Сибиряка и Скабичевского.

— Ухали в Крым к Тихомирову есть чебуреки и любоваться кипарисами... И хоть бы одну открытку.

Все, что связано было с тем или другим писателем, — являлось для него реликвией. Я привез ему засушенные цветы, сорванные у памятника Герцена в Ницце. Ф. Ф. пришел в восторг и бросился меня целовать.

Но самою обильною его жатвой были его именины, 4 декабря, которые, лютеранин, он праздновал непременно по-русски. Все посетители приносили ему писательские письма, и Фидлер ходил в восторженном состоянии.

Это был человек большой души.

В семье — он не был счастлив.

У него была чудесная жена. Брак по любви. Она — его ученица, он — ее профессор в институте. Все для долгой и покойной радости, но я уже упоминал о ее недуге, приковавшем эту милую женщину к ее креслу — на долгие, долгие годы. Надо было видеть, каким вниманием Ф. Ф. окружал ее. Каждое желание, каких бы жертв оно ни требовало, исполнялось им немедленно. Какие только врачи ни приглашались к ее живому трупу со скрученными пальцами, которые она делала тщетные усилия подать вам. Фельдман пробовал над ней гипноз. Приглашали других чародеев. Ничего не помогало. Неотступно, шаг за шагом, недуг делал свое, отнимая у нее клочок за клочком все тело, и оставлял только ясность сознания, которому, увы, уже с трудом повиновался язык. Дочь и он самоотверженно ходили за нею. Бывало, сидишь в его кабинете. Он вдруг срывается:

— Пойдем к жене: ей, бедной, скучно.

Он не долго пережил ее!..

Его значение в литературе было вовсе не так мало, как думают.

Великолепный переводчик русских поэтов, превосходными немецкими стихами, выпукло и ярко передававшими характер и особенности автора, он напечатал множество маленьких книжек в Лейпциге, по которым германский читатель знакомился с нашей литературой. Пушкин, Лермонтов, Майков, Фет, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Надсон и десятки других переданы им в их лучших произведениях. Сверх того, он всех мало-мальски заметных поэтов наших печатал в Петроградских немецких газетах. Сам он смотрел на этот труд, как на памятник по себе, который он оставит во всемирной литературе. Но увы — российскому Боденштедту не так повезло, как его германскому собрату. Тот находил издателей. Фидлер, приготовивший громадный том чуть ли не в тысячу страниц антологии русского изящного слова, тщетно искал в Германии охотников рискнуть даже сравнительно небольшими деньгами на такое предприятие. Вся эта гигантская работа осталась у него на руках. Где она теперь? Уцелела ли она или нет? Мы его считали посланником немецкой словесности при русской литературе, немцы — таким же русской литературы

при немецкой. Положение почетное. И Брандес, и все отдавали ему справедливость, но, увы, бездарный, портивший и обесцвечивавший все, чего он ни касался, П. И. Вейнберг гораздо более снял пенок с обеих литератур, чем добросовестный, точный и талантливый Фидлер. Я помню, с каким он бешенством прибежал ко мне:

— Ты видел первый том переводов П. И. Вейнберга Генриха Гейне?

— Нет. А что?

— Полюбуйся на эти образчики. Помнишь, у Гейне: когда я вижу красивую женщину — я гораздо больше наслаждаюсь ею, чем дурак, обладающий ею, во всю свою жизнь (не ручаюсь, так ли я передал!). Ну, теперь читай у почетного академика: я расплываюсь в мелодиях лица ее... Это еще ничего, дальше: и через каждый взгляд своего глаза получаю больше наслаждения, чем другие со всеми своими членами, в продолжение всей своей жизни... хорошо!..

Я расхохотался.

— Нет, ты подожди. А вот чудесные стихи: «Здесь царем дитя-пастух»... дальше: коровы, вот тут: «Позвонки их гоф-капелла». Не звонки, а позвонки... Позвоночный столб!.. Ну, а это? Наизусть знаешь: ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, где в ярких листах померанец, как золото, зреет? У почетного академика:

Ты знаешь ли страну, где померанц цветет?..

А? И ведь есть превосходные переводы М. И. Михайлова. Зачем Марксу Вейнберг понадобился?..

— Ну тебе-то что? Почему ты несчастен от этого?

— Мне? Да ведь это Генрих Гейне! Пойми. Оскорбление величества, святотатство. Генрих Гейне!..

Долго после того мы П. И. Вейнберга иначе не называли, как «померанц».

Лекции Ф. Ф. очень были популярны у его слушательниц.

Особенно, когда предметами их были немецкие поэты. Фидлер выходил из-за кафедры, весь восторг и вдохновение. Он мастерски читал и тонко комментировал.

— Потом, — мне рассказывала одна, — мы перечитывали сами и они нам далеко не так нравились.

Не мудрено, что воспитанницы влюблялись в него, хотя он, надо сказать правду, ничего общего не имел с красотою. Природа нашего милого общего друга очень обидела в этом отношении!

Сложись иначе его семейная жизнь, может быть, Ф. Ф. и до сих пор был бы между нами. Милая, больная жена, на страдания которой он не мог равнодушно смотреть, — была его крестом, который он вместе со своей дочерью безропотно нес до ее могилы. Но человек не может жить одною печалью. Он отводил душу в дружеских скромных встречах, где дешевого

вина и еще более дешевого пива было — хоть облейся, и это точило и разрушало его крепкую, на сарептских хлебах выросшую, натуру. А тут еще война — война с Германией! Сын сарептского колониста, он не мог забыть, что он прежде всего немец и в то же время он горячо любил Россию. Фидлер, как и многие русские немцы, раздваивался в эту тяжкую для нас всех годину. Когда я приезжал с фронта — он со страстным желанием узнать правду бежал ко мне: неужели немцы — немцы Гете и Шиллера, философов-гуманистов, великих ученых — действительно повинны в ужасах, только частью проникавших в русскую печать, потому что военные цензоры, вроде Тунцельмана фон Адлерфлюка и других истинно русских людей, старательно вычеркивали из наших писем все, что рисовало наших врагов в непривлекательном свете. Объясняли это они тем, что надо беречь нервы нашего солдата, который, разумеется, видел больше того, о чем мы писали. И когда я подтверждал доходившие к Фидлеру слухи — он мрачно уходил домой, чувствуя себя поистине несчастным.

А тут еще...

Я не могу без тяжелого чувства перейти к этой части моих воспоминаний... Придется ударить по совести моих товарищей, к которым, ценя их талант и сердце, я всегда относился и отношусь с величайшим уважением. Война с немцами совершенно перевернула их. Они вдруг возненавидели весь этот народ, да не только зарубежный, но и ту его часть, которая давно поселилась у нас и сжилась с нами. Бедному Фидлеру прежде всего пришлось на себе испытать эту перемену отношений.

Как-то он пришел ко мне. На нем лица не было. Сел в кресло. Схватился за голову и вдруг разрыдался.

— Что с тобой?

— Как — ты еще по-прежнему на «ты» с немецким шпионом?

— Федор, ты с ума сошел?

— Да... Я немецкий шпион... ты слышал это? Нет? Так услышишь... Человек, с которым я четверть века на «ты», один из моих самых близких друзей, отказался мне подать руку, потому что я, Федор Федорович Фидлер, немецкий шпион. Жене другого я как-то сказал: не забывайте, что вы все-таки немка, не можем же мы вытравить из души любовь к нашему народу, — и ее муж, тоже мой друг, с ним я тоже на «ты», выгнал ее из дому, а меня тоже объявил во всеуслышание предателем... Ах, как тяжело... Как тяжело!..

Мне едва удалось привести его в себя!

Так он и доживал эту войну, злополучную, разорвавшую столько дружб, добрых отношений, создавшую кругом такую злобу, подозрительность, шушуканье по углам, клевету за спиною и враждебные взгляды при встрече.

— Б** мне не подал руки, когда к нему я бросился с открытой душой... Р** повернулся ко мне, смерил меня с ног до головы и процедил сквозь зубы: мы больше не знакомы.

И действительно, на обычном вечере у Клавдии Владимировны Лукашевич я сам видел, как одиноко чувствовал себя Федор Федорович в кружке своих вчерашних друзей... Куда он ни подходил — вокруг него сейчас же образовывалась пустота.

— Ты видишь... Я зачумленный.

И из самолюбия он начинал говорить особенно громко, с подъемом деланным и неприятно поражавшим нас всех, искренно любивших его. Он точно вызов бросал своим вчерашним друзьям. И, увы, на этот раз с ним не было даже его серенького альбомчика.

Он умирал тяжело и почти одиноко.

Болезнь длилась без конца. То она его отпускала немного, и из Мариинской больницы он уходил к знакомым, где по нашей русской распущенности его опять поили и вином, и пивом... Характера отказаться у него не было — и он глотал этот яд, убийственный для его недуга. Я несколько раз был у него в маленькой белой больничной комнате. Его там отлично кормили и внимательно лечили, но привыкшему к шуму и кутерьме литературных кружков — Фидлеру было тоскливо в этой тишине и, главное, в одиночестве.

— Все меня забыли, все... Еще Булацель заходит... А то никого... Никогда... Да, впрочем, что же я! Ведь я немец... А немец, значит, шпион...

И этот чистый, кристальный человек глубоко страдал в вынужденном покое больничного обихода.

Он умер — и никто из нас не знал об этом.

Над Россией носились громы внезапно разразившейся революции. Начиналась искупительная страда великого народа, повинного в целых веках терпеливого рабства. В бешенстве возмущенных стихий, где история молниями во мраке писала свои неумолимые приговоры и, казалось, внимая им, трепетала земля от полюса до полюса — кому была заметна смерть «общего друга» нашей печати! До сих пор ни одни литературные похороны не обходились без Ф. Ф. Фидлера. Он первый шел за гробом писателя и последним уходил с кладбища, не пропускал ни панихид, ни поминок. За его бедным прахом, кроме двух-трех, случайно узнавших о смерти скромного труженика, не следовало никого. В эти дни газеты не выходили, и я только через несколько дней узнал о том, что моего старого приятеля не стало.

Через сорок дней в воскресенье во Владимирской церкви были его сорокадневные поминки. Об этом уже объявили. Я пошел туда. Думал встретить там хоть половину тех, кто собирался к нему 4 декабря на обычные литературные смотрины

и ужины. Особенно его друзей, хотя бы тех, кому он так усердно устраивал юбилеи, сборы, адреса... Увы! Кроме почтенного С. А. Венгерова, А. Е. Кауфмана, Елисеева, Кл. Вл. Лукашевич, Луговой — никто не пришел на эту панихиду. Мы видели печальные глаза его дочери. Оглядываясь, она, как мне казалось, думала: А ведь эти дни были сбором всей русской литературы у отца. Куда же делась вся эта русская литература?

Скромная, незаметная смерть, и какой в ней трагизм: Ф. Ф. всю жизнь верил в грядущую русскую свободу, молился надвигавшейся революции, которая должна будет раскрепостить все народы от позорных кандалов правового рабства... И — смежил глаза в канун ее торжественного победного набата.

Так потухла неугасимая лампада перед иконою нашей литературы.

НЕ ГЕРОЙ

(Воспоминания на кладбищах русской печати)

Благодарность современников и суд потомства.

Я думаю, одною из самых трагических фигур в русской журналистике, несмотря на сравнительную незначительность, за последнюю четверть века был Осип Константинович Нотович. Над маркизом Оквичем и его «немножко философии» можно смеяться, но нельзя забывать, что в течение многих, особенно тяжких, лет он стоял во главе большой и по тому времени либеральной газеты, в которой работали самые выдающиеся наши журналисты. Сколько изворотливости и часто хитрости надо было ему иметь, чтобы изворачиваться в таких условиях, в каких бесследно гибли десятки других, быть может, и более почтенных изданий. Ни одно опасное поморье не представляет таких подводных рифов, скал и бурунов — какие встречали злополучную отечественную печать во все дни ее живота. Это было обычною обстановкой тогдашней газеты, но, сверх затруднений ее обычного плавания, на нее то и дело налетали негаданные смерчи оттуда, откуда никто их и предвидеть не мог. Кто только не дубасил ее и в хвост, и в голову! Каждый заведомый мерзавец и негодяй, случайно занявший более или менее важный пост, прежде всего заботился, как бы плотнее отгородиться от общественного мнения и его выразителя — печатного листка. Тут было все кстати: и секретные инструкции, и незаконные изъятия, и ножи в спину из-за угла. Итальянским средневековым спадассинам и в голову не приходило того разнообразия убийственных западней, капканов, ночных налетов и всевозможных хватаний за горло, которые в эту мрачную пору Александра III никого не удивляли и даже в нашей журналистике не вызывали никакого протеста. Дело было простое и обычное, и если бы не всемогущая, спасительная взятка — едва ли добрая половина тогдашних периодических изданий могла

уцелеть. Именно дореформенная взятка, свившая себе гнезда в главном управлении по делам печати и во всевозможных цензурных комитетах. Это была застраховка литературы, не исключавшая, впрочем, возможности вдохновенных перунов, разивших писателя и его работу с высоты не только министерских кресел, но и скромных столоначальнических стульев. Не смешно ли (нам приходилось не смеяться, а плакать), что судьба загнанного и затравленного периодического издания, случалось, зависела от какого-нибудь участкового пристава, а случалось — и городового. Ведь в сложной административной машине времен Толстых и Победоносцевых каждый был за всех и все за каждого. Я недавно читал чудесную книгу Жоффруа о Бланки. С каким ужасом автор пишет о наполеоновских драконах печати! Да такие у нас были бы лучшими из лучших, чем-то вроде добродушных барбосов на цепи у хорошо питающего их хозяина. Те исключительные явления, о которых он упоминает, — были у нас общим местом, а над этим общим местом гуляла вовсю цензурная нагайка заплечных мастеров вроде Феоктистова, Лонгинова, Соловьева и других их ангелов, имена же их ты, дьяволе, веси.

Вот на какой сковороде приходилось жариться скромному журнальному ершу.

И, право, многое и многое должно простить искалеченному в вечной борьбе с василисками и скорпионами полиции живого слова О. К. Нотовичу. Я помню, как-то вечером его жена Розалия Абрамовна спустилась в редакцию, где я читал корректуру своего рассказа.

— Пожалуйста, подымитесь к нам.

— В чем дело?

— С Осипом что-то неладное.

В большом сумрачном кабинете я застал Нотовича в истерическом припадке. Он и плакал, и потрясал дланями, разя невидимого врага, и предавал кого-то анафеме до седьмого колена.

— Не могу же я, — вопил он, — вырвать сердце и заложить его, чтобы заткнуть эту ненасытную пасть.

— Сердце в залог не примут! — меланхолически и деловито соглашался милый и добродушный Никитин, бросивший писательство, чтобы ведать денежными делами редакции.

Я в первый раз таким образом видел, как взрослый, мало того — уже в почтенном возрасте и с крупным общественным положением человек плачет... Не желаю никому такого зрелища!

Его обвиняли в том, что, получив пять крупных литературных наследств, т. е. подписчиков запрещенных реакционною властью изданий, он не сумел сохранить ни одного. Это несправедливо. Вместе с подписчиками Нотович почти не пользовался подпис-

ными суммами. Они были или вполне или большею частью израсходованы прекратившимися газетами. Ему приходилось доводить, на средства одних своих «Новостей», их до конца года в удвоенном и утроенном количестве экземпляров. Сверх того, казненные синклитом четырех министров издания — велись смело, часто, предвидя свою неминуемую кончину, они бравировали, помещая резкие и непримиримые статьи, главным образом, захватывавшие читателя. Получая «Новости» — он попадал в сравнительно тихие воды, потому что О. К., прежде всего, старался сохранить свою газету до лучших времен, которых этот несчастный редактор так и не дождался. Каждый новый год был не лучшим, а худшим. Грозовые тучи насилия и мракобесия сгущались над приниженною, стлавшеюся по земле печатью, не осмеливавшеюся даже в роковые минуты поднять голову. Ради того, чтобы сберечь «Новости» от бюрократических перунов — издатель шел на всевозможные уступки, надо сказать правду, обезличивая, но не опозорив газету предательством или подлостью. Газетам «Чего изволите» легко было сверкать яркими красками, бесшабашным, подкупающим полуграмотную массу остроумием, шаржем, доходившим до хулиганства. Если бы Нотович рискнул на это — разумеется, на него немедленно обрушился бы паровой молот тогдашней цензуры. Я столько раз видел в редакции корректуры великолепных отповедей, ядовитых, беспощадно вскрывавших всю подоплеку литературной черной сотни, — но, увы, с ними знакомились только мы да наборщики, а Нотович, сначала восхищенно бегавший из угла в угол, вдруг схватывался за голову и помечал эти гранки «к разбору».

Бедняга садился между двумя стульями.

Он задавался целью во что бы то ни стало создать серьезный орган, по-нынешнему — несколько левее кадетского центра, но по газете сейчас же начиналась беспощадная травля. Толстые и Победоносцевы сейчас же принимали соответствующие меры воздействия, Главное управление по делам печати выпускало своих цензурных апашей, и перепуганный Нотович, оправдываясь перед сотрудниками необходимостью оживить «Новости», бросался в сторону бульварного интереса. И в этом, увы, он терпел неудачи. В несколько тяжеловесной редакции газеты не было подходящих наездников, а враждебная печать, выросшая на этом, так подымала его на смех, что оторопевший О. К. опять начинал печатать в отчаянии высокоученые трактаты Модестова и других ученых, по недоразумению вообразивших себя журналистами. Интеллигентный Петербург очень ценил профессорские статьи, но на газету не подписывался.

Нотович вечно боролся с недостатком средств, но за ним не пропало ни одной копейки, заработанной его сотрудниками. Как он изворачивался — мог бы рассказать В. Никитин, о

котором я уже упоминал, но он умер, не оставив воспоминаний. А жаль. Они внесли бы не одну трагикомическую страницу в летопись нашей журналистики. Еще пока у Нотовича не было конкурентов — дело кое-как шло. Но банкирские ищейки скоро разнюхали, где пахнет жареным, — и вот рядом с «Новостями» возникают того же политического направления другие газеты с несравненно большими средствами, развернувшиеся такими махровыми цветами, какие и не снились нашему мудрецу. Участились беспощадные удары со всех сторон. Бедный Нотович и смелый, но замученный и усталый Градовский отбивались, как могли. Остроумный Василевский-буква мог бы отлаяться, но он учитывал всевозможные литературные течения и, сверх того, он был связан еженедельными фельетонами в «Русских Ведомостях», газете академической, широко либеральной, но не допускавшей никакой свистопляски. «Нахмурив лоб, наморщивши чело», смяться неудобно. В. О. Михневич, присяжный фельетонист «Новостей», несмотря на все его плюсы, особенною легкостью в мыслях не отличался... Покойный Владимир Осипович — одна из самых почтенных фигур в нашей повременной печати. Из него, несомненно, выработался бы первоклассный библиофил, добросовестный и талантливый исследователь истории, литературы и наших общественных движений, превосходный практический деятель во всевозможных союзах и предприятиях самозащиты работников печати, но он меньше всего был фельетонистом. Сам Нотович искал всю жизнь людей острого пера и смелой мысли, застрельщиков в литературных боях, так необходимых газете. Но Амфитеатров и Дорошевич — эти два крупнейшие таланта и боевика — писали вне сферы влияния «Новостей», ничего общего с ними не имели. Будь у О. К. средства, которыми впоследствии обладал хитроумный Улисс Проппер, — разумеется, «Новости» выдержали бы и до революции стали прочно на ноги. Но у их редактора-издателя связи с банками если и были, то разве только по учету и переучету векселей, и свои вдохновения в директорских кабинетах этих учреждений он не почерпал. Кто постоянно виделся с О. К., чаще всего наблюдал Некрасовское:

Где бы денег достать, я прочел
На почтенном лице мертвеца...

Я помню, как один из враждебных ему фельетонистов пустил в Нотовича ядовитую стрелу: «Новости»-де издаются на еврейские деньги».

Нотович прочел и горестно воскликнул:

— Если бы! У меня — посмотрите книги, я велю открыть их вам — меньше всего подписчиков между евреями.

— Не может быть!

— Убедитесь в конторе.

— Чем же вы это объясняете?

— Евреи вовсе не интересуются, как их защищают. Больше всего их занимает: как их ругают, и потому они все — подписываются на «Новое Время».

Он убил на газету все состояние своей жены — милой и преданной Розалии Абрамовны, беспрекословно отдавшей приданое на любимое дело мужа. На ее глазах оно уходило все — обездоливая ее детей, но она ни разу не упрекнула его за эти невознаградимые потери. Когда «Новости» рухнули — ее уже не было в живых и она была избавлена от горя видеть и Осипа Константиновича и всех своих нищими. Место «Новостей» было тотчас же заполнено бойкими ростовскими южанами, приглашенными Нотовичем из «Приазовского края» на репортерское воеводство. Они, впрочем, не долго проработали у него и создали свои газеты, дешевые, бойкие, взявшие сразу такие верхние ноты, которых в диапазоне «Новостей» и не оказывалось. Как всегда, в данном случае отяжелевший север был побежден предприимчивым, лихорадочным, неутомимым югом. Нотович, кажется, сын таганрогского раввина — сам был южанин, но в его крови от питерской сырости и холодов — солнце давно потухло и, разумеется, не ему можно было выдержать эту борьбу со свежими бойцами, у которых еще не поблек южный загар. Новые птицы запели новые песни. Всегда полуакадемическому, «немножко философу», О. К. было и не по силам и не по характеру схватываться с ними. А тут подошел министерский обух, суд и угроза тюрьмою. Нотович был не из героев и меньше всего годился в мартиролог печати. Не из такой глины лепят мучеников. Он сам про себя говорил, не без юмора: «Я ужасно храбрый в кабинете при запертых дверях и плотно задернутых гардинах — только чтобы никого около не было». Еще храбрее он был на словах в беседах с доверчивым сотрудником. Тут в Осипе Константиновиче вдруг показывался незабвенный Иван Александрович Хлестаков. Особенно после свидания с министрами или сановниками. Судя по его словам, можно было думать, что они трепещут перед ним и его «Новостями». Надо было человеку хоть какое-нибудь, хотя в наших глазах, удовлетворение за только что испытанное унижение. А «важные обоего пола персоны, имеющие приезд ко Двору с Кавалергардского подъезда», в свою очередь, говорили о нем: «Он совсем ручной у вас. Я думал, Марат или, по крайней мере, непримиримый Бланки — а он завивает хвост и ласково смотрит в глаза... Весь тут!» Зато за рубежом, где положение печати иное — он умел держаться с большим достоинством, не поступаясь ничем. Я помню, во французской палате депутатов мне говорили: «О, «Новости», — это первая газета в России, ваш «Times», и у вас министры ничего не делают, не посове-

товавшись с monsieur de Notovitch». Таким образом, украсив свою петличку ленточкой почетного легиона, он скромно говорил: «Там меня ценят, они отлично знакомы не только с газетой, но и с моей книгой!»

Но после запрещения многострадальных «Новостей» и бегства в Париж от тюрьмы Осипу Константиновичу стало очень жутко. У него были миллионеры родные, но они не поддержали бывшего своего редактора. У него навертывались предательские слезы на глаза, когда он рассказывал о них, не удостоивших его даже ответом на его буквально голодные вопли оттуда. Один из его прежних друзей, человек, обладавший большими средствами, которому О. К. когда-то расчистил путь в литературу, тронутый его рассказом о постигших его бедствиях, незаметно вложил ему в руку бумажку. Нотович обрадовался. Уж очень наголодался перед тем и, когда его приятель вышел (дело было в Cafe Napolitain), быстро развернул кредитку... Он ее швырнул под стол. Соотечественник расщедрился на... русскую пятирублевку.

— Не вы ли уронили? — поднял garçon.

— Нет... Это, верно, господин, который вышел отсюда...

Он бросался во все стороны в поисках работы.

Умолял меня найти ему занятие. Рекомендовал себя в парижские корреспонденты. Разумеется, при его политической честности и широком образовании он в этой роли был бы на своем месте. Но ни одна из газет, когда-то боявшихся конкуренции его «Новостей», не была настолько великодушна, чтобы хотя за нищенский гонорар открыть ему свои столбцы. Брали людей полуграмотных, совершенно незнакомых с международными отношениями, часто сомнительных, случалось даже, заведомых биржевых игроков, в европейской жизни и местном обиходе невежественных, бестактных, плохо говоривших на местных языках и вовсе уж не представительных. Довольствовались базарною дешевкой, но не могли побороть в себе недавнего ревнивого чувства к павшему сопернику. Благороднее всех оказался А. С. Суворин. Как-то перед отъездом в Париж я ему рассказал о бедствиях Осипа Константиновича.

— Вот что... Я понимаю: он не может подписываться в «Новом Времени». Мы все время были политическими врагами, но пусть об этом знают я, он да вы, и никто больше. Предложите ему писать — об общелитературных явлениях на западе. Я ему дам на первых порах 1500 фр. в месяц. Если ему нужен аванс — телеграфируйте — немедленно переведу тысячу рублей. Или больше.

Нотовича в Париже я застал в ужасном положении.

Он бился из последних сил.

Я передал ему предложение Суворина.

— Я хорошо понимаю. Алексею Сергеевичу я нужен, как второй хвост собаке. Разумеется, мое положение безвыходно,

но... Нет! Я ему очень, очень благодарен. Он один из всех... (Нотович отвернулся, чтобы скрыть свое волнение), но понимаете... Я не могу, не могу. Ведь я чуть ли не пятнадцать лет боролся с ним... Нет, не могу... Я напишу ему сам... Между нашими не нашлось ни одного такого. Ни одного! Все от меня, как от чумного! Вы знаете, что мне ответил ***...

И он назвал крупного московского издателя.

— «Кому вы нужны теперь? Сверх того, я боюсь, что мне и моему делу вы принесете несчастие, преследовавшее до сих пор и вас, и все ваши предприятия. Вы — человек сплошной неудачи и потом — чем таким вы ознаменовали себя как писатель? Мы ищем людей талантливых, а вы один из тех, которых приходится по сорока на дюжину»...

— А между тем, когда у меня была газета, он часами просиживал у меня в приемной и был слаще меда... Разумеется, мед часто киснет...

В последний раз наша встреча была неожиданна и уже фантастична.

Я приехал в Софию из-под Чаталджи. Только что с армиями Радько Дмитриева провел поход от Лозенграда через Люле-Бургас, месяц наблюдал действия болгар по направлению к Стамбулу от оз. Деркоса до Силиврии. И когда победоносные войска славянского Наполеона остановились до весны перед железною стеной турецкой защиты, я счел себя временно свободным. Я обносился, изголодался. Надо было в столице новоявленного царя Фердинандуса отогреться, отдохнуть. В долгие боевые периоды, когда вам не удается ни на одну минуту остаться одному — так повелительно необходимо одиночество. Я заперся в маленькой страннонриемнице и отсыпался за шесть месяцев сплошной, и ночной и дневной, работы, радуясь молчанию моей комнаты, выходившей тремя окнами на пустынную улицу. На мое горе мне недолго удалось сохранить в тайне свое возвращение. Софийские газеты оповестили обо мне читателей, и местная интеллигенция, вспомнив роль, которую я сыграл в их освобожденной и окрепшей стране в 1877 и 78 годах, устроила мне банкет в местном военном собрании. На другой же день отчет об этом появился в печати — а в полдень мне подают карточку: «Осип Константинович Нотович».

Я изумился.

Что было делать здесь мирнейшему из мирных «маркизу Оквичу» в военном лагере как один человек поднявшейся страны?

Я в первый момент обрадовался.

Не устроился ли злосчастный эмигрант корреспондентом при болгарской армии? Я знал, что с военным делом он очень мало знаком, но кто же, кроме Дрейера («Новое Время»), полковника генерального штаба, Мамонтова («Раннее утр»), капитана, тоже

с академическим образованием, знал его? Не Троцкий же, приезжавший в Софию от «Киевской мысли», и не профессор Пиленко?..

Нотович мало изменился.

Только исхудал, еще более изнервничался. И без того подвижный, даже суетливый, он стал каким-то лихорадочным непоседой. То и дело вскакивал, болтал во все стороны руками, выбрасывал во всех диапазонах слова, в которых чувствовалась понятная обида. Клял все и всех, совершенно справедливо считая недавних друзей и соработников виновными в равнодушии к его участи, и тут же впадал в горделивый тон, рисуя ближайшее будущее в самых для себя блистательных и ярких миражах.

— Давно ли вы здесь?

— Уже две недели.

— Что же вы ко мне не заглянули?

И вдруг совершенно неожиданный минор.

— Ну, кому я теперь нужен? Моя песня спета, я уже не журналист и писатель...

— Давайте завтракать... Где вы остановились?

— В Grand Hôtel de Bulgarie[1]...

— Ого!

— А разве есть другие?

И сейчас хвост павлином.

— Как видите... Я вот в этой маленькой.

— Нет, я не могу... Я представитель фирмы...

И он назвал какое-то тарабарское имя.

— Оно мне ничего не говорит.

— Мы объявили войну — войне!

Я почтил его вставанием.

— Да вы не смейтесь. Мы приготовляем непроницаемые для пуль, штыков и сабельных ударов панцири, шлемы, щиты. Для головы, груди, спины, коленей, локтей и животов... Такие же брони для лошадей. Вы знакомы с болгарскими министрами — помогите мне. Я до сих пор не могу добиться, чтобы эти дураки отнеслись ко мне внимательно.

Я вступился за болгар.

Там в официальных кругах было немало людей с железными затылками, упрямых, самоуверенных — но глупых я между ними не знал. Таких я оставил в далеком Петербурге. Они недоверчиво относились к Нотовичу, ставя ему в минус его происхождение. Болгары того времени и режима — были все, как это ни странно в людях, образовавшихся в Вене, Турине, Париже и Берлине — юдофобами, и юдофобами непримиримыми, крайними, злыми.

---

[1] Грандотель «Болгария» (*фр.*).

— Им даже ничего не говорит то, что я двадцать пять лет руководил самым важным политическим изданием в России. Представьте, этот военный министр Никифоров, он не имеет никакого представления о редакторе «Новостей» — Нотовиче. Я не понимаю, как он может быть министром? Франция не Болгарии чета. А там, когда я появлялся в министерстве на Quai d'Orsay — всякий чиновник встречал меня: «Monsieur le directeur du journal Nowosty!»[1] Что же, мне в Турцию ехать, что ли, предлагать наше изобретение?

— У турок денег нет!

— Нет, есть. Но прежде чем получить их, надо истратить чуть не миллион лир ихних на взятку. Там ведь, начиная с султана, все берут пешкеши. Потом, разумеется, вернешь, но...

— Неужели ваша фирма не может затратить этого, так сказать, «наложенного платежа»?

Осип Константинович вдруг вспылил.

— Они? французы?.. Да наш Плюшкин — мот в сравнении с ними. Вы знаете, они послали меня сюда — и не дали даже достаточно средств, чтобы уплатить счет в гостинице. Я не знаю, как вывернусь.

Вот тебе, думаю, и война войне!

Вот те и хвост павлином!

Бедный Нотович!

Но он тотчас же вошел в роль коммивояжера. Распластался и начал демонстрировать, как надо, подползая к неприятелю, пользоваться панцирем, как его надевать, как заслоняться им у проволочных заграждений и идя в атаку. Было со стороны очень смешно, но мне хотелось плакать. Я вспомнил маркиза в величественных позах, вдохновителя большой газеты, когда он по утрам сообщал Григорию Константиновичу Градовскому директивы передовых статей, которые на другой день, появившись в «Новостях», должны были влиять на комитет министров, на государственный совет, на городскую думу, на всех, всех, всех, как пишут теперь. Я вспомнил милого нашего товарища в его беседах с В. Сементковским, слишком самостоятельным для того, чтобы на него не наколоться. Во встречах педантичного жреца корректуры, В. И. Модестова, которому он еще издали с ужасом кричал:

— Неужели опять запятая не на месте?

Или Боборыкину:

— Я в пяти частях не принимаю. В «Новостях» места не будет.

И вдруг демонстрация змееобразных движений какого-то ирокеза, только надевшего стеганый белый панцирь, на некрашеном полу скромнейшей из Софийских странноприемниц.

---

[1] Господин редактор газеты «Новости» (*фр.*).

Увы, и на этот раз моему другу не повезло.

Хотя он героически предлагал на опытах — надеть панцирь и стать под дула храбрых болгарских воинов — военное министерство этой братоубийственной страны никак не решалось истратить свои парички; совершенно резонно соображая, что жизнь солдат-селяков не стоит цесарских желтиц, тем более, что по его соображению — весьма, впрочем, ошибочному — войне должен был наступить скорый конец.

Я опять ухал через Демотику кружным путем к Чаталдже и не знаю, как удалось Осипу Константиновичу выбраться из Софии. Потом мне рассказывали, что ему пришлось очень туго и образцы защитных панцирей он должен был оставить какому-то шалопаю, иначе ему, Нотовичу, нечем было бы оплатить билет от Софии до Парижа.

Да, это был человек сплошных неудач и грандиозных замыслов.

И в то же время — малых цифр.

Большие его пугали. Он набирал сотрудников числом поболее, ценою подешевле, и никак не мог сообразить, что такие не могли создать успеха газете.

Помню, с каким ужасом он говорил мне:

— Это Бог знает что! вы заработали в этом месяце 600 рублей. Подумайте только — шестьсот рублей. Еще один такой — и я разорен.

И сбавил мне гонорар на половину.

А эта небывалая сумма пришлась за статьи: «В гостях у Михеля», вызвавшие большой шум и значительно подымавшие розницу.

Я никогда не понимал если не глупой, то лицемерной фразы: о мертвых или хорошо или ничего. Это мы, преследуя всю жизнь человека, клевеща на него, обрезывая на каждом полете его крылья и, в лучшем случае, не поступаясь для него ничем — вдруг у его могилы слюняво — когда ему от этого ни тепло, ни холодно — возвеличиваем его обязательною траурною ложью! Даем взятку смерти и воспоминаниям, даже без цели. Ведь если бы взять такую латинскую заповедь за правило — тогда и суда истории не будет, и все благополучно отпетые и схороненные окажутся такими вздутыми фуфырями красоты, благородства и самых неистовых добродетелей, что потомкам и не понять будет, откуда ж зло пошло в мире. У маленького О. К. Нотовича и минусы-то оказывались по плечу ему. Если мы каждый заглянем в самого себя и расскажем наши мысли и чувства, то воскресшую в моих воспоминаниях тень маркиза Оквича пришлось бы украсить лаврами монтионовской премии... Так и его страх перед большими цифрами понятен и извинителен, когда мы вспомним, каким мартирологом и безвыгодным предприятием в те времена была для редактора и издателя даже

такая либеральная газета, какою являлись «Новости». Ведь уже не только не красная, а даже и не очень розовая, бледневшая со всяким понижением барометра Главного управления по делам печати!..

Давно, еще при Милане Обреновиче, я провел три месяца в Белграде. На моих глазах в Сербии совершались под диктовку австрийских агентов настоящие ужасы; никогда бешенство и бесстыдство реакции не доходило до такой жестокости и звериной слепой глупости. Не было такой средневековой пытки, какую бы верные королевские палачи не применяли к несчастным узникам местной политической тюрьмы. Это было сплошное издевательство над достоинством человека, вивисекция над его телом, терзания его души и совести... Нынешний «отец отечества» Протич — должен был давать показания под ударами курбашей, его то и дело выводили к расстрелу и, продержав во дворе темницы, пока на его глазах приканчивали других — возвращали в каменный застенок до другого дня. Приехав в Петербург под свежим впечатлением всего виденного, — я начал в «Новостях» ряд фельетонов об этом мученическом, в когтях швабского черного орла, народе. И вдруг, как говорится, на самом интересном месте, кажется, на первом допросе Протича — мои статьи были оборваны. Проходит неделя, другая, читатели пишут письма, спрашивая, что это значит. Нотович заперся от меня и в редакцию ходит, когда меня там нет. Наконец, я его накрыл, как воробья шапкой. Случайно вместе мы подъехали к конторе газеты. В кусты нельзя — кустов около не было. Нотович сконфуженно:

— Знаете, ваши фельетоны имели слишком шумный успех...

— Так, значит, их скорей надо печатать.

— Значит, да не значит. Помилуйте, — в Сербском посольстве прекрасные молодые люди, дипломаты (ударение!) возмущены ими. Они с негодованием говорили мне — меня посол приглашал обедать и там был австрийский советник тоже, — что король будет очень огорчен таким отношением к нему лучшей русской газеты, направление которой так сходится с образом мыслей конституционнейшего из монархов Милана Обреновича.

— Еще бы, его ставленники здесь подтвердили мои наблюдения в несчастном королевстве!

Тут на (надо с огорчением подтвердить это) трусливого О. К. были три воздействия, — два цыца и третье: «Ваша великолепная газета, ваше политическое влияние, вы — единомышленник Его Величества, неужели у вас нет ордена св. Саввы?»... и т. д. Первый цыц — скрытая под лестью угроза прекрасных молодых дипломатов: «Помилуйте, мы едва сдерживаем нашу молодежь!» Второй — брошенный как будто вскользь советником австрийского посольства: «Мы слишком ценим вашу превосходную прогрессивную газету и, разумеется, нам трудно прибегнуть к

обычному у вас в России приему зажать рот честному и влиятельному редактору полицейским запретом».

Угроза пустая.

Милана знали все.

Московские издания перьями своих корреспондентов свидетельствовали, что за цаца венчанный повелитель созданной нами полувосточной на правом берегу Дуная сатрапии. Гиляровский едва унес ноги оттуда. Милановы опричники уже подослали к нему спадассинов из-за угла. Но — Нотовичу заслепило глаза то, что дипломаты не только с ним считаются, но и свидетельствуют, как почтительно относятся к нему их всемилостивейшие повелители... Маленький и — таковы были условия того времени — поневоле малодушный человек вздувался, как пузырь, под дуновением официальной лести, сверкал всеми радужными отблесками, чтобы немедленно лопнуть при первом приглашении в Главное управление по делам печати для дачи объяснений.

Сотрудники «Новостей» вспомнят, что так было и не с одним мною.

Надо было много мужества редактору в царствование императора Александра III с точкой, а Осип Константинович Нотович был просто хороший человек, умный и образованный, но не герой и не талант, повелительные требования которого часто и малодушных делают героями. Такой героизм был у его сотрудников, но ведь они рисковали только своей особой, выражаясь грубо — шкурой, но не карманом. Разумеется, более предусмотрительный человек, учитывая тогдашнюю жестокую действительность, сообразил бы, что, сохранив невинность, все равно капитала не убережешь (где же было думать прогрессивным издателям о его приумножении в те Ананасные времена не только точек, но и многоточий!). Лишь бы продышать мудрому щедринскому карасю и не попасть на победоносцевски-толстовскую сковородку, и то слава Богу. Но Нотовичу казалось, что в конце концов он — немножко философ и мудрец — всех победит, выстоит под ударами внезапно налетавших отовсюду бурь и в воздаяние своему долготерпению процветет, аки жезл ааронов. Мне в своих воспоминаниях о нем приходится то и дело возвращаться к этому лейтмотиву тогдашней периодической печати. К сожалению, на пути к шкурному благополучию у Нотовича, как это и видно из рассказываемого мною, стояло то, что он был поэт без таланта, как есть министры без портфеля. Поэты без таланта чаще, чем думают. Чувствует великолепно, фантазия во всю и рисует радужные горизонты — издателю-поэту миллиарды в тумане, — а слов и способов для выражения или достижения нет! Так и у Нотовича планы, масштабы, размахи — пока он у себя в кабинете, но первое столкновение с настоящею прозою печати или, лучше, редакционной конторою, и смотришь — ааронов жезл увял и обезлиствел.

Он очень любил позировать!

Возвращаясь к злополучному пребыванию его в Hôtel Bulgarie в Софии, я без грустной улыбки не могу вспомнить О. К. в его беседах с полусумасшедшей генеральшей, неведомо зачем явившейся на славянский юг. Она вообразила, что Нотович до сих пор стоит во главе русской либеральной печати (чем он, собственно, никогда не был!), и настойчиво требовала у него печатания своих сумбурных мемуаров «обо всем, всем, всем!». Бедный мой друг то горделиво и пышно распускал павлиний хвост, то погружался в грустное раздумье, думая ее заинтересовать коммерчески в своих непроницаемых панцирях. Она, не отказываясь, думала его провести: сначала мемуары, а потом панцири, а он тоже в свою очередь хотел ее переобуть: сначала панцири, а потом подумаем о мемуарах.

Выходило и жалко, и смешно!

Сумерки души всегда таковы у маленьких божков, которые сумели взобраться на цоколи, но не смогли удержаться на них.

Смерть часто запаздывает. Она точно не хочет, чтобы люди умирали с достоинством на своем посту, и ждет, чтобы судьба сбила их прочь на жалкие и утомительные проселки.

Как-то у Нотовича в той же Софии вырвалось о Н. К. Михайловском:

— Счастливец! Он умер вовремя.

Плохо, когда живой и здоровый с завистью смотрит на каждые похороны! Первый признак того, что душа выгорела, высох фитиль и нет масла, чтобы снова зажечь его и осветить большую еще остающуюся страдную дорогу. Днем огня не нужно, но непроглядные ночи тяжелы пережившему себя человеку. Ведь бессонница приходит именно тогда, когда нужны искусственные огни.

Проклятием и тормозом Нотовича было то, что он непременно хотел быть писателем. Писателем-философом, писателем-публицистом, писателем-драматургом. Другие издатели не столь требовательны. Их влечет не литературная популярность, не поклонение чуткой к таланту молодежи, часто хватающей сослепу наживку накладной искренности, — а подписная касса и касса объявлений. Они глубоко равнодушны к тому, знают ли их читатели, лишь бы росла подписка. И такие пухнут и наливаются жиром. Нотович, останься он только издателем, пожалуй, и по сей день, если бы и не занимал места славного потомка Гуниади-Яноса и жены его Апенты на кормах у русской читающей публики, то все-таки жил бы на покое, безмятежно и обеспеченно. Но ему не давали спать чужие лавры. Он хотел быть вторым Сувориным прогрессивного лагеря. Суворин — писатель, и Нотовичу нужна такая этикетка. Алексей Сергеевич написал Татьяну Репину — и Нотовичу понадобились вызовы и аплодисменты восхищенных читателей. Редактор «Нового Времени»

засел в свой театральный комитет, и Осип Константинович туда же. Что он пережил и на какие шаги ни решался, лишь бы поставить свою пьесу, самое имя которой завзятые театралы великодушно забыли. А между тем сам Нотович, труня над собою, рассказывал мне:

— Я с младых ногтей драматург.

— ?

— Еще бы: тринадцати лет (кажется, в Таганроге) я написал благороднейшую драму с еще небывалым трагическим эффектом. Оскорбленная героиня стреляет в обольстительного злодея из пистолета, и у того на лбу мгновенно появляется красная надпись: «Подлец».

Сколько он утратил симпатий и уважения от людей, искренно к нему расположенных, гоняясь за благоприятными отзывами о своей книге, о своей пьесе! Корреспонденты его были поголовно мобилизованы.

— Что он себе думает? Стану я по четыре коп. за строчку писать о его философии...

И одесский представитель «Новостей» заканчивал:

— По крайней мере, по шести! И извозчик в театр и обратно на его пьесу.

Он перебелил Виктора Гюго «Отверженных» для театра. Покойная Комиссаржевская была удивительна в Козетте. Ее успех — потрясающий — Нотович записал в свой приход и, весь овеянный горделивыми мечтами, восторженно говорил мне:

— Если бы она была моей женой! Мы с ней перевернули бы сцену.

— Вверх ногами? — ядовито заметил Вл. Ос. Михневич, глядя на него поверх очков.

— Не все такие бездарные, как вы! — обозлился Осип Константинович. — Вот Василий Иванович (я) вчера аплодировал, как сумасшедший, Вере Федоровне.

— За то, что она поправила автора...

Нотович увял и долго дулся на Михневича.

Осип Константинович, впрочем, был не злопамятен. Он потом сам смеялся над собою... чтобы не смялись другие!..

Один из ныне здравствующих последних могикан-шестидесятников на мой вопрос, что его не видать в редакции:

— Не могу-с!

— И ничего нам не даете.

— И не дам пока... Выжду.

— Почему?

— Да маркиз сейчас всучит мне «немножко философии» для отзыва.

Я знал другого издателя, неизмеримо талантливее и крупнее. Он сам писал и имел громадный, по тому времени, успех, и при этом мучительно завидовал каждому сотруднику, если тот

писал удачные вещи, обращавшие на себя общее внимание. Надо отдать справедливость Осипу Константиновичу, он был чужд зависти и доброжелательно относился к каждому выдававшемуся сотруднику, лишь бы это не очень отражалось на гонорарной книге.

Андрей Александрович Краевский был тем и хорош, что кроме ордеров на кассу (выдать — имярек — столько-то, за то-то) ничего другого не подписывал. Поэтому его автографы очень ценились сотрудниками и нисколько им не мешали. Ограничься Нотович только издательскими: «Быть по сему», — он бы избавился от многих неприятных переживаний оскорбленного самолюбия и облетевших надежд.

Он, впрочем, сам понимал себя.

Как-то в Париже, уже больной, осунувшийся и утративший веру в себя, он говорил мне:

— Я вам завидую. Вы идете своей дорогой, не сворачивая в стороны. А я всегда бросал ее для... надо сознаться теперь — глупых миражей, и шел туда, где я был не нужен или меня не хотели!..

Жутко, когда у самой могилы человек подводит такой скорбный итог всей своей жизни.

Впрочем, Нотович сейчас же поправился, точно стыдясь безотрадного порыва поздно пробудившейся самооценки. Никак не хотел сознаться в своей бездарности.

— Вы знаете, вокруг каждого литературного дела маленькие люди умеют так сплотиться, локоть к локтю, что сквозь их сплошной забор и большому работнику не пробиться.

В этом отношении он был прав.

Действительно, нет теснее союза, как союз никчемной посредственности, ревнивой к добытому ею нахрапом почетному и сытному углу. Талантливые люди всегда действуют в одиночку — сам за себя каждый, а эти скопом, сговором, стаей. Только и здесь Нотович напрасно утешал себя. Если бы он и мог упрекнуть себя в этом отношении, то только в том, что он сам с этими посредственностями не вступил в союз и не встал с ними плечом к плечу на охрану отвоеванных позиций.

Я слышал, что цепко хватавшийся за жизнь Осип Константинович и после нашего свидания пробовал все, надеясь, назло судьбе, стать на ноги. Но она была к нему несправедлива. При его работоспособности — сбрось только он с себя вериги самомнения — ему бы удалось многое... Господи! да разве такие преуспевают на том же хлебном и почетном положении политического корреспондента за границей! Или мы не знаем полуграмотных наглецов, пробивающихся в первые ряды посланников русской печати за рубежом? Они и устраивают свои дела, им и заискивающие улыбки французских, хотя бы, министров, и рукопожатие президента, и даровые билеты по железным

дорогам всего мира и в бесчисленные театры Парижа, Лондона, Берлина и Рима, и красные ленточки в петлички. Ведь перед этими рептилиями Нотович был Монбланом в сравнении с блохой, и Монблан погиб в нищете и бедствиях, а блохи и сейчас благоденствуют, преуспевая на своей чужеядной работе... Но Нотович был честен и разборчив в средствах; Нотович был одинок и беспомощен. Он сам разорился на издательстве, не обманув никого, кроме себя и своих. И поэтому, умирая от голода, он мог досыта любоваться успехами людей, недостойных развязать ремней у его сандалий!..

Да, и война войне не помогла ему.

И некрушимые панцири не выручили бедного маркиза Оквича...

Я бы приложил к этим беглым воспоминаниям о нем затасканную и захватанную марку: мир праху твоему, Осип Константинович! — если бы прах вообще нуждался в каком бы то ни было мире. Но не могу не помянуть добрым словом этого честного и большого неудачника, неутомимого, безработного в последние его годы, работника, которого никто не упрекнет в литературном предательстве, в измене тому, что он считал святым и прекрасным, хорошего товарища, без злобы и зависти, этого баяра журналистики, но баяра именно русской журналистики, без упрека, но с великим страхом. Проходя по ее тернистому полю — он знал его шипы там, где другие паслись и тучнели, умея обходить шипы, рожны и заставы с внезапно падавшими на неосторожных путников шлагбаумами... Разумеется, в Нотовиче литература не потеряла ничего. Она взяла от него все, что он мог дать ей, как издатель и редактор большой газеты, но он, так много поработавший и так тяжело поплатившийся великим горем за малые грехи свои, имел право потребовать у нее спокойной и обеспеченной, хотя бы его новым трудом, старости. И периодическая печать в лице своих махровых плантаторов и хозяев отказала ему в этом и обрекла чуть не на голодную смерть... Я бы сказал: стыдно им, этим толстокожим Гаргантюа печатного станка, но... Стыд не дым, глаз не ест... Да и если бы ел, дай Бог здоровья глазам — отмигаются...

И кроме того — мертвые сраму неймут.

А они — мертвые, хотя мы видим их живыми и здоровыми между нами. А Осип Константинович Нотович, хоть и истлел в своей чужедальней, заброшенной и забытой могиле, — но живет в нашей благодарной памяти и будет жить, пока и мы вслед за ним не уйдем в черные ворота смерти...

И тогда — не все равно ли?

Сколько прочитанных посредственных книг забыты на полках библиотек! Каждая внесла когда-то крупицу в общую сокровищницу культуры... Безбрежный океан не считает составляющих его капель, но без них и океана бы не было!

ПОГАСШАЯ ЗВЕЗДА

(Миниатюра)

Посвящается А. Г. Оргу

На нашем тусклом горизонте она мелькнула яркою голубою звездочкой.

Сколько надежд связывалось с нею! Как восторженно встретили ее все, кому была дорога истинная поэзия. На что уж Скабичевский, тому стихи без барабанного грохота гражданских чувств по Некрасову и политической подоплеки по Михайловскому казались чуть ли не преступлением, «в наше время, когда и проч., и проч., и проч.», и тот, слушая сафические оды молоденькой писательницы, пускал пузыри на губы. Даже его преподобие косолапейший из критических российских неуважай-корыт Протопопов, которому в Москве у Вукола Лаврова прочли несколько маленьких стихотворений Мирры Александровны, разворочал свою кудлатую гриву, одобрил: хо-рро-шо-с, весьма хорошо-с!.. И при сем все-таки погрозил кому-то волосатым кулаком в пространство. Я о простом бесхитростном читателе не говорю. Ее строфы заучивались наизусть и — о, верх популярности! — щеголеватые писаря, помадившиеся цедрой лимонной, писали их легковерным модисткам, выдавая за свои. Ее ожидал ряд долгих годов и настоящая большая слава; с каждым новым произведением Лохвицкая все дальше и дальше оставляла за собою позади молодых поэтов своего времени, хотя целомудренные каплуны от литературы и вопияли ко всем святителям скопческого корабля печати и к белым голубям цензуры о безнравственности юного таланта. Один Л. Н. Толстой, который, со своей точки зрения, мог бы обвинить ее, при мне в Москве у покойной Варвары Алексеевны Морозовой снисходительно оправдывал ее: «Это пока ее зарядило... Молодым пьяным вином бьет. Уходится, остынет и потекут чистые воды!»

Я знал ее еще девочкой-гимназисткой.

Как-то в темень осеннего вечера приносят ко мне пакет. Неизвестность, подписавшаяся литерами М. Л., просит ответить ей до востребования на эти буквы: «Стоит ли ей писать или нет». Старым авторам часто приходится получать такие послания, и, кроме скуки, от них ничего не ждешь. А прочесть надо и высказаться тоже. Нельзя же не пожать протянутую руку или не приподнять шляпу на поклон. Невежливо, а для писателя с именем, которому верят, — вдвое. Развернул я эти листки, и точно на меня солнцем брызнуло. Я не помню, что я набросал «начинающему поэту», но через несколько дней ко мне — я жил тогда в «Hôtel d'Angleterre»[1] на Исаакиевской площади, — постучалась подросток лет четырнадцати, в кофейном мундирчике с беленькой пелеринкой, наивная, застенчивая, мерцавшая ранним огнем прелестных глаз. Потом она часто бывала у меня, неизбежно сопровождаемая старой дуэньей, как и полагается девочке de la bonne famille[2]. Она своим присутствием согревала эту оливковую бархатную гостиную, с плотно занавешенными окнами и толстым, скрадывавшим шорохи, ковром. Свернется, бывало, как котенок, в углу большой софы и мечтает вслух, и я сам молодею, невольно возвращаясь к далекой юности, сплошь залитой розовыми лучами лазурных утр. «С вами хорошо, — как-то вырвалось у нее. — Вашему сердцу тоже пятнадцать лет. Мне со взрослыми трудно. Они не умеют читать по-моему!» А то вдруг, полузакрыв глаза, из-под век сверкая ими, тихо, тихо шепчет, точно импровизирует свои стихи. Каждая строчка теплилась красивою, чисто южною страстью и таким проникновением в природу, какой не было и у больших поэтов в почетном углу русского Парнаса. Она уже и тогда в полной мере обладала техникой. Ей нечему было учиться у версификаторов, которых мы часто венчали лаврами истинной поэзии. Она больше, чем кто-нибудь, отличалась музыкальным ухом и, пробегая по строкам взглядом, слышала стихи. Родилась и выросла в тусклом, точащем нездоровые соки из бесчисленных пролежней Петербурге, — а вся казалась чудесным тропическим цветком, наполнявшим мой уголок странным ароматом иного, более благословенного небесами края. Впрочем, ведь и в жарких тропиках самые причудливые лианы — эти фантазии вышедшего изо всякой меры творчества — рождаются на отвратительном перегное змеиных трупов, жарких болот и разлагающихся плодов. Днем, когда гардины не были спущены, дикими и неестественными казались — рядом с этим божком горячего, пышного юга — за слезящимися стеклами мутная даль, трепетные скелеты безлистных деревьев и точно окоченевшие стены. Как

[1] Отель «Англетер» (*фр.*).

[2] Из хорошей семьи (*фр.*).

будто ко мне залетала радостная, вся в жару, белым ключом бьющейся жизни птичка. Из-за гор и морей, из-за пустынь, вся еще овеянная дыханием солнечных пышных рощ. Чудилась душа, совсем не родственная скучному и скудному, размеренному укладу нашей жизни. И мне казалось: молодая поэтесса и сама отогревается в неудержимых порывах вдохновения, опьяняется настоящею музыкою свободно льющегося стиха. Где они? Многие из них, которые я когда-то так любил, исчезли, других она и вовсе не записывала. Я не встретил их в томиках, изданных впоследствии.

Я случайно у себя нашел коротенький набросок ее.

Мирра Александровна не застала меня дома и вместо визитной карточки написала на... счете из гостиницы «Англия» двенадцать прелестных строк:

Хотела б я мои мечты,
Желанья тайные и грезы
В живые обратить цветы;
Но... слишком ярки были б розы!

Хотела б лиру я иметь
В груди, чтоб чувства — робки, юны,
Как песни начали звенеть,
Но... порвались бы сердца струны.

Хотела б я в минутном сне
Изведать сладость наслажденья,
Но умереть пришлось бы мне,
Чтоб не дождаться пробужденья...

Помню, под впечатлением этой красоты полудетских порывов — долгие и красивые часы неописуемых изменчивых переливчатых миражей, счастливые паузы, когда мы тонули в мерцающем царстве вечной грезы, без которой так тяжело и скучно было бы на нашем мерзлом севере. Она с жадностью слушала мои рассказы о несравненных чудесах Испании, из которой я недавно приехал. Я весь жил еще призраками Севильских багряных и фиолетовых вечеров с черными силуэтами стройных пальм las delicias и мраморной поэмы арабской хиральды. Казалось, я слышу и вижу музыку и пляску в изящных patio, до меня доносятся благоухания цветов с адотей и плоских кровель, с пышных клумб, обрамивших витые балконы! Еще не затягивалась серою мглою наших буден величавая мавританская Гранада с блуждающими фантомами Боабдилов и Аль-Манзуров на ее таинственных улицах. Африкансиза в финиковых садах и лесах Эльче и радостная, светлая Малага, истинная царица Андалузии. Я передавал своей чуткой слушательнице об очарованиях маленьких кастильских городов, где старинных рыцарских щитов на стенах больше, чем окон и корон, и шлемов больше, чем труб. Мирре Александровне точно не хватало

воздуха. Она задыхалась при одной мысли, что когда-нибудь она сама увидит все эти чудеса... И часто, закрывая глаза, роняла: «Как хорошо... Какая сказка... Прекрасна должна быть жизнь» — там, за рубежом грозных в скалы и снега одетых Пиренеев.

Как-то она пришла ко мне...

Я дописывал свой «Жилой музей» — воспоминания о Толедо для «Русской мысли».

— Прочтите!

Пристала она ко мне.

— Ну, что вам стоит... Прочтите...

Я начал и дошел до толедской ночи на Закодавере, как вдруг услышал ее рыдания.

— Что с вами, детка?

— Нет, ничего... Так... Сейчас пройдет. Я не могу равнодушно слушать. Сколько счастья в мире, и как оно далеко от нас!

— Счастье везде. Только там оно в чудесной рамке... Счастье и здесь в этом закутанном ото всего мира кабинете с моей маленькой и тоже сказочной феей.

— А в Греции вы были?

— Сколько раз. Ее нужно видеть в лунные ночи, когда сегодняшняя явь вся сплывает со старой божественной Эллады.

— Я ее такой представляю себе.

И уж по почте она прислала мне лоскуток с новыми стихами: «Киприде».

Веет прохладою ночь благовонная
И над лазурью морской
Ты, златокудрая, ты, златотронная,
Яркою блещешь звездой...

Что же, Киприда, скажи, светлоокая,
Долго ль по воле твоей
Будет терзать эта мука жестокая
Слабые души людей.

Там на Олимпе в чертогах сияющих,
В дивном жилище богов,
Слышишь ли ты эти вздохи страдающих,
Эти молитвы без слов?

Внемлешь, как трепетно неугомонное
Бьется в усталой груди?
Ты, златокудрая, ты, златотронная,
Сердце мое пощади!..

Мы, случалось, выходили вместе и шли пешком с Исаакиевской площади на (кажется) Надеждинскую, где жила ее семья. Дуэнья, как верный сторожевой пес, следовала за нами. Я любил эти прогулки. Лохвицкая умела вскользь, не придавая никакого

значения, поэтизировать все, что попадалось нам навстречу. И людей, и бледное анемическое северное небо, и чего уж будничнее — дома-тюрьмы со слепыми окнами. Был у нее в душе свой аппарат, и самые обыкновенные закоулки отражались в нем лучезарными. У Мирры в распоряжении не оказывалось вовсе того юмора и остроумия, которые по всем судам широко размотал ее отец, знаменитый Александр Иванович Лохвицкий, — адвокат — один из талантливейших поэтов трибуны своего времени. О нем рассказывали бесчисленные анекдоты, и будь в тогдашней России народное представительство, мы в нем имели бы первоклассного политического оратора. Его ответы — всегда неожиданные, меткие — поражали своей находчивостью. Я хорошо помню, как один москвич, спасенный им от крупного и грозившего бубновым тузом на спину уголовного дела, скряга и загребистая лапа, умиленно и елейно обратился к нему:

— Благодетель Александр Иванович! Не знаю, какому Богу за вас молиться. Как, и в толк не возьму, — благодарить вас!..

— С тех пор, как финикиане изобрели денежные знаки, об этом не может быть никакого вопроса!..

Остроумием он Мирру Александровну обделил, оставив его своей второй дочери Надежде Александровне, не только прекрасной лирической поэтессе, но и талантливейшему нашему юмористу. Кто не знает Тэффи, изящный смех которой едва ли не ставит ее выше даже таких всемирно известных писателей, как Джером Джером и Марк Твен? Но, наверное, девять десятых ее читателей совсем не знакомы с оригинальными поэтическими отрывками ее музы. Тэффи — автор прелестных, нежно окрашенных стихов, которым, к величайшему сожалению, она не придает никакого значения.

Их брат — доблестный боевой генерал, георгиевский кавалер, один из лучших офицеров нашей, когда-то великолепной, армии. Он командовал русскими полками во Франции в Кан-де-Майи, и его высоко ценили тамошние товарищи. Главнокомандующий Жоффр считал его на этом фронте одним из лучших вождей.

— Я бы, не колеблясь, предложил ему корпус или большой отряд с отдельною стратегическою задачей, — говорил он мне.

Вообще, семья, где не было зауряд-прапорщиков — ни в литературе, ни на боевом поле.

Раз во время одной из таких прогулок Мирра Александровна сбежала от своей дуэньи. Мы быстро направились на Надеждинскую, и ее горничная, растерянная, смущенная, обрадовалась, узнав нас издали в их подъезде. Мы ее ждали, чтобы не подвести под ответ. С тех пор та уже не следовала по пятам молоденькой поэтессы, не дремала в коридоре перед моими комнатами, а уходила по своим делам и возвращалась к тому часу, когда нам нужно было расставаться. Мирра Александровна страшно радовалась этой свободе и шалила, как настоящий ребенок,

ставя у меня все и меня самого вверх дном. Ей почему-то особенно нравилось создавать фантастические планы нашей поездки вдвоем в Испанию и Италию. Особенно, сидя у камина, под его разнеживающим теплом — она любила представлять себе знойные дни Севильи и, полузакрыв глаза, импровизировала маленькие поэмы, сменяя прозу стихами и в минуты более яркого подъема впиваясь в мою руку острыми коготками...

Знойное солнце и синие тени...
Желтые воды реки...
Старых дворцов золотые ступени...
Сладкие грезы задумчивой лени —
В темных листах огоньки...

— Какие? Да, не царапайтесь, Мирра Александровна.

— У вас же я читала: в лимонных и апельсинных рощах — плоды, как искры горят под тамошними лучами... Неужели больно?

— А то нет?

— Слушайте, так хорошо будет:

Струны гитары так ласково нежны,
В сердце стучат: отвори!
Страсть и любовь, словно смерть, неизбежны, —
Счастье пьянит... Поцелуи мятежны...
И от зари до зари...

— Хорошо?

— Откровенно?

— Да.

— Для другого хорошо, для вас нет. Я в импровизации русских поэтов не верю. Наш язык, чудесный, звучный, точный... скульптурный язык, к этому не приспособлен; вовсе другое дело у итальянцев, там слова поют. Они ведь и не учатся своему языку, а «ставят его в ухо» — si mette in orechio![1]

— Ну, а «Египетские ночи» Пушкина?

— Хотел бы я видеть черновик их. Сколько поэт работал над ними! Импровизации великолепны во сне, может быть, именно потому, что, просыпаясь, не помнишь их. Остается впечатление чего-то прекрасного. До боли силишься вернуть гармонию стиха и яркие образы — и все напрасно.

— Да... Это и со мной часто бывает, но одно свое стихотворение — я все-таки удержала в памяти и записала его... Думаю, что именно такими мне слышались во сне эти стихи.

Не знаю, вошла ли эта маленькая поэма в ее книжки. У меня сейчас под руками нет их.

---

[1] Вкладывается в уши (*ит.*).

Как будто я не встречал ее там. Сегодня я нашел ее и привожу целиком, думая, что ни одна строка такой пышный расцвет обещавшей нашей Сафо не должна пропадать.

Царица снов

Говорят, в царстве снов есть чудо-дворец,
Весь из золота слит и порфира.
Там рубиновый трон и алмазный венец
Ждут царицу подземного мира...
Есть на дне океана коралловый грот,
Где блестят жемчуга дорогие, —
Там давно ожидают владычицу вод
Шаловливые рыбки морские.
Но в подземные недра меня не манит
Обещанье обманчивой сказки.
Я люблю, когда солнце мне душу живит,
Когда ярко мне косы оно золотит,
Рассыпая горячие ласки...
И хрустальная глубь не прельщает мой взор,
Не сулит мне желанной свободы.
Мне милее лазурного неба шатер,
И полей и лугов необъятный простор, —
Красота вековечной природы.
Нет, царить я б хотела над миром теней,
Миром грез и чудес вдохновенья,
Чтобы сны покорялися воле моей,
Чтоб послушны мне были виденья.
Посылала бы детям счастливые сны,
Чтоб смеялись они, засыпая,
Чтобы видели птицы проказы весны
И забавы веселого мая.
А сама я, одев серебристый покров,
Из тумана и лунного света,
Над землею летала царицею снов,
Чтоб припасть к изголовью поэта.
И, проснувшись, — он вспомнит о радужных снах,
Позабудет заботы земные
И в волшебных и ярких и звучных стихах
Перескажет нам грезы ночные...

У нее воображение развивалось особенно потому, что дома, в строгой семье, она вела слишком замкнутую жизнь. «Мне не дают воли! — говорила она. — Ну и развернусь же я потом. Каждою порою жить буду вовсю. Я за все эти годы возьму свое... У меня в сутках сорок восемь часов окажется...» При других она запиралась на все замки. Из угла большой и мягкой софы — она пытливо следила за всеми, чутко слушала, не высказываясь. Я помню, как Владимир Соловьев, очень ценивший ее первые стихи, приставал к ней у меня.

— Вы всегда, Мирра Александровна, так отмалчиваетесь?

— Нет, с Василием Ивановичем, например...

— А почему же с ним только?

— Он свой... Он отучил меня стесняться... Он умеет чувствовать тоже.

— Как это?

— Он всегда угадывает, чего я хочу. С ним нет диссонансов.

И потом она мне о нашем, так рано умершем, философе:

— Знаете, в нем и ангел, нет не то: и пророк, и демон.

— Вот тебе и на!

— В самом деле. Верхняя половина лица — апостол, аскет, прямо его в Фиваиду. А нижняя — особенно рот — сатана... Сложный. Никак его сразу не сообразишь...

Вл. Соловьев жил тогда тоже в гостинице «Англия» и, как он говорил, «для пауз» заходил ко мне. В своем тусклом и маленьком номере он много работал, радуясь тому, что об этом его убежище мало кто знал. Он очень любил — вероятно, по симпатии противоположных характеров и натур — встречаться у меня с Терпигоревым (Сергеем Атавою), который очень не понравился Мирре Александровне.

— Вот уж «земля»! Ничего одухотворенного. Может быть, большой талант. Я вам верю, только с пятипудовой гирей на крыльях... И сам не улетит, и другого не унесет в высоту...

Я должен был уехать на восток.

Меня вызывали в Шираз, в Персию...

В последнюю нашу встречу она просила меня:

— Возьмите меня с собой.

— Вы это не серьезно, надеюсь.

— Я переоденусь мальчиком...

— Ничего не имею против. Расскажите своим, и если они одобрят этот план — буду счастлив и рад.

— Вы все смеетесь! А между тем...

Она задумалась, пристально вглядываясь в меня.

— Мне что-то говорит, что мы опять встретимся — совсем, совсем чужими. Может быть, вы пожалеете, что оставили меня здесь... уехали...

Она отвернулась к окну и заплакала.

— Точно я что-то хороню дорогое, близкое... Такое близкое... какого у меня, верно, долго не будет... А впрочем... Вольному воля... Не хотите и не надо!

Она смахнула слезы и засмеялась.

— Фу, какая я стала сентиментальная. Вам не смешно?

— Нет...

Я вернулся только через два года.

Из Персии я попал в Малую Азию. Меня старомусульманским укладом жизни захватили Алепо, Моссул, Багдад и Дамаск. В те счастливые времена в пеструю сказку востока еще не вторгались немецкие культуртрегеры и все ее пульсы бились полною, настоящею своею жизнью. Бледный призрак Мирры все реже и реже появлялся в моих воспоминаниях. Я все дальше отходил

от этого счастливого сна, так согревшего мою тогдашнюю петербургскую зиму. Правду говоря, мне не хотелось возвращаться к этой наивной идиллии девочки, которой я годился в отцы по меньшей мере. Наши — то шаловливые, то поэтические — встречи были так нежны и чисты, что им радовались бы ангелы, если бы им вздумалось подслушивать нас и подсматривать за нами. До сих пор все эти пережитые дни чудятся в каком-то голубом свете, на который ни одна страстная мысль не бросила своего багрового отблеска. Это — осталось за мною как радостное, прохладное утро. Солнце еще не подымалось на безоблачных небесах и его жаркие лучи не обдавали наши помыслы зноем желаний, которых потом пришлось бы краснеть. Вернувшись в тот же отель на Исаакиевской площади, — я рисовал ее себе в уголке той же оливковой софы, свернувшейся, как молодой котенок, перед камином, но и этот призрак тускнел. Она уже начала печататься. Как-то я встретил Марью Всеволодовну Крестовскую.

— На днях — мы говорили о вас.

— С кем это?

— Молодая поэтесса, Мирра Лохвицкая.

— Да?

— Очень талантливая. Вы дали ей много веры в себя. Она о вас вспоминает так тепло...

Мы встретились потом... В очень шумном и глупом литературном кружке, где какой-то лохмач, вообразивший себя Аполлоном, читал бездарные стихи. Ему из вежливости аплодировали. Он вдруг обратился к Мирре:

Я бог поэзии, я чудо из чудес...
Когда бы я нуждался в смертной музе,
Тебя бы я увлек в прохладный темный лес...

Я не помню, что было дальше. Мирра фыркнула, другие засмеялись, поэт обиделся и скис.

Только перед самым разъездом Мирра подошла ко мне.

— Вы меня довезете домой?

Я поклонился.

— Кажется, вечность мы не виделись. Какая была я тогда смешная.

— Не нахожу.

— Из вежливости?

— Нет. В моем прошлом это уголок, освещенный солнцем.

— Да, правда... Вы не улыбаетесь глупой девчонке, царапавшей вам руки?

— Улыбаюсь, как милому и радостному призраку.

— Вы не знаете, как мне досталось за вас.

— За меня.

— Да... Даже рассказать не могу.

— От кого?

— От мамы!

Помолчала с минуту.

— Я, может быть, скоро выйду замуж.

— Вы любите?

— Нет... А, впрочем, не знаю. Он хороший... Да, разумеется, люблю. Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти в жизнь.

Мы виделись еще несколько раз. Но она уже была «вся чужая».

Те невидимые нити, которые связывали нас, — все человечество опутано ими — оборвались и отмерли. Говоря друг с другом, мы уже не испытывали сладкого трепета в душе. Нас не тянуло — остаться у камина вдвоем и, глядя в огонь, точно читать в нем непередаваемые заревые строки... Только встречая в журналах того времени ее новые стихи, я в их нежной ласке и горячих призывах, в звучном мастерском ритме, в этом свободном языке страстной неудержимой фантазии, узнавал Мирру, Мирру моих воспоминаний... Прелестную девочку, носившую стоившее ее имя!

Стихов ее искали.

Их охотно печатали.

И самые нелепые козлы редакторского мира разнеживались, получая от нее ее коротенькие сафические гимны. У нее не было врагов, хоть она для этого обладала достаточным талантом. Ее успеху не завидовали — эта маленькая фея завоевала всех ароматом своих песен... Они, точно рассыпанные розы, останавливали всякие ослиные копыта, не решавшиеся топтать их раннего расцвета. Не смейтесь над этим сравнением. Я хорошо помню на Капри, по пути на Salto del Tiberio[1] — разбросанный букет на каменистой узенькой тропинке и почтенное ушастое животное старалось не наступить на алые, умиравшие на припеке, цветы...

Все обещало ей чудный расцвет.

Повторяю — у нее был большой настоящей талант, сейчас же признанный всеми. Ей не пришлось, как нам всем, проходить сквозь строй критического непонимания, бесшабашных «ату его!» дуболобых горланов и кретинов, привыкших оценивать новые литературные явления от старой печки, не иначе. «Нашего брата надо — топором в нос, — признавался один из таких, — чтобы искры из глаз посыпались». Лохвицкая не попала в это чистилище, из которого мы все переходили — все-таки не в рай, а в... ад. После Фета я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоевывал, как она, «свою публику». Она была не самолюбивой и жадной искательницей странного

---

[1] Прыжок (скачок) Тиберия (*ит.*).

и неясного, вместо оригинального, она не выдумывала, не кудесничала, прикрывая непонятным и диким отсутствие красоты и искренности. Это была сама непосредственность, свет, сиявший из тайников души и не нуждавшийся ни в каких призмах и экранах, чтобы чаровать тех остолопов, которые ищут в поэзии того, чего они никак уяснить себе не могут. Поэтесса «милостью Божьей», а не свободным плебисцитом газетных апашей — она задумывала много, но...

Она жила не долго!

— Мне так хочется на греческие острова: Мителене (Лесбос), Хиос, Родос.

— Почему именно туда?

— Хочу попробовать себя на крупной поэме. Чего вы морщитесь?

— У меня был в юности друг — великий комик Пров Садовский.

— Ну!

— Так он — страшно завидовал большому, но не великому Шумскому... Я помню, как он говорил: не умру, не сыгравши трагическую роль!

Она засмеялась.

— Нет, мне хочется написать в моем роде. Сафо. Мне кажется, что я ее понимаю несколько иначе, чем до сих пор представляют себе записные толкователи древних поэтов. Вы были там?

— Еще бы, объехал почти все эти острова.

— Так бы и побила вас.

— За что?

— Отчего меня не взяли с собой?

— Хорошая картина, нечего сказать! Вы бы сами потом не простили мне.

— А вы нуждаетесь в прощении? Сколько романов написал, а того не знает, что женщина не прощает только одного: когда ей отвечают «нет!».

— Женщина, но не девочка. Это ремесло провинциальных гастролеров — увозить с собой по окончании сезона полоротых подростков-гимназисток...

— Да, разумеется, вы правы...

Ей хотелось дать цикл эллинских поэмок. После Сафо — Фрину, Аспазию и завершить все — богиней, которой еще ребенком она писала маленькие восторженные гимны — Кипридой... Я думаю, что из-под ее руки вышли бы чудесные жемчужные по алой парче вязи. Но судьба забросила ее сначала в Москву, а потом она вышла замуж. В Москве ее встретил головокружительный успех. Мрачный Лиодор Пальмин, один из тех поэтов, слава которых ограничивается забором своего курятника, писал мне:

— На нашем горизонте новая звезда. Ваша питерская Мирра Лохвицкая — птичка-невеличка, от земли не видать, а тот же Вукол Лавров читает ее и пузыри на губы пускает. Начал бы ее в «Русской мысли» печатать, да боится наших Мидасов-Ослиные уши, чтобы те его за отсутствие гражданского протеста не пробрали. Вы ведь знаете, Москва затылком крепка...

И т. д.

Прошло еще несколько времени, я уже не видел ее. Мало жил в Петербурге. То и дело судьба кидала меня из одного знойного края в другой, в паузах приходилось работать, не складывая рук. В жизни каждой женщины два периода: до замужества и после. Обещания первого никогда не исполняются вторым. Как много способных и талантливых девушек — и непонятно, почему так мало даровитых жен. Неужели все свои способности они разматывают в супружеских постелях? И стоят ли в самом деле тюфяки и перины таких жертв? Может быть, семья (не очень-то дорого это удобрение человечества) и выигрывает, но высшие интересы культуры и искусства страшно теряют. Может быть, с Миррой Лохвицкой и не случилось бы этого: противореча законам природы, из бархатной и яркой солнечной бабочки она не обратилась бы в тяжеловесную прожорливую гусеницу, но жизнь ее оборвалась рано, внезапно и трагически. Об этом когда-нибудь потом.

Наша «звезда», еще не разгоревшись, погасла...

Я до сих пор не могу равнодушно вспоминать ее. Не в силах — прошли уже годы — помириться, не погрешу, сказав — с великою потерею для нашей литературы. Каждый раз, читая ее стихи, я вижу ее в уютной комнате отеля, в углу оливкового бархатного дивана, свернувшуюся, как котенок, под неровным огнем ярко пылавшего камина. Под этим светом, казалось, в ее прелестных глазах загоралось пламя... Мне слышится ее нервный, нежный голос... Звучат строфа за строфою, увлекая меня и часто Вл. Соловьева в волшебную поэтическую грезу.

В какие светлые миры она умела уносить тех, кто ее слушал!

И как прелестно было все так и мерцавшее лицо, смуглое, южное, золотистое!..

Я не был на ее похоронах.

Я хотел, чтобы она осталась в моей памяти таким же радостным благоуханным цветком далекого солнечного края, заброшенным в тусклые будни окоченевшего севера.

НЕУДАВШАЯСЯ ДУЭЛЬ

I

Из героических нравов печати в прошлом веке.

И не в конце его, а в 1875 г.: как я был секундантом на литературном поединке.

Два юных петуха — поэт и критик — вызвали один другого.

Поэт потом приобрел имя. Попал, вместо хрестоматии, в какие-то сборники для легкого чтения и декламации. Нацеливался даже в Академию, но ему предпочли Голенищева-Кутузова и П. И. Вейнберга (за скверный перевод Гейне). Критик только сам себя считал таким. И фигурой, и своими статьями он был короче куриного носа. Раз напечатав: «огромадную, мой дорогой!» рецензию в сто двадцать строк (до тех пор у него были такие, но без ста), он всех нас довел чуть не до самоубийства. Мне, например, он прочел ее три раза — из них один на улице, на углу Морской и Гороховой, к вящей потехе собравшихся ротозеев.

— Ничего! Пусть и народу перепадут крупицы...

Великодушничал он.

Кого ни встретит:

— Вы читали?

— Что?

— Так, знаете. Я о Тургеневе, пора этих бонз ставить на свои места. А то забрались под образа и воображают. Вот я вам сейчас.

И, взяв вас за пуговицу, не отпускал, пока она не отрывалась, а он не доходил до «ударного аккорда».

«Г. Тургеневу, разумеется, не понравятся мои указания — но мне все равно. Я в высокой степени обладаю мужеством собственного мнения. И автор только выиграет, прислушавшись к нему. Я смею думать, что моими словами думает весь читающий мир России».

— Слушайте, вы или дурак или нахал! — ответил ему один из уловленных им слушателей в ресторане Палкина — тогда на углу Малой Садовой и Невского.

— И то и другое вместе! — буркнул точно про себя евший бифштекс сосед по столу.

Критик разбил бутылку с красным вином о его голову и попал в часть.

Еще недавно его знала вся служилая Россия. Революция смела его со многими такими же, но до ее рокового набата он распоряжался громами и молниями одного из министерств. Сидел ли он в государственном совете — не знаю, но что кресло ему там было уготовано провидением — наверно! Во всяком случае, в чине действительного тайного он, подобно ночному небу, сверкал всевозможными российскими и иностранных держав орденами и звездами, вплоть до перуанского первой степени Зеленого попугая, бразильской обезьяны и нильского крокодила, даже на тех местах, кои простым смертным полагаются для сидения и которых лишены только херувимы. Кажется, впрочем, что на первых порах его даже и переворот не сбросил с чиновного Олимпа. По крайней мере, я его не встречал среди поверженных титанов. Разве только он лишился всевозможных аренд. Да ему их и не надо. Он и без них хорошо набил себе зобок.

— Что вы поделываете? — спрашиваю его год назад.

— Во блаженном успении... Мы видь теперь товарищам не нужны-с. В Керенские не годимся, ибо язык дан нам не для блуда, а для соответствующих о государственных пользах докладов... И экзаменов мы по Циммервальду и Киенталю не держали. Впрочем, времени не теряю.

— Например?

— Возвращаюсь к старым мутонам...

Выдержал многозначительно паузу, поднял брови и выпятил губу...

— Пишу-с...

И, сделав зайчика, пухлыми пальцами ткнул меня в бок.

— Значит, обратно в литературу?

— Значит... Пора! Вроде отдохновения... Как Цинциннат.

И вдруг зловеще сверкнул глазами.

— Пи-и-шу-с! — погрозил он кому-то интонацией и перстом в пространство. — На-апомню о себе. Многим весьма напомню. Я ведь каждый вечер, отходя ко сну, занотовывал вкратце. Встречи с важными обоего пола персонами. И теперь сии голые скелеты облекаю в соответствующие словесные тела и художественные краски. И вот, не угодно ли им передо мною: к расчету стройся! Коемуждо по делам его. Могу сказать одно: весьма и весьма многим не понравится, ибо я прежде всего нелицеприятен. За пятьдесят пять лет прохождения в классных

чинах накопилось. Я ведь не только с сановниками, но и с царями беседовал. Впрочем, и о малых сих не забываю. И малым сим у меня в ковчеге ноевом отведено надлежащее место, так сказать, для фона, на коем будут и настоящие фоны.

И расхохотался, довольный собственным остроумием...

— Да, и настоящие фоны. Можете воспользоваться — дарю!

Свеликодушничал он: бери-де, мне не жалко!

— Благодарю вас. Я и своими фонами торговать могу.

— Да, да. Обо всех, благополучно пасомых. Так что и вас не забыл. Нет-с, не забыл!

— В виде фона или в фоне?

— А уж вы это увидите!

— Ну так я вас раньше!

Сановник обеспокоился, сделал губы пупком и нежно:

— Памятую нашу дружбу. Как же, как же!.. О, юность, это ты! А вы тоже мемуары?

— Нет, так при случае... Записную книжку имею.

— Для печати?

— И для печати.

— Ну так я вам (так сказать, для точности и конфиденциально!) свое жизнеописание. Чиновник мой, под моим наблюдением, составлял для некролога. А то репортеришки эти врут все. Согласитесь, неудобно это и не соответствует...

— Похороним по первому разряду?

Подумал — обидеться? Но решил — не стоит. Но и в свою очередь пожелал уязвить меня.

— А вы, джентльмен, все строчкой живете?

— Нет, товарищ, и листом, и фиксом.

— А велик ли ваш фикс?

Я сказал.

Выпучил на меня глаза.

— Неужели? Да это ежели, например, товарищу министра или самому министру. Весьма, весьма прилично. Однако как литература-то нынче. Ну, а что, например, Горький получает?

— В «Русском Слове» ему, случалось, по три платили.

— Копейки?

— Нет, рубля.

— За строку?

— Да... И его еще деньгами не купишь. Не каждому даст. А то бы нашлись и по десяти ему отвалили.

Сановник было взвился, но вдруг плюхнулся грузно и увял.

— Да, вот оно как. А в наше-то время!.. что же, мы хуже других были? А ведь всего пятак за строку, да и то больше по счетам, а помните и трех копеек, случалось, наплачешься. Ведь какой козырь был Всеволод Крестовский, а ему Краевский за «Трущобы» шестьдесят за лист. Только потом себе восемьдесят выплакал. А Слепцов... Или Решетников?

II

Так вот, в ожидании воспоминаний («И моя жизнь!», дешевле он не согласен) сановника обо мне, и я о нем — маленькое «морсо».

Он как-то обидел поэта двумя строчками и, надо отдать ему справедливость, несуразными:

— «Эдак каждый лягушонок, квакающий в болоте, вообразит себя Шиллером».

Поэт назвал критика:

Апеллесова осла
Непотребное копыто.

Дело было после веселого обеда, на котором участвовали юморист Черниговец и полузабытый ныне Иванов-Классик. «Непотребное копыто» разорвал ворот собственной рубахи, швырнул тарелку на пол и пожелал быть на ее месте лягушонку. Тот, в качестве восторженного поэта, взял целой октавой выше. Разбил стакан, попробовал разгрызть осколок и изъявил неукротимое желание выкинуться в окно, но приступил к этому столь медленно, что приятели успели удержать несчастного, хоть дело было в первом этаж. Критик и тут не оставил его в покое.

— Господа, бросьте его! Это он по счету платить не хочет

А Черниговец добавил:

— Первый раз вижу, чтобы поэт захотел быть выкидышем. Вспомни жену и детей! — патетически закончил он.

— У меня нет жены и детей.

— Не отчаивайся, будут и рога тоже.

Решили драться.

Подобное оскорбление могло быть смыто только кровью.

— Пусть кровь прольется! — мурлыкал из «Гугенотов» поэт.

— Я из револьвера не умею! — недоумевал критик.

— Стреляй из пушки! — советовал Черниговец.

— Выбери единорог! — поддержал Классик.

— Какая же дуэль с револьверами? Нужны пистолеты.

— Лучше всего Кухенрейторовские. Только где их найдешь?

— У меня есть! — вспомнил я некстати.

— Ну так, значит, тебе и быть в секундантах.

Драться решили ехать в Тулу.

Почему в Тулу?

Критик коснеющим языком:

— Желаю в Тулу. К родителям. Пусть меня похоронят с прадедушкой. Он генерал-аншеф был и на всех портретах в регалиях... На рукавах вот этакие кружева. И в лице — величие. . Я, говорят, на него похож.

— Как свинья на апельсин.

— Это кто сказал?

Черниговец скромно разглядывал красное вино.

— Кто это сказал?

— Почему ж ты, напр<имер>, не апельсин? Фрукт и вкусный, и полезный.

— В Тулу — так в Тулу. Согласен! — великодушничал поэт.

— А тебе зачем Тула?

— Там оружейный завод и... пряники. Желаю в Тулу... Притом трудная рифма.

— А по-моему, — предлагал Иванов-Классик, — лучше в Коломяги. Там великолепные сосиски.

— И отличное пиво! — заметил С. В. Максимов.

— Я родился в Туле...

— Как самовар.

— И умру там.

— Разве самовары умирают?

— Что-о? — И критик налетел на поэта.

— Ничего.

— То-то ничего.

Оба с минуту смотрели друг на друга настоящими петухами...

III

Чтобы не внушать никому и никаких подозрений — молодежь любит таинственное, — секунданты решили ехать отдельно с ранним поездом. Враги — со следующим. Мы должны были в Туле устроить всю инсценировку трагического спектакля, найти место, пригласить хирурга, встретить противников и прямо доставить их на роковое поле. Потом мы подробно расспрашивали и поэта и критика. Первый весь вечер писал стихи, где смерть почему-то рифмовалась с папертью, а Тула со «стрелой пронзительной, как молния, из дула». Кончив этот «последний вздох молодого певца», он счел себя вполне подготовленным к переселению в заоблачный Олимп. Только умолял вскрыть его непременно, взвесить мозг, а сердце в золотом сосуде отправить в Академию Наук.

— Зачем это?

— Чтобы им было стыдно:

Толпа презренная, что скажешь ты на это,
Когда, прекрасное, в сосуде золотом —
Оно войдет во храм и знания, и света,
Презренное тобой на торжище пустом.

Особым примечанием рекомендовалось все эти стихи предложить А. А. Краевскому не менее как по четвертаку за строчку и весь гонорар послать в комитет, который, несомненно, будет

открыт на предмет постановки монумента в память безвременно угасшего поэта.

Критик писал: «Моя последняя воля». Он рекомендовал своим потомкам (очевидно, по боковым линиям, потому что по прямой у него их не было) всемерно стоять за свою честь и не жалеть ради нее самой жизни. Разумеется, при сем ссылка на незабвенного генерал-аншефа.

— Собственного палача держал в деревне. Водил его в красной рубахе и красных сапогах, — объяснял он, подавленный фамильным величием, Иванову-Классику и немедленно принимал вид столь неистового благородства, что тот боялся ослепнуть.

После этого враги заснули спокойно, и солнце, заливавшее их меблирашки золотым светом, было несомненно потрясено их равнодушием к жизни, почему и закуталось облаками. Ведь один из них непременно должен был умереть, а то оба вместе.

Во цвете лет.

Столь общая русской литературе судьба!

И, даже не погасив авансов.

IV

В вокзале враги встретились.

Поэт окинул критика взглядом смертельной ненависти.

Тот вспыхнул и в упор уставился на него...

Нос к носу и молчок. Кругом собралась толпа. Обеспокоился жандарм: что за представление?.. Наконец, поэт не выдержал:

— Чесарь Борджиа.

— Что-с?

— Имею право... Из истории... Чесарь Борджиа.

— Сам дурак.

Еще бы минута — и от обоих остались дребезги, но дали третий звонок.

Они ринулись в разные вагоны III класса.

Поезд шел медленно. Предстояли томительные сутки, а то и больше —

Ожидания и смерти!

Поэт попал соседом к благожелательному иноку, рекомендовавшемуся, узнав, с кем он имеет дело:

— Я тоже из писателей, ибо, не окончив духовной семинарии, поступил в Управу благочиния, в коей не одна стопа исписана моими: а почему, о том следуют пункты. Ангельский же чин приял, дабы избегнуть пьяного беса, столь же настойчивого и липкого, сколь и банный лист, о коем гласит народная мудрость. Ах, сколь человеческая природа слаба вообще, — а у нас в особенности. Ибо над нами, которые, значит, чернецы, дана ему власть не только сугубая, но и трегубая. Прозорливцы свидетельствуют, что даже над причастною чашей они, как

комары, витают, черненькие, тонюсенькие, малюсенькие, поганенькие, и причастнику, если он из монасей, в рот норовят. Сколь наглы и бесстыдны! Светские, не ведая сего, на черноризцев козлоглаголят...

Критику в бытовом смысле тоже повезло.

В Москве села к нему толстенная баба с мокрыми подмышками и сейчас же, открытая душа, сообщила ему, что ездила туда лечиться потому, что на ноге образовалась у нее рана этак с серебряный пятачок. Дома ее травили купоросом, она в гривенник выросла. Присыпали сулемой — ан целый пятиалтынный вышел. А на Москве у этого самого лекарского генерала, которому там все купцы подвержены, и даже первая гильдия у него на короткой веревочке бегает и никак без его воспособия помирать ей не полагается, тоже не полегчало. Рана-то в целый четвертак объявилась. А теперь так нудит, так нудит, что, пожалуй, ее и полтинником не накроешь.

— Что ж, вам же лучше.

— Почему, что?

— Да как же! До Тулы доедете, у вас из пятачка целый рубль будет.

— А вы не доктор?

— Нет.

— Ей-Богу?

— Что ж, мне вам документы показывать, что ли?

— А то посоветовали бы. Лицо у вас совсем докторское. Значительное... Строгое.

— Это потому, что я критик.

— Чего-с?

— Критик, понимаете.

Она уставилась на него и жалостливо покачала головой.

— Ну, что делать. И такие бывают... Уж если Бог вас определил. Против него, батюшка, не пойдешь. Как вы сказываетесь?

— Критик.

— У каждого свой крест. И критику есть-пить надо. А я думала — доктор. Показать хотела, как она, подлая, разверзлась.

V

В Москве поэт к буфету.

Кратко и выразительно:

— Водки!

Не успели ему налить, как рядом столь же решительное:

— Водки.

Поэт оглянулся: нос к носу критик.

Оба фыркнули, как коты, нежданно встретившиеся на крыше у роковой трубы, где так аппетитно пахло легкомысленной Машкой.

И еще более разозлились. Но отойти нельзя было. Оставшийся мог подумать, что другой струсил. Поэтому опять повторилось:

— Водки!

И рядом:

— Водки.

До третьего звонка.

На первой станции — то же, но в повышенном диапазоне!

Вернувшегося поэта — допрашивал инок.

— Возможно ли благодетельному иноверцу выйти в царствие небесное?

К критику тоже:

— А может, вы по докторской части, только что обнаружиться не хотите?

Слава Богу, на следующей станции опять буфет.

— Водки.

И опять рядом:

— Водки!

Пили уже молча. Друг на друга не фыркали.

— Какая подлость, водка теплая!

Бросил в пространство, неведомо кому, поэт.

— Свинство! Деньги берут, а подают дрянь.

В вагоне:

— Как вы думаете: домашние животные, которые, например, скоты, будущей жизни неймут?

В вагоне рядом:

— От живота лучше всего банный веник, и нужно взять непременно-чи после мужа. Как нахлещется, листья сорвать, вскипятить в водке и дать постоять ночь. И, значит, по утрам натощак принимать, смотря по аппетиту, но во благовремении и с молитвою. И за каждым глотком на все четыре стороны с поклоном: гони, гони, лист, чтобы живот был чист.

Остановка.

— Водки!

— Водки!

— Подлость — и чокнуться не с кем.

— Скучно!

По второй скрестили, как рапиры, мрачные взгляды.

— Кажется, из вежливости можно бы чокнуться?

— Это ведь ни к чему не обязывает.

Чокаются.

— «Оленя ранили стрелой».

— Это к чему?

— Так, вспомнил Гамлета.

— Я, во всяком случае, не Лаэрт.

— А водка, черт ее знает!.. Точно ее в солдатских сапогах держат.

— В Москве — слеза! И как лед. Прямо северный полюс плачет.

— Особенно, если икра!

Спохватились.

Смерили друг друга молниеносными взглядами и в вагоны. На следующей станции поэт ждет, когда явится критик.

— Водки!

— И мне.

— Ну, разумеется.

Подозрительно:

— Что именно?

— Говорю — не одному же пить! В одиночку только пьяницы.

— А мы совсем нет.

Первые слезы умиления туманят помутившиеся глаза.

VI

На Тульской станции секунданты.

За четверть часа до поезда — благосклонный полицеймейстер.

— Господин писатель Иванов-Классик?

— Да...

— А Немирович, который Данченко?

— Вон он. Василий Иванович! По твою душу!

— Очень рад познакомиться. В свободное от службы весьма почитываем. Люблю, черт возьми! За стаканом чая. Душа в империях и эстетика парит, хотя и в провинции. А господин Александров Николай Александрович тоже писатели?

— Я.

— То есть так приятно!.. — И лестно... Хоть сейчас литературный вечер в пользу вдов и сирот. Цветы, так сказать, книжного рынка.

— А который из вас будет «Год на севере», то есть Сергей Васильевич Максимов?..

— Я.

— У меня телеграмма в полной исправности от Николая Александрова. По долгу благородного человека предупреждает полицию об имеющей быть дуэли. Мы хоть и в Туле, но тоже бдим о безопасности граждан. Скромно и тихо, без неприятностей. Только запротоколим для оправдания перед начальством и пожалуйте потом к нам в купеческий клуб. В дворянском чище, но кухню-с нельзя сравнить. Повара от генеральши Хлобыстовкой переманили. Рекомендую! Особенно простые, патриотические блюда: бараний бок с кашей, сальник или колдуны по-литовски. Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Павловича Розенгейма не надо! Красота! А где же ваши Отеллы?

— Должно быть, сейчас с поездом.

— Ну вот и прекрасно! Ефремов и Столбунов?

Бутыри вытянулись — не дышат.

— Можете уйти. Господа привилегированные! Не понадобитесь. Марш! А знаете, в военном училище тоже стихи писал, обличительные! Далеко бы пошел, потому что усердие было, но женился в Радоме на одной пани гоноровой и вот в полиции! Но не жалуюсь! Отнюдь! Ибо везде можно свое благородство показать. Я так считаю, что дворянин в офицерских чинах может быть полезным членом общества и при дальнейшем прохождении службы даже его украшением. А я на линии-с. Сейчас полицеймейстер — а при отличии и в губернатора могу надеяться. Вожделеть не воспрещается и ежели при вожделении — быстрота и натиск — все остальное приложится.

Несколько минут, и окутанный дымом поезд медленно подошел к платформе.

Полицеймейстер — грудь вперед и в глазах молния.

Стал официален и строг.

— Господин Александров! не угодно ли будет указать ваших клиентов, виноват — протеже?

Народ высыпал из вагонов.

Мимо нас валила толпа с чемоданами, саками, картонками.

Но... ни поэта, ни критика.

— Вы их не пропустили?

— Нет. Куда они могли деваться? Неужели в Москве застряли? От них хватит.

— А то и совсем из Петербурга не выезжали!

Пошли по вагонам.

Табло: критик и поэт мирно почивали в дружеских объятиях.

Ваше высокопревосходительство (по старой табели о рангах), вот вы еще собираетесь обо мне, а я уже вас на булавку и в свою коллекцию. А назови я вас — пожалуй, и читатель бы ахнул! Кто же вас не знает? Немало тоже почленовредительствовали на своем веку, или как ныне принято: на славном посту.

МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ

Оглядываясь в далекое прошлое, вижу в его туманных далях бесконечную галерею отошедших от нас властителей дум. Из сплывающегося фона пережитых былей едва ли не самым отчетливым выступает передо мною характерный облик Н. А. Некрасова. И сейчас в моих ушах звучит хриплый, как будто простуженный голос поэта и внимательно всматриваются его пристальные глаза, угадывающие во мне самому мне неясное. Под жесткими усами чуть скользит недоверчивая улыбка, смягченная снисходительностью к маленьким слабостям других, а может быть, и трудною памятью о себе самом.

Я уже напечатал в «Вестнике Европы» «Соловки» и начал в «Деле» очерки «У океана». Мои первенцы были хорошо приняты литературным миром. Это окрылило меня. Захотелось проникнуть в «Отечественные Записки», где за год перед тем Демерт уже включал в статьи о русской провинции выдержки из моих писем. В то время мы, молодые, с тревогой, робостью и неуверенностью стучались в двери этой редакции, где заправилами сидели сами «боги»: Некрасов, Щедрин, Михайловский. Помню, как крупные, уже признанные таланты, вроде Глеба Успенского, поминали царя Давида и всю кротость его, ожидая свидания с грозным Михаилом Евграфовичем. Ведь Щедрин подчас был так суров и не стеснялся не только с начинающими. Более того, с ними у него суровость была скорее ласковая, нужно было лишь уловить ее: брови хмурились, а глаза смеялись. Но с генералами от литературы он совсем не церемонился. Редакторского респекта к модным именам и авторитетам у него не было и тени. Никогда не мог я забыть, как растерялось одно такое восходящее и модное «светило», когда, теребя его рукопись нервными пальцами, сатирик вдруг огорошил «светило», не стесняясь присутствующими, своим громогласным басом: «Ну, батюшка, вы тут столько набоборыкали». Я, признаться, вчуже смалодушествовал и направился было к дверям, да наткнулся

прямо на Николая Алексеевича. Он угадал, в чем дело, и удержал меня за локоть, смеясь: «Погодите, мы прочли ваши очерки «За северным полярным кругом». И ему (кивок в сторону Щедрина) понравилось».

— Понравиться-то понравилось, — сердито забасил опять Салтыков. — Да уж очень кругло пишете. Ни на один сучок не наткнешься. А только, чего это вы со всех колоколен зазвонили? Довольно бы и с одной! Сколько литературных просвирен взбудоражили. Не на пожар, слава Богу! И «Вестник Европы», и «Дело», и «Неделя», и «Голос».

Некрасов вступился.

— Нет, это он хорошо. Сразу имя себе сделал.

Щедрин не унимался.

— Сделал-то сделал, но нельзя же так. Точно с луны свалился, проломил крышу и с целым грузом рукописей. Сидят почтенные Стасюлевичи, истово журчат тихою беседою, как по нотам. И вдруг этакое чудище — шарах на головы... Получайте. Караул закричишь!

* * *

Редакторы в наше время не стеснялись. Я помню, как тот же Щедрин гильотинировал один слишком затянувшийся роман, кажется, Гирса. Роман не понравился Михаилу Евграфовичу, он просил автора прикончить его, а тот, наоборот, пообещал еще две полновесные части. И вдруг в новой книжке журнала с ужасом прочел описание грандиозной стихийной катастрофы, в которой безвременно погибли все его действующие лица...

...Надо сказать, что Н. А. Некрасов ко всему, что носило печать таланта, относился не только внимательно, но и трогательно. Особенно если молодой писатель был беден, а кто же из нас тогда был богат? Он для таких являлся не издателем, а скорее товарищем, собратом, если хотите, опекуном. Время было тяжелое. Капитал еще не врывался в печать, и самые популярные впоследствии издания начинались с такими ничтожными средствами, с какими нынче не выпустишь и тощей книжки. Случалось для очередного номера закладывать женины серебряные ложки. Разумеется, это не относилось к «Отечеств. Запискам», «Вестнику Европы», «Делу» или «Русскому Вестнику», но и у них бывали затруднительные минуты. Ведь впоследствии средней руки автор за газетный фельетон получал больше, чем, например, Достоевский за печатный лист в мое время.

Н. А. Некрасову не легко достался издательский успех. А ведь он помимо громадного таланта обладал еще практической сметкой, какой не могут похвалиться и заправские коммерческие дельцы. Это и помогло ему создать не одно крупное литературное предприятие, не скупясь с сотрудниками, а широко по тому

времени тратя на них подписные тысячи. Он никогда не мог забыть пережитых им былей. Первые годы его литературной деятельности в Петербурге отмечены тяжелыми лишениями, даже нищетою. Я могу здесь привести со слов Николая Алексеевича страничку из мартиролога некрасовской юности.

Был скверный осенний вечер в Петербурге. Я встретил поэта на набережной Невы у Зимнего дворца. Ни красок, ни света, все темно и серо кругом, дали казались намеченными карандашом в тумане. Николай Алексеевич стоял, опершись на гранит у Зимнего Дворца. Внизу грузно плыла свинцовая Нева. Холодом веяло. Он оглядел меня и усмехнулся:

— Как вы сейчас напоминаете мне меня самого много, много лет назад. Что, у вас нет теплого пальто?

— Есть. Только я не люблю кутаться.

— Ну, я бы тогда закутался с удовольствием. У меня не один такой вечер в памяти. Позади нетопленая квартира, за которую несколько месяцев было не плачено. Так же я здесь вот стоял и смотрел в ту сторону через реку. Там огоньки мигали. И думалось — завернуть в простыню «Сто русских литераторов» Смирдина, навязать себе на шею и бултыхнуться в тусклую Неву. Трудные были годы... Каторжные... Много они в моей душе вытравили и здоровья отняли не мало.

— У вас отец был богатый.

— Богатый? Нет. Средства, как у средней руки помещика, да... только мне легче было бы жернов на шею... Я мать любил... — оборвал он свой рассказ.

Я думаю, его чуткость к чужой нищете шла именно с этого времени. На себе испытал ее унижения. Часто безжалостный и суровый даже со своими богатыми друзьями — он совершенно менялся, встречая нищего писателя. Мне известны случаи, когда он помогал таким во враждебном ему лагере. Анонимно. Я думаю, они никогда не узнавали — откуда сваливалась к ним благостыня. Раз он через меня послал крайне нуждающемуся мелкому юмористу, лично его преследовавшему когда-то довольно глупыми стихами в благовременно угасшей «Занозе». И глупыми, и, правду сказать, подлыми.

— Откуда вы? — встретил меня в воротах дома, где жил тот.

— От***

Поморщился.

— Охота вам с такой свиньей знаться.

— Нуждается... В доме ни копейки. Больной. Жена плачет.

— Да? Пойдемте вместе...

Молча прошел до своей квартиры в доме Краевского на Литейной.

— Зайдите. У него дети, — говорите?

— Двое...

Нахмурился.

— Дрянь он большая... А все-таки... Жена ни при чем... Вот что, садитесь на извозчика и слетайте к нему.

— Зачем?

Вложил в конверт две сторублевки, — по тем временам деньги. Ведь в лучших случаях платили по пятидесяти с листа средней руки писателям.

— Только дайте мне слово: ни гу-гу от кого... Если проговоритесь, — никогда не прощу вам. А через неделю вы ему еще отвезете.

Таких анонимных пособий он немало рассылал. Часто даже не через своих, а был такой лакей-доверенный А. А. Краевского Гаврила, известный всему литературному Петербургу. Надежный человек. Некрасов в деликатных случаях пользовался его услугами. Смешно было, когда знавшие Гаврилу потом являлись благодарить ничего не понимавшего Андрея Александровича Краевского, человека в денежных отношениях точности казначейской, но и неподатливости тоже казначейской.

— Не Гаврила же им помогает? — разводил он руками.

Я мог бы назвать ряд и крупных и малых писателей, которых таким образом не раз товарищески выручал Н. А. Некрасов.

Что за чудесный кружок собирался у Некрасова! Мне редко приходилось бывать там. Я бродяжничал по всей России, но не могу не вспомнить и не упомянуть добрым словом одного из благороднейших наших поэтов», Алексея Николаевича Плещеева. Передо мной до сих пор, точно вчера было, стоит этот друг Некрасова и его ближайший сотрудник по редакции. Не было человека в нашей литературе, который бы так сердечно, я бы сказал, так чутко относился к молодым, еще не печатавшимся поэтам, раз в их первых пробах он замечал искры настоящего дарования. Он их холил, как редкое, нежное, тепличное растение, требующее пристального ухода. Сколько он сделал для Надсона, для Гаршина!

Сын Плещеева, Александр Алексеевич, наружностью очень напоминает отца. Только тот был выше, монументальнее. Тип старинного русского бояринства, в его лучших образчиках. В его фигуре, на его лице лежал отсвет внутреннего благородства. Якоби, Маковский, да не только эти художники охотились за ним, но Алексей Николаевич решительно отказывался позировать им. Не любил показу. «Только этого недоставало, чтобы я являлся перед публикой в бутафорских костюмах». Н. А. Некрасов говорил о нем: «У него тоска по гению. И он его всюду ищет». У старых писателей было это. Даже у А. С. Суворина. Я помню, каким для него явилось праздником, когда А. Н. Бежецкий (а отнюдь не Д. Григорович) открыл Америку в «Осколках» и «Будильнике» — тогда еще молодого Чехова. Целую неделю ходил именинником и говорил Буренину:

— Берегите его. Не давайте в обиду, за него и вам много простится.

* * *

В Некрасове часто замечалось два человека. За письменным столом, в редакции — один. Друг и товарищ писателя, он в Английском клубе или со своими чиновными, богатыми и аристократическими друзьями казался совсем другим. Двуликий Янус. Но хорошею стороною обращенный к нам, ко всем, кто в нем нуждался, до последнего типографского рабочего, рассыльного. И в нем это не было напускное, личина для публики, для рекламы, нет. Тут он являлся самим собою. И в этом его бы не узнали клубные завсегдатаи, видевшие его за зеленым сукном. Столько лет прошло со смерти Николая Алексеевича, что я, не оскорбляя его памяти, могу остановиться на этой стороне его жизни.

Враги, да сказать правду, и друзья часто обвиняли его (за глаза разумеется) в том, что он крупно играет, более того, что играет наверняка. Лицемерно оправдывали его заботой о журнале. И не знаешь, кто был подлее в этом соревновании подлости и клеветы: люди, близкие к нему, или посторонние. Выросший в старой помещичьей среде, не в идиллии тургеневского «Дворянского гнезда», а скорее в аду щедринских героев, под лай собак, свист арапников, рыдания замученных женщин и бешеные крики игроков — Некрасов был человеком великих, неукротимых страстей, которому был нужен головокружительный риск, опасности, сбивающие с ног ощущения. Где было их искать в то время, да еще ему, связанному серьезным и благородным делом таких журналов, как «Современник» сначала и «Отечественные Записки» потом?

Отводом бунтующей, неукротимой силе и являлся вечером Английский клуб с целыми состояниями на зеленом сукне, с борцами на жизнь и на смерть кругом. В этом отношении на моей стороне являются великие тени Тургенева и Достоевского. Иван Сергеевич не любил поэта. Жизнь поссорила их. Федор Михайлович относился к нему с остроболезненною подозрительностью и со сложным чувством вражды-любви. Но и тот и другой негодовали, когда злорадные клеветники в их собственных лагерях выдвигали против Некрасова ставшее банальным от частого повторения гнусное обвинение.

Тургенев, выросший сам в помещичьей среде и наблюдавший родственные Некрасову типы, называл его «головорезом карточного стола». Вот подлинные, хорошо запомнившиеся мне слова великого романиста: «Некрасова не выигрыш тешит. Ему нужно или самому себе сломать голову или в пух и прах разбить другого. Своего рода Малахов курган. Там благородная игра со смертью, а тут тоже, если хотите, смертельный риск остаться нищим».

Достоевский говорил иначе. Он сам был азартный игрок и, вспоминая Некрасова, точно оправдывался. Я помню, на одном

вечере у Аполлона Николаевича Майкова он схватил за локоть брата его, Леонида, дергаясь и зло сверкая сощуренными глазами, точно в истерическом припадке выкрикивал: «Дьявол, дьявол в нем сидит! Страстный, беспощадный дьявол! Одержимые (он уже переходил на множественное число) — они всегда такие. И чем сверху спокойнее, тем внизу грознее огонь пышет, лава вскипает. Ему померяться, чья возьмет, — нужно. Другие из такой страсти убивают, а он направо и налево мечет. Не будь этого — его бы в клочья разорвало, выжгло бы всего... Да-с».

Человек великих страстей, отводящий душу в риске, — таким в откровенные минуты рисовал его и Н. К. Михайловский, тоже не любивший правильных и соразмерных людей, от которых за версту камфарой и нафталином пахнет. Он, Некрасов, умел терзаться перед самим собою, исходя кровью покаянных стихов, в бессонные ночи. Тот же Н. К. Михайловский и по тому же поводу, возмущаясь клеветами на Н. А. Некрасова, говорил при мне С. А. Венгерову: «Нельзя таких, как он, мерить обыкновенным аршином. Выше штанов не подымешься. Ни до головы, ни до сердца не доберешься».

Как современник и почитатель Николая Алексеевича, я должен ответить еще на одно обвинение, которое не раз слышал в свою жизнь великий покойник. Сам он на него не отвечал, принял страдальчески на себя, хотя не раз и сгибался под его тяжестью. В этом отношении он выручал любимую женщину, неповинный в ее опрометчивости, но всецело ответствуя за нее. Ему легче было самому корчиться на дыбе, но не бросить на жертву толпе легкомысленную красавицу, которую он так мученически любил в дни своей молодости. Я говорю о капиталах поэта Огарева, которые она поручила какому-то проходимцу М., а тот или целым рядом спекуляций их растратил, или просто присвоил. Ему верили долго и когда, наконец, потребовали отчета — от них ничего не осталось. Руки Некрасова были чисты. Я бы на поминках поэта мести и печали не упоминал об этом, если бы недавно в печати опять не выплыла на поверхность эта старая клевета.

Много повинен в несправедливом обвинении Некрасова и Тургенев. Любя Огарева и ненавидя Некрасова, он слепо валил с больной головы на здоровую и клеймил Николая Алексеевича, не стесняясь в выражениях. Но ему, психологу и самому так благородно понимавшему мученичество любви, следовало бы глубже проникнуть в душевную драму Некрасова. Я думаю, в данном случае «преступления» Некрасова являются его величайшим оправданием перед высшей справедливостью. Он не только принял на себя чужую вину, но безропотно всю свою жизнь до самой смерти нес этот крест, ни разу не обмолвившись в свое оправдание и в ее обвинение, в обвинение когда-то так нежно и страдальчески любимой женщины. У него как-то (дело шло о похожем на это факте) вырвалось:

— У кого плечи сильнее, тот и волоки ношу. Нечего сбрасывать ее на слабую спину. Мы только согнемся. А ее она раздавит. И молчи!

И он молчал до конца. Гордо молчал. Как молчал Ив. Серг. Тургенев, восторженно любя хотя и гениальную, но не достойную его женщину. В то время умели любить, даже в медвежьих углах дореформенной и далеко не романтической России!

* * *

Некрасов не любил давать начинающим советов, как и что писать. Он говорил: каждый должен вырабатываться сам. Учись ходить без посторонней помощи. Не оглядывайся на других. Сам спотыкайся и, разбивая себе нос, не рассчитывай, что сосед вовремя схватит тебя под локоть. Учителя у тебя одни: твой талант и наблюдение. Старайся видеть больше. Именно — видеть. Читатель смотрит — а ты видишь. Чтобы наблюдать, надо также учиться. Не кляни неудачи, они лучшие профессора. Неизвестно еще, что полезнее — чтение плохих или образцовых вещей. Во всяком случае, первое тоже приносит свои плоды чуткому писателю: в каждом из нас заложены минусы. Ты видишь их ясно у плохого писателя и, если в тебе нет самовлюбленности, скоро, благодаря дурной книге, заметишь и в своем поле скверную траву и выполешь ее.

Как-то Тургенев советовал мне: дайте вылежаться каждой вещи хоть год в письменном столе. Встретясь с Некрасовым, я передал ему этот совет. Он усмехнулся: «Ему хорошо. Этот-то год он и без гонорара проживет. Дворянское гнездо. Для ювелирной работы средства нужны. Да и потом, что сегодня прекрасно и вовремя подано, завтра оно поблекнет, простынет и как в собачьей плошке салом покроется».

Но раз напечатанное в периодическом издании — для отдельной книги всегда надо переработать. Журнал забывают, книга будет жить. Находя у меня слишком много ярких красок, он советовал: «Вам надо писать, как японские живописцы свои картины. Спросите у Гончарова. Он как-то рассказывал при мне. Они не жалеют колеров и резкостью очертаний не пренебрегают. Но окончив картину и дав ей высохнуть — нежнейшей губкой начинают смывать краски. Теряется подчеркнутость линий и блеск. Все как будто подернуто туманом. К нашей северной природе это идет!»

И вскоре, сам себе противореча, он говорил мне: «Нет серой жизни и серой природы, а есть серые люди».

Где-то я читал, что Н. А. Некрасов не любил Пушкина. Это ложь. Свидетельствую об этом. Поэт гражданской скорби не раз и не два говорил и мне и при мне молодым поэтам: «Учитесь грамоте по Пушкину. Не только читайте — изучайте

и любите его. Любите влюбленно, как любят в юности женщину, с восторгом обожания. В нем не только красота и сила. В нем школа и для вас провидение (теперь бы сказали — интуиция). У него не одна гармония стиха — но внутренняя гармония, он больше кого бы то ни было усвоил тайну стройности и соответствия. Посмотрите, как великолепны перспективы его крупных произведений, любой художник — живописец может позавидовать его дальнозоркости. А как он умел отбрасывать иногда пленительные мелочи ради стройного целого. Как он целомудренно скуп на сравнения, которые, как настоящий мот, сыплете вы — всё в одну кучу...»

Следовало бы еще откликнуться на то, что больше всего мучило великого покойника, — на его стихотворение, посвященное Муравьеву; но не нам, не нам судить ошибку человека, спасавшего этим благороднейшее дело своего журнала и добрую сотню сотрудников и рабочих, между которыми были такие, именами которых до днесь гордится вся Россия и каждый русский...

Некрасов, читая свои стихи в Английском клубе, на обеде, данном Муравьеву, не предавал, а спасал. И потом целыми потоками покаянной крови смыл эту — не измену, а ошибку...

— Не нам судить тебя, — обращусь взволнованно к его печальной тени, — ты сам осудил себя и искупил годами страдания свой минутный грех. И мы давно, благословляя твой гений, благоговейно склоняем голову перед твоею великою тенью!

РЫЦАРЬ НА ЧАС

(Из воспоминаний о Гумилеве)

Невыразимою грустью на меня повеяло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева — «К синей звезде». Точно из далекой, неведомо где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва различимый голос.

Мы обдумывали планы бегства из советского рая.

Мне перед этим два раза отказали в выдаче заграничного паспорта. Другого выхода для меня не было. Он тосковал по яркому солнечному югу, вдохновлявшему его заманчивыми далями. По ним еще недавно он странствовал истинным конквистадором. Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии. Если бы поверить в перевоплощение душ, можно было бы признать в нем такого отважного искателя новых островов и континентов в неведомых просторах великого океана времен. Америго Веспуччи, Васко да Гамы, завоевателей вроде Кортеса и Визарро... Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. Ведь денег у нас обоих было мало — и миллионов (тогда счет уже был на миллионы!) мы тратить не могли. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне:

— На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда — бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу.

Помню одну из таких прогулок.

Навстречу вьюга. Волны снега неслись нам в лица. Ноги тонули в сугробах.

Гумилев остановился и с внутреннею болью:

— Да ведь есть же еще на свете солнце и теплое море и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их... И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви под железною пятою этого торжествующего хама. И вольная песня и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая — только мы не увидим.

Этот душевный крик особенно действовал из уст такого по-видимому спокойного, невозмутимого человека, каким он казался, только казался. Его сдержанность была маскою, гордою и презрительной к людской пошлости, низменности и малодушию.

Он был бы на своем месте в средние века.

Он опоздал родиться лет на четыреста!

Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов. Он увлекался бы красотою невероятных приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и бурях одолевал неведомые моря. И, разумеется, сырые и серые дни Севера среди трусливо припавшего к низинам народа, в вечных сумерках, где только безлистые ветви чахлых деревьев метались во все стороны — были не по нем, давили его могильною плитою.

Бывая у меня, он передавал свои красочные замыслы. Я думаю, лучшего слушателя он не мог найти: ведь в экзотическом мире, как свободная птица в горячем воздухе, носилась и моя мечта. Мусульманский Восток и африканские пустыни тревожили наше воображение. Часто, когда мы смолкали, переживая грезовые паузы, оказывалось, оба странствовали мысленно за морями и океанами. Сейчас, когда я перечитываю его стихи, — строгий и суровый образ поэта, застегнувшегося как будто на все пуговицы, живой стоит передо мною. Он, казалось, весь был в железной непроницаемой броне, чтобы посторонний взгляд не угадал пламя, горевшее в его груди.

Он не мог иначе мыслить, как образами.

Я помню, как-то он приехал ко мне.

— Нет ли в ваших коллекциях или библиотеке рисунков, сделанных африканскими дикарями?

Тогда у меня была большая библиотека, собранная в далеких странствиях. Увы, от нее ни следа!.. Второй такой не составить... Где-то она теперь?

— Зачем вам?

— Я пишу географию в стихах... Самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка — черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир.

Я не знаю, что вышло из этого. Издатель нашелся. Я видел первые печатные листы... Он не только как поэт сам увлекался часто даже странными идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в благородном значении этого опошленного теперь слова!), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя.

Он был необыкновенно деятелен в эту мертвую зыбь нашей печати. Читал лекции в Доме Искусств и пролетарским поэтам. Выступал и в Петербурге, и в Москве на литературных вечерах, живым словом заменивших убиенные большевиками журналы. И как себе, так и другим не давал поблажек. Его требовательность красоты и чистоты стиха доходила до фанатизма. До ярости доводили его статьи, затасканные приемы архивной словесности у молодых начинающих дарований. Сгнившие, навязшие в зубах сравнения, обычная, все нивелирующая плоскость, пошлые приемы мещанского юмора, заимствованные, тысячу раз повторявшиеся рифмы. А. М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие — художественных переводов иностранных писателей. Оно сложилось в мощную организацию. Благодаря этому учреждению немало наших беллетристов просуществовало в самый ужасный голодный период отечественных злоключений. Приготовлена была таким образом масса рукописей, едва ли десятая часть которых явилась в печати. Все остальное лежит под спудом и ждет воскрешающей трубы Архангела.

Николай Степанович там заведовал, кажется, отделом французской поэзии и доводил наших переводчиков до отчаяния. Он был так строг и к себе, и к другим, что забраковал даже считавшиеся до тех пор классическими переложения песен Беранже, сделанные когда-то Вас. Курочкиным. Гумилев доходил до педантизма: великолепный перевод «Овечьего Источника» и «Собаки на сене» Лопе де Веги, исполненный А. Н. Бежецким (Масловым), он вернул — потому, что число строф в переводе не соответствовало такому же и в подлиннике. Надо было не только соблюдать арифметическую точность, но и каждой строке передать содержание авторской строки. Сам он умел так работать и беспощадно требовал того же от других.

Гумилев в то же время необыкновенно чутко относился к начинающим — именно в кучах навозу отыскивал жемчужные зерна. В слушателях особенно ценил оригинальность, хотя бы неловкую на первых порах, именно дорогую в каждом писателе. Он требовал от них упорной работы над собою.

— Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные метал-

лы... А ведь наш русский язык именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему — по красоте звука и по гармонии концепции.

С его легкой (в данном случае, впрочем, тяжелой) руки во всей России сложились кружки поэтов под всевозможными кличками — от «жемчужной раковины» чуть ли не до «разбитого корыта». И, увы, стихи стали ремеслом. Явились десятки юных самозваных гениев, в звучных и по форме совершенных строфах которых истинная поэзия, по словам И. С. Тургенева, даже не ночевала. Почти накануне его нежданного, так изумившего всех ареста, он был у меня, чтобы повидаться с г. Оргом, тогда главою эстонской миссии в России. Орг в то же время был представителем только что образовавшегося книгоиздательства в Ревеле «Библиофил». Н. С. продал ему новые стихотворения и, покончив с условиями по этому поводу, заторопился в дом Мурузи на Литейную, где он должен был открыть новый кружок поэтов.

— Не слишком ли много их? — заметил я.

— Каждый человек поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором. Надо расчистить его. В старое рыцарское время паладины были и трубадурами, как немецкие цеховые ремесленники мейстерзингерами... Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней. Талант не всегда дар, часто и воспоминание. Неясное, смутное, нечеткое. За ним ощупью идешь в сумрак и туман к таящимся там прекрасным призракам когда-то пережитого...

В этот раз, повторяю, накануне своего ареста, он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России.

— Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры... Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел.

И узнав о том, что он взят в Чека, я ничего не понял.

Разумеется — глупая ошибка, недоразумение, которое разъяснится сейчас, и он будет выпущен. Вспомнили его работу с пролетарскими поэтами. В своих лекциях он не скрывал ненависти к деспотизму коммунистических тиранов. Но там, в кружке молодежи, предателей не было. Некоторое время меня мучило: не послужило ли поводом к аресту Гумилева устроенное мною знакомство его с Оргом и предполагавшееся печатание поэм Николая Степановича в Ревеле. Ведь всякое сношение с заграницей считалось в России — преступлением. И только через неделю появились первые смутные слухи о Таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. Это показалось нам всем так нелепо, что мы успокоились...

Вы слышали о Гумилеве на войне?

В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасность лицом к лицу. Товарищи кавалеристы рассказывают о нем много. В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, он был сдержан и спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон, случалось, сажали в окопы. И всадники служили за пехотинцев. Неприятельские траншеи близко сходились с нашими. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются ручными гранатами, и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в зеленеющие дали. Там — в сквозной дымке стоят обезлиствевшие от выстрелов деревья, мерещатся развороченные снарядами кровли, зияет иззубренным пролетом раненая колокольня и плывет, едва-едва поблескивая, река. Гумилев — до пояса под воронеными дулами оттуда. По нему бьют. Стальные пчелы посвистывают у самой головы... Товарищи говорили: «пытает судьбу». Другие думали: для чего-то, втайне задуманного, испытывает нервы. И не сходит со своего опасного поста, пока солдаты не схватят его и не стащат вниз. В кавалерийских атаках — он был всегда впереди. Его дурманило боевое одушевление. Он писал с фронта в Петербург: «Я знаю смерть не здесь — не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете, не красной точкою неконченой строки — не подвига восторженным аккордом». Эти полустихи полупроза — были пророческими...

Я тогда еще не был знаком с ним.

Любил его чудесную книжку рапсодий «Конквистадоры».

Ее нет в продаже. Она разошлась удивительно быстро, и почему-то он ее не переиздавал. Маленькие поэмы ее были похожи на стройные каравеллы испанских завоевателей, под горячим солнцем скользившие по неведомым океанам к чудесным, сказочным берегам. Строки их звучали, как звон мечей о стальную броню... Как-то говорю о них К. И. Чуковскому.

— Хотите познакомиться с автором?

— Еще бы.

Я еще заранее мечтал о встрече с ним, как перед тем о Максимилиане Волошине и потом о В. Ходасевиче.

Дня через два ко мне на Николаевскую пришел Чуковский.

— Я к вам не один...

День был тусклый, серый... И в этом тусклом, сером выступало позади что-то неопределенное. Ни одной черты, которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на бледном, плоском лице. Тонкая фигура... Солнечный поэт, и ничего в нем от солнца и красочного востока. Он странствовал по его востоку — я по северу и западу,

спускаясь до южных границ Марокко и потом до таинственных Тимбукту и Диенне... Диенне, в котором до сих пор в нравах и в постройках нет-нет да и скажется древний Египет, через весь этот громадный континент забросивший сюда своих посельников. В России росла страшная явь большевизма. Было жутко, нудно, холодно и голодно. Хотелось отойти от нее, отогреться на впечатлениях знойного далекого, недосягаемого юга. Забыться в свободных просторах спаленных небом пустынь... И мы потом целые дни говорили о чужой, сказочной жизни... Хотели даже начать ряд лекций об Африке. Думаю, в советском раю они не имели бы успеха. Слишком львиные приволья и черные племена были в Петербурге не к месту и не ко времени. Я был несколько раз у Гумилева, кажется, на Ивановской. Николай Степанович жил в изящной, полной прекрасных картин, уступленной ему С. К. Маковским, квартире. Потом он переехал, но в этой все кругом говорило о настоящем поэте. Было изящно. Много хороших картин и не нашего холодного севера, а опять-таки прекрасного яркого юга. Я никогда не понимал, как можно в мутном и тусклом Петербурге, где долгая зима все кутает кругом в свой снеговой саван, такие же саваны развешивать по стенам.

— Вам хорошо работается здесь?

— Да... но не так, как в Париже.

Он со страстною тоскою вспоминал о нем.

Он именно там выковывал свой чудесный талант. Солнечные утра, когда он сидел под тенью цветущих деревьев одинокий, задумчивый, так много дали ему. В мировом центре города-света *(ville-lumière)* ленивая мысль и анемичное творчество невольно, точно наливаются здоровою горячею кровью. Все вас зовет к труду. В самом воздухе какой-то особенный озон, что ли, дыша которым вы тянетесь к неоглядным просторам искусства. На этой вечной живой этнографической выставке вы роднитесь с ширями и далями всей земли, делаетесь ее гражданином и еще глубже и умиленнее поэтому любите запавшее в холодные туманы отечество.

В Гумилеве жил редкий у нас дар восторга и пафоса.

Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки. Часто музыка его стихов дополняла недосказанное их образами.

И этого поэта, поэта-рыцаря, уходившего душою в фатаморгану тропиков, прислушивавшегося из своего далека задумчиво и чутко к таинственным зовам муэдзинов и шороху караванов в золотых песках загадочных пустынь, безграмотные, глупые и подлые люди убили, как бродячую собаку, где-то за городом, так что и могилу его нельзя найти. Братскую могилу, куда с ним легли такие же неповинные, как и он, профессора, художники с едва-едва вышедшими из детства девочками.

Хороши и пролетарские поэты.

Они могли бы спасти своего учителя.

Ведь Гумилев в их студии преподавал им — полуграмотным, но жадно рвавшимся к искусству и знанию, законы поэзии, ее историю, приобщая их к ее красоте и мощи. Поливал эту молодую, пока бесцветную, поросль живоносными водами нашей великой литературы, связывая своих учеников, родня их с бессмертными творцами чудесного русского языка. Они его жадно слушали, любили. Но когда понадобилось собраться всей аудиторией и пойти к комиссару Чека, человеку их партии, бывавшему в их клубах, считавшемуся с их симпатиями, они трусливо, малодушно и подло отреклись от Н. С. Гумилева.

— Знаете, мы справлялись по телефону, но нам оттуда посоветовали не мешаться в это дело...

Серьезно пытались спасти поэта дома Литераторов и Искусств. Об этом писали и Амфитеатров и Волковысский, участвовавший в депутации к начальнику Чрезвычайки.

Наших представителей комиссар Чрезвычайки встретил недоуменно:

— Что это за Гумилевский. И, зачем он вам понадобился? И вообще, к чему нам поэты, когда у нас свои есть...

Разумеется, следователи на Гороховой были грамотнее этого эскимоса. Один из них оказался даже правоведом. Ни в чем не уличенный Гумилев, как мне рассказывали, держался с никогда не изменявшим ему спокойствием и мужеством. Как и в окопах под адским огнем германской атаки. Встречал опасность, не опуская глаз и презрительно глядя на эту стаю палачей. Может быть, он считал ниже своего рыцарского достоинства скрывать убеждения, не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух, чтобы прийти в себя.

Как Гумилев провел канун обычной в советском раю казни?

Я рисую себе застенок вшивой тюрьмы, где вместе с ним метались измученные пытками смертники. Думаю, что он оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты о счастливых солнечных далях. О раннем утре перед кошмаром этого соромского убийства, о тех истязаниях и муках, которым подвергали обреченных агенты Чрезвычайки, передают нечто невероятное... Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург. Все равно нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их расскажут другие...

Гумилев любил цитировать две строки из Альфреда де Виньи. Он поставил их эпиграфом к своим «Жемчугам»:

Qu'ils seront doux les pieds de celui qui viendra
Pour m'annoncer la mort...[1]

---

[1] Сколь благословенны будут ноги того, // Кто придет возвестить мне о моей смерти (*фр.*). А. де Виньи. Гнев Салкона.

Ужасная русская действительность подарила своего поэта варварскою и подлою вестницею смерти во вшивом и смрадном каземате.

В последнее свидание в Доме Литераторов Гумилев говорил мне о своих поэтических замыслах. Жалко, что здесь я не могу остановиться на них. Нет места. И без того мой очерк слишком разросся. В них воскресал арийский восток. «Дитя Аллаха» было только вступлением в этот сказочный мир.

Мне и до сих пор слышится его напевный голос:

И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синбад,
Вступая с демонами в ссору...
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору...[1]

Вскоре после мученической смерти Рыцаря на Час одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре.

Мне рассказывали:

В первом ряду сидел комиссар Чека и двое следователей.

Усердно аплодировали и... вызывали автора!

Убитого ими.

С того света! Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелившееся тело... Какая трагическая гримаса нашей невероятной яви! Что перед нею средневековый danse macabre?[2]

---

[1] Стихи написаны в прошедшем времени. Гумилев читал их в настоящем. — *Примеч. автора.*

[2] Танец (пляска) смерти (*фр.*).

КАК ЖИВУТ И РАБОТАЮТ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

Письмо из Москвы

Вы спрашиваете, как и над чем я работал и как я живу.

Это, действительно, займет будущего бытописателя нашей литературы. Никогда не забуду зиму 1919—1920 г. Было тяжело: голодно, холодно, жутки. Чернила, случалось, замерзали, приходилось работать карандашом. Назябнешься, продрогнешь в хвостах, а дома от 4—5 градусов выше 0. Не отогреться и все-таки тянет к столу, к привычному и любимому делу. Пишешь в шубе, в теплых (не принимайте буквально!) перчатках, обернув ноги в плед, заменяющий ночью одеяло. Дрова еще удавалось хоть изредка доставать, но печи несколько лет не чищены, некоторые развалились, мастеров не оказывалось. Дым густился в кабинете, оставляя на всем густой слой сажи. Водопроводы лопались от мороза. Я заболел воспалением легких.

Тем не менее — голова не вымерзла, мозг работал.

За эти три года написано много.

Русская зарубежная периодическая пресса на весь мир объявила: русский писатель умер. И потом опять, как мне рассказывали: умер не умер, но точно его никогда не было (в насмешливом тоне!). Если мы умерли, — то над могилами товарищей по перу такой смех не совсем приличен. Если остальные, уцелевшие, не появляются в печати, то потому, что такой почти нет. Осталась партийная, отгородившаяся или кружковая, с тремя, четырьмя именами, под разными соусами и псевдонимами.

Но русский писатель жив, жив при всяких условиях, и его творческая работа продолжалась, как в П-ге, так и в Москве. В Москве она даже приняла давно уже небывалую форму возврата к средневековью до Гуттенберга. Авторы сами собственноручно (блаженны четкие, ибо они сладостями гонорара насытятся!) переписывают свои произведения, украшают их, как

умеют, пестрыми виньетками и рисунками и в таком виде выпускают свои «уники» в продажу. В артельной лавке писателей в Леонтьевском переулке, превосходно обслуживаемой коммунально самими литераторами, я видел такие, часто весьма остроумные и интересные всегда. Но, разумеется, крупные произведения хранятся под спудом. Добрая половина их никогда не увидит света, ибо всякому овощу свое время, особенно в наш электрический век. Когда печать наладится, время выдвинет свои повелительные требования и то, что пишется теперь, устареет. Таким образом, русский писатель и сейчас не складывает оружия и не бежит со своего поста. «Вестник Литературы» часто делает экскурсии в эту terra incognita и делится сведениями с читателем. Кстати, о читателе. Он весь теперь в вечных поисках за нужною ему книгой. Номера старых журналов, тетрадки разрозненных еженедельников — своего рода серебряные рудники. «Аргус», «Мир приключений», «Пробуждение» и проч. продаются — каждый старый истрепанный номер, без связи с предыдущим и последующим по 500 — 1000 р. и дороже. На углу Арбатской площади и Поварской в Москве раскупались листки старых газет с фельетонами Горького, Амфитеатрова, Дорошевича и др., и каждый листок шел по 40 — 50 р. На Моховой у решетки бывшего Княжего Двора — рваные учебники (безначальные и бесконечные), лохмотья спекулятивной рухляди полуграмотных издателей Никольской ул. — все это сбывается по аховым ценам. Жажда книги неодолимая. Олень на источники водные не так бросается, как обескнижневший русский читатель на каждую страничку.

А настоящий писатель стал поневоле молчальником и копит у себя в портфеле свои работы...

Я, напр., отогревался в это время, когда мне становилось особенно трудно, на воспоминаниях о далеком теплом юге. Многое из написанного в это время поставлено в рамки яркой и пышной природы. Авторская наблюдательность беспрестанно снимает помимо желания негативы с окружающей действительности, но они складываются далеко в уголках души до поры, до времени. От суровой яви — входишь в чистое художество. Чем мрачнее кругом, тем ярче пестрядь укладывающихся в строки старых впечатлений, встреч, переживаний. Уравновешивается неизбежное настоящее с навсегда ушедшим прошлым. И как это ни странно, но чуждая грезе и мечте обыденщина вызывает неудержимую потребность отдаться им на бумаге. Думаю, это и помогло многим легко пережить голодовку страшных месяцев, так трагически отозвавшихся на других моих товарищах. Только энергия и работа мысли спасают писателя. Но не подумайте, чтобы я оставался равнодушен к нашей яви. Я отходил от нее временами, как солдат в зимнюю ночь на позициях к костру согреться. Она выдвигает такие грандиозные

события и картины, перед вами носятся такие стихийные в полмира фантомы, что для оценки их и воплощения в точные образы и типы нужно время и даль. Это придет своим чередом, если удастся пережить еще зиму.

Я прошел громадную жизнь. Сознательно я начал ее в эпоху, когда рухнуло крепостное право, и кончаю, когда весь мир в небывалой грозе, в страшных катаклизмах перестраивается заново. Живой свидетель этого, я был бы счастлив, если бы судьба дала мне возможность в моих последних работах создать нечто достойное этой эпохи трагического крушения отгнившей стари и новой борьбы титанов. Я не только задумал, но и набросал несколько глав романа-трилогии, с одними и теми же действующими лицами. Собственно, это три романа: первый — Россия до войны, второй — Россия во время войны и третий — наше отечество теперь уже за порогом беспримерной не только политической, но и социальной революции. Я довел эту трилогию до 1914 года, т. е. до конца первого тома.

Что я написал за эти годы еще?

Никогда во всю жизнь я не работал для театра. В последние месяцы меня потянуло к нему. Я окончил драматические сцены в одном акте: «Тот, чья жизнь бесполезно разбилась», в двух актах две пьесы: «Джордано Бруно» и «Народный вождь». Думаю — на этом свои попытки и покончить. В старости поздно учиться ходить по канату.

Полюбилась идея рассказать несколько поэтических легенд — одни и те же — каждую в три эпохи с их характерным освещением, согласно менявшемуся воззрению народа. Так, напр., я взял «Правдивое сказание о том, как сестра Изабель — монахиня из обители св. Терезы — была Мадонною возвращена миру». Оно мною изложено стилистически в трех вариантах: в духе слепо веровавшего наивного XV века, скептического и насмешливого XVIII и атеистического XX. Думаю также обработать и другие.

Из более крупных вещей за это время написаны: «На безвестном острове», «Мисс Эльсбет, Лючия Кафарелили и Povero Giacomo», «Сказание о добродетельном дураке», «Боюсь одна!», «В садах Вальдемосы», «Ледяной гроб», «Веселые оболтусы». — «За океаном». Божественный Аретино — Вечерние призраки. — Солнечный Рай. — «Пока что». — Прощальный свет. — Ряд воспоминаний и др.

Приготовлены к печати «Облетевшие листья»: это несколько томов небольших (часто в одну, две до пяти страничек), лирики в прозе, красочных очерков, афоризмов, параллелей, сцен, миражей, сравнений, мыслей, много лет тому назад записывавшихся и продолжающихся накопляться и до сих пор... Впечатления через призму писательской души.

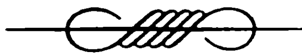
Вы меня спрашиваете, сколько лет я в работе?

Без ложной скромности могу сказать «неустанной». Может быть, она была неудачна, не на той высоте, как этого хотелось бы мне и читателю (желания обоих часто сходятся). Но никогда я не был рабом ленивым, зарывавшим свой талант (по-евангельски, но не по самомнению) в землю. Я задался целью написать ряд очерков «Народные трибуны, вожди и мученики». Комиссариат Просвещения дал мне для выполнения этого труда командировку (спешу прибавить — без всяких авансов!) за границу. Комиссариат Иностр. дел постановил выдать мне с этой целью паспорт. Я южанин и, как таковой, нуждаюсь в тепле и свете. Работа, заданная мне наркомпросом — была бы первым для меня отдыхом, — и он мне очень-очень нужен... Впервые чувствую себя действительно утомленным. Но все окончилось полной неудачей. Она совпала с шестидесятилетием моей литературной работы — повторяю, безотходной, неустанной... Это был мне первый юбилейный подарок, не примите за сожаление. Товарищи знают, что я всегда по отношению к себе чурался писательских именин. В 25, 30, 40, 50-летия моей писательской работы, когда в Москве Лавров и Гольцев, в П-ге неистовый Фидлер подготовляли таковые — я брал заграничный паспорт и на время бежал с поля битвы.

СКОБЕЛЕВ

■

Личные воспоминания и впечатления



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Я уже говорил в прежних изданиях этой книги, что она — не биография Скобелева, а ряд воспоминаний и отрывков, написанных под живым впечатлением утраты в высшей степени замечательного человека. Между ними встречаются наброски, которые, может быть, найдут слишком мелкими. Мне казалось, что в таком сложном характере, как Скобелев, — всякая подробность должна быть на счету. Кое-где я привел взгляды покойного на разные вопросы нашей государственной жизни. С его убеждениями можно не соглашаться, но молчать о них нельзя. Разумеется, русскому писателю нельзя еще очертить убеждения Скобелева во всей их полноте. Он не был славянофилом в узком смысле — это несомненно. Он выходил из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. Ему было дорого народное и славянское дело. Сердце его лежало к родным племенам. Он чувствовал живую связь с ними, — но на этом и оканчивалось его сходство с нынешними славянофилами. Взгляды на государственное устройство, на права отдельных племен, на многие внутренние вопросы у него были совершенно иные. Если уж необходима кличка, то он скорее был народником. Письмо, полученное мною от его начальника штаба, генерала Духонина после смерти Скобелева, между прочим, сообщает: в одно из последних свиданий с ним Михаил Дмитриевич несколько раз повторял: «надо нам, славянофилам, сговориться, войти в соглашение с «Голосом»... «Голос» во многом прав. Отрицать этого нельзя. От взаимных раздражений и пререканий наших — один только вред России». То же самое не раз он повторял и мне, говоря, что в такую тяжелую пору, какую переживает теперь наше отечество[1], всем людям мысли

[1] Писано в 1883 г.

6 Зак 2495

и сердца нужно сплотиться, создать себе общий лозунг и сообща бороться с темными силами невежества. Славянофильство понимал покойный не как возвращение к старым идеалам допетровской Руси, а лишь как служение исключительно своему народу. Россия для русских, славянство для славян... Живи сам и давай жить другим. Вот что он повторял повсюду. Взять у запада все, что может дать запад, воспользоваться уроками его истории, его наукою — но затем вытеснить у себя всякое главенство чуждых элементов, развязаться с холопством перед «чиновничьей и вообще правящей» Европой, с несколько смешным благоговением перед ее дипломатами и деятелями. «Ученик не лакей, — повторял он. — Учиться, я понимаю — но зачем же ручку целовать при этом?.. Они не наши, во многих случаях они являлись нашими врагами. А враги — лучшие профессора. Петр заимствовал у шведов их военную науку, но он не пошел к ним в вассальную зависимость. Я терпеть не могу немцев, но и у них я научился многому. А заимствуя у них сведения, все-таки благоговеть перед ними не стану и на буксире у них не пойду. Разумеется, я не говорю о презрении к иностранцам. Это было бы глупо. Презирать врага — самая опасная тактика. Но считаться с ними необходимо. Между чужими есть и друзья нам, но не следует сентиментальничать по поводу этой дружбы. Она до тех пор, пока у нас с ними враги общие. Изменись положение дел, и дружбы не будет. Повторяю: учиться и заимствовать у них все, что можно, но у себя дома устраиваться, как нам лучше и удобнее». Никто, более Скобелева, не удивлялся взаимной нетерпимости разных литературных направлений у нас. Он никак не мог освоиться с той мыслью, что при отсутствии политической жизни и свободы печати — борьба идей переходит в отдельную борьбу личностей. Ему казалось возможным сплотиться всем, составить общую программу, направить общие усилия к одной цели. С несколько комическою даже серьезностью он советовал: да вы сначала вкупе и влюбе поработайте, чтобы — отстоять свое существование, завоевать себе право на правду, а потом уже делитесь на партии, на кружки... Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий с громадною и сильною Россиею в центре. Все они у себя внутри делай, что и живи, как хочешь, но — войско, таможня, монета должны быть общими. Все за одного, и один за всех. Я еще раз должен выразить глубокое сожаление, что об идеях и планах этого государственного человека гораздо правильнее пишут и говорят за границей, чем у нас. Жалкое положение отечественного писателя в этом отношении вне всяких сравнений, и поэтому мы поневоле ограничиваемся сказанным.

Родился М. Д. 17 сентября 1843 года. На первоначальное его воспитание, на склад этого замечательного характера более всего влияла мать — умная и энергичная Ольга Николаевна,

урожденная Полтавцева. Покойный относился к ней с искреннею любовью. «Она одна меня понимает, она одна меня ценит, — не раз повторял он. — Ах, если бы она могла со мной быть постоянно»... Скобелев настолько чувствовал нужду в человеке, с которым мог быть вполне откровенным, что после смерти матери он не раз просил свою тетку Полтавцеву «Переезжай ко мне в Минск, ты меня избавишь от многого»... Насколько он был потрясен трагическою кончиною Ольги Николаевны, видно из рассказов близких к нему людей. Она оставила в его душе — все время не заживавшую рану. После этого на него стали находить припадки мрачности, глубокой, ни с чем несравнимой тоски и отчаяния. Он болезненно чувствовал одиночество. Он не раз жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека. Вот отрывок из письма его сослуживца, который правдиво рисует душевное настроение почившего героя.

«Мих. Дмитр. был в эту минуту весьма расстроен. Я старался изменить разговор и отвлечь его мысли в другую сторону. С этою целью я придвинул к себе портфель с докладом, но Скобелев, заметив это, объявил мне, что он сегодня не расположен заниматься делами. Затем он встал, взял меня под руку и стал прохаживаться по кабинету.

— Вы находите, что я очень взволнован сегодня?

— Да, и вам надо успокоиться!

— Это невозможно!..

— Почему?

— А потому! Все на свете — ложь, и счастье только в одной доброй семье. Там люди спокойны, откровенны. Я вам *очень* и *очень* завидую. Вы вернетесь домой, вас встретит семья, и вы забудетесь от волнующих вас мыслей, мало того, испытаете много радости, видя возле себя жену, не оставлявшую вас даже на Шипке, а я?.. Вы уйдете, я опять останусь один со своими мыслями... с терзающими меня сомнениями, со всею окружающею меня парадною обстановкою... Начнешь думать, думать и опять ни до чего другого не додумаешься, как до того, что все на свете — ложь и ложь!..

Болезненная струна, часто звучавшая в последнее время в душе Скобелева. И в то же время он говорил: тот, кто хочет свершить великое, должен быть один. Женская любовь — это ножницы, обрезывающие крылья орлу.

— Со смертью матери у меня оторвалось многое от сердца... И зажить оно не может. Все кровью сочится. К кому я пойду теперь, когда душа заболит?.. Вечно один и один... Сослуживцы?.. Я их глубоко люблю, знаю, и они меня любят, но это все не то. Тут я был сыном, другом... Один я знаю, — насколько я обязан ей, ее советам, ее влиянию. Она одна меня понимала. Ах, если бы она могла жить со мною постоянно...»

Отец далеко не мог на него действовать таким образом. Отец был слишком суров, ограничен, формален. В старое время — отцы, действительно, являлись довольно строгим начальством для своих детей. Тогда даже ласка считалась вредно влияющею слабостью. С ним не мог ребенок чувствовать себя так, как с матерью, — это прошло и на всю остальную жизнь. С матерью он был весь нараспашку. Она знала его — со всеми его мечтами, планами, с тою интимною стороною жизни, которая бежала от парадной обстановки, от сослуживцев, от друзей.

Самым неприятным воспоминанием его детства — был подлый и жестокий гувернер-немец, не щадивший самолюбия впечатлительного мальчика. Независимый с самого раннего возраста, вспыльчивый, чрезвычайно подвижный — ребенок сразу подвергся всем прелестям германской муштры, еще усиливаемой презрением к русскому происхождению мальчика. Скобелева «били прутом за всякий дурно выученный урок, за малейшие пустяки. Между гувернером и учеником установилась глухая вражда. Гувернер ухаживал за кем-то и, отправляясь к ней, надевал фрак, цилиндр и новые перчатки. Скобелев мазал ручку у дверей ваксой». Скобелев до такой степени ненавидел учителя, что, стиснув зубы, молчал под ударами, не желая криками и стонами доставить ему удовольствие. Зато в одиночку потом он плакал целые ночи, воспитывая таким образом в себе с раннего детства ненависть к немцам, с одним из неприятнейших экземпляров которых он познакомился столь близко и столь основательно. 12-ти лет Скобелев был детски влюблен в девочку такого же возраста и катался с нею верхом. «Раз в ее присутствии гувернер-немец ударил его по лицу. Скобелев, взбешенный до последней степени, плюнул в него и ответил за удар пощечиной». Тут-то отец, наконец, понял, что такая система воспитания никуда не годится и ни к чему хорошему не ведет. Он отдал сына совсем в другие руки — Дезидерио Жирарде, державшему пансион в Париже. Грубый, тупой и подлый немец был заменен человеком совершенно противоположным. Мягкий, гуманный Жирарде — и в ребенке умел уважать человека. Обладая громадным образованием, Жирарде — долго и после того оставался для Скобелева идеалом благородства и честности. Круто изменившаяся воспитательная система принесла разом блестящие плоды. Жирарде, по счастливому выражению г. Маслова, стал развивать в Скобелеве религию долга. Привязавшись к Мих. Дм., он приехал с ним в Россию и более не разлучался. Впоследствии он приезжал к нему даже на войну, деля с ним ее боевые тревоги. После матери — это была самая искренняя привязанность покойного. Когда я встретился со стариком на похоронах Скобелева, я так и припомнил рассказы о нем. Предо мною был тип нежного, благородного и честного французского ученого, и тогда же мне пришло в голову, к каким последствиям,

даже совершенно безотчетно, могло привести Скобелева незаметное шаг за шагом сопоставление Жирарде с его первым гувернером-немцем.

Семья Скобелева хотела, чтобы он закончил образование в России.

Он поступил в Петербургский университет, но во время беспорядков в 1861 году — должен был поневоле оставить его. Он слушал лекции по математическому факультету, хотя его тянуло совсем в другую сторону, и у себя дома, вместо университетских лекций, Скобелев просиживал над военными науками. Выйдя из университета, он поступил юнкером в кавалергарды и через два года, произведенный в корнеты, перевелся в гродненские гусары, чтобы принять участие в военных действиях в Царстве Польском. Под Меховым и в других делах он сразу выказал замечательную личную храбрость и военные способности вместе с великодушием к побежденным. По окончании восстания он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, где по виду занимался как будто бы очень мало, а в действительности, разумеется, гораздо глубже других входил в дело. Тем не менее его считали не особенно «старательным», и только совершенно особый случай доставил ему возможность зачислиться в генеральный штаб. На практических испытаниях в северо-западном крае Скобелеву задано было отыскать наиболее удобный пункт для переправы через р. Неман. Для этого нужно было произвести рекогносцировки всего течения реки. Вместо того Скобелев прожил все время на одном и том же пункте. Явилась поверочная комиссия с генер.-лейт. Леером. Скобелев на вопрос о переправе вместо всяких разглагольствований, долго не думая, вскочил на коня и, подбодрив его нагайкой, прямо с места бросился в Неман и благополучно переплыл его в оба конца. Это привело Леера в такой восторг, что он тотчас же настоял зачислить решительного и энергичного офицера в генеральный штаб. Такие системы переправ и потом практиковались уже генералом Скобелевым. Перед переходом Дуная — он в 1877 году сделал то же. Сбросив с себя платье, велел расседлать и размундштучить коня и в одном белье верхом переплыл в оба конца громадную реку. На маневрах, незадолго до смерти, он от кавалерийских полков требовал того же.

— Пусть у меня в корпусе подготовка кавалерии будет поставлена так, чтобы переправа вплавь не затрудняла ни больших, ни малых отрядов. Не знать препятствий на войне, уметь искусно преодолевать их — великие данные для победы, и я хочу вооружить вас подобным знанием! — обратился он к своим.

Вслед за тем он приказал на следующий день Екатеринославским драгунам приготовиться к переправе всем полком. Появилось несколько удивленных физиономий.

— Как это вплавь, да еще всем полком?

— Я сам буду руководить переправой и за все последствия принимаю ответственность на себя! — ответил на это Скобелев.

На другой день, созвав всех офицеров и унтер-офицеров полка, он рассказал им, в чем дело, и затем прибавил:

— Впрочем, к разговору лучше прибавить и *показ*. Дайте мне лошадь, только не степную, привычную, а воспитанную в конюшне!

Ему подали кровного английского скакуна. Он велел его расседлать, а затем разделся сам и в одном белье верхом на коне погрузился в глубь реки. Лошадь стала тонуть, нырнул и Скобелев, но, не потеряв духа, поводом направил лошадь на противоположный берег. Эта борьба на самом глубоком месте реки продолжалась минуты две, затем конь покорился Скобелеву и выплыл благополучно на намеченное место.

— В другой раз конь будет смелее и послушнее!

И Скобелев тотчас же повторил переправу. Конь поплыл спокойно и уже без сопротивления.

Перед последним его выездом из Минска Скобелев отдал все приказания для подготовки на предстоящие маневры к концу августа в Могилеве опыта переправы через Днепр целого отряда по военному составу из войск всех трех родов оружия.

Таким образом, еще юношею Скобелев уже показывал то, чем он был впоследствии.

В 1864 году он посетил театр войны в Датскую кампанию, а через четыре года был назначен в Туркестан, где в 1869 году уже принимал участие в действиях генерала Абрамова на Бухарской границе. В 1870 году М. Д. был назначен на Кавказ, а в 1871 году уже состоял при полковнике Столетове в Закаспийском крае, где произвел скрытую рекогносцировку к Сарамышу. Это не входило в виды Кавказского начальства, вообще и впоследствии не особенно расположенного к молодому талантливому офицеру. Результатом было возвращение Скобелева в Петербург.

Об этом периоде его жизни рассказываются всевозможные басни.

Разумеется, как кипучая, крупная натура, Скобелев не мог оставаться в благоразумных пределах будничной, мещанской морали; молодость брала свое, а бездействие, часто вынужденное, толкало в бешеную жизнь местной золотой молодежи, убивавшей избыток сил на кутежи, на выходки, иногда доходившие до невозможного. Тем не менее большинство эпизодов, передающихся участниками этих оргий, — разумеется, вымышлено, как вымышлены не столько подлые, сколько просто глупые рассказы о том, как Скобелев, этот богатырь былинный, являлся в то время будто бы изнеженным и трусливым барчонком. Все, что хотите, только не это. Разумеется, питерским хлыщам, являв-

шимся в Туркестан, глаза мозолил некогда их бывший товарищ, делавший такую быструю карьеру и ослеплявший даже привычных к опасностям людей львиною храбростью, отвагою легендарного витязя. Поэт войны и меча уже и тогда складывался в сильные, резко намечавшиеся формы. Часто ему приходилось испытывать мужество подчиненных ему людей, и нам помнится, с каким комическим негодованием передавал один из баловней Петербургского режима эпизод, в котором и ему самому случилось участвовать. Дело в том, что раз в экспедиции Скобелеву на пути встретился, заключенный в глиняные стены и оставленный разбежавшимися сартами, город. Скобелев, желая, вероятно, испытать, насколько он может положиться на храбрость только что прибывшего к нему петербуржца, — поручает ему осмотреть этот город.

— Вы мне дадите конвой?

— Нет, поезжайте в одиночку!

— Но там могут... — колебался тот.

— Вы, значит, трусите?

Приезжий, желавший показать себя не со стороны одной яркости перьев, но и как храброго молодчинищу, дал шпоры коню. Город он проскакал и, воротясь, доложил, что жителей нет.

— Я это, душенька, знал и без вас! — засмеялся Скобелев.

— Вот этого смеха я ему и до сих пор простить не могу. Помилуйте, за что он заставил меня испытать ужас одиночества в городе, предполагавшемся населенным врагами?..

В пояснение к этому нужно прибавить, что Скобелев, разумеется, не задумался бы сделать то же самое с тем различием, что его не остановило бы, если бы город не был оставлен, а жители его оказались на местах. В Алайском походе он делал и почище вещи — и не кричал о них, не рассказывал. Это было своего рода искусство для искусства, жажда ощущений. Спокойный формализм Петербурга — ненадолго мог удержать Скобелева. Орел в курятнике зачах бы или вырвался бы оттуда. В Коканде открылись военные действия — он бросился в Среднюю Азию. «В 1873 году, командуя авангардом войск, действовавших против Хивы, М. Д. участвовал в делах под Итабаем, Ходжейли, Мангитом, Ильялами, Хош-Купыром, Джаныком, Авли и Хивою, а также и в иомудской экспедиции. В августе того же года он произвел скрытую и опасную экспедицию к Ортакую. Уже тогда его встретил на боевом поле Мак-Гахан и посвятил ему не одну из самых задушевных и блестящих страниц своего описания Хивинского похода. Через год после того мы уже видели Скобелева в южной Франции. Поехал он в Париж, но, наскучив бездействием и заинтересовавшись партизанскими действиями карлистов, пробрался к Дон-Карлосу, оборонительные действия которого считал более до-

стойными изучения, чем действия регулярной испанской армии. Тут он был свидетелем битв при Эстелье и Пепо-ди-Мурра». В данном случае Скобелев вовсе не являлся традиционным бонапартистом, для которого все равно, где бы ни драться, лишь бы драться. Он, как военный специалист, смотрел на это дело и брал свое, где его находил, вглядывался во все, что ему казалось полезным и заслуживающим более пристального наблюдения. Оттуда в Париж он вернулся с парою попугаев, целою массою оружия и громадным количеством заметок и записок о партизанской горной войне, об обороне местностей не регулярной, а только что набранной из крестьян армией. «Мне надо было видеть и знать, что такое народная война, и как ею руководить при случае». Враги Скобелева в данном случае обратили внимание на попугаев и упустили его наблюдения и заметки. Что же — всякому дорого свое!

Вслед за тем Скобелев, сначала в должности начальника кавалерии, а затем как военный губернатор Ферганы и начальник всех войск, действовавших в бывшем Кокандском ханстве, принимал участие и руководил битвами при Кара-Чукуле, Махраме, Минч-Тюбе, Андиджане, Тюра-Кургане, Намангане, Таш-Бала, Балыкчи, Чиджи-Бай, Гур-Тюбе, Андиджане — второй раз, Ассаке, Коканде, Янге-Арыке. Он же организовал и без особенных потерь совершил изумительную экспедицию, известную под именем Алайской[1]. Тут ему приходилось совершать горные переходы через перевалы Сары-Магук на высоте 18 000 фут и Арчат-Даване на 11 000 футах. В последнюю Турецкую войну, при переходе Балкан, он воспользовался опытностью для подобных походов и сумел не потерять ни одного солдата от мороза и метели там, где у других вымерзали целые полки и дивизии.

Скобелев в это время был известен только в Туркестане.

Наезжавшие оттуда люди «белой кости», разочаровавшиеся в своих упованиях на георгиевский крест и столь же быструю карьеру, бранили Скобелева, как только могли. Явилась оскорбительная, разумеется, по их мнению, кличка «победитель халатников».

— Помилуйте, да разве может выйти что-нибудь из него? — сообщал мне один из таких.

— Почему же?

— Да ведь он со мной вместе в одном полку служил!

— За что же вы полк свой оскорбляете?

— Как так?

---

[1] Между прочим на совести туркестанских офицеров лежит то, что до сих пор мало известно подробностей об этом замечательном походе. Давно бы пора появиться воспоминаниям о нем. Писано в 1883 г., и с тех пор по этому предмету — ничего не появилось.

— Да разве из вашего полка ничего хорошего выйти не может?

— Нет, не то... Но я вместе с ним кутил... Помилуйте, в Тифлисе — мы петуха в пьяном виде подвергли смертной казни, с соблюдением всех предписанных на этот случай обрядов. И вдруг — герой, полководец, гений...

Я, разумеется, только расхохотался над этой наивностью.

Из моей книги видно, как здесь приняли победителя халатников.

Гении Красного села и звезды Питерских зал столкнулись с настоящею боевою силою. Результатами этого были случаи, от которых М. Дм. в первом периоде войны рыдал, как ребенок.

Здесь, в этом кратком, даже слишком кратком наброске о его прошлом, мы не приводим рассказов о его деятельности в Турецкую войну — этому посвящена большая часть моей книги. По окончании войны — Скобелеву не долго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжкая неудача постигла наш отряд, «руководимый неопытными начальниками». Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января 1881 года — в то время, как благоприятели злорадствовали по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геок-Тепе — вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей-разбойников...

Удивительная жизнь, удивительная быстрота ее событий: Коканд, Хива, Алай, Шипка, Ловча, Плевна 18 июля, Плевна 30 августа, Зеленые горы, переход Балкан, сказочный по своей быстроте поход на Адрианополь, Геок-Тепе и неожиданная, загадочная смерть — следуют одно за другим, без передышки, без отдыха.

Смерть неожиданная... Неожиданная для других, но никак не для него... Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствия близкой кончины друзьям и интимным знакомым. Весною прошлого года, прощаясь с д-ром Щербаком, он опять повторил то же самое.

— Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..

Приехав к себе в Спасское, он заказал панихиду по генералу Кауфману.

В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону, к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы и где лежит он теперь, непонятный в самой смерти.

Священник, о. Андрей, подошел к нему и взял его за руку.

— Пойдемте, пойдемте... Рано еще думать об этом...

Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться.

— Рано?.. Да, конечно, рано... Повоюем, а потом и умирать будем...

Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий.

— Прощайте!..

— До свидания...

— Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбою. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну, так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом... Бог пощадил в бою... А люди... Что же, может быть, в этом искупление. Почем знать, может быть, мы ошибаемся во всем, и за наши ошибки расплачивались другие?..

И часто, и многим повторял он, что смерть уже сторожит его, что судьба готовит ему неожиданный удар.

И это не было мимолетное, скоропреходящее чувство, легкое расстройство нервов. Напротив.

Скобелев, как каждый русский человек, был не чужд тому внутреннему разладу, который замечается в наших лучших людях. Его постоянно терзали сомнения. Анализ не давал ему того спокойствия, с каким полководцы других стран и народов посылают на смерть десятки тысяч людей, не испытывая при этом ни малейших укоров совести, полководцы, для которых убитые и раненые представляются только более или менее неприятною подробностью блестящей реляции. Тут не было этой олимпийской цельности, Скобелев оказывался прежде всего человеком, и это-то в нем особенно симпатично. Очень уж не привлекателен даже гениальный генерал, для которого ухлопать дивизию — то же, что закусить. Это не ложная и пагубная сентиментальность начальников, чуть не плачущих перед фронтом во время боя. В такие минуты Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни, тяжелые ночи. Совесть его не успокаивалась на сознании необходимости жертв. Напротив, она говорила громко и грозно. В триумфаторе просыпался мученик. Восторг победы не мог убить в его чуткой душе тяжелых сомнений. В бессонные ночи, в минуты одиночества полководец отходил назад, и выступал на первый план *человек*, с массою нерешенных вопросов, с раскаянием, с мучительным сознанием того, какой дорогой, страшной цены требует неумолимый заимодавец судьба за каждый успех, в кредит отпущенный ею. Тысячи призраков сходились отовсюду с немым укором на бескровных устах — и недавний победитель мучился и казнился, как преступник, от всей этой массы им самим пролитой крови. Как кому, не знаю, а для меня такой живо и

глубоко чувствующий человек гораздо выше каменных истуканов, для которых бой — математическая формула с цифрами вместо людей! В высшей степени интересно в этом отношении доставленное мне письмо[1] об одном из последних дней жизни М. Д.

Приведу из него некоторые отрывки.

«21 июня я имел последний служебный доклад у генерал-адъютанта Скобелева. Я его застал очень расстроенны.' желтым.

— Не чувствуете ли вы себя больным? — спросил я.

— Да... Нужно заняться своим здоровьем... Дня через четыре я буду у себя в Спасском и начну правильное лечение!.

— Что у вас?

— Катар и притом самое тяжелое, угнетающее состояние духа!

— Это всегда так бывает при подобных болезнях. Только такой сильный человек, как вы, должен бы совладать с собою!

— Я постараюсь...

Засим он начал разговор по поводу виденной им у меня картины, изображающей смерть майора Калитина со знаменем болгарской дружины в руке[2].

Нравится вам она?..

— Вот завидная смерть... Я бы хотел покончить свою жизнь такою именно смертью — во главе моего четвертого корпуса!

— Ну, М. Д., в бою, даст Бог, четвертый корпус не дрогнет, а потому и смерти, подобной смерти Калитина, не понадобится!

— Да, вы правы. Разумеется, четвертый корпус не дрогнет... Но я все же хочу славной смерти или...

— Или что?..

— Умирать пора... Один человек не может сделать более того, что ему под силу... Я свое дело выполнил, и далее мне не идти вперед, а назад Скобелевы не пятились. Теперь мудреное время, и мне остается разве только «размениваться». Раз я вперед идти не могу — чего же жить?

Видимо, в этот день ему было особенно тяжело.

— Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь... Все это, и слава, и весь этот блеск — ложь... Разве в этом истинное счастье?.. Человечеству — разве это надо?.. А, ведь, чего, чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных!.. Кстати, вы человек верующий, религиозный... Объясните мне: будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях?

---

[1] Письмо Михаила Лаврентьевича Духонина.

[2] Майор Калитин убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения, с его знаменем в руках, в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана — горсть наших войск должна была отступить.

— По учению церкви — убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении воина она разрешает от этого греха!

— Вы это из катехизиса... Я знаю. Ах, это не то, совсем не то! Что скажет голос совести?.. За что же мы, наконец, живем и наслаждаемся славою, добытой кровью братий, сложивших свои головы?..

Как симпатична эта черта в покойном!

Видимо, не дешево для его чуткой совести и глубоко страдавшего сердца достались эти лавры.

Несколько успокоившись, он стал говорить о хозяйстве в своем Спасском, о своих дальнейших намерениях, об устроенной там школе и приглашал своего собеседника и сослуживца приехать погостить к нему с женою. В то же время он послал приглашение к г. Хитрово...

— Там я успокоюсь, воскресну, — повторял он мне. — Вы знаете — там я положительно чувствую себя другим человеком...

И по приезде в Москву покойный кипел жаждою деятельности... Сотни планов рождались у него в голове... Сотни планов, и больших, и малых; впрочем, для него не было малого дела, он также серьезно обдумывал устройство своих сельских школ, учреждение инвалидного дома, как серьезно стоял на страже народных интересов, как серьезно готовился к всевозможным случайностям будущего.

Но судьба готовила ему уже ту самую смерть, которую в тяжелые, редкие минуты хотел он сам.

За весь последний год, как и прежде — кругом кишмя кишели враги, росли зависть и злоба, и он болезненно чувствовал свое одиночество, жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека... Скорбная нотка звучала иногда и в самые лучшие и светлые минуты его жизни.

— Дела впереди еще много!.. — говорил он мне в Москве. — Наши силы нужны... Всем следует сплотиться и отстаивать свое... Враг со всех сторон идет; неужели вы не понимаете, что Россия теперь вся на Малаховом кургане?

— Как это?

— Да так; мы отбиваемся опять от коалиции... Отовсюду нахлынули недруги... Разве это не войну они ведут с нами?.. Да, еще понадобятся наши силы... Одно страшно, жутко...

— Что это?

— Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями, да под штыками мои солдаты... Знаете, разумеется, надо... Сознаю, что надо... Лес рубят, щепки летят... Да, ведь в каждой такой щепке целый мир... Ведь каждая такая единица, из которой мы складываем цифры убитых и раненых, носит в душе своей и радости, и страдания... Ведь сколько мук опять... Да, знаете... я люблю войну, она моя специальность. Но в то же время я

ненавижу ее... А внутри у нас! Что делается внутри — ведь это ужас! Мы еще отвоевываем независимость другим племенам, даруем им свободу — а сами! Разве вы и я — не рабы? Настоящие рабы — бесправные парии, бессильные, разобщенные, вечно подозреваемые...

— Они думают, — говорил он нам, — о том, что для меня нет ничего лучше, как вести за собою войска под огонь, на смерть... Они думают, что я это из эгоизма... Ради личной славы... Нет, если бы они увидели меня в бессонные ночи... Если бы могли заглянуть, что творится у меня в душе... Иной раз самому смерти хочется, жутко, страшно... Так больно за эти бесчисленные жертвы!..»

I

Громадная, молчаливая толпа перед гостиницей Дюссо. Обнаженные под палящим солнцем головы, заплаканные лица, растерянные взгляды... Со всех концов Москвы собралась и стоит она, храня благоговейную тишину. Только грохот дрожек по мостовой да крики полиции, усердно работающей, неведомо зачем, локтями и кулаками, нарушают безмолвие... С каждою минутою толпа эта растет и растет, набегают новые, наскоро крестятся и с упорною настойчивостью начинают вглядываться в два окна отеля, еще не занавешенные, как это распорядились сделать потом.

— Там?.. — отрывисто спрашивают вновь приходящие.

— Ужли ж помер?..

В окнах, о которых мы говорим, под горячими лучами дня, пронизывающими их, мелькает то заплаканное женское лицо, то эполеты каких-то наскоро съехавшихся сюда генералов, то расшитый золотом мундир камергера. Что они ему? Что было между ними общего, когда еще жил он?

— На площади бы панихиду!.. — слышится в толпе.

— Сказывают, еще и там не служили...

«Да неужели Скобелев умер?» И как-то невыносимо дика кажется эта мысль; видишь всю эту печальную обстановку смерти, этих растерянных людей, эти тысячи молящихся и все-таки думаешь, что тут ошибка, недоразумение... Вот-вот выйдет кто-нибудь и объявит, что белый генерал очнулся... Но, увы — не выходит никто... Народ видит в окна, как какой-то молоденький адъютант прислонился к стене и рыдает. Карета за каретой подъезжают к отелю, выходят оттуда сумрачные люди. Все точно ошеломлено горем. Как удар сверху — неожиданно. Еще не чувствуется боли — одно остолбенение на всех...

— Что же это, что это?.. — слышится кругом, но едва-едва, пересохшие от тоски уста только шепчут, точно боясь нарушить

загадочный покой этого мертвеца — любимца восьмидесятимиллионного народа, рокового человека, так рано отмеченного судьбою и так безвременно сбитого с ног бессмысленною, неведомо зачем и откуда налетевшею силой... Точно смыло его куда-то... Еще вчера был, работал, готовился к громадным делам, еще накануне сосредоточивал на себе тысячи надежд и упований... И вдруг!.. Было от чего потерять голову...

В подъезде гостиницы — встречаю знакомого... Слезы на глазах, такое же растерянное лицо...

— Послушайте, что это...

— А вот... вот... Вы больше, чем кто-нибудь, чувствуете эту потерю. Вы его знали лично... — видимо, удерживается, чтобы не разрыдаться, — в час панихида будет...

Слова срываются помимо его воли, мешаются... В отделении, занятом покойным Михаилом Дмитриевичем, уже толпа... Молча раздвигается она, пропуская вновь прибывающих, и также молча сдвигается... Говорят шепотом, плачут тоже про себя, точно сдерживая рыдания, словно боясь нарушить торжественный покой человека, бессильно лежащего теперь там, за тою запертою дверью... Вот любимый адъютант Скобелева, подполковник Баранок... В последний раз я видел его под Константинополем.

— При каких обстоятельствах... Опять увиделись... Скобелева нет уже... И не будет такого, как он...

— Здравствуйте! — подходит ко мне другой адъютант, Эрдели. — Умер наш генерал... — и тут же отвертывается в угол, бессильно, неслышно рыдая...

Какие-то люди снуют... Очевидно, все за делом пришли... Вон сотрудник московских газет растерянно бегает из угла в угол... Вон фотограф Панов сел у двери, да так и застыл... Вон какой-то армейский генерал расставил ноги посреди комнаты и закостенел...

— Ваше превосходительство!.. — подходит к нему кто-то...

— Громом пришибло-с... Громом-с... Вот после этого и верь-с... Правда-то где? Где правда?..

Тихо проходит мимо вся в слезах дама... Родственница покойного... Шепчется о чем-то с генерал-губернатором Долгоруким — тот, очевидно, тоже еще не чувствует боли этой потери, а пока лишь ошеломлен ею... То встанет и уставится на одну точку, то сядет и безнадежно разведет руками...

— Еще вчера веселый, сильный, здоровый... Смеялся, шутил над нами... Сегодня вбегают ко мне — пожалуйте, генерал умер!.. Обругал денщика, думаю, генерал шутит... Он часто так-то... Сам станет за дверь со стаканом воды. Вбежишь к нему в комнату, а он водой тебя... думал, и теперь... Осторожно вхожу... Лежит... Еще теплый, но совсем уже одеревеневший, а ведь и часу нет... О, Господи. Господи! — и Эрдели хватается за голову.

Двое врачей четвертого корпуса, Гелтовский и Бернатович, тоже здесь... Блестящий петербургский генерал с вензелями... Этот больше занят собственной своей особой. Я всматривался в лицо другого военного, рядом стоящего, и вспоминаю. Во время войны его называли первою шарманкою российской армии... Разлетается он к армейскому генералу, тот, видимо, еще не очнулся. Нос башмаком и красный, ноги колесом...

— Нужно признаться!.. Покойник был хороший генерал... Не дурной-с! — авторитетным тоном заявляет «первая шарманка».

Косолапый генерал пыжится... Пыхтит, краснеет.

— Если он был не дурной... Так мы-то с вами, ваше превосходительство, что после этого... в денщики к нему... Да и то, пожалуй, не годимся!

Паркетный генерал не унимался. Около стоит молодой офицер генерального штаба с черными, печальными глазами...

— Корпус много потерял в нем!.. И войско — тоже!

— Не корпус и не войско, а весь народ, вся Россия, ваше-ство!..

В час назначена панихида... Едва, едва удалось добиться этого. Хотели служить ее на другой день только после вскрытия трупа... Высокий, красивый архимандрит с черными волнистыми волосами и расчесанной бородой как-то неуверенно, робко показался в дверях с причтом, да там и застыл... Легкий запах кипариса и ладана пронесся в воздухе. Солнечные лучи шире ложатся в комнатах, золотя густые эполеты, красным полымем вспыхивая на лентах и искрясь на звездах...

— Зачем эти живут?.. Зачем не они лежат там, вместо него, всем дорогого, всем необходимого? — шевелится на душе обидное сожаление...

— Знаете, какая разница между Скобелевым и этими?.. — слышится около.

— Какая?

— Разорвись тут граната, эти упадут — а он встанет...

— Его нужно вынести на площадь и показать народу!.. Он народу принадлежит, а не тем, которые только мертвому записываются в друзья!.. Пусть на площади служат панихиду — народ молиться за него хочет...

И глядя сквозь окна на эти благоговейные толпы, на эти глубоко взволнованные лица потрясенных людей, я верил, что только там, только они чувствуют как следует всю грандиозность этой потери... Им — именно им нужно было отдать его, чтобы ни напыщенные фразы, ни притворные слезы не оскорбляли его праха... Там он был бы своим между своими — там искренние слезы лились за него, там за него молились и страдали...

Кто-то в толпе стал было рассказывать о последних часах жизни М. Д. Скобелева.

Слушал, слушал старик какой-то... Крестьянин по одежде...

— Прости ему, Господи, за все, что он сделал для России... За любовь его к нам прости, да наши слезы не вмени ему во грех!.. И он человек был, как мы все... Только своих-то больше любил и изводил себя за нас...

И вся окружающая толпа закрестилась — и если молитва уносится в недосягаемую высоту неба — эта была услышана там, услышана Богом правды и милости, иначе понимающим и наши добродетели, и наши преступления...

В другой толпе рассказ шепотом.

— Был я у Тестова... Вдруг входит он и садится с каким-то своим знакомым... Я не выдержал, подхожу к нему... Позвольте, говорю, узнать, не доблестного ли Скобелева вижу? Дозвольте поклониться вам!.. Он вежливо так встал тоже... С кем имею честь говорить? — спрашивает. — Бронницкий крестьянин такой-то, говорю. Подал он мне руку и так задушевно, по-дружески пожал мне мою!.. Ушел я, заплакал даже!

— Он простых любил, сказывают!

И целый ряд рассказов, один за другим, слышался в толпе. Появились солдаты, лично знавшие покойного...

Из спальни, где лежал труп, его вынесли, наконец, в небольшую комнату, которая еще ничем не была убрана. Первая панихида носила искренний характер. Сюда собрались только знавшие покойного. Не было еще и почетного караула. Когда я вошел сюда, на столе, покрытый золотою парчой, лежал Скобелев. Его не одели, и покров был натянут до подбородка... Громкие уже рыдания слышались кругом... Свет падал прямо на это изящное, красивое лицо, с расчесанною на обе стороны русою бородою, на этот гениально очерченный лоб, с темною массой коротко остриженных волос...

Совсем, совсем спокойное, только страшно желтое лицо... Он, когда волновался, делался гораздо бледнее, чем теперь... Точно заснул... Улыбка лежит на губах и тоже безмятежная, ясная... Широкою полосой горят лучи на золоте парчового покрова...

— Не тот покров, не тот покров!.. — суетится кто-то позади.

— Чего вам? — спрашиваю я...

— Совсем не тот покров...

— Да вы-то кто?..

— Причетник... У нас для сугубых героев которые, есть егорьевский покров... А покойный-то — егорьевский кавалер ведь...

— Как будто не все равно!

Спит... Совсем спит... Кажется, вот, вот проснется и улыбнется нам своею молодою, изящною улыбкой, которая как-то еще

красивее казалась на этом молодом и бледном лице... Спит... Только одно — муха вон ходит по лицу... На глаз забралась, ползет по реснице... Остановилась, почесала лапки... Смахнули ее — на нос пересела... Нет, умер!.. Волны лучей, льющихся в еще не завешенные окна, придают странную жизнь этому неподвижному лицу... Точно не шевеля ни одним своим мускулом, оно как-то непонятно то и дело меняет выражение... Прошел кто-то, всколыхнулся воздух, вздрогнули разбросанные по сторонам волосы бороды...

— Вы знаете, что тут один купец сказал... — обращаются ко мне.

— Что?..

— На первых порах, он как-то протолкался... Смотрел, смотрел... Ишь, говорит, Михаил Дмитрич, при жизни смерти не боялся, а пришла она, умер — да и мертвый смеется ей!..

И действительно смеется...

Уже потом тень чего-то строгого, серьезного легла на это и в самой своей неподвижности красивое лицо... Образовались какие-то незаметные прежде линии вокруг сомкнувшихся навеки глаз, у резко обрисованного характерного носа... Невольно думалось, глядя на этот труп: сколько с ним похоронено — надежд и желаний... Какие думы, какие яркие замыслы рождались под этим выпуклым лбом... В бесконечность уходили кровавые поля сражений, где должно было высоко подняться русское знамя... Невольно казалось, что еще не отлетевшие мысли, как пчелы, роятся вокруг его головы. И какие мысли, каким блеском полны были они!.. Вот эти мечты о всемирном могуществе родины, о ее силе и славе, о счастье народов, — дружных с нею, родственных ей, о гибели ее исконных врагов, беспощадной и бесповоротной гибели!.. Сотни битв, оглушительный стихийный ураган залпов, десятки тысяч жертв, распростертых на мокрой от крови земле... Радостное «ура», торжество победы, мирное преуспевание будущего... Грезы о славянской свободе и вольном союзе славянских народов... И все — в этом комке неподвижного трупа, еще не разлагающегося, но уже похолодевшего... По крайней мере, когда мои губы коснулись его лба — мне казалось, что я целую лед... Вся эта слава, все обаяние перенеслись в воспоминания!.. Все это будущее, надвигавшееся грозою на недругов, эти темные тучи — где рождается гнев неотвратимой бури, где, казалось, уже загорались молнии, все это будущее уже стало прошлым, ни в чем не осуществившись... Человек показал, как много он мог сделать, показал, сколько гордой силы и гения дано ему — чтобы умереть, оставив во всех его знавших горькие сожаления... А знала его вся Россия! И что за подлая ирония — дать человеку мощь ума, орлиный полет гения, дать ему бестрепетное мужество сказочного богатыря, сквозь тысячи смертей, сквозь целый ад провести его невреди-

мым и скосить его среди глубокого мира и спокойствия... Какая не остроумная злодейская насмешка судьбы!.. И опять та же назойливая мысль: сколько с ним ляжет надежд и упований в черный, полный холода и мрака склеп... А теперь вон муха опять ползет по глазу... Под ресницу забирается, из-за которой орлиный взгляд легендарного витязя привык окидывать вздрагивавшие от восторга и энтузиазма полки...

— Отчего он умер?.. — слышится рядом.

— Говорят, от паралича сердца...

— Ну, а когда мы с вами умрем... У нас будет ведь тоже паралич сердца?

— Тоже!

— Следовательно, это все равно, что умер от смерти?

— Да!

Снаружи, на площади — тоже не мало было характерных эпизодов.

Шел мимо гостиницы Дюссо солдат, с георгиевским крестом... Видит толпу.

— Чего вы, братцы?..

— Генерал тутотка помер.

— Какой генерал?

— Скобелев...

— Чего?

Солдата на первый раз ошеломило.

— Скобелев померши!

— Скобелев помер?.. — и солдат опамятовался. — Ну, это, брат, врешь... Скобелев не умрет... Ен, брат, помирать не согласен!..

— Говорят тебе, помер...

— Тут, брат, что-нибудь... А только Скобелев не помрет... Врешь... Это уж, брат, верно. Ему помереть никак невозможно!

И совершенно спокойно пошел вперед... Встретил своего.

— Дурень народ у нас!

— А что?

— Ему сказывают, Скобелев помер, он и верит... Скобелев, брат, не помрет... Сделай одолжение... Может, другой какой, а только не наш!..

В первый же день явился едва держащийся на ногах старик с кульмским крестом на груди... Поклонился в землю, поцеловал в лоб генерала, отцепил свой кульмский крест, положил тому на грудь и ушел вон... Так и не узнали, кто это...

Потом явился другой ветеран, такой же дряхлый и слабый. Долго, долго всматривался в неподвижные черты усопшего.

— Один такой был, да и того Бог взял...

Помолчал несколько.

— Гневен Он на русскую землю... В гневе своем и покарал жестоко... Как Египет — древле... Так и нас теперь...

Вышел уже из комнаты, остановился в дверях. Обернулся.

— Тебе хорошо теперь, а каково нам-то без тебя!

Еще накануне Скобелев обдумывал громадные маневры, где преобразованная им кавалерия должна была бы по нескольку раз вплавь переходить Днепр, горячо толковал об этом, читал, учился, делал сотни заметок для завтрашнего дня... И вот, когда пришел этот завтрашний день, уж некому осуществить эти блестящие замыслы...

— Хорошо, что покойник оставил планы свои и предположения... — слышится около.

— Почему хорошо?

— При случае ими можно воспользоваться!

— А кто, кроме него самого, в состоянии выполнить его планы?.. Где другой такой?..

«Со святыми упокой» — слышится печальный мотив панихиды.

Все встали на колени...

И почему-то с удивительной ясностью вспомнилось мне в эти минуты все его прошлое... Целая эпопея, пережитая им... Картина за картиной, то под дождем болгарской осени, то в снеговых буранах балканской зимы, то в золотых, сожженных солнцем хивинских степях, то в волшебной рамке Босфора и Византии... Теперь пора рассказать о нем... Я был около него в тяжелые и радостные дни, я с ним встречался и после, со мною он был откровеннее, чем с другими... О многом мы мыслили далеко не одинаково... Я не разделял его взглядов на войну, не понимал его боевого энтузиазма; мы подолгу спорили по разным вопросам народной жизни, но я его любил, я видел в нем гения, тогда когда вражда и зависть шипели кругом, когда змеиные жала не щадили этой нервной организации, этого живо чувствовавшего сердца... Мне выпала честь в прошлую кампанию первому рассказать о нем, о его подвигах и доблестях, теперь я хотел отдать ему последний долг, нарисовав в беглых очерках не только богатыря, но и человека.

II

Кажется, недавно, а ввиду этого трупа уже легендой становится!

В июне 1877 года любовался я с Журжевского берега на Дунай.

Синяя ширь его была покойна. Ни малейший порыв ветра не колыхал заснувшую воду... Солнечные блики ярко расплывались по неподвижному зеркалу реки; направо, далеко-далеко в полуденном зное и блеске точно млели низменные, сплошь заросшие свежим густолесьем острова... Из-за них чуть виднелись мачты спрятавшихся там по проливам судов. Заползли от наших

орудий в свои тихие убежища и не шелохнутся, только в бинокль рассмотришь, как едва-едва раздуваются пестрые флаги... Сегодня они, впрочем, бессильно повисли вдоль мачт... Еще дальше за ними — красивые черепичные кровли турецкого села и высокий белый минарет... Около вооруженный глаз различает и желтые валы батарей, и неподвижных часовых. Цапли на стрехе деревенской хатки торчат так же, как и эти турецкие солдаты. Зеленые облака садов приникли прямо к воде... Иной раз ветер тянет оттуда раздражающую струю густого аромата, в котором слились тысячи дыханий давно уже распустившихся цветов... Еще дальше направо — пологая гора, сплошь заставленная белыми палатками громадного лагеря. На самой вершине ее, точно зверь, притаившийся перед последним прыжком, едва-едва намечается грозный форт Левант-Табии...

Я засмотрелся и на сверкающие воды Дуная, и на тихие берега его, погрузившиеся в какую-то мечтательную дрему... Не хотелось верить в возможность войны и истребления здесь, среди этого идиллического покоя, едва-едва нарушаемого криком чаек... Вон из-за горы, на которой чуть-чуть наметился форт, виноградники, сады Рущука, целое марево черепичных кровель, тополей, старающихся перерасти минареты, минаретов, все выше и выше подымающих к безоблачному небу свои белые верхушки с черными черточками балкончиков, с которых муэдзины выкрикивают всему правоверному миру меланхолические молитвы когда-то торжествовавшего здесь ислама... Вон черные купы кипарисов... У самого берега броненосцы замерли в воде — белые трубы ни одного клуба дыма не выбросят в прозрачный воздух... Точно железное сердце их перестало биться и крепкою броней покрытая грудь не дышит... Грузная масса главной мечети слепит глаза... Ее вершина, словно серебряная звезда, горит над городом... А вот и самая гавань с яркими флагами и вымпелами перед домами консулов, с целою стаей лодок, катеров, мелких пароходиков и с тысячами народа, сбившегося к воде.

— С кем имею честь? — послышалось за мною.

Смотрю — молодой, красивый генерал... «Слишком изящен для настоящего военного», — подумал я было, но, всмотревшись в эти голубые, решительные глаза и энергическую складку губ, тотчас же взял свою мысль обратно.

Я назвался.

— Очень приятно... Не легкая у вас обязанность... Корреспондент — это бинокль, сквозь который вся Россия оттуда смотрит на нас. Вы ближайшие свидетели, и от вас зависит многое... Показать истинных героев и работников, разоблачить подлость и фарисейство... Я вас еще не видел... Я — Скобелев!

— Я был у вашего отца вчера...

— У паши? — сорвалось у молодого генерала... Он засмеялся. — Это моя молодежь отца пашой называет. Жаль, что я вас не видел. Вы где остановились?..

Я сказал.

— Вот сейчас музыка начнется!

— Какая? — удивился я.

— Да вот видите ли: стоит отцу или мне показаться здесь, чтобы вон с той батарейки открыли огонь...

Музыка началась скорее, чем я ожидал... Белый клубок точно сорвался вверх с желтой насыпи турецкой батареи. Через три или четыре секунды послышался гул далекого выстрела и, словно дрожа, в теплом воздухе с долгим стоном пронеслась вдалеке граната и шлепнулась в Дунай, взрыв целый фонтан бриллиантовых брызг...

— Недолет! — спокойно заметил Скобелев...

Вторая граната пронеслась над нами и разорвалась где-то позади.

— Перелет... Теперь, если стрелки хороши — должны сюда хватить...

Точно и не в него это, точно он зритель, а не действующее лицо.

Третья и четвертая гранаты зарылись в берег близко-близко, когда из Журжева прискакал молодой ординарец.

— Ваше превосходительство, пожалуйте...

— А что?.. Паша разозлился?

— Димитрий Иванович сердится... Напрасно перестрелку начинаете!

Скобелев улыбнулся мягкою, доброю улыбкой.

— Ну, пойдем... Нечего делать!

Это было довольно обыденное удовольствие Скобелева. Он уходил на берег с небольшим кружком офицеров, а турецкая батарея точно только этого и ожидала, чтобы открыть огонь по ним.

— Зачем вы это делаете?

— Ничего... Обстреляться не мешает... Пускай у моих нервы привыкнут к этому... Пригодится...

Иногда и сам «паша» присоединялся к молодежи. Он стоял под огнем спокойно, но все время не переставал брюзжать...

— Ну, чего ты злишься, отец? Надоело тебе, так уходи... Оставь нас здесь!

— Я не для того ношу генеральские погоны, чтобы этой сволочи, — кивал он на тот берег, — спину показывать... А только не надо заводить... Чего хорошего? Еще чего доброго...

— Набальзамируют кого-нибудь?

Набальзамируют на языке молодого Скобелева значило — убьют.

— Ну, да... набальзамируют!

— Вот еще... куда им. А, впрочем, на то и война... Что-то уж давно без дела торчим здесь — скучно. У нас в Туркестане живей действовали!

— С халатниками!..

— Да, с халатниками Зато один против пятидесяти, случалось...

— Хотите, отец сейчас уйдет? — обращался к своим Скобелев, когда тот уж очень начинал брюзжать.

— Как вы это сделаете?

— А вот сейчас... Папа... Я, знаешь, совсем поистратился... У меня ни копейки! — и для вящего убеждения Скобелев выворачивал карманы...

— Ну, вот еще что выдумал... У меня у самого нет денег... Все вышли!

И, крайне недовольный, паша уходил назад, оставляя их в покое.

Обрадованная этим молодежь брала лодки, сажала туда гребцами уральских казаков и отправлялась на рекогносцировки по Дунаю — под ружейный огонь турок...

Это называлось прогулкою для моциону.

В сущности, тут было гораздо больше смысла, чем кажется с первого взгляда. Во-первых, и казаки, и офицеры при этом приучались к огню, приучались не только шутить, но и думать, соображать под огнем; во-вторых, развивалось удальство и презрение к смерти, столь необходимое истинно военным, а в-третьих, изучался Дунай с его островами и берегами... В одной из таких рекогносцировок участвовать привелось и мне. Небольшая рыболовная лодочка забралась в лабиринт лесистых островов Дуная, заползала во все их закоулки. Точно выслеживала в них кого-то... Небольшой турецкий пикет, засевший где-нибудь, хотя бы с верхушек этих же деревьев, мог наверняка перебить нас всех.

— Ну, что, нервы молчат? — обернулся к нам Скобелев.

— Да!

— Значит, из вас прок будет!..

Вскоре после этого как-то еду я в экипаже из Баниаса в Журжево...

По пути — двигаются маленькие отряды солдат, идущих в Журжево, Слобозею и Малоруж к своим частям. День был жаркий, все обливались потом. Степь, переполненная солнечным светом, слепила глаза... Издали, нагоняя нас, показалась кавалькада — молодой Скобелев с двумя или тремя своими офицерами. Наехал на кучку солдат-пешеходов.

— Здорово, братцы!

— Здравия желаем, ваше-ство!

— Трудно идти... Жарко?

— Трудно, ваше-ство...

И солдаты скрючились, понурились... Ранцы оттягивают, жидовские сапоги незабвенного Малкиеля жмут ногу. А тут еще по самую ступицу в песок уходишь...

— Ну-ка, попробую я с вами!

Генерал сошел с коня, отдал его казаку...

— Поезжай-ка в Журжево... Прощайте, господа. Я вот с этими молодцами...

И пошел пешком... Спустя минуту между солдатами послышался смех, шутки... Толпа ожила... Песни запели — генерал подтягивает...

— О чем он говорил с вами? — спрашиваю потом у одного из них...

— Орел!.. Только как это он солдатскую душу понимать может — чудесно... Точно свой брат... У одного спрашивает, когда офицером будешь? Тот, известно, смеется... Николи, вашество, не буду. Ну, и плохой солдат, значит... Вот мой дед точно такой же мужик был, как и ты, из сдаточных... Землю пахал, а потом генералом стал!..

— Он, ведь, наш!.. — заметил другой солдат.

— То есть, как наш? — удивился я.

— Он самого правильного, как есть мужицкого природу!.. — с гордостью подтвердил он.

— Из наших, брат, тоже — настоящие выходят. За ним — как у Христа за пазухой!

— Сказывают, евонный дед прежде был Кобелевым, а потом его, как произвели — в Скобелевы пустили...

Потом такие прогулки с солдатами стали для Скобелева обычным делом. Тут он знакомился с ними, да и они его узнавали.

— Он, брат, к тебе в душу живо влезет!

— Он вот как, надо прямо говорить, сто сажен скрозь землю видит!

— На него страху нет... Он себя окажет!

И действительно оказал...

III

Первый раз под настоящим огнем его видели на Дунае 6 июня.

В четырех верстах от Журжева к востоку — казачья вышка и построенная саперами хижина. Тут стоял пикет, а около лагерь — 30-го донского казачьего полка, сотня пластунов и небольшой отряд саперов. Это место называлось Малоружем. Напротив, на турецкой стороне Дуная — холм с сильным фортом, от которого вплоть до Рущука тянулся фронт хорошо вооруженных батарей. Оттуда на наш берег в Малоруж стреляли беспрестанно. Турки почему-то особенно невзлюбили это мес-

то — совершенно достаточная причина, чтобы его полюбил М. Д. Скобелев, ежедневно предпринимавший сюда поездки. Вся местность тут была изрыта турецкими снарядами — Скобелев живо приучил здешние войска не бояться гранат, и даже молодые солдаты уже считали постыдным кланяться туркам под выстрелами... Саперы рылись здесь, как кроты, выдвигая батарею за батареей, и любоваться на их работы очень любил покойный. В день, о котором мы рассказываем — съехалась к пластунам целая компания корреспондентов русских газет, гг. Федоров, Каразин и я. Пластунский лагерь весь состоял из рваных бурок, подвешенных на колья; палаток не полагалось этим молодцам, щеголявшим только своим оружием. Целый день рассказывали нам о характерных выходках Баштанникова (обезглавленного потом на Шипке турками, замучившими предварительно храброго и симпатичного офицера-пластуна) — любимца Скобелева. Баштанников вместе с молодым генералом, от нечего делать, придумывали всевозможные штуки. То они, бывало, наберут хворосту и, связав его наподобие челна, поверх сажают сноп, как будто казака в бурке, воткнут в него жердь, которая должна изображать пику, и пустят по течению Дуная. Турки присматриваются, присматриваются и вдруг по воображаемому пловцу откроют огонь — да всем берегом. Тысячи глупых выстрелов летят в пространство, разбуженные ими турки в лагерях выбегают, начинается тревога... Случалось, что по таким снопам хвороста били даже турецкие батареи. А то нароют на берегу за ночь земли, свяжут солому вроде медных пушек, да и вставят в импровизированные амбразуры. Турки, увидев отражение первых солнечных лучей на золотистых снопах, — открывают самый озлобленный огонь, тратят массы снарядов по этим новым, якобы за ночь выстроенным русскими, батареям... Ночью Скобелев вместе с пластунами зачастую переправлялся на ту сторону к туркам и хозяйничал у них вволю, удовлетворяя, таким образом, потребностям своей непоседливой и неугомонной натуры...

— Это настоящий... Это — наш! — говорили пластуны о Скобелеве.

В ночь, о которой я рассказывал, пластуны, став в кружок, пели свои очень характерные, нигде до тех пор мною не слышанные, торжественно-меланхолические песни, напоминающие церковные мотивы. В сумерках южной ночи, когда вдалеке разгорались лагерные костры, а звезды все ярче и ярче мерцали с недосягаемой высоты, песни эти производили глубокое впечатление.

— Мало, мало старых пластунов! — вздыхал Баштанников, оглядывая своих.

— А новые разве плохи?

— Нет, не то... А к тем сердце приросло... Вместе по но-

чам крались к врагам, высиживали в засадах... Кто в могиле, а кто дома обабился!..

Потом стало их еще меньше... Это — редкий и специальный род войска, а их заставляли ходить в атаку, как пехотинцев. Турки почти всех их и перебили.

Костры разгорались, яркими красными пятнами выделялись они из густого сумрака далей. Позади стоял говор. Песни смолкли, только одна какая-то тоскливая доносилась издали, словно оплакивая кого-то...

— Что это?.. Будто щелкнуло вдали... Еще и еще...

Мы вскочили и бросились к лошадям... Сухая трескотня выстрелов усилилась... Нервное ожидание общего боя росло и росло... Лагерь с глухим шумом подымался. Строили коней.

— Где полковой командир?.. — из мрака наехал прямо на нас казак.

— Чего тебе? — отозвался Д. И. Орлов.

Тот что-то прошептал ему...

— Вторая сотня, на коней!

Спустя две или три минуты темная масса уже построившейся сотни двинулась по направлению к выстрелам. В пятидесяти шагах мы уже не различали ее движения.

Перестрелка разгоралась... Скоро вся окрестность гремела... Глушило остальные звуки... Вот точно звездочка прокатилась по небу...

— Ишь, шрапнелями начал! Дело серьезное!

Гулкие удары орудия на минуту покрыли ружейную трескотню... Еще и еще...

Журжевские батареи стали отвечать туркам.

В это время на берегу, под выстрелами, в белом кителе, верхом на белом коне показался Скобелев.

Можно было подумать, что он на бал разрядился.

— Разве бой не бал для военного? — ответил он кому-то...

— Вот теперь весело стало... Наконец!

— Неужели вы радуетесь бою?

— А что ж военному плакаться на него... Это наша стихия...

Уже тогда он поразил всех находчивостью, завидным умением думать и смеяться под огнем.

Стал закуривать папиросу... Шрапнель разорвалась у него над головою, рука со спичкой даже и не вздрогнула.

— Обидно видеть такое спокойствие... — заметил кто-то из его товарищей.

— У меня, голубчик, почти десять лет боевой практики позади... Погодите, через несколько времени и вы будете спокойны!

Но немного спустя, когда перестрелка замерла, когда темная южная ночь окутала опять нас своими поэтическими сумерками — Скобелев во весь карьер мчался в Журжево. Ветер

дышал прямо в лицо ему, генерал несся быстро, быстро и, точно не довольствуясь этим, еще понукал разгоревшегося коня...

— Весело! — кинул он кому-то попавшемуся навстречу...

Так и веяло от него силою, жизнью, энергией...

Вскоре после того он с несколькими офицерами генерального штаба на берегу Дуная остановился во время рекогносцировки. Повернули коней кружком, головами один к другому, и начали обсуждать выгоды или невыгоды данной местности. Скобелев, так как тут был военный агент-иностранец, по-французски излагал свое мнение... В это время послышался какой-то грохот... Граната упала посредине круга, с визгом разорвалась, взрыла вверх целую тучу земли, обдала комьями лица совещавшихся. И в то мгновение, когда каждому приходил в голову неизбежный вопрос: цел ли я, целы ли товарищи, — послышался нимало не изменившийся, спокойный голос Скобелева.

— Et bien, messieurs, resumons!..[1]

И он с той же ясностью начал излагать свои выводы, как будто бы только что ничего не случилось, точно ветка хрустнула под копытом коня...

В это время армия уже отметила его... Он уже становился кумиром офицеров и солдат...

Богатырь, легендарный витязь вырастал и формировался в общем сознании боевой молодежи, и только тупоумие да педантизм смотрели на него с недоверием и завистью!..

И это недоверие, и эта зависть прекратились только со смертью Михаила Дмитриевича... Только теперь притаились они...

У нас, чтобы быть оцененным, чтобы получить только принадлежащее по праву — нужно умереть...

Подлое время и подлые люди!.. Сколько теперь нашлось у него друзей — и как мало их было тогда...

Как он умел говорить с солдатами, знают те, кто видел его с ними. Они понимали его с полуслова, — и он их знал «дотла», как выразился один «из малых сих». Мне рассказывали, например, об уроке атаки на батарею, данном им новобранцам. Стояло их человек сто...

— Ну, братцы, как же вы пушку станете брать?

— А на уру, ваше-ство!

— Ура — урой... А вы умом-то раскиньте... Знаете ли, что такое картечь?.. Ну, вот бросились вы, уру закричали — неприятель выпалил из орудия, двадцать человек вас легло... Сколько вас теперь осталось? Восемьдесят... Уйдите двадцать человек... Это вот убитые, слышите ли?.. Их уж нет... Ну, а вы что будете делать, половчей чтобы вышло?..

---

[1] Прекрасно, господа, сделаем выводы (*фр.*).

— А мы, ваше-ство, покуль он опять заряд, значит, положит, тут на него и навалимся... Штыкой его...

— Ну, теперь молодцы ребята... Значит, поняли меня. Пойдем кашу есть...

И генерал взял деревянную ложку у первого попавшегося солдата и засел за общий котел...

— Ен брат и ест-то по-нашему, — говорили они потом, хотя едва ли кто-нибудь другой был так избалован в этом отношении, как Скобелев...

Отсюда понятно, почему уже первое время прошлой войны, до перехода нашего через Дунай, популярность его в войсках Журжевского отряда росла не по дням, а по часам. Сначала ему удивлялись, потом невольно поддались могущественному обаянию Михаила Дмитриевича и привязались к нему, как дети. Я, разумеется, говорю о солдатах и о молодых офицерах. Очень многие в этот начальный период смотрели на него, как на чужого, как на победителя каких-то азиатских халатников. Ему уже и тогда завидовали, завидовали его молодости, его ранней карьере, его Георгию на шее, его знаниям, его энергии, его умению обращаться с подчиненными... Глубокомысленные индюки, рождавшие каждую, самую чахоточную, идейку с болезненными потугами, не понимали этого деятельного ума, этой вечно работавшей лаборатории мыслей, планов и предположений...

— Как им любить его! — говорил один из лучших генералов прошлой войны, разом сошедшийся со Скобелевым. — Помилуйте, сидели они чинно за столом, плавно курлыкали, все это так хорошо и спокойно было; вдруг грохот: проваливается крыша, и прямо на стол сверху летит Скобелев с целым чемоданом новых идей, проектов, знаний о вещах, до сих пор этим индюкам неизвестных...

Дошло до того, что победителя халатников всякая гремучая бездарность и напыщенная глупость стала третировать, как мальчика...

— Вам слишком легко, почти даром достались ваши Георгии... Теперь заслужите-ка их! — говорили ему, и самолюбивый Скобелев, знавший себе цену, целые недели потом ходил зеленый, с разбитыми нервами, измученный... Не тогда ли у него стала развиваться болезнь сердца, сведшая его в раннюю могилу, если только эта болезнь была у него?

Случалось так, что Скобелеву и говорить не давали.

Питерские Наполеоны только фыркали, когда победитель халатников предлагал тот или другой план, а когда он переходил к действиям, его просто обрывали. Этого военного гения, которого академия теперь признала равным Суворову, даже прямо оскорбляли. Раз он сделал какую-то рекогносцировку, которую считал крайне необходимой...

— Ступайте и сидите у своей палатки, пока я позову вас! — высокомерно оборвали молодого генерала, и тот, приехав в Зимницу, заболел от тоски и обиды...

— Знаете, — обратился он ко мне, — брошу я все это, отпрошусь обратно в Россию, и когда кончится война, сниму военный мундир и стану служить земству... В деревню уеду... Верите, силы нет... Сознаешь, что делается не то, а скажешь, так хорошо еще, если внимание обратят... Трудно, ах, трудно!

И часто слышались слезы в голосе молодого генерала, когда он возвращался после таких неудачных попыток.

Нужно отдать справедливость генералу Драгомирову. Он едва ли не первый оценил этот боевой гений в Скобелеве. Бывший военный министр Милютин тоже ранее других отметил молодого генерала.

IV

А между тем он меньше, чем кто-нибудь, был доволен собою. В Журжеве, в Бии, в Зимнице, точно так же как потом в траншеях под Плевной — Скобелев учился и читал беспрестанно. Он умел добывать военные журналы и сочинения на нескольких языках, и ни одно не выходило у него из рук без заметок на полях, по словам специалистов, и тогда уже обнаруживавших орлиный взгляд белого генерала. Интересно, в чьих руках находятся теперь эти книги. В высшей степени любопытно было бы проследить по ним, как мало-помалу из богатыря и витязя вырастал в Скобелеве полководец, «Суворову равный», по прекрасному выражению академии.

Учился и читал Скобелев при самых иногда невозможных условиях. На биваках, в походе, в Бухаресте, на валах батарей под огнем, в антрактах жаркого боя... Он не расставался с книгой — и знаниями делился со всеми. Быть при нем — значило то же, что учиться самому. Он рассказывал окружавшим его офицерам о своих выводах, идеях, советовался с ними, вступал в споры, выслушивал каждое мнение. Вглядывался в них и отличал уже будущих своих сотрудников. Бывший начальник штаба 4-го корпуса генерал Духонин так, между прочим, характеризовал Скобелева.

— Другие талантливые генералы: Радецкий, Гурко — берут только часть человека, сумеют воспользоваться не всеми его силами и способностями. Скобелев, напротив... Скобелев возьмет все, что есть у подчиненного, и даже больше, потому что заставит его идти вперед, совершенствоваться, работать над собою...

Иногда, среди товарищеских пирушек с молодежью, он вдруг задавал серьезные военные задачи. Стаканы в сторону, и тесный круг сдвигался еще теснее, задумываясь над решением запутан-

ного боевого вопроса... Скобелев был молод — и любил женщин, но по-своему. Он не давал им ничего из своего «я». Он говорил, что военный не должен привязываться, заводить семьи...

— Игнатий Лойола только потому и был велик, что не знал женщин и семьи... Кто хочет сделать что-нибудь крупное — оставайся одинок...

Ему очень нравилась какая-то француженка в Бухаресте... Как-то он добился свидания с нею. Представьте себе ее изумление, когда посредине горячего разговора он вдруг остановился, задумался, пошел к столу, вынул какую-то книгу и погрузился в чтение, по временам что-то отмечая на карте. Точно также зачастую он уходил с обеда к себе наверх, и ординарцы, посылавшиеся к нему, заставали его за книгами... Потом, чтобы не терять времени, он приказал своему адъютанту носить с собою постоянно записную книжку. Приходила генералу какая-нибудь счастливая идея, вопрос, и они сейчас же заносились туда. Разговор с ним уже и в начале войны был очень поучителен. Он умел расшевелить ум у человека, заставить его думать... Для этого он не останавливался ни перед чем.

— Мало быть храбрым, надо быть умным и находчивым! — говорил он своим, хотя на храбрых людей у него была какая-то жадность. Узнав о каком-нибудь удальце, он не успокаивался, пока не переводил его в свой отряд... Для этого он пускался на всевозможные хитрости, дружился с офицером, упрашивал его начальство и, в конце концов, таки добился, что в дивизии у него были молодцы на подбор.

Не только молодому офицеру, но и солдату белый генерал был товарищем.

Едет он как-то в коляске. Жара невыносимая, солнце жжет... Видит, впереди едва-едва ковыляет солдат, чуть не сгибающийся под тяжестью ранца...

— Что, брат, трудно идти?

— Трудно, ваше-ство...

— Ехать-то лучше... Генерал вон едет, полегче тебя одетый, а ты с ранцем-то идешь, это не порядок... Не порядок ведь?

Солдат мнется.

— Ну, садись ко мне...

Солдат колеблется... Шутит, что ли, генерал...

— Садись, тебе говорят...

Обрадованный кирилка (так мы называли малорослых армейцев) лезет в коляску...

— Ну, что, хорошо?

— Чудесно, ваше-ство!

— Вот дослужись до генерала, и ты будешь ездить также!

— Где нам!

— Да вот мой дед таким же солдатом начал — а генералом кончил... Ты откуда?..

И начинаются расспросы о семье, о родине...

Солдат выходит из коляски, боготворя молодого генерала, рассказ его передается по всему полку, и когда этот полк попадает в руки Скобелеву — солдаты уже не только знают, но и любят его...

Раз в Журжеве идет он по улице — видит, солдат плачет.

— Ах ты баба!.. Чего ревешь-то?.. Срам!..

Солдат вытягивается.

— Ну, чего ты... Что случилось такое?..

Тот мнется...

— Говори, не бойся...

Оказывается, получил солдат письмо из дому... Нужда в семье, корова пала, недоимка одолела, — неурожай, голод.

— Так бы и говорил, а не плакал. Ты грамотный?

— Точно так-с!

— И писать умеешь?

— Умею!

— Вот тебе пятьдесят рублей, пошли сегодня же домой, слышишь... Тебе скажут, как это сделать... Да квитанцию принеси ко мне.

Отзывчивость на чужую нужду и горе до конца не покидала Скобелева. Мне рассказывал Духонин, что Михаил Дмитриевич не брал никогда своего жалованья корпусного командира. Оно сплошь шло на добрые дела. Со всех концов России обращались к нему, даже часто с мелочными просьбами, то о пособии, то о покровительстве, то о заступничестве. Обращались и отставные солдаты, и мещане, и крестьяне... Раз даже какая-то минская баба прислала письмо о пропитом мужем полушубке. К чести Скобелева нужно сказать, что в этом случае для него не было ни крупных, ни мелких просьб. Он совершенно правильно рассуждал, что для бабы зимний полушубок так же нужен, как отставному притесняемому деревнею солдату — его пропитание. *И ни одна такая просьба не была оставлена без внимания.* Он посылал деньги, хлопотал, просил... В Москве раз я иду с ним по Никольской. Вдруг кидается к нему какой-то крестьянин.

— Сказывают, батюшко генерал, ты самый и есть Скобелев?

— Я...

— Спасибо тебе, родимый... Вызволил ты меня... Из большой беды вызволил... Дай тебе Бог...

— Когда, в чем дело?.. Я ничего не понимаю!

— Писал я к тебе... Затеснила меня уж очень волость...

— Ну?

— А тут отставной солдат один был — пиши, говорит, к Скобелеву, ён услышит, будь спокоен... я и послал тебе письмо... А ты губернатору нашему приказал не трогать меня... Меня и успокоили... Спасибо тебе, защитник ты наш...

Вот тайна этой изумительной популярности, вполне заслуженной покойным генералом.

— Тысячи писем приходилось писать и пособия рассылать таким образом! — сообщал мне Духонин.

— Ни одно письмо к нему — не оставалось без ответа...

Решительность и способность к инициативе была в нем громадная и сказывалась во всем. Он и в других любил это качество.

— Отчего это вы не были с нами? — спросил он раз меня, после одного дела в Журжеве.

— Да я просил у вашего отца...

— У паши... Ну, и он отказал вам?

— Да...

— А вы вперед не спрашивайтесь, а прямо поезжайте... Если спрашиваетесь — значит, и вы сомневаетесь и другого заставляете сомневаться, можно ли... А коли прямо едешь, так и вопрос о возможности уж тем самым решен. Я вообще терпеть не могу спрашиваться... Берите на свою ответственность и не спрашивайтесь вперед!

Потом я оценил этот совет вполне...

Под конец журжевской стоянки и потом в Систове — Скобелеву приходилось уж невтерпеж. Слишком стали его травить доморощенные Александры Македонские.

Только было заикнется Скобелев о своем боевом опыте:

— Ну, вы опять про ваших халатников!.. Это совсем другое дело... Вы там по вашим степям черепахами ползали, а мы перелетим орлами...

— Крыльев-то хватит ли?..

— Весь план кампании так рассчитан: позавтракаем мы в Систове, пообедаем на Балканах, а поужинаем в Константинополе!..

— Ну, давай Бог...

— Уж вас не спросим... Вам-то Георгии там легко доставались...

И куда смыло потом, после первого похода за Балканы и трех Плевен, этих высокомерных стратегов... Тише воды, ниже травы стали они, словно мокрые курицы опустили свои еще накануне встопорщенные крылья... У Скобелева раз о таком, ныне, впрочем, уже покойном герое, вырвалась меткая фраза...

— Сам себя разжаловал!

— Как это?

— Да из Александров Македонских — в Буцефалы. И чудесно под седлом ходит, всяким аллюром!..

Больше всего в это время, как и потом, вредили Скобелеву его друзья. Не те боевые товарищи, которые действительно знали и любили его, а петербургская большесветная опрометь, записавшаяся в дружбу к молодому генералу и, в виде вящего доказательства этой дружбы, рассказывавшая о нем Бог знает что. Некоторые из них своевременно наезжали в Ташкент за

Георгиями, прикомандировывались к Скобелеву в Фергану и, не получив крестика, с бешенством возвращались назад, распуская о Михаиле Дмитриевиче самые чудовищные слухи. Один, например, лично уверял меня, что Скобелев не храбр.

— Помилуйте, он трус... Совсем трус. Всего боится!

Встречаюсь я с ним после войны.

— А трус-то ваш богатырем оказался!

— Да, ведь, это его корреспонденты таким изобразили...

— Ну, а войска, а рассказы тысячи очевидцев?

— Тогда, значит, он из честолюбия!

Геок-Тепе заставило замолчать всех таких. Там уже при генерале не было корреспондентов — дело говорило само за себя.

V

За несколько дней до 7 июня Скобелев находился в нервном настроении.

Целые ночи он не спал. То рыскал вдоль берега, то с двумя-тремя гребцами из казаков объезжал дунайские острова, а раз даже перебрался на турецкую сторону и сам высмотрел, что у них делается около Рущука. Напрасно было говорить ему об опасности подобных предприятий. Всякая опасность — только еще более придавала в его глазах прелести задуманному делу. Без опасностей, без кипучей работы — он начинал хандрить, скучать, становился даже капризен, как женщина. Но начиналась работа, и Скобелев был неузнаваем. Перед вами обрисовывался совсем другой человек... Исследовав Дунай с его островами и берегами, он нашел себе по ночам другое дело. Началась постройка батарей, которые старались замаскировать так, чтобы неприятель никак бы не мог к ним пристреляться. Молодой генерал вечером выезжал к саперным командам, сооружавшим земляные насыпи, и только утром возвращался оттуда... Раз как-то солдаты заленились или устали, а профиль батареи должно было непременно закончить к утру.

— Хорошо, если бы оттуда, так, сдуру, стрелять начали! — показал он на турецкий берег.

— А что?

— Посмотрите, как живо двинулась бы работа! С лихорадочною поспешностью стали бы строить!

И действительно, знание солдата ему не изменило. Не успел еще он окончить своей фразы — как по ту сторону точно открылось чье-то красное, пламенное око. Открылось и опять смежило веки. Послышался гулкий удар дальнобойного орудия, и скоро граната с громким металлическим стоном разорвалась около батареи. Лопаты саперов заработали гораздо быстрее. Солдаты торопливо начали набрасывать землю, оканчивая бруствер и траверсы...

— Это всегда помогает! — обернулся к нам Скобелев.

— Когда вы спите?— спрашиваю я как-то у него.

— Я могу — сутки спать, не просыпаясь, и могу трое суток работать, не зная сна...

И действительно, счастливая организация Скобелева позволяла это. Когда было решено заградить минами течение Дуная у Парапана, тогда он совсем уже ушел в работу. И день, и ночь его встречали то там, то сям. Уже в самом начале войны обнаружилась в нем черта характера, с таким блеском выделившаяся впоследствии. Он не верил никому, всегда сам изучая местность. Никакими в этом отношении кроки нельзя было заставить его сделать то или другое распоряжение. Он непременно ехал сам, вглядывался и находил много деталей, упущенных офицерами... Малейшая неровность местности, жалкий ручей, пригорок — все это было слагаемыми для его комбинаций, выигрывавших ему бой. Так и в деле при Парапане. Еще не успели определенно назначить день для минных заграждений — как Скобелев уже изучил местность так, что бывшим тут же офицерам генерального штаба пришлось только удивляться ему. Для прикрытия смелой атаки миноноски «Шутка» назначен был 15-й батальон, из знаменитой впоследствии 4-й стрелковой бригады, которую Скобелев прозвал «железною»... Когда батальон выстроили — командир, теперь уже не помню кто, обратился к солдатам:

— Охотники, вперед!

Весь батальон, как по команде, шагнул вперед.

— Это лучше! — заметил Скобелев. — По-моему, никаких охотников не должно быть... Каждый должен быть охотником! — и впоследствии Михаил Дмитриевич очень редко, в самых исключительных случаях, прибегал к этому приему. Он всегда старался доводить солдат до того, чтобы среди них все были «охотниками».

— Дело должно быть праздником для военного... Какие же тут охотники...

Было выбрано 120 солдат, к ним командировано трое офицеров. Вместе с сотней уральских казаков и полевой батареей — это составило небольшой отряд прикрытия минных работ. Офицеры было повели их, когда Скобелев остановил пехоту.

— Постойте... Так нельзя... Солдат должен всегда знать, куда и зачем он идет... Сознательный солдат в тысячу раз дороже бессознательного исполнителя... Уральцам я уже объяснил...

— Здорово, молодцы!

Те ему ответили.

— Знаете ли, куда вы теперь идете?..

Солдаты стали мяться...

— В Барабан, ваше-ство!

— Ну, все равно, Парапан или Барабан... А зачем?

— Турку бить!..

— Турка бить всегда следует... Как твоя фамилия?

— Егоров, ваше-ство!

— Видно, что удалой... Скоро георгиевским кавалером будешь... А только мы теперь вовсе не турку бить идем... Нам, брат, нужно другое дело обработать... Скоро — мы на ту сторону Дуная перебросимся, поняли?..

— Поняли, ваше-ство!

— Ну, то-то... Сидеть-то у молдаван надоело... Все на одном месте... Здесь без галагана[1] никуда не пустят... Да и работы солдату мало...

— Это точно...

— Ну, вот... Мы воевать пришли — а неприятель на той стороне, он к нам не придет — ему у себя чудесно, нам нужно его выбить оттуда... Выбьем ведь, орлы?..

— Рады стараться!..— повеселели солдаты.

— А чтобы выбить — нам нужно перейти через Дунай... Тут-то нам и достанется... Станем мы перебираться туда — турок-то ведь тоже не дурак, он на наши плоты да лодки мониторы свои пустит. Видели вы, какие мониторы, вон, что пыхтят у берега?..

— Видели, ваше-ство!

— Они нас и перетопят... Ну, а мы хитрее турка... Мы в воду такие мины погрузим, что ему сквозь них и не проплыть, только он на них наткнется, тут его и взорвет. Мы-то у него перед носом и перейдем реку...

— Рады стараться!.. — сами уже отозвались солдаты, понявшие, в чем дело.

— Этот совсем не такой, как другие! — толковали потом они между собою. — Этот умный... Понятный!.. Так, на первых порах, имя «понятного» генерала и осталось за Скобелевым.

Парапан, деревня по прямому направлению от Журжева в пятнадцати, а по дороге в двадцати верстах. Сады его сползают почти к самому берегу, на возвышении стоит отдельно большой помещичий дом, который на 7 июня был занят штабом Скобелева. Ночь была ясная, теплая, такая, какие знает только благословенный юг с его мечтательным сумраком, с волнами благоуханий, льющихся по ветру, с задумчивым шелестом деревьев и словно теплящимися, страстными звездами. Луна светила ярко, ярко, обливая трепетным сиянием раины садов, расстилая по неподвижному Дунаю точно серебряные сети... Именно казалось, что это не блеск месяца зыблется на его водах, — а всплыли наверх и мерещатся влюбленному взгляду северянина серебряные сети какого-то сказочного рыболова... Едва, едва слышный,

---

[1] Галаган — мелкая румынская монета.

сонно бился прибой на отмелях... У противоположного берега чудилось, словно заколдованное царство, заповедное, недоступное... Среди поэтического молчания этой ночи едва, едва слышались весла восьми лодок, в которых перебирались к острову Мечику, накануне исследованному Скобелевым, пятьдесят человек стрелков и тридцать уральцев...

— Увидят их турки... — волновался генерал, когда среди лунного блеска показались на ярком зеркале Дуная черные с черными силуэтами гребцов и солдат лодки, вырезанные точно из агата... Но там, в этом заколдованном царстве «того» берега, было все тихо, и вполголоса раздававшаяся команда замирала в теплом воздухе южной ночи...

Остров был залит водою...

Генерал приказал закрепить лодки за стволы каштанов. Солдаты и казаки, сняв сапоги, засели на деревья и, будто водяные птицы, сбились на немногие сухие клочки земли и на болотины, только что освободившиеся от разлива. Все это — в полном молчании... Даже участвовавшие слышали только шорох ветвей, да шелест раздвигаемой листвы. С нашего берега — остров казался совсем безлюдным. От Молодежоса двинулось перед тем восемь паровых шлюпок, из них две миноноски... На пути всюду им встречались мели — и вместо двух шлюпки явились сюда только к четырем часам, когда уже рассвело. Турецкий берег был залит так называемым «тыльным» светом солнца, так что Скобелев только с трудом и то в туманных очерках мог различать, что у них делается. Все дрожало там от этого блеска, контуры изменялись, расплывались, точно какая-то яркая дымка висела над этим красивым и зеленеющим гребнем...

— Ну, сейчас начнется! — обернулся Скобелев к своим.

— Что начнется?

— Наших заметили!..

Потом оказалось, что зоркий глаз генерала действительно отличил на том берегу прискакавший туда турецкий отряд.

— Вот и пифпафочка!.. — улыбнулся Скобелев, когда те открыли огонь по лодкам, уже начавшим погружать торпеды.

— Молодцы! — восхищался Михаил Дмитриевич... Ишь, у самого берега работают... У меня всегда к морякам сердце лежало!

Действительно, наши катера заработали под носом у турок... Послышался сухой треск беглого ружейного огня с берега, все усиливавшийся и усиливавшийся. Можно было бояться больших потерь.

— Пора и нам!.. — и, не ожидая приказания отца, молодой Скобелев, официально только начальник его штаба, а в сущности командир всего отряда, приказал береговой батарее тяжелых орудий открыть огонь по этому, состоявшему из двухсот человек, скопищу. Расстояние оказывалось очень велико, но первый вы-

стрел был случайно удачен, гранату разорвало в кучке турок, которые рассыпались во все стороны.

Только через час явился турецкий военный вестовой пароход. Его тоже приветствовали выстрелами. Ответные снаряды не долетали до нас. Первый упал за версту до нашего берега, а второй разорвался у самого дула выпустившего его орудия... После одного из таких выстрелов пароход, очевидно, получил повреждение и стал отступать... Раз он было приостановился, но два паровых катера, служивших для обороны и вооруженных минами, направились на него... Выждав их на двести сажен, громадный пароходище этот постыдно повернул назад и поспешно ударился в бегство. Вдали в это время наши заметили скрывавшийся до тех пор монитор. Он уже открыл огонь... Тогда начальник шлюпки Наследника Цесаревича «Шутка» подошел к заведовавшему заграждением Новикову, которого все моряки дунайской нашей флотилии называли дедушкой. Этого Новикова душевно любил и высоко ценил Скобелев. Впрочем, и вся армия уже в Плоэштах знала «дедушку».

— Прикажете идти в атаку?

Новиков послал поцелуй вместо приказания.

— Куснитe-ка его! — крикнул в свою очередь Скобелев. — Маленькая собачка, а зубы вострые!.. За хвост его!

Я не стану описывать здесь эту замечательную атаку маленькой шлюпки, этой собачки с вострыми зубами, по меткому выражению генерала. Бою при Парапане отведено несколько страниц моего «Года войны» (III том, 79 — 91). Дело в том, что когда раненая «Шутка» со своим раненым командиром отступала от монитора, то сей последний в паническом страхе улепетывал от нее... Только в три часа пополудни он опять стал подбираться к месту заграждений. В это же время на берегу показались дымки скрытно стоящих турецких полевых орудий, только что подвезенных сюда с ближайших рущукских батарей... Но монитор оказался очень благоразумным. Скобелев встретил его огнем из наших орудий, и тот поспешил поскорей опять уйти из сферы огня. Зато турецкие стрелки, засевшие в кустах, стали было выбивать наших довольно метким огнем. Таким образом они повредили три минных барки...

— Возьмут, пожалуй!

И Скобелев, долго не думая, верхом бросился вплавь через Дунай.

Скоро его догнали лодки, посланные с берега, и вместе с капитаном Сахаровым — офицером генерального штаба, Скобелев, пересев в них, подплыл прямо под огонь турок. Ввиду неприятельских стрелков они выхватили два баркаса с минами, причем один, разбитый артиллерийскими снарядами, перетащили через косу под градом пуль, то и дело рвавшихся около гранат. Какой-то солдат стал было кувыркаться, кланяясь первой пролетевшей пуле.

— Знакомую встретил?.. Ну, поклонись ей еще раз на прощанье... Больше, брат, с ней не увидишься... — Срам перед турецкой пулей голову клонить!.. Вот как надо стоять под огнем, видишь?

И пока другие тащили лодки — Скобелев стоял в самом опасном месте, куда больше всего был направлен огонь с неприятельского берега... Пули у самых ног его впивались в землю, другие около головы сбивали ветви с листьев — он и не двигался.

— Зачем вы это? — спросили у него.

— Нужно было спасать лодки... Солдаты спешили бы слишком и ничего бы не сделали. Ну а тут видят, генерал стоит впереди. Позади-то им и работать легче... Не так страшно. Чего-де им бояться, если я не боюсь — везде пример нужен!

— Ну, убило бы... И в каком пустом деле...

— Я не привык делить дела на пустые и не пустые. Всякое, за которое я берусь, — серьезно для меня... А если молодые солдаты заметят, что генералы шкуру берегут, так и они на свою тоже скупиться станут.

VI

Через несколько дней после этого генерал начал делать свои знаменитые опыты, стараясь переплыть Дунай верхом.

— Неужели вы не боитесь? — обратился к нему один новичок военного дела — в дипломатическом мундире.

— Видите ли, душенька, вы имеете *право* быть трусом, солдат — *может* быть трусом, офицеру, ни чем не командующему, инстинкты самосохранения извинительны, ну а от ротного командира и выше трусам нет никакого оправдания... Генерал-трус, по-моему, анахронизм, и чем менее такие анахронизмы терпимы — тем лучше. Я не требую, чтобы каждый был безумно храбрым, чтобы он приходил в энтузиазм от ружейного огня. Это — глупо! Мне нужно только, чтобы всякий исполнял свою обязанность в бою!

Представители канцелярского режима в армии и блестящая плеяда парадных гениев и кабинетных мудрецов никак не могла помириться с красивым, полным обаяния мужеством молодого генерала... Когда он стоял под огнем в своем белом кителе, на белом боевом коне, когда он, казалось, вызывал самую смерть, находя величайшее наслаждение в этом постоянном презрении к опасностям, в этом сознании себя человеком мыслящим, владеющим собою среди ада, в истребительном вихре оргии, которую мы называем войной, когда он сам точно напрашивался на неприятельский огонь — его тогда упрекали в рисовке, в желании щегольнуть своим удальством. Этим господам было

невдомек, что гораздо лучше щеголять храбростью, чем громогласно провозглашать, нося военный мундир, фразы вроде: «я удивляюсь мужеству, но не понимаю его», «пускай умирают другие — а я уж покорный слуга», «отвага и глупость идут рука об руку». Гораздо лучше быть примером самоотвержения для солдат и для молодых офицеров, показывать, что генерал, командующий отрядом, как и офицер, которому поручена рота, — должны прежде всего забыть о себе самом... Даже красивость этой отваги, если позволено будет так выразиться, умение быть изящным в огне — производит гораздо сильнейшее впечатление на окружающих, чем столь же почтенная, спокойная и простая храбрость, присущая вообще нам, русским. И когда Скобелев, таким образом, появлялся уже в начале прошлой войны под огнем, впереди, всегда веселый, разодетый, вдохновенный, лучезарный, как выразился о нем один из его поклонников, — мокрые курицы клохтали.

— К чему эта рисовка, к чему... Он просто хочет доказать, что недаром получил у халатников свои кресты!

В это же самое время наиболее простодушная и наиболее проницательная часть армии (ребенка и солдата — не надуешь) относилась к опальному герою совершенно иначе. Она отдавала ему справедливость и в молодом орленке, только что еще расправлявшем свои сильные крылья, уже угадывала будущего гениального полководца... Я помню раз, мы шли вечером по лагерю близ Журжева. Из одной tent-abri[1] раздавался говор. Вдруг послышалось имя Скобелева.

— Постойте... Это очень интересно узнать, что обо мне говорят солдаты.

— А если бранятся?..

— Тем лучше... Это хороший урок. Вы не думайте. Солдаты очень проницательны при всем своем простодушии... Это такие нелицеприятные и неумолимые судьи!.. Несмотря на то, что этих судей держат в ежовых рукавицах!

— Да и дерут даже!

— Только не у меня! — вспыхнул он. — Я скорее расстреляю солдата, чем высеку его. Нет ничего более унизительного!

А в палатке, действительно, шел разговор о генералах.

— Нет, брат, Скобелев это настоящий... Он, брат, русской природы. Он, что твой кочет, красуется!

— Ну, уж и кочет!

— Известно. Храбрее кочета птицы нет. Ты видал, как кочеты дерутся... Они, брат, это ловко... И нарядные же... Кочет, брат, никого не боится. Потому он и красуется... Петух, брат, зорок — он свет сторожит!

---

[1] Военная палатка, открытая с двух сторон, где можно только лежать и сидеть.

— А наш-то? — и при этом солдат назвал своего генерала.

— Наш — дудка!

— Как дудка?

— А так... Возьми ее, кто хошь, дуди с одного конца, а с другого она разговаривать будет... Настоящая дудка. А ен, брат, петух... Петух свет любит, как свет увидит, сейчас и кричит и всех разбудит...

В другой раз поздно вечером пришлось нам идти по Зимнице.

Опять — послышался отрывочный говор, солдаты ссорились с кабатчиком.

— Вот ты сидишь при всей своей глупости, а мы пойдем да Скобелеву и скажем!

— А што мне Скобелев?

— Скобелев... Ты думаешь, он спрашиваться станет?

— И чего же он мне сробит?

— Возьмет тебя, да и под расстрел, чтобы ты православных воинов не грабил!

— А плевать я хочу на вашего Скобелева! — разозлился жид.

— Ты — плевать?.. Ах ты, подлое семя!.. Да ты знаешь, кто Скобелев-то?

И началась баталия... Солдаты от слов перешли к жестам, послышался гвалт избиваемого еврея...

— Нет, брат, мы за Скобелева постоим... Он нас в обиду не даст, а уж и мы его не оставим... Будь спокоен!

И для вящего спокойствия Израиля — они уже совсем набросились на него.

Разумеется, М. Д. не похвалил солдат за самоуправство в этом случае, как и потом он с негодованием относился ко всякому самосуду.

Мне поневоле приходится писать отрывочно. Это не биография, а воспоминания; их никак не подведешь под одну систему. Нужно разбрасываться, рассказывать, перескакивать с одного на другое. Говоря об отношении Скобелева к солдатам, нельзя упустить того, с какою настойчивостью он развивал в них чувство собственного достоинства. Он в этом отношении гордился ими — и было, действительно, чем гордиться. Я не могу забыть одного случая, когда Скобелев остановил любимого из своих полковых командиров, ударившего солдата.

— Я бы вас просил этого в моем отряде не делать... Теперь я ограничиваюсь строгим выговором — в другой раз должен буду принять иные меры. — Тот было стал оправдываться, сослался на дисциплину, на глупость солдата, на необходимость зуботычин.

— Дисциплина должна быть железною. В этом нет никакого сомнения, но достигается это нравственным авторитетом на-

чальника, а не бойней... Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою родину, а вы этого защитника, как лакея, бьете!.. Гадко... Нынче и лакеев не бьют... А что касается до глупости солдата, то вы их плохо знаете... Я очень многим обязан здравому смыслу солдат. Нужно только уметь прислушиваться к ним...

Когда впоследствии Скобелев командовал дивизией — он одного полкового командира, только что назначенного к нему, прямо выгнал за то, что тот в интересах дисциплины стал с первого дня культивировать солдатские зубы.

— Мне таких не надо... Совсем не надо... Отправляйтесь в штаб — писарей бить. У меня боевые полки к этому не привыкли!

И действительно — дух был поднят до такой степени, что когда при переходе от Плевны к Шейнову одного солдата за что-то хотели высечь, тот прямо явился к Скобелеву.

— Чего тебе?

— К вашему превосходительству... Меня полковник*** хочет высечь!

— Ну?

— Прошу милости — прикажите суду предать!

— За что это тебя?

Тот сказал.

— По суду тебя расстреляют. И наверное расстреляют!

— Все под Богом ходим... И так каждый день под расстрелом бывал... А ежели меня так обидят — так я и сам с собой порешу!.. Прикажите под суд!..

— Вот это солдаты! — радовался потом Скобелев. — Вот это настоящие... То, что мне нужно. Смерти не боятся, а боятся позора!

Его корпус всегда отличался таким духом. В мирное время он умел еще выше поднять в солдате сознание собственного достоинства. Какая трудная задача предстояла новому командиру этого корпуса... И как велика будет его нравственная ответственность, если он не сумел поддержать того же... Скобелев по долгу и *по-товарищески* (я нарочно подчеркиваю это слово) разговаривал с солдатами, и едва ли где-нибудь была так сильна власть офицеров, так строга дисциплина, как у него... Это был не из тех генералов, которые любят свои войска, когда те находятся от них на приличном расстоянии и кричат «ура»... Напротив, изнеженный, избалованный, брезгливый Скобелев — умел жить одною жизнью с солдатом, деля с ним грязь и лишения траншей, и так жить, что солдату это даже нисколько и удивительно не было...

— Видать сейчас, что от земли он! — говорили про него солдаты.

— Как это от земли? — спрашиваю я.

— А так, что дед его землю пахал... Вот и на нем это осталось... Он нас понимать может... А те, которые баре, тем понимать нас нельзя... Те по-нашему и говорить не могут...

А между прочим, «попущения» в его отряде никому не было. Товарищ в антрактах, на биваке, в редкие периоды отдыха — он во время дела являлся суровым и требовательным до крайности. Тут уже ничему не было оправдания... Не было своих, не было и чужих. Или нет, виноват, своим — первая пуля в лоб, самая труднейшая задача, самые тяжкие лишения.

— Кто хочет со мной — будь на все готов...

Удивлялись, что он дружился с каждым офицером. Еще бы. Прапорщик, по-товарищески пивший вино за одним столом с ним — на другой день умирал по его приказанию, подавая первый пример своим солдатам. Дружба Скобелева давала не права, а обязанности. Друг Скобелева должен был следовать во всем его примеру. Там, где постороннего извиняли и миловали — другу не было ни оправдания, ни прощения...

VII

Меня лично Скобелев поражал изумительным избытком жизненности. Я знал после только старика С. И. Мальцева — являвшего такой же излишек силы, энергии, инициативы во всем. Скобелев был инициатор по преимуществу. С быстротой и силой паровика он создавал идеи и проекты в то время, когда не дрался. Собственно говоря, я решительно не могу понять, когда он отдыхал. Отмахав верст полтораста в седле — карьером, сменив и загнав при этом несколько лошадей, он тотчас же принимал донесения, делал массу распоряжений, требовавших не утомленного ума, а быстроты и свежести соображений, уходил в лагери узнать, что варится в котлах у солдат, мимоходом проверял аванпосты и, наконец, закончив все это — или садился за книги, которые он ухитрялся добывать при самых невозможных условиях, и всегда серьезные, требовавшие напряжения мысли — или с энергией глубоко убежденного человека, которому дороги его принципы, вступал в спор с Куропаткиным, со мною, с приехавшим к нему товарищем. Он приводил при этом в доказательство высказанного им тезиса целый арсенал исторических фактов, поименовывал безошибочно цифры, года и имена, указывал литературу данного вопроса. Нельзя было этого, он являлся к молодым офицерам и под видом шутки начинал учить их тому или другому таинству военного дела... Это не был сухой ум, весь ушедший в свое дело. Напротив — и тут избыток жизненности выручал его. Я думаю, все близкие ему люди помнят обеды у Михаила Дмитриевича, где он развертывался весь в тесном кружке товарищей, умея отзываться

на серьезный вопрос серьезно, на шутку шуткой, занимая окружающих мастерскими рассказами, полными юмора, метких определений, наблюдательности... Одному он был чужд всегда — сентиментальности. Ее — он ненавидел, над людьми, «зараженными» ею — тешился. Это, впрочем, будет видно из последующего нашего рассказа. Когда на такой обед попадал кто-нибудь из фазанов (военный хлыщ в малом чине, но облеченный в яркий мундир и притом «свободный от ума» — определялся этим именем), Скобелев умел весьма тонко и как будто незаметно заставить его высказаться. Помимо всяких намерений медведь начинал плясать — показывая смеющейся публике все свои штуки и фокусы... И чем глупее были они — тем лучше чувствовала себя аудитория, состоявшая из загнанных армейцев. Являлось некоторое чувство нравственного удовлетворения. Разница — была не в пользу птицы, оперенной столь ярко и красиво. Когда подобный обед делался на боевой позиции или в траншее — фазану предстоял еще десерт, очевидно, вовсе им не предусмотренный...

— Вы хотели осмотреть положение неприятеля? — вкрадчиво и мягко предлагал генерал.

Или:

— Вас, кажется, интересуют траншейные работы турок? — ласково-заманчиво обращался он к бедному фазану.

Неосторожная птица, счастливо улыбаясь, подтверждала все это.

— Ну, генерал сейчас в холодильник его! — шептали адъютанты.

И действительно, Скобелев брал пернатое под руку и выводил... на открытое место между нашими и турецкими траншеями, часто сближавшимися шагов на 300 или даже на 150. Полоса эта обстреливалась постоянно.

— Это что такое... это, кажется, пули?.. — трепетал несчастный фазан. — Свищут как они. Однако тут и убить могут...

— Да! — равнодушно ронял Скобелев и медленно проводил его по «райской дороге». Райской потому, что, идя по ней, легко было попасть в рай. Представляю читателю судить о впечатлениях новичка. С выдерживавшим такой искус Скобелев тотчас же мирился, и он делался своим в его кружке. В конце концов он довел дело до того, что фазаны стали осторожны и, несмотря на глупость этих птиц, перестали являться к нему на боевые позиции...

С каждым новым подвигом — росла к нему и вражда в штабах.

Особенно — прежние товарищи. Те переварить не могли такого раннего успеха, такого слепого счастья — на войне. Они остались капитанами, полковниками, когда он уже сделал самую

блестящую карьеру, оставив их далеко за собою. Когда можно было отрицать храбрость Скобелева, это ничтожнейшее из его достоинств, — они отрицали ее. Они даже рассказывали примеры изумительной трусости, якобы им обнаруженной. Когда нельзя было уже без явного обвинения во лжи распускать такие слухи — они начали удальство молодого генерала объяснять его желанием порисоваться, но в то же время отмечали полную военную бездарность Скобелева. Когда и это оказалось нелепым — они приписали ему равнодушие к судьбе солдата. «Он пошлет десятки тысяч на смерть — ради рекламы. Ему дорога только своя карьера и т. д.». Явились легенды о том, как там-то он нарочно не подал помощи такому-то, а здесь опоздал, чтобы самому одному закончить дело, тут — радовался чужому неуспеху... Корреспонденты английских, американских, французских, итальянских и русских газет — отдавали ему справедливость. Мак-Гахан, Форбс, Бракенбури, Каррик, Гаввелок, Грант — помещали о нем восторженные статьи. Что ж из этого — они были им подкуплены! Когда, наконец, военные агенты дружественных нам держав, видевшие Скобелева на деле, стали отзываться о нем как о будущем военном гении — и на это тотчас же нашлись объяснения. Они, видите ли, хотели, чтобы Скобелев представил их к тому или другому ордену, и т. д. Удивительно только, как они, эти жаждущие отличий иностранцы, не хвалили именно тех, кто их украшал всевозможными крестами. В конце концов — враги генерала даже во время ахалтекинской экспедиции злорадно поддерживали слухи — о том, что Скобелев в плену, Скобелев разбит, и замолчали только после ее блестящего окончания. Тут уже говорить было нечего, зато — над его трупом, в тот момент, когда кругом все, кому дорого русское дело, были потрясены, — эти господа живо записались в друзья к безвременно погибшему генералу.

Я сам помню эти фразы:

— Мне особенно чувствительна эта потеря! Меня так любил покойник!..

— Мы с ним на «ты» были... Только я один понимаю всю великость этой потери...

— Я хороню своего лучшего друга!

Господи! Какая насмешливая улыбка показалась бы на этих бескровных, слипшихся губах, если бы они могли еще смеяться, какой бы гнев загорался в глазах генерала при этих лобызаниях иудиных, столь обильно сыпавшихся на его холодное и гордое чело, прекрасное даже и после смерти...

И тут же рядом, в виде сожаления, проскальзывали довольно ядовитые намеки.

— Так ли ему умереть следовало!.. Ему бы нужно было пасть в бою — впереди своих легионов!

О, что за дело до того, как человек умер! Важно — как он жил и что он сделал... А до того, как умер — не все ли равно. Поздние сожаления не воскресят его...

После ахалтекинской экспедиции, когда нельзя было уже безнаказанно распускать слухи о бездарности генерала, во-первых, потому, что на самих рассказчиков начинала падать неблаговидная тень, а во-вторых, потому, что легковерных слушателей больше не оказывалось, — являлись иные приемы уронить его в общественном мнении. Скобелев оказывался честолюбцем...

— У него рот теперь так разинут, что не найдется куска, который бы удовлетворил его аппетиту...

Другие приписывали ему замыслы всемирного деспота. Со слов немецких газет, указывали в нем — вернейшем народнике — Наполеона... Глупость за глупостью рождались и быстро расходились в обществе, привыкшем обо всем узнавать по слухам, верить сплетне, не умеющем отличать клеветы от правды.

Когда за завоевание Ахал-Текке его произвели в полные генералы и дали ему Георгия 2-й степени, Скобелев даже сделался мрачен. Это сохранилось и потом, когда он вернулся из экспедиции в Россию.

— Меня они съедят теперь! — говорил он мне...

— Скверный признак, слишком уж много друзей кругом... Враги лучше, тех знаешь и каждый ход их угадываешь... С друзьями не так легко справиться...

Надеюсь, читатели простят мне это отступление...

На меня покойный при первом нашем знакомстве произвел обаятельное впечатление.

Как в каждом крупном человеке, в нем и недостатки были крупные, но они стушевывались, прятались, когда он принимался за дело. Избалованный, капризный, как женщина, гордый сознанием собственного превосходства — он умел делаться приятным для окружающих его, так что они просто влюблялись в эту боевую натуру... Самый лучший суд есть суд подчиненных. Только эти беспристрастны, только они умеют верно определять личность — чуть ли не ежедневно сталкиваясь с нею. От них не спрячешься, их не надуешь, а эти судьи были все на стороне Скобелева... Они умели отличать раздражительность человека, несущего на себе громадную ответственность, работающего за всех, от сухости сердца и жестокости. Они прощали Скобелеву даже несправедливости, зная, что он первый осознает их и покается... Они не завидовали его любимцам, понимая, что, чем ближе к нему, тем было труднее... Люди, рассчитывавшие вкрасться к нему в доверие, чтобы обделать свои личные делишки — глубоко ошибались. Он видел их насквозь и умел пользоваться ими, их способностями вполне. Человек такого воспи-

тания и среды, к каким он принадлежал, иногда поневоле терпит около себя шутов — но эти шуты у него не играли никакой роли. Напротив!

— Его не надуешь. Он сам всякого обведет! — говорили про него.

— Он тебя насквозь видит. Ты еще задумал что — а он уж тебя за хвост держит и не пущает! — по-своему метко характеризовали солдаты проницательность Михаила Дмитриевича.

Человеку, полезному его отряду, его делу — он прощал все, но зато уж и пользовался способностями подобного господина. В этом отношении покойный был брезглив.

— Всякая гадина — может когда-нибудь пригодиться. Гадину держи в решпекте, не давай ей много артачиться, а придет момент — пусти ее в дело и воспользуйся ею в полной мере... Потом, коли она не упорядочилась, — выброси ее за борт!.. И пускай себе захлебывается в собственной мерзости... Лишь бы дело сделала!

Теория, пожалуй, несколько иезуитская, но в сложном, военном деле — действительно, всякая полезность на счету... В сущности, лазутчик военного времени и шпион — мирного, профессии одинаковые. Более подлое занятие трудно найти. А между прочим, и теми, и другими пользуются. Но если честное правительство гнушается сыщиками и шпионами мирного режима и только в самой отчаянной крайности прибегает к их неопрятным услугам, лазутчики военные — являются необходимостью при всех условиях.

— Уж на что гадина, а нужна! — говорил Скобелев и хоть сам никогда не входил в прямые сношения с этими господами, но был на чеку и знал движения противника и условия местности, где ему приходилось действовать...

— В мирное время, где не грозит прямая опасность моим солдатам, я бы эту сволочь разом выкинул!

В военное — она была нужна!..

VIII

Умение пользоваться людьми у Скобелева было поразительно.

Приехал к нему какой-то румынский офицер.

Во всех статьях, как следует, бухарестский джентльмен. Бриллиантовая серьга в ухе, зонтик от солнца в руках, талия, затянутая в корсет, на щеках — румяна... Блестящий мундир, шпоры звонящие, как колокола, на лице — пошлость и глупость неописанная. Оказалось — отпрыск одной из знаменитых фамилий, в гербе которых окорок, потому что родоначальник когда-то торговал свиньями и за успешное разведение этих полезных животных возведен в дворянское румынского княже-

ства достоинство. Шаркал, шаркал этот франт перед Скобелевым... На шее у него громадный Станислав, такой, какой носят на лентах сбоку. Точно икона...

— Нарочно заказал! — наивно признался этот Иоанеску или Попеску — не помню. — По собственному рисунку... Ваш — мало заметен...

Вид у него был столь внушителен, что солдаты на первых порах приняли его было за самую «Карлу Румынскую», так они называли тогда князя.

Я диву дался, чего Скобелев возится с этим франтом.

Оказалось, что франт еще во время мира целые годы жил в придунайской Болгарии — и сообщал массу интересных сведений о ней генералу, а потом этот блестящий представитель нарумяненного и затянутого в корсеты молдаванского дворянства — стал самым преданным поставщиком даже для солдат. Он и сапоги покупал в Румынии для нас, и другие вещи. И все это безвозмездно, только ради того, чтобы в свое время похвастаться дружбой со Скобелевым. А под Плевной этот же знаменитый потомок мудрого свинопаса, желая постоять за честь своего герба (золотой окорок на голубом поле), оказал чудеса храбрости — отправляясь то туда, то сюда по приказанию Скобелева.

— Вот, братцы — румын-то каким молодцом идет! — кидал своим Скобелев. — Нам-то, кажется, и стыдно пускать его вперед!

И те, действительно, бросались, чтобы не оставить за румыном чести первой встречи с неприятелем.

Служил у Скобелева под началом некий, невидный, ныне уже отправившийся ad patres[1] генерал.

Фальстаф с подчиненными — он был притчей во языцех. Трусоватый по природе, пуще всего дрожавший за свою собственную жизнь, он тем не менее любил хвастаться мужеством и отвагой.

— Я и Скобелев, мы со Скобелевым! — только и говорил он.

— Знаете, я только в Скобелеве признаю опасного себе соперника!.. Как вам кажется, кто храбрее, я или Скобелев? — неожиданно обращался он к своему адъютанту.

Если тот уже обедал и не желал пообедать вновь, то отвечал:

— Разумеется, Скобелев!

— Не угодно ли вам отправиться домой и проверить, все ли бумаги и ответы готовы!..

И адъютант уходил спать. Если же он был голоден или на кухне у Фальстафа готовилось что-нибудь уж очень вкусное, то ответ следовал совершенно иного свойства.

---

[1] К праотцам (*лат.*).

— Знаете, ваше-ство, это еще вопрос — храбрее ли вас Скобелев... У него слишком пылкая отвага... Вы другое дело...

— Послушайте, юноша... Вы уже обедали?..

— Нет еще... Скобелев слишком бросается вперед... Тогда как вы...

— Вот что, оставайтесь-ка вы у меня обедать... Ну, так что же я?.. Говорите, не стесняйтесь... Я люблю слышать о себе правду!

— Вы именно — вождь...

— Семен... Подай бутылку красного вина на стол, знаешь того, которое я привез из Бухареста. Так я вождь?

— Да... Вы ничего не боитесь, но спокойно в убийственном огне располагаете ходом боя...

— Семен... К концу обеда, пожалуйста, захолоди нам бутылочку шампанского...

Адъютант делался еще серьезнее и еще искреннее начинал хвалить своего генерала.

Раз этот Фальстаф сам себя живописал так.

— Я, знаете, стоял в огне... Гранаты падают и здесь, и там, и передо мной, и позади меня, и направо, и налево... Падают и все рвутся... А я, знаете, засмотрелся на картину боя и (замирающим голосом) так увлекся, что даже забыл о своем положении. В это время проезжает мимо Скобелев... Генерал обращается ко мне: «Я вам удивляюсь... Неужели вы не боитесь — мне жутко!..» В это время прямо перед носом у меня (каков нос!) лопается граната... Михаил Дмитриевич — вот мой ответ! Это я ему...

— Что же Скобелев?

— Молча пожал мне руку, вздохнул и поехал!..

Разумеется, шутники и насмешники рассказывали об этом Скобелеву, тот сам от души смеялся, но стал вдвое любезнее с Фальстафом...

— В первом бою он мне за свое хвастовство сослужит службу! — замечал он между прочим.

— Мы с вами, генерал, понимаем друг друга! — обращался к нему Скобелев.

Фальстаф рдел от восхищения.

— Мы — боевые, нам не в чем завидовать друг другу... Так... Скорей даже я вам позавидую!

— О, помилуйте, ваше-ство, что ж тут считаться!

— Разумеется!

И Скобелев лукаво улыбался в усы... И действительно, в первом бою — он подозвал несчастного и приказал ему вести вперед на редут свои войска.

— Покажите им, как мы с вами действуем... Замените меня!

И тот дрался, как следует, одушевляя солдат.

«Соперничество родит героев!» — подшучивал потом генерал между своими...

— Ну, что вы? — встретил он потом вернувшегося с боя льва.

— Я сегодня собой доволен! — величественно произнес тот.

— Это ваша лучшая награда!.. — сочувственно вздохнул Скобелев, но тем не менее, кажется, ни к чему его не представил.

— Могу сказать, я видел ад...

— И ад видел вас...

Генерал не выдержал, прослезился и бросился обнимать Михаила Дмитриевича.

Другой уже под Брестовцем, тоже куда какой храбрый на словах, на деле всякий раз, как только предполагался бой, сейчас же начинал снабжать кухню Скобелева необыкновенными индейками или какой-то особенно вкусною дичью...

— *** прислал вам молочных поросят...

— И вместе — рапорт о болезни? — с насмешливым участием спрашивал Скобелев.

— Точно так-с...

— Скажите ему, что завтра он может не приезжать на позицию...

Что и требовалось доказать, — как прежде исправные ученики оканчивали изложение какой-нибудь теоремы.

— *** приказал кланяться и прислал вам гусей и индюка!

— Бедный, чем он болен?

— Индюк-с? — изумлялся посланный.

— Нет — генерал!

— Здоровы-с...

— Ну, так к вечеру верно заболеет!

И, действительно, ординарец вечером привозил рапорт о болезни ***.

— У него большая боевая опытность, — смялся Скобелев. — Он как-то нюхом знает, когда предполагается дело. Его не надуешь...

— Зачем же держать таких?.. — спрашивали у генерала.

— А по хозяйственной части он незаменим! Я всю ее свалил на него — и отлично сделал... Посмотрите, как он ведет ее... В лучшем виде... И ведь старается... Вдвое против других старается... Отряд всегда поэтому обеспечен... Будь он не так часто «подвержен скоропостижным болезням» — наверное солдаты хуже бы ели... Ну, и пускай его болеет, Господь с ним...

Другой — майор, совершенно соответствовавший идеалу армейского майора, с громадным брюхом, вечно потный, точно варившийся в собственном бульоне, имел георгиевский крест, солдатский; так он нарочно спрятал его даже. Ни разу не надевал.

— Зачем вы это?

— Да как же... Я по хозяйственной части... А вывеси-ка Георгия... Вы знаете жадность Скобелева на георгиевских кавалеров?..

— Ну?

— Он сейчас в бой пошлет... Благодарю покорно... Я человек сырой!

И кто поверит, что этот трус был любимцем Скобелева?!

А между прочим, это было так... Потому, что никто другой не обладал подобною гениальностью добыть для целого отряда продовольствия в голодной, давно уже объеденной местности... Там, где, казалось, не было клочка сена, «храбрый майор» находил тысячи пудов фуражу...

— Сегодня вечером будет у нас маленькая пиф-пафочка!.. — незаметно улыбался Скобелев. — Вот, майор, вам случай получить Владимира с мечами...

— Да, — вспыхивал и начинал потеть майор. — Только у казаков сена нет... А у суздальцев — хлеба!

— Ну-с?..

— А я тут нашел в одном месте!

— Так и отправляйтесь и заготовьте!

Дело кончалось к обоюдному удовольствию. Майор избавлялся от ненавистной ему пиф-пафочки, а суздальские солдаты и казацкие кони наедались до отвалу.

IX

Скобелев любил войну, как специалист любит свое дело. Его называли «поэтом меча», это слишком вычурно, но что он был поэтом войны, ее энтузиастом — не подлежит никакому сомнению. Он сознавал весь ее вред, понимал ужасы, следующие за нею. Он, глубоко любивший русский народ, всюду и всегда памятовавший о крестьянине — жалком, безграмотном и забитом, смотрел на войну, как на печальную необходимость. В этом случае надо было отличать в нем военного от мыслителя. Не раз он высказывал, что начинать побоища надо только с честными целями, тогда, когда нет иной возможности выйти из страшных условий — экономических или исторических. «Война — извинительна, когда я защищаю себя и своих, когда мне нечем дышать, когда я хочу выбиться из душного мрака на свет Божий. Раз став военным — он до фанатизма предался изучению своей специальности. В настоящее время едва ли из германских генералов кто-нибудь так глубоко, так разносторонне знал военное дело, как знал его Скобелев. Он, действительно, мог быть щитом России в тяжелую годину испытаний, он бы стал на страже ее и в силу любви своей к войне — пошел бы на нее не с фарисейскими сожалениями, не с сентиментальными оправданиями — а с экстазом и готовностью. Никто в то же время не знал так близко, во что обходится война.

— Это страшное дело! — говорил он. — Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней, крайней необ-

ходимости... Никакое легкомыслие в этом случае — непростительно... Черными пятнами на королях и императорах лежат войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов. Но еще ужаснее, — когда народ, доведя до конца это страшное дело, — остается неудовлетворенным, когда у его правителей — не хватает духу воспользоваться всеми результатами, всеми выгодами войны. Нечего в этом случае задаваться великодушием к побежденному. Это великодушие за чужой счет, за это великодушие не те, которые заключают мирные договоры, а народ расплачивается сотнями тысяч жертв, экономическими и иными кризисами. Раз начав войну — нечего уже толковать о гуманности... Война и гуманность не имеют ничего общего между собою. На войну идут — тогда, когда нет иных способов. Тут должны стоять лицом к лицу враги, — и доброта уже бывает неуместна. Или я задушу тебя, или ты меня. Лично иной бы, пожалуй, и поддался великодушному порыву и подставил свое горло — души. Но за армией стоит народ, и вождь не имеет права миловать врага — если он еще опасен... Штатские теории тут неуместны... Я пропущу момент уничтожить врага — в следующий он меня уничтожит, следовательно, колебаниям и сомнениям нет места. Нерешительные люди — не должны надевать на себя военного мундира. В сущности, нет ничего вреднее и даже более — никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну — должен добить врага, чтобы вслед за одной войной тотчас же не начиналась другая...

— Таким образом, если война так ужасна, то следует воевать только тогда, когда неприятель явился ко мне в страну?..

— О, нет. Всякая страна имеет право на известный рост. Государство должно расширяться до тех пор, пока у него не будет того, что мы называем естественными границами, законными очертаниями. Нам, т. е. славянам, потому что, заключившись в узкие пределы только русского племени, мы потеряем все свое значение, всякий исторический raison d'être[1], так я говорю, что нам, славянам, нужны Босфор и Дарданеллы, как естественный выход к морю, иначе, без этих знаменитых проливов, несмотря на весь наш необъятный простор — мы задохнемся в нем. Тут-то и следует раз навсегда покончить со всякою сентиментальностью и помнить только свои интересы. Сначала — свои, а потом можно подумать и о чужих... Наполеон великий — отлично понимал это... Он неспроста открыл свои

---

[1] Смысл (*фр.*).

карты Александру Первому. В Эрфурте и Тильзите он предложил ему размежевать Европу...

— Да, начать войны, где потом ручьями потекла бы кровь...

— А разве потом она не разлилась морями? Он отдавал нам Европейскую Турцию, Молдавию и Валахию, благословенный небом славянский юг, с тем только, чтоб мы не мешали ему расправиться с Германией и Великобританией... Подумаешь, какие друзья!.. Это все равно, что я бы предложил уничтожить ваших злейших врагов, да еще за позволение, данное вами на это, стал бы сулить вам вознаграждение... А мы-то что сделали?.. Сначала поняли, в чем дело, — а потом начали играть в верность платоническим союзам, побратались с немцами! Ну, и досталось нам за это на орехи. Целые моря крови пролили, да и еще прольются — будьте уверены, и все придем к тому же!

— Мы тогда спасли немцев. Это, может быть, очень трогательно с точки зрения какого-нибудь чувствительного немецкого романиста, но за этот взгляд мы поплатились громадными историческими несчастиями. За него — мы в прошлую войну, имея у себя на плечах немцев и англичан, попали в гордиев узел берлинского трактата, и у нас остался неразрешенным восточный вопрос, который потребует еще много русской крови... Вот что значит сентиментальность в истории...

— Я в союзы и дружбу между народами, — говорил мне Михаил Дмитриевич, — не верю... Этот род дружбы далек от равенства... В подобных союзах и в такой дружбе — один всем пользуется, а другой за все платит, один ест каштаны, а другой вытаскивает их из огня голыми руками. Один льет свою кровь и тратит деньги, а другой честно маклерствует, будучи не прочь ободрать друга в решительную минуту... Так уж если заключать союзы — пусть в этих союзах другой будет жертвой, а не я. Пусть для нас льют кровь и тратят деньги, пусть для нас таскают из огня каштаны... А лучше всего — в одиночку... Моя хата с краю, ничего не знаю, пока меня не задели, а задели — так уж не обессудьте, свое наверстаем...

Я привожу здесь мнения Скобелева как характеристику покойного. Лично я мог разделять или не разделять эти взгляды, — все равно; дело не в том, каковы мои убеждения, а в том, что именно, по тому или другому предмету, думал один из замечательнейших людей нашего времени, даже едва ли не самый замечательный. Поэтому я и передаю их без оборота на себя.

Скобелев за войною признавал, главным образом, экономическое значение. Непосредственных причин войн бывает две. Или сравнительно высокая цивилизация народа, начинающего войну со слабым соседом и противником, причем образованный народ, уничтожая слабейшего врага, рассчитывает обогатиться на его счет, захвативши его земли, и тем улучшить свое бла-

госостояние. Так, например, были завоеваны Индия, Америка. Или, наоборот, беднейший народ нападает на высокую цивилизацию и пользуется ее плодами для улучшения своего положения. Таковы завоевания гуннов, вандалов, тевтонов, татар и т. п. Это — также принцип борьбы за существование...

Как-то у меня с ним зашел разговор о Польше.

— Завоевание Польши — вызывалось соображениями, на которые можно смотреть разно, что же касается до ее раздела, то я громко признаю это — братоубийством, историческим преступлением... Правда, русский народ был чист в этом случае. Не он совершил это преступление, не он и ответствен. Повторяю вам, во всей нашей истории я не знаю более гнусного дела, как раздел Польши между немцами и нами... Это Вениамин, проданный братьями в рабство!.. Долго еще русские будут краснеть за эту печальную страницу из своей истории. Если мы не могли одни покончить с враждебной нам Польшей — то должны были приложить все силы, чтобы сохранить целостным родственное племя, а не отдавать его на съедение немцам.

Впоследствии — он то же самое повторял г. Пушкареву, который записал выводы Скобелева со стенографическою точностью. Я привожу из них те, которые приходилось слышать и мне самому. Они так или иначе, но рисуют Михаила Дмитриевича чрезвычайно цельным человеком. Этот — если чему отдавался, так безоглядно и, высказывая что-либо, не прибегал к извинениям, недомолвкам. Он не боялся самого крайнего развития своей мысли, лишь бы это делалось логически. В нем было именно ценно то, что он всегда прямо, ребром ставил вопросы, очень мало обращая внимания на то, как они в данную минуту будут приняты обществом или властью... В этом была разгадка его силы, в этом было его значение как знамени для наших народников. С его смертью — они потеряли знамя, потеряли вождя...

Вот что он не раз повторял мне, да и всем, с кем по делу приходилось ему спорить и высказываться.

Ему не раз доказывали полную невозможность войны в настоящее время. Он часто возвращался к этому вопросу и разбирал все возражения.

«Спросят, говорил он, как же вы будете воевать, когда у вас денег нет, когда ваш рубль ходит 62 копейки за 100? Я ничего не понимаю в финансах, но чувствую, что финансисты-немцы тут что-то врут».

«В 1793 году финансы Франции были еще и не в таком положении. Металлический 1 франк ходил за 100 франков кредитных. Однако Наполеон, не имея для солдат сапог, одежды, пищи, пошел на неприятеля и не только достал сапоги, одежду и пищу для солдат, но и обогатил французскую казну, а курс свой поднял опять до 100 и даже за 100. При Петре Великом

мы были настолько бедны, что после сражения под Нарвой, когда у нас не было орудий, нам пришлось колокола переливать на пушки. И ничего! После Полтавского боя все изменилось, и с тех пор Россия стала великой державой».

«А покорение России татарами?.. Что ж вы думаете, они покорили Россию потому, что курс их был очень хорош, что ли? Просто есть нечего было, ну, и пошли и завоевали Россию, а Россию завоевать не шутка!»

«Я не говорю: воевать теперь. Пока еще наш курс 62 копейки, можно и погодить, но немцы долго ждать не заставят и живо уронят его. Вот тогда будет пора!»

«Еще я не понимаю, зачем нам на войну деньги? На нашей земле кредитный билет ходит рубль за рубль. Мы верим прочности нашего государственного устройства, и пусть у нас пишут деньги хоть на коже, мы им поверим, а в деле кредита это все, что требуется».

«Если бы Бог привел нам перенести войну на неприятельскую территорию, то враг должен за честь считать, ежели я ему заплачу за что-нибудь нашим кредитным рублем. *Даже кредитные билеты я отдам с сокрушенным сердцем.* Неприятель должен нас кормить даром. И без того наш народ нищий, по сравнению с нашими соседями, а я еще буду ему платить деньги, заработанные горем, бедой и тяжким трудом рязанского мужика. Я такой сентиментальности не понимаю».

«Господа юристы утверждают, что победитель должен быть великодушен с неприятелем, и за все, что взято голодным солдатом, должно быть заплачено. Творцы берлинского договора готовы были сами обязать Россию заплатить контрибуцию, только бы доказать перед Европой, как мы великодушны».

— Господи! Как вспомнишь об этом, — воскликнул Михаил Дмитриевич, — так плакать хочется. Издержки войны они предоставили заплатить русскому мужику, который и без того не может управиться с недоимками и *загребущими* лапами *кулака*!

Скобелев, впрочем, сам сделал опыт такого рода во время текинской экспедиции. По словам участников в ней — все расчеты за продукты для продовольствия войска, до назначения Михаила Дмитриевича, производились на золото и серебро. Скобелев чуть не на третий день после своего приезда на место приказал все имеющиеся налицо персидские металлические деньги разменять на русские кредитные билеты, чужих денег ни в каких расчетах с казной — не принимать, а требовать у персиян русских бумажек. Затем, до него треть офицерского жалованья производилась золотом, он велел — выдавать бумажками, увеличив самое содержание, разумеется. В конце концов персы и туркмены бросились в полевые казначейства закаспийского края — просить, как милости, принять персидское серебро рубль за

рубль, хотя еще накануне давали 70 и 60 коп. металлических за наши желтенькие кредитки.

— Хорошо, — говорил Скобелев, — французским и немецким буржуа считать войну экономическою ересью, когда у них ходит монета сто за сто, когда все сыты, работы вволю, растет просвещение... но когда приходится довольствоваться хлебом с мякиной, задыхаться в неоплатных долгах, когда русскому все равно умирать ли от голода, или от руки неприятеля, то он захочет войны уже по одному тому, что умирать в бою, по понятиям народа, несравненно почетнее. При этом остается еще надежда остаться живым, победить!

— Всегда, разумеется, найдутся сытые, имеющие спокойные, обеспеченные средства к жизни, как, например, капиталисты, купцы, в особенности чиновники, получающие верное содержание. Они будут против войны, даже с потерей государственной чести, но в этих случаях следует принимать в соображение экономическое положение массы простого народа, а не обеспеченных классов, питающихся невежеством, добродушием и слабостями. Впрочем, — прибавил Скобелев, — русские, в большинстве, так созданы, что когда вопрос коснется нашей государственной чести, то даже эти сытые классы охотнее в тяжкую годину пойдут на жертвы, чем поступятся честью. Они будут ворчать на расстройство дел и все-таки принесут свой грош! — Привожу рассуждения покойного «без оборота на себя». Это делать приходится поневоле, я не могу забыть, как мне приписывали всевозможные глупости, вроде проекта образования Болгарской губернии, в котором я столько же повинен, сколько в Иродовом избиении младенцев.

X

Для Скобелева, действительно, каждое дело, которое он брал на себя, было серьезным. В этом отношении он не различал малых и незначительных от больших. К задуманному предприятию, хотя бы оно и выходило из пределов его специальности, он готовился долго и пристально и затем, если начинал его, то уж до мельчайших подробностей знакомый с условиями данной среды. Как-то М. Д. заинтересовался вопросами о путях сообщения в России, о железных дорогах и каналах — не прошло нескольких недель, как он уже посрамил неожиданно наткнувшегося на него путейца, предложившего было Скобелеву поддержать какой-то, совсем невозможный проект. При этом Скобелев побил его — его же оружием, техническими соображениями, вычислениями и т. д. Недоверявший никому в деле знания — он любил везде и всюду быть хозяином: не отступал при этом ни перед трудностью изучения, ни перед затратою времени. Если бы его назначили обер-прокурором Синода —

я убежден, через месяц он явился бы перед его святыми отцами во всеоружии знаний канонического права, монастырских и иных, подходящих к этому случаю уставов. После крайне трудного перехода к Бии, по пути к Зимнице, — я застал его в каком-то сарае румынского помещика. Скобелев бросился на сено и вытащил из кармана книгу.

— Неужели вы еще работать будете? У нас у всех — руки и ноги отнялись от утомления!

— Да как же иначе?.. Не поработаешь — так и в хвост влетит потом, пожалуй!

— Что это вы?

— А французского сапера одного, — книжка о земляных работах!

— Да вам зачем?

— Как зачем? — изумился Скобелев.

— Ведь у вас же будут саперные команды, специально знающие дело...

— Ну, это уж не порядок... Генерал, командующий отрядом, должен сам уметь рыть землю... Ему следует все знать, иначе он и права не имеет других заставлять делать... Свой глаз нужен везде!

Во время переправы через Дунай — Скобелев, чтобы не оставаться бесполезным, взял на себя роль ординарца при генерале Драгомирове, — на которую обыкновенно назначаются прапорщики, поручики и вообще мелкотравчатая молодежь... Потом Драгомиров сам отдал справедливость Михаилу Дмитриевичу в том, что тот и ординарцем был превосходным, передавал приказания по боевой линии, водил небольшие отряды в бой, обнаружив в самом начале его — орлиный взгляд. Когда, взволнованный громадною ответственностью, лежавшею на нем, Драгомиров еще сомневался в исходе сражения — Скобелев, веселый и радостный, подходит к нему.

— Ну, поздравляю тебя с победой!

— Как?.. Да ведь еще дело в начале!

— Все равно... Ты посмотри на лица твоих солдат!

И действительно, как военный психолог, Скобелев не имел себе равного в настоящее время. Он положительно угадывал. В каждую данную минуту знал настроения масс и умел их направить, как ему вздумается. Насколько он изучил солдата, видно будет из дальнейших моих воспоминаний, но что он умел делать из него — об этом верно порасскажут и другие близкие к нему и знавшие его лица... Его сближала с солдатом, сверх того, и действительная глубокая любовь. Про Скобелева говорили, что он, не сморгнув, послал бы в бой десятки тысяч, на смерть... Это верно. Он не был сентиментален и если брался за дело, то уже без сожаления и покаянного фарисейства исполнял его. Он знал, что ведет на смерть, и без колебаний *не*

посылал, а *вел* за собою... Первая пуля — ему, первая встреча с неприятелем была его... Дело требует искупления и, раз решив необходимость этого дела, он не отступил бы ни от каких жертв... Полководец, плачущий перед фронтом солдат, потому что им сейчас же придется идти в огонь, едва ли поднял бы дух отряда. Скобелев иногда прямо говорил людям: «Я посылаю вас на смерть, братцы... Вон видите эту позицию?.. Взять ее нельзя... Да я брать ее и не думаю. Нужно — чтобы турки бросили туда все свои силы, а я тем временем подберусь к ним вот оттуда... Вас перебьют — зато вы дадите победу моему отряду. Смерть ваша будет честною и славною смертью... Станут вас отбивать — отступайте, чтобы сейчас же опять броситься в атаку... Слышите ли... Пока живы — до последнего человека нападайте»... И нужно было слышать, каким «ура» отвечали своему вождю эти, на верную смерть посылавшиеся люди!.. Это уже не покорно, поневоле умирающие гладиаторы приветствовали римского Цезаря — а боевые товарищи в последний раз кланялись любимому генералу, зная, что смерть их действительно нужна, что она даст победу... Жертва сознательная и потому еще более доблестная, еще более великодушная... Он, говорят, не любил солдата. Но ведь солдата, как и ребенка — не надуешь. Солдат отлично знает, кто его любит; а кто его не любит — тому он не верит и в свою очередь особенною признательностью не платит. Пусть мне укажут другого генерала, которого бы так любили, которому бы так верили солдаты, как Скобелеву... Они сами, глядя в эти светло-голубые, но решительные глаза и выпуклый лоб, видя складку губ, говорящую о бесповоротной энергии понимали, что там, где надо — у генерала не будет пощады, и не будет колебаний... Как хотите, в подобных случаях и я кающихся Магдалин понять не могу; слабонервные бабы в военных мундирах едва ли являются симпатичными кому бы то ни было... Тогда уходи и не служи делу, которое ты считаешь неправым, злым, вредным. Гораздо проще, честнее. Скобелев любил солдата и в своей заботливости о нем проявлял эту любовь. Его дивизия, когда он ею командовал, всегда была одета, обута и сыта при самой невозможной обстановке. В этом случае он не останавливался ни перед чем. После упорного боя, измученный, он бросался отдыхать, а часа через три уже был на ногах. Зачем? — Чтобы обойти солдатские котлы и узнать, что в них варится. Никто с такою ненавистью не преследовал хищников, заставлявших голодать и холодать солдата, как он. Скобелев в этом отношении не верил ни чему. Ему нужно было самому, собственными глазами убедиться, что в котомке у солдата — есть полтора фунта мяса, что хлеба у него вволю, что он пил водку, положенную ему. Во время плевненского сидения — солдаты у него постоянно даже чай пили. То и дело, при встрече с солдатом — он останавливал его.

— Пил чай сегодня?
— Точно так-с, ваше-ство?
— И утром, и вечером?
— Точно так-с!
— А водку тебе давали?.. Мяса получил, сколько надо?..
И горе было ротному командиру, если на такие вопросы следовали отрицательные ответы. В таких случаях М. Д. не знал милости, не находил оправданий.
Не успевал отряд остановиться где-нибудь на два дня, на три, как уже — рылись землянки для бань — а наутро солдаты мылись в них. Он ухитрился у себя в траншеях устроить баню — как ухитрился там же поставить хор музыки... Когда началась болгарская зима — отряд его был без полушубков... Интендантство — менее всего помышляло об этом. Что делать? Оказывалась крайняя нужда одеть хоть дежурные части. Полковых денег нет — купить в Румынии. Своих у М. Д. тоже не оказалось... Обратился к отцу... Но «паша», при всем своем добродушии, был скуповат...
— Нет у меня денег! Ты мотаешь... Это невозможно. Вздумал, наконец, солдат одевать на мой счет...
Через несколько дней Скобелев узнает, что в Боготу румын привез несколько сот полушубков.
— Поедемте в главную квартиру... — предложил он мне.
— Зачем?
— Полушубки солдатам куплю...
— Без денег?
— Паша заплатит. Я его подведу... — и Скобелев насмешливо улыбнулся.
Приказал ротным телегам отправиться за полушубками.
Приезжаем в Боготу... Скобелев прямо в землянку к паше.
— Здравствуй, отец! — и чмок в руку.
— Сколько? — спрашивает прямо Дмитрий Иванович, зная настоящий смысл этой сыновней нежности и почтительности.
— Чего сколько? — удивляется Скобелев.
— Денег сколько тебе надо?.. Ведь я тебя насквозь вижу... Промотался верно...
— Что это ты в самом деле... Я еще с собой привез несколько тысяч... Помоги мне купить полушубки на полковые деньги. Ты знаешь, ведь я без тебя ничего не понимаю!
На лице у отца является самодовольная улыбка. Для него такие признания знаменитого сына были праздником.
— Еще бы ты что-нибудь понимал!
— Как без рук без тебя... Я вообще начинаю глубоко ценить твои советы и указания! — И чем дальше, тем больше!
Дмитрий Иванович совсем растаял.
— Ну, ну!.. Что уж тут считаться!
— Нет, в самом деле — без тебя хоть пропадай!
— Довольно, довольно!..

Старик оделся. Отправились мы к румынскому купцу... Часа три подряд накладывали полушубки на телеги. Наложат — телега и едет под Плевну, на позиции 16-й дивизии, затем вторая, третья, четвертая. Скобелев-старик в поте лица своего возится, всматривается, щупает и нюхает полушубки, чуть не на вкус их пробует. Так увлекся этим, что даже насмешливой улыбки сына не замечает.

— Я, брат, хозяин... Все знаю... Советую и тебе научиться...

— А ты научи меня!.. — покорствует Скобелев.

Наконец, последняя телега наложена и отправлена...

И вдруг перемена декораций.

— Ну... Прощай, отец... Казак, коня!..

Вскочил Скобелев в седло... Румын к нему.

— Счет прикажете к кому послать?.. За деньгами...

— А вот к отцу... Отец, заплати, пожалуйста... Я потом отдам тебе...

Нагайку лошади — и когда Дмитрий Иванович очнулся, и Скобелев, и полушубки были уже далеко.

«Noblesse oblige»[1], и старик заплатил по счету, а дежурные части дивизии оделись в теплые полушубки. Благодаря этому обстоятельству, когда мы переходили Балканы, в скобелевских полках — не было ни одного замерзшего... Я вспоминаю только этот ничтожный и несколько смешной даже факт, чтобы показать, до какой степени молодой генерал способен был не отступать ни перед чем в тех случаях, когда что-нибудь нужно было его отряду, его солдатам...

Потом старик отец приезжал уже в Казанлык в отряд.

— И тебе не стыдно?.. — стал было он урезонивать сына.

— Молодцы! Поблагодарите отца... Это вы его полушубки носите! — расхохотался сын.

— Покорнейше благодарим, ваше-ство!..

— Хорош... Уж ты, брат, даром руки не поцелуешь... Я только не сообразил этого тогда!

Хохот стал еще громче...

У отца с сыном были и искренние, и в то же самое время чрезвычайно комические отношения... Хотя оба в одних чинах, но сын оказывался старше, потому что он командовал большим отрядом, у него был Георгий на шее и т. д. Отца это и радовало, и злило в одно и то же время...

— А все-таки я старше тебя!.. — начинал, бывало, его донимать сын.

Димитрий Иванович молчит...

— Служил, служил и дослужился до того, что я тебя перегнал... Неужели тебе, папа, не обидно?..

---

[1] «Положение обязывает» (*фр.*).

— А я тебе денег не дам... — находился, наконец, Димитрий Иванович.

— То есть как же это? — опешивает бывало сын.

— А так, что и не дам... Живи на жалованье...

— Папа!.. Какой ты еще удивительно красивый... — начинает отступать сын.

— Ну, ну, пожалуйста...

— Расскажи, пожалуйста, мне что-нибудь о венгерской кампании... Знаешь, о том деле, где ты получил Георгия... Отец у меня, господа, молодчинище... В моих жилах течет его кровь...

— А я все-таки тебе денег не дам!

Скобелев всегда нуждался. При нем никогда не было денег — а между тем швырял он ими с щедростью римских патрициев. Идешь, бывало, с ним по Бухарешту... Уличная девчонка подносит ему цветок...

— Есть с вами деньги?

— Есть!

— Дайте ей полуимпериал!..

Офицеры — тоже все к нему. Не его дивизии, совсем не знакомые, бывало... Едет, едет в отряд и застрянет где-нибудь. Денег ни копейки. К Скобелеву...

— Не на что доехать...

— Сколько же вам нужно?..

— Да я не знаю... — мнется тот.

— Двадцати полуимпериалов довольно?..

— И десяти будет...

— Возьмите!

Забывая, кто ему должен, Скобелев-сын и сам забывал свои долги. Страшно щепетильный там, где дело касалось казенного интереса, в этих случаях собственные счеты он вел тогда спустя рукава.

И эксплуатировали его при этом ужасно. Разумеется, большая часть таких пособий были безвозвратны... Когда деньги истощались — начинались дипломатические переговоры с отцом...

Зачастую — тот решительно отказывал... Тогда Скобелев-сын в свою очередь начинал злиться.

— Ты до такой степени скуп...

— Ну, ладно, ладно. На тебя не напасешься...

— Ты пойми...

— Давно понял... У меня у самого всего десять полуимпериалов осталось в кармане!

— Вот, господа... — обращается, бывало, М. Д. к окружающим, — видите, как он мне в самом необходимом пропитании отказывает!

Кругом хохочут.

— Я твоей скупости всей своей карьерой обязан...

— Это как же? — удивляется в свою очередь Скобелев-отец.

— А так... Хотел я тогда, когда закрыли университет — уехать доканчивать курс за границу, ты не дал денег, и я должен был юнкером в кавалергарды поступить. Там ты мне не давал денег, чтобы достойно поддерживать блеск твоего имени, — я должен был в действующий отряд в Польшу перейти, в гусары. В гусарах ты меня не поддерживал...

— Только постоянно твои долги платил! — как бы в скобках вставляет отец.

— Ну! Какие-то гроши... Не поддерживал... Я должен был в Тифлис перейти... В Тифлисе жить дорого — я ушел от твоей скупости в Туркестан... А потом она же меня загнала в Хиву, в Ферганское ханство...

— И отлично сделала!..

— Зато судьба тебя и покарала, судьба всегда справедлива!

— Это как же?

— А то, что я старше тебя теперь!..

— Мальчишка!

— Так не дашь денег?..

— Нет...

— Ну, так прощайте, генерал!..

И они расходились.

Он очень любил своего отца, и им был горячо любим, но такие сцены постоянно разыгрывались между ними. Сыновняя любовь его, впрочем, была совсем чужда сентиментальности. Как-то он сильно заболел в Константинополе. Недуг принял довольно опасный оборот. Скобелев-отец случайно узнает об этом. Встревоженный, он едет к сыну.

— Как же это тебе не стыдно...

— Что такое?

— Болен и знать мне не дал!

— Мне и в голову не пришло!..

Старик был очень расстроен. Скобелев-сын заметил это и извинился...

— Не понимаю, в чем моя вина? — обратился он потом к своим.

В другой раз Дмитрий Иванович приехал в зеленогорскую траншею к сыну.

— Покажи-ка ты мне позиции... Где у тебя тут поопаснее?

— Ты что ж это набальзамироваться хочешь? Или старое проснулось?

— Да что ж я даром, что ли, генеральские погоны ношу?..

И старик выбрал себе один из опаснейших пунктов и стал на нем.

— Молодец паша, — похвалил его сын, — весь в меня!..

— То есть, это ты в меня?..

— Ну, дай что-нибудь моим солдатам...

— Вот десять золотых...

— Мало...
— Вот еще пять...
— Мало...
— Да сколько же тебе?..
— Ребята... Мой отец дает вам по полтиннику на человека... Выпейте за его здоровье...
— Рады стараться... Покорнейше благодарим, ваше-ство!..
Старик поморщился, но в эту минуту ничего не сказал. Зато когда пришло время уезжать:
— Ну, уж я больше к тебе сюда не приеду!
— Опасно?
— Вот еще... Не то... Ты меня разоряешь... Сочти-ка, сколько я должен прислать сюда теперь...
— Вот... Смерти не боится, а над деньгами дрожит. Куда ты их деваешь?
— Да у меня их мало...
Потом, когда Дмитрий Иванович умер — Скобелев мог вполне оценить мудрую скупость своего опекуна. Ему досталось громадное имение и капиталы, о существовании которых он даже и не предполагал.
— К крайнему удивлению своему — я богатым человеком оказался...
Скобелев с летами изменился. В нем не осталось вовсе мотовства, но там, где была нужда, — он раздавал пособия щедрою рукою... «Просящему дай», действительно, он усвоил себе этот принцип вполне и следовал ему всю свою жизнь. Его обманывали, обирали — он никогда не преследовал виновных в этом... Раз лакей утаил «три тысячи», данных ему на сохранение.
— Куда ты дел деньги?
— Потерял!
— Ну, и дурак!
— Как же вы оставляете это? — говорили ему. — Ведь, очевидно, он украл их!
— А если действительно потерял, тогда ему каково будет?
В другой раз один из людей, которым Скобелев доверял, вынул бриллианты из его шпаги — и продал их в Константинополе... Хотели было дать делу ход, как вдруг узнает об этом Скобелев.
— Бросьте... И ни слова об этом!
— Помилуйте... Как же бросить...
— Срам!..
— Так нужно хоть бриллианты выкупить. Ведь сабля жалованная!
— Забудьте о них. Как будто ничего не случилось...
При встрече с виновным — он не сказал ему ни слова... Только перестал подавать ему руку... Даже не прогнал его.
— Я его оставил при себе, ради его брата...

Потом этот брат, которого за отчаянную храбрость и находчивый ум любил Скобелев еще — ужаснее отблагодарил генерала за доброту и великодушие, внеся в его жизнь самую печальную страницу, и заставил его еще недоверчивее относиться к людям...

XI

Доступность Скобелева была изумительна.

Нужно помнить, что он принадлежал военной среде, среде, где дисциплина доходит до суровости, где отношения слагаются совершенно иначе, чем у нас. Тем не менее каждый, от прапорщика до генерала, чувствовал себя с ним совершенно свободно... Скобелев был хороший диалектик и обладал массой сведений — он любил спорить и никогда не избегал споров. В этом отношении все равно — вольноопределяющийся, поручик, ординарец или другой молодой офицер — раз поднимался какой-нибудь вопрос, всякий был волен отстаивать свои убеждения, всеми способами и мерами. Тут генерал становился на равную ногу. Споры иногда затягивались очень долго, случалось до утра, и ничем иным нельзя было более разозлить Михаила Дмитриевича, как фразой:

— Да что ж... Я ведь не смею возражать вам! Дисциплина!

— Какая дисциплина? Теперь не служба... Обыкновенно недостаток знаний и скудоумие прикрывается в таких случаях дисциплиной...

Он терпеть не мог людей, которые безусловно с ним соглашались...

— Ничего-то своего нет. Что ему скажешь — то для него и свято. Это зеркала какие-то!

— Как зеркала?

— А так... Кто в него смотрится последний, тот в нем и отражается...

Еще больше оскорблялся он, если это согласие являлось результатом холопства...

— Могу ли я с вами не соглашаться, — заметил раз как-то майор. — Вы генерал-лейтенант!

— Ну, так что ж?

— Вы меня можете под арест!

— Вот потому-то на вас и ездят, что у вас не хватает смелости даже на это...

— У нас всякого оседлать можно, — говорил Скобелев. — Да еще как оседлать. Сел на него и ноги свесил... Потому что своего за душой ничего, мотается во все стороны... Добродушие или дряблость, не разберешь. По-моему, дряблость... Из какой-то мокрой и слизкой тряпки все сделаны. Все пассивно, косно... По инерции как-то — толкнешь — идут, остановишь — стоят...

Больше всего он ненавидел льстецов. Господа, желавшие таким путем войти к нему в милость, очень ошибались...

— Неужели он меня считает таким дураком? — волновался он. — Ведь это просто грубо... Разве я сам себя не знаю, что ж это он вздумал мне же да меня самого разъяснять И не краснея... Так без мыла и лезет...

Зато прямоту, иногда даже доходящую до дерзости, он очень любил.

Ординарцы в этом случае не стеснялись...

— Вы всегда капризничаете и без толку придираетесь!.. — отрезал ему раз молоденький ординарец.

— То есть как же это?

— Да вот, как беременная баба...

— А вам, кажись, рано бы привычки беременных баб знать...

Молодой, полный жизни — он иногда просто шалил, как юноша...

— Ну, чего вы, ваше превосходительство, распрыгались... зазорно... — заметил ему адъютант. — Ведь вы генерал...

Потом он стал куда серьезнее! Особенно после ахалтекинской экспедиции. Но когда я его встречал во время русско-турецкой войны, он умел с юношами быть юношей и едва ли не более веселым, шумным, чем они. Он умел понимать шутку и первый смеялся ей. Даже остроумные выходки на его счет — нравились ему. Совсем не было и следа тупоумного богдыханства, которое примечалось в различных китайских идолах того времени... «Здесь все товарищи», — говорил он за столом — и, действительно, чувствовался во всем дух близкого боевого братства, что-то задушевное, искреннее, совсем чуждое низкопоклонству и стеснениям... К нему иногда являлись старые товарищи — остановившиеся по лестнице производства на каком-нибудь штабс-капитанстве....

— Он с нами встречался, точно вчера была наша последняя пирушка... Я было вытянул руки по швам... А он «ну, здравствуй ***»... И опять на ты...

Разумеется, все это — до службы. Во время службы — редко кто бывал требовательнее его. А строже нельзя было быть... В этом случае глубоко ошибались те, которые воображали, что короткость с генералом допускает ту же бесцеремонность и на службе. Тут он иногда становился жесток. Своим — он не прощал служебных упущений... Его дружба давала одно право — первым идти на смерть, показать «пример». Так это и понимали в отряде. Где дело касалось солдат, боя, тут не было извинений, милости никогда... Мак-Гахан, с которым он был очень дружен, раз было сунулся во время боя с каким-то замечанием к нему...

— Молчать!.. Уезжайте прочь от меня! — крикнул он ему.

Полковник английской службы Гавелок, корреспондент, кажется, «Таймса», при занятии Зеленых Гор 28 октября, указал ему на какой-то овраг, причем пустился в тактические назидания.

— Казак! — крикнул Скобелев.

Казак подъехал.

— Убери полковника прочь отсюда... Не угодно ли вам отправиться обратно в Брестовец? — обратился он к Гавелоку по-английски.

Скобелева обвиняли в том, что он заискивал в корреспондентах, что этим только и объясняются те похвалы, которые они расточали ему.

Я уже говорил выше о том, какая это низкая и глупая клевета.

Он — понимал права печати и признавал их. Он относился к прессе не с пренебрежением залитого золотом болвана, а с уважением образованного человека. Он давал все объяснения, какие считал возможными, разрешал корреспондентам быть на его боевых позициях. Они разом входили в товарищескую среду, окружавшую его. Знание пяти иностранных языков позволяло ему входить в теснейшие отношения с английскими, французскими, немецкими, итальянскими корреспондентами, и те таким образом лучше и ближе узнавали его, но я, ссылаясь на всех бывших около Скобелева, свидетельствую, что перед нами у него не лебезили, и никакими особенными преимуществами мы в его отряде не пользовались. Напротив, у других в смысле удобств — было гораздо лучше. Там корреспондентам давали казака, который служил им, отводили палатки и т. д. Ничего подобного не делалось у Скобелева. Когда один корреспондент попросил было у него казака, Скобелев разом оборвал его:

— Казаки — не денщики... Они России служить должны, а не вам!

Чем же объясняется, что, несмотря на эти неудобства, они постоянно приезжали именно к нему? А тем, что, помимо искренности отношений, тут всегда было занимательно. Не только во время боя, но и в антрактах молодой генерал со своей неугомонной кипучей энергией не оставался без дела. Он предпринимал рекогносцировки, приучал войска к траншейным работам, объезжал позиции... Было, что смотреть, о чем писать. Кроме того — его общество оказывалось поучительным. Слышались и споры, и шли серьезные беседы, поднимались вопросы, выходившие из пределов военного ремесла... В его штаб-квартире мысль не глохла, и скверный анекдот не заслонял живых общечеловеческих и научных интересов. Всякий, кто мог в этом принимать участие, здесь был дома. А главное, сам он был полон обаяния, к нему тянуло...

Благоприятели, разумеется, все это объясняли иначе...

Да позволено будет мне рассказать здесь один факт, касающийся меня лично.

После войны уже, года через полтора, еду я в Москву. В одном купе со мной — военный. Сначала было он на меня пофыркал, потом успокоился и разговорился... Зашла речь о войне.

— Вы участвовали тоже? — спрашиваю я его.

— Как же. Только ничего не получил!

— Почему же?

— Четверташников при мне не было!

— Каких это?

— А которые с редакции-то по четвертаку за строчку... Скоропадентов... Они меня не аттестовали — я ничего и не получил!

— Разве корреспонденты представляли к наградам?

— А то как же-с?.. Газетчики в большом почете были!

Зашла речь о Скобелеве... Мое инкогнито для него было еще непроницаемо.

— Его, Скобелева, Немирович-Данченко выдумал!

— Это как же?

— Да так... Пьянствовали они вместе, ну, тот его и выдумал!

— Да вы Немировича-Данченко знаете?.. Лично-то его видели?

— Как же-с... Сколько раз пьяным видел... И хорошо его знаю... Очень даже хорошо!

— Вот те и на... А я слышал, что он вовсе не пьет!

— Помилуйте... Валяется... До чертиков-с!..

Под самой Москвой уже — я не выдержал. Отравил генералу последние минуты.

— Мы так с вами весело провели время, что позвольте мне представиться!

— Очень рад, очень рад... С кем имею честь?

— Немирович-Данченко...

— Как Немирович-Данченко?..

— Так...

— Тот, который...

— Тот, который...

Генерал куда-то исчез... На московской станции кондуктор явился за его вещами...

— Да где же генерал-то?

— Господь его знает, какой он...

— Да где же он прячется?

— Они сидят-с давно-с, давно уж... в... Запершись в...

Предоставляю читателю догадаться, куда сокрылся он от четверташника и пьяницы.

Но это еще тип добродушный. Были и поподлее...

8 Зак. 2495

XII

Я пишу не биографию Скобелева. Моя книга — просто ряд отрывочных воспоминаний о нем. Поэтому я не рассказываю о всех военных операциях, в которых участвовал покойный. Желающие познакомиться с ними могут обратиться к моему «Году войны». Здесь — только то, что я сам видел, и если из моего рассказа выдвинется перед читателями обаятельная личность Михаила Дмитриевича, если он станет им так же близок и дорог, как близок и дорог он был людям, входившим с ним в тесные сношения, знавшим его не как генерала, по реляциям и письмам с войны, а как человека — то цель мою я сочту вполне достигнутой. Систематическая и полная биография — дело будущего. Теперь же, говоря о Скобелеве, я хочу только бегло обрисовать этот замечательный тип гениального русского богатыря, яркою звездой мелькнувшего на нашем тусклом небе, так быстро поднявшегося во весь свой рост перед целым миром, изумленным его подвигами, и так рано ушедшего от нас... Чем дальше, тем тяжелее и тяжелее становится эта потеря. Военные писатели, талантливый и хорошо знавший покойного А. Н. Маслов нарисуют его как стратега, как тактика — мое дело сказать о человеке... С каждым днем больнее чувствуется отсутствие его. Невольно задаешься вопросом, кому нужна была эта смерть, какой смысл в этом роковом ударе... Шутка судьбы? Какая неостроумная, глупая шутка!..

После перехода через Дунай — Скобелева мы видим и на вершинах Шипки, и под Плевной. Много у него в это время было горьких минут. Его еще не признавали. В победителе халатников видели только храброго генерала и больше ничего.

— Его надо держать в ежовых рукавицах!

— Его избаловали дешевые лавры в Средней Азии!

— Он может служить, — высокомерно снисходили третьи,— но за ним надо смотреть в оба!

А между тем он был неизмеримо сведущее и талантливее всех этих господ.

Я встретил тогда Скобелева в Тырнове.

— Где вы остановились? — спросил он у меня.

— У «Белабоны»...

— Я зайду к вам...

Видимо, ему хотелось высказаться. Лицо подергивалось нервною улыбкой, он хмурился, разбрасывал себе бакенбарды во все стороны.

— Жутко!

— Что жутко?

— Да мне... Обидно... Видишь лучше их, знаешь все ошибки и молчишь...

— Зачем же молчать?

— Да разве «победитель халатников» имеет право голоса?.. Самые лучшие из них удивляются: чего я лезу... Видите ли, у меня все есть: и чин, и Георгий на шее... Значить, мне и соваться незачем... Дай другим получить, что следует. Так с этой точки и смотрят на дело. А про то, что душа болит, что народное дело губится — никто и не думает. Скверно... Неспособный, беспорядочный мы народ... До всего мы доходим ценою ошибок, разочарований, а как пройдет несколько лет, старые уроки забыты... Для нас история не дает примеров и указаний... Мы ни чему не хотим научаться и все забываем... Тоска... Разве так это дело делается... А вся беда от кабинетных стратегов...

Во вторую Плевну Скобелев уже выступает командиром небольшого кавалерийского отряда... Весь день он впереди, в стрелковой цепи, то одушевляя солдат, то поддерживая слабые фланги... Весь день— никто его не видел отдыхающим. Он не оставлял седла даже во время пехотного боя — служа прекрасною целью турецким стрелкам. Две лошади под ним убиты, третья ранена... Он лично ведет в атаку роты, командует сотнею казаков. Наконец, когда началось отступление, он слезает с седла, вкладывает саблю в ножны, сам замыкая отходящую назад цепь. Не странно ли, что завоевателю Ферганы, Хивы, человеку уже с громадною военною карьерою позади, приходится в данном случае быть не руководителем боя, а одною из исполнительных единиц и именно в такой обстановке, где его-то способности, кроме личной отваги, и не нужны были? Как второстепенный исполнитель — он часто терял все свои боевые таланты. Нельзя, видя ошибки других, все-таки усердно служить им, невозможно выполнять программу, несостоятельность которой знаешь воочию... Это, между прочим, подало повод одному из лучших генералов характеризовать Скобелева более остроумно, чем верно.

— Как подчиненного, я бы его отправил назад; но если бы меня спросили, к кому я сам хочу идти в подчиненные, я бы сказал: к Скобелеву!

Его талант развертывался в полном блеске там, где он один руководил делом, где вся ответственность лежала на нем. Фергана, Зеленые Горы, переход Балкан, Шейновский бой, поход к Адрианополю, Ахал-Текке — доказывают как нельзя лучше справедливость этого...

Во время отступления от Плевны нужно было остановиться, чтобы, удерживая турок, дать возможность отойти нашим войскам. Что же делает Скобелев? С сотней казаков он отстреливается от громадных сравнительно сил неприятеля. Наконец, велит себе подать бурку, ложится под огнем на нее и засыпает, приказывая не отходить отсюда, пока он не проснется. По нему бьют... Скобелев спит... Жалкая горсть казаков держится около, останавливая в почтительном расстоянии турок.

— Неужели вы спали?

— Спал...

— При таких условиях?

— Если надо — я могу спать при всяких условиях!

Все это объясняли фатализмом, да, ведь, мало ли какие можно придумать объяснения. Что-то других таких фаталистов я не видел!..

Затем следует блистательное дело под Ловчей, настолько известное, что о нем напрасно было бы повторять что-либо. Я воздержусь приводить эпизоды этого боя, так как я там не был. Третья Плевна, несмотря на то, что Скобелев должен был отступить от занятых им с боя редутов, как будто разом открыла глаза всем. В нем увидели — льва, перед ним преклонились те, в ком было чувство справедливости. Это поражение — было равно блистательной победе. Тут уже Скобелев говорит, — и к голосу его прислушиваются... В пылу, в огне он наблюдает, изучает и тотчас же пишет следующие замечательные строки в своем донесении князю Имеретинскому. Мы их приводим, потому что они уже тогда показали в Скобелеве не только храброго генерала, но и опытного вождя. Скобелев объясняет причины, почему он отсрочил атаку.

«Важным соображением при этом, — писал он, — являлась необходимость усилить занимаемую нами позицию в фортификационном отношении, что, при прискорбном в эту кампанию отсутствии при войсках шанцевого инструмента в достаточном количестве, представляло немало затруднений. Люди рыли себе ровики частью крышками от манерок, частью руками. Для очищения эспланады виноградные кусты вырывали руками. По поводу недостатка шанцевого инструмента ввиду чрезвычайной важности в настоящей борьбе фортификационной подготовки поля сражения позволяю себе высказать несколько замечаний. Пехотная часть, бывшая в горячем деле, большею частью лишается шанцевого инструмента. Наш солдат, наступая по трудно проходимой, закрытой местности, особенно в жару, первое, чем облегчает себя, — это бросает свой инструмент, затем следует шинель и, наконец, мешок с сухарями. Поэтому часть, достигнув пункта, на котором ей надлежит остановиться, не имеет возможности прикрыть себя от губительного огня неприятеля, что постоянно делалось пехотою: 1) в американскую войну, 2) в кровавую четырехлетнюю карлистскую бойню и 3) теперь принято за правило турками. Ввиду этого казалось бы более целесообразным: или провозить инструмент вслед за атакующими, или иметь при полках особые команды, на обязанность которых и возлагать укрепление отбитых у неприятеля позиций. Нельзя не упомянуть также и о недостаточности средств для устройства полевых укреплений, имеющихся при отряде. При силе более 20 000 человек в отряде вашей светлости (адресовано кн. Име-

ретинскому) имеется, и то случайно только, одна команда сапер в 35 человек при унтер-офицере и ни одного инженера, несмотря на существование инженерной академии, ежегодно выпускающей в нашу армию десятки специалистов... Сомнению не подлежит для меня теперь, что если бы французская армия второго периода кампании 1870 г., при современном вооружении пехоты и относительной слабости, в смысле решающем, дальнобойной артиллерии, строго бы держались системы неожиданного стратегического наступления (преимущественно на пути сообщения, напр.), соединенного с безусловною тактическою обороной, при помощи полевой фортификации, то кампания кончилась бы выгоднее для французов»...

Дни третьей Плевны — это целая поэма, полная блеска для одних, позора для других...

Я описал эту бойню в своем романе «Плевна и Шипка». Тут трем дням ее посвящены двадцать семь глав. Описывать ее здесь — нет надобности. Приведу только эпизоды, касавшиеся Скобелева.

— Наполеон великий был признателен своим маршалам, если они в бою выигрывали ему полчаса времени для одержания победы, я вам выиграл целые сутки, и вы меня не поддержали!.. — с горечью сказал Скобелев, обращаясь к Непокойчицкому.

— До третьей Плевны, — говорил мне Скобелев, — я был молод, оттуда — вышел стариком! Разумеется, не физически и не умственно... Точно десятки лет прошли за эти семь дней, начиная с Ловчи и кончая нашим поражением... Это кошмар, который может довести до самоубийства... Воспоминание об этой бойне — своего рода Немезида, только еще более мстительная, чем классическая.

— Откровенно говорю вам — я искал тогда смерти и если не нашел ее — не моя вина!..

XIII

Из-за гребня пригорка выехал на белом коне кто-то; за ним на рысях несется несколько офицеров и два-три казака. В руках у одного голубой значок с красным восьмиконечным крестом... На белом коне, оказывается, Скобелев — в белом весь... красивый, веселый.

— Ай да молодцы!.. Ай да богатыри! Ловчинские! — кричит он издали возбужденным нервным голосом.

— Точно так, ваше-ство!

— Ну, ребята... Идите доканчивать. Там полк отбит от редута... Вы ведь не такие... Вы ведь у меня все на подбор... Ишь красавцы какие... Ты откуда, этакий молодчинище?.. — остановил он лошадь перед курносым парнем.

— С Вытепской губернии, ваше-ство!

— Да от тебя от одного разбегутся турки...

— Точно так, ваше-ство, — разбегутся!

— Ты у меня смотри... Чтобы послезавтра я тебя без Георгия не видел... Слышишь? Вы только глядите — не стрелять без толку. Иди вплоть до редута, не тратя пороху... В стрельбе ума нет. Стрелять хорошо, когда ты за валами сидишь и отбиваешься... Слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— То-то. В кого ты будешь стрелять, когда они за бруствером? Им от твоих пуль не больно. До них надо штыками дорваться... Слышите?.. А ты, кавалер, не из севастопольцев? — обернулся он к Парфенову. — За что у тебя Георгий?..

— За Малахов, ваше-ство...

— Низко кланяюсь тебе! — И генерал снял шапку. — Покажи молодым, как дерется и умирает русский солдат. Капитан, после боя представьте мне старика. Я тебе именного Георгия дам, если жив будешь...

— Рад стараться, ваше-ство...

— Экие молодцы!.. Пошел бы я с вами, да нужно новичков поддержать... Вы-то уж у меня обстрелянные, боевые... Прощайте, ребята... увидимся в редуте. Вы меня дождетесь там?

— Дождемся, ваше-ство!

— Ну то-то, смотрите: дали слово, держать надо... Прощайте, капитан!

Доехал генерал до оврага — видит, лежит в нем офицер... Еще несколько шагов сделал — офицер смущенно поднялся и откозырял... Генерал чуть заметно улыбнулся.

— Что, поручик, отдохнуть прилегли?

— Сапоги... ноги... — забормотал поручик, весь красный, чувствуя теперь только стыд, один стыд и ни искры трусости.

— Вы от той роты?

— Да-с...

— Экий вы рослый, да бравый какой... Солдатам будет любо, глядя на вас, в огонь идти. Вы их молодцом поведете. Догоните поскорей своих, да скажите вашему командиру, что я ему приказываю послать вас вперед с охотниками, — слышите?..

Генерал перешел в серьезный тон.

— Офицер не смеет трусить... Солдат может, ему еще простительно... Но офицеру нельзя... Идите сейчас... Ведите в бой свою часть... Ваша фамилия?

— Доронович[1].

---

[1] Фамилия изменена.

— Ну, вот что... Я хочу услышать, что вы первым вошли в редут. Слышите? — Первым... Тогда и я забуду этот овраг и ваши сапоги... Слышите?.. Забуду и никогда не вспомню... Помните — вы подадите пример... Прощайте! — и генерал, наклонясь, подал поручику руку. Тот с глубокой благодарностью пожал ее.

— Обещаюсь вашему превосходительству...

— Верю, поручик... До свиданья в редуте!

Еще одно мгновенье Доронович посмотрел вслед генералу и тотчас же бросился догонять своих.

По скату лепятся рассеянные солдаты какого-то полка. Они как-то вдруг, массами появились из лощины; точно муравьи поползли вверх. Видимо, перед решительным штурмом отдыхали там, собирались с силами. Густая внизу масса солдат редеет кверху, разбивается на кучки, быстро бегущие вперед. Кучки разбиваются на одиночные, опередившие своих товарищей... Эти одиночные зачастую вдруг останавливаются, как-то дико вскидывают руками и падают вниз. Вон она — эта подлая желтовато-серая насыпь; вон он — этот проклятый вал!.. Сколько еще жизней потребует он?.. Масса все ближе и ближе; расстояние сокращается между ее отделившимися кучками и этою серою насыпью. Быстро, быстро бегут люди. Из отставших отдельные солдаты вдруг, точно ни с того ни с сего, выносятся вперед, быстро перебегают расстояние, отделяющее их от тех, которые идут впереди, еще момент, и эти, только что казавшиеся отсталыми, уже смело цепляются вверх по скату. Вот обрывки какого-то «ура». «Ура» вспыхнуло направо, перекинулось налево, загремело в центре... Чу, кровожадная, зловещая дробь барабана. Еще быстрее двигается снизу вверх боевая колонна... Но уже никакого порядка в ней, врассыпную, как попало... Вот целые тучи дыма заслонили редут; гора точно дрогнула и расселась с громовым треском... За этим залпом перебегающие выстрелы, новое облако дыма, новый залп... Какой-то, должно быть, офицер, на лошади выехал из лощины; за ним солдаты бегут. Смело он шпорит коня; добрый степняк чуть не в карьер выносит его на крутизну ската... Еще одна минута, и всадник вместе с конем катятся обратно в эту же самую лощину, из которой только что выехали.

— Возьмут, капитан, возьмут наши! — бодро кричит Ивкову Доронович.

— Еще бы не взять!.. — радостно отвечает тот, следя, как расстояние между наступающей черной массой солдат и серою насыпью вала все сокращается и сокращается.

— Еще бы не взять! Один удар только, и кончено!

— Как кстати в барабан-то ударили...

Вон черные фигуры солдат все ближе и ближе; вон несколько копошатся у самого вала, видимо, остановились и своих сзывают... А залпы оттуда следуют за залпами. Редут, точно живое чудовище, навстречу ободрившимся солдатам грохочет во все свои медные и стальные пасти, как дикобраз, ощетинивается штыками... Близко, близко, у самого вала наши. Могучее «ура» еще шире, как пламя, взрываемое ветром, раскидывается по всему этому скату...

– Господи!.. Вот подлецы-то! — с ужасом вскрикивает Ивков.

– Что? Что такое?

Капитан молча показал направо... Трусливая кучка солдат, отставшая от своих в то время, как эти почти уже добежали до валов, залегает и открывает по туркам огонь... К ним присоединяется все больше и больше солдат... Что-то недоброе предчувствуется в этом... «Ура» мрет, не разгоревшись вовсю; солдаты, бывшие у самых валов, тоже подхватывают огонь и давай подстреливать, тратя на это свою энергию... Ружейный огонь льется, не умолкая... Наконец, уже все остановились... Кучка трусов заразила всех паникою... Очевидно, вперед уж не подадутся. Нельзя идти, стреляя, нельзя стрелять на ходу... Стрельба во время наступления — один из признаков трусости... Вот-вот пойдут назад, — нельзя же лежать под огнем... Назад еще хуже, чем вперед, больше потерь будет, а все-таки уже ни на шаг не подвинуться...

Полк разбился о редут...

Как будто волны, отхлынули оттуда солдаты и бегут вниз... Сначала задние поддались... Вскочили залегшие первыми трусы и — стремглав в лощину, за ними и остальные. Не все... то и дело кое-кто спотыкается, падает и остается на месте: устилается мало-помалу скат неподвижными телами. Сколько уже чернеет таких! Какая масса их... Толпа разбилась на единицы... Она уже чужда внутренней связи; это люди, почти не узнающие друг друга... Самые храбрые отступают молча, хмуро, в одиночку. Только кучка трусов слепо бежит назад, крича что-то идущим навстречу новым подкреплениям. Эти новые тоже поддаются панике и оборачивают тыл... А мертвых все больше и больше... Вон одно место ската совсем почернело. Должно быть, не один десяток там плотно улегся друг к другу... Не один десяток... Сжав зубы, Ивков подается вниз — быстро подается. Солдаты тоже понимают, в чем дело.

— Ах ты, Господи! — шепчет Парфенов. — Только бы еще одним разом, и конец делу...

— Эка беда какая!.. Без всякого толку — спужались...

— Стадо!.. Подлое стадо!.. — озлоблено бормочет Ивков, боясь, чтобы и с его ротой не случилось то же самое.

Вот передовые кучки бегущих навстречу.

— Куда вы? — заскрипел на них зубами Ивков. — Трусы! Подлецы! Негодяи!

Все приостановились было... Только один совсем уже перепуганный солдатик сослепу бежит прямо на капитана...

— Трусы!.. У редута были — ушли... Срам!..

Харабов молча идет вперед, сознавая всю бесполезность упреков. Нельзя за себя отвечать в такую минуту... Самый храбрый человек может струсить...

— Ваше высокоблагородие, — ни с того ни с сего набрасывается на него бегущий солдатик. — У самого турецкого редута был... У самого вала, ей-Богу... Только бы скакнуть — и конец... Я под валом первый стоял, — чуть не плачет он. — Только бы скакнуть, а тут кричат: «Назад, назад, назад!» Ну, все и побегли... Ах ты, Господи!.. Все и побегли...

Солдатик, весь красный, весь разгоревшийся, отчаянно жестикулирует.

— Кабы дружно было... — подтверждает другой и не оканчивает: пуля догоняет беглеца и укладывает его на мягкую землю...

— Что ж вы осрамились, ребята? — корит их Парфенов.

Солдаты взглядывают только в лицо ему и быстро бегут мимо.

— Это еще что за стыд!.. — слышится чей-то громовой голос позади. — Это что за табор бежит? Смирно!.. Из-под редута бежать... Срам! Не хочу я командовать такою сволочью!.. Идите к туркам!.. Вы не солдаты!.. Ружья побросали, скоты!.. — продолжает тот же новый голос.

Ивков оглядывается — навстречу бегущим тот же Скобелев на своем белом коне.

— За мной! Я вам покажу, как бьют турок... Стройся!.. За мною, ребята, я сам вас поведу. Кто от меня отстанет, стыдно тому... Живо, барабанщики, наступление!..

Громкая дробь барабана покрыла и грохот залпов, и рев орудий, то и дело выбрасывавших снопы огня и клубы дыма из амбразур турецкой батареи...

Медленно цепь подвигалась вперед. Сухие, нахмуренные лица солдат уже поводило гневом... Стиснутые зубы, зловещий огонь, загоравшийся в их глазах, мало предвещали хорошего защитникам редута. Шли в одиночку, молча... Руки крепче стискивали холодные дула ружей; после недавнего возбуждения сердце билось спокойно, в голове, казалось, не было и мысли об опасности. На падавших товарищей уже не обращали внимания, — ни о чем не думалось... Свинцовые пчелы, густыми и шумными роями наполнявшие воздух, мало производили впечатления, совсем мало. Не потому, чтобы инстинкты жизни

замерли — нет, просто закостенели все... Чему быть, тому не миновать. «Дорваться бы скорей!» — только одно и шевелилось в мозгу этих обстрелявшихся уже людей, жадно смотревших на серый профиль редута, который опять окутывало туманом. «Дорваться бы скорей!..» И когда шальная пчела жалила товарища рядом, когда он, как подкошенный, падал на мокрую землю, не сожаление шевелилось у уцелевших — нет, сказывалась только жажда расплаты, дикая злоба подымалась в груди, дикая, холодная, от которой сердце не билось ни скорее, ни медленнее, от которой и правильный шаг цепи не прибавлялся. Перед нею была лощина. Ивков озабоченно поглядывал в нее; цепь его шла отлично, лучше не один бы тактик и не пожелал, но в темном овраге придется дать отдыху минут пять—десять, не больше. Как бы все это настроение не изменилось, как бы все эти сухие, озлившиеся лица не подернулись колебанием, нерешительностью, как бы из цепи одни не выбежали вперед, это подало бы повод остальным сохранить свое положение позади, а потом совсем отстать.

— Братцы! Посмотрите, что они делают с нашими! — обернулся генерал, не сходивший с лошади.

Гул прошел по цепи, перебросился назад в следовавшие за нею звенья, сообщился колонне, которая уже, выставив несколько солдат на гребень пройденной Ивковым горы, сама осталась позади за гребнем в прикрытии.

— Посмотрите, как эта сволочь наших раненых мучит!

Гул все рос и рос... Холодный пот выступал на лицах солдат. Парфенов, глядя на то, что совершалось около валов зловещего редута, заплакал навзрыд.

Из-за этой серой насыпи выбежали турки, по одиночке рассыпались на скате... Вон они наклоняются к нашим раненым. Какие-то крики застыли, всколебав на минуту холодный воздух. Крики эти растут... мольба в них, бешенство... Раненые, видимо, старались уползти, торжествующий враг позволял им это, чтобы, смеясь, тотчас же настигнуть ослабевших, исходивших кровью людей. Вон один из наших раненых приподнялся, неверною рукой выстрелил в подбиравшегося к нему низама. Тот пригнулся на минуту, потом выпрямился, кинулся к стрелявшему, и в одно мгновение такой дикий вопль, вырванный невозможною болью, донесся к нашим, что генерал решил тотчас же воспользоваться этою минутой озлобления.

— Ребята, без отдыха, вперед!.. Бегом на этих скотов... Спасем уцелевших и накажем негодяев... Я сам поведу вас... Слышите!.. Поручик Доронович, ведете охотников!.. Займите вон ту траншею...

Быстро пробежали лощину — ни одного отсталого не было. Как был тих и безлюден этот овраг до того, таким и остался.

Скобелев уже далеко впереди. Пригнувшись, охотники взбегают по скату вверх... Гора вздрагивает от бешеных залпов... Точно валы эти трещат, расседаясь на своих песчаных насыпях, точно лопаются и крошатся довременные граниты. Не доходя до редута — узенькая траншейка; оттуда гремит перебегающая дробь выстрелов, кайма серого дыма от них, поднимаясь вверх, заслоняет собою редут... Скоро не она одна заслонила его, заслонил и туман, опять сгустившийся кругом. Редута не видно... Его только слышно... Гроза бушует в этой серой туче. Точно злые духи сорвались с адских цепей и торжествуют в глубине этой мглы, смешанной с пороховым дымом, свое близкое торжество, точно сам царь тьмы, в гневе и грохоте бури, сходит сюда на кровавую тризну... Возбужденному мозгу могло бы показаться, что планеты сталкиваются и, охваченные огнем, разлетаются на тысячи кусков, когда сквозь оглушительный треск перебегающей перестрелки гремят навстречу нашим цепям дружные залпы, сливая свой бешеный гром с яростным ревом стальных орудий... Целые тучи пуль несутся навстречу храброй горсти охотников, снопы картечи сметают с черного ската все, что встречается на пути, гранаты из дальних редутов, впиваясь в сырую землю, рвутся в ней на осколки, острые края которых точно высохли и разгорелись от жажды. Наверху тоже не ладно: там лопаются шрапнели, точно чудовищные струны трескаются в воздухе под чьей-то могучей рукой. Лужами стоит кровь... В этих черных лужах барахтаются умирающие; предсмертные вопли тонут в грозовом реве бури... Навстречу идущим солдатам бегут, точно сослепа, раненые. Бегут, наталкиваются на них, хватаются за товарищей, цепляются, точно в этом вся их надежда...

Доронович ничего уже не видит... туман кругом, в тумане бесятся остервеневшие духи ада. Он только и помнит одно — обет, данный им генералу... Да и нельзя забыть... В один из самых страшных моментов, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы не подавиться картечью, в вихре этой бешеной бури пролетел мимо него Скобелев... Только на одно мгновенье он увидел эту характерную фигуру, с разбросанными русыми бакенами, с раздувающимися ноздрями, с мягкими в обычное время, но теперь точно хотевшими оставить свои орбиты разгоравшимися глазами, смело глядевшими туда, в самую темень, откуда рвалась гроза навстречу. Вихрем налетел, успев кинуть в цепь охотникам: «За мною, дети! Не отставать! Вспомните замученных товарищей!» Точно обожгло солдат. «Ура» вспыхнуло, но не то нерешительное, которое, с час назад, слышалось из рядов отступивших потом солдат... Нет, это совсем иное... зловещее, бешеное, точно хриплые глотки хотели перекричать этот треск ружейного огня, этот рев стальных пастей...

— Помните, ребята, назад дороги нет... За мной!.. — кидает, в свою очередь, Доронович, не замечая, что по левому плечу его уже просочилась и бежит алая струйка.

«Не забывайте замученных» — вовремя брошено. Точно искра в порох упала... такой злобой вспыхнуло оно в солдатской душе... Помните замученных... Урра!.. все бешеней и бешеней разбегается кругом. Цепь позади, спотыкаясь, падая, хочет нагнать охотников; резервы сами двигаются, не ожидая команды... Раненые не остаются позади; они тут же в рядах — разве кость перебита, идти нельзя... Один худой, весь зеленый солдат, у которого в груди засела уже пуля, хрипло орет «ура», давится кровью, выплевывает ее и опять еще громче, еще более остервенело кидает свой вызов туче тумана и порохового дыма, окутавших зловещий редут.

Вихрем налетел генерал на другую окраину боя, под самой турецкой траншеей скользнул на добром арабском коне, бросил флангам грозовой привет и вынесся вперед, сам обезумевший от гнева, от злобы, от жажды крови... Шпоры впиваются в белую кожу коня, рвут ее, нервно подергиваются губы; под глазами легли черные полосы... Воздуху! Воздуху! Дышать нечем... Вперед! Бей их, друзья!.. Никому не будет пощады! Мсти за своих!.. Запевайте громче свою бранную песню, кровожадные барабаны, — громче, чтобы заглушить в немногих робких душах последний шепот жалости, последнюю жажду жизни... Громче направляйте барабаны эту злобой охваченную толпу... Гуще падай туман на облитые кровью скаты, — гуще, темнее, чтобы никому не был виден ужас, творящийся здесь... Чтобы жало штыка встречало вражью грудь, а очи врагов не видели друг друга...

— Не останавливаться!.. Вперед! — хрипло кричит Доронович ужс в занятой им траншее... — На плечах у беглецов ворвись в редут, ребята... За мной, друзья! — И, почти тут же тяжелый приклад солдата опускался на голый череп обезумевшего от ужаса турка... Точно арбуз треснул, мозгом забрызгало окружающих.

— Вперед, охотники!.. Вперед! — выбегает Доронович из траншеи. Вперед — редут недалеко...

— Сюда, охотники!.. — в вихре бури слышен голос Скобелева. — Сюда... — Здесь они, проклятые, здесь... Сюда, друзья!.. За мной, дети... Одним ударом возьмем...

Но последние слова его тонут в свисте картечи в разъяренных залпах оттуда, от которых самый воздух, кажется, сможет оттолкнуть нападающих.

Ивков, Харабов все тут... Какие-то офицеры из других частей... Все — перемешалось, все одною бешеной толпой несется к редуту... Тысячи побежали на скат — сотни уже упали... Сотни упадут сейчас, до вала — добегут десятки... Что нуж-

ды? — Лишь бы дорваться... Скорей, скорей в этот туман, откуда несется громкое «ура», откуда слышен ободряющий голос генерала... Скорей, скорей! — Что нужды!.. Из лощины выбегают новые тысячи... Опять они тают на скате, и снова десятки добегают к валу... Тут уж все перепуталось, ничего не разберешь — стихия беснуется на просторе, пламя рвется вверх, вода затапливает землю, прорвав и размыв жалкие плотины...

— Сюда, охотники! Сюда, друзья! — Точно ловчий в рог, сзывает Скобелев на травлю озлившуюся стаю собак... Покорные зову, все они уже тут, — добежали к серой насыпи, и ливень свинца оттуда. Кажется, что редут этот дышит картечью.

На минуту разбросило туман, ветром повеяло с севера; но его холодный воздух не освежил эти разгоревшиеся лица, — не пахнул свежестью в эти разгорячившиеся груди... Скорей, скорей! Рвутся отсталые... В свирепой злобе своей, царапая землю, на место боя ползут раненые... Умирающие, приподымаясь на руках, орут «ура», выбрасывая в этот предсмертный крик последние отблески угасающей жизни... Уже на штыках красные полосы... кровь бежит по дулам ружей, кровь на руках, на лицах... Не разберешь — где своя, где чужая... Тщедушный, робкий Харабов неузнаваем: вырос, голова закинута назад, голос звучит металлическими нотами; рука так схватилась за шпагу, что, почти ломаясь, впивается вся рукоять; он бодро, смело и стройно ведет своих; Парфенов не отстает от него. Старику почудилась Балаклава... Малахов курган, как живой, вырос перед глазами. Вспомнил он тогдашнюю тоску сдачи после рокового боя — и хрипло бросает свое «ура» прямо в лицо врагам, уже стоящим на валах, уже ощетинившимся штыками. В сгустившуюся массу врывается картечь, расчищая улицы... И в эти промежутки вбегают новые бойцы... А из лощины поднимаются новые и новые тучи... Молодой парень тоже вспомнил старое, взял ружье за дуло и чистит себе путь прикладом.

— Алла, Алла! — так же бешено несется с валов... Какой-то мулла в зеленой чалме и зеленом халате вскочил на самый бруствер и выкрикивает оттуда свои проклятья... В упор кладет его Парфенов, и замирающее «Алла» опять подхватывается обреченными на смерть таборами.

— Еще усилие, ребята, — за мной!..

Скобелев врывается на насыпь редута, скатывается оттуда вниз, подымается опять, весь покрытый грязью, облепленный ею, и хрипло зовет за собою солдат... На нем лица нет — что-то черное, кровавое, бешеное... Харабов, Доронович и Ивков уже на валах. Вскипает последний акт этой трагедии, — последний и самый ужасный... Штыковой бой уже начался по окраинам... В амбразуру, откуда орудие, напоследок, прямо в живое мясо густой толпы, выбросило картечь, вскочил генерал... штык ему навстречу, — уже коснулся груди... Но парень со своим ружьем

тут как тут. Тяжелый приклад с глухим звуком встречает висок низама, и генерал уже впереди, не видя, кому он обязан своим спасением, не зная даже, какая опасность ему грозила... Зверь сказывался в нем, зверь и в этих врывающихся сюда толпах... Зверь, попробовавший крови; зверь, не дающий никому пощады... Никакой правильности в этом бою. В одном месте мы насели на турок — они подались; в другом — обратно... Здесь мы бьем, там бьют нас. Боевая линия изломана таким образом, что часто мы с тылу бьем турок, часто турки выбегают нам в затылок...

Редут взят.

Земляные насыпи, стальные орудия, серые шинели солдат, лица их и руки забрызганы кровью... Кровь стоит лужами внутри редута — лужи и вне его. Кровь испаряется в туман, точно делая его еще тяжелей. Сапоги победителей уходят в кровь. Жаждущие отдыха после устали беспощадной бойни — садятся, ложатся в кровь... Кажется, что и сверху падает она с дождевыми каплями... Кажется, что эта мгла насквозь пропитана ею...

Защитники редута почти все остались здесь...

Кому удалось выбраться из-за этой земляной насыпи, тот улегся на скатах холма... Вон весь склон его покрыт этими разбросанными, исковерканными телами.

Внутри повернуться негде.

Точно нарочно набили этот редут мертвецами. По углам их груды... Из-под них, порою, прорывается болезненный стон... На одну из этих груд с ужасом уже смотрит Парфенов; старику помнится, что сюда, словно испуганное стадо, сбились бросившие оружие турки... На коленях стояли, кричали «аман»... Перед стариком — до сих пор эти умоляющие лица, эти руки, простертые к победителям, эти покорно склонявшиеся под солдатские приклады головы... И он в жару, вместе с другими, колол, и он убивал просивших пощады... Парфенов недоуменно оглядывался — неужели никто не уцелел? Нет, все синие куртки лежат... вон размозженные черепа, груди, насквозь пробитые штыками... Истребление бушевало здесь, не зная предела... Милости не было никому... Страшно становится Парфенову... он оглядывается на своих: видимо, и другие чувствуют то жс самое.

Нет ни в ком этого торжества победы, радостного ликования уцелевшей толпы. Молча сидят на брустверах... Дымки закуренных трубок курятся кое-где. Не слышно говора... Вон паренек — новичок в ратном деле — остановился над громадным турком, раскинувшимся в кровавой луже, и вглядывается в его лицо, — пристально вглядывается, точно хочет допроситься чего-то. И на него пристально смотрит турок — только непод-

вижным, полным ужаса взглядом... Разбросал руки — и смотрит; и оба они — мертвый и живой — не могут отвести глаз один от другого.

Тихо едет генерал к редуту... Мрачно оглядывается он по сторонам, оценивая потери сегодняшнего дня... Вот он остановил коня над одним из офицеров... Тень скользнула но молодому лицу...

— Это, кажется, Неводин? — оборачивается он к адъютанту.

— Точно так, ваше-ство!..

— Хороший офицер был. Георгиевский кавалер... Жаль... Скорей санитаров сюда!.. Собрать раненых!..

Молча выехал он в редут... Сошел с коня, вошел на бруствер.

Пытливо оглядывает окрестности...

— Спасибо, ребята, за службу, — тихо благодарит солдат. — Потрудились честно сегодня... Орлами налетели... Видел я, как дрались вы... Львы!.. Я счастлив, что командую такими молодцами... Устали?..

— Устали, ваше-ство...

— Отдохните... Полдела сделали... Теперь удержаться надо...

— Поручик Доронович!.. Сидите, сидите!.. Поздравляю вас с георгиевским крестом...

— Не заслуживаю, генерал...

— Это как?

— В овраге...

— Ну, душенька, вы двадцать оврагов заставили позабыть... Спасибо, ребята, еще раз!.. Вот и солнце, кажется... Знамена на валы! — громко скомандовал он.

Мертвый редут словно разом оживился...

Два батальонных знамени взвились над бруствером. Первый сегодня солнечный луч загорался на их крестах, легкий ветер колыхнул и, словно паруса, развернул их полотнища... Один этот редут со своими знаменами был освещен солнцем. Кругом все еще тонуло в тумане. Точно корабль в океане, несся куда-то этот клочок земли...

Умирающие, подымая взгляды среди мучительной агонии, встречали свои знамена... Развеваясь над серыми валами, они точно призывали благословение небес на этот мир несчастия и муки...

— Майор Горталов, вы остаетесь комендантом редута! — обернулся генерал к небольшого роста офицеру.

— Могу я рассчитывать на вас? Тут нужно удержаться, во что бы то ни стало...

— Или умереть, ваше-ство!..

— Подкреплений, может быть, не будет... Дайте мне слово, что вы не оставите редута. Это сердце неприятельской позиции... Там, — и генерал кинул горькую улыбку, — позади еще не понимают этого... Я поеду убеждать их... Дайте мне слово, что вы не оставите редута!..

— Моя честь порукой!.. Живой не уйду отсюда...

И Горталов поднял руку, как бы присягая.

Генерал обнял и поцеловал Горталова.

— Спаси вас Бог!.. Помните, ребята, подкреплений не будет — еще раз! Рассчитывайте только на себя!.. Прощайте, герои!..

Отъехав на версту, генерал оглянулся на редут. Весь он казался на высоте. Два знамени его в солнечных лучах гордо веяли над серыми насыпями.

Клубившийся кругом туман еще не окутал их своим однообразным маревом. Корабль, казалось, величаво нес в этом волнующемся океане свои паруса и мачты...

— На смерть обреченные! — И еще печальнее стал генерал, прощаясь взглядом с лучшими из своих сподвижников.

— Нас, значит, оставили совсем?.. Никого и ничего на помощь?.. После того, как все уже почти сделано?..[1]

— Никого и ничего, ваше превосходительство! — козырял щеголеватый штабной.

— Значит, третья Плевна?..

И генерал не окончил.

Нервно стало подергиваться лицо, голос дрогнул, оборвался, и вдруг этот железный человек, спокойно тридцать часов выносивший все: и гибель лучших своих полков, и смерть друзей, и трагические переходы боя от поражения к победе и от победы к поражению, — зарыдал, наклонясь над лукою седла... Окружающие отъехали на несколько шагов...

— Что это с ним? — удивленно шепнул штабной одному из ординарцев.

Тот только смерил взглядом эту чистенькую фигурку на чистеньком седле и отвернулся.

— Никого!.. Ни одной бригады... Ведь здесь все. Устоим. — Осман уйдет...

— Ни одного полка свободного нет...

— А там? — вздохнул он на северо-восток.

— Берегут дорогу на Систово...

— Академические стратеги! — упавшим голосом проговорил ординарец.

— Только один Крылов... честная душа. Если бы не его шуйский полк, я бы не выручал тех, кто один против ста отбиваются теперь на *моих* редутах... Один против ста — львами!.. Сколько героев — и все это на смерть!..

Он выпрямился в седле и снял шапку.

---

[1] Отрывок этот имеет целью описание отступления занятого Горталовым редута. Сцена защиты его — изложена в моем романе «Плевна и Шипка».

— Слышите?.. — махнул он ею по направлению к редутам.

Огонь разгорался там с такою бешеною силой, что, казалось, в треске ружейных выстрелов и в реве орудий, не смолкавшем ни на одно мгновение, рушились в прах все эти твердыни, ставшие на страже Плевны... Силуэты редутов, еще недавно выделявшихся на сером небе, окутало густыми тучами порохового дыма... В этих тучах умирали львы; в этом дыму десятки таборов обрушивались на остатки героических рот, изверившихся в победе и не желавших спасения... Но грохот бойни, неистовые крики нападающих, ответные вызовы защищавшихся — вот все, чем сказывалась битва... Глаз не видел ничего... Казалось, само грозное божество смерти и истребления задыхалось в этом стихийном дыму приносимых ему жертв...

— Слышите?.. Люди дрались и будут еще драться, но таких — не будет... Они лягут там... Они дали слово и умрут... Слышите?.. Их горсть, а вон какое «ура»... Прямо в лицо врагам... Окруженные со всех сторон. Раздавленные!.. Ну, что ж!.. Они сделали все... Невозможное оказалось возможным... Больше нельзя... Господа!..

Голос его дрогнул — опять... Пауза... Все затаили дыхание...

— Господа, мы отступаем... Мы отдадим туркам взятое... Сегодня — день торжества для наших врагов. Но и нам он славен... Не покраснеют мои солдаты, когда им напомнят тридцатое августа... Господа, мы уходим... Шуйцы прикроют отступающих... Вперед и скорее?..

Шпоры до крови разодрали белую кожу великолепного коня, который стремглав бросился по неровной и влажной почве... Ветер свистал мимо ушей вместе с пулями, уносившимися в даль... Бешено мчались всадники, — точно от каждого мгновения зависела жизнь дорогих и милых людей... Молоденький ординарец сорвался с коня и покатился вниз, но ждать его было некому и некогда, и спустя минуту один он опять догнал генерала... У этого из-под закушенной губы проступила кровь, глаза безнадежно смотрели вперед и — ничего не видели; фуражка осталась в руках, и слипшиеся волосы космами легли на лоб... Конь совсем обезумел под нетерпеливым всадником, мундштук рвал рот, и заалевшая пена разбрасывалась по сторонам от окровавленной морды... Штабной, спеша за генералом, вежливо, почтительно кланялся каждой пролетавшей мимо пуле, причем, — если бы окружающим был досуг, — они, разумеется, могли бы оценить, до какой степени удивительной гибкости и эластичности дошла шея этого доблестного и щеголеватого офицера...

— Вон они, вон они! — протянул руку генерал. — Вон они — видите?..

В тумане порохового марева уже можно было различить неопределенную массу редута... Неопределенную потому, что

вся она была загромождена людьми... Извне лезли озлобленные турецкие таборы, на валах стояли — отбивавшиеся штыками — наши. Видно было смутно движение новых масс неприятеля, стягивавшихся сюда, но не надолго... Скоро новые клубы дыма совсем затянули эту зловещую картину упорного боя, и всадники опять только слышали, но не видели его...

— Идут ли шуйцы?.. — обернулся генерал...

— Они уже выдвинулись, готовы...

И снова бешеная скачка вперед, и снова остервеневший конь хочет точно перегнать самый ветер...

В редуте уже совершался последний акт этой кровавой трагедии.

Отбивались штыками... Приподымаясь над бруствером, видели и впереди, и позади только массы врагов... Они же густились и налево... Казалось, этот одинокий корабль-редут вот-вот пойдет ко дну, утонет с жалкими остатками когда-то многочисленного и сильного экипажа... Склоны холмов кругом, лощины были наполнены турецкими таборами. Турки озлобленно лезли отовсюду... Победа была несомненна... Умирающие львы уже не думали об обороне... Они знали, что позиция уходит в ненавистные руки, и думали только о том, как пасть с честью, как бы в последние минуты свои нанести удары посильнее, как бы подороже продать свою уже обреченную жизнь... В одном из редутов турки, уже ворвавшиеся, бешено дрались с нашими солдатами, задавливая их массой, умирая для того, чтобы на свежий труп встала тотчас же нога нового бойца, за которым ждали очереди остальные. Под ливнем свинца гибли и свои, и чужие... Сломав штыки, враги схватывались и, хрипя, душили один другого, перехватывали горла, выдавливали глаза, раздирали рты... Часто умирающий, свалив в смертельном, последнем усилии угасающей жизни своего врага, вгрызался в его тело судорожно сжимавшимися зубами и только под тяжелым прикладом, разбивающим ему череп, освобождал остервеневшего бойца... Парфенов, во весь рост стоя у самого вала, отбивался штыком от нескольких рослых низамов, наступавших отсюда. Курносый парень уже со шрамом во все лицо, изодранный, бессознательно вправо и влево отмахивался прикладом, зажмурив глаза и не видя, кого он бьет, чьи головы, чьи шеи встречает его приклад... Горталов, сумрачный и безмолвный, сложа руки, сидел пока посреди редута. Он был готов, он — этот капитан утопающего корабля — он был готов к смерти, но час его не пришел, и он спокойно ожидал последнего напора роковых волн. В живой массе солдат рвались гранаты... Соединительная траншея кое-где уже была захвачена турками, и там, в узком рве этом, шел свирепый бой один на один... Враги схватывались и гибли, утучняя почву своею кровью... Схватывались в туче порохового дыма, — умирая, не могли различить над собою

даже серого просвета неприветливого, совсем осеннего сегодня неба.

Ординарцы, посланные с приказанием отступать, не могли доехать до редутов, окруженных таборами... Сигналы слышались, — но им не верили эти мужественные, решившиеся умереть люди... Из левого редута, впрочем (Абдул-бей-табие), кучка солдат двинулась навстречу своим, но все на первых порах, врезавшись в смежную гущу врагов, погибли там под штыками... Раненые, падая, уже не могли надеяться на спасение... И здоровые не могли уйти, а этих и подавно уносить было некому. Да и дождаться турок не пришлось наиболее счастливым... Свои затоптали... Туда, куда направлялись наиболее сильные удары турок, — туда, где громче гремели их торжествующие крики, кидались кучки защитников. Им некогда было разбирать, кого они топчут — своего или чужого. «Ох, Господи! Спасите!.. Куда-нибудь в угол меня!.. Ой!.. Голубчики!.. Своего!..» — слышались хриплые, с натугой вырывавшиеся из-под ног крики раненых и умирающих, но они бесследно пропадали среди этого царства смерти, торжества ужаса... Не одна рука и нога были в крови; сапоги солдат тоже покрылись ею. На земле, где не было мертвых и раненых, где не корчились умирающие, те же стояли черные лужи крови... Падали лицом в них, спотыкаясь, опускали руки в эту кровь... Часто, потерявши от муки сознание, несчастный хватал за полу шинели, за ноги пробегавших мимо, но те, даже не оглядываясь, вырывались: помогать не было рук... Те, которые еще уцелели, знали, что через минуту и им придется также лечь на землю и в острых болях мучительной смерти царапать землю судорожно сводившимися пальцами.

Харабов заметил налево свободную полосу ската. Тут турки разредились, направляясь в атаку с фронта и с тыла:

— Не прикажете ли увести солдат туда?.. — обратился он к Горталову...

— Что? — спокойно поднял на него глаза, казалось, задумавшийся о чем-то майор.

Харабов повторил.

— Погодите... Нужно и знамена спасти... Они, во всяком случае, не должны достаться врагу... Что это?.. Откуда это выстрелы?..

На минуту было вспыхнула надежда...

Горталов встал...

— Неужели подкрепление?.. Можете вы рассмотреть, что там?..

— Нет... Впрочем, видно. Это Скобелев... Только с ним не более батальона...

— А пушки, пушки оттуда слышите?..

— Слышу... Вот они открыли огонь опять... Одна батарея... Я думаю, он хочет прикрыть отступление!.. С такими силами отбить турок нечего и думать...

Горталов зорко всмотрелся туда и потом, не говоря ни слова, сошел вниз...

Надежды не было... Атака турок опять приостановилась, но надежды не было.

Момент, которого он ждал, наступил...

Этим моментом нужно было воспользоваться, во что бы то ни стало... Турки отхлынули, очистив тыл... Теперь гарнизон редута может выйти... Теперь удобно начать отступление... В последний раз он собрал вокруг себя своих солдат, зорко, внимательно стал всматриваться им в лица... В эти дорогие, близкие лица... которых он более уже не увидит... Вот они перед ним... Ждут его голоса... Смотрят прямо в глаза ему... Вот и знамя колышется над ними...

— Братцы!.. Идите, пробейте себе путь штыками... Здесь защищаться нельзя... Штабс-капитан Абазеев, вы поведете их... Благослови вас Бог, ребята!.. Прощайте!..

И, сняв шапку, Горталов перекрестил солдат.

— Ну, с Богом! — громко, уже овладев собою, скомандовал он.

— А вы?.. — и все глаза обратились к нему с выражением тоски и боли.

— Я... Я остаюсь... Остаюсь с этими, — указал он на груды мертвых. — Скажите генералу, что я сдержал слово... Я не ушел из редута... Скажите, что я здесь... мертвый! Прощайте, ребята!..

Вот они направляются к горе... Вот они выходят... Вон эти серые фигуры, их уже нет в редуте... Сейчас корабль пойдет ко дну... Экипаж сел в лодки, отчалил. Один капитан на палубе, он не уплывет с ними... Он должен погибнуть вместе со своим судном... Ветер сбивает прочь мачты. Волна за волной разбивает кузов, сейчас он рассядется... Сейчас!.. Ниже и ниже опускаются борта... Весь в белой пене вал уже поднялся над ним...

Вот они за бруствером... В последний раз Горталов посылает им свое благословение.

«Спаси вас Бог!.. Спаси вас Бог!»...

И слезы на глазах... Он видит, как последние солдаты, оборачиваясь, крестят его... Он уже не может сдержать рыданий... Раненые корчатся кругом... Они тоже остались здесь... Вот знамя мелькает... Прощайте, братья, прощайте... Прощайте!.. Пора... Пора!.. Турки не должны увидеть этих слез... Вон они уже бегут... Почуяли, что редут оставлен... Торжествующий рев освирепелой толпы... Рев ему навстречу... Стадо звериное мчится... Ураган несется... Пора!..

Спокойный и величавый, скрестив руки на груди, он медленно взошел на наружный край бруствера... Горталов, он один теперь на страже редута... Один, и никакого волнения уже не видать

на лице этого капитана, погибающего со своим кораблем... Сколько их! Вот они у самых ног... Штыки... Взбегают на вал...

Вспененные гребни высоко-высоко поднялись над палубой...

Буря осилила... Корабля уже не видать под ними...

Горталов бьется на штыках... Последний вздох к небу... И разорванное на части тело героя безобразными кусками валяется на окровавленной земле...

Огонь рассыпанных по гребню следующего пригорка шуйцев заставил отхлынуть турок...

Путь к отступлению пока был открыт... Штыкам еще не было дела. Густясь по сторонам, враги довольствовались тем, что расстреливали солдат, выходивших из редута... Расстреливаемые — тем не менее — шли, сохраняя строгий порядок. Рассыпаться не хотели... Локоть к локтю, стройными рядами. Если бы не кровь на руках и на лицах, если бы в этой медленно движущейся массе не попадались раненые, которых товарищи несли на скрещенных ружьях, и раненые, которые сами шли, прихрамывая и опираясь на штыки, — можно было бы подумать, что эта свежая часть, совершенно спокойно идущая среди мирной обстановки обыкновенного похода... Даже равнение хранили эти доблестные остатки героических полков, выдержавших тридцатичасовой бой... Только озлобленно сведенные лица, глаза, горящие воспаленным блеском, выдавали волнение этих последних защитников редута... Изорванные знамена тихо колыхались над молчаливыми рядами. Несколько турецких значков с золотыми полумесяцами шелестели тут же, развертывая по ветру начертанное на их полотнищах имя Аллаха... Казалось, эти последние свидетельствовали, что солдаты, уносившие их, потерпели поражение, которое тем не менее было выше всякой победы. Отступающие уносили с собою трофеи, они не только своего не оставили туркам; напротив, и ихнего им не отдали... Впрочем, нет — бросили то, чего нельзя было взять... Наше орудие стояло в редуте... Замок с него был снят. Его тащило несколько солдат...

— Эх, жаль!.. — слышалось в рядах. — Орудие оставили!..

— Ничего... Что оно без замка?.. Нюжли на руках тащить?.. Не утащишь. Пусть свиному уху достается... Ничего с ним не поделает...

— Наша пушечка гордо стоит, ишь она нос-то как задрала!.. Что твой инирал... Ее оттеда и на буйлах[1] таперчи не увести! — говорили солдаты...

Оглядываясь, они видели спокойно стоявшего на валу Горталова... Они видели эту открытую голову, смело обращенную

---

[1] Буйла — буйвол.

туда, откуда на него шла неизбежная смерть... Они видели, как вокруг него разом выросла какая-то толпа... как этого, не защищавшегося человека, опустившего свою саблю вниз, спокойно скрестившего руки, подняли на штыки... Они видели, как он бился на этих холодных и острых жалах... как его сбросили вниз... Они видели, как вслед за этим последним защитником оставленного редута темные волны турецких таборов стали перекатываться через валы, со всех сторон. В гвалте их торжества не пропали бесследно отчаянные крики наших раненых, попавших в руки этим победителям. Отчаянные крики — крики, пронимавшие до самого сердца... Великодушные враги не хотели оставить умирающих — умирать спокойно... Вся их ненависть, вся их изобретательность направились к тому, чтобы придумать такие муки, каким нет имени на языке человеческом. Еще сумрачнее становились лица солдат, слышавших вопли своих товарищей. Они слали варварам проклятья... Забывали боль собственных ран... Некоторые рыдали, и казалось, что эти измученные, сна не знавшие очи точили кровавые слезы по почерневшим лицам... Порывались назад — хотели отбить своих, но что могли бы сделать жалкие сотни людей из расстрелянных полков с десятками таборов, отовсюду наваливавших на оставленные редуты?.. Что могли бы сделать перераненные, утомленные львы? — разве только одно: отдать и себя на жертву бесчисленному стаду гиен, тешившихся страданиями, упивавшихся воплями мучеников, у которых не хватало силы даже для того, чтобы заслонить глаза свои рукою от подлых ятаганов, заносившихся над ними... Они не могли повернуться, когда торжествующие победители раскладывали огонь на их окровавленных грудях; они только и могли вопиять к этому холодному, равнодушному небу, когда на их телах вырезывали кресты, когда медленно, с наслаждением, регулярные войска, присяжные солдаты Турции, отрубали им по частям ноги и руки... И счастливы были те, кто исходил кровью, кто умирал скоро...

Под жестоким, перекрестным огнем стояли шуйцы, прикрывавшие отступление наших... Но они все-таки были счастливее. Падая, знали, что до них не дойдет враг, знали, что смерть их не будет вызвана лютыми муками... Тут умирали сравнительно спокойно... Видя, как остатки еще вчера сильных и здоровых полков уходят из редутов, наши безмолвно стояли под непрекращавшимся ливнем свинца... Никому не могло и в голову прийти — схорониться за лощины... Скобелев зорко смотрел на отступающих. Жадно считал он их ряды издали... Казалось, в нем еще жила надежда, что потери будут не столь велики, что смешавшиеся в одни ряды солдаты разных полков еще выйдут оттуда, что это — не все... Но увы!.. Черные массы наших медленно двигались там — и позади за ними не было уже здоровых... Только раненые лежали на скатах — раненые

и мертвые... Одни ползли за своими, еще находя силы в порывах ужаса и отчаяния; другие оставались неподвижными, перевернувшись лицом вниз... Они, казалось, не хотели видеть, что ждет их, когда наши уйдут совсем...

— Как мало!.. Как мало!.. — нервно срывалось у Скобелева... — Какой ужасный день!.. И как уходят эти... Посмотрите — ни суматохи, ни беспорядка. Вот люди!.. Пошлите сюда казака...

Весь точно высохший донец на отощавшем степнячке трусцой подъехал к генералу.

— Ты знаешь, где генерал Крылов? Тебя я уже посылал? Сейчас поедешь опять...

Донец, два раза сломавший путь туда и обратно, только вздохнул: «Доля казачья — служба собачья!» — подумал он про себя.

Нервно набросал Скобелев несколько слов на лоскутке бумаги...

«Из редутов выбит... Отступаю в порядке, прикрываясь вашим шуйским полком... Merci, général!»[1]...

— Отдать этот листок генералу... Слышишь!.. Да живо!..

Нагайка стала поглаживать втянутые бока утомленного коня, затрусившего вниз в лощину по скату...

— Да... Если бы Крылов исполнил в точности приказ и не послал бы шуйцев, — никому не пришлось бы выйти живым из этих редутов... Академическим стратегам не мешало бы подумать об этом!.. — вырвалось у адъютанта...

Скобелев только нервно отбросил по сторонам баки и еще зорче стал смотреть на отступающих...

— Сколько потерь, сколько потерь!..

— Шуйцам тоже солоно пришлось... К нам их прислали после боя... У них не осталось и половины, а теперь и остальные лягут!..

— Ужасный день!.. И к чему было держаться? Чего ждать?..

Все, что окружало здесь начальника отряда, точно ослабло и понурилось... Мысль не работала, ощущения точно притупились... Кругом валялись мертвые, падали раненые — никому и в голову не приходило отъехать назад... Разве не все равно?.. Казалось, для того чтобы отойти, нужно было больше мужества и энергии, больше усилий, чем для того, чтобы оставаться здесь, не трогаясь с места, словно окостенев на нем.

Спит Гривица, спит Тученица, спит Радищево... Вот и турецкий редут, занятый нами, — единственный трофей двух дней

---

[1] Благодарю, генерал (*фр.*).

упорного боя... Там костры; за кострами сидят свежие румынские доробанцы; да и те молча глядят в огонь, потому что кругом трупов навалены горы; кровь везде: и под ногами, и на валах; острый запах ее бьет в нос... Сучья костра, попадая в эти черные лужи, шипят и тухнут, обвиваясь противным, кислым паром... Только на аванпостах бодрятся еще часовые... Выдвинулись вперед... зорко глядят, не покажется ли где враг. Прислушиваются, не долетит ли что оттуда... Но нет... Ночь, точно мертвая, и только одно воронье оглашает ее своими радостными победными криками... Впрочем, нет... Чудится ли это возбужденному мозгу?.. В болезненно расстроенном слухе рождаются ли эти звуки?.. Ловит их часовой и скоро догадывается, в чем дело... Да и как не догадаться? Столько ужаса в отголосках этих, столько муки в замирающих воплях... Холодный пот выступает на лбу; сердце точно смолкает и медленнее бьется; ноги подкашиваются... Это оставшиеся там, позади... Это те, что валяются теперь, как падаль, между нашими и турецкими позициями... Это подает голос живой корм для воронья... Он чует свою участь и, не находя силы двинуться, оглашает поле недавней бойни мольбами и стонами...

Но горе побежденным!.. Горе!.. «Нет им пощады!» — слышится в торжествующих криках хищников, в довольном клекоте тех, которые уже долетели до боевых полей и опустились на свои жертвы...

И еще сумрачнее, еще печальнее кажется молчание на наших позициях...

На скате, за кряжем Зеленых Гор — костер... Он уже потух; красные угли из-под золы только мигают порою, как умирающий из-под опущенных век... Молча, глядя в огонь, сидит Скобелев... Ему не спится... Припоминается весь этот день... Вся эта бойня. В военном энтузиасте шевелится проклятие войне... Отчего он не убит?.. Зачем он остался жить, похоронив свои лучшие полки, и горькое сознание ненужности бесплодно принесенных жертв шевелится в душе, и холодно ему становится, когда вспоминает он, каких именно людей он потерял сегодня... Как они дрались под Ловчей!.. С какой верой в него сегодня шли на смерть... Пошли и не вернутся более... «Не был ли ошибки в его расчетах?» — шевелилось в душе острое жало сомнения... Не он ли виноват в их страданиях? Не он ли виноват в их смерти?.. И опять он проверяет миг за мигом все эти тридцать часов безостановочного боя, и опять шевелится в душе горькое проклятие бездарности, сделавшей жертвы бесплодными, отнявшей у сегодняшнего дня тот именно венец победы, который один мог бы сделать весь этот бой не столь отвратительным, заставил бы забыть его ужас!.. Да где они, где эти еще вчера веселые, здоровые и бодрые люди? Где генерал Тебякин? Где Добровольский? Убит... Где смелый командир тринадцатого

стрелкового батальона Салингре? Убит. Где Горталов? Умер на штыках... Тысячи убиты и ранены... Зачем? Кому нужна была их смерть?.. И он все больше и больше кутался в солдатскую шинель, точно ему холодно становилось от этих воспоминаний именно теперь, наедине с этою ночью, с ее робкими, печальными, кроткими звездами, будто укорявшими его с высоты темного, равнодушного ко всему, и к победе, и к поражению, неба... Подымался ли в этом железном человеке обличающий голос: «Какому делу ты служишь?» Становились ли и ему понятны и близки томления Каина?.. Он закрывал глаза, стараясь не видеть даже лиц спящих... Но так еще слышнее звучал в его душе голос невидимого обличителя. Точно в его грудь проникла холодная мертвая рука и беспощадно сжимала живое сердце... «Ты никогда не забудешь этого дня... Никогда!.. Погаснут громы войны, и всякий раз, когда ты будешь оставаться один на один, я буду приходить к тебе, я буду тебе напоминать о том, что случилось сегодня»... И он сам чувствовал, что эти поля никогда не изгладятся из его воспоминаний... Сам чувствовал, что в самые счастливые минуты торжества эти кроткие, робкие звезды будут смотреть на него с таким же печальным укором, эта холодная мертвая рука также будет сжимать его живое, горячею кровью обливающееся сердце.

Шел мимо раненый... холодно ему казалось... Мигнул и на него умирающий огонек костра... Мигнул и замер. Побрел на него раненый солдат... Видит, начальство какое-то... Что ж ему! После такого боя разве оно страшно?

— Расступись, братцы, дай отогреться!.. — И думать не хочет, какое тут офицерство собралось... Привалился к огню, разгреб его... Что ему, может быть, умрет сейчас. Упало все внутри — тоска!

— И огня-то мало! — угрюмо звучит его голос... — Не умели разложить... Эх!.. Доля ты, доля солдатская!..

Смотрит на него генерал... Красным шрамом исполосован лоб... Плечо в крови... На ноге кровь.

— Где ранен? — тихо спрашивает. — В редуте?

— Ранен?.. Тебе не все равно, где?.. Не в резервах же... — и невдомек ему, что генерал свой — не различает воспаленный взгляд...

Молча смотрит генерал в красные угли точно проснувшегося костра... Он и не слышал ответа солдата, так, машинально спросил.

— Ранен!.. Все ранены... Не сочтешь!.. — угрюмо говорит солдат, разгребая их. — Понавалено... Тыщи — лежат!

«Да, не сочтешь!.. Ты их вел на смерть... Где они?.. Зачем, за что... Что им за дело, им, расплатившимся за тебя, до идей, которым ты служишь... Необходимые жертвы!.. Да кому же они необходимы?.. Тебе... Таким, как ты... Солдату необходимы?..»

И опять та же холодная мертвая рука!..

Забылся, было, к костру привалился?.. Что это?.. Кто-то шинель с него тянет...

— Что?.. — Машинально отзывается генерал...

— Ты здоров... Мне надо... — еще угрюмее отзывается солдат, снимает шинель с него, завертывается и идет далее...

Генерал следит за фигурою раненого, все больше и больше сливающейся с темнотой, и опять молча продолжает вглядываться в красные угли, вновь покрывавшиеся серым налетом золы... Умирающий огонек слабее и слабее вздрагивает под нею, точно ему холодно, точно он также спешит завернуться в эту золу...

И опять безотвязные думы... Ах, как кричит это воронье... Ноет внутри, в душе еще громче грозится ему кто-то... безотвязно!..

Далеко-далеко откуда-то слышится музыка... Что это, кому вздумалось праздновать? Должно быть — ужинают там веселые люди... Странное дело, как эти мотивы под стать к крикам вороньих стай... Что-то жадное, как и в первых, что-то неумолимо насмешливое... Звон бокалов в них чудится, довольный веселый говор... Везде воронье!..

А огонек уже совсем завернулся в серую золу и заснул... Ах, если бы и *ему*, с его безотвязными думами, можно было заснуть... Если бы и его оставила эта холодная, мертвая рука... Не щемила бы сердца... Помолчи хоть на минуту, укоряющий голос!.. Закройте свои кроткие печальные очи, небесные звезды... О, тучи, тучи! — Где вы? Зачем теперь открыли вы этих безмолвных свидетелей!..

XIV

После третьей Плевны я встретил Скобелева в Бухаресте. Долго он не мог прийти в себя после этих ужасных трех дней. И в самом деле, поддержи его тогда бесполезно стоявшими на Систовском шоссе резервами, и 30 августа Плевна была бы взята, война не потребовала бы таких ужасных жертв, и добрая сотня тысяч жизней не вычеркнута из списков.

Скобелев отправился в Бухарест отдохнуть, собраться с силами, привести в порядок разбитые нервы... Впрочем, этот отдых был — очень своеобразен. Он и тут не переставал работать и учиться. Румыны, видевшие его в ресторане Брофта и у Гюга за стаканом вина, в шумном кружке молодежи, скоро очень полюбили Скобелева, румынки еще больше. В тылу армии, как это бывает во всех войнах — кутежи и распущенность шли об руку. От *этих* — не было отбоя. То и дело он получал записки от той или другой бухарестской львицы с назначением встреч там или здесь, но записки эти сжигались без всяких дальнейших

результатов... Ему иногда положительно приходилось запираться. «Это какая-то Капуя!» — повторял он.

— Нужно бежать от порядочных женщин! — говорил Скобелев. Именно от *порядочных*!

— Вот те и на!

— Военному непременно. Иначе — привяжешься, а двум богам — нет места в сердце... Война и семья — понятия несовместимые!

Я не могу забыть весьма комического недоразумения, случившегося тогда же. Какая-то валашка из Крайовы, весьма молодая, красивая и еще более эксцентричная особа, наслушавшись разных чудес о Скобелеве и узнав, что он в Бухаресте, разлетелась туда... Скобелев получает от нее восторженное письмо, в котором его поклонница сообщает, что завтра она сама явится к нему лично выразить свое удивление... Послание — сожгли, а о ней — забыли. На другой день Скобелев сидит у себя со старым и дряхлым генералом С***. Этот последний — уже надоел ему бесконечными рассказами о всевозможных кампаниях, в которых он участвовал, начиная чуть не со времен очаковских и покорения Крыма и кончая Севастополем. Вдруг входит к Скобелеву лакей.

— Вас спрашивает дама...

— Какая?

— Она передала свою карточку...

На карточке фамилия той же, которая вчера прислала письмо. Генерал поморщился. Слишком уж однообразно и скучно выходило это, но тут же ему пришла блистательная мысль одним ударом избавиться и от старого генерала, и от румынской красавицы. Он, зная слабость первого к хорошеньким личикам, обращается к нему...

— Ваше-ство, — выручите меня!

— В чем?

— Да вот ко мне обратилась одна женщина... Мне — некогда... Совсем некогда... Выйдите к ней вы... Она меня никогда не видала... Скажите ей что-нибудь, ну, хоть скажите, что вы Скобелев... Или просто извинитесь за меня.

С*** улыбается... Ему нравится эта мысль... — Я уж лучше скажу, что я — вы?.. А?

Он выходит к румынке, а Скобелев в это время запирается и садится за работу.

Генерал, явившийся Скобелевым, потом рассказывал свои впечатления.

— Помилуйте, дура какая-то... Набитая!.. — Я ведь не таких, как она, в Венгрии видывал... В 48-м! И всего только тридцать лет назад! Что она думает, на диво мне все это?.. Мне только захотеть. У меня в Сегедине такая была!..

— Что же эта-то сделала?

— Посмотрела на меня, да как расхохочется... С тем и ушла!.. Болтает что-то по-своему, сорока!..

Румынка встретила на другой день генерала Черкес, командовавшего калафатскими каларашами.

— У русских понятие о молодости очень оригинальное!

— А что?

— Помилуйте... Скобелев, по-ихнему — молодой генерал... Я его видела — просто старая обезьяна, да и к тому же еще с облезшею шерстью... Хороша молодость... Что же у них называется старостью?

Несмотря на эти комические эпизоды — Скобелев был точно раздавлен впечатлением 30 августа.

— Оно все время стоит передо мною... Не могу забыть... Кажется, пьешь, пьешь — захмелеешь даже... А тут опять вырастет в глазах этот бруствер, сложенный из трупов... Горталов, поднятый на штыки... Ужасно!..

— Я ведь, знаете, совсем не сентиментален... Я сознавал необходимость и возможность 30 августа... А все-таки! Ведь и вина не моя — а спать не могу...

Так все и чудится передо мною картина отступления от редутов... Крики в ушах эти...

Он пожелтел в это время, похудел...

— Нет, тут плохой отдых!

— Почему?

— На деле скорей забудется... А тут все впечатления этого проклятого дня донимают...

В Бухарест приехал Тотлебен. По пути за Дунай он останавливался тут на несколько дней... На первых порах он сошелся очень коротко со Скобелевым. Они даже казались неразлучны. Вместе обедали, вместе ужинали. У обоих было одно общее — отвага и привычка к боевой жизни. Оба одинаково недоверчиво относились к штатским генералам и тем героям мирного режима, которые, нося военный мундир, явились на боевые нивы с невинностью младенцев и кротостью голубей. К сожалению, две эти боевые силы — Тотлебен и Скобелев — недолго шли рядом. Слишком несхожи были их натуры, слишком разны взгляды на войну, на солдата... Один — весь осторожность, даже медлительность, спокойствие, заранее обдуманный план. Другой — орел, жадно накидывающийся на врага, находчивый, гениальный, даже способный в самом бою — создать новую диспозицию, нервный, алчущий сильных впечатлений... Любимцем войск, разумеется, был второй, хотя роль первого под Плевной была, несомненно, полезнее... Потом, под Геок-Тепе — и Скобелев стал иным. С годами пришла рассудительность, поэт войны стал и ее математиком... В конце концов — он показал себя только в последнее время, и настоящего Скобелева мы бы увидели потом, в первую большую войну... До 1880

года — он только развивался, складывался, рос... Все блестящие его качества до этого времени были лишь вспышками гения, отдельными лучами этой военной звезды, столь яркой, столь быстро взошедшей, чтобы тотчас же потухнуть.

Нужно было видеть, как в Бухаресте его встречали раненые 30 августа, чтобы понять, до какой степени солдат верно умеет ценить своих друзей и врагов... Впрочем, и не один солдат. У «Брофта» за обедом какой-то из штабных героев с громадными протекциями и потому блестящею карьерой вздумал было заговорить о молодом генерале в том пошловатом тоне, который почему-то считается у нас признаком самостоятельности мнений и даже принадлежностью хорошего общества... Говорил, говорил, да и разоврался... Без удержу!..

Вдруг перед ним вырастает армейский офицер с подвязанной рукой...

— Молчать!.. Гниль!.. Когда вы надеваете на себя кресты, принадлежащие нам, когда вы снимаете пенки со всего кругом, когда вы пользуетесь всеми выгодами дела — где мы знаем только одни тяжкие обязанности, мы представляем вам полную свободу действий. Мы не завидуем вашим лаврам... Но Скобелева — не трогать!.. Слышите ли — не трогать!..

Тот растерялся, сконфузился и извинился...

— Помилуйте, это фанатизм какой-то... Они не позволяют говорить...

Увы!.. Несчастный не понял, что ему не позволяли только клеветать!..

— У кого больше перебили солдат, как не у Скобелева?.. — заявлял другой. Это было еще до замораживания 24-й дивизии на Шипке, до Горного Дубняка, до перехода гвардии за Балканы.

— Да, но ведь никому другому и таких задач не полагалось, трудно исполнимых и стоющих стольких жертв...

Любовь солдат к нему была беспримерна.

Раз шел транспорт раненых. Навстречу — ехал Скобелев с одним ординарцем. Желая пропустить телеги с искалеченными и умирающими солдатами, он остановился на краю дороги...

— Скобелев... Скобелев! — послышалось между ранеными.

И вдруг из одной телеги, куда они, как телята, свалены были, где они бились в нечеловеческих муках, вспыхнуло «ура»... Перекинулось в другие... И какое «ура» это было. Кричали его простреленные груди, губы, сведенные предсмертными судорогами, покрытые запекшеюся кровью!..

После одной из рекогносцировок едва-едва идет солдат, раненный в голову и грудь. Пуля прошла у него под кожей черепа. Другая засела ниже левого плеча. Увидев генерала — раненый выпрямляется и делает «на плечо!» и на «караул!». Совершенно своеобразное выражение солдатского энтузиазма.

Офицера, смертельно раненного, приносят на перевязочный пункт.

Доктор осматривает его — ничего не поделаешь... Конец должен наступить скоро.

— Послушайте, — обращается несчастный к врачу.— Сколько времени мне жить?

— Пустяшная рана... — начал было тот, по обыкновению.

— Ну... довольно... Я не мальчик, меня утешать нечего. Сам понимаю... Я один — жалеть некому... Скажите правду, сколько часов проживу я?

— Часа два, три... Не нужно ли вам чего?

— Нужно!

— Я с удовольствием исполню...

— Скобелев далеко?..

— Шагах в двухстах...

— Скажите ему, что умирающий хочет его видеть...

Генерал дал шпоры коню, подъехал. Сошел с седла... В глазах у раненого затуманилось...

— Как застилает... Генерал где?.. Не вижу!

— Я здесь... Чего вы хотите?

— В последний раз... Пожмите мне руку, генерал... Вот так... Спасибо!..

Под Плевной умирающий офицер приподымается...

— Ну, что наши?..

— Отступают...

— Не осилили?

— Да... Турков тьма-тьмущая со всех сторон...

— А Скобелев цел?

— Жив...

— Слава Богу... Не все еще потеряно... Дай ему...

Опрокинулся и умер с этою молитвой на губах за своего вождя...

В бою под Плевной, когда генерал уже в пятый раз бросился вперед в огонь, его обступили солдаты.

— Ваше-ство...

— Чего вам, молодцы?

— Невозможно на коне... Все с коней посходили...

— Ладно...

И пробирается вперед верхом. Турки целят в близкого к ним всадника. Целый рой свинцовых шмелей летает у его головы.

— Чего на него смотреть! — глухо заговорили солдаты...

— Эй, ребята... Ссади-ка генерала с коня... Этак и убьют его!

Не успел Скобелев и опомниться, как его сняли с седла...

— Виноваты, ваше-ство!.. Иначе никак не возможно... — оправдывались они.

Потом в траншеях станет Скобелев на банкет бруствера... А турецкие позиции шагах в трехстах. Начинается огонь по нему...

Солдаты смотрят, смотрят.

— Этак неладно будет!

И становятся рядом с генералом... Туда же... Тот, чтобы не подвергать их напрасной смерти — сходит и сам вниз...

Раненному в обе ноги нужно было отрезать их; одну выше колена, другую ниже. Ампутируемый решительно отказался от хлороформа, потребовал трубку; доктор дал ему громадную. Страдальцу отрезали одну ногу — он и не простонал. Начинают резать другую. Солдат только затягивается табаком. Были при этом и сестры милосердия. Молоденькая не выдержала, уж слишком подействовало на нервы. Начинает рыдать: ее останавливают.

— Ведь это на раненого скверно подействует... Молчите!

— Не замай! — солдат вынимает трубку изо рта. — Известно, ее бабье дело — пущай голосит!..

До того это было неожиданно, что все, несмотря на тяжелую обстановку всего окружающего, улыбнулись.

— Отчего это ты отказался от хлороформа?.. Ведь, легче было бы!

— Нам нельзя этого!

— Почем же?.. Ведь все так делают...

— То все... А мы на особом положении, мы скобелевские!

Раз отряд снимался с караула, чтобы идти в рекогносцировку, донец останавливается и раскрывает подушку своего седла. (У донцов в этих подушках все их боевое имущество)

— Чего ты?.. — недоумевает сотник.

— Да вот, новый мундир выну, все лучше умереть в новом-то!

— Зачем новое-то портить?

— Да как же, ваш-сбродие... Вон генерал говорит: каждый в бой как к причастию должен идти... И сам он всегда в новое одевается... Невозможно!

В скобелевском отряде — заботились не только быть храбрыми, но и красивыми в бою. «Надо везде и показом брать!» — говаривал он. На показную сторону даже солдаты обращали внимание. Тот же самый донец, одевавшийся во все новое перед боем, не успел еще договорить своего ответа сотнику, как вдруг ему — шальная пуля в живот. Раны такого рода смертельны и мучительны. Везут на перевязочный пункт. В это время главнокомандующий объезжает позиции.

— Ваше высокоблагородие! — обращается он к офицеру, тоже раненому.

— Чего тебе?

— Чего бы мне ответить получше великому князю, когда он спросит меня? — заботится раненый...

За своих — Скобелев всегда стоял горой... Их участь положительно была больна ему. Эта армейская молодежь, беззаветно верующая в дело, беззаветно смелая, стала для генерала — семьей, даже ближе семьи, если хотите.

— Я их не брошу и не оставлю никогда! — говорил он...

— Они все на моей душе теперь... Так работать, как они — почти невозможно!

— Ну, им и отличий больше!.. — замечали другие при этом... — Будет, с чем домой вернуться!

— Ну, что ж? Кто из них и останется целым, вернется домой, что толку. Какая у них будущность? Папенек, маменек, титулованных родственников — нет. Самые счастливые выйдут из службы с пансионом в 350 рублей или попадут в становые пристава... А ведь какая это честная и даровитая молодежь!

И действительно, близ Скобелева и типы вырабатывались совсем особые.

Вот, например, хорошо образованный солдат. Он не хочет держать офицерского экзамена. Почему бы, думали вы?

— Разве позорно быть солдатом? По-моему — это великая честь, я и остаюсь им!

Штаб, канцелярия скобелевской дивизии — в ста шагах от неприятеля, дни и ночи жили в траншеях. Писаря под огнем!.. Я уже в «Годе войны» рассказывал много об этом, теперь поневоле приходится повторить многие из этих эпизодов.

Вот, например, вольноопределяющийся рядовой Иванченко. До войны за год он был воспитанником классической гимназии в Москве. Ему только что наступило 15 лет, когда, увлеченный сербским делом и зная, что его так не отпустят, он бежал от греков и латинян, без паспорта пробрался через австрийскую границу для того, чтобы в Лемберге узнать об окончании войны. Что ему было делать? Назад возврата нет, да и семья примет крайне неласково. Мальчик еще — он принимается за сельские работы, поступает к какому-то русину и в поте лица зарабатывает хлеб свой. Потом он попадает в Румынию к нашим старообрядцам. Они его делают у себя учителем русского языка. Дают ему избу, кормят, дело идет так хорошо, что у Иванченко оказывается уже тележка и лошадь. В это время начинается война с турками. Иванченко продает все, продает телегу, лошадь и определяется добровольцем-солдатом в румынскую армию. Вместе с румынами он участвует в гривицких делах, ходит в секреты, наконец, там ему становится невтерпеж. Румынские офицеры так грубы со своими солдатами, что наши армейцы — идеал вежливости сравнительно с ними. Притом же Иванченко, как добровольцу, отпускается не пища, а по франку в день, и притом отпускается на бумаге, а не в действительности. Не умирать же с голоду. Явился в 16-ю дивизию к Скобелеву.

— Я есть хочу! — обращается он к генералу. — Возьмите меня к себе в дивизию!

— Ну вот что, я вам дам денег, отправляйтесь к родным домой!

— Значит, тогда прощайте!

— А что?

— Потому что я драться хочу более, чем есть... Останусь в таком случае с румынами!

— Что же мне делать с вами?

— Возьмите к себе!

— Да как же взять-то? Ведь вы числитесь в румынских войсках?

— Вашему-ству стоит только захотеть!

Тот его и определил в Углицкий полк. С полком мальчик неразлучен и в траншеях, и на турок ходит, и с солдатами недавний классик чувствует себя как нельзя лучше... Его очень любили и берегли. Встречается опять со Скобелевым.

— Ну, послушайте, миленький... Я вас хочу домой отправить. К родным!

— Они меня не примут!

— Я вам дам средство кончить курс. Назначу вам стипендию!

— А я сбегу все-таки и опять сюда... Ведь из классической гимназии Скобелевым не выйдешь!

Так его Скобелев и оставил в походе...

Еду я раз со Скобелевым по Брестовцу — навстречу офицер. Истомленный, усталый...

— Ваше-ство... Послан к вам!

— Обедали?..

— Нет... Послан к вам...

— Ну, едем обедать сначала...

— Помилуйте, я весь оборван!..

— У меня дам не будет!

После третьей Плевны идет Скобелев по Бухаресту. Поравнялся с офицером... Худой, в пыли весь, все старо на нем, отрепано...

— Какого полка?

Тот сказал.

— Что же вы здесь делаете?..

— Обедать приехал... Наголодались мы на позиции-то...

— Где же вы обедать будете?

— Да... не знаю... Совался я... Дорого, помилуйте... Невозможно даже... Да и как войдешь-то... в хороший ресторан стыдно и показаться...

— Вот еще. Чего же это стыдиться? Трудов да боевых лишений?.. Пойдем со мною!

Берет того под руку, ведет к Брофту, угощает... Рекомендует знакомым.

Сытый и довольный выходит офицер... Придя домой, в жалкий отелишко, где остановился, — застает пакет от Скобелева.

«Обедая, вы позабыли около своей тарелки восемь полуимпериалов... Денег терять не следует. Посылаю их к вам!.. М. Скобелев».

Понятно — какое впечатление все это производило на молодежь.

Очевидно, что за любовь и Скобелев отвечал заботливостью. Кстати, один характерный факт: в скобелевских траншеях, когда генерал проходил мимо, солдатам было приказано не вставать. Это возмутило скалозубов. Скобелев же объяснил просто.

— Солдату отдых нужен. Коли он будет вскакивать, так или генерал не показывайся на позицию, не живи с ними, или солдат вечно будет в устали...

XV

В октябре 1877 года, побывав на левом фланге нашей Дунайской армии и объехав затем позиции Гурко вокруг Плевно, я встретил в главной квартире М. Д. Скобелева. Штаб его был расположен в Брестовце.

— Вы меня совсем позабыли... А Мак-Гахан приехал уже в Брестовец...

— И я буду на днях!

— Отлично... Я вот к «генералу» приехал! — указал он на отца...

Я сообразил, что отношения между ними колеблются требованием денег с одной и скупостью с другой стороны.

— Приехал и жалею... Его Превосходительство сегодня не в духе!..

— Ладно...

— А вы бы к старшим, генерал, относились попочтительнее... Вы знаете, что воинская дисциплина не допускает неуместных замечаний...

И оба расхохотались.

В Брестовец я выехал на другой же день...

— Где генерал? — спрашиваю я на улицах этого села, сплошь осыпавшихся гранатами с ближайших турецких позиций... Иной раз нельзя было выйти из болгарской землянки, чтобы у самых ног не шлепнулась пуля или не просвистал мимо ушей осколок разорвавшегося где-то артиллерийского снаряда. — Где генерал?

— А, вишь, перестрелка с левого хлангу идет!.. — заметил солдат.

— Ну?

— Значит, это он объезжает позицию!

Я поехал на огонь. Наши громили Крышино, из ближайших турецких траншей, действительно, били по Скобелеву... Били залпами. Указание довольно ясное, где искать Михаила Дмитриевича. Действительно, смотрю, и оказывается, что с левого фланга нашего на белой лошади своей несется Скобелев, осматривая позиции. Мчится он не за цепью, а перед ней, не обращая внимания на град осыпающих его пуль... Издали уже я вижу фигуру генерала... Вот он остановился как вкопанный шагов за двести от ложемента турок. Лошадь не шевельнет ушами. Сам он высматривает турецкую позицию — а выстрелы неистово так и гремят оттуда...

— Что вы это напрасно подвергаете себя опасности? — заметил ему кто-то.

— Нужно же показать своим, что турки не умеют стрелять!

В сущности, он высматривает таким образом неприятельские позиции и потому всегда хорошо ориентирован и знает расположение турок столько же, сколько и свое... Очень часто под кажущейся фанфаронадой у него скрывалась серьезная цель и так он достигал решения очень важных задач.

В четыре часа мы отправились к нему.

«Ак-паша», как называли его турки, белый генерал, занимал в Брестовце землянку. Там он спал и работал. Во дворе большой шатер, куда ежедневно сходятся обедать по сорока, по пятидесяти офицеров. Гостеприимство Скобелева не знало границ в этом отношении.

— А я жду теперь неприятностей из главной квартиры! — сообщал он.

— За что?

— Поддался личному впечатлению. Отдано приказание никого не выпускать из Плевно: ни турок, ни болгар...

— Зачем?

— А затем, чтобы еще тяжелее сделать положение осажденных... А тут из Крышина подъехало сорок подвод с ранеными христианскими женщинами и окровавленными детьми. Голодное все, жалкое... Ревут, просят их выпустить из этого железного кольца, которым мы охватили город...

— Вы их, разумеется, и выпустили?

— На все четыре стороны... А теперь за это влетит!

— Почему же узнают?

— Вот! Я сам донес об этом!

И кстати, я вспомнил сцену, виденную несколько дней назад. Несчастную старуху, вышедшую из Плевно и попавшую на позицию другого генерала, по его приказанию гнали казаки назад в осажденный город — нагайками.

Не успел я здесь пробыть и трех дней, как 27 октября вечером было получено из главной квартиры приказание занять первый кряж Зеленых Гор и укрепиться на нем. Подробности

и значение этого дела рассказаны в моем «Годе Войны». Здесь же я заимствую из него только эпизоды, относящиеся непосредственно к Скобелеву.

Приготовления к делу начались с утра. Чистили ружья, перевозили поближе к батареям снаряды, собирали как можно более шанцевых инструментов, солдаты переменяли, по стародавнему обычаю, белье, надевали на себя все, что имели лучшего. Начальники обходили свои части, приготовляя их к не совсем обычному ночному бою. Большинство солдат были новички. За них боялись особенно. В офицерах тоже оказывался большой недочет, потому что убыль между ними еще не была пополнена, да и пополнить ее не из чего. Это особенно смущало. «Ах, где те, с которыми мы брали Ловец и плевненские редуты!» — поминутно повторял Скобелев... Большинство их лежало уже в чужой земле, другие томились в лазаретах — назад редко кто возвратился; или раны еще не залечены, или после ампутаций пришлось уйти на родину калекой. Многие из нынешних офицеров были еще внове, их не знали вовсе, на оставшихся старых боевых товарищей смотрели с сожалением. Первыми пойдут в бой — показывая пример, первыми, разумеется, и лягут. Со стороны, в Брестовце и лагерях — не было заметно ничего особенного. Также целый день играла музыка, а в углицком полку с утра заливался хор песенников... День начался холодный, сырой и мрачный...

В четыре часа Скобелев выехал из Брестовца, по своему обыкновению одетый с иголочки, свежий, даже раздушенный. Тонкая фигура его на белой лошади, действительно, производила сильное впечатление в этот серый день, когда кругом до такой степени густился туман, что в полуверсте деревья казались какими-то смутными пятнами, точно там еще гуще лежала мгла. Скобелев тогда составлял для меня загадку. Неужели в этой железной груди нет места страху, опасениям, тоске, охватывающим каждого перед боем? Я обратился к нему с прямым вопросом.

— Жутко, разумеется. Не верьте, кто скажет вам иначе...

— Зна те, — продолжал он потом, припоминая разговор за обедом с английским полковником Гавелоком: — теперь не время рассуждать, критиковать, отчаиваться... Вы говорите — талантливым людям беречь себя следует... Умирать надо — и мы умрем с радостью, лишь бы не срамили Россию, лишь бы высоко держали ее знамя! Хорошо умереть за свою родину... Нет смерти лучше этой...

В серой мгле — какие-то темные массы. Подъезжаем ближе — бараки-землянки, стога сена... Перед ними стоят в боевом порядке роты и батальоны... Видишь только передних, позади все уходит в туман. Лишь бы не заблудиться — а то погода самая благоприятная. Можно подойти на сто шагов к неприятелю

незамеченными, броситься на ура и еще двадцать шагов пробежать до первого залпа оторопевших турок. А в восьмидесяти — их пули уже менее грозны, все полетят над головами. От них больше вреда будет дальним резервам, чем атакующим частям. Прямо перед нами взвод охотников. Эти вызвались первыми броситься в турецкие шанцы и, при поддержке стрелковой цепи, переколоть неприятеля. Всматриваюсь в лица охотников, этих заведомо отчаянных людей — и ничего в них сурового, грозного, воинственного. Простые, серые, солдатские лица, некоторые с наивной улыбкой, все — доверчивые... Охотники вытянулись, провожают глазами генерала. Один старается особенно — а на смерть идет... Видимо, хочется ему, чтобы на выправку его внимание обратили. Скобелев гладит его по лицу — солдатик вполне доволен. Генерал проезжает по рядам, разговаривает с ротами, именно не речи произносит, не ораторствует, а разговаривает.

— Ну что, братцы?.. Как пойдем сегодня?..

— Постараемся, ваше превосходительство!

— Не осрамитесь?..

— Зачем же... Мы рады, ваше превосходительство...

— Помните, братцы, одно — не зарываться. Мы не Плевно брать идем, а только выбить турок из их траншеи и занять ее... Поняли... Следовательно, дорветесь вы до траншеи и садитесь туда...

— Постараемся...

— Ну, то-то... Помните, что тут не в храбрости, а в послушании дело. Сказал тебе начальник: «стой» — так хоть и желалось бы погнать неприятеля дальше — ни с места... А турок бояться нечего...

— Мы их не боимся!

— Ну, то-то... Помните Ловец, как мы их били?

— Помним, ваше-ство! — бодро звучит из рядов.

— Помните, как погнали их, а?..

— Они от нас тогда всей ордой побежали! — отзывается улыбающийся солдат.

— Ты был тогда со мною... Из старых, должно быть?

— Я с вашим превосходительством и редуты эти самые под Плевно брал!

Тот только тяжело вздохнул в ответ.

— Ну вот, братцы, видите. Дело не трудное. Раз уже мы эту Зеленую Гору брали... Наша была...

— И опять будет, ваше-ство!

Беседа, похожая на эту, повторялась в каждом батальоне. Скобелев узнавал своих старых боевых товарищей, припоминал с ними прежние атаки, просил солдат не забывать, что сегодняшнее дело не нападение на Плевно, а только занятие ближайших турецких позиций.

— Знаете, я ужасно боюсь за молодых солдат, — обращается к своим Скобелев. — Очень уж рискованное дело... Ночное, в тумане. Тут и старому, если он не привык — можно растеряться. Я не останусь, как хотел, в резерве, а сам поведу их... Ах, если бы здесь были туркестанские войска!.. Помните Андижан, Махрам?.. — спросил он у Куропаткина.

Старые боевые товарищи только переглянулись молча, но видно было по лицам, что при одних названиях этих мест целый рой воспоминаний возник у обоих... «Помните, как при начале кампании думали у нас о туркестанцах. Про меня говорили, что мне и батальона поручить нельзя. На офицеров наших свысока смотрели — а они первыми легли здесь. Где все эти Калитины, Федоровы, Поликарповы, Поповы? Кто в Эски-Загре, кто в Балканах зарыт!..

— А все-таки хорошее время было! — закончил Скобелев.

Владимирский полк мы встретили, уже проехав с полверсты вперед. Он выстроился боевыми колоннами на скатах лощины, там, где должен был оставаться резерв. В тумане очень красивы были эти сомкнутые черные массы, молчаливые, ни одним громким звуком не выдающие своей близости неприятелю. Турецкие позиции не более как в шестистах шагах впереди. Мы тревожно вглядываемся в непроницаемую мглистую даль, с бьющимся сердцем ждем — вот-вот грянет оттуда первый выстрел чуткого часового, вся линия неприятельских траншей и ложементов оденется негаснущими молниями залпов, и под градом пуль, с глухими стонами, направо и налево, впереди и позади станут падать в этих неподвижных еще толпах безответные солдаты. На нас мог наткнуться разъезд или секрет неприятельский. Еще несколько минут — и присутствие нашего отряда уже не будет тайной... Красивое зрелище перейдет в настоящую драму, и уже не до любованья будет, когда длинною вереницей потянутся вниз носилки с ранеными и в хриплых криках атаки, в кровожадном рокоте барабанов замрут предсмертные вопли умирающих.

Скобелев останавливается перед полками, снимает фуражку и крестится... Точно шелест пронесся в воздухе — крестятся офицеры и солдаты. Каждый читает про себя молитву... каждый уходит в самого себя... кто знает, может быть, некоторым не останется даже мгновения, чтобы, падая, обратить взгляд свой к этому серому небу, по которому теперь тяжело ползут низко нависшие тучи... Даже иностранцы поддаются торжественности этой минуты. Снимают шапки вместе с другими... В памяти почему-то неотступно встают картины далекого теперь прошлого. Родной дом, близкие и дорогие люди... Но это только минута.

— Стройся!.. — тихо звучит команда, и длинная цепь стрелков веером разбрасывается впереди... На лицах уже нет грусти, нет раздумья. В глазах у некоторых офицеров энтузиазм, команда

звучит металлическими тонами, Скобелев уже впереди, красивая фигура его мелькает далеко перед цепью...

Высмотрел — вернулся... Что-то подробно объясняет охотникам.

Я в этот решительный час опять внимательно всматриваюсь в лица «охотников», этих людей, сознательно обрекающих себя смерти. Ищу в них одушевления — ничего не бывало! Такие же серые, заурядные, казенные лица. Некоторые смотрят растерянно, озабоченно, другие только ждут команды и, по обыкновению, готовы ее исполнить, как и на ученье. Не одного выдающегося. Точно на часы в карауле идут, — а ведь, так сказать, «добровольцы»... Невольно думается, что же их тянет туда — первыми в огонь, в силу чего они вызвались принять на себя залпы и грудью встретить турецкие штыки?..

Цепь тихо двинулась вперед. Фигура генерала все больше и больше уходила в туман... Скоро мгла окутала и черные черточки рассыпанных стрелков. Стало смеркаться, но ночь еще боролась с серым маревом...

— Слава Богу! Турки не замечают нашего отряда... Я начинаю верить, что дело обойдется без больших потерь! — шепчет кто-то около... Но как раз в эту минуту будит окрестность неуверенный, одиночный выстрел турецкого часового. Мгновение полного безмолвия... Сердце щемит... Другой выстрел — с другой стороны... Третий... Но все вразброд... Вот завязывается трескотня направо... но только с одной стороны... Наши не отвечают... По звуку выстрелов, по интервалам, по одиночности их видимо, что турки еще не знают, в чем дело, а только насторожились, почуяли что-то такое... Точно люди стреляют не сгоряча, не желая предупредить противника огнем, а прислушиваясь и еще не отдавая себе отчета, куда и зачем они посылают свои молнии...

— Наши подошли, должно быть, уже близко!

— Не видать... Впереди серый неясный туман...

— О, Господи! — раздается чей-то вздох позади.

Выстрелы все еще вперемежку.

— Ребята, за мной!.. — с одного конца до другого металлически звучит где-то в тумане громкий голос Скобелева, покрываемый общим «ура» атаки, оглушающим грохотом словно разом вспыхнувших залпов неприятеля и раскатом барабанов. Значит, опять он сам повел их, обрекая себя на первую пулю, на первую смерть... Мы ничего не видим, но первые выстрелы уже обдали резервы горячим градом пуль... Несколько стонов замерло в общем стихийном шуме незримой атаки... Отдаем коней казакам и двигаемся вперед. Ничего на пути. Свищут пули, доносится отголосок битвы... Вон что-то выделилось из тумана. Ближе и ближе... Раненый в ногу солдат идет назад, опираясь на ружье... Кто-то около корчится на земле...

— Батюшки; не оставьте... Не бросьте, голубчики...

— Где Скобелев?

— Где? Лезом лезет вперед... Что ему!.. Ен не боится!

Иной раз сквозь грохот битвы мы слышим одушевляющий голос Скобелева. Точно — орлиный клекот носится где-то в высоте.

— Куда проехать на батареи? — раздается в тумане. — О, черт вас возьми... Да откликайтесь же, наконец, кто-нибудь... Как к батарее проехать?! — кричит кто-то. Фигура всадника на минуту вырезывается из тумана и пропадает уже позади... Посылают приказание батареям залпами начать артиллерийский огонь против турок.

Стрелковая цепь сделала свое дело. Она выбила турецкие аванпосты из нескольких ложементов, которые едва можно было различить в густом тумане и сумраке осенней ночи. Можно сказать, что на них наталкивались ощупью, так что, например, когда весь ряд их был уже захвачен нами, посередине оказался один, незамеченный. Турки, разумеется, оттуда убрались назад. Промедли теперь маленький отряд охотников со своим резервным взводом, и дело обошлось бы нам очень дорого. К счастью, как только маленькие ложементы были захвачены цепью, из-за них выдвинулась партия охотников со Скобелевым и поодаль от нее взвод резерва. Всего их было по пятидесяти человек в каждом. Трудно представить себе, как часто у Скобелева большие дела совершаются ничтожными силами. Из ста человек, двинувшихся вперед на турецкую траншею, по пятам за отступавшими турецкими аванпостами шло не более двадцати. Это — самые решительные; поодаль двигалось человек тридцать, считавших постыдным отстать от своих. А половина — осталась в пространстве между аванпостными ложементами и турецкой траншеей. Залегла на землю и притаилась. Человек в этом случае делается очень глупым. Лежать тут гораздо опаснее, чем идти вперед. Практика настоящей войны вполне убедила нас, что главная опасность для атакующих частей является в трехстах шагах от неприятеля и далее. Ближе начинается мертвое пространство. Пули снопами летят над головой, вы слышите только их свист, жужжание, шипение — но можете даже не наклоняться. Разве случайная ранит вас. Все это знают, все это видели, но трусы все-таки ложатся там, где пули падают, и не решаются идти туда, где они менее вредят. Это просто паника, когда человек теряет голову. Охотники бросились на неприятельскую траншею и в первый момент одним криком «ура» выгнали оттуда турок. Оставшихся прикололи, потому что при сравнительной слабости партии очень опасно было брать в плен. Выбежав из своего укрытия, турки бросились врассыпную. В это время отставшие части стали одиночками подходить сюда, и по бегущим открыли сначала пальбу залпами, а потом не-

прекращавшуюся пальбу рядами. Охотники быстро вошли во вкус. Известно, что как скоро возникает паника, также скоро она и исчезает; между людьми, лежавшими еще недавно позади своих товарищей, нашлись такие, которые теперь бросались из траншеи в погоню за беглецами, настигали их у следующего ряда турецких укреплений и там уже били в упор, мало заботясь, что, опомнившись, турки могут забрать их живьем. Позади атакующих частей, т. е. стрелковой цепи, партии охотников и взвода резерва двигалось десять рот Владимирского пехотного полка. Они не должны были принимать участия в наступлении, но тем не менее роль их была в высшей степени серьезна. Снабженные каждый шанцевым инструментом, они должны были как можно скоре вырыть траншею на том месте, которое еще ранее боя было определено на плане как крайний пункт наших будущих позиций. Траншея должна была вырасти на глазах.

Десять рот Владимирского полка привели сюда, расставили их в одну шеренгу по всей линии будущей траншеи, и в то время как охотники со своим резервом, бывшие впереди, из наступления перешли в оборону и уже в свою очередь залпами отбивались от атакующих таборов турок, неистово стремившихся отнять назад важную позицию первого кряжа Зеленых Гор, владимирцы нервно, быстро работали лопатами, с каждою минутою все выше и выше воздвигая перед собою серый окоп бруствера. Турки их в это время буквально осыпали свинцовым дождем... По яркой линии огня в эту мглистую тьму, прорезывавшейся вперед, они видели, что в наступление перешли значительные силы врагов. Пули поражали людей, со злобным шипением уходили в рыхлую массу свежего окопа, жужжа, точно пчелы, носились у самых ушей, сливая свои разнообразные звуки с глухими стонами раненых и пронзительными воплями неприятельской атаки, — а работа все-таки шла, не переставая.

Скобелев все это время находился впереди работающих.

— Он дерется, как прапорщик! — говорили о нем в тот день.

— Зато не прячется, как генерал! — замечали другие.

Никто не отдыхал, никто ни на минуту не оставлял лопаты. Многие работавшие шеренги не прерывались ни на одном месте. Только откуда-нибудь раздавался стон, и солдат, только что захвативши лопатою ком земли, падал в вырытую им яму — на его место сейчас же выдвигался новый: жертву боя санитары уносили назад, и работа опять шла упорно, безотходно... Через час турецкая атака была так сильна, что, казалось, воздух мог бы раскалиться от этого сплошного дождя горячего свинца; направо и налево, впереди и позади падали такие густые массы, что на этом пространстве трудно было держаться чему-нибудь живому, но героизм и сила сделали свое дело. Пока проходил этот час, окоп рос, а в момент самого ожесточенного огня

бруствер новой траншеи поднялся уже так высоко, что затомившиеся владимирцы могли, сложив свои лопаты, прислониться к нему и отдохнуть *в полной безопасности*. Дело было сделано, позиция для нас спасена... Уже в этот час, хотя все еще было в начале, мы могли торжествовать победу...

Между тем наш артиллерийский огонь тоже делал свое дело. С батарей правого и левого флангов у Брестовца, с радишевских и тученицких позиций, с Пернина и Медвена — громили турок.

Уже через час, когда насыпь была почти готова, от охотников прибежали назад сказать, что у них мало осталось патронов. На месте была организована доставка их; все время остального боя десять, пятнадцать человек проползали во тьме от строившейся траншеи на огни турецких залпов, отыскивали впереди наших охотников, снабжали их патронами и также ползком возвращались назад за новыми запасами. Благодаря этому почти всю ночь продолжалась перестрелка, не ослабевая, огонь поддерживался неустанно, и туркам ни разу не дали подойти слишком близко к отнятой у них высоте.

В два часа ночи турецкая атака особенно усилилась. К неприятелю подошли значительные подкрепления. Но наши были уже прикрыты бруствером новой траншеи. Стрелков вернули назад, и начался второй период боя, уже более правильный в смысле обороны.

Во втором периоде дела бой вела уже новая траншея. Против турецкой атаки, направившей теперь главные свои силы против нашего левого фланга, на строющуюся соединительную траншею, действовали сплошным огнем из-за бруствера десять рот Владимирского пехотного полка, остальные пять рот его были в резерве. Солдаты, стоя за валом, били выдержанными залпами. Волнение уже улеглось, горячки первых минут не было, ждали команды, и по ней верхний гребень бруствера точно разом вспыхивал снопами огня, озаряя на одно мгновение непроницаемую тьму.

Спросят, где же все это время был Скобелев? — Там же, где и всегда. Сначала с охотниками, потом в траншее, лично командуя ее обороной. Во время самых жестоких атак неприятеля молодой генерал вскочил на бруствер и, весь в пороховом дыму, в перебегающем огне выстрелов, ободрял солдат. В минуты сравнительной тишины он проходил за траншеей, беседовал с владимирцами, следил за тем, как росла грозная профиль бруствера, посещал резервы... В один из таких обходов он заметил, что в центре новых траншей у Нечаева люди стоят слишком жидко. Лично распорядился послать ему еще роту. Пройдя направо, он обращается к солдатам:

— Смотрите, братцы... Сейчас опять станет наступать неприятель. Я буду на левом фланге. У меня стоять молодцами. Умирать на своих местах, но не уступать позиции. Слышите...

— Слышим, ваше-ство... Не беспокойтесь... Мы с Маневским! — раздаются в ответ голоса солдат.

Скобелев жмет руку Маневскому и идет дальше.

В это-то самое время наступил сравнительно момент тишины.

Скобелев, пользуясь им, скачет в Брестовец, чтобы послать оттуда донесение в главную квартиру главнокомандующему и в Тученицу — Тотлебену. Не успели еще написать двух слов, как на Зеленых Горах опять разгорелась перестрелка. Вскочив на первого коня, Скобелев перегоняет своих ординарцев, мчится назад, боясь за судьбу новой позиции. Весь путь — осыпают пули. Ночью турки стреляют и в Брестовец, и в лощины за Зелеными Горами. Пули ложатся налево и направо, шрапнели рвутся в высоте, но спустя несколько минут целыми и невредимыми они домчались до подъема на занятый сегодня кряж.

Вот что случилось в отсутствие генерала на Зеленых горах.

Турки стали бить анфиладными выстрелами по солдатам, которые только что начали рыть соединительные траншеи от главной к резервным. Две роты из новичков вследствие этого дрогнули, бросили ружья и давай Бог ноги. Это было не из передовых позиций — там, в траншее, отлично выдержали турецкую атаку солдаты Маневского и Нечаева, а, так сказать, из среднего промежутка между траншеями и резервами. Таким образом, когда впереди горел бой — вторая линия наша его не выдержала.

Только что начальство стало взбираться на скат Зеленой Горы, как навстречу — расстроенная масса. Бегут врассыпную, во все стороны.

— Посмотрите, они бегут! — крикнул Скобелев.

И тут-то я удивился от души боевому психологу...

Объятую паникою толпу — не остановишь угрозами, еще пуще напугаешь, пожалуй.

— Здорово, молодцы! — крикнул им навстречу Скобелев.

Крикнул весело, радостно даже.

Те приостановились... Даже послышалось «здравия желаем», только враздробь... Несмело...

— Спасибо вам, орлы, за службу!.. Героями поработали сегодня!

Еще минуту назад растерявшаяся толпа стала подбираться, показалось что-то наподобие строя.

— Горжусь я, братцы, что командую вами. Таких молодцов еще и не было!

Беглецы совсем оправились уже. Строй — правильный... Видимо, очнулись.

Тут генерал делает вид, что только сейчас заметил у них отсутствие ружей.

— Это что ж такое? Где же ваши ружья, ребята?

Молчание... Солдаты стоят, потупившись.

То же томительное безмолвие. Полная перемена декораций и у Скобелева.

— Вы это что же?.. Ружья кинули — трусы... Бежать — от турок... Позор, стыд! Сволочь вы этакая... Не хочу я командовать этакою дрянью... Вон от меня...

Солдаты совсем уничтожены. Стоят, как приговоренные к смерти.

— Марш за мной!

Рота без ружей стройно идет за генералом, не перестающим честить их... Пришли на позицию, взяли ружья.

— За мной!

Вывел их Скобелев в промежуток между турецкой и нашей траншеей, в самое опасное место, выстроил и давай производить, им ученье. Сам стал в наиболее подлом пункте, — между ними и турками.

— На плечо!..

Команда исполнена, но неуверенно... Нестройно...

— Еще раз к ноге... На плечо!

Исполнено лучше.

— Еще раз... Вы у меня, как на параде будете... На плечо!

Исполнено превосходно.

— На караул!

То же самое.

Таким образом он добился, что они под самым убийственным огнем исполнили все ученье как следует, с отчетливостью парада, и тогда уже он пустил их обратно в траншею.

Валы были уже готовы — но внутри могли помещаться только одни солдаты, работавшие их. Еще слишком узок был ров. Так что генерал, офицеры, начальник его штаба проходили перед траншеей — рискуя получить пулю в голову или верхнюю часть груди. В это время капитан Куропаткин замечает, что впереди, несмотря на приказание отступать, есть еще несколько стрелков, не решающихся идти назад. Он выходит перед траншеей.

— Капитан Домбровский! — зовет он к себе их командира. — Потрудитесь отвести остальных оттуда!

— Сделаю, что могу! — отвечает тот и поднимает руку к козырьку. В это мгновение точно что-то щелкнуло около Куропаткина, и Домбровский падает вниз без стона. Подбегают к нему — пуля, ударив в висок, убила Домбровского наповал.

Через полчаса наш отряд мог заснуть спокойно. Соединительная траншея от траншеи Маневского к резервам была уже готова. Турки, повторив атаку в значительно больших силах, могли бы отнять левофланговую, нечаевскую, траншею — это было бы уже не важно. Маневского и соединительная остались бы в наших руках. Опираясь на радишевский овраг, куда уже

шли шуйцы, мы заснули спокойно... Бой на сегодняшнюю ночь был кончен. Турки, потеряв веру в возможность сбить нас с Зеленых Гор, стали сновать со своими атакующими частями на другие наши позиции. Сунулись было на брестовецкий левый фланг — отбили их; массами, точно тучи, надвинулись на правый фланг и тоже бежали, оставив своих убитых и раненых. В обоих этих пунктах они были отброшены сидевшими в своих траншеях суздальцами. Кинулись было на правофланговую батарею, но тоже из передовых траншей их встретили таким убийственным огнем, что турки не дошли даже и на пятьсот шагов.

Возвращаясь назад в туман, мы чуть не заблудились. В нескольких шагах от себя ничего видно не было. Благодаря этому обстоятельству в руки наших солдат попалась турецкая кухня, которую везли с запасами вареной фасоли на позицию. Турок возница спокойно приехал в наш отряд и давай кричать на солдат, чтобы они посторонились. Заметив ошибку — он было задергал вожжами, чтобы повернуть лошадей, но его уже обступили со всех сторон и с громким хохотом приступили к исследованию турецких котлов.

XVI

Серо и туманно было утро после этой памятной ночи, в которую защитники только что взятых позиций не знали отдыха. Кончился бой — опять за лопаты. Работа продолжалась и днем. Нужно было уширить и углубить траншею, утолщить ее брустверы, особенно наверху, где турецкие пули пронизывали гребень, прорезать банкеты, на которые бы могли становиться часовые, а в случае тревоги и все дежурные части отряда. Приводились в известность наши потери, причем оказывалось, что из строя выбыло около 130 человек. Кто не работал, тот чистил ружья. Только немногие счастливцы могли заснуть на сырой и холодной земле, кое-как завертываясь в серые шинели. В семь часов еще было темно, а солдатам уже доставили горячую пищу. Сверх того владимирцы в бруствере проделали маленькие ниши-печурки. Там раскладывались дрова, которые приходилось собирать под выстрелами позади траншеи. Оттуда курились дымки, и около огонька грелись зябнущие группы солдат, пока в манерках поспевал им чай. Для генерала в центре траншеи было убито точно вроде скамьи небольшое пространство земли, в нарочно прорытой ямке. Сюда положили соломы и здесь именно, завернувшись в бурку, отдыхал Скобелев.

Ему, впрочем, спать не пришлось. Поминутно он вставал и обходил позицию.

Раз даже сам взялся за лопату и показал, как нужно обминать верх бруствера.

— Вот видите, — обернулся он ко мне, — изучение саперного дела и пригодилось!

К полудню уже нельзя было узнать траншею. Внутри широкий ход. Трое могут идти рядом. Бруствер высок и толст настолько, что в средине его не пробьет граната. Ружья лежат не на гребне бруствера, а в нарочно для того проделанных в нем отверстиях. Банкеты по брустверу всюду. На них под ружьем может стать целый полк. Сама траншея продолжена на версту и загнулась на правом и на левом флангах. Это египетская работа, сравнительно с малым временем, потраченным на нее. Тем не менее не довольствуются этим.

— Вдвиньте мне сюда батарею... Ради Бога, устройте поскорее для нее амбразуру и брустверы, чтобы завтра ночью мы могли уже приветствовать турок и отсюда гранатами... — торопит Скобелев Мельницкого, хотя солдаты сильно утомлены.

Мельницкий тоже устал до последней возможности, но сейчас же принялся за дело.

— Во сколько часов будет готово?..

— К полуночи!

— Нельзя ли поскорей?.. Я знаю, что как только стемнеет, турки попробуют отнять у нас траншею... Встретить бы их картечною гранатой...

— Часам к десяти завтра постараемся...

— Какой унтер-офицер у вас будет заведовать работой?

— Митрофан Колокольцев!

— Покажите мне его!

Красивый саперный унтер-офицер был приведен к генералу.

— Это ты, голубчик, вчера под огнем рыл траншею?

— Я, ваше превосходительство!

— Ну, вот что, молодец. Если ты мне к завтрашней ночи кончишь батарею, а ночью перед нашим левым флангом выроешь небольшой ложементик, послезавтра я поздравлю тебя георгиевским кавалером!

— Постараюсь...

— Ну, помни же...

— Коли не убьют — сделаю!

— А убьют — так умрешь честно, за свою родину...

— Слушаю-с...

— Уж если Колокольцев взялся — так все будет сделано! — успокаивает волнующегося генерала Мельницкий.

Местность между нашей новоявленной зеленогорской траншеей и турецкими позициями представляет унылую полосу поблекших кустов, мелкого дубняка, сухой лист на котором падает при малейшем прикосновении. В нескольких пунктах высятся грушевые деревья, тоже совершенно голые. Этими деревьями стали пользоваться турецкие стрелки. Они забирались туда и сверху вниз прямо уже в траншее били людей, мнивших

себя в полной безопасности. Наконец, это надоело нашим солдатам — они отправились на охоту «за дичью». Перепрыгнут за бруствер и подползают сквозь кусты к дереву. Только что турецкий стрелок наметит новую жертву в траншее и наводит на нее дуло своего Пибоди — как из-за кустов гремит выстрел, и дичь, ломая сучья, с глухим стоном падает вниз...

Вдоль траншеи вообще выросло уже много могил. Убитых зарывали тут же; читали над ними молитву, солдаты крестили свежевыкопанную яму — и затем от человека уже не оставалось ничего на божьем свете, ничего, кроме воспоминаний да слез в далекой деревушке, где напрасно будет ждать семья своего радельца и кормильца...

Чем ближе подходил вечер, тем все становились беспокойнее. Офицеры постоянно выходили на бруствер, всматривались в сумерки, уже сливавшие дали в одну непроглядную, мглистую полосу. Часовым было велено глаз не спускать с пространства перед траншеей. Унтер-офицерам приказано не спать и постоянно проверять часовых.

Скобелев несколько раз обошел траншею.

— Отнюдь не стрелять, — приказывал он. — Лучше скажи... Подходят турки — только приготовьтесь. Чем они ближе, тем лучше. Дула держите ниже, чтобы по команде не бить ворон через голову, а прямо в неприятеля попадать. Без команды отнюдь не смей курка спустить никто. Вскочат турки на бруствер — тут-то и праздник, прямо на штыки их принимай... Не первый раз нам их бить, ребята!.. Ну, как ты станешь целить, если турки наступать начнут? — обращается он к часовому.

Тот взял прицел.

— Ну, в ворону и попадешь. Вот как нужно!

И он показал ему.

— Пожалуйста, гг. офицеры, объясните солдатам, как делать это! — добивался Скобелев.

Стрельба со стороны турок все усиливается и учащается. Солдатам иной раз и хотелось бы открыть перестрелку, да начальство строго следит за этим. Нервы у отряда напряжены. Несколько беспорядочных выстрелов со стороны наших часовых, и все вскочат на бруствер для бестолковой трескотни, воображая, что турки вот-вот близко и готовится нападение. Турки тоже подхватывают — и пошла писать. В результате — лишняя тысяча зарядов, усталь и — раненые.

Когда совершенно стемнело, Скобелеву доставили обед в траншею; тут же согрели самовар. Туман все густел и густел; шум шагов в траншее, говор замирали; зарево костров, разложенных тут, высоко отражалось во мгле осенней ночи. По этому отсвету преимущественно целили турецкие часовые...

Скоро стало очень холодно. Сидя на банкетах и опираясь спиною о бруствер, спали солдаты, точно на серой массе торчали серые выступы земляных горбин.

Впереди, по направлению к турецким позициям, в пятидесяти шагах еще можно различить кусты и деревья, — дальше только огоньки выстрелов, в расстоянии двухсот или трехсот шагов, обнаруживают присутствие неприятеля. Когда в кустах слышится шорох, часовой настораживается. Минуту спустя оказывается, что это наш секрет перебирается или какой-нибудь зверек ползет подальше от этих беспокойных мест.

Темнее и темнее становилось... тише — турецкая стрельба. Точно и им надоело... До меня доносится бред офицеров... Видно, и у них расходились нервы после всех пережитых ощущений... «Стойко держись...» шепчет кто-то... и опять тишина, точно все притаилось здесь, точно в этой траншее стоял я один в царстве мертвых... Потухли и костры, не шелохнется и сухой лист на дереве... Только часовые все пристальнее и пристальнее вглядываются в темную даль... Чу! Что-то словно шарахнулось за бруствером — и замерло опять... Нет, вот опять шорох... положительно слышны чьи-то крадущиеся шаги... Часовой встрепенулся и пониже, по направлению шороха, передвинул дуло ружья... Прислушиваешься с бьющимся сердцем, широко раскрытые глаза пристально всматриваются в туман и тьму.

— Не стреляй... — доносится шепот из-за бруствера, — свой... из секрета!

— Чего там?..

— Не стреляй... разбуди генерала... Турки выходят из своей траншеи, строятся...

— К ружью! — грянуло позади.

Оборачиваюсь — Скобелев уже у бруствера.

— К ружью, ребята!.. На бруствер... Снять секреты!..

Генерал сквозь сон расслышал шепот, проснулся, вовремя подхватив последнюю фразу солдата, передававшего сведения о движении турок.

Суматоха на минуту — проснувшиеся солдаты стали на банкет и взялись за ружья. Головы их над гребнем бруствера. Точно в заколдованном царстве, все проснулось в одну минуту.

XVII

— Я знал, что сегодня будет атака! — шепчет Скобелев. — Смотрите же, братцы, молодцами стоять! Выдерживай его на близком расстоянии, стреляй по команде. Господа офицеры, к своим частям...

— Сунется враг на бруствер, в штыки принимай! Ну, как ты его встретишь? — обращается генерал к новичку.

— А вот! — и тот показал снизу вверх штыком.

— Молодец... Однако я боюсь, что турки могут прорваться где-нибудь, — говорит генерал Куропаткину. — Мы их, разу-

меется, выгоним, но на полчаса они наделают суматохи. Приблизить резервы...

Несколько минут еще — и точно ожили дали... Все, что впереди было погружено в мертвое молчание, загремело выстрелами. Турки обнаружили себя. По свойственной им манере они и теперь подходят, стреляя.

— Сколько их?..

— По линии огня нужно определить! — и Скобелев высматривает таборы, стоя на бруствере.

Впереди, во тьме, дымится линия зловещих ружейных огней. На версту, по крайней мере, они растянуты... По густоте огня видно, что и в глубину наступающие части значительны, что это не развернутый строй, а сомкнутые массы подходят. Огни все ближе и ближе. Над головами у нас свистят, жужжат и стонут тысячи пуль.

Пули ударяются в валы и с шипением уходят в них, другие о деревья бьются... Будто кто-нибудь расплавленный свинец в воду льет, — точно такой же звук...

Чем тише наша траншея, тем неистовее трескотня у турок. Мы молчим и выдерживаем их ближе...

Турки уже видны близко. Линии их — шагах в семидесяти. При красном блеске выстрелов видны дула ружей и какие-то массы позади. С трескотней ружейного огня сливаются ожесточенные крики «алла!..» Где-то на правом фланге у турок даже «ура» наше гремит...

— Батальон — пли!

Момент оглушительного залпа. Черный гребень траншеи на мгновение весь одевается в золотую кайму...

Залпы также слышатся и направо, и налево...

— Не давайте им успокаиваться. Пальба рядами! — командует Скобелев.

Вот заговорили картечницы... Вот грянули наши брестовецкие батареи... Турки из Кришина тоже отвечать стали... Несколько шрапнелей разорвало далеко впереди. Одна турецкая граната прямо в массы своих попала.

— Еще залп!

Опять треск, точно земля рушится под вами. Но сегодня турки удивительно настойчивы. Они уже в сорока шагах. В рядах их смерть, — а они все идут вперед... Положение становится серьезным. Скобелев вскакивает уже на бруствер и командует обороной траншеи. Точно ореол для него — эти огни залпов и их отсветы. Защитники траншеи в дыму, озаренном красным блеском огня. Мимо них несутся тысячи пуль, некоторые у самой головы впиваются в бруствер, извлекая искры из его землистой массы... Голос Скобелева не смолкает ни на одну минуту. Он слышен и на правом, и на левом фланге траншеи. Он прямо в лицо врагу кидает свои бешеные звуки.

Залпы становятся чаще. Какой-то хаос царит кругом, теряешь голову — и сознание отказывается служить тебе.

— Слава Богу. Отбили... — слышится около.

Всю ночь за бруствером по пространству, где шла атака турок, двигаются огоньки. Сначала было наши часовые встревожились, и раздалось несколько выстрелов.

— Не сметь стрелять, разве вы турки? Они своих убитых и раненых убирают...

В семь часов в траншее после утомительной ночи солдаты — приуныли. Во всем усталь и томление... Сыро, холодно. Пахнет кровью... — Вот я их подбодрю! — говорит Скобелев, и через час является оркестр владимирского пехотного полка. Музыка — в окопах, в ста шагах от неприятеля! Но если бы вы видели, как ободряюще подействовало это на утомленных солдат. Народный гимн аккомпанировался залпами наших батарей, перестрелкой часовых и громкими аплодисментами картечниц[1]. Только что он кончился, с конца в конец грянуло оглушительное «ура», в котором, точно в море, утонули и выстрелы ружей, и рев наших орудий... Потом — знакомые уже этому отряду звуки плевненского марша. Музыка сегодня играла до вечера, и с тех пор каждый полк является в траншею со своим оркестром. Сами солдаты стали просить музыки.

— Мы забыли войну, — говорит Скобелев. — Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон — бог войны — хорошо сознавал это и водил атаки под громкие звуки марша...

Немного спустя Скобелев отправился на другие позиции. Как только он показался у ложементов — турки сейчас же по ак-паше открыли трескотню беспорядочных выстрелов. Генерал поблагодарил солдат за отбитые ими атаки, построил их и приказал выбрать двух наиболее выдающихся молодцов в георгиевские кавалеры. Когда в ложементе солдаты построились, и указанные ими двое кавалеров вышли вперед, скомандовали «на краул» и приказали горнистам играть «честь». Под аккомпанемент турецких выстрелов на солдат были навешены кресты, причем генерал заявил, что он начал с этого полка именно потому, что он не принадлежит к его дивизии. «Своим он раздаст — потом». Назад в траншею Зеленой Горы было два пути: сравнительно безопасный, через Брестовец, мимо правофланговой батареи, и очень опасный, напрямик, как раз посредине между нашими и турецкими траншеями. Нечего было и сомневаться в том, что Скобелев выберет второй путь, воспользовавшись случаем осмотреть: не изменили ли и турки своих

[1] Выстрелы из картечницы очень похожи на аплодисменты.

позиций. Когда мы вернулись в траншею — батарея была уже почти готова. «Сегодня ночью мы им покажем свои пушки!» — радовался Скобелев.

В два часа ночи решили «показать неприятелю пушки». Из четырех орудий дали залп. Огнем его на минуту выхватило из тьмы и грозный профиль нашей траншеи, и полосу поблекших кустов позади него... Зарево разрыва обнаружило также черные гребни турецкого бруствера. Картечь, по-видимому, причинила неприятелю некоторый вред, ибо залпы оттуда стихли и было заметно, что в центре турки отодвигаются назад.

Батарея, таким образом, была готова, и Митрофану Колокольцеву — саперному унтер-офицеру, следовал Георгий. Колокольцев честно под огнем сделал свое дело и уцелел только чудом. Генерал с утра спрашивал его — оказалось, что он послан в Брестовец. Скобелев вложил Георгия в пакет, на котором написал:

«В траншеях, 31 октября 1887 года».

«Унтер-офицеру Колокольцеву, согласно обещанию, за распорядительность, мужество и храбрость, оказанную в деле с 29 на 30 октября. За Богом молитва, за царем служба не пропадает. От души поздравляю тебя, уважающий Михаил Скобелев».

Когда дописывался этот конверт, Колокольцев явился сам. Сейчас же были построены солдаты в траншее, и под звуки «военной чести» полкового оркестра Колокольцеву надели Георгия.

— Ну теперь позволь пожать твою руку! — обратился к нему генерал. И Скобелев дружно протянул ее Колокольцеву. Когда уже с крестом на груди Колокольцев шел назад, сами солдаты в траншеях вставали и делали ему честь. На глазах у него были слезы.

XVIII

— На обоих флангах своих турки роются в земле. По направлению и характеру работ видно, что здесь собираются поставить батареи, чтобы приветствовать нас продольными выстрелами, — докладывают Скобелеву.

— Пускай ставят орудия. Все равно наши будут. Пойдем ночью и отнимем!

К вечеру началась опять гибельная работа наших батарей; брестовецкие и радишевские били по зеленогорским позициям турок. Пристрелялись отлично: почти не было бесполезных выстрелов. Вечером в нашей траншее слышалось торжественное «Отче наш» и «Коль славен».

Пел весь полк, стоявший сегодня здесь. С его пением сливалось пение резервов на Зеленой Горе и суздальцев в Брестовце. Ночь была тиха, и звуки разносились далеко в ее величавом безмолвии. Луна светила ярко, тумана не было. Ночью Скобелев

пробовал свои орудия и картечницы, обстреливая турецкую траншею продольными выстрелами. Только что все было успокоились, неприятель ни с того, ни с сего стал угощать залпами. Гребень их траншей осветился весь красным заревом несмолкающего ружейного огня. Наш бруствер тоже оделся в золотую кайму. Ветром относило назад серые клубы дыма. Постреляли с полчаса — а толку никакого. Наши уже давно не отвечают, а турки все не могут успокоиться. Наконец, и у них стала замирать перестрелка. Только несколько часовых со стороны неприятеля забрались на деревья и оттуда бьют прямо в траншею. Сначала в гребень стали попадать, потом ухитрились прорезывать тонкие люнеты гребня пулями, зарывавшимися в глину рядом с безмятежно спавшими солдатами.

— Должно быть, секреты плохо поставлены у нас! — слышен голос Скобелева.

— Почему?

— Одного убило... Их могут видеть турки. Нужно сейчас же найти другие места для секрета!

— Я сейчас пойду! — говорит Гренквист.

— Нет, этим уже я распоряжусь...

— Турки по вас начнут бить прицельно. Ведь тут расстояние до них самое малое!

— Пускай бьют!

И Скобелев со своими ординарцами перепрыгнул через бруствер. Сердце щемило за него. Вот-вот — шальная пуля, которых так много носится теперь по всему этому пространству, положит конец этой блестящей жизни. И досада брала на молодого генерала. Точно без него некому развести секретов и выбрать им места. Нельзя же, в самом деле, все делать самому. Эти полчаса, которые Скобелев пробыл за бруствером под огнем, весь отряд провел в крайнем беспокойстве. Нечего и говорить, что мы сейчас же по всей линии прекратили огонь. Иначе и свои пули могли бы задеть генерала и его спутников.

— Ах ты, Господи! — мутило солдат. — Ну, как они уложат его, сердешного...

— Никто, как Бог... Бережет его — ну, и цел...

— Заговоренный. Что ему!

— В Хиве, сказывают, заговорили!

По солдатской легенде, «хивинец» девять дней и девять ночей возил Скобелева по «Хиве неверной» и заговаривал. Потом девять дней и девять ночей Скобелеву есть и пить не давали и все заговаривали, пока совсем не заговорили, так что пули проходят насквозь, не причиняя Скобелеву ни малейшего вреда.

Пока генерал разводит секреты, опишем его оригинальное жилье в траншеях.

Сегодня оно уже улучшено. Вырыта яма, в которой можно вытянуться во весь рост. Земля в ней убита очень плотно. Из

Брестовца перевезли кровать. Поставили стол и несколько табуретов. Крышу настлали из плетня, добытого в соседней деревне. На плетень навалили соломы, на солому землю. Передняя часть крыши открыта, и через отверстие в землянку залетают пули. Кто-то доставил сюда железную печку, к которой мы ночью приходили греться, когда уж слишком пронимало холодом. На столе карты, планы и бумаги. Скобелев почти не отдыхал. Он во время, свободное от турецкой атаки и наших работ, или читает, или пишет. Как не похож он на тех воинственных генералов, которые обыкновенно устраиваются с полным комфортом, верстах в десяти за линией огня, и если приезжают в свои дивизии, то в нарочито спокойное время. Перед землянкой, в более широком месте траншеи, на холоде ежились все мы: ординарцы Скобелева, штабные из главной квартиры, начальник штаба Куропаткин, полковник Мельницкий. Сегодня на этой высоте семь градусов. На мое счастье мне уступили бурку, а то пришлось бы мерзнуть. Да и в бурке коробит от холоду. Солдаты сидят у огней и греют руки.

— Знаете что, господа? — слышится в темноте чей-то голос.

— Кто это говорит?

— Давайте отучим генерала рисковать собой!

— Как его отучишь?

— А вот заметили вы, что он терпеть не может, если рядом с ним в опасных пунктах выставляются и другие?

У Скобелева, действительно, есть эта черта. Рискуя собою, он всегда заботится о безопасности других.

— Всякий раз, как он выставится на банкете либо за бруствер уйдет — сейчас же давайте и мы с ним гурьбой!

— Чудесно!

Скобелев не заставил себя ждать. Он вернулся оттуда, из-за бруствера — расставив наши секреты. В эту минуту разгоралась перестрелка, и генерал выставился над бруствером, как раз против неприятельского огня. Вокруг сейчас же образовалась целая толпа; ординарцы, штабные, офицерство все тут было.

— Что вы, господа, стоите тут... Пули дожидаетесь, что ли? — обращается к ним Скобелев.

— Мы имеем честь находиться при вашем превосходительстве! — отвечает один из ординарцев, прикладывая руку к козырьку.

Понял и расхохотался.

Повторили другой и третий раз — и Скобелев, пожимая плечами, должен был сходить с бруствера.

Скажут, что человек бравирует. Это, разумеется, так, но все-таки делается не без толку: началась стрельба у неприятеля, и он хочет по линии огня узнать, какими силами тот располагает. Доносят ему о работах у турок — лично убеждается, что они предпринимают. Другой бы положился на донесения своих подчиненных; он полагается только на себя и на свой глаз.

XIX

На сегодняшний день была назначена раздача георгиевских крестов. Больше всех получили саперы, потому что при занятии и укреплении Зеленых Гор они оказали самые важные услуги. Потом следуют — артиллеристы скорострельной батареи картечниц.

Вслед затем разыгрался совсем неожиданный эпизод, который произвел на солдат сильное впечатление. Надевая кресты владимирскому полку, Скобелев дошел до унтер-офицера одной из рот, дрогнувших в памятную ночь 28 октября.

— Извини меня, но я не могу дать тебе Георгия!..

Того ошеломило... Потемнел весь, бедняга.

— Ты, может быть, и заслуживаешь его, пусть тебя ротный командир представит к именному кресту. Но пойми, что теперь я раздаю ордена людям, выбранным самими солдатами. А имеет ли право выбирать твоя рота, которая хотя потом и поправилась, но вначале осрамила себя отступлением? Как ты думаешь, можно позволить трусам присуждать георгиевские кресты?

— Никак нет... Нельзя, ваше превосходительство...

— Так ты уж извини меня, а креста я тебе не дам!

Потом наступил черед тех рот, которые в ночь 28 октября бежали, бросив работу на соединенных траншеях.

— Я их не хочу знать, передайте им это. Слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Я не считаю их своими... Я не буду здороваться с ними. Я не хочу замечать их... Они опозорили ваш славный полк, который так доблестно дрался под Ловцем... Помните эту битву?

— Помним! — грянуло со всех сторон.

— Передайте же им... Господин полковник, — обратился Скобелев к полковому командиру, — я вас прошу раз навсегда сообщить офицерам: кто из них в деле будет оставаться позади — тому не место в моей дивизии... Пусть у меня отберут ее, а иначе я не хочу командовать, как таким образом...

Я забегу несколько вперед.

Скобелев после этого, действительно, не замечал опальных рот. Здороваясь с остальными, мимо этих он проходил молча и не глядя на них. На солдат это действовало.

— Долго ли это продлится?

— Когда мне нужно будет сделать что-нибудь смелое, где потребуются надежные люди, — я возьму именно эти роты, и убежден, что они пойду за мною всюду. Ну, потом расцелуемся, и всему конец... Это хорошая наука. После неудач наших я замечаю, что войска, особенно же пополненные резервами, совсем не те, что прежде. Их нужно опять воспитать...

В защиту этих рот нельзя было не привести того обстоятельства, что дело было ночное, в тумане, что резервами по-

полнены эти роты более других. Все обстоятельства были тут для неуспеха дела.

— Ведь именные Георгии выше голосовых?

— Да!

— Отчего же вы лучшим солдатам даете именно менее важные — голосовые кресты? — спрашиваю я у одного офицера.

— А вот отчего. Голосовой он получит сейчас и счастлив, а к именному представишь — ранее трех месяцев не утвердят, а в это время беднягу двадцать раз убить могут!

Сегодня Скобелев придумал, как обеспечить от неожиданного штурма свой отряд: именно перед траншеей разбросать телеграфные проволоки. Т.рецкий телеграф кстати же остался тут. Пусть хоть эту службу сослужит.

— В франко-прусскую войну, — говорит Скобелев, — германские войска делали то же самое, и результаты были удовлетворительные. В самые темные ночи французы, подходя, путались в проволоке, и шум ее предупреждал часовых об опасности.

Через час, когда я проходил по траншее, несколько связок проволоки лежало наготове.

На сегодняшнюю ночь, наконец, было получено разрешение произвести эспланаду.

Ночь скверная. Сырая, дождливая... Грязь, — в грязи люди. На банкетах мокро — на этой мокроте сидим... Сверху брызжет крупными каплями. Бурку хоть выжми... Виноградные сучья в печурках, проделанных в массе бруствера, только дымят, не давая тепла и света. Чад так и стелется — дышать трудно... Часовые ежатся — солдаты привалились один к другому...

Часов в десять — вызвали цепь, которая должна будет прикрывать наши работы перед бруствером.

В полном безмолвии темные фигуры поднялись на темную насыпь, в сером тумане ночи на одно мгновение мелькнули над бруствером с прямыми линиями ружей, торчком черневшими в воздухе, и — не успели мы еще вглядеться, как гребень был пуст... Минуту за бруствером слышался шорох, крадущийся, подбиравшийся точно к чему-то... Наша траншея погрузилась в мертвую тишину. Приказано было не отвечать туркам. Сегодня вообще нежелательно вызывать их. Позади, шагах в двухстах от нашей траншеи, роется и возводится редут. Если начнутся бестолковые залпы неприятелей — в траншею попадет не много, а в работающих позади — все. Я слышу звуки лопат и шуршанье взбрасываемой земли, только подойдя к самому редуту. Роют чрезвычайно тихо, так что послезавтра это укрепление будет не совсем приятным сюрпризом для турок, хотя оно и предпринимается с исключительно оборонительною целью. В темноте слышится нервный, недовольный голос Скобелева, он опять не спит всю ночь.

Рабочих для эспланады сосредоточили на том же левом фланге. Им следовало производить работу как можно тише. Так же тихо перевалили через бруствер. Сейчас же за бруствером начинались перепутавшиеся между собою кусты виноградников, чрезвычайно затруднявшие движение из траншеи вперед, если бы мы предприняли его. Сверх того, этими кустами мог бы воспользоваться неприятель и подобраться к нам незамеченный. Тихий шорох работы скоро разгорелся. Мы отличали за бруствером и шелест осыпающейся листвы, и треск обламываемых сучьев, и стук лопат в перепутанную корнями почву, и скрип стволов под пересекавшими их ножами... Чем громче становилась работа в унылом молчании этой сырой и холодной ночи, тем тревожнее — мы. Санитары были уже наготове со своими носилками. Тревога сообщилась всей траншее. Солдаты, в начале ночи спавшие — встали и, прислонясь к брустверу, следят за работой. Они сдержаннее нас... Разве только вырвется у кого-нибудь: «И чего они шумят, дьяволы!»

Шум работы, производимый эспланадой, точно все удаляется и удаляется от нас, ближе к туркам... Это еще страшнее. Тише у нас — громче туда, по направлению к этим, вероятно, не спящим уже, таборам.

— Ну, теперь борони, Боже!.. — вздыхает часовой... — Совсем, должно быть, подошли... Чуть ошибка — сейчас будет тамаша!

— Кто это сказал тамаша? — спрашивает в темноте голос Скобелева. Я не понимаю, как это он ухитрялся оказываться везде.

— Я! — оборачивается часовой.

— Верно из Туркестана?

— Точно так...

— Что же ты без Георгия... оттуда?..

— Два есть!.. — обиженно возражает часовой.

Скобелев не выдержал. Еще минута — и он перелезает за бруствер и присоединяется на той стороне к солдатам, уже подсекающим кусты в ста шагах от нас.

— Слава Богу, сегодня, кажется, все удастся... — слышится опять его нервный голос. Вернулся...

Но, как нарочно, в эту самую минуту у турок, на их правом фланге, соответствующем нашему левому, участились выстрелы. Видимо, уже не один человек стреляет... видимо, тревога растет и расползается по всей их траншее... Вот залп... Другой...

— Ах, скверно... — слышится около.

На нашем бруствере показывается несколько фигур.

— Вы что? — встречает их Скобелев.

— С работы, ваше благородие... — не различают они его.

— Кончили?

— Нет... турки стреляют... нельзя... — говорят порывисто, задыхаясь. «Видимо-невидимо» турок... слышится стереотипная в таких случаях фраза начинающейся паники... Солдаты грузно опускаются в траншею.

— Вам страшно?.. Товарищи работают — а вам страшно?.. — злится Скобелев. — Стройся!

Перевалившие к нам солдатики строятся.

— Марш опять на работу, да живо, а то, вот вам Бог, пойду и перед турецкой траншеей произведу вам ученье... Вы меня ведь знаете...

Четверо или пять фигур идут опять через бруствер.

— Господа офицеры, следите за тем, чтобы люди делали свое дело как следует...

Немного спустя послышался стук топоров. На звуки их — направились выстрелы турок. Еще немного — и на нашем бруствере опять целый ряд черных фигур.

— Ну, что?

— Все кончили отлично...

— Раненых нет?

— Ни одного. Перекличку сделали по пути. Эспланаду кончили, место очистили... Деревья порублены.

— Слава Богу. Спасибо вам, братцы! — благодарит их Скобелев.

Солдаты после удавшегося предприятия очень оживлены. Говорят, смеются. Но это только на минуту... Усталь берет свое, и траншея опять погружается в мертвое молчание... Рабочие, как есть, ложатся в грязь, дождик все чаще и крупнее, плотнее завертываются в шинели, и без того намокшие... Стрелки, защищавшие рабочих, остались в ложементах за бруствером. Нам еще хуже теперь...

Оказывается, мы как раз вовремя вздумали строить землянки. Еще несколько таких ночей, и в отряде бы появились больные.

Солдаты после работы возвращались назад ползком, так что выстрелы турок все пронеслись у них над головами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Туманное, серое утро 2 ноября... Кажется, еще холоднее, чем ночью. Все встало сегодня сумрачным. Солдаты варят чай в манерках. Дым стелется по траншее и ест глаза — топят печурки.

Турки за ночь тоже приготовили нам сюрприз. Шагах в ста от нас, в сером тумане, выдвигается грозный профиль неприятельской траншеи. Земляной вал виден довольно хорошо весь, со своим зубчатым гребнем, с отверстиями для ружей. Вон у них часовой выставился весь. На сером фоне — серая фигура в шинели. Капюшон опущен на голову. Как близко...

Смело они приблизились земляными укреплениями к нашим траншеям. Скобелев волнуется. «Нужно наказать их за эту дерзость, — говорит он, — да еще, кстати, и обезопасить себя на будущее время от подобных работ с неприятельской стороны. В такой близости от нашей траншеи турки легко могут обстреливать наш отряд продольно. Фронтальный огонь их за бруствером безопасен, анфиладный мог бы вырвать у нас из строя ежедневно пятьдесят, шестьдесят человек».

Задумали опять ночную атаку. Но войска состоят преимущественно из молодых солдат. Ночное дело может их спутать. Генерал нашел средство сделать каждому солдату вполне понятным план атаки и все подробности предприятия.

Всем унтер-офицерам и фельдфебелям той части, которая должна будет идти ночью, приказано собраться на правом фланге близ митральез.

— Садитесь, ребята, вокруг! — приказал он им.

Я первый раз присутствовал при военном совете, составленном из дивизионного командира и его солдат!.. Судя по непринужденности последних, видно было, что это повторяется уже не первый раз, что они к этому привыкли. И действительно,

мне потом рассказывали, что перед всеми своими предприятиями этот генерал делает то же самое.

Вокруг Скобелева сели фельдфебель и унтер-офицеры суздальского полка. Солдаты расселись потом кучками за ними. Все это вперило взгляды на генерала, все это жадно ловило его слова.

— Вот что, братцы. Ночью сегодня будет дело, и мне надо потолковать с вами, чтобы все вышло толком...

— Мы рады... — послышалось кругом.

— Я не доволен своей дивизией. Совсем она не та, что была прежде...

— Новых много! Пришли из России... Небывалые еще!

— Ваше дело, дело старых солдат, учить их...

— Приобвыкнут, ваше-ство!

— Ну, вот, видите. Турки подошли к нашему левому флангу на сто шагов. Видели вы их траншею?

— Видели... Нет, не видели...

— Кто не видел, тому полковой командир покажет. Траншея их может сильно мешать нам, и потому надо их наказать, во-первых, за дерзость, а во-вторых, отвадить их от этого напредки!

— Как не надо... надо! Он нонче оттуда прямо к нам стреляет, ваше-ство...

— Ну, вот, видите. Для этого я задумал вот что. Отряд, в котором и вы, унтер-офицеры, будете, ночью сегодня, с барабанами позади, должен пробраться к туркам. Дойти до траншей как можно тише. За двадцать шагов крикнуть ура, барабанщики забьют тревогу. Броситься в траншею, переколоть, кто попадется под руки, выгнать оттуда турок. Захватить их ружья... За каждое ружье я даю по три рубля сам, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Вся сила турок в ружье. Они не солдаты. Отнял у него ружье — вред; убил ты его, а ружье им оставил — они и не почешутся. Сейчас же нового найдут... Как только заметите, что турки переходят в наступление и идут на вас большими силами — сейчас же за траншею и залечь за их бруствером с этой стороны. Отнюдь не стрелять — слышите. Когда начальник скомандует — тогда только бить залпами. Наступит их много — отступайте, но толково, медленно, отстреливаясь. Если же долго не будет атаки турок, то траншею их и зарыть можно... Если увидите, что идет табора два на вас — подавайтесь назад, но тихо, стройно, отстреливаясь по команде, помните, что залпов, да еще дружных, он страсть не любит!

— Ему залпы за первую неприятность... — отзывается молодой солдат.

— Ну, то-то... Отступая, забрать не только всех раненых, но и убитых тоже, если будут. Помните, что если вы хотя

одного там оставите, лучше мне и на глаза не показывайтесь. И видеть я вас не хочу...

— Зачем оставлять, ваше-ство!

— То-то, христианами[1] будьте... Поняли вы теперь мою мысль?

— Поняли!

— А, ну-ка, ты, повтори, что нужно делать? — обратился он к рыжему громадному унтеру, все время точно в рот вскочить к Скобелеву собиравшемуся. Тот повторил; оказывается, понял толково.

— Ну, а ты что станешь делать, если турки наступать начнут?

И на это последовал удовлетворительный ответ.

— Смотрите же, ребята... Вы должны быть молодцами; докажите, что вы те же молодцы, с которыми я Ловец брал и плевненские редуты!

— Докажем!

— Ну, братцы, может, кто-нибудь что сказать хочет?

— Я, ваше-ство! — выдвинулся молодой унтер-офицер.

— В чем дело?

— Выходить из траншеи через бруствер прямо нельзя. Турецкие секреты близко, они сейчас и заметят... Лучше мы с флангов выйдем и прокрадемся...

— Молодец! Спасибо за совет... — поблагодарил его Скобелев... — Не всегда только так делать можно!

— Ну теперь, г. полковник, покажите им турецкую траншею и всю местность от нашего бруствера до них. Только осторожно, из амбразур. А унтер-офицеры потом объяснят солдатам!

— Я в первый раз в жизни вижу такой военный совет! — обратился я к Скобелеву.

— Иначе нельзя с толком делать дело. Я и тридцатого августа точно так же, перед взятием турецких редутов, поступил!

Когда мы шли назад, попался фельдфебель.

— Ну, смотри же... Чтобы все у тебя вышло чисто. Выбери надежных. Дряни с собой не бери!

— Татар позвольте оставить здесь?

Скобелев поморщился. Видимо, это предложение было ему крайне неприятно.

— Да разве ты на них не надеешься?

— Не надеюсь!

— Твое дело, только мне это куда как не нравится!

И действительно — его коробило ужасно...

— Да много их у тебя?

---

[1] Очень оригинальное сопоставление христианства с только что отданным приказанием переколоть турок... Потом он нам объяснял: «восток нужно бить по нервам».

— Человек восемь...

— Ну, оставь их... Экая гадость какая, с первого же раза недоверие показывать; а нельзя — дело рискованное, слишком рискованное...

Сегодня в нашей траншее музыка суздальского полка. Она вместе с полком ходила еще недавно в атаки. Некоторые трубы прострелены — и Скобелев настоял, чтобы они остались такими же; как и пробитые знамена, они не должны меняться на новые...

Совсем темно уже... Мы замечаем, что туман, стоявший несколько дней и столь желательный для дела нынешней ночи, начинает рассеиваться. На небе мелькает несколько робких звезд, месяц прорезывается сквозь серебристый пар.

— Скверно...

— В десять часов нельзя начать... Нужно около двенадцати. Тогда стемнеет наверное.

Кашин, полковой командир, суетится больше всех.

Обходят траншею. Солдаты, которые должны идти, уже собраны — в трех пунктах. Но еще одиннадцать часов — и очень светло. Туман, как нарочно, рассеялся...

Траншея погружалась в мертвое молчание. В лицах — что-то тоскливое, приуныли люди...

И не поверю я, чтобы на душе у кого бы то ни было не было жутко. Скобелеву жутко, всем жутко. «Нужно» — потому и идут.

— Ну, ребята, пора... Смотрите же — молодцами...— слышится шепот Скобелева. — Теперь я посмотрю, как выходить лучше, через бруствер или с флангов?

И Скобелев перебирается через бруствер. Все тихо у турок, только обычные рассеянные выстрелы... Скобелев прошел через всю линию и вошел в траншею с левого фланга ее.

— Нет, через бруствер лучше. Ну, с Богом!

Двадцать пять человек авангарда перебираются туда.

Часть отряда переходит бруствер в другом месте, остальные справа присоединяются к ним.

— Смотрите же, — дает последнее приказание Скобелев: — за бруствером выстроиться, идти в одну линию, так, чтобы локоть к локтю был, чтобы солдат чувствовал своего товарища! (Как военный психолог, он понимает все ободряющее значение этого приема).

Тихо все там, за бруствером. Притаились они, что ли? Становимся на банкет, впяряем взгляды в даль... нет, вот они — движутся вперед смутною линией... Минуты, мгновения или часы проходят?.. Вся душа перешла в глаза и в ухо... Только видишь и слышишь, чувствуя, что внутри все замерло.

— Урра! — неистово гремит в торжественном молчании ночи, «ура» — подхватываемое зловещим рокотом барабанов и моментально вспыхивающими там ружейными залпами, выстрелами...

— Урра! — И тут же обрывком, диссонансом, доносится чей-то громкий, отчаянный стон.

Как и во всяком бое, часть отряда поддалась панике, отстала и назад лезет на бруствер со стонами и восклицаниями: «Батюшки, убили, голубчики, смерть!»

— Кого убили?

— Всех убили, всех; мы только вышли...

Другие просто молча пробираются назад и прячутся в траншею.

— Назад! — кричат им.

Но стоны делаются еще громче. Паника, как круг на воде, разливается по траншее. Солдаты соскакивают с банкета и кучатся внизу... В это же время более мужественные действительно дерутся и умирают там впереди.

Судя по этим вернувшимся людям, нам в первую минуту кажется, что дело не удалось. Сейчас нужно ожидать атаку неприятеля.

— На бруствер, молодцы! — бодро звучит команда Скобелева. — Встретим их, как следует русским. На бруствер, ребята! Ружья на прицел, стрелять по команде. Дула ниже!

Несколько выстрелов слышится из нашей траншеи, выстрелов без команды, со страху, панических.

— Кто там стреляет? В своих попадает. Наши там!

— Братцы, что же вы в своих-то? — слышится отчаянный крик за бруствером. Смятение в траншее на левом фланге сильное. На правом люди стоят молодцами.

Минуты проходят, как мгновенья. Хрипло раздается команда. По всей неприятельской линии залпы. Несколько гранат уже разорвались позади нас. Вот шрапнель яркой звездой вспыхивает над нами.

— Ах, это уж не те! — вздыхает Скобелев...

— Напрасно, — останавливает его Куропаткин. — Правый фланг и центр траншеи в полном порядке...

Через бруствер лезет целая кучка.

— Куда вы? Трусы... — наскакивают на них.

— Да мы раненого несем! — сурово, злобно звучит ответ.

Действительно, в суматохе слышны болезненные жалобы и в душу проникающие стоны.

Раненого сносят вниз, но в это время по траншее, для подкрепления левого фланга, идет рота. Ей навстречу беспорядочная кучка только что вернувшихся, объятых паническим страхом, солдат, слепо, без толку пробирающихся на правый фланг. Раненый ускользает из рук носильщиков и падает на землю. Масса проходит во тьме через него. На нем суетятся, топчут его. Из-под ног всей этой массы слышатся болезненные стоны, отчаянный вопль, мольбы... Но кому какое дело! Всяк рвется скорее добраться до места.

— Господи, Господи... — замирает внизу все тише и тише голос раненого; под конец он только хрипит, видно, силы нет кричать от боли...

А испуганная толпа, как река, несется через несчастного.

— Да есть ли в вас душа, дьяволы! — орет кто-то. Люди приходят в себя.

Паники этой на левом фланге было несколько минут, но они выросли в целые часы... Так живо отпечатлелась в душе каждая подробность этого ужасного эпизода... Прошли эти минуты — и порядок водворился всюду...

Только теперь вернулись назад те, кто действительно побывал в неприятельской траншее и сделал свое дело. Кашин — какой-то растерянный, без шапки.

Вот как все было:

Наступающие две роты за сорок шагов дошли до траншеи незамеченными. Тут часовые дали по ним два залпа. Они крикнули «ура» и смело бросились на бруствер. Турки разбежались направо и налево, точно отхлынули от нашей атаки. Солдаты, вскочив в траншею, перекололи в ней оставшихся и, согласно программе, захватив ружья, перешли опять через бруствер и залегли за ним. В это время один из командиров рот (в деле были две), Цытович, падает и опять подымается. Пуля прошла ему в ногу. Он, под влиянием жгучей боли, теряет на минуту сознание и инстинктивно идет назад. Его догоняет фельдфебель.

— Ваше благородие! Вернитесь, за вами вся рота хлынула. Отступают!

Цытович ничего не слышит...

Другая рота лежит и выжидает неприятеля. Только что он двинулся — встретила его залпом. Но таборы турок растут и растут. Точно туча выплывает из-за горизонта... Приходится отступать и этой роте. Все пространство между нашей траншеей и турецкой покрывается возвращающимися назад солдатами. Раненых большею частию подбирают. Двух убитых несут. Неприятель захватывает опять свою траншею — торжествующее «алла» его разносится по окрестностям. Залпы оттуда... Оказывается раненым и второй ротный командир. Солдаты отступают медленно — отстреливаясь, чтобы удержать неприятеля от атаки с его стороны — это удается пока...

— Все ли раненые здесь?

— Двое, кажется, там остались!

Санитаров посылают за ними. Те покорно перелезают за бруствер. Раненых собирают...

Вернувшихся из огня солдат, натерпевшихся страху, отсылают в соединительные траншеи. Турки наверное перейдут в наступление, и очень энергическое, а раз уже побывавшие в огне и отступившие войска только распространяют панику между защитниками траншеи.

— Ну, что? — набрасываются на Кашина, когда он показывается в траншее.

— А вот! — и он к самому носу вопрошающего поднес рукав своего мундира — простреленный.

— А рука самая цела?

— Рука цела... Ах, подлецы!

— Да кто подлецы?

— Нет, где моя шапка? — хватается он за голову.

— Напрасно вы думаете, что дело не удалось! — слышится в стороне чей-то хладнокровный голос. — Солдаты исполнили все, что им было приказано. — Ворвались в траншею, перекололи, кого застали там, взяли несколько турецких ружей и вернулись назад. Ведь в этом и была суть сегодняшнего предприятия!

— Я боюсь за левый фланг и иду туда! — слышится голос Скобелева.

Куропаткин принимает на себя правый, в центре распоряжается Мельницкий. Траншея — уже в порядке. Солдаты оправились — ждут. Мы в одном ошиблись. Хотели наказать турок — и вызвали их решительную атаку... Видимо, они готовятся броситься на нас с превосходными силами. Таким образом, мы сегодня наказываем их своими боками, и если они одолеют, то поплатимся вновь приобретенными позициями... Сейчас должен решиться вопрос — кому будет принадлежать первый кряж Зеленых Гор.

Густой огонь турецких выстрелов все ближе и ближе.

Турки идут на нас в атаку со всех сторон.

Силы их громадны...

Стройных, красивых атак я не видал. Все это делается в величайшей суматохе. Кучка решительных людей идет вперед, остальные мечутся, снуют, бегут назад, поселяя в резервных частях панику. В безобразном хаосе все делается как бы стихийно, само собою. Иногда сами атакующие думают, что дело потеряно, когда оно выиграно. Часто в траншеях позади громко бранят наступающие роты, судя по рассказам бежавших назад трусов, а между тем, в конце концов, предприятие оказывается исполненным хорошо. Так точно и в ночь на 3 ноября. Где же тут изображения наших баталистов со стройными рядами солдат, красиво рвущихся вперед за картинно развевающимися в воздухе знаменами?

Не успели наши солдаты вскочить на бруствер — как на правом фланге — в сорока шагах, на левом в шестидесяти — открылась линия неприятельского огня. С неистовыми криками, в количестве, самое меньшее, двенадцати таборов, турки ломились на нас. Ломились беспорядочною массою, осыпая нас тысячами пуль, точно рои пчел, жужжавших над головами. Огонь был так силен, что освещал не только дула, но лица и

линии неприятельской атаки. Одновременно с этим показали себя и кришинские пушки. С пронзительным стоном перелетали гранаты и рвались далеко позади, там же лопались в высоте и шрапнели, вспыхивая красными огнями над погруженными в мрак лощинами... Только одна граната лопнула против нашей батареи, между нею и бруствером, выхватив из траншеи шесть жизней... Признаюсь, в тот самый момент, когда я ждал беспорядочной защиты, суматохи, судя по недавней нашей атаке, солдаты в траншее поразили меня изумительною правильностью действий. Что значит разница — между нападением и обороной. Те же самые, которые бежали тогда назад в паническом страхе, теперь хладнокровно стояли на банкетах бруствера, выдерживая *на себя* неприятеля.

— Ребята, не стрелять без команды... Возьми дула ниже... — слышались позади приказания офицеров.

Неприятель близится. Мертвое молчание нашей траншеи точно не наводит ужаса на таборы. Сам Осман-паша здесь. Слышатся приветственные клики низама и ободряющее властное слово. Огонь турецких выстрелов выдает эти таборы, освещая даже массу атакующих. Они вот — вот здесь у самой траншеи. И жутко стоять тут лицом к лицу — но ноги точно приросли, не хочется сойти назад за бруствер.

— Рота-а-а — пли!.. — так и село у меня в ушах. Оглушающий треск залпа...

— Рота-а-а — пли! — слышится правее, и такой же грохот там.

Команда точно удаляется от нас к флангам.

— Заряжай, ребята, скорее!

В сером пороховом дыму я вижу нервно, порывисто работающих солдат. В течение шести минут оттуда, где стою я, уже четыре залпа пустили прямо в лицо турецкой атаке — вдруг новые команды, но в ответ слышатся рассеянные, одиночные выстрелы.

— Это что?

— Да экстракторы не действуют! — жалуется один из солдат.

Ружья Крнка показали себя. После четвертого выстрела — щелкает, щелкает солдат экстрактором — патрон все сидит себе в дуле. Нужно выбивать его шомполом. И теряется, в самую горячую кипень, масса дорогого времени.

Атака на правом фланге подошла к нам на двадцать шагов. Но тут уже не роте, а целому батальону скомандовал сам Скобелев:

— Батальон — пли!

И тысяча выстрелов слилась в один оглушающий хаос; тысяча пуль из хорошо положенных дул вырвала десятки и сотни жизней в неприятельских таборах. Момент молчания, затем только стук экстракторов... Громкие стоны и вопли впе-

реди, во тьме перед траншеей и — точно вся местность всколыхалась там... Топот, крики, удаляющийся шум людной массы... Атака отбита... Но не надолго... Не прошло еще и пяти минут, как мы слышим опять впереди движение лавины шагах в ста, останавливающейся перед нами.

— Их строят для нового наступления. Я боюсь одного, чтобы они не прорвали где-нибудь траншею. Положение серьезно, может быть, придется лично защищаться каждому. Советую вынуть револьверы! — говорит нам Скобелев шепотом.

Мы это и делаем. Нервное волнение растет, с лихорадочным нетерпением стараемся рассмотреть, что такое впереди, за черной линией бруствера. Унылые рожки турок запели свои сигналы, и во тьме вспыхнула опять густая полоса ружейного огня... Полоса эта все ближе и ближе... Но она движется гораздо скорее, чем в первый раз, видимо, что турки хотят взять стремительностью натиска. У нас с глухими стонами падают люди в глубь траншеи с брустверов... Раненых окажется много. Прямо навстречу мне идет кто-то, шатаясь, как пьяный... Уже лицом к лицу различаю я солдата, схватившегося рукою за грудь. Точно он хочет удержать в ней что-то... А сквозь прижатые к груди пальцы струится нечто, кажущееся ночью черным... Он даже не стонет...

Скобелев проходит мимо... Залпы наши идут стройно... Атака турецкая и на этот раз отбита. Я отправляюсь за генералом.

— Сегодня они, очевидно, задались целью выбить нас... Они еще никогда не нападали так настойчиво... Сейчас, верно, начнется третья атака... Ай!.. — схватывается генерал за бок. Я услышал перед этим только звук, точно что-то шлепнуло около.

— Что такое, что с вами?.. — заговорили все.

— Тише... Меня сильно задело... — Скобелев прижимает ладонь к боку... Мельницкий подхватывает его.

— Оставьте... Разве можно?.. Солдаты видят... — шепотом говорит он. — Здорово, молодцы! — особенно громко приветствует он солдат. — Поздравляю вас, славно отбили атаку!

— Рады стараться! — слышится с бруствера.

— Смотрите же, честно стоять!.. Послужите, братцы, России! И еще бросятся — и еще отобьем. Ведь турки — сволочь, ребята?

— Точно так, ваше-ство!

— Ну, то-то же... Чего их бояться...

— Вы ранены? — подбегает Гринквист...

— Ваше превосходительство!.. На свое место!.. Чтобы ни случилось, ребята — дружно стоять, держись один за другого... Помните — умереть на местах и не отдать траншеи... Вся Россия смотрит теперь на нас...

— Ура! — вспыхивает около Скобелева и гулкими перекатами разносится по флангам.

— Ах, как больно, однако, — шепчет Скобелев под этот крик.

— Идите в землянку скорей!

— Нет. Весть, что я ранен, распространится по всей траншее. Нужно идти на левый фланг. И он отправляется туда ободрять солдат: «Сохраним это место для наших братьев... Мы его кровью добыли. Не дешево оно нам стоит»... Минута была действительно торжественная. В эту ночь, будь турки посмелей и понастойчивей, они могли бы броситься в самую траншею, и нам каждому пришлось бы самому защищать себя лично. Разумеется, мы бы опять отняли траншею. Но чего бы нам это стоило?

— Не отдадим, ваше-ство! — слышится отклик. Траншея была пройдена, мы все, наконец, вошли в землянку. При огне лицо Скобелева казалось слегка побледневшим. Снимают полушубок, Скобелев раздевается и...

— Да где же она?..

— Что такое?.. Кто она?

— Раны нет! — радостным голосом замечает Куропаткин.

— Как нет? — Кровь кидается в лицо Скобелеву.

— Так... Поздравляю с контузией! — громко вскрикивает кто-то.

Тут только Скобелев опускается на кровать.

— Но как больно было, как далеко отдалась, а я думал, что она оцарапала глубоко. Скорее одеваться. Болит, да делать нечего, нужно идти. Мы осматриваем полушубок: оказывается, что пуля ударилась в правый бок, там, где клапан застежки, отодрала его и, пробив полушубок, сильно ушибла тело. Контужен был Скобелев внутри траншеи, где обыкновенно спят, где пребывание считалось самым безопасным.

— Здорово, молодцы! Спасибо за службу! — через несколько мгновений уже звучал опять в траншее голос Скобелева, под гвалт и треск новой атаки турок. Она теперь гораздо неистовее, чем в первые два раза, и направлена, главным образом, на фланги. Скобелев, Мельницкий и Куропаткин берут подкрепление и кидаются туда усилить их. Неопытные ротные командиры делают ошибку, торопят стрелять — от этого опять много возни с экстракцией ружья Крнка, и огонь не так густ. В эту минуту я наблюдаю в первый раз залп у турок. До сих пор они стреляли сплошным огнем, часто, но не залпами. Впрочем, это был из очень неудачных и больше не повторялся... Фитильные гранаты из гладкоствольных турецких орудий как ракеты взвиваются над нами, оставляя огнистый след в высоте.. Турки переняли наше «ура» и выкрикивают его на своем правом фланге.

Еще несколько минут — и атака отбита. Неприятель уходит, чтобы не возобновлять ее сегодня, но из своих траншей бьет нас ружейным огнем. Все с томлением ждут утра. Всех мучит

одна мысль — о потерях этой ночи. Хорошо, если выбыло человек двести... Только что рассвело, произвели поверку, и оказалось, что эта ночь стоила нам ста тридцати человек убитыми и ранеными.

Еще одни сутки я провел здесь — и на следующую ночь Скобелев был вновь контужен в плечо. Эта контузия в первый момент сшибла его с ног...

Зеленогорская траншея уже теряет для меня, как для корреспондента, интерес. Дело в том, что окончательно решена блокада, и штурмовать мы ничего не будем. Все жертвы, принесенные здесь, оказались напрасными...

8 ноября я уехал в Бухарест — отдохнуть дня три-четыре.

II

Скобелев обладал редкою справедливостью по отношению к своим подчиненным. Он никогда не приписывал себе успеха того или другого дела, никогда не упускал случая выдвинуть на первый план своих ближайших сотрудников. Всякий раз, когда его благодарили — он и в частном разговоре, и при официальных торжествах заявлял прямо:

— Я тут ни при чем... Все дело сделано — таким-то...

Несколько раз он при подобных случаях — прямо указывал на Куропаткина как на виновника данного успеха, и в самых сердечных выражениях, так что никому не приходило в голову, что это только скромность победителя...

— Я вам, братцы, обязан! Это вы все сделали... Мне за вас дали мои кресты! — говорил он солдатам, и не только для того, чтобы воодушевить их...

Он, действительно, верил в громадное значение солдата.

— Генерал может только подготовить отряд, дать ему боевое воспитание, затем выбрать позицию и наметить первые моменты боя... Потом вся его роль — в массировании войск, в сохранении резерва наготове. В каждом сражении ставят момент — стихийный. Тут уже — никто ни при чем. Можно подавать пример личным мужеством, находчивостью — но это и каждый офицер тогда может и должен!.. Действует масса — она идет, она как-то бессознательно выбирает направление, она крушит неприятеля, она выигрывает победу... И зачастую генерал здесь уже ни при чем.

Все время после занятий Зеленых Гор, вплоть до падения Плевно, Скобелев дружится и, как говорят, на короткую ногу сходится со своими солдатами. Да и не со своими, с чужими также. В этом не было заискивания популярности, нет. Его органическая потребность тянула его к солдату, он хотел изучить его до самых последних изгибов его преданного сердца. Он не ограничивался биваками и траншеями. Сколько раз видели Ско-

белева, следующего пешком с парнями резервных солдат, идущих на пополнение таявших под Плевно полков. Бывало, едет он верхом... Слякоть внизу — снег сверху... Холодно... Небо в тучах... Впереди в белом мареве показываются серые фигуры солдат, совсем оловянных от голодовки, дурной погоды и устали.

— Здравствуйте, кормильцы!.. Ну-ка, казак, возьми коня!

Скобелев сходит с седла и присоединяется к «хребтам». Начинается беседа. Солдаты сначала мнутся и стесняются, потом генералу удается их расшевелить, и, беседуя совершенно сердечно, они добираются до позиций. В конце концов каждый солдат, попадая в свой батальон, несет вместе с тем и весть о доступности белого генерала, о любви его к этой серой, невидной, но упорной силе. Войска, таким образом, еще не зная Скобелева, уже начинают платить ему за любовь — любовью...

Или, бывало, едет он — навстречу партия «молодых солдат», по-прежнему новобранцев.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравия желаем, ваше-ство...

— Эко, молодцы какие!.. Совсем орлы... Только что из России?..

— Точно так, ваше-ство!

— Жаль, что не ко мне вы!.. Тебя как зовут? — останавливается он перед каким-нибудь курносым парнем. Тот отвечает.

— В первом деле верно Георгия получишь?.. А? Получишь Георгия?

— Получу, ваше-ство!..

— Ну, вот... Видимое дело, молодец... Хочешь ко мне?

— Хочу!..

— Запишите его фамилию... Я его к себе в отряд возьму...

И длится беседа... С каждым переговорит он, каждому скажет что-нибудь искреннее, приятное...

— Со Скобелевым и умирать весело! — говорили солдаты. — Он всякую нужду твою видит и знает...

И действительно, видел и знал. От интендантов он отделывался всеми мерами. Просто не пускал их к себе иной раз. Ротные и батальонные командиры были озабочены продовольствием своих солдат.

— Они наживаться ведь могут! — заметил ему как-то сторонник интендантского режима в армии.

— Кто — командиры? Да мне до этого дела нет!

— Как это дела нет?

— Разумеется — нет. Если солдат получает у меня хлеба и мяса вволю, чай и водку, если на моих офицеров нет жалоб ниоткуда, если население ими довольно — что же мне за дело до остального...

И действительно, его солдат кормили, как нигде. Меньше всего болела его дивизия; и после Балканского перехода, и двухдневного боя под Шейновом, среди истомленных, бледных и голодных других отрядов, скобелевский предстал перед главнокомандующим в таком виде, что Великий князь изумился и воскликнул:

Это что за красноролсие?.. Видимо — сытые совсем... Слава Богу, хоть одни на мертвецов не похожи!

Зато же и солдаты понимали и ценили эту заботливость.

Если кто-нибудь из чужих генералов спрашивал их:

— Вы какой дивизии?.. — Или: — какие вы?..

Они не называли ни дивизии, ни полка, ни роты. На все был один ответ:

— Мы — скобелевские, ваше-ство!..

И в этих немногих словах звучала гордость, слышалось сознание своих заслуг, своего привилегированного, добытого кровью положения...

Скобелевцы — солдаты, как солдаты четырнадцатой дивизии на Шипке, — были совершенно отдельными типами армии. Эти и ходили козырями, и говорили молодцами, не стесняясь, и вообще ни при каких обстоятельствах не роняли своего достоинства... «Это что за петухи такие?»; «Ну, и ферты!» — вырывались восклицания у тех, кто еще не был знаком с ними. К солдатам других отрядов, даже к гвардии — они относились с некоторым превосходством... Они и одеты были чище, и больше следили за собою... Нравственность их не оставляла желать ничего лучшего. Когда был занят Адрианополь — в течение первой недели исключительно 16-ю дивизией, ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одной кражи, ни одного грабежа. Уже потом, когда на смену пришли другие войска, началось другое хозяйничанье... С пленными скобелевцы обращались тоже гораздо лучше, чем другие... Те ели с ними из одного котла.

— Такие же солдаты, как и мы, только в несчастии, значит... Ему ласка нужна. — Раз я сам слышал эти сердечные выражения их сочувствия к участи бедняков — аскеров.

— Бей врага без милости — пока он оружие в руках держит, — внушал им Скобелев. — Но как только сдался он, амину запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам не доешь — ему дай. Ему нужнее... И заботься о нем, как о самом себе!..

И заботливость эта сказалась после шейновского боя — когда пленные были распределены поротно и ели у солдатских котлов вместе с нашими... Я помню в этом отношении один весьма разительный пример.

Когда на Шейновском кургане был уже поднят белый флаг — Скобелев поскакал по направлению к круглому редуту. Навстречу — партия пленных. Один из сопровождавших ее солдат

ударил турецкого аскера прикладом. Боже мой! Как разом освирепел Скобелев.

— Это что за нравы? Г. офицер...

Конвоировавший офицер подошел к Скобелеву.

— Я отниму у вас саблю вашу... Вы позор русской армии... За чем вы смотрите?.. Стыд!.. У вас солдаты бьют пленных... Это черт знает, что такое...

Офицер что-то забормотал в свое оправдание.

— Молчать! — и он дал шпоры своему коню. Я думал, что он растопчет офицера.

— Еще оправдываться!.. Бывают случаи — когда в плен нельзя брать: когда силы малы и пленные могут быть опасны, тогда пленных, по печальной необходимости, расстреливают... Слышите? Но не бьют. Бить пленных может только мерзавец и негодяй. Офицер, спокойно глядящий на такую подлость — не должен быть терпим... Палачи!.. Фамилия ваша?

Тот пробормотал ее.

— Не советую вам никогда попадать в мой отряд... А ты — как ты мог ударить пленного? — наскочил он на солдата. — Ты делал ему честь, дрался с ним одним оружием, он такой же солдат, как и ты, и только потому, что судьба против него, потому, что сила на твоей стороне, — ты бьешь безоружного!..

После уже я говорю ему:

— Как согласить это противоречие? Вы сами говорите, что врага добить надо!

— Да, врага вооруженного, врага, который может еще вредить. Врага — слабого, разбитого, беззащитного — нельзя тронуть. Пленный — раз вы его взяли в плен, а не убили — святой человек... О нем надо заботиться, так же как и о своих...

И действительно, пленные всегда были накормлены и укрыты от непогоды у Скобелева.

Только не под Плевной.

Там сразу на наших руках осталось 40 000 пленных и при таких обстоятельствах, когда продовольствие даже своей армии внушало серьезные опасения... Для пленных приготовлено ничего не было. Главнокомандующий поручил их отцу Скобелева, и между ним и сыном были постоянные препирательства из-за этого.

Скобелев-сын, назначенный военным губернатором Плевны, постоянно добивался у отца:

— Ну, чем, ваше превосходительство, вы сегодня накормите турок?

— А тебе что за дело?

— Одного барашка на 40 тысяч человек прислали?

— Ну, уж, пожалуйста! К тебе не обратимся!

— Да мне и дать вам нечего... Я тебе, отец, знаешь что посоветую, в интересах военной дисциплины и нравственного воспитания вверенных тебе турок?

— Что?

— А ты им брось барана, они с голоду на него накинутся, ты за беспорядок барана назад... Таким образом, и бараны будут целы, и туркам жаловаться не на что — сами виноваты... И с трудом удерживаясь от бешенства на нераспорядительность «главной квартиры», запирался у себя. Впрочем, сейчас же выходил посылать за «своими» и вел совет, как накормить всю эту голодную массу. Пока он был здесь — не умирали. Не то случилось, когда пленных «погнали» через Румынию. Тогда они в массах узнали, несчастные, что значит голодная смерть.

Он тогда же предложил поместить пленных в их редуты, где бы в землянках они могли быть укрыты от снега и холода, но это почему-то не было принято.

На его позицию не раз являлись турки-перебежчики, и этих кормили, прежде чем отправить дальше.

Когда четвертый акт плевненской трагедии окончился и Плевна пала — румыны бросились в город и начали грабить кого ни попало. Тотчас по назначении Скобелева военным губернатором — он позвал румынских офицеров.

— Господа! Я должен вас предупредить, чтобы не ссориться больше с вами... Ваши солдаты — грабят город!

— Мы победители, а победители имеют право на имущество побежденных...

— Ну, во-первых, вы с мирными жителями не воевали, следовательно, и не побеждали их, а во-вторых, пойдите и предупредите своих, что я таких победителей буду расстреливать... Всякий, пойманный на мародерстве, будет убит, как собака. Так и помните... Постойте... Ваши обижают женщин — предоставляю вам судить, насколько это гнусно... Знайте — ни одна жалоба не останется без последствий, ни одно насилие — не будет безнаказанным!

Турки его прозвали справедливым.

— Для него нет различий... Что свои, что чужие... Если мирные — он не даст в обиду... — говорили они об ак-паше. — Одно только, зачем он болгарским дружинам приказал конвоировать пленных?

Когда Скобелеву передали это, он очень ясно объяснил свой взгляд на дело.

— Болгары до сих пор были рабами. Нужно, чтобы они поняли, что теперь они граждане и воины. Я приказываю именно им сопровождать прежних своих господ в плен не для того, чтобы последним дать почувствовать всю его тяжесть, а чтобы первые выросли до сознания своей независимости и равноправности с ними!

В Плевне мы нашли массы турецких раненых и больных... Частию они уже умирали, частию уже умерли, частию подавали надежды на выздоровление. Болгары забили окна и двери этих

госпиталей, да и сам Осман, пока был еще в городе, не обращал на них особенного внимания.

— Когда нужно драться — лечить некогда, — говорил он. — Раненые и больные — лишняя тягость. Султану и Турции они не нужны. Лучше, если скорее умрут... И без них дела много!

Скобелев относился иначе. Он сейчас же принялся за устройство гигиенических пунктов и командировал целую тучу врачей и санитаров, занявшихся турками. После его посещения мечети, где были сложены раненые турки, они говорили:

— У вас лучше, чем у нас, теперь мы видим это!

— Почему?

— Ваш ак-паша и турок посещает, врагов своих, а наш Осман никогда не видал нас!

III

В день боя под Плевно, последнего, закончившего эту страшную эпопею плевненского сидения, Скобелеву было приказано принять в командование гвардейскую бригаду. По первоначальной диспозиции — она должна была составить резерв. Когда полковник Куропаткин доставил Михаилу Дмитриевичу приказание Ганецкого — вести ее за середину расположений гренадерского корпуса, вместе с 16-й пехотной дивизией, и они уже двинулись — тогда на месте боя залпы замерли, тишина сменила недавний стихийный грохот сражения, и только опанецкие орудия изредка еще посылали гранаты за р. Вид... Скобелеву дали знать, что турецкая армия сдается. Гвардейская бригада и 16-я дивизия остановились.

Это потом поставили в упрек Скобелеву.

Командующий этой бригадою написал даже рапорт на Скобелева, обвиняя его в том, что он не хотел дать возможность отличиться его войскам, не ввел их в бой сейчас же, желая будто бы выгодно выделить свою 17-ю дивизию...

Уже по пути на Балканы я спросил об этом у Скобелева.

— Да, во-первых, и 16-я дивизия не принимала никакого участия в деле... — возразил Скобелев. — А во-вторых, я почитаю за величайший военный талант того, кто возможно меньше жертвует людьми. Достигать больших результатов с возможно меньшими потерями — вот моя задача, как я ее понимаю... Не так ли?..

— Я сам думаю, что солдаты этой гвардейской бригады далеко не разделяли воинственных претензий командира.

— Еще бы... Сверх того, знаете, удайся Осману прорваться — все ведь нужно было предвидеть — важнее всего было бы, что? — Иметь под руками свежие войска. Что тут рассказывать — вот вам пример: при Маренго Мелас везде прорвал линии французов. Австрийцы считали уже сражение выигран-

ным; поручив победоносно шествовавшую вперед армию и преследование французов Цаху, генерал Мелас сам уехал в Александрию писать реляцию о полном поражении французов... Наполеон — тоже считал дело проигранным, но соперник его по военным талантам, Дезе, остановил первого консула. «Одно сражение мы проиграли — начнем сейчас же другое!» У Дезе оставалась нетронутой и не потерпевшей одна дивизия в 9 000 человек... Останови он в тот же момент австрийцев — они бы его разом смяли... Но ведь никакой победоносный марш не выдерживает расстояний. Через несколько верст австрийцы запыхались... Дезе отступил и занял Маренго. Австрийцы, наконец, из развернутого строя свернулись в походные колонны и когда поравнялись с Маренго — Дезе бросился на них с консульской гвардией и разбросал недавних победителей, так что реляцию о поражении врага нужно было писать уже Наполеону!

— Что ж из этого?

— А то, что в сражениях такого рода всегда надо иметь под руками сосредоточенный и свежий резерв, который и решит, в случае чего, победу. Если бы я ввел, т. е. если бы я имел время ввести в боевую линию свою дивизию и гвардейскую бригаду — у нас резервов бы уже не было вовсе!.. А впрочем, если бы я получил приказание, как следует, — я бы его исполнил... В таких случаях не дело подчиненного рассуждать... Хотя, разумеется, есть таланты, которые не могут быть подчиненными... Слишком рано они обнаруживают орлиный взгляд и насквозь видят промахи своих начальников... Как при этих условиях беспрекословно исполнять их приказания?..

При первой встрече с Османом пашою в Плевне Скобелев обратился к нему с искренним приветствием.

— Я рад видеть доблестного турецкого генерала, отваге и талантам которого так завидовал во время осады...

Осман тоже не остался в долгу.

— Русский генерал еще молод, но слава его уже велика... Скоро он будет фельдмаршалом своей армии и докажет, что другие могут ему завидовать, а не он другим...

В Плевно Скобелев занимал небольшой дом... В первые же дни Государь Александр II выразил желание — по пути на смотр гренадерского корпуса позавтракать у Михаила Дмитриевича. Он приехал к нему в полдень. Самого генерала к завтраку не пригласили, он, как хозяин, только распоряжался им... издали! Скобелев было принял это за немилость, как вдруг к нему обращается покойный Император.

— Покажи-ка мне дом! Вы, господа, оставайтесь!

Скобелев повел его в другие комнаты; там Государь вдруг остановился, порывисто обнял и поцеловал его наедине.

— Спасибо тебе, Скобелев!.. За все... за всю твою службу — спасибо! — И он еще раз поцеловал его.

В Плевне Скобелеву — не пришлось отдохнуть совсем. Готовился переход через Балканы, ему доставалась в этом блистательном деле прошлой войны одна из главных ролей. Он писал в главную квартиру, делал заготовки, пополнял вооружения и снабжения своего отряда целою массою необходимых вещей. В то же время ему приходилось заботиться о порядке в только что занятом городе, водворять на жительство возвращавшихся туда турок, мирить их с местными жителями... В последнем случае он, впрочем, не церемонился. Тех, кто обижал возвращавшихся — подвергали строжайшей ответственности...

— Это, ребята, помните, — говорил он солдатам. — Это уже не враги... Это друзья... Пока это такие же подданные Государя, как и вы... И обязаны вы поэтому защищать их, как своих родных... А кто их обидит — так будет иметь дело со мною. Чего я не советую вам...

Отдыхал он только за обедом, и тогда к столу его собиралась самая разношерстная публика. Тут были и генеральские погоны с вензелями, и полушубки случайно толкавшихся в Плевно армейских офицеров. Бархатный воротник генерального штаба рядом с оборванным кафтаном вольноопределяющегося солдата, черные сюртуки корреспондентов с бараньими куртками какого-нибудь болгарина, тоже приглашенного сюда. Но не одно это отличало общество, собиравшееся у Скобелева. Здесь всюду чувствовался дух боевого товарищества — различий не было, не было и исключительных вниманий... Шум стоял в столовой, говорил и возражал, кто хотел. Полуграмотный казацкий хорунжий чувствовал себя дома, как дома чувствовал себя наезжавший сюда образованнейший из прусских военных, Лигниц.

— У тебя кухмистерская какая-то! — шутил старик Скобелев, попадая в эту разношерстную толпу.

Сам Скобелев, с каждого своего объезда Плевны, возвращался к себе с целою толпою гостей. Случайно встреченный офицер, ординарец, молниеносный марс полевого казначейства — все это «привлекалось к законной ответственности», т. е. к обеду.

— У меня всем за столом есть место! — говорил он, и гости, потеснясь немного, пропускали вновь приехавших.

Ввиду такого широкого гостеприимства — не последним лицом был Жозеф, тип всесветного авантюриста, несколько месяцев назад тому на осле приехавшего к Скобелеву и через месяц на осле же уехавшего от него. Это был полуфранцуз, полуитальянец, уроженец Каира, воспитавшийся в Бруссе, бывший поваром в Тунисе, открывший потом кафе — в Варне. Не заплатив своим кредиторам, из Варны он бежал в Индию — там занимался какими-то темными промыслами и, в конце концов, попал в Румынию, откуда явился поваром к Скобелеву. Это был какой-то шут гороховый, потешавший всех, от генерала

до денщика... Когда Скобелев был в зеленогорской траншее — этот Ватель ни разу не решался посетить его, отсылая свой обед с казаками. Когда турки довольно старательно начали обстреливать Брестовец — Жозеф совсем потерял голову. Желая пошутить над ним, Скобелев потребовал личного его появления в траншее.

— Скажите генералу, что если он прикажет мне самому пойти в это «глупое место», то я возьму свой чемодан и осла и скажу адье!

Немного погодя, он прислал другое заявление.

«Mon général!..[1] Мне надоели и турецкие пули, и русские солдаты, которые даже и под гранатами спят, «comme les ours»[2]. Это не входило в наши условия, почему я и прошу ваше превосходительство принять меры, чтобы турки отнюдь не обстреливали моей кухни, ибо я человек свободный и умирать вовсе не желаю»...

В следующий раз, когда Скобелев приехал в Брестовец сам, — к нему явился мосье Жозеф.

— Ну, мосье Жозеф, что вам угодно?

— Я пришел узнать, mon général, вошли ли вы в сношение с турками, чтобы они не стреляли в мою кухню?..

— Входил... Но Осман-паша сказал, чтобы я лично послал вас к нему для объяснений... Будьте готовы. Завтра утром вам завяжут глаза и...

— Я не согласен... Я не могу быть парламентером, я не хочу, наконец!

— Завяжут глаза и отведут в Плевно...

— Я буду протестовать... Я обращусь ко всей Европе...

Кругом расхохотались. Жозеф понял, что над ним смеются.

— Вы трус, мосье Жозеф!

— Быть храбрым я не обязывался по условию...

Когда Плевно пало, мосье Жозеф опять подал повод к бесконечным насмешкам на свой счет. Как-то является он к Скобелеву.

— Что вам?..

— Я пришел требовать должного!.. — и Жозеф принял мрачный вид.

— Именно?

— Я месяц держался здесь под огнем... В мою кухню специально стреляли турки... Для них, вы знаете, mon général, для них нет ничего святого! Но я все-таки держался. Вы на Зеленых Горах, а я здесь, в Брестовце... И потому — мне следует крест?..

— Какой крест?

---

[1] Мой генерал (*фр.*).
[2] «Как медведи» (*фр.*).

— Георгиевский... St. George! Какой дается всем храбрым...

— Да, но ведь вы не обязались быть храбрым по условию...

— Если бы это входило в условие — то за храбрость мне бы полагалось жалование... Так как это сверх условия — то я требую себе крест... Вы все медведям солдатам дали кресты, я тоже себе хочу...

— Вы с ума сошли, мосье Жозеф!..

— Mon général!.. У меня есть в Каире престарелая мамà... Обрадуйте ее. Если она увидит меня с крестом — она простит мне увлечение моей юности!..

Увы, так его maman и осталась не обрадованной...

— Денщик со мной не разлучался и не выходил из огня, а я и ему не дал креста, потому что он слуга, а не солдат. Этак мы до того дойдем, — намекал он на всем известные факты, — что и кучеров, и поварят, и всякую сволочь украсим военными орденами, а те, кто за нас умирает, никогда не дождутся знака отличий!

IV

В скобелевском отряде ни разу не практиковался обычай вешать кресты на прислугу. В других — крестами щеголяли денщики и кучера разных генералов, здесь — никогда. Круковский, денщик Скобелева, живший с ним в траншее — не смел и думать о таком отличии... Раз было он заикнулся...

— Ступай в строй и заслужи... За чистку сапог георгиевские кресты не вешают...

Вообще — тут они доставались не даром.

Обыкновенно, когда присылают *голосовые* кресты на роту, то солдаты приговаривают их не наиболее храбрым, а наиболее влиятельным и богатым вольноопределяющимся. Скобелев никогда не допускал ничего подобного... Вот как это делалось... Подъезжает он к роте.

— Выбрали, ребята, кому кресты?

— Выбрали, ваше-ство...

— Кому же?

— Фельдфебелю — первый! — рапортует ротный командир. — Потом вольноопределяющему<ся> такому-то...

— Вот что, ребята, кресты должны доставаться не фельдфебелям, а тем, кто действительно стоит этого... Слышите? Самым храбрым... Поняли меня?

— Поняли, ваше-ство...

— Ну, вот... Так опять сделайте-ка выбор при мне. Господа офицеры — уйдите, пусть солдаты сами!

По второму выбору — кресты достаются тем же.

— Смотрите, ребята, нечестно, если вы лучших оставите без крестов... Сделайте еще раз выбор!

И если по третьему все-таки кресты достаются влиятельным людям, тогда Скобелев и навешивал их.

Раз, в одном таком случае, на вопрос Скобелева:

— Кому, молодцы, кресты приговорили?

— Я назначил их такому-то и такому-то... — сунулся было ротный командир.

— А вы какое право имеете на это?.. Вы, капитан, чего суетесь не в свое дело?.. Отнюдь не сметь вперед! Назначать голосовой крест — священное право солдата, а не ваше...

Зачастую, если, несмотря на переголосовку, кресты все-таки доставались вольноопределяющимся и фельдфебелям, Скобелев приказывал представить этих отличившихся к *именным*, а голосовые все-таки давали простой армейской кирилке.

— А то им ничего и никогда не достанется!

На георгиевские кресты Скобелев смотрел в высшей степени серьезно...

— Главное, чтобы они не попадали шулерам! — говорил он. — Или осторожным игрокам!

— Как это?

— А так... Часто иной при генерале бросится вперед — ну, и крест... А так он за другими прячется. Это и есть — шулера. Осторожными игроками я называю тех офицеров, которые храбры до креста, получив же его, успокаиваются и начинают опочивать на лаврах, берегут свою драгоценную жизнь... Поняли вы меня? Это все равно, что игрок сорвет крупный куш и забастует... Георгиевский крест обязывает... Кто носит его на груди, должен быть во всем примером... Его место в бою — впереди...

И действительно, такой взгляд на «кавалеров» был и у скобелевских солдат. Во время сражений в смутные моменты, когда человеческому стаду нужны вожаки, солдаты сами кричали: егорьевцы, вперед!.. Кавалеры — показывай дорогу!..

Таким образом серебряный крест был зачастую только вестником, предтечей креста деревянного. Во всяком бою первыми убитыми оказывались в свалке — георгиевские кавалеры...

— Отчего вы не дадите такому-то георгиевского креста? — часто просили Скобелева люди, власть имеющие.

— Почему... Да мой Круковский больше его заслуживает. Хоть в траншеях со мною был!

— Да ведь солдатский крест — что он стоит!

— Стоит, если мои солдаты за него жизнью жертвуют... Пускай в других дивизиях он достается даром — я у себя этого разврата не потерплю...

И тотчас же начинается потеха.

— Круковский, ты хочешь крест?
— Хочу, ваше-ство!..
— Ну, иди в строй... Заслуживай...
— В строй не хочу...
— А я тебя отправлю от себя!
— Как же вы-то сами без меня обойдетесь?.. Не может этого быть!
С близкими к нему лицами — Скобелев был совсем юношей. Избыток жизни сказывался в этом. Он постоянно шутил, смеялся, школьничал. Если не с кем было — с денщиком.
— Обезьяна! (Круковский не отзывается — молчит).
— Обезьяна, тебе говорят...
Тоже молчание.
— Круковский!
Тот мрачно подходит...
— Отчего же ты не являлся?
— Потому, ваше-ство, обезьяну кликали...
— Значит, ты обиделся?..
— Звестно, обиделся!..
— Ну так поцелуй меня!.. — и Скобелев протягивает ему щеку.
Круковский целует.
— Ну, теперь не обижаешься?
— Никак нет!
— А все-таки обезьяна...
Особенное удовольствие доставляло Скобелеву выходить по утрам умываться в промежуток между нашей и турецкой траншеей... Круковский должен был следовать туда за ним. Турки, разумеется, тотчас же начинали обстреливать их.
— Ваше превосходительство... А, ваше превосходительство!
— Ну? Чего тебе?
— Что я вам сказать хочу!
— Что?
— Вы бы шли в траншею мыться...
— Мне и здесь хорошо... А хочешь, я тебя тут за трусость на часы поставлю?..
Круковский мнется...
— Ну, чего же ты молчишь. Хочешь?
— Не хочу...
— А я все-таки поставлю...
— А тогда кто же вам служить будет?..
— Ну, пошел вон, трус!..
И осчастливленный позволением уйти с опасного места, Круковский живо убирался оттуда.

V

Приготовления к походу за Балканы[1] шли безостановочно. Со дня занятия Плевно до дня выступления — дивизия не отдыхала. Приготовляли и чистили оружие — скупили все деревянное масло в городе для этого... Ружья Крнка — никуда не годились, Скобелеву пришла в голову блестящая мысль вооружить хоть один батальон превосходными Пибоди — Мартини, во множестве находившимися в арсенале Плевны.

Я помню, какой гвалт подняло это в некоторых кружках.

— Это позор! — кричали там. — Русскую армию вооружать турецкими ружьями!

Скобелев слушал их и совершенно спокойно перевооружил стрелков Углицкого полка.

— Если бы было достаточно артиллерийских снарядов, так я и артиллерию свою снабдил бы турецкими орудиями. Я не считаю позором отнять у неприятеля то, что у него лучше... Весь вопрос в том, чтобы сделать ему побольше вреда!

— Этак вы и под турецкими знаменами пойдете? — замечали ему.

— Нечего сказать, хорошо сравнение!.. Разве знаменами дерутся, разве знамена оружие?..

— В истории не было примера...

— Ну, это вы врете! — и он сейчас же выставил целый ряд доказательств того, что величайшие полководцы прибегали к этому средству... У себя нет — возьмем у неприятеля. Если у нас, положим, не хватит своего хлеба — так постыдно пользоваться складами турецкими, потому что это не наше, а неприятельское?..

— Я и ранцы уничтожу!

— Совсем по-турецки, значит?

— Да, хорошему учиться не мешает... Если бы я не с турками, а с китайцами воевал, да подметил бы у них что-нибудь порядочное, сейчас же перенял бы... Сделайте одолжение!

И действительно, страшно отягощающие солдата ранцы были уничтожены — и заменены холщовыми мешками, что вышло и легче, и удобнее... Закупка сапог, полушубков, фуфаек шла — повсюду. За три недели в Габрове были заказаны вьюки и вьючные седла, заготовлялся неприкосновенный запас сухарей, крупы, наливали в бочонки спирт... И главное, заслуга Скобелева была в том — что все это было сделано помимо интендантства... У интендантства требовали того, другого...

— У нас ничего нет! — откровенно ответили эти господа Скобелеву.

---

[1] Я не рассказываю здесь всех эпизодов этого достопамятного перехода — им посвящено двадцать пять глав второго тома «Года Войны».

Предусмотрительность генерала дошла до того, что заранее было куплено на каждый полк по 60 голов рогатого скота. До гор — они должны были везти запасы, а в горах служить пищей... Остальные дивизионные командиры, приходя в какую-нибудь местность, требовали продовольствия и подвод. Население, совсем реквизированное уже, оказывалось несостоятельным. Движение войск замедлялось, начиналось истребление неприкосновенного запаса сухарей... Здесь же подводы и корм являлись в одном и том же. Корм шел на ногах и вез войсковые грузы. Заботливость Скобелева о солдате дошла даже до того, что весь запас уксуса и кислоты, бывший у плевненских торговцев, все сапоги, всю кожу, все бараньи шкуры были куплены... По всему пути Скобелев сам лично наблюдал, чтобы солдаты отнюдь не оставались без горячей пищи. В метель на вершинах Балкан, где у других вымораживались целые полки, у Скобелева солдаты имели похлебку и вдоволь мяса! Сделано было еще и другое распоряжение, над которым на первых порах смеялись ужасно. Солдатам приказано было нести по полену сухих дров.

— Чего он еще не придумает! — говорили о генерале.

— Уж если Скобелев приказал, значит, у него есть что-нибудь в виду! — заметил на это главнокомандующий.

И действительно, когда дошли до балканских вершин, то из этих сухих поленьев солдаты сразу устроили великолепные костры. У других отрядов — рубили росший на горах лес, сырой, только чадивший и курившийся, не дававший углей. У нас — сразу получались массы угля. Солдаты приваливались к нему и до утра засыпали в сравнительном тепле. *Замороженных* поэтому не было вовсе!

— Новые сапоги берите!.. — предупреждал солдат генерал, проезжая мимо них, когда они выступили уже из Плевно за Балканы.

Переход этот был настолько превосходно организован, что по всему пути, хотя отряд останавливался в маленьких деревушках, от их населения не поступило ни одной жалобы...

— Смотрите, братцы, не обижайте болгар и турок... Они — мирные жители... За первых вы деретесь, свободу им своею кровью завоевываете, следовательно, они вам и друзья и братья; а вторые, если остались на своих местах, не ушли от вас, значит, они верят доброте и чести русского солдата... А обманывать такую веру и грешно, и стыдно...

Картины нашего перехода до Габрова я оставляю в стороне. О них было уже сказано мною, и я описал их достаточно во втором томе «Года Войны». Расскажу только некоторые эпизоды, не вошедшие туда. В Сельви — заболел тифом один из лучших скобелевцев — доктор Студитский, который потом был убит под Геок-Тепе.

— Что мне делать, как мне его оставить здесь?.. — волновался Скобелев, очень любивший покойного.

— Прикажите начальнику округа — позаботиться о нем...

— Начальник округа здесь хам... Он ничего не сделает... Послушайте — это ваша обязанность, подумайте, как устроить это?.. Вы и он — носите черный сюртук, вам ближе всего... Мне некогда: весь отряд на моих руках ведь...

Я отправляюсь к начальнику округа. Это был жандармский капитан, служивший по гражданскому управлению и зависевший от кн. Черкасского. Рассказываю ему о болезни Студитского.

— А мне что за дело? Поместите его, где хотите... У меня на руках свое дело!

Я начинаю красноречиво излагать ему заслуги больного, работавшего в Черногории, в Сербии, у нас на Зеленых Горах, под Плевно.

— Он и заболел-то от любви к человечеству. Он заразился, подавая помощь туркам на плевненском боевом поле...

— Все это прекрасно... А только мне нет никакого дела... У меня нет времени на это... Я не брат милосердия!..

«Ну, погоди же, — думаю!.. — Ты у меня зашевелишься».

— Жаль, очень жаль, капитан!.. Как будет огорчен князь Черкасский, когда узнает о болезни Студитского!

— А что?.. При чем тут князь?.. — навострил уши начальник округа.

— Да я не знаю, могу ли я... Это семейная тайна...

— О, мне можете... — заволновался тот. — Я умею хранить тайны...

— Знаете... Студитский ведь жених... У Черкасского есть племянница...

— Я сейчас... Сейчас... Велю его перенести к себе... Сию минуту... Назначу надежнейших болгарок ходить за ним... Бедный, бедный молодой человек!.. Как жаль, как жаль... Скажите генералу, чтобы он был спокоен... Я сделаю все... Все сделаю... Как родного сына!..

По ревностной энергии, вдруг охватившей моего капитана, я убедился, что все дело устроено, и Студитского будут беречь, как зеницу ока.

Вернулся к Скобелеву. За обедом, когда все собрались, рассказал это. Громкий хохот встретил великодушную готовность капитана...

После уже, под Константинополем, когда Студитский был совершенно здоров, Скобелев говорит мне:

— А вы знаете финал этой истории?

— Нет...

— Князь Черкасский встречается со мною и спрашивает меня: у вас есть доктор Студитский?.. — Есть, говорю. — Ну, так поздравляю вас с таким подчиненным. — А что?.. — Да

то, что он самозванец. — Я изумился. — Как же, помилуйте. Приезжаю я в Сельви... Встречает меня капитан, начальник округа, и с первого слова: Ваше Сиятельство, здесь жених вашей племянницы, доктор Студитский, долгое время болен у меня... Я со своей стороны... — и давай живописать свое усердие. — Помилуйте, говорю, — у меня никакой племянницы!.. Тот даже ошалел...

Разумеется, Скобелев объяснил князю, в чем дело.

— Знаете, — говорил потом по этому поводу Скобелев, — надо всегда уметь пользоваться не только способностями, доблестями и достоинствами людей — но и их пороками... Разумеется — ради честного дела. Не для себя и не в свою пользу... Это в военном деле — необходимость...

— Следовательно, рыцарь Баярд был не на высоте требований боевых... — возразил кто-то.

— Рыцарь Баярд действовал за свой счет только, армией он не командовал. Я бы посмотрел теперь на рыцаря Баярда!

И сейчас же — целый арсенал исторических указаний, фактов, примеров.

Память у него была необычайная... Это позволяло ему при каждом случае обращаться к прошлому. История была для него школой, исторические события — уроками. Он находил в них подтверждения своих предприятий... Ошибки прежних полководцев являлись для него предупреждениями...

— Послушайте, да это какой-то профессор! — изумился Лигниц после первого знакомства со Скобелевым.

— Трудно сказать, чего в нем больше, ума или знаний! — резюмировал свои впечатления военный агент Северо-Американских Соединенных штатов Грант.

Все это завоевывало Скобелеву симпатии одних и, напротив, раздражало против молодого генерала других. Для меня Скобелев был отличным мерилом для определения ума и бездарности. Как только начинают, бывало, ругать его, отрицать его талант — так и знаешь: формалист или дурак, или завидущая душа! Все же молодое, умное, способное — относилось к нему с понятным уважением и даже обожанием.

VI

Солдаты Радецкого и Скобелева — в ущельях Янтры побратались между собою. Одни других считали достойными товарищами. Постоянно по пути встречались эпизоды, характеризовавшие эту боевую дружбу, Идет, например, углицкий полк, навстречу — солдат 14-й дивизии, отстоявшей Шибку. Стал фертом и ноги раздвинул, по словам известной армейской песни: «Руки в боки, ноги врозь»!

— Ну, братцы, четырнадцатая дивизия не выдала, смотри и шестнадцатая не выдавай!

— Небось не выдадим... Защитим... — слышится из рядов.

В другом случае встречаются две партии солдат.

— Вы скобелевские?

— Точно!

— Ну, а мы Радецкого... Все равно, значит, что одно...

— Таперича, коли бы да нас вместе, что бы сделать можно!.. На Шибке нас мало было...

Взгляд солдат был как нельзя больше верен. Скобелев и Радецкий — действительно в то время были двумя боевыми противоположностями. Скобелев — весь пыл, огонь, находчивость, боевой гений, Радецкий — терпение, мудрая осторожность, расчет. Оба — одинаково храбры, одинаково любимы солдатами. Впоследствии и Скобелев под Геок-Тепе усвоил себе и осторожность, и расчетливость стратега, отчего, разумеется, еще более вырос... Разница между этими двумя натурами лучше всего обнаружилась в Габрове. Скобелев, хорошо знавший положение дел, рвался за Балканы, горой стоял за немедленный перевал через горы и затем движение к Адрианополю. Радецкий — был против этого. Зимний поход такого рода, через кручи и вершины, засыпанные снегом, по ущельям, куда и летом не забирается живая душа, — пугал его. Он писал и телеграфировал в главную квартиру, умоляя оставить это предприятие, называл его невозможным, неисполнимым. Он ставил на вид, что турки сами уйдут, когда Гурко прогонит Сулеймана, что Вейсиль-паше вовсе не будет расчета держаться в своих орлиных гнездах и пустить в тыл к себе русскую гвардию. Генерал только опускал из виду, что, отступив, турки займут превосходно укрепленный редутами и башенными фортами Адрианополь, а тогда нечего будет и думать о скором окончании войны... Люди, окружавшие Радецкого, держались того же мнения. Начальник его штаба, храбрый и симпатичный генерал Дмитровский — прямо говорил нам, что или мы все погибнем в долине Казанлыка, или не дойдем до нее, застрянув в горах. Когда Скобелеву говорили о возможности отступления — он резко ответил:

— Отступления не будет ни под каким видом!.. Я иду таким путем, по которому спуститься можно, а назад подняться нельзя...

— Что же вы сделаете в крайнем случае?

— Пойду впереди своих солдат — в лоб турецких позиций, возьму штурмом гору св. Николая. Или погибну... Тут выбора не может быть...

Великий князь поддержал Скобелева, и переход был решен бесповоротно. В тот же день генерал отдал по войскам своего отряда приказ, который я привожу здесь целиком.

«Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и

испытанной славы русских знамен. Сегодня, солдаты, мы начнем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду у неприятеля, через глубокие снеговые сугробы... В горах нас ожидает турецкая армия. Она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь отечества, что за нас теперь молится сам Царь-Освободитель, а с ним и вся Россия. От нас они ждут победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Дело наше — свято, с нами Бог!..»

«Болгарские дружинники! Вам известно, зачем державною волею русские войска посланы в Болгарию! Вы с первых дней показали себя достойными участия русского народа. В битвах, в июле и августе, вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей — наших солдат. Пусть будет также и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на земле есть ценного и святого. Вам Бог велит быть героями...»

Нужно было слышать, какое «ура» гремело в ответ на чтение этого приказа по войскам, в виду громадных гор, вершины которых уходили в небеса, закутавшись в снеговые тучи. По головокружительным скатам едва намечивались серые полоски дороги, пропадающей в мареве вечернего тумана... Дальше — и пути уже не было.

— Кручи и пропасть будут по сторонам!.. — говорил Скобелев солдатам. — Мы с вами пройдем там, где и зверю нет пути...

— Пройдем, ваше-ство! — кидали они своему любимому вождю...

— Орлы мои!.. Нас не собьет и буря с пути... Нет нам преграды

— И не будет, ваше-ство!..

— Вот так... Хорошо с вами жить и умирать легко... Покажем им, что русского солдата ни горы, ни зимние метели остановить не могут...

— Урра! — гремело из десятков тысяч грудей, уже достаточно истомившихся на прежних походах.

Слезы выступили на глазах Скобелева.

— Как же с этими солдатами, — обернулся он к нам, — не наделать чудес... Вы посмотрите на эти лица. Разве есть для них невозможное?.. Спасибо, товарищи, я горжусь, что командую вами!.. Низко кланяюсь вам!

И, сняв шапку, он поклонился своему отряду.

Еще более громкое, стихийное ура всколыхнуло вечерний туман и раздалось по ущельям, в даль, заставленную мрачными вершинами...

Тем не менее трудности пути — были ясны каждому солдату, и скоро, очень скоро оживление сменилось сосредоточенным молчанием людей, готовящихся к мучительному подвигу.

— Идем товариство выручать!.. — изредка только слышалось в рядах. — Семой месяц на Шибке сидят — ослобонить надо!..

Перевал через Балканы, признанный таким военным авторитетом, как Мольтке, невозможным, — останется навсегда в истории. Скобелевцы могут с гордостью сказать, что они совершили его без всяких потерь, благодаря превосходной организации этого похода... Взойдя на первый холм, они увидели перед собой крутой подъем. Ветер свеял с него недавний снег, осталась скользкая обледенелая поверхность. Солдаты скатывались и падали с нее, гремя ружьями, котелками, шанцевым инструментом. Добравшиеся до верху тяжело дышали, отдыхали, прислонясь к деревьям, или просто ложились в снег в полном бессилии. Падая и скатываясь, напрасно хотели удержаться руками — руки скользили по гладкой поверхности... Одолев это — находили перед собой еще более пугающую крутизну, но уже засыпанную глубоким снегом. В снег этот уходили по грудь, шли вперед в его рыхлой массе. Поворачивали направо, налево, уходили опять назад, огибая отвесы диких скал, вспалзывали по лестницам, образуемым выступами их, падали с этих лестниц, скользя по льду, образовавшемуся на них... В лесу — тропа была до того узка, что солдатам пришлось идти гуськом. Отдыхали через каждые двадцать пять, тридцать шагов. И какие это шаги были: солдат с натугой выхватывал ногу из снеговой глыбы, потом ступал вперед, опять погружаясь в вязкую массу. Под ногами снег расползался, ноги расходились, приходилось падать и, скрипя зубами, подниматься опять. Какое-то хрипенье слышалось кругом. Падая, каждый принимался прямо с земли есть снег. В чаще нужно было кусты раздвигать руками, какие-то колючки впивались в лицо, резали его, обращали платье в лохмотья. С артиллерией была мука, десятифунтовки бросили позади. Их нельзя было и думать взвести сюда. Горные орудия на саночках — тело отдельно от лафетов — шли лямкой. Солдаты, наклонившись головой вперед, хрипя, тащат их на лямках... Всего мучительнее было взбираться на горы после того, как, поскользнувшись, скатывались вниз. Иной раз пять-шесть совершает такое восхождение и все с одинаковым неуспехом... По сторонам зияли бездны. Вдоль них пришлось лепиться, точно муха, ползти по горе. Одолели это — попали в такие сугробы, где тонули по горло в снегу. Двигались уже не ногами в них, а как-то напирались всем корпусом вперед, выдавливали для себя место... Все было мокро на себе: и сам, и платье... А выберешься — морозом охватывает, так что шинель коробится, рубашка деревенеет и на волосах разом образуются куски льда. Солдаты пробовали садиться отдыхать на снеговые

глыбы, так они сползали вниз... Стали, наконец, садиться и ложиться на дорогу. Через них и по ним ходили, наступали на лицо, на грудь, на руки, те только стонали и опять подымались, чтобы до последних сил идти вперед. Иной раз снег проваливался, и солдаты попадали на дно воронки... Скобелев тут же, между солдатами, ободряет одних, понукает других, посмеивается над третьими. Откуда берутся у него силы. Он более других утомлен, потому что у него не было отдыха вовсе... Раз он как-то заснул в снегу... Кругом сейчас же стали солдаты, чтобы на генерала не наступили проходящие мимо...

— Невозможный переход! — обратился к нему кто-то.

— Тем лучше, что невозможный! — отвечал он.

— Почему?

— А потому, что турки не ждут нас отсюда. Полководец именно при защите и должен опасаться якобы невозможных позиций. Невозможных для штурма, для обхода... Их-то он и должен иметь в виду...

— Обыкновенно на них не обращают внимания!

— И глупо делают. Умный враг с них-то и начнет... Смотря какие солдаты, если такие, как мои — с ними всякую невозможность одолеешь...

На одной площадке солдаты совсем упали духом. Усталь дошла до крайности... Казалось, нельзя было ступить шагу...

— Еще одну гору, голубчики...

— Трудно... ваше-ство! — упавшими голосами отвечают ему.

— Наверху каша будет, товарищи... Ну-ка, для меня, постарайтесь...

И солдаты поднимались и шли с новыми силами...

Дошли до первого ночлега на Ветрополье — и действительно, там были и суп, и каша. Дорылись до земли, из готовых поленьев разложили костры и живо в котелках сварили себе похлебку. Говядина и крупа были для этого на солдатах... За ночь, несмотря на мороз, — ни одного больного не было.

На другой день — такой же утомительный переход — но уже под огнем турецких позиций.

Тут уж весь путь целиком, даже звериных тропок не было.

Куруджа ужасающей кручей обрушивается вниз. На дне пропасти — белый пар. Вчера еще могла бы здесь пролететь только птица. Ночью уральские казаки устроили тропу. Легли в снег и проползли, обмяв его под собою по отвесу. Назад прошли на ногах, продолжая обминать, потом провели своих коней. Когда солдаты шли по этому карнизу, направо стеной поднималась гора, налево стеною она обрушивалась вниз. Бездна тянула к себе, голова кружилась, тошнило. Двое сорвались туда — и безвозвратно. Кое-где тропа эта идет наклонной плоскостью, тут — разве крылья ангелов могли удержать солдат.

Я до сих пор не понимаю, как они миновали эти места. И когда большая часть отряда была еще на этой адской крутизне — Скобелев впереди уже производил рекогносцировку по направленно к Имитле. Под ним опять убили лошадь; ранили Куропаткина... Тут уж каждый шаг доставался с бою...

— Бог его знает, откуда у него это равнодушие и спокойствие!.. — говорили офицеры.

Стоя на выступе горы под густым огнем турок, Скобелев здесь набрасывал кроки долины Роз. Ему оно нужно было для дальнейших соображений... Завтра — бой, всякая неровность местности имела громадное значение.

— Он чертит под огнем так же уверенно, изящно, как бы у себя в кабинете...

Подробного рассказа о переходе Балкан, о боях 26, 27 декабря, о занятии Имитли я здесь не передаю. Этому посвящена значительная часть второго тома моего «Года Войны». Отмечу только здесь, что этот героический поход — не сломил энергии Скобелева. В ночь на 27-е я его застал уже в ущелье, выходившем в долину Казанлыка. Он лежал у костра, слегка прикрывшись пальто... Рядом хрипела и билась умирающая лошадь... Откуда-то назойливо садился в ухо крик раненого солдата... С ним кто-то заговорил.

— Не мешайте! — оборвал он...

— Да... — вдумчиво проговорил он, — наконец, завтра или послезавтра решится дело... Или запишем еще одну славную битву в нашу военную историю, или... умрем!.. Честнейшая смерть еще честнее победы, дешево доставшейся... Во всяком случае — отступления нет... Спуститься можно было... Подняться — нельзя...

— Генерал Столетов... Возьмите две роты казанского полка и одну углицкого... Выбейте турок из Имитли и займите его...

— Вам бы заснуть теперь? — посоветовал ему кто-то.

— Казак, коня... Некогда спать... В Казанлыке выспимся...

И он поехал осмотреть выход в долину.

VII

Я не буду описывать ни рекогносцировки 26 декабря 1877 года, ни последовавшего затем занятия Имитли, ни дела 27-го числа, когда Скобелев, желая хоть чем-нибудь помочь князю Мирскому, но имея под руками еще слишком мало войск (три четверти отряда еще оставалось в горах), сделал демонстрацию на шейновский лес. Всему этому отведено достаточно места в прежних моих описаниях войны[1]; я возьму из них только не-

---

[1] «*Год Войны*» того же автора, тома II и III.

сколько строк о бое 28 декабря, едва ли не самом блестящем деле шибкинской эпопеи. Это было последнее крупное сражение в эпоху 1877—1878 годов, и тут Турция потеряла свою последнюю армию.

Сырой и туманный был этот славный день. Мгла окутывала дали, серое небо точно давило вершины Балкан. В ущельях курился туман; сады и рощи деревень в долине Роз казались облаками, охваченные отовсюду мглою... Лысая гора, резко обрисовывающаяся среди окружающих ее вершин, тогда вся пряталась... Ее мы не видали.

Еще свет робко-робко пробивался на восток, когда Скобелев уже объезжал шейновское поле. С зарею поднялись солдаты, из Имитли едва-едва доносился грохот горных орудий, стучавших по окрепшей за ночь почве... Суздальский полк еще находился в Балканах, как и вся наша артиллерия, за исключением батареи, вооруженной горными орудиями. Там же еще застряли стрелковый батальон и две дружины болгарского ополчения...

Не успело солнце подняться, как полки уже выстроились... Солдаты были очень оживлены; зная их суеверие, Скобелев, объезжая ряды, повторял:

— Поздравляю вас, молодцы! Сегодня день как раз для боя — двадцать восьмое число... Помните, двадцать восьмого мы взяли Зеленые Горы, двадцать восьмого сдалась Плевна... А сегодня мы возьмем в плен последнюю турецкую армию!.. Возьмем ведь?

— Возьмем... ура! — звучало из рядов...

— Заранее благодарю вас, братцы...

В десять часов передовая позиция была уже занята отрядом графа Толстого, выстроившимся в боевой порядок.

— Выдвиньтесь на хороший ружейный выстрел! — приказал ему Скобелев.

Сам генерал стал в центре. По обыкновению вокруг сгруппировались ординарцы, позади него развернут был его значок, следовавший за ним всюду и в Фергане, и в Хиве, и в Плевно. Среди мертвого безмолвия разом заговорили горные пушки нашей батареи, когда впереди показалась турецкая кавалерия, развертывавшаяся перед Шейновым... Против нас оказалось пятнадцать турецких орудий... Сосредоточенный огонь их был направлен сегодня исключительно против группы Скобелева...

— Господа! — обернулся он. — Не угодно ли вам раздаться... Разбросайтесь пошире... Иначе перехлопают нас...

— Сегодня моя жизнь нужна! — в виде пояснения сказал он потом. — Куропаткин ранен, его нет. Если меня убьют, некому будет принять команды...

Мы разъехались на довольно большое пространство...

— Сейчас к туркам подойдет подкрепление! — озабоченно проговорил Скобелев.

— Почему вы знаете?

— А слышите?

В грохоте турецких батарей стали выделяться отдаленные звуки рожков. Турки подавали сигналы. Скобелев усилил наш левый фланг и выдвинул ополчение к Шибке, где, по его мнению, были три табора турок.

— Они, подлецы, догадаются, что у нас только орудия малого калибра!.. Нужно обмануть неприятеля... Поставьте людей у орудий! — приказал генерал.

Вторая боевая линия вышла на позицию с музыкой и песнями. Развернутые знамена слегка колыхал ветер... Около 11 часов турки сосредоточили свой огонь против нашего левого фланга. Туда Скобелев послал стрелков углицкого полка... Люди начали падать... По массе пуль, несущихся навстречу, видно, что турки собрались здесь не менее, как в количестве пятнадцати таборов... Да сколько их еще позади — в редутах и фортах, защищающих с юга шибкинские позиции. Скобелев делается все серьезнее и серьезнее... Лицо его озабочено, как никогда...

— Если меня убьют, — снова оборачивается он к окружающим, — то слушаться графа Келлера. Я ему сообщил все...

На нашем левом фланге все разгорается и разгорается перестрелка, там уже перешли линию огня и находятся в самом пекле. Шейново кажется отсюда примыкающим к Балканам. Перед этим пунктом несколько холмов, они заняты турками. Их следует взять во что бы то ни стало... Оттуда — особенно сосредоточенный огонь... Роты, видимо, хотят их обойти с фланга; ни на минуту ружейный огонь не стихает, напротив, растет и растет, сливаясь с отголоском маршей вступающих в боевую линию полков. Наши «Пибоди» пока идут, не стреляя. Мы под огнем, но сами огня не открываем. На одну минуту перед курганами — стрелки углицкие приостанавливаются... Слышится команда, развертывается цепь и беглым шагом бежит, охватывая курганы дугою... Залпы и беглый огонь у турок доходят до исступления. Наконец, наши у курганов — бой в штыки — слышно «ура», и на вершине холмов показываются угличане, радостно размахивая ружьями и созывая отсталых. Турки вереницами бегут к лесу и занимают его опушку... По этому пути — легко узнать их отступление. Меткий огонь наших стрелков уложил их так густо, что еще издали видишь среди белеющих снегов какую-то черную полосу до самого леса.

— Молодцы, угличане! — замечает Скобелев... Меня винили за Зеленые Горы... Вы помните, каких нагнали ко мне солдат для пополнения уничтоженных под Плевною полков... Что это были за трусы... Разве можно было с ними драться... А теперь полюбуйтесь на них... Как стойки они... Вот вам и Зеленые Горы. В две недели дивизия получила боевое воспитание...

Курганы почернели от людей, занявших их. Снизу до верхушек густо засели стрелки, но не надолго. Нужно было пользоваться минутой и продолжать атаку... Вот цепь опять развернулась, ринулась вперед — идет шибко, хорошо... Позади двигаются еще люди... Огонь у турок делается отчаяннее. Вдруг, точно к ним явилось подкрепление — залпы зачастились, турки выбегают из опушки леса; наше наступление встречают убийственным огнем с фронта. На левом фланге угличан показываются черкесы, на правом наши точно приостановились, колыхнулись... Двинулись назад... Еще минута, и наша цепь, отстреливаясь, волнообразно отступает за курганы. Одну минуту Скобелев боится, чтобы они и их не отдали... Нет, курганы остаются за нами.

Неприятельская кавалерия и не думает отступать... Она заскакала во фланг нам и теперь маневрирует между нами и Шибкой... Подскакивают черкесы в одиночку, ругаются по-русски и сейчас же во всю мочь улепетывают назад. Кинулись, было за ними казаки — и давай тоже джигитовать...

— Ну, я этих фокусов на седле не люблю... Прикажите, чтобы слушали команду, а не кувыркались... Мне акробатов не надо. Пошлите прямо две сотни донцов в атаку!

Те, опустив пики, помчались, развернув фронт, на турок... Точно ураган просвистал мимо. Турки их выдержали шагов на двести и, дав глупый залп на удачу, опрометью шарахнулись по направление к Шибке.

— Граф Толстой ранен! — подъезжает ординарец к Скобелеву...

— Э!.. — с досадой проговорил генерал. — Терять Толстого в такую минуту... Он нужен... Жаль, жаль... Пускай Панютин примет команду... — Резервы ближе и ближе передвигаются к линии боя...

— Как стройно идут они... — любуется ими генерал...

Каждый подходит с музыкой и ложится в лощину — «до востребования»... Туман рассеивается... Горные стремнины обнажаются, и в эту минуту заметно, как к ним, точно тень от облака, скользят вниз турецкие таборы.

Из второй линии в передовую послан для усиления весь углицкий полк... Дело близко к решающему моменту; смотря на обстановку боя, мы любуемся стройностью движения угличан, которые развертываются как на параде и с развернутыми знаменами под музыку красиво входят в боевую линию... Сражение распространяется по всей линии передового отряда. На левом фланге у отступавших к курганам стрелков вспыхивает «ура» и перекидывается из роты в роту по всему расположению войска, из передовой линии в резервы. Скоро вся долина, занятая нами, гремит от восторженных криков. Стрелки на левом фланге вторично кидаются в атаку, неудержимо выбивают первую линию турок, вскакивают на бруствер траншеи, заложенной в

лесу, оттуда скоро вырываются к нам сюда красные языки пламени... Слышны вопли побежденных и новое торжествующее «ура» владимирцев и углицких стрелков. Начинается тот период боя, когда стихийная сила заменяет одну волю, когда управляющий боем может только усилить, направить, но не прекратить движение, не помешать ему. Солдаты, видимо, рвутся вперед... Скобелев еще хочет выдержать момент, зная, что позади резервов мало.

— Суздальский полк и две болгарские дружины пришли... — докладывает ординарец.

— Турки окружены нашей кавалерией с тылу... — сообщает другой...

— Мы вошли в соединение с Мирским — вот записка от князя...

— Ну, с Богом теперь!..

И Скобелев перекрестился.

Точно дрогнуло все, под гулкий рокот барабанов, возвестивших общую атаку... Пришлось останавливать солдат, кипевших боевою энергией. «Ну, теперь — победа верная!» — крикнул Скобелев, глядя на своих солдат.

Я не описываю здесь эпизодов этого колоссального боя, совершившихся в горных туманах у Радецкого и в левофланговой обходной колонне у князя Мирского. Книга эта исключительно посвящена Скобелеву, почему в этом наброске я говорю только о его участии в шейновском бое.

Углицкий и казанский полки и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно-красивою стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля. Наши шли без выстрела. В этот день они не выпустили почти ни одного патрона и исключительно работали штыками... До опушки леса они шли точно церемониальным маршем, под музыку, в ногу... На параде — так не ходят... У опушки полки развернулись побатальонно и почти под сплошным огнем, пронизавшим их, кинулись беглым шагом вперед... Чтобы менее было потерь в известные моменты, люди залегали в канавы и потом по команде перебегали к следующей... С еще большим ожесточением рвались в бой болгары... Один батальон, против которого был направлен особенно сосредоточенный огонь, приостановился... Два раза отдали ему приказание «вперед» — ни с места. Точно столбняк напал. Тогда командир подскакал к батальону, выхватил знамя из рук знаменщика и с ним кинулся в огонь. Как один человек бросились солдаты... Их напор был так неудержим, что первый ряд ложементов и траншей моментально оказался у нас в руках... Передовая — турецкая позиция была атакована по приказанию Скобелева одновременно, казанцами слева, угличанами справа.

Закипел штыковой бой. Не просили и не давали пощады. Кололи безмолвно, сжав зубы... Солдаты только старались не

глядеть в глаза защищавшимся. Это очень характерная черта. Закалывая — солдат никогда не смотрит в глаза врагу. Иначе «взгляд убитого всю жизнь будет преследовать»; это — убеждение, общее всем.

Линия неприятельских стрелков, стоявшая все время здесь, не ушла никуда — вся осталась на месте. Как она сбилась к брустверу, так и легла там. Густо легла — точно второй вал у вала... Раненые, падая, схватывали врагов и душили их, в бессилии находили еще возможность зубами вцепиться в солдата — пока тяжелый приклад не раскраивал черепа... Болгарское ополчение дралось столь же ожесточенно, еще злобнее, если хотите, потому что тут вспыхивала племенная ненависть...

Когда первые ложементы были взяты, до отдыха еще оказывалось далеко... Перед солдатами оказался укрепленный лагерь турок и их редуты.

Укрепленный лагерь был не что иное, как деревня, где каждый плетень, заваленный землею, являлся бруствером траншеи, каждый дом блокгаузом. Тут бой шел — разбиваясь на мелкие схватки. Стреляли со всех сторон. Тут можно было затеряться... Упорно защищали эту позицию турки, но угличане и казанцы выбили их штыками оттуда.

— Знаете, — оборачивается Скобелев, — опушки рощ, деревни часто переходят из рук в руки... Я боюсь, чтобы турки не бросили сюда все, что у них есть, и не отняли занятых угличанами позиций... Со свежими силами они могут сделать много против изнуренных солдат...

Ввиду этого генерал передвинул из резервов еще батальон, который, дойдя до места, сейчас же окопался.

— Если наши войска дрогнут, траншея эта будет служить им опорой, чтобы прийти в себя и опять броситься на турок.

Но опоры не понадобилось.

Увлечение солдат росло. Они крошили все на своем пути. За укрепленным лагерем попался им редут... Никто не знает, вскакивали ли сюда первыми те или другие солдаты — полк как будто прошел через редут, не останавливаясь в нем; минуты остановки не было, а между тем позади, когда угличане шли на следующий — остались между брустверами груды тел и раненых. Оказывается, что защитники редута были перебиты штыками... Налево был другой редут, сильнее. Взять его с фронта было невозможно. Батальон казанского полка обошел его с тылу и так неожиданно кинулся на турок оттуда, откуда его никто не ожидал, что таборы бросили оружие и в ужасе только подымали руку вверх, крича навстречу нашим солдатам «аман! аман!».

Еще два редута было взято штыками... В следующем турки, заметив, что наши их обходят, бросились, было, все на угличан, но казанцы развернулись в длинную линию и открыли такой

огонь по бежавшим, что редкий из них спасся. В этом единственном случае наши стреляли. Повторяю еще раз, вся работа 28 декабря была сделана штыками. Поэтому и потеряли мало! Я нарочно останавливаюсь на этом, чтобы показать, до какого идеального совершенства Скобелев довел своих солдат. Солдат — атакующий врага без выстрела — образец дисциплины и выдержки. Трудно поверить, какой соблазн стрелять по неприятелю, а не ждать штыкового боя... Хотя за закрытием редутов ружейный огонь наступающего врага приносит очень незначительный вред обстреливаемым.

В два без четверти деревня, со всеми ее укреплениями, была взята.

Движение угличан и остальных на правом фланге было гениальною диверсией Скобелева. Он сначала массировал свои войска на левом фланге и упорно повторял атаки там. Затем, заметив, что турки сосредоточили свои силы против нашего левого фланга, он внезапной переменой фронта перешел в наступление с правого. Таким образом турки были не только обмануты, но обнажили и обессилили ключ своих позиций. Без этого блестящего хода — игра этого дела, пожалуй, не могла бы быть выиграна, и турецкой армии не был бы дан этот последний и решительный шах и мат. После блистательных атак Скобелев выстроил перед Шейновом владимирский полк и во главе его уже сам хотел нанести туркам решительный удар в их центре.

— Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, — кончим и мы как следует!

— Постараемся...

— Смотрите же... Идти стройно... Турки почти уже разбиты... Благословясь, с Богом!

Солдаты сняли шапки, перекрестились. Оркестр заиграл марш, и под звуки его стройно двинулась атака. Настроение солдат было действительно восторженное. Шли смело, блестяще, отсталых не было...

Не успели мы доехать до лесу, как навстречу нам стремглав скачет ординарец Скобелева — Харанов, без папахи, и издали еще машет рукой. А подъехал — говорить не может от устали.

— Ваше-ство... турки подняли... белый флаг...

— Как, где?.. Не может быть, так скоро... Ну, господа, за мной скорее!

VIII

Я до сих пор не могу забыть этого безумного, радостного чувства победы. Несешься вперед, дышишь полною грудью, и все-таки кажется, что воздуха и простора мало... Скобелев рвет шпорами бока своему коню... Конь стрелой мчится вперед, а

генералу все кажется медленно. Ветви ему хлещут в лицо... Не чувствуешь даже, как позади остаются ручьи и овраги. В одном месте брызнуло водой — даже и не моргнули... Вперед и вперед... Из рядов несется радостное торжествующее «ура» владимирцев, бегом следующих за генералом... Не замечаешь трупов, разбросанных по сторонам. Уже потом, анализируя пережитые ощущения, смутно припоминаешь, что чуть не из-под копыт коня подымались какие-то люди — с простреленными грудями, с окровавленными головами, протягивали к тебе руки... Приходят на память другие, схватившиеся друг с другом, да в момент смерти так и закостеневшие... А там, в горах, еще не знают... Там еще идет бойня, люди падают, умирают, мучаются, дерутся...

— Вся ли армия сдается? — голос Скобелева стал хриплым каким-то.

— Таборов десять бежало!

— Харанов! Стремглав сейчас же к Дохтурову... Слышите... Пусть кавалерия вдогонку... Чтобы ни один человек не ушел у меня... Поняли?

И еще глубже шпоры вонзаются в белую кожу коня, и еще бешеннее мчит он генерала вперед и вперед.

— Имею честь поздравить ваше-ство! — наскакивает какой-то офицер.

— С чем?

— Казачий № 1 полк, под начальством самого Дохтурова, обскакал бегущих турок с тылу, бросился в шашки, несколько сот положил на месте и взял в плен...

— Сколько? — нетерпеливо перебивает генерал.

— Шесть тысяч человек.

— Спасибо... Счастливый день...

Впереди — депутация нам навстречу. Доктор и санитары со знаками красной луны. Высоко над головами держат они большие листы бумаги — женевские свидетельства. Около наши солдаты толпятся.

— Пусть убирают своих и чужих раненых... Обещать полную безопасность... Солдаты! Это не пленные, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Это свободные люди... Доктора! Они будут помогать и нашим, и туркам, поняли... Они — друзья наши... Смотрите же у меня, не обижать!

И опять безумная скачка вперед... Тут уже груды трупов... Массы раненых... Опушка — громадная долина... Мы останавливаем коней...

Вспоминаешь ли ты, ты, недвижно лежащий теперь под этим парчовым покровом, ты, сомкнувший зоркие очи свои — эту минуту счастливого торжества, когда так легко дышалось тебе, когда, казалось, весь простор перед тобою был тесен для твоего

счастья... Где твоя сила, где эта мысль, быстрая, как молния, и могучая, как она?.. Хотелось взять его за плечи... Крикнуть прямо в это мертвое лицо... Победа, генерал, победа!.. Но, увы!.. Он уже не шевельнется на знакомый привет, и восторженное «ура» торжествующих полков уже не способно зажечь этот тусклый, из-под опущенных ресниц, едва-едва светящийся взгляд...

Душно... Душно... Тоска давит, плакать хочется над тобою... Кто уложил тебя так рано, тебя, перед которым в бесконечную даль уходили подвиги, торжества... Тебя, венчанного славою, тебя, так рано узнавшего ее тернии...

Хороша была эта долина, рядом у опушки оставленного позади леса, открывшаяся перед нами... Вон налево руины Шибки, под грозными массами крутых отсюда и резко очерченных Балкан... Вон внизу на холмах целый фронт редутов... Из-за их брустверов видны солдаты, тускло мерещатся штыки... Но это солдаты наши и штыки наши. В других еще стоят красноголовые турки, но уже молча, сложив свои ружья... Залпы только гремят еще на вершинах шибкинского перевала.

— Где же белый флаг? — нетерпеливо спрашивает Скобелев.

— Правее!

Там за рекой — правильные колонны каких-то войск... Там еще туман. Не разобрать в его желтоватом освещении, свои или чужие...

— Была не была, едем! — и Скобелев решительно дает шпоры коню.

Вода ручья брызжет из-под копыт лошадей, прямо в лицо нам... С того берега гремит «ура» — наши!..

— Где же белый флаг? — кидает им с ветру, с бегу Скобелев.

— Позади, ваше-ство!

Мы проскакали мимо... Опять бешеный карьер... Вот редут, сплошь заваленный мертвыми и ранеными... Вон большой холм, точно сахарная голова. Снизу вверх спираль траншеи... Не видать земли, все усыпано красными фесками... Ярко, пестро. С верхушки во все стороны грозно смотрят крупповские орудия, выше их еще медленно развертываются и полощутся в воздухе два белых флага.

— Мерзавцы! — срывается с губ у Скобелева.

— Кто мерзавцы?.. — удивляюсь я.

— Разве можно было сдать такую позицию...

— Да и защищать нельзя... Обошли кругом...

— Защищать нельзя... Драться можно, умереть должно!..

Как будто из тумана выдвигается фигура какого-то офицера... Он подносит Скобелеву саблю пленного паши...

— Кто командует?..

— Вейсиль-паша!

— А Эйюб?

— Эйюба давно нет!

— Как, он сдался?

— Без всяких условий... На милость победителя!

— На милость?..

— Точно так!

— Возвратить сабли пленным, свято сохранить их имущество, чтобы ни одной крохи у них не пропало... Предупредите, за грабеж буду расстреливать!..

Навстречу кавалькада... Только не наши... Совсем не наши... И кепи чужие, и мундиры не те, к которым уже привык взгляд.

Впереди Вейсиль. Мясистое лицо, с низко нависшими бровями. Суровое, некрасивое.

Скобелев подает ему руку и говорит несколько приветливых слов.

Турки мрачны. Им тяжело, невыносимо тяжело.

— Сегодня гибнет Турция, такова воля Аллаха! Мы сделали все!

— Вы дрались славно, браво... Переведите им, что такие противники делают честь... Они храбрые солдаты!

Им переводят...

— А все-таки, мерзавцы, что сдали такие позиции! — заканчивает он про себя.

Отовсюду восторженные крики... Отовсюду стихийное «ура»... Лица солдат возбуждены, лучезарны.

— Спасибо, друзья, спасибо, товарищи... Спасибо, мои орлы! — кричит им Скобелев в свою очередь.

— Сколько у них было людей и пушек? — спрашивает он, кивая на пленных. Тем переводят.

— Тридцать пять тысяч войска и сто тринадцать орудий!

— И сдались!.. Хороши генералы...

Турки, сходя с редута, окружали нас сплошною стеною... В их массах слышалось «Ак-паша, Ак-паша»... Все они нетерпеливо пробивались взглянуть на Скобелева.

— Что они говорят? — обернулся Скобелев к переводчику.

— Говорят, не мудрено, если их победили, русскими командовал Ак-паша, а с Ак-пашой драться нельзя...

Наверху еще шел бой... Скобелев слушал-слушал и вспыхнул.

— Передайте паше: если через два часа турки, в селении Шибка и на высотах, не положат оружия, я их буду штурмовать и — никому пощады!..

— Они сейчас же сдадутся! — струхнул Вейсиль...

Издали послышалась музыка: развернутый, под распущенными знаменами, стройно подходил владимирский полк.

— Сейчас, сейчас...

— Я хочу им сам отдать приказание положить оружие... Господа, останьтесь здесь... Передайте туркам, что я сам еду с ними...

И Скобелев поехал, со всех сторон окруженный вооруженными турками... Двое или трое следовало за ним из русских.

— Однако наше положение странно!..

— Ну, вот еще!..

— Да как бы вы поступили на месте турок? — спрашиваю я.

Скобелев расхохотался.

— Во-первых, на их месте я бы не был...

— Ну, а если бы?

— Разумеется... Сейчас бы в шашки...

Впоследствии, под Геок-Тепе, он сделал еще лучше. После штурма и взятия этой крепости Скобелев едет в еще не сдавшийся Асхабад. Ему навстречу — семьсот текинцев, в полном вооружении, в праздничных костюмах — цвет текинского войска...

Скобелев обратился к ним с какими-то укорами... Они изъявили свою покорность...

— А если вы попробуете восстать — то я вас накажу примерно...

— Текинцы никогда не лгут!..

— Если так, то, господа, не угодно ли вам ехать обратно... Передайте текинцам, что они составят мой конвой...

И совершилось небывалое. Генерал один, окруженный семьюстами отчаянных врагов — верхом, поехал в Асхабад... Двадцать верст они сопровождали его...

И, разумеется, ни его прежние победы, ни страх его имени — не могли ему создать такой популярности между ними, как эта поездка...

С той минуты он стал кумиром уже всего племени *текке*.

IX

Какая разница с Плевно. Там пленные долго оставались ненакормленными. Им пришлось жить на открытом воздухе, в грязи и снегах болгарской зимы. Здесь все было сделано, чтобы смягчить участь несчастных. Они ели вместе с нашими солдатами у котлов; накануне еще Скобелев отдал приказание:

— Заготовить в солдатских котлах двойной запас пищи!

Через три часа по сдаче турки уже получили ее, ночью они спали в землянках и редутах, а утром, под конвоем болгарского ополчения, их отправили дальше, в Габрово.

— Горе узнали мы потом, у Ак-паши горя не было! — говорили они.

Солдаты, усталые от боя, не ложась спать готовили кашу туркам, наши офицеры разобрали турецких к себе и оказали им широкое гостеприимство, паши приютились у генералов. На Шибке не умер ни один пленный, в Плевне они умирали сотнями.

— Если хоть десятая доля такой заботливости встретит нас в России — наши семьи могут быть спокойны! — говорили они.

— Смотрите, ребята, турки теперь друзья вам! — говорил Скобелев солдатам.

— Слушаем, ваше-ство! — отвечали они.

— Нет большего позора, чем бить лежачего... А они теперь несчастные, лежачие... Так ведь?

— Точно так, ваше-ство!

— Пока у них были ружья в руках — их следовало истреблять; раз они безоружны, никто не смей их пальцем тронуть... Оскорблять пленного — стыдно боевому солдату...

И действительно, отношение скобелевских солдат к ним было искренно и задушевно.

Через день после боя — вдоль Балкан, в долине Казанлыка, в две шеренги выстроились легендарные солдаты легендарнейшего из вождей... Одушевленный, счастливый, сняв шапку, мчался мимо них Скобелев.

— Именем отечества, благодарю вас, братцы!.. — бросал он им свой привет.

— Урра! — звучало вслед ему, и фуражки летели в воздух, и в глазах этих новых легионеров русского цезаря — было столько любви и преданности, что у Скобелева долго потом навертывались слезы на глазах.

Этот момент талантливый В. В. Верещагин выбрал для своей картины.

Потом уже в Казанлыке я встретил Скобелева.

Он был мрачен... Интриги опять начались кругом, но это уже достояние истории. Теперь пока я молчу о них... Пусть нечистая совесть его врагов при жизни и его друзей после смерти сама заговорит. Более беспощадной Немезиды нет и не будет.

— Разумеется, вы с нами? — обратился ко мне Скобелев.

— Да...

— Завтра я выступаю в Адрианополь...

— Разве отряд ваш отдохнул?

— Я сегодня объехал свои войска: спрашиваю, нужен ли вам отдых, братцы... хотите ли вы дать туркам время оправиться?.. — Никак нет, — ответили они. Ну, и поведу их... У них есть свой point d'honneur[1]...

— Именно?

— Им хочется раньше гвардии прийти... Куда прийти, не знают, потому что о существовании Адрианополя они узнали только теперь... Думают, что в Константинополь веду их...

---

[1] Вопрос чести (*фр.*).

— Да ведь в Константинополь мы и идем!

Скобелев вспыхнул.

— Да разве иначе можно?.. Иначе нельзя... Нужно дать России это удовлетворение... Мы можем остановиться только на Босфоре!

И остановились потом на Босфоре, только не дойдя до Стамбула!..

В Казанлыке Скобелеву не было ни минуты отдыху, да во время отдыха — он и сам никуда не годился, становился нестерпимо капризен, всем недоволен... Это была деятельная, боевая натура, которую спокойствие утомляло гораздо более, чем самая кипучая, самая безотходная работа... Если не было дела — он выдумывал его... Любимою в то время поговоркою его было: «Россия не ждет, отдыхать некогда, отдых — в могиле...» И, действительно, он нашел свой отдых только под парчовым покровом, доставленным в отель Дюссо из Заиконоспасскаго монастыря. Он боялся отдыха...

— Ничто так не развращает, как спокойствие; ничто так не обессиливает, как отдых!

Борьба была для него необходимостью, жизнью... Я думаю, все помнят, что он делал в редкие антракты между двумя походами, сражениями. Другие, высунув язык, падают, бывало, от устали, а он сядет в седло да отмахнет на подставных лошадях карьером верст сто двадцать. Это у него называлось отдыхом. Вернется, обольется водой, проспит несколько часов — и опять свеж, опять готов на трудное предприятие... Или отправится куда-нибудь к офицерам своего отряда и вместе с ними и солдатами проводит целые дни. Для него в это время не было более задушевного общества. Кружок главных квартир — тяготил его. Там не свое. Там он или спорил, резко, бесцеремонно обрывая фазанов, или угрюмо, сосредоточенно молчал. Отводил душу, только попадая к отцу. Тут или он трунил над ним, или старик прохаживался насчет сына...

— Ну что, хвост-то тебе обрубили, наконец? — спрашивал отец, когда молодой Скобелев возвращался от Непокойчицкого.

— Нет!

— Жаль!

— Почему это жаль?

— А потому, что уж ты распустил его...

— Ты, вот что... Денег не даешь, а смеяться смеешься...

— И не дам!

— Подожду я, отец, когда тебя отдадут мне под команду!

— Ну?

— Тогда я тебя за непочтительность под арест посажу...

И оба смеются...

Когда на Зеленых Горах Скобелева в ночь на 8 ноября контузили, приезжает к нему отец, Скобелев лежал в постели, больной совсем.

— Ну, наткнулся, наконец... И чего суешься... чего суешься...— начал выговаривать старик.

— А все твой полушубок...

— Как это мой?

— Так, твой...

Скобелев был очень суеверен. Накануне отец ему подарил черный теплый полушубок, в котором его контузили — тотчас же. Через два дня он опять надел его — его контузили опять

— Возьми, пожалуйста, свой полушубок... Ты дай мне лучше деньгами...

— Неужели ты веришь, что тебе полушубок этот принес несчастие?..

В Казанлыке отцу Скобелева дали отдельный отряд...

— Ну отчего, отец, ты ко мне вчера не явился?

— Как это? — удивился тот.

— Как являются к начальству, в полной парадной форме...

— Да ведь я не к тебе под начальство!

— Жаль!..

— Почему это?

— По всей справедливости следовало бы!

Поздно ночью в Казанлыке возвращаюсь я к себе домой верхом. Ни зги не видно. Навстречу мне другой всадник. Улочка узенькая.

— Эй, кто там? — кричу я... — Держи правей...

— Это вы?.. — называет меня по имени Скобелев.

Я тоже сейчас узнал его по голосу.

— Куда вы?

— А тут в одну деревню!

— Зачем?

— Попаду к рассвету... Хочу узнать, как моих солдат кормят теперь; как начнут варить им похлебку и кашу, я уже там буду... Ненароком. Поедем вместе!

И мы отправились.

Чем дальше, тем его заботливость о солдате росла все больше и больше. Он сердцем болел за него. И всякая несправедливость, нанесенная солдату, — живо чувствовалась им, точно эта обида направлена была именно на него одного... Он бледнел, когда при нем рассказывалось о том, как в такой-то дивизии солдаты голодают, как в другой их секут, как в третьей их изводят на бесполезной муштре...

X

Переход Скобелева от Казанлыка к Адрианополю — навсегда останется в военной истории. Никогда еще не случалось пехоте совершать с такою быстротою походы, которые едва ли под силу и кавалерии. Масса силы воли и энергии, обнаруженная

при этом случае генералом, едва ли привела бы к подобным результатам, если бы дивизия его не получила такого блестящего военного воспитания. Отдыхать ей совсем не пришлось. 28 декабря была взята в плен армия Вейсиль-паши после утомительного перехода от Плевны к Габрову, трехдневного мучительного пути по Балканам и упорного сражения в долине Казанлыка. А первого января — авангард скобелевского отряда уже выступил из этого города к малым Балканам. Все это движение со дня падения Плевно носит какой-то головокружительный характер. Мы точно хотели вознаградить себя за долгие стоянки перед армией Османа. Главная квартира Великого князя помещается чуть не на аванпостах, наши войска, частью с запада, частью с севера, беспримерными переходами стремятся поскорее стать у ворот Константинополя...

— Вот такой поход по мне, это я понимаю! — говорил Скобелев. — Еще несколько дней подобного перехода, и нас никто не остановит. Мы докатимся до Босфора!

По всему этому пути — то с боя брали турецкие позиции, мосты, железнодорожные станции, то занимали новые города, поспешно очищавшиеся турками. Кавалерийские отряды, стараясь осветить местность, — уходили как можно дальше вперед, но, к крайнему удивлению их, вечером густые массы пехоты настигали всадников и располагались на ночлег в одних и тех же пунктах с ними. Одушевленные недавними победами войска скобелевского отряда делали чудеса. Михаил Дмитриевич, которого трудно было удивить чем-нибудь, рассказывал о них с восторгом.

— Чего нельзя сделать с такими солдатами! Помилуйте, Тырновский мост адрианопольской железной дороги — один эскадрон нашей кавалерии атаковал так стремительно, что четыреста пехотинцев турецких не выдержали и отступили... Вообще, напрасно думают, что кавалерия бессильна относительно пехоты... У меня на этот счет свои взгляды. Я в эту войну присмотрелся к способу действий кавалерии... В мирное время — займусь ее маневрами и в первую большую европейскую кампанию покажу, что может сделать с пехотою конница, хорошо приспособленная и умеющая пользоваться местностью. Говорят, что у нас кавалерии нет... Оно, если хотите, правда. Где же будет настоящая кавалерия, если все в ней сводится к тому, чтобы лошадь была в теле, подобрана как следует... Тут парад убивает дело... Но уже и теперь я знаю полки, совсем иначе действующие. Дохтуров вот понимает, что нужно делать.

Кавалерия на этот раз действительно показала себя. Она брала стремительной атакой уже горевшие мосты. Обскакивала отступавших турок... Становилась впереди их обозов. Отхватывала целые поезда, с вагонами и локомотивами. Как только начиналось дело и на нее наседала турецкая пехота — откуда

ни возьмись являлись скобелевцы и поддерживали своих... Часто кавалерия врывалась в города, еще занятые турецкой пехотой, — и не отступала от превосходных сил ее, а держалась, зная, что через час, через два по пятам ее явятся свои, — и дело будет выиграно... Изумительные переходы этого периода прошлой войны, я думаю, до сих пор памятны и солдатам, и офицерам. Случалось, сделают тридцать, сорок верст и только что расположатся на отдых, — как их опять двигают дальше. И при каких условиях совершал Скобелев этот поход. По пояс в грязи, под холодным дождем, в насквозь измокших шинелях. По пути то и дело встречались наполненные жидкою слякотью ямы и ухабы!.. Лошади отказывались служить — а люди все шли да шли, исполняя и за измученных коней трудную работу. Делая шестидесятиверстные переходы в день, сверх того еще тащили пушки... Один полк, например, только что добрался до Хаскиоя, только что было расположился на отдых, как вдруг — назад в Германлы. Вернулись в Германлы, провели часть ночи. Нужна была дневка, чтобы восстановить упавшие силы, как вдруг выезжает сам Скобелев.

— Поздравляю, братцы, с походом в Адрианополь...

Ни с каким другим генералом солдаты не сделали бы подобного... С ним, мрачные, сосредоточенные, усталые, но шли и шли... Когда уж слишком было трудно, тогда сходил с коня Скобелев, вмешивался в ряды... Раз после семидесятиверстного перехода — силы у людей окончательно упали, а впереди явились сведения о движении таборов египетского принца Гассана. Скобелев подъехал к людям.

— Голубчики... Напоследок... Неужели же у самого Адрианополя, да мы осрамимся...

Поднялись солдаты... Пошли... Ноги отказываются, едва-едва бредут.

— Товарищи... Ну-ка, еще переход; вечером кашей накормлю...

И солдаты, смеясь, пошли так быстро, что не только нагнали Гассана, но еще отрезали у него хвост, т. е. захватили громадные обозы и сто верблюдов... Впоследствии они все были у Скобелева в дивизии.

— Это наши верблюды... Походные... Она животная добрая, настоящая солдатская скотина... — хвалили они верблюдов.

Одно, о чем заботился по всему этому пути Скобелев, чтобы солдаты у него были постоянно накормлены. Всюду на походе, в бою, в пустынном безлюдье и только что занятом городе одинаково — горячая пища являлась в свое время, и люди ели до отвала.

— С ними все можно сделать, нужно уметь!

— Отчего же другим не удавалось делать такие переходы?

— Видите ли, душенька (любимое слово Скобелева), нужно, чтобы генерал пользовался громадным авторитетом у солдат, чтобы они его любили... Тогда сделаем все. А то и другое приобретается не сразу... И не даром. Раз это есть, и в самом, сверх того, энергия ключом бьет — бояться нечего. Чудеса сделать можно... Понимаете, чудеса... Разве не чудо — сравнять пехоту с кавалерией. Никуда у меня кавалерия уйти не могла, чтобы ее полки мои не нагнали... А это для меня — практика...

— Для чего?

— А для того, чтобы в большой европейской войне неожиданно сосредоточивать и массировать войска в самых немыслимых пунктах. Если придется нам схватиться с немцами — я всегда постараюсь против одной их дивизии поставить своих две. А для этого нужно приучить солдата к неутомимости... Ни расстояние, ни погода не должны его пугать... В этом залог успеха...

Когда отдыхал и спал Скобелев во время этого сказочного похода — неизвестно... Силы его отряда, во всяком случае, были так незначительны, что, помимо этих громадных переходов, солдатам, останавливавшимся на ночлег, приходилось еще окапываться...

— Чего же торопиться так? Три дня не сделали бы разницы! — спрашивали его.

— Как?.. По другую сторону Марицы, параллельно с нами, шли таборы Абдул-Керим-паши... Адрианополь являлся, таким образом, призом, который достанется быстрейшему. Явятся они раньше — засядут в адрианопольские форты, и тогда прощай надежда на скорое окончание войны!.. Тут расседлать коней некогда!

Движение это было столь быстро, что воображавшие встретить русских только в Казанлыке Сервер и Намык паши пришли в ужас, встречая массы беглецов по дороге.

— Где москов? — спрашивали они.

— Москов близко!..

Наконец, в шестидесяти верстах за Адрианополем Намык и Сервер, пораженные, наткнулись на аванпосты Скобелева.

— Чей отряд? — спросили у своих.

— Ак-паши!

До того это было неожиданно и так потрясло старика Намыка, что он зарыдал, откинувшись в глубь кареты... Через час к ним подъехал почетный конвой от Скобелева. Генерал принял их у себя...

— Не хотят ли паши отдохнуть и переночевать здесь? — обратился он к ним.

— Нет, нет... Ни за что!

— Почему же?

— Если мы остановимся на ночь, то вы будете уже за Адрианополем... А когда мы доедем до главной квартиры — то вы и к Стамбулу подойдете!

И, действительно, не успели паши добраться до главной квартиры, не успели выслушать условий перемирия, первым пунктом которого была сдача Адрианополя, не успели они еще расположиться на отдых, как их разбудил, кажется, полковник Орлов.

— Что такое? — всполошились те.

— Великий князь, главнокомандующий, приказал сообщить вам, что уступка Адрианополя больше уже не требуется...

— Что значит это?

— Сегодня утром Скобелев уже занял Адрианополь!

— Этого не может быть. В Эдирнэ, верно, уже Сулейман...

— Сулейман разбит и бежал в Фракийские горы!

Скобелев торжественно вступил в Адрианополь. Массы народа высыпали ему навстречу. Цветы и венки летели под ноги его коня. Болгарки, осиротевшие после казненных и убитых отцов, мужей и братьев, прорывались к нему, целовали ему руки и ноги, тысячи благословений слышались кругом... У самого города генерал обратился к своим войскам:

— Я надеюсь, братцы, что вы не опозорите себя здесь самоуправством. Нас принимают как друзей, и мы должны себя держать как друзья. Не сметь ничего и никого трогать... Если найдутся между вами люди, способные красть и грабить, чему я не верю, не хочу верить, — я без церемоний расстреляю их... Но я знаю, что этого не будет... Солдаты мои — не способны на это!..

— Рады стараться, ваше-ство!

— Первое время вас поместят в дома, из которых, пока население не привыкнет к вам, — не выходите...

И действительно — солдат первый день не видно было вовсе на улицах города.

Запертые лавки — открылись, спрятанные товары — появились на прилавках, торговля закипела вовсю. Население города благодарило войска за изумительный порядок, прислало солдатам всевозможных припасов. Через два дня, когда солдаты стали уже ходить по городу, их всюду принимали как друзей. В некоторых лавках отказывались принимать от них деньги. Солдаты насильно отдавали их.

— Бери, бери, нечего. Мы, брат, свои... Не говори потом, что братушко обидел тебя... У нас, брат, на это строго...

Две недели — порядок в Адрианополе не нарушался вовсе...

Ни одного грабежа, ни одной кражи, ни одной драки в городе... Ни разу и никто не явился с жалобою на солдат... «Нам и при турках не было так хорошо. Еще никогда торговле и промышленности так не покровительствовали в Эдирнэ!» —

говорили адрианопольцы. Ушел Скобелев — город заняли другие отряды, и недавнее спокойствие сменилось совсем иным...

Это, впрочем, уже не входит в программу нашей книги...

— Спасибо, ребята, — говорил Скобелев своим полкам, оставляя Адрианополь. — От души спасибо. Вы высоко подняли честь русского солдата... Вы доказали, что мирному населению вы не враги, а друзья, что вы защита каждому, кто не идет на вас с оружием в руках... Спасибо вам, страшным в бою и добрым на отдыхе!..

— Ну, полдела кончено! — говорил он в Адрианополе. — Мои солдаты имеют полное право гордиться этим переходом от Казанлыка сюда... И главное, знаете, почему?

— Быстротою и стремительностью?

— Этого мало... При быстроте и стремительности мы не растеряли солдат... У нас не было отсталых... Скажите, пожалуйста, встречали моих солдат или струковских кавалеристов — позади?..

— Нет!

— Вот, оно и есть... В таком походе — и отсталых не было... Пришли в Адрианополь — больных не оказалось. Вот почему я и мои солдаты можем гордиться этим эпизодом. А теперь давай Бог поскорей добраться до Константинополя!

XI

Адрианополь, турецкое Эдирнэ, до сих пор мерещится нам какою-то далекой поэтической грезой... это — город изящных Джамий, венчанный, словно короной, мечетью Селима, с ее четырьмя дивными минаретами. Это — мусульманская Москва, вторая столица султанов, полная для оттоманского народа воспоминаний о прежнем блеске и славе... Мы въезжали туда с понятным волнением. Скобелев там остановился в доме Амед-Юнус-бея — пустом, оставленном его жителями. Хозяин, известный предводитель баши-бузуков, один из ренегатов, бывший христианин, теперь озлобленный, ненавистный христианам турок, палач мирного населения, разумеется, не имел права рассчитывать на любезность русских. Зато дом его — был идеалом восточного жилья. Невиданную до тех пор роскошь — обнаруживал этот мусульманский палаццо с его переполненными тропическими растениями зимними садами, мраморными залами, поэтическими фонтанами, полными тишины и неги келиями гарема, зеркальными стенами и красивыми лестницами. Лепные и расписанные потолки смотрелись в кристальные воды внутренних бассейнов, тропические цветы, орошаемые алмазною пылью фонтанов, распространяли тонкое благоухание по широким залам... Скобелев выбрал тут самую простую комнату, в другой поместился его штаб. В Адрианополе — отдыха было

мало. С первого же дня делались поездки в окрестности, рекогносцировки к Чорлу и Гадем Киой. Сверх того, возня с консулами и администрацией турецкого города тоже немало отнимала времени у Михаила Дмитриевича. Тут он, в первый раз и совсем неожиданно для главной квартиры, обнаружил свои административные способности. Короткий период его управления Адрианополем был замечателен, в полном смысле слова. Потом, начиная от последнего мусульманского бейгуша и кончая банкирами и капиталистами Эдирнэ, все вздыхали о нем.

— При Ак-паше было гораздо лучше. Ак-паша не давал нас в обиду...

— Скобелев справедлив. Для него нет своих или чужих... При нем никаких недоразумений не случалось!

Здесь же Скобелеву пришлось расстаться с оригинальным ординарцем из турок. В шейновском бою — он спас от смерти молодого турецкого офицера.

— Куда мне деться? — спросил тот.

— Пусть едет за мной!

Тот и остался при Скобелеве. Мы много смеялись — видя, с какою важностью турок следует всюду за генералом, не оставляя его ни на шаг. Потом оказалось, что он серьезно привязался к Михаилу Дмитриевичу. Он не отставал от него, как не отстает собака от господина, шел по пятам. В Казанлыке — он был всюду, где был генерал. В конце концов он стал передавать поручения туркам, собирать всевозможные справки... Сделался совсем ординарцем.

Стали было его расспрашивать о позициях турок в шейновском бою — отвечает охотно. Сам указывает, куда лучше идти, откуда удобнее атаковать.

— Вот патриотизм!.. — злился Скобелев. — А ведь храбрый офицер был... С превосходными солдатами и такими офицерами турецкая армия уйдет недалеко. Бросьте — не расспрашивайте его... Офицер не должен быть лазутчиком!.. А впрочем...

И Скобелев расхохотался, поймав себя на этой сентиментальности.

Тотчас же он чудесно воспользовался сведениями, сообщенными ему турком...

— Их нельзя судить с нашей точки зрения!

Тем не менее меня интересовал этот субъект. Я через переводчика, по окончании боя, обратился к нему с вопросом «как он может служить врагам своего отечества».

— Потому что это — Ак-паша... А Ак-паше всякий служить поставит себе за честь... Таких генералов нет... И по Корану выходит тоже!

— Вот те и на... Это же каким образом?

— Коран говорит: победителю повинуйся... Нет силы высшей, как сила меча!

В Адрианополе было полное убеждение, что Турции уже не будет, что все ее европейские провинции присоединяются к России. Когда Скобелев созвал к себе улемов, они ему ответили то же, что и ординарец из турок ответил мне.

— Мы обязаны повиноваться победителю! — говорили они.

— А если Адрианополь отдадим болгарам? — возразил Скобелев.

— Болгары нас не завоевали, и по Корану мы восстанем и истребим их... Нас завоевали русские силою меча, и они только имеют право быть нашими господами...

— И если они будут так же справедливы, как ты, — отозвался седой, как лунь, старик, — то мы благословим Аллаха, карающего нас... С русскими жить можно!

— Ничего не тронул, ни имущества нашего, ни наших жен. Когда армяне и греки вздумали было вместе с болгарами обидеть нас, воспользоваться нашим достоянием — ты вступился за турок, ты стал нам защитой... Пусть белый царь отдаст тебе в управление этот вилайет — мы ничего не хотим больше!

— Сами турки не верят, — говорил Скобелев, — что мы когда-нибудь вернем им Адрианополь... Неужели мы его не удержим за славянами... Этого не может быть...

Потом я встретил его на фортах Адрианополя... Адрианополь — укреплен гениально, и если бы Сулейман, или Абдул Керим, или Вейсиль, отступая, заняли их — здесь бы выросла такая Плевна, что первая, остановившая нас на шесть месяцев, побледнела бы перед нею. Их всех двадцать семь, и они расположены правильным фронтом вокруг города, на ружейный выстрел один от другого. Каждый полк, который двинулся бы в атаку — подвергнулся бы огню, по крайней мере, двух таких редутов. Они поразили Скобелева удивительными приспособлениями к местности... «Вот мастера-то»... «Вот гениальные инженеры!» — повторял он, осматривая их.

— Не так, как у нас!..

— Почему?

— А потому, русский инженер начнет строить, вперед можно знать — по книжке выстроит... Как в книжке, так и у него... А тут и форму, и расположение форта определяет не книжка, а местность.

И действительно, мы видели здесь и четырехугольные, и овальные, и вытянувшиеся длинною волнистою линией. Везде чистота, и изящество работы было удивительное. Всюду каменные траверсы, рассчитанные так, что откуда бы ни был огонь, ни орудия, ни склады, ни люди не подверглись бы малейшей опасности... Из каждой амбразуры открывался обстрел дороги, лощины, гор. Амбразуры были прорезаны так, что полоса обстрела могла быть определяема произвольно. Насыпи башенных редутов — были сделаны в совершенстве.

— Лучше нельзя... Лучше нельзя... — повторял Скобелев. — Посмотрите, у них каждый форт имеет свою физиономию. Нет рутинных утвержденных чертежей. Простор частной инициативы талантливых инженеров полный!.. Посмотрите-ка на № 5-й... Он вытянут извилиной по узкому гребню горы... С одной стороны он обстреливает Марицу и ее берега, с другой — все эти оставленные и разоренные деревушки. Каждая извилина его даст новое направление огню...[1].

— Как можно сдать такие позиции... — злился Скобелев. — Знаете... Досадно, что Сулейман не занял их...

— Вот те и на...

— Вы меня не поняли... Я рад... Но инстинкты военного — совсем иное... У меня сейчас же вот явилось желание взять их боем... Какая слава!.. Взять штурмом такой редут — не то, что плевненский...

И воодушевившись, он начал уже располагать войска, указывать пункты, откуда бы он начал атаку, подступы, по которым бы повел ее, овраг, который бы дал ему возможность укрыть резервы и предпринять обходные движения...

— Они воображают, что этого редута нельзя разгромить артиллерийским огнем... А я бы вон там поставил дальнобойную батарею... Отсюда бы мог подходить тихою сапой... Рылся бы, рылся. Нос к носу стал, а там — первая удобная ночь — ура и в штыки...

И план за планом так и посыпались у Скобелева... Ничего, ни малейшей неровности местности, ни малейшего пригорка не упускал его зоркий, орлиный взгляд... Невозможное действительно становилось возможным и недоступное доступным.

— Верьте мне, при хороших войсках и опытных генералах и офицерах — нет неприступных крепостей... Гибралтар можно взять, не то что эти форты... Разумеется, если уверить себя, что этого вот нельзя — так и ум утратит силу... Прежде всего нужно иметь дерзость при знаниях и таланте — а остальное все приложится... Расчет и дерзость. Масса войска, превосходное вооружение, чудесную артиллерию... Вот видите лощина...

— Вижу.

— Вот этой лощиной я бы в тыл к ним пробрался и стал хозяйничать... Еще раз повторяю: нет неприступных позиций... Решительно нет. Бывают позиции, которые требуют слишком много жертв, так что овчинка не будет стоить выделки. Это верно. Но если уже говорить о принципе, так всякую позицию взять можно... При современном состоянии вооружения Измаил был совсем неприступен, а расчесал же Суворов турок и взял крепость!

---

[1] Я хорошо помню все подлинные выражения Скобелева, потому что тогда же внес их в свой «дневник корреспондента».

XII

Из Адрианополя Скобелев двинулся на Чатальджу.

— Если это этап, дневка, я готов помириться, но если после придется остановиться, не дойдя до Византии — то готов извериться во всем. Посмотрите, что это за чудная страна. Со времен Олега русские стремились сюда... Неужели же мы остановимся у цели?

И действительно, чудную страну проходили мы.

Стоял еще январь — а уже безоблачные, голубые небеса благоговейною тишиною веяли на еще не проснувшуюся землю.

Сады и рощи — стояли безлистные, но в воздухе уже изредка проносился тонкий аромат каких-то ранних цветов... Города и села поражали нас художественною пестротою. Тонкие минареты стройно рисовались в прозрачном воздухе, арки мечетей красиво изгибались над прохладными входами, за которыми густился загадочный мрак, едва-едва озаряемый маленькими лампочками турецких мечетей. Плоские кровли казались ступеньками каких-то чудовищных лестниц, разбегавшихся во все стороны. Ветер нес навстречу теплые волны иного, не нашего воздуха, немного ласкающего. По ночам откуда-то доносилась нервная, печальная, вздрагивающая песня мусульманского юга, и из-под низко опущенных покрывал, порою, женщины метали на нас то полные ненависти, то сверкавшие любопытством взгляды... Зеленые чалмы и халаты мулл, красные куртки албанцев, пестрые накидки молодежи, все это сливалось в какой-то яркий, красивый калейдоскоп... По вечерам, когда утихал гомон многоязычной толпы — издали доносилось меланхолическое роптание фонтанов... Кристальные струи, выбегая из желобов, проделанных в мраморных, золотою вязью покрытых, досках, падали в такие же мраморные водоемы. В одном месте, по пути, Скобелеву прислали букет неведомо как собранных цветов... Еще не пришла их пора, и таких в окрестностях не было.

— Откуда это?

— Благодарность... От турецких женщин...

— От каких турецких женщин? — изумился он.

— От женщин Казанлыка, Эски-Загры и Адрианополя... За то, что честь их не была нарушена, за то, что неприкосновенность гаремов свято соблюдалась вашими войсками!

«Совершенно напрасно, русские ведь с женщинами не воюют!..»

Скобелев, далеко не равнодушный к прелестям природы, восхищался этими местами по-своему.

— Какие позиции — восклицал он. — Вот где Турция должна была бы защищать свою неприкосновенность. Первая линия защиты — Дунай, вторая — Балканы, третья — малые Балканы и четвертая — здесь... Если бы у них было так организовано — долго еще война бы не кончилась...

По пути — он вел упорные споры с окружающими по совершенно отвлеченным вопросам, скакал в карьер и злился на возможность того, что дальше Чатальджи мы не двинемся.

Только что приехав в Чатальджу и получив приказание не двигаться дальше, он ночью, с одним ординарцем, отправился тайком на нейтральную полосу. Произвел рекогносцировку Гадем-Киойских позиций и всей местности, так что, не удайся перемирие, найди турки войска, чтобы поставить их здесь, — Скобелев уже имел понятие о том, как отбить эти позиции, как вести атаку на них... В то самое время, когда, глубоко веруя в ненужность дальнейших военных действий, все успокоились, полковник Гродеков вместе с генералом сняли планы этой линии и изучили все ее детали...

После Адрианополя — я уже мог любоваться только на Константинополь... На остальное не хотелось и смотреть. В памяти вставала все время чудная картина Эдирнэ, только каким я его видел в последнюю минуту, когда только что поднявшееся солнце облило розовым заревом своим мраморные мечети этой мусульманской Москвы... Точно окрашенные румянцем крови, висели над городом четыре грациозных минарета Селима... Вспоминались и серые силуэты башен Эски Серая, и развалины римской крепости... Тянуло опять назад...

Чатальджа в трех верстах от станции железной дороги. Отряд весь расположился кругом, в самом городе, дома тотчас же переполнились массою офицеров, штабов, канцелярий... Не прошло нескольких дней, предприимчивые греки и левантинцы открыли здесь бесчисленные кафе, еще немного погодя — чуть не в каждой улочке закрасовались рестораны, а еще спустя немного из Царьграда налетела сюда международная саранча — девицы легкого чтения, немки, француженки, итальянки, армянки, гречанки... Войска, натерпевшиеся от невольного поста в Болгарии и на Балканах — стали отводить душу вовсю. Червонцы тратились щедрою рукою, вино лилось повсюду, от генерала до прапорщика — всем жилось весело... Как вдруг, словно гром грянул над отрядом, разнеслась весть о перемирии.

— Неужели мы не займем Константинополя!.. — взволновался Скобелев.

Ему говорили о возможности коалиции... Он повторял свое.

— Слепому счастие служить... Мы не можем отступать. Это вопрос нашей народной чести... Мы не можем опустить своего знамени, мы можем подписать самый великодушный мир (пока великодушия я не понимаю), но подписать его в Византии!.. Не иначе. Это удовлетворение должно быть дано войскам. Следует занять Галлиполи — и ни одно английское судно не прорвется в Босфор... Теперь или никогда... Прав тот, кто владеет!.. Европа — не подымется. Она вся уйдет на брюзжанье и дипломатические угрозы!

— А если?

— А если... Вернее, что она только отхватит себе тоже клочок медвежьего ушка...

— Это невозможно... Я не верю, не хочу верить этому... Неужели нам — триумфаторам, старые девы дипломатии и публичные женщины биржи будут предписывать условия... Не может, не должно этого быть... Иначе — почти стыдно быть русским...

— Будьте уверены, что проигрывают всегда малодушные и уступчивые...

— Уступка эта крута. Начнешь сбегать — не остановишься, пока внизу не окажешься... А нам уступать теперь, после блестящего похода, после стольких пожертвований... Полноте!..

Торжество перемирия здесь не было торжеством!.. Ему не радовались. Не радовались покою, отдыху, безопасности... Здесь предпочли бы новые побоища, только чтобы дело было кончено с честью для России.

Демаркационная линия и нейтральная полоса — представлявшие собою совсем пустынную и безлюдную местность, тянули к себе Скобелева... Деревни, на расстоянии этих пятнадцати верст — были очищены. Ни одного часового, ни одного солдата на редутах и фортах, ни одной старухи в селах. Только одичавшие голодные псы — прятались в оставленных домах. А между тем турки могли смело гордиться укреплениями этой полосы. Даже адрианопольские уступали им...

Скобелев приходил в восторг от них...

— Вот бы этого строителя к нам... Это гений инженерного искусства!

Я слышал, что потом в Константинополе Скобелев познакомился с ним. Это оказался природный турок, Ахмет-паша, толстый, опухший, по-видимому, неподвижный... Полуграмотный турок — не знавший ни одного иностранного языка...

— Турки опередили в этом отношении даже европейское военное искусство. Они, в последние два столетия, вели только оборонительные войны. Было время научиться... С турецким Тотлебеном Скобелев сошелся отлично... Тот даже показал ему укрепления Константинополя и планы, еще имевшиеся в проекте.

— Как это удалось вам?

— А я подпоил его! Он, как и все турки, не совсем равнодушен к шампанскому!

Главный из фортов этой полосы, имевший позицию Санджак-Тепе, был срисован самим Скобелевым...

— Знаете, этим ключом ничего не отопрешь!

- Почему?

— А потому, что добраться до него трудно, нужно взять пять больших фортов. А займем Санджак-Тепе, окажется, что

этот ключ к замку не приходится вовсе, потому что за ним такие же ключи...

Скоро объяснилось, что приказание остановиться на пути к Константинополю и не идти далее было получено из Петербурга... Оно вовсе не следовало из главной квартиры действующей армии. Потом его объясняли изменившимися политическими условиями.

— Жаль, что государя нет здесь при войсках!.. — говорил Скобелев.

— Все равно. Дипломатия работала бы так же!

— Нет... Тут окружающая среда уравновесила бы влияние дипломатов...

— Им, ведь, все равно, дипломатам... У них своя наука, свои таинства... А у наших, сверх того, и отечества нет вовсе... Им главное, чтобы их считали не русскими варварами, а образованными европейцами. И ради этого они на все готовы... Вы их не знаете — я рос с ними. Все эти господа мои хорошие знакомые... Для них Россия — ноль. Нет более эгоистической среды, как эта... Оно понятно — иностранное воспитание, вечно жизнь за границей!

— Да ведь и вы воспитывались за границей!

— У Жирарде, да!.. Но вы знаете, каково было мое воспитание? Не слышали?

— Нет!

— Сначала у меня воспитатель был немец — несправедливый, грубый, подлый... Положительно подлый. Я ненавидел его, как только можно ненавидеть... С тех пор уже немцы были мне не по душе. Потом, как-то он ударил меня, тринадцатилетнего мальчика, при девочке, которая мне ужасно нравилась... Ударил без всякого повода с моей стороны. Я не помню, что я сделал... Вцепился в него и закостенел. А знаете ли, чему учил меня этот прохвост? Тому, что Германия для России все. Что все в России сделали немцы, что в будущем Россия или должна служить Германии, или погибнуть. Не было целого мира — была одна Германия... И ненавидел же я ее, от души ненавидел!..

— Это издавна у вас развивалось!

— Да!.. А потом отец прогнал немца, которого приставили ко мне, чтобы дисциплинировать меня, и который только ожесточил меня... Меня послали к Жирарде... в Париж. Вот противоположность-то! Я до сих пор люблю Жирарде, больше чем родных моих. Этот, напротив, учил меня любить родину, внушал, что выше отечества нет ничего на свете, говорил, что как бы ни было унижено оно — нужно с гордостью носить его имя... Это был *человек* в полном смысле этого слова... В полном! После грубых ругательств и побоев — я встретил мягкость, внимательность, деликатность. Мне если что и запрещали, то не с ветру, не потому, что так хотел воспитатель, а тотчас же

объясняли, почему нельзя. Я с ним свет увидел... Я глубоко благодарен этому человеку. Он меня заставил учиться. Внушил любовь к науке, к знанию... Вот в Петербурге или в Париже я с ним познакомлю вас...

Увы, познакомиться с этим благородным воспитателем гениального вождя пришлось при иных условиях! Над изголовьем мертвого, над недвижным уже лицом Михаила Дмитриевича — я увидел плачущего старика.

— Кто это? — спрашиваю.

— Жирарде! — отвечали мне...

И он пережил его... Он — больной старик, этого полного жизни и силы молодого человека!..

XIII

Нашу стоянку у Константинополя — долго не забудут войска скобелевского отряда.

Со дня на день ждали приказа — двинуться и занять Царьград. Турки уже очищали там свои казармы для наших войск... Население готовило цветы и флаги, христиане подняли головы, на азиатском берегу Босфора отделывали дворец для султана и то только на первые дни... По его повелению готовились объявить столицей Оттоманской Империи и его резиденцией Бруссу, до такой степени никто, даже с турецкой стороны, не допускал и мысли, что мы можем отступить от Константинополя. Ночью по узким улицам Стамбула, низко опустив свои капюшоны, ходили патрули, потому что само оттоманское правительство хотело удержать народ от могущих быть при вступлении русских или ввиду его беспорядков. Даже нашим врагам казалась дикою мысль остановиться у ворот столицы и не занять ее, хотя на время... На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудного, сказочного города, сверкавшего впереди под полным тишины и неги безоблачным небом. У самых ног наших с поэтическим шумом разбивались голубые волны Мраморного моря. Белый маяк гордо высился из его пенистой массы... Дальше, в лазоревом просторе, сияли полные невиданной до того роскоши острова Принцевы, далеко-далеко за Мармарой чуть мерещился азиатский берег своими снеговыми вершинами. Можно было бы подумать, что это серебряные облака, если бы они не были так неподвижны... А прямо на север раскидывалась Византия с ее бесчисленными мечетями и дворцами. Та Византия, о которой так мучительно, словно задыхаясь на безграничном просторе, столько веков мечтала отыскивающая выхода к южному морю Россия, та Византия, к которой, правы или не правы, но постоянно стремились лучшие люди славянского мира. Мы различали и беломраморные стены ее киосков, и тонкие минареты ее бесчис-

ленных джамий, и величавые купола Софии, Изеддина, Омара, Мурада, Баязида, вокруг которых легкими кружевами нависла резная из камня паутина... Десятки тысяч кровель и башен всползали на ее холмы и терялись в темных пятнах кипарисовых рощ, в зеленых облаках садов... Дивным сном каким-то казался этот Рим европейского востока, этот Рим славянства, за который пролилось так много слез и крови, так много, что, казалось, слейся вместе — они бы затопили его до самых верхушек мусульманских храмов, до самой башни Сераксериата и Галаты... По ночам — туда же обращались восторженные взгляды — мириады огней зажигались на этом берегу, точно какое-то легендарное чудовище лежало там у тихих, ласкающихся волн Босфора, сторожа его своими бесчисленными, пламенными очами... Мы постоянно ездили в Константинополь. Военные надевали, разумеется, штатские платья, представляя что-то, до такой степени нелепое, что при одном виде друг друга принимались неудержимо хохотать... Я уже жил в Grande Hotel de Luxembourg[1]... Раз утром, я еще был в постели — как кто-то постучал ко мне.

— Войдите!

Смотрю, Скобелев в штатском платье.

— Вот каким образом русские генералы должны появляться в завоеванном городе... Я, знаете, все-таки не верю... Мне кажется, что даже наша дипломатия, наконец, опомнится... Я со дня на день жду приказания вступить в Константинополь...

— Говорят, наши войска не готовы!

— Не знаю, чьи это наши. У меня под ружьем сорок тысяч. Я через три часа могу быть здесь... Позор, стыд!..

Как это ни странно, могу засвидетельствовать, что я в Св. Георгии (около Византии) видел, как Скобелев разрыдался, говоря о Константинополе, о том, что мы бесплодно теряем время и результаты целой войны, не занимая его.

— Теперь уже нельзя занять, после мира...

— Какой это мир!.. Разве такого мы вправе были ждать... Вы увидите, что ценою нашей крови мы дадим все врагам России и ничего не получим сами. Я предчувствую, что всё выиграют Австрия и враги славянства. Наконец, чего они стесняются? Я прямо предложил Великому князю самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали его... Я хотел это сделать, не предупреждая — но почем знать, какие виды и предположения есть. Может быть, это и так сбудется!..

Действительно, когда даже турки вокруг Константинополя возвели массы новых укреплений, Скобелев несколько раз делал примерные атаки и маневры, занимал эти укрепления, показывая

[1] Гранд-отеле «Люксембург» (*фр.*).

полную возможность овладеть ими без больших потерь. Раз таким образом он ворвался и занял ключ неприятельских позиций, с которых смотрели на него аскеры, ничего не предпринимавшие. Порою Скобелев тогда живее других чувствовал всю нелепость нашего великодушия или трусости — называйте, как хотите, живее потому, что лучше всех понимал, что действительную силу на всякого рода конгрессах нам может дать только обладание Константинополем.

— Я бы созвал сюда конгресс и сам бы председательствовал на нем. А вокруг триста тысяч штыков на всякий случай... Тогда бы и разговаривать можно!

— А если бы Европа пошла против нас?

— Бывают в истории моменты, когда нельзя, даже преступно быть благоразумными, т. е. слишком осторожными. Наша честь не позволяет нам отступиться. Нужно еще несколько столетий ждать, чтобы обстоятельства сложились так же выгодно, как теперь... Вы думаете, бульдоги полезут воевать с нами... Никогда. Они много, много, что сорвут куртаж, в виде клочка Сирии... Да, наконец, — теперь и рассуждать некогда. Мы здесь — это наше... И защищать это свое мы должны до последней капли крови...

— Вы же не думаете, чтобы теперь же Константинополь сделался русским городом!

— Я не дипломат... Я не знаю, почему бы ему не быть вольным городом с русским гарнизоном... А относительно коалиции — не так легко ее составить, как вы думаете. Во-первых, некому пока и невыгодно воевать с нами... Разумеется, если мы станем малодушничать, так до коалиции доплетемся. А пока я не вижу ее необходимости... Представьте, что бы сказала Европа, если бы ввиду ее требований, оскорбительных для нашей народной чести, государь обратился бы к своему народу...

— То есть, как?

— А так... Созвал бы своих и сказал: довел я русское дело до конца, теперь вся Европа на нас ополчается. Отдаю дело в ваши руки... Какой бы взрыв патриотизма последовал, какие бы невиданные силы явились... И не отступились ли бы сентиментальные девы европейской дипломатии от нашей народной воли, от нашей всенародной защиты своего противу всяких покушений...

Говоря, что он не дипломат, Скобелев был очень скромен. В Константинополе он так сумел сойтись с Лейярдом, что неведомо какими путями, но знал всю подноготную английских расчетов, надежд и происков. Лейярд — этот враг наш по преимуществу, души не чаял в Скобелеве, английская колония Константинополя носила его чуть не на руках... Он был кумиром даже женщин, принадлежащих к этой колонии. Они все были за него...

— Я должна сказать откровенно, что ненавижу русских! — встретила его одна из них, когда Скобелева знакомили с нею.

— А я — в красавице вижу только красавицу... И преклоняясь перед нею — не думаю, к какой нации она принадлежит! — ответил ей Скобелев.

Потом эта самая леди (очень влиятельная) бегала за ним как собачонка.

На завтраках у Скайлера, на обедах у Лейярда Скобелев знакомился с англичанами — и вывел одно:

— Они сами боятся, они сами не готовы к войне вовсе... Они, как азартные игроки, будут решительны, но только до решительного момента... Когда он настанет, они *на все* не пойдут...

В этот день, когда он посетил меня в Константинополе, он был особенно взволнован.

— Нам остается одно, — говорил он, — или перейти в разряд второстепенных держав и потерять все свое значение, или же — пойти на все... Иногда поражение не бывает так пагубно, так ужасно, как сознание своего унижения, своего бессилия... Вы знаете, если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем роль вассала перед Европой, то эта победоносная, в сущности, война гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь... Севастополь разбудил нас... 1878 год — заставит заснуть... А раз заснув, когда мы проснемся, знает один Аллах, да и тот никому не скажет!

— Скверно, скверно. Под Плевной лучше себя чувствовал я, чем теперь... Душно, выйдемте на улицу... Пойдем завтракать к Мак-Гахану!

Я оделся, мы вышли...

Не успели мы сделать нескольких шагов по Grande rue de Pera[1], как навстречу нам — что-то совсем необычайное по платью. Красная феска на голове, разорванный русский офицерский сюртук, сверху офицерское турецкое пальто. Скобелев даже забыл, что он представляет собою в данный момент мирного штатского.

— Это что, кто вы такой?..

— Пленный... русский.

— Не стыдно ли вам так одеваться... Не стыдно ли... Уж если выходите, то не надевали бы на себя неприятельского мундира... Срам!.. И это русские... — обернулся он ко мне, когда мы подходили к Hôtel d'Angletter[2], где стоял Мак-Гахан.

— А знаете... — немного спустя обернулся он ко мне: — может быть, ему бедному просто нечего надеть было... Я ужасно

---

[1] Проспекту Пера (*фр.*).
[2] Отелю «Англетер» (*фр.*).

каюсь в своей вспышке... Как залезешь в душу к пленному... Настрадался он здесь, поди... За что я его оборвал?

— Мне ужасно стыдно! — заговорил он опять, уже у Мак-Гахана. — Сделайте ради меня, о чем я вас попрошу! — обратился он ко мне.

— Что вам угодно?

— Сколько у нас у всех есть денег... У меня несколько золотых, этого мало. Впрочем, я еще займу у Мак-Гахана!

Взял у того столько же, сколько у меня или больше, не помню...

— Съездите в Сераскериат, где наши пленные, там их трое или четверо офицеров и несколько солдат, и передайте им это... — И он вручил мне пятьдесят полуимпериалов. — Главное, выразите им от меня сожаление... Скажите, что я извиняюсь... Вы это сумеете... — Я бы сделал это — но мне в Сераскериат показываться нельзя!

Я сел верхом на первую попавшуюся лошадь, которые на улицах Константинополя заменяют извозчиков, и поехал в турецкую часть города Стамбул. До Сераскериата — едва добрался. Массы войск собрались туда зачем-то... В Сераскериате обратился к чиновникам. Те сначала и ухом не повели, но, узнав, что я русский, моментально изменили свое обращение.

— Нужно разрешение от Реуф-паши, чтобы видеть пленных!

— А где Реуф?

— Уехал в Сан-Стефано к вашему главнокомандующему!

— Кто заведует пленными?

— Майор такой-то...

— Ведите меня к нему!

Толстый майор, неподвижный и флегматичный, даже и не слышал, кажется, что я ему говорю. Я повторил еще раз, та же история.

— Да говорит ли он по-французски? — оборачиваюсь я к провожатому.

— Нет!..

— Есть ли кто здесь, знающий этот язык?

— Есть, даже хорошо владеющий русским!

Позвали этого. Оказался из наших крымских татар. Теперь офицер.

Он изложил мое требование майору.

— Майор говорит, что нельзя!

— Передайте ему, что я отсюда не уйду до тех пор, пока не увижу пленных. Останусь здесь и днем, и ночью!

И в подтверждение своих слов я постарался принять на софе более удобное положение.

Мир-алай (майор) всколыхнулся немножко... Стал сосать свою трубку и с недоумением поглядывать на меня.

— Можете вы ему дать какой-нибудь пешкеш? — спросил у меня крымский татарин.

— Не дам и этого! — показал ему кончик ногтя...

Они заговорили между собою... Прошло несколько минут.

— Хорошо, он согласен вас пустить к пленным, но с условием, что я вас буду конвоировать и еще двое...

— Это мне все равно!

Два черкеса султанской гвардии повели меня в каземат, где были наши пленные.

В коридоре они мне указали одну дверь... Сами за мною не пошли.

Я застал там двух офицеров, одного из них именно того, которого так оборвал Скобелев.

Это был, кажется, казацкий хорунжий. Я передал поручение Скобелева и деньги... Вернулся...

— Ну, что... — нетерпеливо бросился ко мне Скобелев.

— Ничего... Отдал деньги...

— Обижен он... Вы извинились от меня...

— Да...

— А он-то, он?

Я успокоил Скобелева.

— Все-таки это непростительная выходка, что там ни говорите... Напишите мне, в виде записки, в каком виде вы застали пленных... Это позор, что до сих пор мы их не вытребовали... Хотя я не одобряю...

— Чего это?

— Как можно в плен сдаваться, офицеру...

— А что ж делать?

— Что делали на Шибке. В револьвере шесть патронов, пять в неприятеля, шестой в себя...

— А может быть, ему жить хочется...

— Тут принцип важен... Что жизнь... Нужно всегда быть готовым к смерти... Жизнь одного — ноль...

Спустя несколько дней Скобелеву пришлось разыграть довольно комическую роль.

Приехал он в Константинополь, остановился у меня.

— Пойдем вечером в Конкордию, там поют француженки...

— Едем?

— Ну, вот. Зачем обращать на себя общее внимание!

Мы отправились... Одна из этих интернациональных девиц пристала к Михаилу Дмитриевичу... Тот стал ее снабжать полуимпериалами, которые она тут же проигрывала в рулетку.

— А знаете... Очень приятно сознавать, что никто тебя здесь не знает... Быть в положении le bon bourgeois[1]... Я отдыхаю в

---

[1] Доброго, преуспевающего буржуа (*фр.*).

этом отношении здесь... Положительно в неизвестности есть доля хорошего...

В разговоре с француженкой он то и дело употреблял фразы: мы штатские...

Наконец, надоело... Сходим мы вниз по лестнице... Вдруг интернациональная девица догоняет нас сверху.

— У меня к вам просьба!.. — начинает она.

— Какая?..

— Позвольте с нашей труппой приехать к вам и дать несколько концертов...

— Это куда же ко мне? За кого вы меня принимаете?

— О, mon general... Мы все вас знаем... Вы — генерал Скобелев, ак-паша!

— Мы, кажется, разыграли сцену из «Птичек певчих», — обратился ко мне Скобелев. — Вот тебе и вся прелесть инкогнито!

На безделье, как и всегда у него, впрочем, уходило мало времени. С утра до ночи он со своими офицерами рекогносцировал позиции вокруг Константинополя, объезжал свои войска, делал маневры, примерные атаки, занимался организацией несколько растрепанных в походах полков и, спустя самый непродолжительный срок, довел их опять до блестящего состояния. Потом, когда все кругом болело тифом и лихорадками, — один скобелевский отряд не давал ничего лазаретам... Стоило только где-нибудь показаться болезни, чтобы Скобелев сейчас же появлялся там, поднимал врачей и ставил на ноги весь медицинский персонал. Места расположения его солдат — всегда были образцом по тому порядку, который царствовал в них. Все было предусмотрено. Совершенно оправившиеся люди готовы были опять к дальнейшим подвигам.

— Нельзя успокаиваться, господа... Будет время отдыхать потом... А теперь зорко смотрите вокруг!

Между прочим, тогда же я слышал одну очень меткую фразу.

— Что делает Скобелев? — спрашиваю у какого-то солдата.

— А ен, как кот округ мышеловки, у этого самого Константинополя ходит... То лапкой его пощупает, то так потрется...

— Я очень боюсь одного... — говорил один из влиятельных в армии генералов.

— Чего?

— Да как бы Скобелев нам бенефиса не устроил!

— Какого это?

— Да в одно прекрасное утро проснемся мы и узнаем, что Скобелев залез ночью в Константинополь, со всем своим отрядом!

По отношению к этому даже разгул константинопольский принес ему известную пользу.

Я потом видел его кроки и записки, где были означены все улицы, которыми надо было идти в Стамбул, намечены пункты для разных боевых операций... Короче, гуляя по Константинополю якобы для собственного удовольствия, он его изучил так, что начнись бой на его улицах — Скобелев сумел бы воспользоваться каждою их извилиной, каждым их закоулком...

— Он ничего мимо ушей и глаз не пропустит! — говорили о нем после...

И действительно — ничего не пропускал.

Он так любил знать, что делается кругом, быть всегда настороже всякого рода событий, знать, с кем имеет дело, что не прошло двух недель, как он уже дотла изучил весь Константинополь. Все его партии, мусульманские кружки, глухой протест поселившихся там черкесов, сплоченную силу улемов, незаметное каждый раз нарастание и наслоение новых начал в населении этого восточного города, чиновников блистательной порты, военных Сераксериата. Казалось, что он собирается быть турецким министром — до того точны и обстоятельны были его сведения. Редакции Бассирета и Вакита, французских, английских и итальянских газет, издававшихся там, греческих писателей, живущих в Византии, купцов — все и всех уже знал Скобелев, их взгляды, со всеми их мечтами, программами...

— Зачем это вам? — спрашивали его.

— Такая привычка... Я везде люблю быть дома... Терпеть не могу пробелов и недомолвок...

Я уже выше говорил, что быть при нем офицеру — значило учиться. Нигде справедливость этого так не подтверждалась, как в Константинополе. Туда офицеров, молодежь отпускали обыкновенно на два, на три дня — кутнуть на просторе и затем вернуться на работу... Беда была, если такой отдыхающий, вернувшись, не привезет с собой каких-нибудь полезных сведений.

— Вас, душенька, и отпускать не стоит... Ничем-то вы воспользоваться не сумеете...

— Он у вас удивительный! — говорил о Скобелеве один грек, кажется, Варварци...

— Почему это?

— Я у него вчера был... Случайно зашла речь о чисто хозяйственных интересах города, оказалось, что он их знает, понимает... Я совсем потерялся, когда он начал говорить мне о проектах водопровода, поданных нашими греками, о новом мосте вместо галатского, который мы хотим строить... Я даже спросил его, не жил ли он прежде в Константинополе...

Один из стамбульских улемов, бывший в Георгии — выразился так же.

— Ак-паша мог бы быть хорошим мусульманином!

— Отчего?

— Он Коран знает!

И не только знал, но и цитировал его зачастую...

В Скобелеве в это время уже сказывались замечательные черты характера. Один из военных, которые обладают незавидною способностью лазить без мыла в глотку, — сошелся с ним в Константинополе. Генералу он очень понравился, потому что это обстоятельство не мешало оному быть храбрым человеком и остроумным собеседником. Завтракая в Hôtel Angletter, он как будто нечаянно начал передавать Скобелеву всевозможные сплетни...

— Вы знаете, генерал, вы бы остановили своих рыцарей!

— Каких это моих рыцарей?

— Офицериков, близких к вам!

— В чем я их должен останавливать?

— Во-первых, они здесь кутят...

— А мы с вами, полковник, что теперь делаем?..

— Какое же сравнение!..

— Нам, значит, можно, потому что у нас есть деньги на шампанское, а им нельзя, потому что у них хватает только на коньяк?

— Ну, и еще за ними водится грешок!

— Какой?

— Они вовсе вам не так преданы, как вы думаете!

— Ну, уж это вы напрасно... Я их всех хорошо знаю!

— Да вот-с, не угодно ли, один из них про вас рассказывал...

И началось самое бесцеремонное перемывание грязного белья...

— А теперь я назову вам фамилию этого человека...

Но Скобелев в это мгновение схватил того за руку...

— Пожалуйста — ни одного слова больше и, ради Бога, — без фамилий... Я слишком люблю своих рыцарей, слишком обязан им, слишком. Всю кампанию они по одному приказанию моему шли на смерть... Я не хочу знать — кто это говорил, потому что не желаю быть несправедливым. Поневоле такая несправедливость может прорваться когда-нибудь в отношены к человеку, повинному только в том, что под влиянием стакана вина он разоткровенничался при человеке, не заслужившем такой откровенности...

И Скобелев тоном голоса нарочно подчеркнул эту фразу.

— Да-с... Не заслуживавшем!

Когда завтрак кончился и полковник откланялся, Скобелев позвал человека.

— Заметил ты лицо этого господина?

— Точно так-с!

— Помни, что для него меня никогда нет дома!

Занимая уже довольно высокий пост, он не раз сталкивался с людьми, которые старались выиграть в его мнении и выдвинуться вперед, унижая своих товарищей...

— Я их слушаю поневоле, ушей не заткнешь, — говорил Скобелев, — но в уме своем, в графе против их фамилии ставлю аттестацию «подлец и дурак». Подлец потому, что клевещет про других и, главное, про своих товарищей, дурак — потому, что передает мне это, точно у меня у самого нет глаз во лбу, точно я не умею отличить порядочного человека от негодяя...

Один из его подчиненных очень нуждался в то время; Скобелев хотел ему помочь и не знал как. Призывает, наконец, того и говорит: «Вам присланы деньги из России... Вот они» — и придвигает горсть золота... Тот, разумеется, схватился за нее, даже не спросив, от кого. Проходит несколько времени, он является опять к Скобелеву.

— Что вам?

— Я пришел узнать, не прислали ли мне еще денег из России?

— Прислали... Я забыл отдать вам... Вот они...

Потом этот франт отблагодарил по-своему Скобелева, обокрав его...

В следующий раз он поручил ведение своего хозяйства офицеру. Тот недели в две накатал ему счет тысяч в пять, шесть.

— Это невозможно... Прикажете проверить? — спросили у него.

— Ни под каким видом. Вина прежде всего моя — потому что я его назначил сам... Заплатить и ни слова об этом. Разумеется, вперед ему денежных поручений не давайте никаких. Это раз... Если бы это были деньги общественные или чужие — другое дело... Немного погодя я найду, что ему не к лицу моя дивизия, и он сам уберется из нее!

Расставался со своими он вообще неохотно и долго не прощал тем, кто оставлял его сам...

— Я люблю N. N., он храбрый человек, полезный, только я не возьму его к себе!

— Отчего?

— Он меня оставил... Это было сделано не по-товарищески...

О тех же, которые меняли свой мундир на полицейский, Скобелев потом и слышать не мог.

— Не говорите мне о них... Храбрый боевой офицер — и так кончить!..

Когда у него просили за них, он обрывал прямо:

— Ни слова, господа... Вперед говорю, ничего не сделаю... Он с голоду не умирал... Я этого рода оружия терпеть не могу, вы сами это знаете!

Один из таких явился к нему и, «рыдая», начал рассказывать обо всех условиях своей новой службы.

— Жаль мне вас...

— Примите меня опять к себе...

— Ну, уж это извините... За что же я буду оскорблять своих офицеров?.. Я вам дам один совет — выходите в отставку...

В Константинополе и под ним шли у него нескончаемые споры...

Начиналась эпоха берлинского конгресса, уступок, дипломатических подвохов... Скобелев мучился, злился... Он не спал целые ночи.

— Что будет с Россией, что будет с Россией, если она отдаст все!.. И даже не все, если отдаст часть, уступит хоть кроху из сделанного ею... Зачем тогда была эта война и все ее жертвы!..

Я помню последний вечер, в который я видел его.

Мы сидели на балконе дома, в Сан-Стефано... Прямо перед нами уходили в лазоревый сумрак далей ласковые, полные неги волны Босфора... Точно женщина, с мелодическим шепотом текли они к тихому берегу... У пристани едва-едва колыхались лодки... На горизонте серебряные вершины малоазиатского Олимпа прорезывали ночную темень... Зашел разговор о будущности славян. Скобелев, разумеется, стоял за объединение племен малых в большие...

— Никогда ни серб, ни чех не уступят своей независимости и свободы за честь принадлежать России!

— Да об этом никто и не думает... Напротив, я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого — одно только общее — войска, монета и таможенная система. В остальном живи, как хочешь, и управляйся внутри у себя, как можешь... А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне... К тому же времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее их... Уж и теперь вольный воздух широко льется в нее, погодите... Разумеется, мы все потеряем, если останемся в прежних условиях... Племена и народы не знают платонической любви... Этак они сгруппируются вокруг Австрии и вместе с нею оснуют южнославянскую монархию... Тогда мы пропадем!

— Почему же?

— Потому, что при помощи Австрии католичество широко разольется у них... Оно захватит все и всех, и в первом спорном вопросе славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная война торжеством всякой немецкой челяди... Но это невозможно и невозможно... Если мы запремся, да от всех принципов новой государственной жизни стеной заслонимся — дело плохо... На это хватит у нас государственной мудрости... А пока наше призвание охранять их, именно их... Без этого — мы сами уйдем в животы, в непосредственность, потеряем свой исторический raison d'être![1]

---

[1] Смысл (*фр.*).

— Мой символ краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство!.. На этих четырех китах мы построим такую политическую силу, что нам не будут страшны ни враги, ни друзья. И нечего думать о брюхе; ради этих великих целей — принесем все жертвы... Если нам плохо живется, потомкам лучше будет, гораздо лучше!

Мы замолчали...

Волны, как ночь, становились темнее, громче и громче ластились к берегам... Двурогий месяц прорезался на горизонте, тихий, красивый...

— Да, у него хорошо сказалось это! — проговорил Скобелев, точно про себя.

— Что, у кого?

— У Хомякова... Пришло на память его... Помните его орла?

Лети, но в горнем мори света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь!..

Совсем тихо начал он, но чем дальше, тем голос его все креп и креп.

На степь полуденного края,
На дальний запад оглянись:
Их много там, где брег Дуная,
Где Альпы тучей обвились,
В ущельях скал, в Карпатах темных,
В Балканских дебрях и лесах,
В сетях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях!
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой...
О, вспомни их, орел полночи!
Пошли им громкий свой привет!..
Пусть их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет!..
Питай их пищей сил духовных,
Питай надеждой лучших дней,
И хлад сердец единокровных
Любовью жаркою согрей!..
Их час придет! Окрепнут крылья,
Младые когти подрастут,
Вскричат орлы и цепь насилья
Железным клювом расклюют...

И это будет!.. Будет непременно!

— Когда? — несколько скептически переспросил я.

— А вот когда у нас будет настолько много «пищи сил духовных», что мы будем в состоянии поделиться с ними ею;

а во-вторых, когда «свободы нашей яркий свет» действительно будет ярок и целому миру ведом...

— А до тех пор?

— А до тех пор надеяться, верить, не опускать голову и не терять своего сродства с народом, сознания своей национальности!

В это время издали, с моря, послышалась вдохновенная песня, смелыми взмахами своих крыл уносившаяся в это темное южное небо, с его яркими звездами... Пело ее несколько голосов... Видимо, певцы были одушевлены, видимо, всех их соединяло что-то общее...

— Вы знаете, что это поют они? — спросил Скобелев.

— Нет!

— Я тоже не знал. Но спросил, мне сказали... Слышу уж не в первый раз... Это греки, молодые греки из константинопольских лавок. Торгаши, а поют о будущей славе эллинов, о всемирном могуществе Греции — о том, что и это море, и этот вечный город будут принадлежать им, о том, что все народы придут и поклонятся им, и даст им новая Греция, этим новым варварам, свет науки, сладость мира и величие свободы... Вот о чем поет маленькая, совсем крошечная Греция, эта инфузория Европы... И посмотрите, с каким увлечением, силой и страстью!.. А мы!.. Эх, скверно делается даже...

Вскоре я должен был уехать в Россию. Скобелев прощался со мною у себя в отряде... Я оставил его тогда сильного, здорового, бодрого...

Он еще складывался. Он не был велик, но уже в нем являлись задатки великого вождя... За год войны он стал гораздо серьезнее. Многое увидал и многому научился.

— Чего вам послать из Питера?..

— Книг, книг и книг... Все, что за это время было выдающегося и талантливого... Большего удовольствия вы мне не можете сделать...

Я вывез с собою несколько восторженное удивление к этой богато одаренной натуре и все, что я слышал потом о действиях Скобелева, все, о чем он писал мне, только питало это чувство. В эпоху общего недовольства, когда все, под влиянием берлинского конгресса и малодушия нашей дипломатии, опускали руки и вешали головы, когда будущее заволакивалось тучами и последние лучи солнца бесследно пропадали в их мглистом сумраке, Скобелев не потерял своей энергии, ни жажды дела. Напротив, он, как солдат, стоял на своем посту. Когда жены мироносицы дипломатии расчленили Болгарию — Скобелев сейчас же занялся там организацией гимнастических союзов, вольных дружин, общин стрелков... Он сам учил их ратному делу, неутомимо бросался из одного города в другой, в одном делал им смотры, назначал им для обучения своих офицеров,

в другом заставлял рыть укрепления, приучал окапываться, сажал своих солдат за валы этих траншей и редутов и по нескольку дней производил с болгарами маневры, приучая их брать такие укрепления; потом он сажал туда болгар и, командуя ими, приказывал русским солдатам нападать, а сам с болгарами отбивался от них. В антрактах он мирил сербов с болгарами, воодушевлял румелийцев одушевленными речами; обладая удивительною способностью кратко и метко формулировать целые понятия в одну энергическую фразу, вводил в сознание народа убеждение его кровного родства с теми или другими славянскими племенами... умел поднять в них дух и, главное, делиться с ними тою жизненностью, которая ключом била в нем самом... «Вы там совсем растерялись, — писал он мне в Петербург, — до того запутались, что и разобраться не можете, а мы тут не теряем времени и замазываем бреши, пробитые берлинским конгрессом... Если мы и оставляем им Болгарию расчлененной, четвертованной, то зато оставляем в болгарах такое глубокое сознание своего сродства, такое убеждение в необходимости рано или поздно слиться, что все эти господа скоро восчувствуют, сколь их усилия были недостаточны. А вдобавок к этому оставим мы в так называемой Румелии еще тысяч тридцать хорошо обученных народных войск... Эти к оружию привыкли и научат при случае остальных. Все эти гимнастические дружества и союзы, разумеется, могут быть разогнаны, но они свое дело сделают и при первой необходимости всплывут наверх... Приедете, увидите сами!..»

— Вы знаете, кто меня научил не терять бодрости и не опускать рук? — говорил он впоследствии.

— Кто?

— Паук!

— Как паук?..

— Да так... Гулял я раз, вижу паутину, взял я да и снял ее прочь... Вы думаете, паук растерялся? Нет, забегал по уцелевшим нитям и давай опять работать живо, живо... Без всякого антракта... На другой день — я иду, на этом же месте новая паутина, только гораздо лучше укрепленная... Вот вам пример!..

Таким образом, Скобелев оставил по себе в Болгарии — такую память, какую удается редким...

— Когда нам нужно будет восстать — он явится к нам... Он поведет и нас, и сербов, и черногорцев... И тогда горе будет швабам!

Это мог сказать всякий мальчишка в Румелии.

— Он сумеет сплотить и научить нас!

И за ним, действительно, пошел бы весь южнославянский мир... Представляю себе, какое ужасное впечатление там произвела эта нежданная смерть!.. Как там рыдали и молились за него...

В первый же день после его смерти выхожу я из гостиницы Дюссо...

На улице бросается ко мне Станишев — образованный болгарин... Он схватил меня за руку и зарыдал...

— Мы все потеряли в нем, все... Он был нашей надеждой, он был нашим будущим...

Не успел я сделать несколько шагов, как меня обступили другие, живущие в Москве болгары...

— Вы видели его, неужели он, он умер...

Едва ли по ком-нибудь лились такие искренние слезы...

— Болгария плачет теперь, как осиротелая мать над единственным своим сыном!

Уже в Петербурге я получил телеграмму из Тырнова. «Правда ли, что наш Скобелев умер... Весь город в слезах, в каждом доме стенания... Крестьяне толпой идут из Самовод и других сел убедиться в этом народном несчастии... Из горной деревушки Рыш — прислали ко мне депутата узнать... Женщины и дети — в слезах... В церквах за него молятся... Долго не будет у славянства такого героя!..»

И еще бессмысленнее казалась эта смерть, еще ужаснее...

Я возвратился к нему, стал над ним, всматривался в это покойное, неподвижное лицо, допытывался, зачем ушел он, он, до такой степени необходимый, дорогой. Кругом к вечерней панихиде устанавливали комнату цветами и деревьями, явились лавровые венки, приподымали эту беспробудную голову, декорируя ее розами... В углу монахиня читала псалтырь... Пахло ладаном...

И эта рука, пугавшая целый мир, бессильно сложена теперь на груди... В кровавом блеске сражений она уже не укажет торжествующим легионам врага, этот громкий голос, сзывающий орлят, стих в разбитой и не подымающейся больше груди... зоркий взгляд застыл и только тускло слезится из-под опущенных ресниц.

— Знаете, мне кажется, это сон какой-то! — шепчет рядом кто-то. — Сон, мы проснемся — и все это выйдет чепухой...

Ввели двух часовых, поставили над телом.

Один из них — смотрел-смотрел на это безжизненное лицо... Плакать не смеет — на часах, а слезы так и падают по щекам на бороду... И смахнуть их нельзя!..

XIV

После войны я долго не видал Скобелева... Он в это время уж совсем определился, и наши убеждения далеко разошлись. В его письмах, очень редких, он так же резко и бесповоротно ставил вопросы и так же удачно очерчивал людей и события, как и прежде... Корпусом своим он был доволен, но обстановка

мирной и спокойной деятельности оказывалась ему не по душе. По возвращении из Болгарии — он писал: «Теперь я могу с чистой совестью отдохнуть, да и пора. Силы разбились несколько. Съезжу в Париж, отведу душу...» А через два месяца: «Эта будничная жизнь тяготит. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Совсем нет ощущений... У нас все замерло... Опять мы начинаем переливать из пустого в порожнее. Угасло недавнее возбуждение, да и как его требовать от людей, переживших позор берлинского конгресса. Теперь пока нам лучше всего молчать — осрамились вконец!..» Тем не менее он крайне интересовался всем, читал и работал, стал изучать Пруссию и, съездив туда на маневры, успел настолько ознакомиться с германскою армией, что наши добрые соседи уже и тогда были сим несколько обеспокоены. Из своих бесед с берлинскими генералами, из знакомства с прусскою армией Скобелев вынес глубокое убеждение, что там — серьезно готовятся к войне с нами...

— Мы опять разыграем роль глупой евангельской девы... Опять война застанет нас врасплох!

И он начал самым деятельным образом готовиться к ней. Едва ли была хоть одна брошюра по военным вопросам Германии, которая бы не прочитывалась им, их военные журналы тоже... Он изучал страну вдоль и поперек, объехал всю границу и, не отдыхая на лаврах, продолжал упорно работать, работать и работать...

— Теперь такое время — на часах надо стоять... Недаром меня солдаты кочетом называли; сторожить приходится, чуть опасность — крикнуть в пору!

Он тогда же подметил то, что пруссаки хотели скрыть новую роль кавалерии, подготовленную ими для будущей войны. Скобелев с быстротой, поистине гениальной, схватил это и целиком перенес к себе, развив и видоизменив многое по собственному соображению. Немцев он понимал, как никто. Дружбе их он и прежде не верил, на благодарность их не рассчитывал вовсе. Царство Польское, со всеми его боевыми позициями, было изучено им с такою подробностью, что записки его по этому предмету должны быть необходимым материалом для будущих наших генералов при случае. Он разрабатывал и тогда уже план войны с честными маклерами и добрыми нашими союзниками. Я здесь, разумеется, не вправе говорить об этом плане... По остроумному выражению М. Е. Салтыкова (Щедрина), через двадцать лет мы прочтем о нем в «Русской Старине» у г. Семевского. Встретившись с ним, наконец, я застал его таким же возбужденным, полным энергии, каким привык видеть и прежде... Он приехал в Петербург, похоронив отца...

— Я к крайнему своему удивлению оказался богатым человеком!.. И рад этому!

— Еще бы!

— И не за себя. Теперь моим боевым товарищам помогать стану... Я думаю отставных солдат селить у себя. Дам им какие-нибудь занятия, чтобы они не думали, что едят хлеб даром... А умру — село Спасское по завещанию обращу в инвалидный дом...

— Что так рано умереть собираетесь?

— Да ведь вот отец... За день до смерти с вами спорил; все под Богом ходим... В одном я убежден, что умру не сам... Не вследствие естественных причин...

— Ну вот!

— Есть не одни предчувствия на это!.. Ну, да что толковать...

Немного спустя начались переговоры с ним о назначении его в Ахал-Текке.

Он сам хотел и добивался этого. Во-первых, боевая жизнь была ему по вкусу, а во-вторых, по тому высказывавшемуся им глубокому убеждению, что в степях Текке отчасти решался восточный вопрос...

— Тут связь большая. Чем больше у нас будет обаяния на востоке — тем лучше... Трудно только поправлять дела после всех этих гениев. Притом, вы не знаете кавказской администрации...

— Нет!

— А я ее знаю, она с женской ревностью относится ко всему... Скорей мешать будет мне, чем поможет...

Приготовления к этой экспедиции шли у него с лихорадочною быстротою. Только что приехав из военного совета, он садился, писал записки по разным деталям этого предприятия, входил в сношения с целою массой лиц, которым поручалось то или другое дело, обдумывал и предупреждал разные подготовлявшиеся ему «дружеские услуги» разных благоприятелей. Близкие к нему люди в это время с ног сбились. На Моховой, в доме Дивова, образовалась маленькая главная квартира. Тогда еще полковник Гродеков, главнейший сотрудник Скобелева, а также Баранок и другие его адъютанты ходили какие-то ошалелые, бледные, истощенные.

— Отдыхать некогда... Некогда, господа, за дело!..

— Когда он спит — Бог его знает... У нас руки отваливаются... — говорили они.

С утра до ночи в приемной у него толпились военные, или ожидавшие назначения, или уже получившие его... Ближайшие его сотрудники съехались уже... Остальных, как, например, капитана Маслова, он сам звал к себе.

— Трудное дело, страшно трудное! — то и дело повторял он. — Много войск взять нельзя, и без того эти разбойники дорого стоят России; а если не покончить с ними, сейчас же все наши туркестанские владения на волоске будут... Сверх того, мы уже и предварительно истратили пропасть!.. А там

еще интендантство это. Если я получу назначение — я сейчас же начну с того, что всю хозяйственную часть армии передам людям, которых я знаю, а интендантов отправлю обратно на кавказский берег... Там у них, знаете, на каждый казенный ремешок по пяти чиновников приставлено. Войска превосходные — но их не умели вести!

Нужно сказать правду, что и кавказская администрация особенно нежных чувств к Скобелеву не питала. Нам рассказывали, что некоторые даже у себя панихиды служить отклонились по покойнику. Помилуйте, в эту тишь да гладь — вдруг ворвался такой беспокойный и деятельный человек...

— Ну, ему там тоже приготовляют встречу... — говорили мне.

— Ничего не поделают...

— Ну, как сказать... У нас там такие свистуны есть!..

Скобелев прекрасно знал это и готовился ко всякой случайности...

— Они из Ахал-Текке хотели себе маленький Дагестан сделать!

— Как это?

— Так, на десятки лет раскладут это дело. Все, кому нужны чины, ордена — отправлялись бы туда, делали набеги и опять уходили. Армяне-подрядчики крали бы себе в карманы казенные миллионы. К услугам всех этих людей являлись бы и стихии, и тифы всякие... А графа государственного расхода из года в год все росла бы и росла. Ведь на Кавказе, знаете ли, все они, эти чиновники, голодные. И плодущие же. У них семьи не по кошельку. Детьми их Господь благословляет, ну, все это и выкармливается на казенных харчах. Ну, а я уже слуга покорный, я солдата грабить не позволю... Этого у меня не будет...

— Найдут средства и при новых порядках красть!

— Посмотрим... Я ведь церемониться не стану. Беспощадно расстреливать начну за это. Тут доброта — хуже жестокости. Будешь добр к этим отцам семейства — у тебя войско от тифа вымрет, да десятки миллионов народных денег без толку уйдут... А это, знаете, просто: сегодня судил военно-полевым судом, а завтра расстрелял... Ан другим-то и неповадно!..

XV

Ахалтекинская экспедиция М. Д. Скобелева — известна всем. Тут уже это никто не мог выдумать, он сделал ее без корреспондентов, и его друзья не могут ссылаться на то, что подвиги молодого генерала преувеличены были этими якобы покладистыми людьми. Все время в Петербурге и Москве распространялись о нем и о судьбе его отряда самые преувеличенные слухи, так что штурм текинской крепости и завоевание самого

оазиса были для всех полною неожиданностью... Тот, кто хочет ближе познакомиться с этим периодом деятельности Скобелева, — может обратиться к книге одного из ближайших его сотрудников и личных друзей А. Н. Маслова «Завоевание Ахал-Текке». Это превосходный дневник участника экспедиции, в живых и талантливых очерках рисует и стратегические планы Скобелева, и его личную жизнь, и быт отряда в золотых песках прикаспийской пустыни. Серьезная книга, поэтому читается с интересом романа, и незаметно фигура генерала выделяется из нее полною жизни, со всеми характерными особенностями... Михаил Дмитриевич — живым человеком выдвигается из деталей этого дневника. А. Н. Маслов — бывший свидетелем хивинского и ферганского походов Скобелева, по целым месяцам гостивший у него в Спасском и переписывавшийся с покойным, лучше, чем кто-нибудь, знал эту сложную, интересную личность народного богатыря, легендарного витязя современной России... Он пишет свои воспоминания о нем, и я заранее приветствую эти записки... В ней выскажется много упущенного мною, а при художественном таланте ее автора она будет ценным вкладом в нашу историческую литературу.

После Ахалтекинской экспедиции я встретился со Скобелевым случайно.

Я не знал, что он в Петербурге. Вечером — на улице он окликнул меня.

— Отчего же вы не приехали ко мне, в Ахал-Текке?

— Да ведь вам же первым условием поставили — отсутствие корреспондентов!

— Все равно... Помните, что я вам ответил в Журжеве?

— Что?

— «А вы не спрашивайтесь»... А вас ждали в отряде, было много из ваших старых боевых товарищей...

Я в этот раз, всмотревшись в Скобелева, увидел в нем громадную перемену.

Видимо — заботы по командованию экспедицией не прошли для него даром.

Он осунулся, обрюзг... На лбу прорезались морщины, между бровями легла какая-то складка... В глазах — была та же решительность, та же энергия в лице, но от всего Скобелева веяло чем-то только что пережитым, печальным... Я разговорился с ним...

— На меня произвела такое влияние не сама экспедиция... Хоть были ужасные моменты. Войск мало, неприятель силен... Ну, да это что! Не таких бивали!.. Смерть матери — вот что меня в сердце ударило... Я долго себе представлял ее зарезанною... И кем же, человеком, всем обязанным мне, решительно всем!.. Я был первые дни после того как потерянный!.. И до сих пор еще она стоит передо мною... Точно зовет

меня... И знаете, мне кажется, что и самому-то осталось не долго жить...

— Полноте, в 37 лет!..

— Да... Слишком много горючего материала кругом... Слишком много... И столько разных благоприятелей — что не совладать с ними... Открытый враг не страшен... Впрочем — отдохнув в Париже, успокоюсь...

Как Скобелев отдохнул в Париже, всем известн .. Эта натура не знала отдыха и не понимала его...

После его парижской речи — мы опять не виделись долго, очень долго... Только за несколько недель до его смерти я встретил генерала в Москве... И это было наше последнее свидание. Я его нашел в «Славянском базаре», опять совсем оправившимся, здоровым, сильным, веселым... Когда я выразил это — он рассмеялся.

— Я всегда так, когда дела много, крепну... Так и теперь... Занятий у меня по горло, готовлюсь к крупному делу... И сверх того, немцы доставляют мне много, очень много удовольствия!

— Каким образом?

— Очень уж шнельклопсы[1] разозлились на меня... То какой-нибудь унтер-офицер вызывает меня на дуэль, то сентиментальная берлинская вдова посылает мне проповедь о сладостях дружбы и мира, то изобретатель особенного намордника для собак назовет его Скобелевым и обязательно сообщает об этом, то юмористические журналы их изображают меня в том или другом гнусном виде... Я знаю, вы были против моей парижской речи... Но я сказал ее по своему убеждению и не каюсь... Слишком мы уж малодушничаем. И поверьте, что если бы мы заговорили таким языком, то Европа, несомненно, с большим вниманием относилась бы к нам... Наши добрые соседи — тоже, пока мы поем в минорном тоне, являются требовательными и наглыми, как почувствовавший свою силу лакей; но когда мы твердо ставим свое требование, они живо поджимают хвосты и начинают обнаруживать похвальную скромность!.. Я не враг России... Больше, чем кто-нибудь, я знаю ужасы войны; но бывают моменты в государственной жизни, когда известный народ должен все ставить на карту... И поверьте, эти господа не рискнут на войну с нами. Они ловко пользуются нашими страхами, забирают нас в руки, показывая одно пугало за другим, но как только мы, в свою очередь, им покажем когти, они первые в кусты... Только, знаете, надо показывать когти-то разом и решительней... Чтобы они чувствовали!

И тут же он мне передал целый ряд событий и встреч в России и за границей, которые, к сожалению, по обстоятельствам, не зависящим от меня, не могут быть помещены в эту книгу...

---

[1] Тефтельки быстрого приготовления (*нем.*).

Немного спустя пришли к нему Лодыженский и Хлудов... Мы сели завтракать. Пошли разговоры о нынешнем положении России, тягостном и в экономическом, и в нравственном отношении... Видимо, что это живо волновало Скобелева, и он тут же делал несколько метких определений и характеристик государственных деятелей, с которыми в настоящее время приходится иметь дело нашему отечеству... Результаты беседы вышли в высшей степени не утешительны...

— А все-таки будущее наше... Мы переживем и эту эпоху... Хватит сил... Слава Богу — не рухнет от этого Россия...

И мало-помалу оживляясь — он начал читать наизусть стихи Тютчева и Хомякова... Читал он их великолепно, придавая каждому поэтическому образу особенный блеск и колорит, каждой фразе более сильное выражение... Наконец, не выдержал, увлекся, пошел к себе наверх и принес оттуда только что вышедшие новые издания этих поэтов, присланные ему Аксаковым...

— Я не надоел вам?..

— Напротив...

Зашел разговор о печати — и Скобелев высказался вполне за ее свободу.

— Я не знаю, почему ее так боятся. За последнее время — она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, все злоупотребления были указаны ею именно. Я понимаю, что то или другое правительственное лицо имеет повод бояться печати, ненавидеть ее. Это так; но почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думают о том, как бы ее ограничить? Если хотите, при известном положении общества печать — это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи — уходит в нее... У нас даже писатели только и говорят, что об ограничении того или другого литературного исправления; мне кажется, что и со стороны консерваторов это не совсем ловко. Нельзя же, в самом деле, запретить высказываться всем, кто не согласен со мною. Для власти, если хотите, свободная печать — ключ. Через нее она знает все, имеет понятие обо всех партиях, наперечет видит своих врагов и друзей. В Швеции вот, например, судят воров специальные суды, а суд присяжных ведает печатью. У нас, напротив, грабители и хищники пользуются благами суда гласного, а литература карается административно!

И действительно, в этот же день к Скобелеву при мне приехал один из московских издателей. Я ушел на время к Ладыженскому, рущукскому консулу, остановившемуся там же... Когда я вернулся к Скобелеву, он, улыбаясь, передал мне следующее:

— Вы знаете, у печати нет более злейших врагов, чем она сама!

— Почему это?

— А потому вот, например, человек и умный, и просвещенный... А знаете ли вы, за что он, главным образом, набрасывается на Игнатьева?

— За что?

— За то, что тот не хочет закрыть «Голос» и «Русскую Мысль». Не может же, в самом деле, правительство быть органом той или другой газеты и принимать на себя ее защиту... Ведь этак мы дойдем Бог знает до чего. Что касается до меня — я никогда не питал раздражения против печати. Когда она ополчилась на меня за мою парижскую речь (которой, между прочим, я никогда не произносил!) — я счел это совершенно честным и уместным с ее стороны. Они писали по убеждению, по-ихнему — я был вреден в данную минуту. Раз уверен в этом — подло молчать! Точно так же, как и я был бы вполне уверен, что молчи я в Париже, это бы не сделало мне чести. В силу этого — я бы никогда не принял никакого административного поста. Бить врага в открытом поле — мое дело. А ведаться с ним полицейским миром — слуга покорный. Вот Аксаков — совсем другое дело... Я горячо люблю Ивана Сергеевича и никогда не слышал от него ничего подобного. Ни разу при мне он не сослался на необходимость зажать рот тому или другому...

Зашел разговор об издателе «Руси».

— Он слишком идеалист... Вчера он это говорит мне: народ молчит и думает свою глубокую думу... А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и даваться ему некуда, выхода нет — это верно. Вы только что объехали добрую половину России, расскажите-ка, что творится там?

Я начал ему передавать свои впечатления. Рассказал ему о заводах, где, несмотря на совершенство производства, половина рабочих распущена по домам, потому что наша таможенная система вся направлена на поощрение иностранных фабрикантов и заводчиков; рассказал об истощении почвы, о крайнем падении скотоводства, о том, что нищенство растет не по дням, а по часам.

— Это ужасно... Ужасно... Еще вчера я то же самое говорил, мне не верили... Преувеличиваю я, видите ли...

Нашему разговору помешал какой-то русский немец... Явился с Владимиром в петличке и давай приседать...

— Что вам угодно?

— Я хочит делать большой канал...

— Где, куда?

— Соединить два моря... Арал и Каспий... Для обогащения всей России... Благодетельство есть это, ежели соединяйт!

Насмешливая улыбка скользнула по лицу Михаила Дмитриевича.

— Я же тут при чем?

— Я пришел, ваше высокопревосходительство, просить рекомендательства и содействования моему проект, который...

— Пожалуйста, расскажите мне его сущность...

Скобелев сел, сел и полковник, желающий облагодетельствовать Россию. Началось долгое и скучное изложение всех выгод будущего канала... Скобелев изредка только вставлял замечания, совсем разбивавшие выводы автора замечательного проекта. Видимо было, что вся эта местность как нельзя лучше известна Михаилу Дмитриевичу...

— Сколько же нужно на ваше предприятие?

— О, в сравнении с благодетельством народов, пустяк!

— А например?

— Если правительство согласно затрачивайт сорок, пятьдесят миллионов...

Скобелев опять усмехнулся.

— Разумеется, разумеется... Только уж за одно, полковник, не будете ли вы так добры указать, где взять эту маленькую сумму...

— Столь великий страна... — начал он и опять утонул в целом море всяких рассуждений.

Так я и не дослушал этого замечательного проекта, оставив Скобелева на жертву новому Гаргантюа, обладающему аппетитом в размере сорока миллионов рублей...

Часа через полтора я вышел с ним, мы условились поехать к ***, впоследствии изменившей своему благородному прошлому. Она в Лондоне преспокойно играла роль политического и полицейского агента, не стесняясь ни с сыском, ни доносом.

На улице — он встретил одного из прежних своих подчиненных, уже в отставке... Этот окончил войну в малом чине и, по-видимому, судьба не особенно ему благоприятствовала. По крайней мере, одет он был очень плохо. Бывший офицер хотел было юркнуть от Скобелева в сторону, но тот его заметил...

— N. N. Это еще что такое?.. Бегать от старых боевых товарищей!

— Ваше высокопревосходительство... Я не смел... Я так одет!

— Да за кого же вы принимаете меня?.. Это перед дамами одевайтесь... Опять вы не зашли ко мне... Вы знали, что я здесь?

— Как же... Читал-с!

— Ну?..

— Я теперь в таком положении!

— Ужасно это глупо, в сущности... Прямо бы ко мне и могли обратиться... Храбрый и честный офицер — вы имеете полное право требовать моего содействия...

Я сейчас же узнал прежнего Скобелева. В этом он совсем не изменился.

— И помилуйте... Я опустился...

— Не вижу этого. Вот те, которые променяли военный мундир — на более *выгодный*, опустились... Сегодня я уезжаю с курьерским поездом в Петербург... Давайте-ка мне ваш адрес... Не нужны ли вам деньги?.. Смотрите, с товарищами — не церемонятся. Сотня, другая меня не разорит, а как только я вам найду место, вы мне их сейчас же уплатите...

— Нет... У меня хоть еще месяца на два хватит...

— Нужно — пишите... Стесняться со мною глупо... А вам я на днях и местечко приищу...

Я встретил этого офицера уже на похоронах. Шел он одетый с иголочки... Видимо, судьба, на которую он пенял так, уже изменилась к нему.

— Это он все... Я и не знал ничего... Только приезжает ко мне здешний *** и говорит: сегодня получил я письмо от Скобелева, он рекомендует вас. Этого мне достаточно... И разом предложил место... Я теперь совсем доволен... Третьего дня узнал, что он приехал, собрался идти благодарить, и вот... Это, знаете, последний... Боевой товарищ... Именно товарищ, хоть я и поручик — а он полный генерал. Таких уже нет... Теперь мещанское время, подлое... Всякий лакеем делается... Повысят его в дворецкие — он уж к кучеру свысока относится...

Хозяйку мы встретили в обществе двух англичан, с которыми Скобелев тотчас же заговорил по-английски... Они с чувством, близким к восторгу, прислушивались к каждому слову его... Один из них высказался даже...

— Вы первый приучили нас заочно полюбить, — даже врага!..

— Почему же я враг?

— Кто же другой может создать нам затруднения в Индии, как не вы...

— Там нам нечего делать. Мы отлично можем ужиться бок о бок!

— Да, это вы говорите нашим корреспондентам, а те сообшают в газетах... Но мы не так наивны...

Тонкая улыбка показалась на губах Скобелева.

— Могу вас уверить, что таково мое убеждение... Если мы можем с вами столкнуться, так поближе!

— Не дай этого Бог... Море дороже всего!

— Да, богатому человеку, а не голодному, которому терять нечего... Впрочем, у нас с вами есть общий враг!

— Кто это? Немцы верно?

— Да... У них теперь широко рты разинуты, флот ваш и ваша торговля едва ли могут им особенно нравиться.

— Мы это знаем...

Когда они ушли — Скобелев начал передавать свои и мои впечатления из поездки по России:

— Где же исход? Где исход?

— Запереть границу для иностранного ввоза тех предметов, которые у нас у самих производятся. Раз навсегда поставить на своем знамени «Россия для русских» и высоко поднять свое знамя... Ради этого принципа — не отступать ни от чего... Заговорить властно, бесповоротно и сильно... И сверх того — внутри у себя сделать многое.

— Что же именно?

И Скобелев изложил целую программу, давно, очевидно, обдуманную, обработанную во всех ее деталях, охватывавшую все стороны народной нашей жизни. К сожалению, она не может быть приведена здесь...

Целый вечер, до отхода поезда, мы оставались одни. Скобелев отдался воспоминаниям, рассказывал много интересных событий, перешел к настоящему и будущему России, но во всем у него звучала какая-то печальная нотка... Я поехал вместе с ним на железную дорогу. Он всю дорогу говорил, не переставая.

— Знаете, мне кажется, мы видимся с вами в последний раз!

— Что за малодушие! — вырвалось у меня.

— Как знаете... Что-то говорит мне, что моя песня спета...

Он, впрочем, несколько раз в этот день повторял то же и при Ладыженском, и при Хлудове.

— Я не переживу этот год верно... Хоть не хочется умирать совсем. Сделать еще европейскую войну, разбить исконных врагов России, уничтожить их, и тогда — из списков вон... Только этого не будет... Ну, да, что, впрочем...

Шел дождь, было холодно... Ни зги не видно около, тускло мигали слезящиеся фонари... Тоска невольно закрадывалась в душу.

Ну, довольно! Как это пели у меня солдаты:

На врагов с улыбкой взглянем —
С песней громкой в бой пойдем...
Смерть придет — смеяться станем
И с улыбкою умрем!..

Больше я уже не видел Скобелева.

В этот свой приезд в Москву — он дал мне знать, что ждет меня к себе обедать; я собрался к нему, но утром ко мне в гостиницу вбежал лакей...

— Генерал умер...

— Какой генерал? Мне-то что за дело?..

— Скобелев... Скобелев умер!

— Убирайся к черту... Что за глупые шутки...

Лакей заплакал... Я понял, что случилось, действительно, великое несчастие... Бросился в Hotel Дюссо. Предчувствие оправдалось...

Михаила Дмитриевича не стало...

XVI

На другой день после смерти Михаила Дмитриевича мне едва удалось пробиться в комнату, где он лежал...

Теперь уже не было вчерашней суетни и толкотни. Из Петербурга наехали близкие к нему лица; у самого тела выросла и все время стояла вся в слезах — его сестра, Надежда Дмитриевна, не отводившая взгляда от гордой и красивой еще головы брата ... «Зачем так рано» — читалось в этом взгляде, полном глубокой тоски... Тусклый свет восковых свечей теперь отражался на вензелях, камергерских мундирах, звездах, генеральских эполетах. Тем не менее у самого трупа сплотились, точно не желая отдать его никому, даже самой смерти — его адъютанты и состоявшие при нем... На желтом, страшно желтом лице Скобелева проступали синие пятна... Губы слиплись, слились... Глаза ввалились... И весь он как-то ввалился... Ввалилась грудь, так что плечи с эполетами торчали вперед, ввалилась шея, точно голова была отделена от нее... Вокруг благоухали только что распустившиеся розы и лилии... Массы венков были разбросаны кругом. Они совершенно покрыли и золотую парчу покрова, едва-едва поблескивавшего из-под них... Тем не менее и теперь это мертвое лицо не казалось мертвым... Несмотря на ввалившиеся глаза, на заострившийся нос, на слипшиеся синие губы, на пятна. Чудилось, что он спит, не так, как всегда, а строгий, серьезный, смеживший свои веки под впечатлением какой-то глубокой думы. Вот, вот проснется и окинет всех изумленным взглядом: чего собрались сюда, зачем эти тускло горящие свечи, эти пышные розы, льющие в спертый воздух свое благоухание...

— А мы живем!.. — слышится в стороне скорбный голос.

Оглядываюсь... Старик генерал не сводит глаз с этого молодого лица...

— И в какое время — когда ему открывалось широкое поприще, где бы он мог развернуть все свои силы...

У дьякона, участвующего в панихиде — прерывается голос от слез, несколько раз он невольно смолкает и начинает опять... Вон другое заплаканное лицо простого солдата... Это любимец покойного, Бражников, ходивший за его лошадьми... Он качает головой, точно упрекает Скобелева, зачем он ушел отсюда... Толпа на площади — выросла за ночь. Она залила ее всю...

— Совсем небывалое дело!.. — слышится чей-то доклад генерал-губернатору. — Со всех сел — массами идет народ сюда... Со всех заводов. Рабочие отказались работать... Из Серпухова, из Богородска, отовсюду тянутся толпы!

И действительно, на площади уже целое море... Улицы, прилегающие к ней, запружены народом... Народ на крышах домов, на кремлевской стене... На фонарях держатся, уцепившись руками... И все это молчит, как будто они боятся своим говором

нарушать покой его — уже ничего не слышащего... Ничего не видящего... Отставных солдат — сотни, тысячи в этой массе... Только они говорят: рассказывают толпе, каков он был, как он любил их, любил народ... И сколько в этом бесхитростном рассказе слышится преданности ему... Около меня передает какой-то офицер: — Иду я в толпе, слышу, солдат один говорит: «Так мы его любили, что, кажись, какой бы бой не был, понеси его перед нами мертвого, разом бы снесли все прочь»... И действительно, они шли за ним... Неслись, как волны, прорвавшие плотину, как волны, могучие, неукротимые, не знающие или, лучше, не замечающие сопротивления... Те, кому удалось стать у самой гостиницы, — без шапок. Всякий раз, как до них доносится отголосками пение певчих, они крестятся... Крестится и толпа за ними...

— На площади бы панихиду! — опять слышится кругом...

— Священников сюда... Мы все хотим...

Но чего-то испугавшаяся полиция молчит...

— Это ведь демонстрация будет, помилуйте!.. — говорит один из блюстителей порядка...

К полудню — толпа уже не увеличивается, а уплотняется, на том же пространстве — стали новые сотни и тысячи народа. Если бы не крики городовых, да не ругань жандармов, сослепу кидающихся в эти толпы неведомо зачем — то тишина кругом казалась бы мертвой...

Наконец, панихида окончена... Сестра покойного, плакавшая до тех пор безмолвно, зарыдала теперь, когда гроб ее брата подняли на руки, чтобы пронести его в церковь Трех Святителей, на самом краю Москвы, у железной дороги, по которой его провезут в имение...

Гул пошел по площади... Гул этот донесся до нас, поднявших этот гроб...

Наконец, отворили дверь на площадь... Наконец, в ее просвете народ, целые сутки тщетно ожидавший этого, увидел в цветах венков его лицо... Мы нарочно подняли изголовье гроба... И не успели еще вынести его на улицу — как раздалось такое рыдание, которого до тех пор никогда не слышал.

— Москва плачет... — доносится до меня.

— Народные похороны... — говорит кто-то рядом. И действительно, мы видим, что они народные... Площадь, улица — единственно доступны народу, и тут-то он показал себя... К чему были эти меры предосторожности... народ себя вел гораздо лучше, чем его пестуны. Мы шли, со всех сторон охваченные целым морем голов... Как во сне, я припоминаю эти заплаканные лица, которым не было и числа, эти десятки тысяч рук, подымающихся, чтобы издали перекрестить своего любимца. Черные сюртуки, изящные дамские платья — и тут же грязная, потная рубаха рабочего, сибирка крестьянина... Никто их не подготовлял,

никто не организовал подобного торжества, печального, но величавого, величавого именно подавляющей массой народа, в рамке этих кремлевских стен и башен... Взглядывая по сторонам — я видел, как кланялись ему эти всклоченные головы, как мозолистые заскорузлые руки крестили загоревшую грудь, видную из-под откинутого ворота рубахи... Вон, эти из деревень, должно быть, в лаптях они... На колена стали, когда мы мимо несли его... В более узких улицах — народ точно старался врасти в стены домов, очищая ему дорогу; на широких площадях он раздавался, открывая коридор, по которому мы несли его.

Да, действительно, это народ хоронит, народ его оплакивает... Теперь только видно, как народ умел отличать и узнавать друзей своих, как за любовь он платит любовью... Окна, балконы домов полным полны... Мало, очень мало равнодушных лиц... Они теряются, их не видать совсем... Чуть не пол-Москвы мы прошли так — когда вдали показались Красные ворота, а за ними церковь Трех Святителей... Вся эта площадь залита сплошь толпой... Ей нет конца... Когда мы проходим мимо улиц, разбегающихся направо и налево, в них, насколько они доступны взгляду — видны все те же толпы... Эти не нашли себе места, они ничего не увидят, но ждут все в том же благоговейном молчании.

— Мы хороним свое знамя!.. — говорит Хитрово. — Где теперь человек, вокруг которого сошлись бы все...

Где такое сочетание самых разнообразных условий и такая ранняя слава!..

Церковь Трех Святителей уже полна... Ночью — я заехал сюда еще... Улицы также были заняты народом... Терпеливо ожидал он своей очереди — поклониться в последний раз праху... В церкви — в два ряда подходили к гробу крестьяне. Венки за венками приносили вновь... Сотни их разрывали, раздавая желающим — но церковь все еще была полна ими... Углы тонули под зеленью, стен и икон не было видно за венками... У гроба дежурили адъютанты покойного... В темноте, из цветов, едва-едва выделялась русая, широко расчесанная на обе стороны борода, светлые усы и чуть заметный абрис страшно похудевшего лица... Я долго стоял тут, присматриваясь и прислушиваясь.

— Упокой его Господи! — крестит это лицо какой-то старик крестьянин...

— Послужил ты нашей матушке России... — говорит другой, глядя в эти неподвижные черты, — честно послужил... Дай тебе Господи царство небесное...

Вон инвалид едва-едва подвигается через церковь, стуча деревяшкой по каменному полу... Добрался... Смотрит на Скобелева...

— Не скажешь... Не скажешь уже теперь... За мной, за мной, ребята!.. — прерывающимся от слез голосом шепчет он. — Не скажешь... Орел ты наш!.. — и, отмахнувшись от чего-то рукой, уходит прочь.

Молятся сотни — безмолвны. Подойдут, тоскливо взглянут на это лицо, поцелуют сложенные на груди синие, худые-худые пальцы рук — и понурясь, идут прочь.

— Насилу доступились до тебя!.. — говорит другой старик. — Живой ты наш был, а как помер, так сейчас тебя и отняли...

И сколько нежности, сколько искреннего чувства слышалось во всем этом.

Один из близких знакомых покойного ворвался в церковь, кинулся к гробу, зарыдал и, обезумев, схватил Скобелева за плечи и хотел вынуть... Едва удалось отвести...

Я отошел к стороне... Отсюда была видна часть мертвого лица... Мигание свеч придавало ему какое-то странное выражение... Точно мертвец делал попытки проснуться и не мог... Смотрел-смотрел я — и вдруг, до поразительности ясно представилась мне картина недавнего, совсем недавнего былого.

Пологий скат, покрытый сырою от дождя травою... Тихо по нему вверх движется цепь стрелков... Из зада едва-едва доносится топот следующих за цепью колонн... Туман кругом, ни зги не видно... Позади цепи идет Скобелев... Зорко всматривается он вперед, точно хочет различить в этом тумане — где притаился редут... Вот оттуда неуверенный выстрел всполохнувшегося часового, другой, третий...

— Вперед, ребята!.. — металлически громко крикнул генерал, раздвинул стрелков, вышел перед ними...— Вперед, ребята... Барабанщики — атаку... Урра!..

И вспыхнуло, и гремит это «ура»... От звена к звену, от одной колонны к другой... А его уже не видно — он уже в самом пекле боя, перед своими солдатами... В пекле боя, охваченного туманом... Только, порою, сквозь залпы слышится его ободряющий, веселый голос...

А люди идут и идут прощаться с ним...

На другой день вся церковь была окружена войсками.

На панихиду съехались высшие чины наших войск — откуда возможно было поспеть... У гроба Скобелева стояли Радецкий, Ганецкий, Дохтуров... Черняев, заплаканный, положил серебряный венок от туркестанцев... Кругом сплошною стеною сомкнулись депутаты от разных частей армии, от полков, которыми командовал Скобелев... Венки за венками... Некуда уже ставить их.

— Послушайте! Есть кто-нибудь от Тотлебена?

— Нет никого!

— И телеграммы не было? — слышится тот же удивленный голос.

— Нет!

— Да ведь Тотлебен командует военным округом, где расположен корпус Скобелева?

— Да!

— Странно!

— Нас самих удивляет...

Над гробом такая же неподвижная, полная тоски, сестра покойного и по-прежнему не сводит глаз с лица его.

К панихиде приехали из Петербурга Великие князья, Алексей и Николай.

Все спешно и жадно всматривались в черты покойника... Еще час, два — и они будут уже окутаны вечным мраком. Есть что-то глубоко трогательное в этих последних минутах, когда свет Божьего дня падает на холодный уже труп... Тут уже не отводишь взгляда от него... Целым роем воспоминания носятся кругом... Звучат памятные фразы, отрывая от себя покойного... Воскресает то, что казалось совсем уже замерло в душе... С какою-то болью доискиваешься, что отразилось, застыло на этом лице в последнее мгновение жизни, когда перед ним широко открылась дверь в иной мир?.. Что увидел он за этою дверью?..

Архимандрит Амвросий, личный друг Скобелева, начал свое прощальное слово... Тихий голос его растет и растет... Проникает в сердце... Точно слезами, каплет каждый звук этой речи... Сам он смотрит прямо в лицо покойному, точно говорит ему одному, и чудится нам, что и тот его слышит, что и у того на лице отразилось благоговейное чувство... Все в церкви замерло... Только и носятся эти, проникнутые душевным волнением, слова...

«За любовь его к народу, за любовь народа к нему, за наши слезы и ради собственной Твоей бесконечной благости, прости ему, Господи!..» Торжественным призывом уносится в высоту звучная фраза.

Голос Амвросия оборвался... Кто-то громко зарыдал в толпе...

Прощаются... В последний раз целуют и кланяются покойному... Крышка гроба уже тут... Не совладав с собою, Абазиев бросается вон из церкви... Плачут все уже... Нет равнодушных и спокойных... Гроб подымают Великие князья... Опять — народ и площадь.

К утру в Москву собралось все население ее окрестностей...

Земли не видно... В целом, широко разлившемся море людей потонули дома... Гроб проносят под триумфальными воротами...

— Хоть мертвый дождался!..

— Это шествие триумфатора, а не похороны генерала...

Вот и вокзал...

На платформе — траурная беседка из черного кашемира, с белыми георгиевскими крестами... Вагон, тоже весь обтянутый черным кашемиром, уже стоит здесь... Громадная пальма срезана

под венчик... Широкие листья ее раскидываются под потолком вагона. Гроб ставят туда... Первый удар молотка...

Грохот залпов... Трескотня ружейных выстрелов, гулкие удары пушек...

Не он ли несется впереди боевого урагана?.. Не он ли ведет в огонь свои дружины?.. Именно в этом адском грохоте привыкли слышать и видеть его... Я смотрю на других — и, видимо, тоже и на них нахлынули эти воспоминания... Душат они... Выбегаешь скорей из этой беседки на воздух... Залпы погасли, одни колокола бьют свою тревогу над Москвою...

Поезд для тех, кто сопровождает его, — готов... Через полтора часа едем...

— Да, это, действительно, народные похороны...

— Не везет нам... Все талантливые люди мрут... Теперь простор посредственности!..

— Один за другим!.. И все без следа...

— Без следа ли?.. Разве умер дух Скобелева?.. Нет — он остался...

— Да, но не будет его самого, человека вечного протеста противу всякой рутины... Нет знамени...

— Он являлся именно тем типом боевого вождя, которого французы называют le grand capitaine!..[1]

— Ну, теперь и в Питер пора, ваше превосходительство...

— Да, знаете, оно точно, герой, герой... А только довольно...

— Я вам скажу, теперь спокойнее будет...

— Что же, теперь и нам умирать надо, жить нечего!..

Ловя эти взаимно противоречащие фразы, я едва-едва выбиваюсь из блестящей толпы, окружающей гроб...

— Кажется, что в каждой семье отец, брат или друг умер... Осиротели все мы...

— Бедная Россия!.. Народная волна захватывает меня и уносит на площадь... Отсюда я едва-едва выбиваюсь на улицу.

* * *

Народные похороны — стали чисто народными, когда поезд наш тронулся...

У меня до сих пор не прошло это глубокое впечатление... Все мы, находившиеся на этом скорбном поезде, были подавлены величием встречи, сделанной своему любимцу народом... Если бы я не боялся навлечь на себя упрек в преувеличении, то сказал бы, что вагоны наши двигались до Рязани по коридору, образованному массами народа, столпившимися по обеим сторонам полотна... Это было что-то, до тех пор неслыханное.

---

[1] Великим полководцем (*фр.*).

Крестьяне кидали свои полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все это валило к станциям, а то и так, к полотну дороги... За Москвой — на несколько верст стояла густая масса народа... За городом сейчас же — мост. Тут по обе стороны его — не видно было окрестностей за людьми... Под мостом — где можно, тоже столпились они. У самого полотна — многие стояли на коленях... Все это под жаркими лучами солнца, натомившееся от долгого ожидания. Грандиозность общей картины так влияла, что мы поневоле пропустили множество характерных подробностей... Уже с первой версты — поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Большая часть сел вышли навстречу с хоругвями — совершенно исключительное и небывалое явление... И тут не было спокойных, не было равнодушных... На всех лицах живо отпечатлелись волнения этих дней!..

Медленно двигался этот поезд в живой, глубоко чувствовавшей и так ярко сумевшей выразить свое горе массе... В одном месте более четырехсот крестьян стояло с зелеными ветвями в руках, и мирный шорох их издали казался шелестом невидимых крыльев в воздухе... Следующая деревня тоже вся сбежалась к полотну и когда завидела наш поезд с траурным вагоном впереди, вся как один человек опустилась на колени. Только одни хоругви величаво колыхались над нею, да старческий голос священника уносился в голубую высь с мольбою упокоить его, этого легендарного витязя и народного любимца, со святыми... Деревни, далекие от станций, сходились прямо к рельсам, и так как поезд здесь не останавливался, то они начинали свои литии при виде его и кончали, когда мы их оставляли уже позади... Мимо других поезд проносился быстро — только мельком показывая молящимся в отворенную боковую дверь вагона покрытый парчой и бесчисленными венками гроб со состоявшими по углам его дежурными... Смутно и до сих пор слышится мне этот грустный, стихийный, однообразный ритм наскоро повторявшихся молитв, наскоро потому, что иногда поезд поневоле двигался ранее, и священник оканчивал панихиду — уже издали благословляя прах Скобелева... Смутно представляется вся эта стихийная, однообразная земская сила, оторвавшаяся от работы, чтобы в последний раз поклониться своему земскому богатырю... Ночью — она была тиха до Рязани — даже легкий ветерок, дувший днем, уснул — иногда впереди горели сотни огней; это — крестьяне выходили со свечами и зажигали их в ожидании поезда... Раскольничье село — вышло без попов, но пели свои гимны, печальный напев которых долго носился в воздухе.

В нашем поезде ехал Чарльз Марвин, корреспондент английских газет... Он был поражен...

— Это и у нас было бы невозможно... — повторял он.

И накануне кто бы поверил чему-нибудь подобному...

В Рязани — весь вокзал залит народом... Полиция усердно работает локтями и кулаками... Но это не мешает... Скоро местных держиморд куда-то оттеснили, и Скобелев был сплошь окружен народом... Сотни венков разорвали и бросали их людям, и те уносили их с собою как святыню. Новые венки приносили крестьяне и горожане. Были наиболее между ними — из васильков, из ромашки... За Рязанью — шел дождь, под дождем стояли всю ночь и мокли толпы в ожидании нашего поезда. В конце концов казалось, что это не похороны одного человека — а совершается какое-то грандиозное явление природы... Перед этой, столь величаво выраженною волею народа, признававшего Скобелева за то, что он был, меркли и зависть, и тупая вражда... Отныне, если они и подымутся опять, то уже не будут страшны его памяти... Жалки и тусклы покажутся они каждому...

Так поезд подошел к Раненбургу... Тут ждали гроб — крестьяне села Спасского...

Последние версты они несли его на руках, в серых сермяжных кафтанах, в лаптях...

Как кому, а это меня тронуло больше, чем вынос тела в Москве...

Легенда умерла и схоронена... Что займет ее место, посреди повседневной пошлости и будничной посредственности?..

XVII

СКОБЕЛЕВ У КАРЛИСТОВ

Осенью 1882 года я был в Италии. Смерть Скобелева, ее причины, ее внезапность и загадочность интересовали всех. Встречаясь со мною, знакомые, не знаю уже в который раз, заставляли меня повторять рассказ об этом событии. Заграницей интерес к нему был едва ли еще не сильнее, чем у нас. Я говорю, разумеется, про печать, а не про народ. На немецком языке вышла книжка, сейчас же разошедшаяся в продаже, в Италии продавали много брошюр о том же. Нужно сказать правду — иностранцы ценили покойного гораздо лучше, чем мы, особенно немцы. Когда прошел первый восторг, вызванный смертью Скобелева, они сейчас же отвели ему надлежащее место, причислив М. Д. к первым полководцам последнего времени. Военные журналы дали добросовестнейшую оценку «врагу Германии», а один авторитет прусской военной науки прямо заявил, что смерть Скобелева равняется для немцев выигранной кампании. Прав ли он был или нет — другой вопрос. Дело в том, что во всем сказывалось признание гения покойного генерала и еще не вполне рассеявшаяся боязнь, которую возбуждал он в наших добрых соседях. Из Специи — в Ливорно мне пришлось ехать мимо Реджио. В вагоне со

мною оказался итальянский офицер генерального штаба, который, узнав во мне русского, сейчас же заговорил о Скобелеве. Как оказалось, он знал его лично. Они вместе были на маневрах в Германии, и мой спутник передавал мне много комических подробностей о том, как Скобелев ухитрялся узнавать тайны германского военного дела, как он исследовал местность в Познани, как он сумел даже проникнуть в некоторые немецкие крепости, занося по вечерам все свои наблюдения в памятную книжку под рубрику «на всякий случай».

— Мы все изумлялись, когда он спит. В семь часов он уже был в седле, а в девять вечера садился за работу и, просыпаясь в два, три часа ночи, мы еще видели его за ней. Исписал он тогда массу бумаг и, судя по вырывавшимся у него случайно фразам, он настолько глубоко узнал и изучил германскую армию, что надень на него тогда прусский мундир — он был бы вполне на своем месте. Его больше всего беспокоила германская кавалерия, и ее-то он наблюдал особенно пристально. В то же самое время он умел настолько обворожить пруссаков, что они, вовсе не страдающие излишком любезности, не умели и не могли ему отказывать ни в чем. Поэтому Скобелев проникал в такие тайники, о которых мы не могли и мечтать. Император Вильгельм не раз заявлял, что он его любит, как сына, и Скобелев, действительно, никогда не мог говорить без почтительного волнения о маститом вожде германского народа. Зато от дружеских излияний остальных немцев он умел уклоняться так, что они оставались под его обаянием вполне, и в то же время отношения с ними ни к чему не обязывали Скобелева. Мы могли только удивляться дипломатическим способностям русского генерала, который только в одном не мог сдерживаться — в своей глубокой антипатии к Бисмарку, которого после Берлинского конгресса он ненавидел всеми силами своей энергической и не знавшей ни в чем середины натуры. В этом отношении Скобелев не постеснялся даже гласно выразиться, что не будь Бисмарка, два племени — Славянское и Германское — века еще могли бы прожить добрыми соседями. У них были бы разные политические дороги, на которых они бы могли вовсе не встречаться. «Насколько я благоговел перед Бисмарком до Берлинского конгресса, настолько же я ненавижу его после. И поверьте, — оканчивал он, — если когда-нибудь будут чудовищные бойни между нами и немцами, если прольются реки крови — Каином этих убийств будет не кто иной, как Бисмарк!»...

Откровенен он был, впрочем, только с итальянцами и французами.

Наша беседа уже заканчивалась, когда в нее вмешался один сидевший тут же итальянец.

— У нас есть хороший знакомый Скобелева!

— Кто такой?
— Дон Алоиз Мартинец!
— Испанец?
— Да!
— Как он попал к вам?
— Да ведь около живет дон Карлос со своею женою Маргаритой. Дон Алоиз принадлежит к числу немногих людей, оставшихся с ним разделить изгнание. Это для меня интересный тип. Он встретился со Скобелевым в отряде дона Карлоса и подружился с вашим генералом. Когда было получено известие о смерти его — дон Алоиз плакал, как ребенок. Он рассказывает массу интересных подробностей о нем.
— Теперь он здесь?
— Неделю назад я еще видел его!
— Застану я его, как вы думаете?
— Если он не уехал в Испанию!
— Зачем?
— Они часто делают политические экскурсы. У нас их всех узнают по общей примете: у всех карлистов неизменно в петлице — белый цветок маргаритки. Они носят его в честь своей королевы. Дона Алоиза чуть не расстреляли за это в Барцелоне, куда он явился, не сняв знака своей партии!
— Это человек храбрый, значит?
— Да. Он весь изранен. Шрамы на лице, рука на перевязи. Он не только кровь свою, но и богатство отдал дону Карлосу...

Помимо рассказов о Скобелеве, которые я мог бы записать, дон Алоиз представлялся и вообще интересным типом. Я ненавижу карлистов, стремящихся в конце XIX века навязать Испании — старые лохмотья Филипповских времен с св. Германдадой включительно[1]. Но нельзя отказать им, во-первых, в преданности делу, безнадежному, которому они служат стойко, а во-вторых, в известной «романтичности», окружающей все их действия. У меня был «Циркулярный билет», позволяющий путешественнику останавливаться в какой ему угодно местности по означенной в этом билете линии рельсового пути. Простившись с моими путниками и взяв у синьора Велутти адрес дона Алоиза, я остался там.

Был уже вечер. Горы с мраморными ломками вблизи (Карара недалеко отсюда) уходили в лазурные сумерки. На их вершинах только еще догорала золотая прощальная улыбка солнца. Старый собор всею своею громадою точно давил узкую улицу с домами, помнившими времена Гвельфов и Гибеллинов, какой-то мрачный памятник неожиданно выдвинулся из глубокой ниши. Развалины

---

[1] Это было прежде. Теперь дон Карлос усвоил себе программу либерального правительства, а королева регентша и ее сын — приняли целиком прежнее credo карлистов.

замка молча доживали свой век с пестреньким коттеджем рядом, точно разбогатевшего мещанина, веселого, краснощекого и улыбающегося, поставили бок о бок с забытым рыцарем, на сгорбившемся теле которого едва держались старые, почерневшие латы... Тут же недалеко был «альберго», в котором мне предстояло провести ночь. Я послал свою карточку к дону Алоизу с вопросом, когда мне будет позволено навестить старого карлиста. Через несколько минут мальчишка итальянец, горланя вовсю и еще издали что-то сообщая мне, показался перед балконом локанды.

— Что ему надо? — обратился я к «камерьеру», понимавшему французский язык.

— Дона Алоиза нет. Он у дона Карлоса, но жена ждет его каждую минуту, так что ежели синьору русскому будет угодно, он может сейчас же отправиться и будет принят с величайшим удовольствием...

Я обрадовался. Таким образом, еще в ночь мне являлась возможность выехать, чтобы к утру попасть в Пизу, в которой на следующий день именно и было назначено торжественное служение в знаменитом соборе, причем должны были петь два известных итальянских певца. Их, впрочем, так много, что читатели, надеюсь, извинят мне слабость моей памяти.

Ночь уже совсем окутала старый город. Из-за стрельчатой башни собора прорезывался острый рог молодой луны. В окна его, сквозь цветные стекла, лилось на улицу мягкое сияние. В соборе шла служба, и торжественные звуки органа сдва-едва слышались здесь. Веселая говорливая толпа катилась волною по каменным мостовым, перекрикиваясь с красавицами, выглядывавшими из окон высоких старых домов. То там, то сям вспыхивала и обрывалась песня. Вот из третьего этажа какого-то облупившегося давно дома, на котором балконы держались, очевидно, только по недоразумению, вынеслась на улицу давно забытая у нас ария. «Ricevi da labri dell amica il baccio estrema»[1] звучно дело сильное сопрано того особенного, только югу свойственного тембра, где мощь взятого полною грудью звука соединяется с удивительно нежною окраскою его.

Под окном тотчас же собралась толпа.

— Bravo, bravo, bravissimo, bravo!..[2] — аплодировала она, когда последняя высокая нотка умерла в теплом воздухе тосканской ночи.

Отсюда шел узенький переулок налево. Тут-то, в еще более старом, подслеповатом доме, и жил когда-то знатный и богатый испанец дон Алоиз Мартинец. Каменная лестница вела к нему

---

[1] «Прильни к устам подруги в последнем поцелуе» (*исп.*)

[2] Браво, браво, брависсимо, браво (*ит.*).

снаружи. Видно было, что по ней мало ходят. В щелях поднялась трава, и какая-то ящерица скользнула из-под самых ног у меня, когда я поднимался на сырые ступени.

Мальчик, который провел меня сюда, взбежал наверх, тотчас же вернулся, и за ним обрисовался на высоте третьего этажа силуэт женщины со свечою в руках. Она вся была одета в черное.

Это оказалась жена дона Алоиза.

Она ни слова не говорила по-французски, и мы поневоле молча сидели в гостиной, маленькой и бедной, так и веявшей на меня лишениями и нищетой долгого изгнания. На стене виден портрет красавца дона Карлоса, такой же портрет — только миниатюрный — она носила на груди на тонкой золотой цепочке. Полотнище черного знамени с белым крестом висело с древка, прислоненного в угол. Здесь не было даже ковра, чтобы прикрыть каменный пол убогой комнаты. Зато приемы испанки — были полны величавого достоинства. Любая королева могла бы поучиться у нее. Я думаю, изгнанница, принимая меня у себя в замке, не могла бы быть великолепнее. Черные глаза ее смотрели очень строго из-под резко очерченных бровей. Жене дона Алоиза было не менее тридцати пяти лет и она сохранила следы когда-то поразительной красоты. Южанки, впрочем, стареют рано; другие в этом возрасте являются уже совсем дряхлыми развалинами. Наше обоюдное молчание продолжалось очень недолго. Внизу послышался шум шагов — и минуту спустя в комнату вошел высокий и стройный испанец с седыми короткими волосами на характерной упрямой голове, резко очерченные линии которой, глубоко сидевшие гордые глаза говорили о силе воли, об энергии этого одного из последних могикан карлистского движения. Вместе с ним был какой-то патер — по высочайше утвержденному для всех дон Базилио образцу — обрюзглый, толстый, с крупными сластолюбивыми губами и маслеными, сладко смотревшими на вас глазами. Я отрекомендовался. Холодность и сдержанность дона Алоиза тотчас же прошла, когда он узнал, зачем я пришел к нему. Он радушно пожал мне руку, и суровое лицо осветилось точно изнутри, когда он проговорил, вздыхая:

— Какая эта важная для вас, для русских, потеря... Как глубоко вы должны ее чувствовать... Как горька она должна быть вам, вам, знавшему лично — этого орла. Я тоже знал его... Но тогда, когда он еще только расправлял свои когти, когда он был орленком!

Я ему сообщил о своей книге, о желании дополнить ее новыми сведениями.

— Весь к вашим услугам... Мы не больше месяца провели со Скобелевым, но я пользовался его дружбою и сильно был им заинтересован.

Он перевел что-то дону Базилио (прошу позволения так называть патера). Тот тоже оживился.

— Скобелев мог бы быть мечом Божиим, если бы им не овладел дьявол! — вздохнул патер. — Такова судьба всех гениев, если они не приобщаются к святой церкви Христовой!

— Переведите, пожалуйста, святому отцу: почему он полагал, что Скобелевым овладел дьявол?

— Еще бы! Дьявол владеет всеми, кто не в лоне нашей истинной римско-католической веры!

— Благодарю вас! Тогда, значит, и я сосуд дьявола?

— Доколе Господь не призовет вас к познанию истины! — и дон Базилио поднял к образу свои сладкие масленые глазки.

В это время в комнату вошла горничная — прехорошенькая итальянка, и патер повел на нее таким взглядом, что я тотчас же угадал в этом почтенном коте большого охотника до чужих сливок.

— Наша встреча со Скобелевым была очень оригинальна! — начал дон Алоиз.

— В каком отношении?

— Он приехал тогда из Байоны с рекомендательным письмом от одного из наших. Его, разумеется, арестовали на аванпостах, завязали ему глаза и, несмотря на его протест, в таком виде доставили ко мне. Он тотчас же отрекомендовался путешественником — русским.

«Вы военный?» — спрашиваю его.

— Был!.. Теперь в отставке!.. — Только потом он сообщил мне, что он служит, что он полковник.

— Генерал?..

— Нет... Мне помнится, что он тогда назвал себя полковником. С первого же разу он как мне, так и нашему королю, — да хранит Господь его на многие лета! — почел необходимым сообщить, что он вовсе не сочувствует нашему движению и если бы не мы вели горную войну, а мятежники, то он присоединился бы к ним!

— Зачем же вы приехали? — спросили мы у него.

— Во-первых, я люблю войну, это — моя стихия, а во-вторых, нигде в целом мире теперь нет такой гениальной обороны гор, как у вас. По вашим действиям я вижу, что каждый военный должен учиться у вас, как со слабыми силами, сплошь почти состоящими из мужиков, бороться в горах против дисциплинированной регулярной армии и побеждать ее. Вот видеть это я и приехал сюда.

— А если мы вас не пустим?

— Я не уеду отсюда!

— А если вас за ослушание расстреляют?

— Я военный и смерти не боюсь, только не верю тому, чтобы это могло случиться. Я ваш гость теперь и потому

совершенно спокоен! — и он положил на стол револьвер. — Вот и оружие свое сдаю вам!

— Нам он очень понравился тогда, а в тот же вечер — мы научились и уважать его исправно. Мятежники атаковали нас. Скобелев, совершенно безоружный, с таким спокойствием пошел под пули, что хоронившимся за камнями карлистам даже стало стыдно, и они тоже бросили свои убежища. Ваш генерал спокойно сел на скале под выстрелами и, вынув записную книжку, стал что-то заносить в нее. По нему стреляли залпами, но он не оставил своей удобной, хотя и убийственной позиции до тех пор, пока не кончил работы... Один из наших подал ему ружье.

— Зачем? — удивился Скобелев.

— Стрелять... Во врагов...

— Они для вас враги. Я не дерусь с ними. Меня интересует война, а принимать в ней участие я не имею права!

Но раз и его увлек бой.

Это было в ущельях Сиерры Куэнцы. Наши, подавляемые значительным численным превосходством неприятеля, побежали. Вдруг, откуда ни возьмись, сам генерал крикнул на них, пристыдил, выхватил черное знамя у здорового пиренейского крестьянина и пошел с ним вперед. Его, разумеется, догнали вернувшиеся карлисты, и мятежники (так дон Алоиз называл правительственные войска) были отбиты!

— Ну, что, не выдержали? — спрашивал я его потом.

— Не могу видеть трусов, к какой бы они партии ни принадлежали!

Это был совершеннейший тип рыцаря. Два или три дня спустя наши напали на путешественников, между которыми были дамы. Разумеется, к святому делу нашего короля приставали вместе с благороднейшими и убежденными защитниками его прав — всякие другие люди. Случались беглые, разбойники. К таким-то в руки — попались туристы. Скобелев случайно наехал на это приключение и с револьвером в руках бросился на защиту женщин. Если бы не подоспели мы, ему пришлось бы плохо!

— Почему?

— Видите, бандиты ведь не рассуждали. Все, что ни попадало в их руки, они считали своею законною добычей. Нас, испанцев, не удивят храбростью, мы умеем прямо смотреть в лицо смерти, но Скобелев и нас изумлял. В нем было что-то рыцарски-поэтическое. Он был красив в бою, умел сразу захватить вас, заставлял любоваться собою. Вы знаете, наши пиренейские крестьяне как его прозвали?

— Как?

— Братом дона Карлоса! Они так и говорили: русский брат нашего короля!

У меня чуть не сорвалось с языка, что такое сравнение вовсе не польстило бы Скобелеву, да вовремя я удержался.

— Почему он так рано уехал от вас?

— Да распространился слух, что русские прислали его на помощь нашим. Ну, он и уехал. Могли бы выйти затруднения, а ему не хотелось подавать повода к разным толкованиям!

— Много работал он?

— Ведь вы знаете, что мы очень старательно укрепляли горы. Так он, бывало, после утомительного боя не пропустит ни одной там работы. Следил за всем. Изучал. Тоже ни одного горного перехода не упустил, до мелочности наблюдал, как мы организовывали перевозку артиллерии, снарядов по козьим тропинкам. Раз он даже, когда лошадь сорвалась в кручу — вовремя обрезал ей постромки и таким образом спас медную пушку, которую надо было доставить на скалу. Одного он не любил.

— Именно?

— Много пешком ходить. Бывало, во что бы то ни стало, а добудет себе лошадь. Раз даже на муле взобрался на одну гору. И ездить же он мастер был. Такого неутомимого всадника даже между нами не оказывалось. Он нам очень много помог даже. Оказалось, что ему хорошо известен был способ фортификации в горах.

— По Туркестану верно?

— Да. Он у нас учился нашим приемам, а нам сообщал свои. Он первый научил наших топливо носить в горы на себе, по вязанке на человека. Таким образом, уходя от мятежников на вершины наших сиерр, мы не страдали там от холода и от недостатка горячей пищи. Потом это усвоили у нас все... Меня в нем поражала одна замечательная черта — Скобелев способен был con amore[1] работать, как простой солдат. Сколько раз мы его заставали за, по-видимому, мелочными делами, в которые он уходил, как в крупные. Еще одна черта была в нем. Он чувствовал какую-то неодолимую потребность узнать все a fond[2] в местности, куда попадал случайно. Что ему, например, до нашего пиренейского крестьянина? По-видимому, дела нет, а уже в конце второй недели там он подарил нас сведениями о быте, знанием мельчайших потребностей испанского солдата. Я уже не говорю о его военной учености. История наших войн была ему известна, так что он не раз вступал в споры с Педро Гарсиа, много писавшем у нас по этому предмету, и как это ни обидно для испанского самолюбия, а, нужно сказать правду, Скобелев выходил победителем из таких споров. У нас, в горах, среди страшно пересеченной местности, он умел так запоминать самый незначительный уклон или извилину ущелья, фигуру

---

[1] С любовью, самоотверженно (*фр.*).

[2] Досконально, до конца (*фр.*).

горного хребта, что там, где он раз проехал, уже не надо было делать рекогносцировок и посылать летучие отряды для освещения местности. Я еще тогда в нем предвидел великого полководца и государственного человека!

— Вот это последнее многие именно и отрицают в нем!

— Я могу сказать только одно. У нас в отряде он сумел нравственно подчинить себе почти всех, хотя все знали, что он нашему делу вовсе не сочувствует и считает победу его гибельной для Испании...

Когда я уходил отсюда, дон Алоиз вышел проводить меня.

Золотой рог луны уже высоко поднялся над великолепною массой громадного собора. Толпы на улицах становились малочисленнее и реже. Изредка звучали счастливые праздничные напевы благополучной Италии... Не хотелось уезжать из этого уголка.

ИЗ ПИСЕМ М. Д. СКОБЕЛЕВА

Ввиде письма к одному из своих друзей, И. С. Аксакову, Скобелев начал было писать свои мемуары. Они так и остались неоконченными, но мы приведем из них все, что возможно. Вот написанная рукою Скобелева их программа: 1. Впечатления при выезде из Москвы. 2. Несколько слов о петербургской речи. Нет связи между нею и парижскою, разве только ненависть, высказанная немцами всех оттенков. 3. Впечатления, вынесенные из Франции. Славянское студенчество. Madam Adan. Camille Farcy. Gambetta. Freycinet[1]. Английская пресса. 4. Мое возвращение. Варшава. 5. Приезд в Петербург. 6. Гатчина. 7. Status quo[2].

«Для вас, конечно, не осталось незамеченным, — пишет Скобелев, — что я оставил вас, более, чем когда-либо, проникнутый сознанием необходимости служить активно нашему общему святому делу, которое для меня, как и для вас, тесно связано с возрождением пришибленного ныне русского самосознания. Более, чем прежде, ознакомясь с нашею эмиграцией, я убедился, что основанием общественного недуга — в значительной мере является отсутствие всякого доверия к положению наших дел. Доверие это мыслимо будет лишь тогда, когда правительство даст серьезные гарантии, что оно бесповоротно ступило на путь народной как внешней, так и внутренней политики, в чем пока и друзья, и недруги имеют полное основание болезненно сомневаться. Боже меня сохрани относить последнее к Государю, напротив того, он все более и более становится единственною надеждою среди Петербургского всерешающего бюрократического небосклона, но Он один, а с

[1] Мадам Адан, Камил Фарси, Гамбетта, Фрайсине (*фр.*).
[2] Существующее положение *(лат.)*.

графом Игнатьевым их всего двое, этого мало, чтобы даже временно побороть Петербургскую растлевающую мглу... Кстати, чтобы к этому более не возвращаться, я имел основание убедиться, что даже эмиграция в своем большинстве услышит голос отечества и правительства, когда Россия заговорит по-русски, чего так давно, давно уже не было, и в возможность эту она положительно не верит.

Под впечатлением свидания с Вами, Вам понятно слово сердца и убеждения, вырвавшееся у меня 12 января на Геок-Тепинском обеде. Дня два спустя, *а не до того*, я видел гр. Николая Павловича, и он упомянув о возбуждении иностранных послов по поводу сказанного, посоветовал мне поторопиться с отправлением в Париж. Очевидно, хотели замять дело, *и никто* тогда не предвидел того, чему *суждено* было случиться, менее других, конечно, гр. Николай Павлович.

Тяжелое, не скрою, впечатление произвела на меня Пруссия во время переезда. Комментирование моих слов сердца и святого убеждения было в полном разгаре, и сколько наглой лжи, пошлых себялюбивых немецких обидных России толкований пришлось всюду читать и всюду слышать. Слишком много на Руси и особенно в Петербурге и заграницей таких господ, которые считают за честь присоединиться к подобному лаю..... а потому они и не страдают. Сознаюсь, я переехал французскую границу глубоко раздраженный и огорченный особенно тою бесцеремонностью, с которою немцы преподавали австрийцам не щадить православной крови!.. (Oestreich muss im Sinn haben coute que coute mit seinem slavischen Aufstande energisch ans Ende zu kommen и т. п.)[1].

Во Франции, напротив того, я нашел много *инстинктивного*, хотя еще и не выяснившегося сочувствия, большое желание ознакомиться с соотношением России и Германии к Славянскому и Балканскому вопросам, а также впервые рождающегося в умах некоторых желания понять связь славяно-русских отношений к Франции в смысле возвращения последней утерянного положения в Европе завоеванием двух отнятых провинций и *линии Рейна* с наступательными на ней тет-де-понами[2].

В отношении последнего, как бы немцы ни старались *затемнить* этот вопрос путем купленной печати и им особенно за последние годы присущих интриг, сознание необходимости войны живет во Франции, и *нет* такого правительства, которое было бы в состоянии удержать от вмешательства Францию,

---

[1] Австрийцы, вероятно, намереваются во что бы то ни стало энергично покончить со своим славянским восстанием (*фр.*).

[2] Плацдармами (*фр.*).

если бы обстоятельства сложились невыгодно для Германии. Народною поговоркою нынешнего поколения стали слова Кн. Меттерниха: Les Allemands ont cela de bon, que lorsqu'on les bat bien fort et qu'on les pousse dans un coin ils y restent d'ordinaire; mais quand ils sont les plus forts, c'est le «*dévergondagede'a brutalité!*» — Espérons que ce siêcle ne finira pas avant que nous ayons vu prouver une fois de plus le premie[1], прибавляет француз...

Полагаю, что Вы признаете извинительным, что в таком настроении сердца и головы я сближался с известною частью печати, желающей нам сочувствовать, более страстно, чем осторожно... Этим воспользовались с целью *доброю*, и как мне *теперь ни трудно* мне *не жаль случившегося*.

Что сказать Вам про *приписываемую* мне речь сербским студентам. Ее я, собственно, никогда не произносил. Да и вообще никакой речи не говорил. Пришла ко мне сербская молодежь на квартиру, говорили по душе и, конечно, не для печати. С. Farcy[2] напечатал то, что ему показалось интересным для *пробуждения* французского общества и со слов студентов, меня не спросясь.

Я бы мог формально отказаться от мне приписываемой речи, но переубедили меня и Гамбетта, и madame Adan. Первый особенно настаивал на ее полезном впечатлении в молодежи, армии и флоте; так как, в конце концов, все сказанное в газете France сущая правда и, по-моему, могло повести не *к войне*, а *к миру*, доказав, что мы сила — то я и решился не обращать внимания на последствия лично для меня и молчанием дать развиться полезному, т. е. пробуждению как у нас, так и во Франции законного и естественного недоверия к немцу».

Мысль о том, что «крамола» в значительной степени создана берлинским конгрессом и некоторыми разочарованиями, последовавшими за окончанием прошлой войны, не раз высказывалась Скобелевым. Вот что он пишет к одному из своих друзей: «С глубоким радостным волнением прочел я глазами и в особенности сердцем передовую статью в № 53 «Руси». Это честное русское слово возобновило в моем представлении недавнее столь тяжелое, чтобы не сказать позорное, прошлое. Стояние в виду Константинополя якобы с целью надругания над родными знаменами, преступный индифферентизм к русской чести и инте-

---

[1] Немцы до тех пор хороши, пока биты очень крепко и пока они обыкновенно загнаны в угол; но когда они очень сильны, то это «бесстыдство жестокости!» — Будем надеяться, что этот век закончится прежде, чем мы не докажем однажды большее превосходство» (*фр.*).

[2] К. Фарси.

ресам, дипломатически вынужденное отступление к Адрианополю, при громких ликованиях не только врагов, но, что тяжелее, и всего нерусского в Русских мундирах и вицмундирах, плач оставленных на жертву православных братий, вверивших нам свою судьбу, глумление британского флота и, наконец, окончательные результаты берлинского самобичевания. Тогда уже для слишком многих из нас было очевидно, что Россия *обязательно* заболеет тяжелым недугом *нравственного* свойства, заразительным, разлагающим. Опасение высказалось тогда открыто, патриотическое чувство, увы, не обмануло нас! Да, еще далеко не миновала опасность, чтобы произвольно недоделанное под Царьградом не разрушилось бы завтра громом на Висле и Бобре. В одно, однако, *верую и исповедую*, что наша «крамола» есть в весьма значительной степени результат того почти безвыходного разочарования, которое навязано было России мирным договором, не заслуженным ни ею, ни ее знаменами. В истории есть один пример подобного же гибельного нравственного падения, вызванного причинами, схожими, это могущественная тогда Испания — после сражения при Лепанто. У нее также отшибло память сердца, и люди, ошеломленные — свидетели отрицательного для родины мирового события — не в силах были передать потомкам идею святости и незыблемости государственного идеала. Поколение, сражавшееся при Лепанто, оставило истории лишь одно имя — автора Дон Кихота безрукого Сервантеса, гениальная сатира которого потрясла до основания католическую, монархическую и рыцарскую Испанию, уготовив вековое падение этой страны. Сервантес — тот же русский нигилизм. Caveant consules»[1].

Парижская «речь», никогда не произносившаяся Скобелевым, — произвела понятный переполох. Скобелев был вызван назад в Петербург, и вот что в пути он писал по поводу ожидавшего его в Петербурге. Письмо это — из Вильно.

«Наскоро пишу несколько слов; вероятно, до очень скорого свидания, так как меня известили, что меня ожидает неудовольствие Государя и отставка. Какую пользу в отставке я смогу принести отечеству, об этом поговорим после.

Пишут, что Стоян Ковашевич тяжело ранен...

В Варшаве как офицеры, так и солдаты меня встретили восторженно. Был в офицерском собрании Австрийского полка. Опять заставили говорить...

---

[1] Пусть следят консулы (*фр.; в знач.: быть настороже).*

Вообще очень отрадно было убедиться, что не трудно пробудить чувство доброе в нашей среде, конечно, если не глумиться над всем народным и не забивать систематически.

В течение нескольких часов пребывания в Варшаве я был поставлен в соприкосновение с представителями тамошней печати. Люди всех оттенков в Привислянском крае, по-видимому, крайне опасаются германского нашествия. Даже тяготение к Австро-Венгрии будто слабее, ибо, «все-таки нам будет еще хуже, чем теперь, так что лучше *из трех зол* выбирать меньшее... Тем не менее, я вынес убеждение, что при создающихся, повидимому, ныне международных отношениях из известной фракции польского общества можно будет извлечь пользу. Об этом впоследствии подробнее.

Петербург — аристократический (в смысле, конечно, Пушкинской родословной) и интеллигентно-либерально-чиновничий остался себе верен.

Теперь на очереди *требование* об отставлении меня от службы...

Мне не жаль ни своей службы, ни себя лично; я воспитал себя для служения идеалу... я не честолюбец, как меня выставляют немцы, в грубом значении этого слова. Жаль только, что влиятельный Петербург ощущает и теперь какое-то неодолимое блаженство купаться в грязном омуте отечественного унижения. В следующем письме постараюсь документально (отчасти) выяснить, чего мы достигли этим *случайным для всех нежданным переполохом*, вызванным приписываемою мне речью. Моя совесть мне, однако, подсказывает, что Господь избрал меня, в данном случае, орудием *мира*, а не *войны*. Что теперь *сделалось*, заставило и Германию призадуматься.

Если несомненно, что *льющаяся кровь в Боснии и Герцеговине есть первая параллель, заложенная Бисмарком против величия России*, то можно также надеяться, продолжая начатое в Париже, путем литературного сближения, *постепенно* провести во французскую, столь восприимчивую публику сознание связи, существующей ныне между законным возрождением Балканских и Австрийских славян и возвращением Франции Меца, Страсбурга, а быть может, и всего течения Рейна. Но надо работать. Конечно, наше дело только популяризировать эту мысль путем печати; но несомненно, что и это послужит к вящему охлаждению невыносимой заносчивости Берлина и хоть несколько ослабит лакейскую зависимость нашу. Недавно один из влиятельнейших государственных людей во Франции так сказал о немцах: le but maintenant est d'ébranler la *legende* de l'invincible Allemagne; le reste viendra de pres dans notre pays, — ne voyez vons pas que même quelques paroles lancées à l'aveuglette par un général en congé, leur font perdre la tète d'une maniére *inconvenante;* et

cela s'explique. — l'Allemaud en Europe est comme le voleur; il a peur du gendarme[1].

Здесь немцы силятся доказать, что мои слова о немцах *во Франции* потерпели фиаско. То же будто и в Москве, но во Франции *это не так.* Подробности до следующего раза, когда буду спокойнее».

Опасения Скобелева не оправдались.

В высшей степени интересен рассказ его о приеме в Петербурге. К сожалению, его нельзя еще передать в печати. Можно сказать только одно — что он выехал отсюда полный надежд и ожидания на лучшее для России будущее...

Переписка Скобелева с разными лицами дает богатый материал для определения этого сложного характера. Вот, например, как он отделял свои личные выгоды и отношения от общих государственных польз. Приводим в высшей степени интересное письмо его — где он говорит об одном из самых близких ему людей. Над этим письмом эпиграф:

Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева твоего.
(*1858. А. С. Хомяков*).

«Вчера узнал совершенно случайно, что *** писала о предстоящем к Пасхе назначении Графа А. В. Адлерберга Министром Иностранных Дел. Я знаю Графа более 30 лет. Люблю и уважаю его, как отца, и очень многим лично ему обязан, чего, конечно, никогда не забуду. Тем не менее меня *глубоко потрясла* возможность подобного исхода. Более *тяжелого* удара нельзя нанести национальной партии. Я так высоко ценю талантливость Графа Александра Владимировича, его твердость в убеждениях и неспособность к компромиссам в этом отношении, что думаю, *если* он продержится несколько месяцев, наша внешняя политика свернет опять и на очень долго в старую колею 1863 года. Очевидно, он навязан Европою, лучше сказать, Берлином и теми из влиятельных своих, о которых мы говорили.

Боюсь, очень боюсь этого назначения, и верьте недаром...

Если сообщаемый слух осуществится, *обстановка*, в *обширнейшем* смысле слова, может, а по-моему, *должна* измениться

---

[1] Цель заключается в том, чтобы поколебать *легенду* о необходимости Германии; вы не смотрите, что некоторые слова, вслепую брошенные отставным генералом, потеряли свое хладнокровие неуместным образом; и этому есть объяснение. — Немец в Европе, как вор, он боится только жандарма (*фр.*).

du tout au tout[1]. Иначе Граф не останется. При скором свидании поговорим обстоятельно. А теперь, пока, постарайтесь проверить мое мнение en politique il ne suffit pas d'entendre une cloch[2]... Дай Бог, чтобы я во всем ошибался!!!

Еще несколько слов о Графе. При всех его несомненных дарованиях, при всей его безупречной, высокой честности не думаю, чтобы он мог оставить по себе серьезный след даже в смысле осуществления его собственных политических идеалов.

Он дипломат старой школы, быть может, в лучшем значении слова; но он, думаю, *не политик*. В наш век не воскресить дипломатических влиятельных канцелярий, считавших династические соображения и тайну наиболее пригодными способами действия. Мы это видим на своих дипломатах, до сих пор воспитанных в Нессельродовских традициях. Не касаясь личностей, ибо есть люди с русским сердцем и талантливые во всяком ведомстве (Тегеранский, Зиновьев), справедливо сказать, что перед отечеством наша дипломатия, хотя бы с 1863 года, конечно, сослужила службу — даже хуже интендантства!!

В самом деле, не находится ли в наше своеобразно-переходное время дипломат старой школы к современному политику в том же отношении, в каком находился наш крымский кремневый солдатик к союзнику, вооруженному Минье или Энфильдом?..

Только политик в состоянии оценить всю необходимость несравненно широкой постановки вопросов народных, политических, социальных перед нервным, прихотливым, в высокой степени подозрительным, сегодняшним мыслящим большинством в Европе и даже у нас; только политик признает, наконец, всю неотразимую ныне силу печатного слова и, любя и уважая его законное общественное значение, увлечет его за собою во имя великой, в конце концов, *всем* одинаково дорогой, государственной цели. Таковые передовые могучие силы бывали во все века; вспомним Демосфена, Кромвеля, Петра Великого... но особенность нашего времени заключается именно в том, что люди *иного* закала стали немыслимы и, в силу вещей, останутся явлениями мертворожденными.

Кавур, Гарибальди, Бисмарк, Гамбетта, Биконсфильд, Гладстон, Митхад-паша... вот типы современных политиков. Как бледны перед этими Бейст, Шувалов, даже Горчаков, в котором все-таки нельзя отрицать хоть искры народного самосознания...»

---

[1] Совершенно (*фр.*).

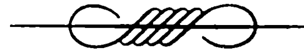
[2] В политике недостаточно только слухов (*фр.*).

Разумеется, Скобелев во многом ошибался. Но если бы я мог привести его магистральные убеждения и взгляды — между ним и нами вовсе уже не так была бы глубока бездна. По множеству мостов он мог перейти к нам и мы к нему. Случайность или преступление оборвало эту жизнь в самом начале. Служение, настоящее его служение народу только начиналось. Куда бы оно привело и его, и этот народ?.. Обстоятельства его смерти таковы, что тут конца нет вопросительным знакам. О них потом, в лучшие времена.

СОЛОВКИ

■

Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

СОЛОВЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ

Наступал июль месяц. Море в этот период было особенно тихо и покойно. Нам пророчили самую благополучную поездку в Соловки. Судя по рассказам, в июле не бывает ни качек, ни бурь. Белое море гладко, как зеркало. Правду говоря, мы сами рвались из Архангельска, потому что скучнее этого города трудно себе представить что-нибудь. Отсутствие общих интересов весьма печально отзывается во всем. Мы пригляделись здесь ко всему. Капризная погода, переходившая от летнего зноя к осеннему холоду, белесоватые, без тьмы и без света, ночи, северный ветер, дувший по три недели зараз без устали, столь же продолжительные дожди — все это надоело нам до крайности.

— Покупайте себе шубы!

— Как шубы? В июле-то месяце?

— Ладно. Что с того? У нас все не как у людей. Шарфами запаситесь!

— Это для чего же?

— Ночью на море страшные холода стоят. Невыносимо. Ведь не захотите же в каюте постоянно сидеть?

— Еще бы. Однако шуб не купим.

— Провизии возьмите с собой до Соловков!

— Да разве там купить нечего?

— Разумеется. Хотите — идите есть на трапезу, только предупреждаю, что монастырская пища — тяжела до крайности. Нужны для нее привычные желудки!

Пошли мы закупать провизию и подивились. Дороговизна ужаснейшая. Дешева оказалась только рыба.

— Советую прихватить лимонов и прочего. На случай качки.

— Да ведь вы же говорите, что качки не бывает здесь в июле.

— Так-то так — да неровен час!

Короче, мы сделали запасов на целый месяц. Прежде посещения монастыря мы хотели ознакомиться с его подворьями. Таких в Архангельске два; одно, большое, находится на набережной р. Двины, у самого Гостиного двора. Оно выстроено в два корпуса, двумя этажами на улицу и тремя во двор. Повсюду тут виден хозяйский расчет. Нижний этаж занят лавками и кладовыми, которых до 100. В них сложены — грузы железа, керосина и пр. предметы. Каждая лавка сдается по найму на год от 50 и до 100 рублей. В конце здания — в том же нижнем этаже помещается и часовня Соловецкого монастыря, весьма не представительная, но доставляющая обители кружечного сбору ежегодно более 3000 рублей. При нашем входе перед нами поднялся высокий, худощавый монах, на попечение которого возложена исключительно часовня. Это истощенное, бледное, аскетическое лицо поразило нас своим контрастом с только что оставленным шумным потоком жизни людного рынка. Там все говорило о настоящем дне, здесь все обнаруживало искание града грядущего и отрицание града, зде пребывающего. От этих старинных сумрачных икон, от этой тяжелой сводчатой комнаты веяло невыносимою, тоскливою борьбою живой человеческой души со всеми ее земными радостями и привязанностями; лица образов сурово смотрели из-за золоченых рам своих, и только кроткий, улыбающийся лик Богоматери, с Божественным Младенцем на руках, навевал чудное спокойствие на верующее сердце. А во взгляде этого ребенка и теперь уже светился тихий, ласковый, умиляющий призыв: «Приидите сюда, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы». Низко склонились всклоченные головы крестьян-богомольцев. Где-то в углу от сознания ясного счастья рыдала старуха, прошедшая тысячу верст, в чаянии помолиться над мощами Соловецких угодников. У самых дверей часовни две сгорбленные нищенки протягивали к нам заскорузлые, тощие руки. И для этих нет — зде пребывающего града, и эти веруют — в Иерусалим грядущий!.. И отрадная вера спасет их от отчаяния, от тяжелого сознания ужаса своего положения.

О ты — горний, грядущий Иерусалим! Не одно исстрадавшее, облитое кровью сердце бьется великою верою в твое пришествие. Не один грустный взгляд измученного устремляется в синюю, бездонную высь, следит за серебристо-белыми ее облаками, словно испытуя, где сверкают стены этого града, где сияют купола его, где зыблются и шепчут, зеленеют и цветут благоуханные сады Эдема...

Нам, кого жизнь придавила своею тяжелою пятою, нам, оставляющим капли лучшей крови своей на каждом камне мостовой, нам, чье ложе было не раз измочено слезами, чьи

рыдания слышала равнодушная, темная ночь, нам разбитым, нам раздавленным, нам униженным — ты ярко сияешь в лазурной высоте надписью, начертанною Божественным Спасителем на вратах твоих:

«Приидите сюда, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы!»

Мы вошли во двор подворья. Весь второй этаж четырехугольника занят квартирами, отдающимися внаем от 200 р. в год и выше. Как нам говорили — это одни из лучших квартир в городе. Высокие, большие комнаты, светлые окна, чистые входы — хоть бы и в столицу. На дворе разбрелись богомольцы самых разнообразных типов. Вот высокий, угловатый вятчанин-хлебопашец, вот причмокивающий красивый шенкурец, тут целая толпа пермяков, а там олончане, словно чему-то удивляющиеся, чего-то непонимающие. Между ними сновали бабы, растерянные, суетливые.

А вот среди общего движения — равнодушный ко всему, с трубочкой в зубах, отставной ундер. Шинель его в лохмотьях, одна нога в лапте, другая в каких-то опорках, на голове вместо шапки какая-то невообразимая кошка, но вглядитесь в это спокойное лицо, и вы поймете, как мало смущают его треволнения и бедствия его жизни. Была бы засыпка табаку, краюха хлеба в суме, — а там хоть трава не расти. Две-три медали болтаются на груди его, в руках костыль, а рядом с ним ребятишко, маленький, курносенький, быстроглазый.

— Сын, что ли? — спросили мы его.

— Какое! Так... На дороге его поймал — без роду, без племени. — И он погладил его шершавую голову жесткою, крупною рукою... — При мне и кормится...

Вот где-то запричитала баба. Толпа кидается к ней.

— Что с тобою, бабушка?

— Маточки... отцы родные... ох, беда пришла... Что я поделаю, горе-горькая сиротинушка...

— Да что тебе?

— На базаре должно быть плат потеряла.

— Дорогой плат-от, что ли?

— Дорогой, кормилец, дорогой. Три светлушечки дала за него. Шестьдесят копеек... Ох, голубчики!

— Ну, полно выть, — выдвигается один вологжанин. — Что плат-от? Новый купишь и шабаш!

— Да в ем, отец, в плате-от деньги мои кровные... Ах, родимые, пятьдесят целковичков, да билет. Голубчики вы мои... Легше бы скрозь землю...

Толпа молчит. Лица бородатых слушателей смущены... Каждому близко к сердцу такое несчастие.

— Свои деньги, что ль?

— Два десятка своих, а остатошные посбирала на Соловецких угодничков. Как они теперь... Соловецкие угоднички? Не по-ми-лу-ют... Голубчики, отцы-ы ро-одные!..

— А ты не горюй, — вступается монах, — ты не горюй. Вера твоя спасет тебя... Усердия одново довольно!

— Да как же я до угодничков доберусь-то, кор-ми-илец?

— На пароходе даром свезем.

— Родной ты мой... А билет-от?

— Как-нибудь... Не горюй... Поди в часовню — помолись, как рукой снимет!

— Снимет?

— Снимет, как не снять, — загалдела толпа. — Ступай, матка, в часовню... Снимет разом!

И старуха, плача, поплелась в часовню.

Тут в первый раз мне кинулось в глаза различие между монахами Троицко-Сергиевской лавры и Соловецкого монастыря. Когда я ездил в первую, меня в подворье встретил монах в рясе лионского бархата, с золотою часовою цепочкой на груди и кольцами на руках. Тут же все попадавшиеся навстречу монахи носили толстого черного сукна рясы и грубые крестьянские сапоги.

— Что, у вас все так одеваются? — спросил я у первого монаха.

— Как это то есть? — недоумевал тот.

— Да так, лучше не носите одежды, как в других монастырях?

— Нет, у нас этого не положено. Потому нам другой одежды не требуется. Мы ведь больше из крестьян. В прочих обителях — может, дворяне есть, ну, так те приобвыкли. А нам и то хорошо!..

Вот мимо проходят две девушки-богомолки. Глаза черные, темные косы низко опускаются по спине. Высокая соболья бровь оттеняет загорелый, но красивый лоб. Совершенно не северный тип!

— Откуда, молодка?

— А с Пилтавской губерныи!

Так и есть — знойный, горячий юг!..

Вот какой-то мещанин, как оказалось потом ярославец, в сером драповом халате, тащит на плечах безногого уродка. Тоже богомольцы. А там за ними, словно фон картины, целые десятки однообразных серых армяков, вперемежку с синими сарафанами.

— Можно осмотреть, где помещаются богомольцы?

— А пожалуйте, вот по той лесенке!

Мы поднялись — и вошли. Большие, выбеленные комнаты, с нарами посередине. Все чисто. Воздух свеж, вентиляция устроена хорошо. Кучка богомольцев галдела о каких-то пошехонских старушках, делающих чудеса на Иванов день. В углу слепой пел песню об Алексии — Божием человеке. Гнусливый, носовой напев смешивался с густым храпом спавшего на нарах

судорабочего. В другой комнате — были женщины. Тут, как и следовало ожидать, стоял гвалт неописанный. Две ветхие деньми старушонки с утиными носами, резко выделявшимися на съежившихся в кулачок личиках, перекорялись одна с другою из-за какого-то калача. Старая бедняга чиновница гордо сидела в углу одна, не смешиваясь с чернью. Побывавшая во всех городах и, разумеется, во всех острогах, странница рассказывала о пупе земном, лично виденном ею в Ерусалим-Голгоф-Гефсиманской, об огне, исходящем из внутреннего нутра Печорских святителей, о стреле, язвящей, но не пронзающей, о разных пророческих явлениях, о живом двуглавом орле, находящемся будто бы в золотой клетке, в царском дворце в Питере, о стоглав-змие, чуть было не пожравшем ее, потому что она, отправляясь в Ерусалим-Голгоф-Гефсиманскую, помыслила о земном — о кофие, тут же откровенно признавалась она.

— Как же ты, матушка, — водой, чать, ехала в святые места?

— В Ерусалим-Голгоф?

— Да.

— Все по суше... Пешечком все, на этих самых ноженьках, родная!

— А моря не встречала?

— Было, признаться, одно море, где фараон с воинством на колеснице — потоп. Одначе, как мы подошли, так оно сейчас и отхлынуло. Мы по белому, белому песочку, с золотыми и брульянтовыми камнями, так и прошли. Как на бережок вышли — вода опять сошлась. Чудо!.. И сколько чудес этих — не перечтешь. И все — чудеса разные. В одном месте водой девствует, в другом — огнем, а в третьем — ароматом на тебя пущает... Да, сподобилась я, грешная, за мое сиротство горькое, да за добродетель мою. Смирение — великое дело перед Господом!

Мы вышли отсюда.

Нужно было справиться о цене переезда в Соловки, на пароходах этого монастыря.

В конторе подворья нам дали билеты на каюты I класса.

Каюта первого класса на 4-х человек стоит в Соловки и обратно 12 р., второго класса — 8 р., место в общей каюте первого класса (в два конца за все) — 6 р., во втором — 4 р., третьеклассные места на палубе — 3 руб.

У Соловецкого монастыря есть два парохода — «Вера» и «Надежда».

Другое подворье помещается в Соломбале, у пароходной пристани; это двухэтажное здание с отдельным флигелем, — где помещается часовня. Мы еще будем иметь случай рассмотреть его. Третье подворье находится в Сумском Посаде, Кемского уезда. Было еще четвертое, в г. Вологде, но оно уже давно продано частному лицу.

Выходя из ворот Соловецкого подворья, мы случайно увидели под самой крышей, в выходящих на двор стенах его, маленькие окошечки. Оказалось, что практичные монахи устроили там маленькие комнатки, которые и сдаются внаем разным чиновницам мелкого ранга. Тут ютится благородная и высокоблагородная нищета. Тут гнездится бедный люд, утешающий себя тем, что умереть в Соловецком подворье все равно, что умереть в самом монастыре. Значит, все поближе к царствию небесному.

— Много ль у вас богомольцев скопляется одновременно? — спросил я, уже выйдя из подворья, у подвернувшегося мне монаха.

— Человек по 900 бывает!

— И все крестьяне?

— Крестьяне!

— Из каких больше губерний?

— Вятской, Пермской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, да почти со всей России идут сюда. Как начнется судоходство, народ и валит. Теперь еще поотошло. Все же в год тысяч двадцать пять перебывает, до тридцати доходит... Вы тоже к нам?

— Да.

— Поезжайте; есть, где поместиться. У нас места святые! Афон Русский — наши Соловки!

Итак, в Русский Афон!

I

ПАРОХОД «ВЕРА»

Мы отправились из Архангельска в Соловки летом 1872 года на монастырском пароходе «Вера». Солнце в городе пекло немилосердно. Все обещало спокойное плавание. На небе ни облачка, флаги на мачтах судов неподвижно повисли. Двина была зеркальная. Ни малейшей ряби...

Толпа на пристани казалась все меньше и меньше, отдельные лица сливались в одну массу и, наконец, исчезли вовсе, когда пароход, следуя течению реки, круто повернул направо.

Нас в каюте собралось немного: какая-то старая дева с подвязанною щекою и маленькими, бойко бегавшими глазками. Толстый вятский купец беседовал в углу о душеспасении, о приближении грядущего града с «батюшкой» — красивым стариком, отличавшимся тем хитро-добродушным выражением лица, которое составляет едва ли не главную отличительную черту всех чисто великорусских физиономий.

Первые полчаса мы знакомились с пароходом.

Тут все поражало нас удивлением. Командир парохода, рулевой, машинист, матросы — весь экипаж его состоял из мо-

нахов. Странно было видеть моряков в клобуках, точно и быстро исполнявших распоряжения своего капитана — небольшого, худощавого инока, зорко оглядывавшего окрестности. Не слышно было приказаний вовсе. Движения его руки определяли каждый шаг корабля, превосходно выполнявшего эту безмолвную команду. Высоко, на главной мачте парохода, сверкал ярким, режущим глаза блеском вызолоченный крест, вместо флага. Вот на него опустилась, словно серебряная, чайка и, отдохнув с распростертыми крыльями одно мгновенье, она ринулась в недосягаемую высоту так быстро, что у нас невольно захватывало дыхание, когда мы следили за ее полетом. Резкий, словно плачущий, крик ее донесся оттуда.

Палуба была вся загромождена богомольцами.

Всех пассажиров пароход вез около 450 человек.

Это — прекрасное винтовое судно, купленное монастырем за бесценок и крестьянами-монахами переделанное для Белого моря. Легкий на ходу, быстрый пароход «Вера» совершенно приспособлен к этим капризным и опасным водам.

Мы втроем присели у самого края кормы на круге свернутого каната и невольно загляделись на широко расстилающуюся позади даль, окаймлявшую зеленовато-серый простор Двинского лимана.

Направо и налево даль ограничивалась низменными, пустынными, зелеными берегами. Только изредка убогое село сползало к самой реке. Кое-где, словно в воздухе, висели белые колоколенки и купола деревенских церквей.

Порою из однообразной массы лесных вершин, едва-едва заметных в отдалении, виднелись туманные линии еще более далеких рощ, точно окутанных голубым флером. Песчаные промежи, сверкая золотыми извивами, тянулись вдоль зеленой каймы то узкими, как острие, чертами, то широкими, как ярко блестящие щиты, отмелями. С парохода на них можно было разглядеть черные точки вверх дном опрокинутых карбасов; вблизи их копошились и ползали в разных направлениях еще меньшие точки.

Кое-где вдоль береговой линии, будто крылья чаек, мелькали паруса. Они, казалось, вовсе не подвигались вперед.

В самом центре зеленой каймы, там, где правая и левая сторона ее почти смыкались перед нами, висел в голубом прозрачном воздухе белый город; как мелкие искры блистали, меняя постоянно направление своих лучей, купола церквей и соборов. С каждым движением парохода то выдвигались белые линии набережной, то вырезывались белые силуэты колоколен. Город поднимался над рекою все выше и выше. Казалось, между ним и уровнем воды легла смутная, мглистая полоса... она все ширилась и ширилась... искра за искрой пропадала над нею; белая линия суживалась и сокращалась... Вот и все погасло,

только одна точка еще лучится, когда вглядишься в эту даль. Одна слабая точка, да и та, кажется, высоко в небе. И она потухла, и зеленые берега сомкнулись перед нами.

А впереди были облака, вода и небо.

На самом краю его, как неведомый, чудный гористый край, постоянно меняя свои очертания, вздымалась серебряная, матово-серебряная, с золотисто-голубыми тонами полоса облаков... Воображение дорисовывало между этими фантастическими вершинами призрачных гор — глубокие, лесистые долины, на тихих берегах белые города, маленькие, все потонувшие в зелени. Так и манило туда, туда, далеко — в эти поэтические пустыни.

А капитан-монах опасливо глядел на эту, все выраставшую из-за моря кайму. Зоркие глаза его как будто высматривали что-то грозившее пароходу. Не бурю ли?

Что за дело! Пока еще лазурь уходившего в недосягаемую высь неба была безмятежна, упругие волны смиренно лизали бока парохода, бесконечный простор дышал красою мира и покоя.

Откуда-то с берега ветром донесло как будто звуки пастушьего рожка... Да, это они. Целый рой воспоминаний, красок, образов, голосов словно вспыхнул в памяти. Так разом поднимается вверх встревоженный рой пчел. Какою-то прелестью уединения веяло от этих звуков... Мы, словно зачарованные, внимали им. И тихая грусть незримо-неслышимо проникала в сердце...

А берега казались все ниже и ниже, концы их направо и налево все отходили от нас, сливаясь с серым простором лимана.

— Скажите, какая огромность! — послышалось за мною, и все очарование исчезло. Флюс в юбке наслаждался природой.

За одно это выражение я готов был выбросить ее за борт.

II

ОТЕЦ ИОАНН — КОМАНДИР ПАРОХОДА

Я поднялся наверх к капитану.

Отсюда вид становился еще шире. Казалось, что еще миг — и полусмытые берега лимана пропадут вовсе. Мимо нас быстро проплыла поморская шкуна. На одну минуту в глазах мелькнули две невысокие мачты, три паруса и какой-то коренастый малый в шерстяной фуфайке, копошившийся на палубе. На корме шкуны преспокойно спала поморка, в алом кумачном сарафане.

И снова пустынная ширь зеленовато-серой воды.

Капитан парохода крайне заинтересовал меня своею наружностью. Небольшого роста, весь как будто состоящий из нервов и жил, он ни на одну минуту не оставался в бездействии: то он сбегал вниз к рулю и сам поворачивал его, избегая переносных

мелей, то опять зорко оглядывал окрестности, командуя экипажу. Белая парусинная ряса во все стороны развевалась ветром, черный клобук торчал на затылке, длинные каштановые волосы обрамляли еще молодое, но серьезное и умное лицо, все черты которого обнаруживали мужество, силу и сметливость.

— Сколько поднимает «Вера»?

— Пятнадцать тысяч пудов!

— А на ходу пароход каков?

— Да без балласта девять узлов в час делает. Вот придем в монастырь, поставим его в доки, да переменим винт, так еще быстрей пойдет!

— Дорого он достался монастырю?

— Тысяч за двенадцать; восемь израсходовано на приспособление его к Белому морю. Разумеется, ежели сообразить, что рабочие у нас даровые, то ценность «Веры» окажется еще выше!

— Так вы в настоящее время не отправляете пароходы для переделки за границу?

— Нет... Теперь мы и сами научились пароходы строить. Пароход «Надежду» мы сами выстроили. Вот для «Веры» винт отделаем в монастыре, в собственных горнах. Она еще недавно у нас плохонько ходила. Винту недоставало хороших приспособлений. Может быть, слышали, что пароход Беломорско-Мурманской компании «Качалов» стоял в наших доках для починки; ну, мы высмотрели в нем новое устройство винта и сейчас же сделали сами составной винт для «Веры».

— Как вы попали на пароход? Странно как-то видеть монаха, командующего судном!

— Да ведь я с четырнадцати лет по морю хожу. И за границею, и здесь!

— Ба! Я ведь, значит, о вас-то и читал. Вы возили Диксона по Соловецкому монастырю?

— Я, сам.

— Так вы и есть о. Иван?

— Я.

— Читали вы, что он пишет о вас в «Свободной России»?

— Нет.

Я ему рассказал. Очерк Диксона оказался не совсем верен. Я воспользовался случаем, чтобы от самого отца Иоанна узнать историю его жизни, полной самых неожиданных контрастов и приключений. Он четырнадцати лет кончил курс в Кемском шкиперском училище. На поморские шкуны и теперь не легко попасть воспитаннику этой школы. Наши поморы-судохозяева обходятся пролетариями-летниками, готовыми из-за хлеба да из-за податей наняться на суда. О. Иоанну деваться было некуда. Долго не думая, он поступил матросом на ганноверский галиот,

который нуждался в русском, так как по случаю датской войны он ходил под нашим флагом. Способный юноша только что стал свыкаться со службою, как во время сильной бури в Немецком море галиот разбило о скалы, и изо всего экипажа спаслось только трое матросов. Одним из них был наш соотечественник. Возвращаться домой ему не хотелось. В нем кипели молодые силы; сердце неудержимо рвалось вперед, глаза смело глядели в загадочные дали будущего. Добравшись до первой гавани, он поступил на немецкое судно, обошел на нем вокруг света и вернулся в Германию, отлично узнав немецкий язык. Тут подвернулся английский китолов, и о. Иоанн отправился в южные полярные моря бить китов, потом ходил в Ла-Манш, в Ирландском море, вел жизнь кипучую, отважную до дерзости, полную огня и страсти. Вернувшись в Лондон, он уже говорил по-английски, как англичанин, хотя с несколько простонародным выговором. Потом опять ряд скитальчеств, ряд морских похождений — то матросом, то шкипером купеческого корабля, то кочегаром на пароходе, то помощником капитана на нем же. Чего он не переиспытал в это время! Он побывал под всеми широтами, перезнакомился со всеми и образовал из себя отличного моряка-практика. Бродяжничая таким образом по свету, он на какой-то набережной в Плимуте услышал унылую русскую песню, и сразу точно что-то оборвалось в его сердце. Вспомнилась далекая родина, забытая семья, скалистые берега Поморья, где еще ребенком он справлялся с морским карбасом, смело правя рулем против пенистых валов. С тех пор он не знал покоя. Родные песни его преследовали повсюду. Задумается ли на палубе в бессонную ночь, и кажется, что кто-то его кличет издалека; захочется ли петь — неудержимо рвутся из груди знакомые старые мотивы, столько лет забытые и в один миг воскресшие в его памяти. Чужбина ему стала ненавистна. Он чуть не дотосковался до чахотки, вернуться же было опасно. Россию он оставил самовольно, без паспорта прожил за границею более двенадцати лет — и настолько знал наши законы, что сильно опасался за себя. Долго еще он маялся таким образом и, наконец, решился. Будь что будет, а он вернется домой — хоть в тюрьму. Острог на родине казался ему милее привольного скитальчества по беспредельным морям и океанам чужбины. Не долго было до исполнения. Он взял место на одном из пароходов, шедших в Архангельск из Ливерпуля, и, припав к родной земле, поцеловав ее и облив горячими слезами, добровольный изгнанник явился к начальству. Мудрое начальство сейчас его — в острог, к ворам и разбойникам, в одну с ними камеру. Потом он узнал прелести российских этапов. Прикованный с шестью другими бродягами на одну цепь, он в таком виде прошел в Кемь, откуда уехал первоначально. Там опять душный, смрадный острог, допросы, следствия, цепи, и это —

человеку, привыкшему бороздить бесконечные океаны, освоившемуся с кипучею, полною огня деятельностью. Тут отец Иоанн, вероятно, искренно раскаялся в патриотизме. Здесь же он дал обет целый год, в качестве простого рабочего-богомольца, проработать св. Зосиме и Савватию в Соловецком монастыре, если удастся избавиться от грозивших ему арестантских рот. Суд праведный, разумеется, приговорил его к ротам, но нашлись люди, принявшие в нем участие, и он был освобожден оттуда. Тотчас же, по обычаю, усвоенному населением Севера, и согласно своему обету он отправился в монастырь «работать на св. Зосиму и Савватия». В монастыре его поселили в казарме богомольцев-рабочих, и целую зиму он проработал, не рассказывая о себе ничего. Труд ему доставался самый тяжелый, какой бы он едва ли вынес, если бы не одушевлявшая его мысль — отблагодарить Зосиму и Савватия за спасение от окончательной гибели. Тут он и таскал тяжести, и пилил доски, и рубил дрова, и занимался в кожевне, и был мусорщиком. Наконец, подошел июнь месяц, и монахи, еще не зная в нем моряка, выбрали его в матросы. Пароход «Надежда» вышел из соловецкой гавани в море. На самой середине пути в Архангельск разразилась страшная буря. Команда потерялась. Управлявший кораблем и плохо знавший свое дело монах путался, пассажиры своим смятением и отчаянием еще увеличивали затруднительность положения. А буря все усиливалась и усиливалась. Пароход потерял мачты, снасти изорвало в клочки. Гибель казалась неизбежной. И вот, когда последняя надежда была потеряна, когда одни шептали молитвы, заживо погребая себя, а другие погрузились в мертвую апатию — вдруг на пароходе грянула громовая команда: все дрогнуло, матросы бросились по своим местам. Все обернулись к капитану и на его месте увидели отца Иоанна, самоуверенно выступившего на борьбу со стихией. Он вдохнул свое мужество в самых робких: энергическая деятельность сменила тупой ужас; новый командир целую ночь, сам стоя у руля, боролся с рассвирепевшим морем, и уже в полдень на другой день пароход тихо и благополучно входил в архангельский порт. Таким образом отец Иоанн спас четыреста жизней и первое паровое судно монастыря.

Монахи не любят выпускать из рук полезных людей, и о. Иоанн остался вольнонаемным командиром монастырского парохода, с жалованьем в 300 р. и полным содержанием от обители. Тотчас же вслед за тем благочестивые иноки начали склонять дорогого им человека принять пострижение. Хотя о. Иоанн и не высказывался никому, но понятно само собою, какую борьбу должна была выдержать эта страстная натура прежде, чем произнести обеты отрешения от жизни, добровольного самопогребения. Наконец, он сделался послушником. Другие до первого пострижения ждут 8, 9 и 10 лет, а ему оно

дано было в первый год: уж очень нужный человек, как бы не одумался, да не ушел. Тотчас же вслед за пострижением жалованье ему было сбавлено, ибо то, что он прежде делал за деньги, теперь он должен был делать по обязанности. Затем обитель дала ему второе пострижение, после которого он имел случай везти на своем пароходе великого князя Алексея Александровича. Когда Его Высочество предложил ему, кажется, 200 р. в награду за труд, он ответил: «Монаху деньги не нужны; мне было бы приятно иметь какую-нибудь память от вас». И скорее согласился принять простые серебряные часы, чем деньги.

Когда я уехал в Соловецкий монастырь, о. Иоанн уже получал только 100 р. в год и 25 р. за навигацию в виде награды. Все эти деньги он тратил на выписку книг и инструментов по своей специальности. После уже я узнал, что он получил третье пострижение. Итак, иеромонах Иоанн крепкими узами связан теперь с обителью. Да как последней и не стараться залучить к себе такого человека? О. Иоанн положительно лучший моряк во всем Беломорском флоте. Жаль только, что его знания пропадут даром, если он бросит работать на том поприще, где его способности так блестяще применяются теперь.

Ему станут платить, вероятно, очень немного.

— Я теперь работаю не на себя, а на св. Зосиму и Савватия! — И в его голосе слышалось глубокое религиозное волнение, что ему, впрочем, не мешало зорко оглядывать окрестность, все более и более расширявшуюся перед нами.

— И вам не хочется воротиться в мир?

— В мире пагуба, в мире несть спасения!

И это говорил полный жизни, мужества и кипучих сил молодой человек. Да, вера — великое дело, она, действительно, движет горами! Кто бы мог подумать, что под этою смиренною рясой хоронится жизнь, богатая такими сказочными переходами, событиями!

— И вам не скучно в монастыре? — добивался я.

— Молитва и работа не допускают скуки. Скучают только тунеядцы!

В лице о. Иоанна Беломорский флот лишился человека, которого ему не заменить нынешними своими капитанами. Это невознаградимая потеря.

Пока я размышлял о странной судьбе этого монаха, левый берег Двины пропал вовсе, и в стороне перед нами словно вырос из однообразного серого простора, мерно, ритмически катящихся валов Мудюжьский остров с зеленой щетиной соснового леса и стройною круглою башней старого маяка. Здесь тянется опасная мель. Тут же предполагается устроить станцию для спасения погибающих при крушении судов.

Скоро мы были в открытом море...

III
НА ПАЛУБЕ

Палуба парохода была загромождена народом.

Богомольцы кучками сидели у бортов, у входов в каюты, на свернутых канатах, бочках, ящиках, сундуках и узлах. Борта были унизаны головами. Всюду стоял неумолкаемый шум. Около трехсот человек говорило, смеялось, молилось и пело.

Из четырехугольного отверстия трюма вырывались на свет Божий целые снопы голосов. Там, словно в купели Силоамской, собралось множество слепых и хромых, глухих и болящих, всех чающих движения воды. Калеки в невообразимой тесноте громоздились одни на других. Сверху все это казалось целою кучею тряпья, из-под которого выглядывали изможденные, измученные лица, худые, словно закостеневшие руки и голые, струпьями и придорожною грязью покрытые, ноги. Чем дальше к углам, тем все это больше уходило во тьму и, наконец, совсем пропадало, только гулкий разноязычный говор позволял догадываться, что там копошатся и отдыхают кучки разного голутвенного и недужного люда.

И наверху народу было, что называется, невпроворот.

Больше всего вятских крестьян. Понурые, исхостившиеся, они сидели артелями, безмолвно поглядывая друг на друга, и только некоторые подавали признаки жизни, с трудом пережевывая черствый хлеб. Олончане шумели больше всего. Между ними пропасть баб, и все какие-то иконописные, с сухою складкою узких губ на старческом, застывшем в одном выражении отрицания прелестей суетного мира, лице. Кое-где бродили заматерелые в бродяжестве странницы, те обшмыганные, юркие, на все готовые странницы, которые по земле русской и в одиночку, и целыми вереницами тянутся от одних угодников к другим, то на перепутье нежа свои усталые ноженьки в купецких благолепных хороминах, то попадая в темницы тесные, к татям и разбойникам. Трудно сказать, что и в настоящее время без этих ходячих четьи миней делали бы мастодонты и плезиозавры нашего торгового мира. По захолустьям и теперь для шестипудового негоцианта нет выше наслаждения, как, попарившись в бане, послушать за чайком такую словоохотливую странницу, которая, по ее собственному признанию, от юности отвратила лицо свое, от жития блудного, от мира прелестного, возлюбив наипаче всего мати-пустыню прекрасную и обители святые, благочестием иноков и памятью угодников своих, словно камением драгоценным, украшенные...

Были тут и странники. Это народ — строгий, серьезный, неподвижный, с устоем. Из-под черной, свалявшейся на голове, скуфейки зорко глядят острые, насквозь вас пронизывающие глаза; клочья серых, запылившихся волос выбиваются и на лбу,

и по сторонам лица. Серую из грубого крестьянского сукна ряску охватывает широкий ременный пояс. В руках — посох, ноги — босы, а из-под ряски иногда выглядывает власяница. Только крупные, алые губы дышат чем-то иным, не аскетическою замкнутостью, порвавшей все свои связи с миром жизни, а чувственным, жадным, неудержимым стремлением к этому самому миру, к этому самому блудному и пьяному житию. Но пусть только этот гражданин леса и проселочной дороги заметит на себе посторонний взгляд: в один миг погаснут глаза, на лице разом отпечатлеется стереотипная, иконописная сухость и строгость, губы как-то подберутся внутрь, и богатырская грудь станет впалой, и голова словно войдет в плечи, и цепкие, крупные руки благочестиво сложатся в крестное знамение. Они на пароходе при других, на улицах больших городов, в монастырских подворьях сторонятся от странниц, обзывая их чертовыми хвостами, блудницами вавилонскими. Тут, разумеется, говорит зависть. Страннику никогда не усвоить того юркого, увлекательного языка, никогда не суметь сымпровизировать на месте рассказы о чудесах и подвигах, о великих видениях в нощи, о князьях власти воздушные, на которые так щедры и изобретательны странницы.

Между народом бродили и монашки-подростки. Это дети, одетые в костюм монастырских послушников. Возраст их колеблется между 9 и 15 годами. Тут в них еще заметна какая-то робость, неумелость, но месяца через два — в монастыре их не узнать. Это большею частью сыновья зажиточных крестьян Архангельской губернии, а также Вологодской, Вятской, Пермской и Олонецкой; отцы их дали обет послать детей в монастырь на один год для работы на Соловецких угодников. Как обитель воспользовалась этою живою силою, будет рассказано ниже. Тут же нельзя не выразить тяжелого впечатления, производимого этими молодыми, смеющимися лицами, этими бойкими деревенскими парнишками, от которых так и веет веселостью, но одетыми в полумонашескую черную одежду, знаменующую полнейшее и непримиримое отрицание жизни со всем ее светом и теплом, со всеми ее радостями и печалями. Монашки-подростки, прожившие на Соловецких островах год, побывавшие затем дома и теперь возвращавшиеся обратно в обитель добровольно, с целью остаться там навсегда, носили уже на себе совершенно иной отпечаток. Ни одного резкого движения, ни одного лишнего взгляда, на их свежих лицах ни луча, ни смеха. Они до неприятного подражали взрослым инокам. Та же спокойная, строгая осанка, та же размеренность движений, те же опущенные ресницы. Видна дисциплина самая беспощадная. Если бы возможно — малые сии были бы большими аскетами, чем их идеалы — взрослые и вполне освоившиеся со своею ролью монахи.

Только архангельские мещанки без умолку трещали о своих делишках, заняв лучшие места между мачтами и у бортов. Тут живо переходили из рук в руки чайнички, чашки с чаем, кофеем, пироги и всякая снедь. Увы! Если бы они знали, какую тяжелую участь приготовляли себе впереди.

Общая картина палубы была весьма эффектна.

Яркие наряды женщин, группы скученного народа, все это облитое знойными лучами яркого летнего солнца, все это двигавшееся, суетившееся, шумевшее. В кормовой части на платформе помещались пассажиры «почище», восторгаясь картиною открывавшегося впереди моря и поверявшие друг другу свои впечатления.

Я вошел туда.

В одной группе шел разговор о расположившихся внизу крестьянах. Мне и прежде кидались в глаза их лохмотья и особенно измученные, даже здесь выделявшиеся какою-то натугою, лица. Казалось, целые поколения нищенства, кабалы и неволи создали такие осунувшиеся черты, такие равнодушные терпкие взгляды. Рука невольно тянулась в карман за подаянием.

— Вы действительно думаете — убогие? — рассуждал вятский купец, один из тех, которые готовы задушить своего рабочего человека, чтобы только выжать из него лишний грош в свой карман.

— Да поглядите на них, так голодом и несет!

— Потому что они добровольно голодали всю дорогу, именем Христовым питаясь. А знаете, что между ними есть такие, что несут в монастырь по 100 и по 150 рублей, завернутых в тряпке. Спросите вон у монаха!

Спросили. — Бывает, да редко... Все же случается. Один пришел такой-то, триста рублей принес.

— Да ведь это нищие! — вырвалось у меня.

— Некоторые из них только Христа ради нищие. Такой нищий как придет, так мало-мало десять целковых вывалит, а нередко и пятьдесят, и сто. Усердие к святыне! Поди, у другого и дома есть нечего — а тоже на благолепие обители от души жертвует свою лепту. Есть, что коровенку свою продают ради этого.

— Хороша лепта для крестьянина — целый капитал!

— И какой еще капитал, семья на ноги встанет!

— Для Бога, господа, больше трудятся... Для Господа Бога. Приверженность эту чувствуют.

— Расспросите вон у того, у кривого-то, — обратился ко мне вятчанин, — как на него в Орловском уезде разбойники напали. Смеху, то есть, подобно. Перед тем один мещанин ехал — того ограбили и убили. Ну, а этого, как поймали, сейчас: «Куда идешь?» — «В Соловки...» — «Врешь, сучий сын. Кажи мошну». А у нас знаете, коли кто идет к угодникам, так все село

поминальные записки дает, о вечном или срочном там поминовении. Этаких документов у другого целый воз. Тот сейчас разбойнику кажет мошну, смотрят — действительно, что в Соловки идет человек... Ну, говорят, ступай, помолись за нас грешных, потому ты, значит, о душеспасении... А атаман ихний вынимает из кошеля своего двадцатьпятную, — на, говорит, запиши и меня, чтобы по гроб моей жизни, потому как я во многом грешен... В Анзерском, говорит, ските запиши на вечное поминовение и отдай пять рублев, ну, а двадцать угодникам в кружку. Закажи молебны о здравии и в кружку... А одначе сапоги с него сняли, босым так и пустили.

— Известно, народ отчаянный... Легкий народ.

— У нас тоже крестьянин один был — богач. Пообешался в Соловки, в виде нищего то есть. Так всю дорогу в тряпках и прошел. Милостыню просил. На грош хлеба не покупал — все именем Христовым. А как в обитель пришел, сейчас пятьсот... Ну, только домой воротился и закурил, и закурил... Потому, говорит, мне все ноне простится... Великий я, говорит, перед Богом подвиг сотворил... Вот они нищие какие. Другой, может, какие грехи этим замаливает.

— У Господа милостей много! Особливо ежели через угодников! — согласился монах.

Пароход начинало слегка покачивать... У многих уже вытянулись лица.

Воплощение насморка и флюса стояло у кормы, меланхолически поглядывая на окружающих.

Мы приближались к бару.

— Ну, будет качка! — заметил мимоходом матрос, проходя к рулю.

Я оглядел небо. Весь северо-запад затягивало жемчужными, золотившимися по краям тучками. Волны становились крупнее и крупнее... Кое-где змеились гребни белой пены, и отдаленный гул все ближе и ближе подходил к пароходу.

— Вам бы лучше в каюту! — пригласил монах меланхолическую деву, весьма внимательно рассматривавшую что-то за кормою. Она наклонилась еще ниже, цепляясь за края борта.

— Уведите ее! — приказал рулевой монахам-послушникам. И еще недавно увлекавшаяся прелестями моря, а теперь первая жертва его — пассажирка под руки была уведена с палубы.

IV

СИБИРЯЧКА

Проходя между народом на палубе, я невольно остановился у одной группы. Ее составляли: в центре — слепец старик, который, и сидя, опирался о посох. Жаркий луч солнца золотился

на голом черепе, охватывая заодно и не зрячие глаза, и детски наивно улыбающееся сморщенное лицо. Из-под открытого ворота посконной рубахи во все стороны торчали углы костей. Рядом с ним, пониже, на каком-то жиденьком узелке помещалась небольшая худенькая девушка с робким лицом и точно раз когда-то испугавшимися и в одном выражении страха застывшими глазами. Синий крестьянский сарафан висел на костлявых плечиках. Она только что начала соседке своей рассказывать о многотрудном пути, который довелось пройти ей до Архангельска.

— Я сама из Иркутского города, в Сибирях это!

— Нну! У меня братан там, на поселке. Что ж ты сюда, по усердию или по обещанию родителев?.. Тут больше по родительскому приказу бывают...

— Нет, сама. Потому я с малолетства по обителям!

— А меня грешную только сей год Господь сподобил. Тебя как же это одну мать пустила?

— Много тут было... горя разного. Пять годов это дело задумано. Все с отцом совладать не могла!

— А у тебя отец-то кто?

— Мещанин торгующий.

— Ну!? Что ж ты это с сытой-то купецкой жизни... Поди, на пуховике спала...

— Судьба, знать!

— Давно ли ты оттуда?

— Семой месяц!

— И все одна? Или со стариком?

— Нет. Старика-то я под Шадринском нашла. Не родной.

— Известно, кому какая судьба. Поди, сестры, коли есть, по праздникам пироги едят, да с утра до ночи на красу свою девичью любуются. А ты на-поди! Босая всю путину прошла?

— От Томскова-городка босая, потому какие башмачонки были — совсем развалились!

— Ну, это тебе все зачтется. Много ты можешь согрешить теперь, потому твой подвиг велик. У Бога все на счету.

— Уж сколько и били меня, как сказала, что в Соловки хочу.

— Родители?

— Они. А и пошла-то я, чтоб, значит, родительские грехи замолить. Первый раз я, не спросясь, пошла, без виду. Ну, меня верст за двести от Иркутского и пымали... И по этапу домой приволокли. Потом я опять ушла — отец на лошади догнал. И на цепи стал держать. Месяца три не спущали, однако ради дня ангела — ослобонили. Сколько одного бою было — страсть. Насмерть били!

— Ах, ты — болезная. Ишь, как тебя Господь сподобил! Все, милая, зачтется!

— Тогда я и сказала родителям: сколько ни калечьте, а воли моей с меня не снимете. Потому было мне видение... Святой Зосима во сне являлся и ободрял на подвиг... Отцовские грехи, говорил, замоли... Три раза было видение. Тогда и задумала я идти — к отцу. Сказала ему — позеленел: одначе смолчал. Ступай вон, — говорит, — чтоб и духу твоего не пахло... На утрие опять к нему, — он за волосы и давай меня топтать. До бесчувствия было. Переждала я еще день и опять про то же, — вдругоряд оттаскал. Я в третий... Как сказала я в третий, тут его за сердце и забрало... Заплакал. Снял икону, благословил, как следует. Иди, — говорит, — к святым угодничкам и за нас помолись. На другой день сряжаться стали. Дал он мне два ста рублей на дорогу, да три ста угодникам, паспорт и все такое... Ну, а на третьи сутки опять побил.

— Ну, и родитель у тебя!

— Потому обидно, что без его воли пошла.

— Что ж ты все пешком?

— Все. Деньги, какие дали — несу угодникам.

— А кормилась в дороге как?

— Именем Христовым... Побиралась.

— Много, много ноне согрешить можешь, и все с тебя за это снимется. Ну, а старичок слепенький сродственник тебе, что ли?

— Какой родич! Под Шадринском на дороге нашла. Он с мальчиком ходил, да мальчик бросил его, убег... Ну, я и подумала, что Господь мне его послал, чтоб я еще потрудилась. Так и прошли вдвоем. И назад поведу до Шадринскова.

— А там как?

— На том самом месте, где взяла — там и оставлю.

— Посередь поля?

— А то как же, где Господь послал!

— Да он помрет!

— Уж это как Бог. Потому, где взяла — туда и предоставить его должна. Иначе как?

— А там опять к родителям?

— Да, годик пережду. Потом в Иерусалим-град.

— А ты бы замуж... Поди, женихи были?

— Были!.. — И худенькое личико девушки все перекосило ненавистью. — Были... Как не быть, погубители!

— Что ж, ты не пошла?

— И не пойду. Нагляделась, как батюшка маму бьет... Все они такие. На тиранство одно идти, что ли?

— Без этого уж нельзя... Одначе тоже с опаской бей!..

— Лучше христовой невестой, по святым местам ходючи, да родительские грехи замаливаючи..

V
МОНАШЕК-ПОДРОСТОК

Тятенька мой торговою частью занимаются, тоже и подрядами, когда случится. Раз он один подрядец взял — мост строить. Дельце было бы выгодное, коли б не пришлось с чиновниками делиться, а то как раздашь половину всего — так смотришь, у себя в кармане и на лес не хватит. Оченно заскучали тятенька, одначе мост выстроили, из гнилья, правда, да все же мост. Хорошо... Прошло это, например, полгода, вдруг левизор из самого Питера. Тут тятенька и очунели. К тому, к другому, к третьему — куда тебе! Давай, говорят, Бог, чтобы своя голова уцелела на плечах... Делай, как знаешь. «Помилуйте, — объясняет тятенька, — да ведь вместе брали?» — «Про то, — отвечают, — один Господь Всемогущий знают, да только никому не скажут. Зря не болтай и ты, потому за бесчестье с тебя большие еще деньги слупим, а под суд!..» Оченно это ошарашило родителя. «Ну, теперь, — говорят, — никто, как Творец Небесный!» Назавтра примерно назначено свидетельство. С утра тятенька обегали все храмы Божии и везде молебны с водосвятием заказали, потом и обет дали: «Коли минует, значит, чаша сия, так быть единоутробному сыну моему у Соловецких угодников один год, пусть там работает на святых предстателей наших». Ну, сейчас поехали к мосту, а там уже вся комиссия собралась. Питерский левизор-то петушком так и поскакивают. На наших чиновников и не похож, потому в ем и фигуры нет. У нас квартальный из себя значительнее, потому он себя с форсом держит. А этот только что чистенький, да гладенький. Тятеньке ручку подал, тятеньку это, значит, ободрило.

— Тятька у тебя, поди, большой плут был?

— По торговой части, по нашим местам, без этого не обойдешься. Потому делиться нужно. Другому вся цена грош с денежкой, а ты ему пять сотенных подай, потому жадность эта у них оченно свирепствует. Особливо ежели с купцом дело имеют.

— Народ!

— Народ ноне норовит, как бы тебе с сапогами в рот залезть.

— Кая польза человеку, аще весь мир приобрящет, душу же свою отщетит?

— Ну-с, хорошо. Осмотрел левизор мост и оченно доволен остался. У нас из ели мост-от строен, а тот удивляется — какая, мол, лиственница отличная! Отлегло от сердца у тятеньки... И закурили же они тогда.

— Как с этого случаю не закурить!

— Ну-с, хорошо. Закурили они. Две недели из дому пропадали, маменька даже в полицию объявку подали. Там успокоили. Будьте благонадежны, говорят, тут окромя запою ничего нет. Супруг ваш, опричь трактиров, нигде в таких чтоб местах

не бывают. Наконец, вернулись тятенька и сейчас меня. «Собирайся, — говорят, — в монастырь, великое есть мое усердие, и значит, чтоб ты там год тихо, смирно, благородно, потому, может быть, еще такой случай будет, так угодничков Божьих обманывать не годится... Пригодятся! Великие они за нас грешных молитвенники и предстатели. Помни это!» И таково ли все ласково, а допрежь того на всякой час тычок был.

— У вас, у купцов, насчет этого оченно неблагородно!

— Невежество, что говорить!

— Одначе и не учить нельзя!

— А только бей с разумением. Любя, бей. Наказуй по человечеству!

— Что говорить! Известно — господа купцы, поди, не одну скулу вывернут.

— Ну-с, хорошо... Снарядили меня, подрясник тонкого сукна сшили, скуфейку бархатную — все, как следует, и отправили. Как приехал я в монастырь, словно в рай попал. Благолепие, смиренство, насчет обращения — благородно. Точно я опять на свет родился.

— Работал?

— Как же! По письменной части занимался... Как пришло время к отцу ехать, и заскучал я... А тут отцы-иноки: оставайся у нас, потому в мире трудно, в мире не спасешься. У меня, говорю, невеста есть. — «Оженивыйся печется о жене, а не оженивыйся о Господе»... Думал я, думал, наконец, и порешил в монастыре оставаться. Тятенька сами приезжали. Ничего, не попрепятствовали; живи, говорит, потому за твои молитвы Господь меня не оставляет!

— Много у вас из купцов? — вмешался я.

— Из купцов во всем монастыре — человек шесть наберется!

— А остальные?

— Из крестьян все... сами увидите нашу обитель пресветлую.

Монашек-подросток говорил медовым, певучим голоском, поминутно закатывая глаза вверх.

— Много у вас, поди, чудес? — вступила в разговор синяя чуйка.

— Чудесов у нас довольно!

— Что говорить! А тятенька ваш какой губернии будут?

— Из Сибири.

— Далеконько... Одначе, и у нас по Волге насчет подрядов — вольно. Дело чистое. С казной — не с человеком... Никого не грабишь, а деньги сами идут!

— Как кому Господь!

— Известно, без него куда уйдешь... ;о всей жизни так-то.

— Одначе и угоднички помогают. В болезнях примерно!

— Всякое дыхание хвалит Господа!

— Верно твое слово!

VI
КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ

Качка становилась все сильнее и сильнее.

— Ну, будет потеха, — заметил моряк-монах другому, машинисту, только что выскочившему из камеры, где помещался котел. На этом тоже была скуфейка, только он снял рясу. Все его лицо было словно обожжено зноем и окурено дымом. Он с наслаждением вдыхал свежий, холодный воздух, навеваемый все крепчавшим северным ветром.

— А что, сиверко?

— Да, вишь, оно — боковая и килевая!

— Искушение!

Почти вся палуба была покрыта мучениками. Вопли и стоны раздавались всюду. Больные быстро теряли силу; после первых двух пароксизмов они неподвижно лежали, не имея силы даже повернуться «с одного галса на другой», как объясняли моряки-монахи. Некоторых перекатывало с одной стороны парохода в противоположную.

— Господи!.. Око всевидящее!..

— Ой, труден путь!

— Только что чайку попила, и таково ли приятно попила!..

— Помру, отцы родные!

— Монашки благочестивые, — бросьте вы меня, рабу, в море, потому нет моей моченьки!

— Грехи мои тяжкие!.. За всякий-то грех теперь... ой...

— Собрать на молебен надо бы. На Зосиму и Савватия!.. Молебен угодничкам! — предлагали монахи по силе возможности.

Публика, разумеется, струсила еще больше. Молебен — значит, есть опасность. Старухи завыли, как сумасшедшие. Юноша в гороховом пальто, полчаса назад бодро пожиравший магнезию на том резонном основании, что с кислотами желудка магнезия образует нерастворимые соединения и предотвращает рвоту, катался теперь по палубе, призывая на помощь святого Тихона Задонского и обещаясь по прибыли в монастырь заказать три молебна с водосвятием. Куда девалась и химия: он чуть ли не громче всех требовал молебна, сознаваясь во всех своих прегрешениях.

— Полноте трусить! Никакой опасности нет! — утешал его отец Иван.

— Как нет опасности? Ой, св. Зосим и Савватий... Помоги мне, грешному. А я еще магнезии. Вот и нерастворимые соединения. Святый Боже! Нельзя ли повернуть обратно в город? Пожалуйста, поверните обратно!

Наступала ночь, а волнение все усиливалось. Паруса собрали: ветер, пожалуй, изорвал бы их в лоскутья. Валы поднимались

выше бортов корабля. Пароход то вздымался на их гребнях, то вдруг его сбрасывало вниз, в клокочущую бездну. Бывали моменты, когда он становился почти перпендикулярно. О. Иван делался все озабоченнее. Вот один вал опрокинулся на палубу и прокатился по ней от кормы к носу.

— Сгоняй народ в каюты и трюмы?

В одну минуту палуба была очищена. На ней остались только о. Иван да матросы, которых сбивало с ног каждым порывом неудержимо ревущего норд-оста... Отверстия трюмов и люки кают были закрыты.

— Будет буря! — заметил сквозь зубы о. Иван.

— Никто, как Бог... Молебен бы! — робко проговорил рулевой.

— Стой у руля, да гляди, куда правишь. Ишь разыгралась как!..

Я сошел вниз, в каюту второго класса.

— На дно идем! — слышались всхлипывания батюшки протопопа.

— Господи! Скажи ты мне, Христа ради, давно мы по дну плывем? — обратилась ко мне микроскопических размеров старушка...

— Ну, что, как ваша магнезия? — спросил я у юноши.

— Не-по-мо-га-ет! А по химии выходит хоро... Святители!.. Ой, грешен я, грешен! — И опять он заползал по полу.

— Батюшка, — приставала к попу толстая барыня. — Кай меня... Что ж ты? — немного погодя, повторяла она. — Какой ты поп, коли каять не хочешь?

— Несообразная! Подумай, как я тебя каять буду, коли у меня ни ряски, ничего нет. Кайся вслух, при всех. Церковь это допускает!

— Да у меня, может, какие грехи есть! Господи, неужели ж без исповеди и помереть?

— Коли в Соловки, к угодничкам едем, так все одно что с исповедью...

— Ты говоришь, ноне треска дорога будет?

— Племянник сказывал, быдто в Норвеге рыба дешевле! — слышалось в углу.

— Господи! И сколько-то я грешила... Люди добрые, простите меня...

— За что простить-то?.. — потешалась в углу чуйка, на которую качка не действовала.

— Как после мужа — вдовой значит — так с военным офицером спуталась... Ахти мне, горькой... Пять годов спутамшись была.

— Го-го-го!.. — хохотали в углу. — А давно ли это было, мать?

— Тридцать годков, голубчики, тридцать годков... Простите вы меня!

— Господь простит... Го-го-го... Как же это ты, мать, с офицером?

— По дурости, да по неразумию... Года наши такие... Опять же в великий пост ноне согрешила — яичком искусилась...

— Пять годов, говоришь, с офицером? — любопытствовала та же чуйка.

— Пять годов, родненький!

— Ну, если пять — ничего!

— За это тоже, поди, на том свете не похвалят...

Старуху точно обожгло.

— И сама я знаю, голубчики, что не похвалят... Наставьте, отцы, как мне мой грех замолить?

— А как кит-рыба нас в окиан-море поташит? — пристала ко мне другая старушка.

— О, Господи, беда это наша пришла!

— Веруй в Бога — главное! — наставлял поп. — Вот сказано: не весте ни дня, ни часа... Все, все, здесь помрем. Деточек только своих жалко... Как-то вы одни сиротами останетесь. Кто-то приютит вас!.. Вот оно — вольнодумство наше...

— Да неужли ж мы в самом дел потонем? — встрепенулся вдруг молчаливо сидевший в углу купец.

— Уж потонули, голубчик, уж потонули!

— Боже мой!.. Как же я тапереча буду... Праведники!

— Уж потонули... Все потонули... На тридцать верстов, может, под землю ушли...

VII
МОРЕ

Утром, на другой день по отплытии из Архангельска, когда я вышел на палубу парохода, во все стороны передо мною расстилалась необозримая даль серовато-свинцового моря, усеянного оперенными гребнями медленно катившихся валов. На небе еще ползали клочья рассеянных ветром туч. Свежий попутничек надувал парус. Тяжело пыхтела паровая машина, и черный дым, словно развернутое знамя, плавно расстилался в воздухе, пропитанном влагой...

На передней части парохода стоит ветхий деньми старец. Волоса его, редкие, серебристые, развевает ветер, лохмотья плохо защищают тело, впалая грудь чуть дышит, но взгляд его неотступно прикован к горизонту. Что он там видит — в этом безграничном просторе влаги, сливающемся с еще более безграничным простором неба? Вот он снимает шапку и медленно творит крестное знамение. Он молится. Для него это море — громадный храм, в туманной дали которого, там, где-то на востоке, возносится незримый, неведомый алтарь.

Да, море действительно храм. И рев бури, и свист ветра, и громовые раскаты над ним — это только отголоски, отрывочно доносящиеся к нам звуки некоторых труб его органа, дивно гремящего там, в недоступной, недосягаемой высоте — великий, прекрасно охватывающий все небо и землю гимн.

Вот сквозь клочья серых туч прорвался и заблистал на высоте широкий ослепительный луч солнца — и под ним озолотилась целая полоса медленно колыхающихся волн... Вот новые тучи закрыли его.

Божество незримо, но присутствие его здесь чувствуется повсюду.

VIII

ВЯТСКИЕ ХЛЕБОПАШЦЫ

— Откуда Господь несет, кормильцы?

— Из Вячкой.

— А из уезда какого?

— Орловска...

— Знаю, хлебородная сторонушка.

— Ничаво... Хлеб родится... Дюже хлеб родится!

— Вятка хлебу матка — сказано!

— Не то что наша Архангельская губерния.

— Поди, много хлеба продают?

— Как не продавать!.. Сами для себя, бывает, с мякиной мешаем да едим... Почти весь в продажу идет.

Я, разумеется, не поверил.

— Как Бог свят, да мы, милой, реже вашего архангельца-трескоеда видим цельный хлеб-от. Верно твое слово, что хлеба у нас невпроворот, а только других промыслов у нас нету, недоимки одолели... Ну, а хлеб — дешев, а хлеб дешев — и мужик дешев. Коли б цена на рожь стояла настоящая, мы бы половину хлебушка съели сами, а другую продали. А то, верь, крещеная душа, как перед истинным Богом, Царем небесным, два лета назад по двоегривенному маклакам за пуд сдали. Вперед, значит...

— Хоша бы и по двоегривенничку — да и то денег не видим. С зимы влезли в долг, словно в петлю, ну, и бьемся в ей... Да ты еще хлеб предоставь на место купцам. Вымолотишь его осень — распутица, пути нет, жди зимы; как зима хватит, навалишь хлебушка в сани и везешь. Морозы, вьюга... Сколько животов на дороге поколеет — страсть! Придешь в Орлов — в контору, света Божьего не видишь. Все-то лицо потрескается, скрозь губы кровь идет, нос горой раздует. Моли Бога, что сам цел остался!

— А в городу, — подхватил первый, — опять прижимка. Как привез, глядь — цену сбили, отдашь хлеб ни за грош, да и пойдешь домой ни с чем!

— А и урожаи когда — не легше, потому дешевле купцы эти за хлеб дают... Аспиды!

— А ты не ругайся! В кое место идем?

— Больно нутро распалилось, потому у меня прошлой зимушкой чуть с голодухи вся семья не поколела. Тоже, поди, чувство имеем. Невесело — на бабу, да на деток малых глядеть. Душа рвется. Не псы какие, слава Богу!

— Вот и понимай, какова наша матка — Вятка!

— Как же вы, братцы, в Соловки теперь?

— А мы по обещанию шли. Из одного места все — авось полегчает. Монахи, спасибо, на праход даром пустили. Очень оголели мы уж. Какие достатки были — все ушло!

— Какие у нас достатки!

— Жизнь наша, скажу я тебе, самая подлая. Сытости в нас настоящей нету, седни — не помер и ладно. А завтра, может, и помрем. Давай молитвы читать, ребята; к такому месту плывем...

IX

БРОДЯЖКА

Монастырь был уже недалеко.

В носовой части парохода слышалось молитвенное пение. Звуки мягко и плавно разносились в безграничности морского простора. У самой кормовой каюты рапсод-олончанин пел об Алексии Божьем человеке, и несколько богомольцев и богомолок благоговейно внимали ему. Это был слепец: голый череп, длинная седая борода, прямые и правильные черты лица делали его похожим на библейского патриарха, сидящего у входа в свой шатер посреди выжженной солнцем пустыни...

Зеленые лица показались из кают, осунувшиеся, измученные качкой. Люди едва передвигали ноги, — но теперь пароход шел уже спокойно, миновав полосу морской бури. Попутный ветер надувал парус, и золотой крест на грот-мачте неподвижно светился над этим плавучим миром.

В центре одной из палубных групп сидела старушка, вся сморщенная,. вся сгорбленная, вся немощная. Казалось, потухающие глаза с трудом могли видеть наклонившиеся к ней лица; в одеревеневших чертах ее выражалось полнейшее равнодушие ко всему; синяя крестьянская понёва, босые ноги, костыль и убогая сума.

— Бродяжка я, голубчики, бродяжка я сызмалетства. По градам и весям все странствую, святое имя Христово прославляя.

Отца не помню, а матушка, та — далеко отсюда, на большой реке, в большом городу мещанкой была... И какой это город, кормильцы, не знаю, и какая это река — не ведаю. Помнится только зеленое, зеленое поле, а за полем синие лески... Старый храм Божий, с тонкой такой колоколенкой, по-над самой рекою прихилился и в светлые воды смотрится... Еще помню узкий проулочек, по обе стороны дома — избенки на курьих ножках, и наша избушечка тут, что калька старая, что я же теперь, вся сгорбилась да перекосилась сердешная... И яблонь белую помню... И смородину помню... Густая была... По задворкам лепилась на самом припеке... Еще помню матушку — добрая... А потом дорога какая-то, старцы убогонькие... Там опять пути-дороженьки... Ну, и перепутала все!.. Давно это было!.. Все я на ноженьках на своих... Все одна странствовала. Всю землю крещеную обошла и везде Божиим угодничкам молилась. В Ерусалиме-граде была, слыхала там, как грешники во аде мучаются, Гробу Господнему поклонилась. Турку там увстрела, а турка добрый, головы христианской не рубит, а сам же тебе и хлебушка подаст; хлеб у них белый и тонкий, что лепешка, все одно. Еще я там много городов видела, и все на припеке, на солнышке все... Таково ли парит — страсть! Море знаю, как к Ерусалим-граду ехать... Много нас там было, и померло много. Так Гробу Господню и не поклонились, сердешные!.. Монахов эллинских на горе Афоне-святой тоже помню. Суровые... смотрят на тебя ненавистно; а в обителях их, сказывают, благолепие неизреченное... Чудеса там на каждой травушке. Известно, место излюбленное. И в Кееве была... Град святой Кеев — там в пещерах тысящи праведников лежат, и все в венцах осиянных, у всех в рученьках ветвь пальмовая, а в ноженьках — камение самоцветное. И идешь ты по пещерам этим, и свету нет — а все видно, потому от венцов сияние изливается. И в темницах была я со тати и со разбойники безвинно... За благочестное странствие свое томилася.

— Да, ноне строго! Всяк человек при своем месте состоять должен, всякому место его указано...

— Купцы в большом городу за меня, старицу бессчастную, вступилися... Ну, власти земные и выпустили рабу, и опять пошла я по земле крещеной... И в Сибири была.

— А смертоубивцев видела?

— Бывало все, кормильцы... все бывало. По Волге раз... давно, в лесу злого человека увстречала — молода была тогда, ну, он и изобидел меня... очень он меня изобидел... Опять потом под Смоленском... Все я, раба, снесла, все претерпела!

— Много ты, мать, походила?

— Много, кормилец, много!.. Таково ли еще ходила, как молода была... Легше ветру буйного. И все-то поля, поля зеленые, и все-то снега, снега глубокие, белые... Все-то леса — тень

беспросветная... Тут только верхушки шумят над тобой... тишь... идешь ты, и боязно тебе, чтоб на недоброго человека не попасть... А медведь что! — И человека он ест — а странников и странниц не трогает, потому на это ему предел положен...

Несколько чаек спустились на снасти мачт... Белые, ослепительно сверкающие под лучами солнца. Резкий крик послышался над ними, словно плачущий.

— Скоро и Соловки наши будут...

X
ОСТРОВА

Впереди засинели какие-то смутные очертания.

Большая часть богомольцев столпилась на носовой части парохода. Одни стояли на коленях и молились, другие пели псалмы. Религиозное настроение охватило даже самых равнодушных.

На лицах странниц выражалось самое искреннее умиление. Одни плакали, другие обнимались.

— Сподобил Господь святыням помолиться!

— Угодничкам, Соловецким праведникам!

— Собрать бы на молебен, братцы?

— Следуете! — одобрил батюшка и стал собирать деньги в камилавку.

А острова все вырастали. Неопределенно синеющие массы становились зеленоватыми. Края их очерчивались все резче и резче; из неопределенных облачных форм они принимали ясные контуры. Что-то, словно искра, сверкало там, лучась и точно колыхаясь в синеве неба.

— Это — купол, братцы; святой соловецкий купол!

— Краса! — заметил угловатый олончанин стоявшей с ним рядом страннице.

Вот зеленоватая кайма стала еще гуще. Напряженный взгляд различал уже верхушки высоких сосен.

Прямо с островов неслась к нам с резкими, словно приветственными криками громадная стая чаек. Точно сотни серебряных платков развевались в воздухе. Чайки кружились близ парохода, забегали вперед и вновь отставали. Одна из них, описав громадный круг, смело уцепилась за крест грот-мачты, другая, словно камень, упала на палубу и, точно у себя дома, заходила между богомольцами. Третья очутилась на руле парохода и стала чистить носом под широко распущенными крыльями.

— Чудеса этто, брат!

— Птица и та от угодничков — встречает странничков Христовых... Тут не просто дело... Ишь, она, что собака, к людям, ластится!

— И сподобил же Господь увидеть...

А чаек все прибывало и прибывало. Вблизи показались в воде какие-то круглые, словно нырявшие, головы. Они вместе с волнами то поднимались, то опускались. Их было целое стадо, юровье, как называют здесь.

— Глядь, робя, морская зверя проявилась. Нерпой прозывается.

— Поди, человека дюже жрет?

— Не... Он кроткий, за это ему от Господа два века жизни положено.

— А вон белые головы-то... Это белек... молодая нерпа... дите малое, неразумное.

— Тсс!.. Сколь много чудес у Господа...

На корме монахи пели молитвы. Волны все становились меньше и меньше. Солнечный свет льется мягкими полосами на крупные вековые сосны утесистых берегов. Море приняло зеленовато-голубой, почти прозрачный цвет. Громадные валуны и скалы кое-где лежат посреди тихих, никаким волнением не возмущаемых вод. А верхушки этих оторванных обломков острова уже зазеленели, и жалкая пока травка узорчатыми гирляндами спускается вниз по серым поверхностям гранита к целым массам водорослей, оцепившим внизу эти глыбы.

Пароход тихо плывет вдоль берега, словно в бесконечной панораме развертывающего перед нами свои чудные картины. То желтые, песчаные отмели, то зеленые откосы, то утесы, вертикально обрывающиеся вниз... А там, позади них, что за ширь лесная, что за глушь тенистая.

Но вот один поворот, и «Вера» входит в зеленую бухту, в глубине которой, словно грациозный призрак волшебного вешнего сна, поднимается белостенный монастырь с высокими круглыми башнями, массою церквей, зеленые купола и золотые кресты которых легко и полувоздушно рисуются на синеве безоблачного неба.

Все словно замерли. Не слышно и дыхания... доносится только крик морских чаек.

Все глаза устремлены на это место поклонения... Все словно ждут чуда и боятся пропустить его. Тихо приближается пароход к обители, которая все ярче и выше поднимается перед нами из голубых волн спокойного моря.

«Ныне отпущаеши раба Твоего с миром, яко видеста очи мои спасение твое»! — шепчет рядом со мною старик и опускается на колени, поникая седою, как лунь, головою.

И сколько голов опустилось в эту минуту, сколько рук творило крестное знамение!..

XI
МОНАСТЫРЬ. ГОСТИНИЦА. СВЯТОЕ ОЗЕРО

Невыразимо прелестен этот зеленый берег. Какое-то радостное чувство охватывало всего, когда я спускался с пароходного трапа на плиты набережной. Прямо поднимались старинные из громадных валунов сооруженные стены. Это — постройка циклопов. Несколько башен, высоких, с остроконечными павильонами на верхушках, были сложены из тех же колоссальных камней. На высоте, в стенах и башнях чернели узкие щели бойниц... Древностию, целыми столетиями веяло отсюда. Тут все было так же, как во времена первых царей московских. Некоторые сооружения напоминали эпоху господина Великого Новгорода... От каждого камня веяло былиною, каждая пядь земли попиралась героями нашей ветхозаветной истории. И теперь настолько же массивны и недоступны эти стены. Только вокруг обители все веет новою жизнью; громадное, трехэтажное здание гостиницы, доки, разводные мосты, искусственная гавань, набережная, подъемные машины, деревянное здание странноприимного дома, разрушенного английскими ядрами, следы которых и на монастырских стенах отмечены черными кружками; только небольшие белые часовенки на лугу перед обителью производят неприятное впечатление. Эти карточные, прямолинейные будочки рядом с каменными громадами, пережившими целые столетия и поражающими до сих пор своим величием, так и веют буржуазным вкусом нашего века, проникшим даже и в эту аскетическую обитель, схоронившуюся в беломорской глуши от всего живого и движущегося.

Из-за этих стен, созданных как будто самою природою, золотятся кресты церквей, и мягко рисуются их зеленые купола. Рядом с монастырем тянется здание лесопильного завода, а кругом всю эту площадь обступил зеленый, свежий, весь проникнутый изумрудным блеском, тенистою дремой и влажным покоем лес. Так и манило туда.

Но что поразило нас более всего — это чайки. Их тут было несколько десятков тысяч, по крайней мере. Крик их не умолкал ни на минуту. Их еще серые птенцы неуклюже бегали в траве у самых стен монастыря и гостиницы — каждый выводок в своем точно определенном участке. Тут, в центрах этих участков, матки высиживали яйца, нахально кидаясь к богомольцам за подачкою. Чайка сама шла в руки.

— Господи! Да они наших кур смирнее...

— От Бога им повелено обитель стеречь!

— Столько ли еще чудес тут повидаешь... Главное, чтоб с чистым сердцем!

Наконец, нас позвали в гостиницу, содержимую очень хорошо монастырем. Это красивое трехэтажное здание. Через просторные

сени мы вступили в коридор, посредине которого была большая комната, куда нас всех пригласили. Тут каждый, прежде чем получить нумер, должен был записать, сколько и каких именно молебнов ему требуется; при этом уплачиваются и деньги по установленной таксе. Простой молебен стоит 35 коп., молебен с водосвятием 1 р. 50 коп. Заплатив деньги и получив взамен их марки, мы поднялись наверх. Крестьянам и кто одет не совсем чисто, отводится нижний этаж, где в больших комнатах помещается в каждой около 20 или 25 человек. Средний этаж, отделанный безукоризненно, с высокими и просторными комнатами, предназначается чиновникам — от тайного советника и выше до коллежского регистратора включительно — и купечеству, которое поприличнее. Наверху, в небольших комнатах, по 4—5, помещаются разночинцы. Понятно, что все эти градации отличаются по платью.

Комнаты среднего этажа оклеены обоями, в остальных просто выбелены. Везде диван, стулья, стол и кровать с матрацами. Более ничего не полагается. Разумеется, тотчас же по прибытии богомольцы потребовали самоваров. В каждом коридоре, в комнате иеромонаха, заведывающего им, имеется несколько громадных вделанных в стену самоваров, откуда кипяток разливается в большие чайники на потребу странникам...

Вид из окон гостиницы на монастырь и бухту — великолепен. Особенную прелесть придают ему прозрачность воздуха, туманная кайма отдаленных лесов и необыкновенная, почти южная, синева неба... Чудный уголок выбрали себе соловецкие монахи. Тут бы хотелось видеть многолюдное население с звонким смехом детей, резвящихся в зелени лугов, с улыбками и песнями красивых женщин, с косарями не в клобуках и рясах.

— Что теперь, братцы, делать следует?

— Отец иеромонах (коридорный), куда теперь?

— Теперь первым делом в Святое озеро — купаться!

— Святое?.. Чудодействует, значит?

— Великая от него сила и в недугах исцеление!

И целая ватага вышла из гостиницы. Я последовал за ними.

Окаймленное лесом Святое озеро — почти черного цвета. Одною своей стороной оно примыкает к стенам обители. На нем устроены две купальни — мужская и женская. Мы вошли... Кто-то заговорил; его остановили. — Не знаешь, кое это место? Тут, может, кольки святых купалось?..

Воцарилось общее молчание. Все разделись.

— Крестись, робя... Главное, с верою... Господи, благослови... Нну — вали, шут с тобой! — И темные тела грузно плюхнули в воду. Все плескались серьезно, точно исполняя религиозный обряд. Один взял в пригоршень воды и благоговейно выпил ее, другой крестился по груди в воде, третий читал молитву. Вода была далеко нечиста. Мутная, но мягкая... В дверях купальни показался монах.

— Благослови, батюшка! — Потянулись к нему голые руки.
— Мне не дано еще... Господь благословит. Каково плавали?
— Потрясло... Дюже трясло!
— Это от Господа. Чтоб грехи свои ведали и помышления нечистые у врат обители сложили!
— Рай земной теперича обитель святая ваша... Помогает, говорят, вода-то?
— От нутряных болестей хорошо действует! — твердил монах.
— Возьмуко-сь... в бутылочку для хозяйки. У нее нутро палит!
— Не воспрещено, возьми!
Монах вышел. Всякий, оставляя воду, крестился; как-то непривычно было видеть голых богомольцев, клавших земные поклоны на узком помосте, окружавшем бассейн.
Освеженные, мы вышли, и тотчас же нам кинулся в глаза синий, темно-синий и какой-то блестящий на этот раз морской простор, ласково охватывающий этот остров. Прямо перед монастырем из зеркальной глади поднимались небольшие островки и утесы, увенчанные часовнями и елями.

XII

ИЕРОМОНАХ-ОГОРОДНИК

Возвращаясь после купанья, я случайно наткнулся на монастырские огороды. Между грядами копался главный огородник, малорослый, горбатый, колченогий, но с удивительно добрым выражением неказистого лица. Ватный черный клобук был вздернут на затылок, и как-то набекрень. Монах любопытно оглядывал нас, видимо, одолеваемый охотою поразговориться с живым человеком. При мне он с тремя даровыми работниками из годовых богомольцев деятельно трудился над грядами. Тут росли: лук, капуста, картофель, огурцы, морковь, редька. Это под 65° с. ш., а еще говорят, что огородничество невозможно в Архангельской губернии. Несмотря на неблагоприятное лето — холодное и сухое — овощ шла превосходно. Мы разговорились.
— Я вячкой. Из крестьян. Крепостным был — теперь иеромонах. Вот огородом заправляю... Что ж, поживите у нас, мы гостям очень рады. Очень мы гостей любим, потому одичаешь без человека вовсе... Помолитесь угодничкам. Было время, у нас и пели хорошо. Хор на славу был — да непригоже монастырю этим заниматься. Новый настоятель уничтожил пение это. Теперь, как батька сказал: прекратить, так и бросили. Самое пустынное пение у нас ноне...
— Зачем же было уничтожать певчих?

— Не подобает монаху о красе клирного молитвословия заботиться. Просто, пустынно петь надо. Чтобы слух не занимало. В миру — дело другое...

— Каковы огороды у вас?

— Огороды у нас первый сорт. Ничего в городу не покупаем. Все, что нужно монастырю, здесь есть. От сиверка мы лесом защитились. Одначе и Господь помогает, потому у нас хозяева такие, угодные ему — Зосима и Савватий. Хорошие хозяева, блюдут свой дом и стадо свое охраняют!

— Неужели вам и в мир никогда не хочется?

— Правду скажу тебе, не как иные прочие, что от мира открещиваются, а сами душой к нему стремятся, — не привлекает нас мир, а почему, хочешь знать? Потому что все мы из крестьян, и было у нас в миру, в Рассее, житье куда горькое. Что в нем — в миру-то — грех один. Ежели помышления блудные и одолевают, сделаешь сотни две земных поклонов — все отойдет... А бес соблазняет... как не соблазнять, все бывает. А только Господь хранит, потому велика Его милость и покров Его над нами!

— Неужели в монастыре мало монахов из духовного или из чиновников?

— А, пожалуй, и двадцати не насбираешь. Да и не надо грамотных нам. Работать не работают, а смута одна от них... Грамотности не требуется. Соблазну меньше, мы ведь здесь по простоте!

— А всех-то сколько?

— С послушниками — поди, сот пять будет. Много нас; сказано — обитель святая... Други милые, вы поотдохните немножко, — ласково обратился он к работникам. — Чайки только одолевают нас. Расподлая птичка. Страсть, как она огороды клюет. Мы было вересом обсаживать стали — не помогает. Лисиц у нас много, повадились те яйца у чаек есть; что ж бы ты думал? Чайки-то подкараулили и выклевали глаза у лисиц!

— Будто?

— Верное мое слово. Она птичка умная. У ней всякой свое место есть, которая с яйцами или птенцами. Всякая мать свою округу имеет, а другие уважают это. Сторонняя чайка ни за что на ее землю не зайдет, издали перекрикиваются.

— А с чего это они пароход встречают?

— Тучей летят. Это они не праход, а богомольчей; как заслышат свисток, так и летят: потому богомольчи прикармливают их, он и любят. Ноне батька велел лисиц разводить, чтобы чаек уничтожить, потому одолели!

А между тем, несмотря на нелюбовь монахов, чайки придают этому монастырю особенно поэтический оттенок. Белые стаи

их беспрестанно кружатся в воздухе, описывая громадные и красивые круги над старинными стенами. Резкий крик их, когда к нему попривыкнешь, а это бывает в первый же день, кажется даже приятным для уха. Он немолчно раздается в монастыре и днем, и ночью. В нем есть что-то радостное, задорное, возбуждающее. Да и что за красивая птица сама чайка! Серебристо-белая, грациозная, она великолепна, когда, широко разбросив крылья, сверкает высоко над вами, кокетливо ныряя в синем небе. Хохлатые, большеголовые, сизые и серые птенцы их также не лишены некоторой красивой неуклюжести. Они по целым часам стоят, уставясь носом в землю и рассуждая о чем-то весьма глубокомысленно.

Мы невольно любовались хорошо содержимыми огородами.

— У нас еще в Макарьевской и Савватьевской пустынях огороды есть. Арбузы, дыни, персики и разную нужную ягоду в теплицах разводим; потому краснобаев у нас мало, зато работников да знающих людей много. Всякий свое дело несет. Со всех концов России к нам сходятся, ну, мы и присматриваемся, что где лучше, так и делаем!

Обращение иеромонаха-огородника с рабочими-мирянами было почти нежно. Эту черту потом мы замечали у всех монахов. Они, действительно, братски относятся к забитому и загнанному крестьянину. Оно и понятно. Почти все монахи вышли из этой среды; произнося обеты отречения от жизни, они не могли окончательно порвать все связи со своим прошлым. Им не раз вспоминается томительная бескормица далекого, снегом занесенного села, где с утра до ночи над непосильною работою изводят свои силы их матери, братья и сестры. Отсюда любовь к богомольцу-рабочему. Несладка жизнь последнего дома, и его пребывание в монастыре — мирный отдых. Повсюду его встречает братская ласка, приветное слово, улыбка. Их иначе не называют, как — други, голубчики, кормильцы. Крестьянин оживает здесь и бодро смотрит вперед, мечтая рано или поздно войти в эту добрую рабочую семью в качестве ее полноправного члена. Кроме того, надо отдать справедливость соловецким монахам, они и сами едят хлеб в поте лица своего. Они трудятся, как дай Бог трудиться каждому мирянину. Монах, например, огородник своим рабочим подает первый пример труда; он не ограничивается ролью наблюдателя, но сам прикладывает руки к делу, возится в грязи и, в конце концов, сделает больше всякого богомольца. Так у них везде. Поэтому хозяйство их цветет, и монастырь, помимо своего аскетического значения, имеет все признаки хорошей рабочей общины. Даже наместники работают, как простые чернорабочие, исполняя разные «послушания», не говоря уже о разных иеромонахах, которые, кроме мантии, надеваемой в церковь и за трапезу, ничем не отличаются от прочих иноков.

XIII
КУЗНИЦА И ГОРНЫ

— Хозяйство у нас основательное. Монастырь — хозяин хороший. Все свое. Посмотри, посмотри, нам даже оно и приятно, если любопытствуют. Все во славу обители святые. Посмотри литографию нашу, да кожевню, заводы, да мало ли чего у нас нет. Не перечтешь. А это вот наша кузница будет!

Кузницей заправляют два монаха. При них с десяток годовых богомольцев.

— Что это за двухэтажное здание?

— Для огородников. Вон там дома — тоже в два этажа выведены — годовые богомольцы живут!

Мы отправились осматривать кузницу.

Скрипя, отворилась железная дверь. Нас обдало запахом каменного угля. Громадное черное помещение кузницы, словно подземелье, охватило нас мраком, который не могли рассеять даже закоптевшие, проделанные в стене окна. В темноте перед нами высились какие-то массы, неподвижные силуэты, столбы. Пол весь был завален кучами угля. В самом глухом углу тлевший в горне огонь тускло сверкал. Летом работы бывает мало — монастырь занят богомольцами.

— Зимой зато кипит дело. Зимой мы ото всего свету отрезаны. По морю плавать нельзя — льды, мы тут по душе и живем. Ни над нами, ни под нами никого. Молимся Богу да работаем. А работа, известно, — та же молитва... Хорошо у нас зимою... Никуда бы не ушел!

— Будто бы так никуда не хочется отсюда? И молодые не рвутся в мир?

— Молодые? — Монах призадумался. — Бывает, действительно, кто из купечества да из благородных в монахи идут... Те тоскуют... Те шибко тоскуют. Измаются, особливо ежели весною; как это снега почнут таять, да под сугробинками ручьи побегут, так, словно потерянные, ходят. А как море очистится, так стоят по бережкам да в синь широкую глядят, иной мается, мается, плачет... В леса пойдет — песни поет. Хорошие бывают песни, не духовные. Измаемся, глядя на них. Другой первое время ничего, слюбится... А потом, годков через пяток, и потемнеет весь. Находит это на них. Только ведь из купцов да из дворян у нас мало. Все больше крестьянство; ну, тем легко, те ради. Работают, да Господа Бога славят!

— У другого, пожалуй, семья; по ней тоскует!

— Был один. Жена молодая, сказывают, у него в Питере оставлена. Тот, бывало, летом ляжет на луг да и смотрит по целым часам на небо. Подойдешь к нему — не слышит, только слезы текут, да про себя шепчет что-то, — дьявол смутьянит. Из этих больше и выходят настоящие схимники... Как он пре-

одолеет себя — так словно закаменеет совсем человек. И лицо такое неподвижное станет, и глаза потухнут. Слова ты у него тогда не допросишься. В себя уйдет человек, все молитвы читает, да поклоны бьет. От этих и пользы монастырю мало. Плохие они работники... А вот и наши кузничные печи!

Жутко было тут, в этом черном подвале. Отк, да-то смутно доносился говор, а здесь стояла мертвая недвижимая тишина. Зато необыкновенный эффект должна производить эта громадная кузница зимою. Кругом нее мрак, тяжелый, сырой мрак, а в ней ярко блистают багровые огни, слышится стук молотов и сыплются целые потоки ярких, серебряных искр.

— Это у нас крестьянин один устроил... Спаси, Господи, его душу... Наверху и кузнецы наши живут...

Тут, кроме пароходных машин, монахи делают ножи, косы, топоры, короче — все, что нужно в их обиходе; железо для этого покупается пока в Архангельске и Норвегии, но уже при мне монахи собирались добывать его, устроив завод в Кемском уезде, где болотная железная руда находится в изобилии и где, к сожалению, до настоящего времени она никем не разрабатывается. Явился какой-то аферист, пруссак, разорил местных крестьян, да и был таков.

XIV
МОНАШЕСКАЯ ШКОЛА

День был светел и ярок. Так и манило в леса, окружавшие обитель, в их прохладную глушь и тьму. Синее море нежно охватывало острова, едва подернутое легкою, чуть заметною рябью. Мы шли между двумя рядами деревянных двухэтажных зданий, вне монастырских стен. В одних помещались рабочие, в других мастерские. Между ними одно нам кинулось в глаза — это здание школы. Лестница вела в большие прохладные сени. Внизу было пусто. Наверху — коридор. Налево — ряд небольших дверей, числом с 25, направо — просторные комнаты двух классов.

Ни души живой. Только где-то густым басовым голосом жужжала муха да смутно, сквозь запертые окна, слышались крики чаек. Мы стали пробовать двери — не отперта ли какая-нибудь. Наконец, одна приотворилась. Оказалась маленькая каморка шагов пять в длину и три в ширину. Тут на узенькой кровати спал старик монах. Мы его разбудили. «Можно осмотреть школу?»

— Сейчас! — заторопился тот... — Ключи... Где это ключи девались?

Школа устроена для мальчиков, которые на зиму при монастыре остаются. Их учится здесь до ста. Тут в этих каморках они и живут.

— Ну, однако, и тесновато им!

— Да ведь они тут только ночуют. Утро — на работе, потом трапезуют, опосля по дворам бегают, в леса уходят — кто во что. А вечером в школу!

— И давно школа открыта у вас?

— В шестьдесят втором. Архимандрита Парфения — усердием. Я тут сторожем состою.

Мы вошли в школу. Большая комната, черные нары, кафедра. На стенах развешаны старинные карты. На окне самодельный, но верный глобус, по словам монаха, сделанный одним из мальчиков.

— На карту посмотрел, посмотрел, да и сделал шар-от по карте!

Мы посмотрели и, действительно, подивились. Сколько для крестьянского мальчика надо было потратить соображения и труда, чтобы сделать этот глобус. И подумать, что все его способности должны пропасть бесплодно — в стенах монастыря: грустное чувство охватывало нас при этой мысли.

На стене была табличка уроков: оказалось, что ежедневно на класс посвящается от 2 — 3 часов времени. Привожу расписание уроков целиком:

1. Понедельник: Закон Божий. Чтение св. писания. 2. Вторник: История ветхого и нового Завета. 3. Среда: объяснение Богослужения. 4. Четверг: упражнение учеников в чтении молитв под руководством всех наставников вместе. 5. Пятница: история церкви и государства русского. География. Арифметика. 6. Воскресенье: письмоводство.

Итак, только два часа в неделю определено на русскую историю, географию, арифметику. Затем все остальное время занято чисто духовными предметами. Понятно, что такая школа, при ласковом обращении с учениками монахов, приготовляет из детей будущих кандидатов в обитель. Тут они проникаются до мозга костей аскетизмом и духом монастырской общины. Возвращаясь домой, в свои города, села и деревни, они спят и видят, как бы опять поскорее попасть в монастырь, и уже навсегда.

— Наказывают монахи учеников?

— Чудно это дело, братец мой: без розги обходятся — а дети шибко учатся. Чтоб это кто ленился — николи! Детки такое усердие имеют, что друг перед дружкой стараются!

— Много идет их в монастырь потом?

— Все, почитай; редкий не вернется в обитель. Потому дух этот почиет в них!

— И молодыми поступают?

— Да, подросточками. Годков по шестнадцати, по семнадцати[1]...

---

[1] В последнее время меры, принятые Св. Пр. Синодом, посократили значительно случаи поступления в монастырь такого громадного количества послушников, как прежде. — *Прим. авт.*

Кроме этого класса есть еще младший, где учат молитвам, чтению и письму. Целесообразно вообще направляет монастырь свою деятельность. Мальчик является сюда забитым и запуганным. Дома он голодал, был плохо одет, томился на работе; дома — грязь, нищета, пьянство отца; дома он слышит общие жалобы: недоимка одолела, становой притесняет, старшина куражится, староста пропил казенные деньги — всяк отвечай за него своим карманом; дома деревенский мальчик растет, как волчонок, чуя за собою постоянную травлю, видя, что та же травля одинаково преследует и взрослых.

В монастыре он разом сталкивается с иным миром, с иною, привольною жизнью. Тут его никто не бьет. С ним обращаются мягко, даже нежно. Старики монахи смотрят на него, как на свое дитя. Потребность любить пробуждается в старческом сердце аскета, и он серьезно привязывается к крестьянскому мальчику, как к родному. Товарищи, войдя в общий тон обители, обращаются с ним ласково. Он всегда сыт: изобильный обед, ужин; хлеба, мяса и рыбы вволю; ешь до отвала. Первое время, действительно, он только ест да спит. Одет он опрятно и чисто. Белье ему меняют в неделю по два раза, нет своего подрясника — ему выдадут новый из монастырской рухлядной кладовой. На работе его не томят. Работай, сколько можешь, сколько есть усердия, потому что эта работа не на хозяина, а на св. Зосиму и Савватия. Грязи, нищеты не видать нигде. Пьяных и подавно. Жалоб на судьбу, недоимку, подать и повинности не слыхать; короче — приволье, рай земной, обетованная для крестьянского забитого ребенка.

Понятно, что несчастный мальчуган в восторге от обители. Это для него — идеал земного счастья и благополучия. Чего еще искать, куда еще идти? А тут на помощь является школа, где каждый день ему твердят о великом подвиге спасения, о греховности мира, о невозможности сохранить душу свою вне пределов обители. Ум его настраивается на монашеский лад. Он совершенно становится монахом. Пропадает резвость движений, гаснет смелый взгляд, ресницы опускаются вниз, шаги становятся размеренными, самая речь под влиянием школы делается похожею на церковно-славянскую. Год такой жизни — и будущий монах готов. Что его удержит в мире? Любовь к семье? Но в этой семье он видел брань, колотушки, холод и голод. Стремление к брачной жизни? Он еще не доразвился физически до этого. Он и идет в монастырь, считая величайшим для себя счастием попасть туда. Обитель становится его отечеством, его верою, его жизнью. Это — самый лучший монах. Он много работает и мало рассуждает. Не умеет руководить и приказывать — зато слепо повинуется сам. Отсюда понятно недоброжелательство монахов к чиновникам, дворянам, купцам, поступающим в обитель. Эти, пожалуй, не подчинятся строгой

дисциплине, на которую те смотрят, как на легкое бремя, и даже не как на бремя, а как на легкую и приятную обязанность. Эти станут рассуждать, станут сеять соблазны в их среде. Да, наконец, и в прошлом этих прозелитов столько светлого, что они никогда не сумеют порвать с ним свои связи. Отсюда тоска, заражающая других, недовольство и, наконец, — чего монах особенно не любит — оставление монастыря, расстрижение.

Впрочем, в Соловках последнее случается очень и очень редко.

XV
САМОРОДКИ

В трапезной Соловецкого монастыря я видел картины художников-самоучек. Первые их произведения обнаруживали яркий талант, последние бывали безжизненны, сухи, бездарны. Явился было один мальчик, подававший большие надежды. Его ученические эскизы дышали смелостью, чутьем художественной правды. Даже монахи были поражены ими. Обитель послала подростка в Москву, в художественную школу. Там юный талант окончил курс и вернулся в монастырь. Рисунки этого периода его жизни — хороши. Но по всем последующим можно проследить, как под влиянием аскетизма, мертвенности, неподвижности, застоя жизни гас его талант. Линии рисунка выпрямляются, выражение лиц становится все более сухим, иконописным. А хоть тот же мальчик, сообразивший, как по ландкартам сделать глобус? Разве не скрывался в нем талант? К сожалению, и он погиб для жизни и науки! Вот, напр., рассказ одного монаха.

— Привез к нам инок брата своего, зырянского мальчика. Оставил в монастыре. Пуглив мальчонка был. Привели его в класс, показали азбуку — к вечеру он уж и знает ее. А через два дня сам читать стал. И что ему ни показывали, все понимал разом. Книги читать начал — не оторвешь, бывало. Месяца через четыре лучше монахов все священное писание знал. Память такая, что прочтет страницу, и все расскажет слово в слово. Взял библию на славянском языке и на латинском, словарь взял (один монашек, из попов, помог ему), через три месяца уж и латынь знал. Задачи какие арифметические — разом понял. Учителя своего в тупик ставил. Задаст, бывало, учителю задачу, тот бьется-бьется над ней, а зырянин смехом решит. Любознательности у него гибель было. Ничего мимо не пропустит. Таких способностей я на веку своем не видывал. Просто ум помутится, как поговорить с ним. Такой ли острый парень! Ну, только и предсказывали мы ему, что долго не проживет. Потому Господь

не дает таким долгого века. Пробовали его от книг отваживать, на черную работу посылали — мигом покончит работу и опять за книгу. Мастерство завел — деревянные часы своим умом сделал. Потом монастырь весь, до малейшей подробности, из хлеба слепил. Все для подъема воды колеса разные придумывал. Брат, бывало, отнимет у него книгу — выпросит со слезами и опять читает. Так года два или три шло. Просто мы диву дались. Однако знали, что не к добру это... Уговаривали его бросить — засмеется в ответ, да и только. А в это время приехало к нам важное лицо, ему и показали этого мальчика, потому — чудо. Только в нашей обители и могут проявиться такие. Подивился и тот: часа два говорил с мальчиком, задавал задачи, какие у нас и не снились никому; думали, смутится парень — ничего. Все решает, и быстро так. Велели ему ехать в Питер, там его в какое-то училище определили. Что же бы вы думали — в три года он на двенадцати языках говорил. К брату писал оттуда. А потом слух прошел, что послали его в Париж на всемирную выставку, там на выставке этой и помер.

— Отчего же он умер?

— Потому в монастыре у нас — строго. В Питере брат тоже своим его препоручил, в оба за ним глядели. Ну, а в Париже во все тяжкие пустился, от женщин, от блудниц вавилонских этих, и сгорел. Вот она судьба! А остался бы в монастыре, доселе был бы жив во славу обители. Очень мы его жалели. Известно, мир — в нем спасения нет. Кто из монастыря туда уйдет — сгниет, как червь. Бог таким не дает долгого века — не посрамляй обитель святую!

Стою я как-то у берега Святого озера. Было это вечером, на третий день моего приезда в Соловки. Солнце уже заходило. День не становился темнее, потому что в это время здесь ночи нет. Но из лесу уже ползла сырая мгла. На воде погасли искры, и вся ее гладь лежала, как тусклая сталь, с берегов опрокинулись в нее силуэты темных сосен. Прямо передо мною через озеро поднимались стены монастыря. Гулкий звон колоколов только что замер в воздухе, а ухо, казалось, еще слышало последние удары. Сердце невольно рвалось куда-то.

Вижу, ко мне робко подходит молодой монах из послушников. Мы заговорили.

— У меня к вам дело есть! — И он замялся.

— Сделайте одолжение: рад служить, чем могу!

— Правда, что вы пишите в газетах и журналах? Мне брат один сказал.

— Правда!

— Ах, давно я хотел повидать кого-нибудь из писателей. Я тоже (он покраснел) стихи пишу. Только не знаю, что выходит. Дрянь, должно быть... А может, и есть что!

Меня поразила симпатичная наружность этого юноши. На бледном лице его ярко сверкали крупные черные глаза, волосы роскошными прядями обрамляли высокий лоб, какое-то болезненное чувство тоски лежало в каждой черте его лица, в каждом движении проглядывало что-то робкое, какая-то неуверенность в себе.

— Как вы сюда попали? — наконец спросил я.

— Это невеселая история, — начал он. — Стоит ли только рассказывать?.. Любил я девушку одну... Ну, и она тоже... Чудо девушка была. Года два так шло. Вдруг родители взяли, да и выдали ее за какого-то пьяницу-чиновника силком, потому они тоже чиновники были, ну, а я из мещан. Чуть я не утопился тогда. Прошло месяца три — она возьми, да и убеги ко мне. Отняли с полицией. Побоев сколько было!.. Вынесла, бедная, немало и... заболела чахоткою, — через силу проговорил он каким-то надорванным голосом. — Проболела недолго. Весною, с первым листиком, и Богу душу отдала... И в гробу, точно живая, лежала... Что было со мною — не знаю. Стал я ходить на ее могилу; только и счастия было, что поплачешь над ней... Ну, а как пришла зима, да занесло все снегом, такая меня тоска тогда обуяла, что порешил я бросить все и уйти в монастырь. Летом и пошел сюда пешком... А какое создание славное было... Знаю, что большой грех думать об этом, да уж с вами душу отвел!

— Вы учились где-нибудь?

— Где учиться. До четвертого класса гимназии дошел, да оттуда отец силой взял — в лавку надо было!

— Что же вы пишите?

— Стихи. Я, признаться, и в миру стихи писал. Да то — другое дело!

— Пробовали вы посылать куда-нибудь?

— Куда?.. И то хоронюсь. Неприлично это монаху!

— Неужели вы думаете постричься окончательно?

— А то как? Там мне нечего делать. Здесь хоть за ее душу молиться стану!

Он прочел мне свои стихотворения. Они были не обработаны, рифма не совсем удачна; размер не соблюден — но какая сила выражения, какие яркие образы! Талант так и звучал в каждой строке их. Они были проникнуты чувством великой скорби. Только порою в них отчаянно прорывался бурный, бешеный порыв измученной души. Тоску они навели на меня. Жалко было видеть такое дарование схоронившимся в монастыре.

Все мои убеждения были напрасны.

— Перст Божий! — твердил он. — Да и что из меня будет там... В мире нет спасения!

XVI

КОЖЕВНЯ И КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД. — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОНАСТЫРЯ

Нужно отдать Соловецкому монастырю справедливость. Это хороший работник и хозяин. Начиная с наместников и членов собора, здесь работают все и каждый. Часто иеромонах справляет черную работу и не претендует на это. Он только совершает «послушание». Сюда стекаются из разных концов России. Тут есть монахи с Кавказа, из-за Волги, из Западного края, из Крыма, из Сибири, из Турции. Всякий приносит с собою какое-либо знание, кто по хозяйству, кто по механике. Оттого в монастыре везде, где возможно, ручной труд заменен машиною, и непременно местного изобретения. Даже вода в гостиницы и монастырь не разносится носильщиками, а поднимается в каждый этаж посредством ловко и удобно устроенных воротов. Никто не должен находиться в бездействии — вот принцип этой аскетической рабочей коммуны.

— Да ведь у вас, поди, поленываются работать?

— А надзиратели-то наши!

— Какие надзиратели?

— Св. Зосима и Савватий невидимо присутствуют. Их не обманешь — все видят. На них, ведь, работаем, они наши хозяева. Повсечасно памятуем это. Опять же не забываем, что только труждающийся да яст...

Монах идет на работу беспрекословно. Ни недовольства не выскажет, ни о замене его другим не попросит. Этому особенно способствует то, что $^5/_6$ всего числа иноков больше крестьяне и только $^1/_6$ из других сословий. Первые и вне стен монастыря привыкли работать, и работать впроголодь.

— Раз как-то я стену работал и затомился, так затомился, что руки поднять не могу. А хотелось стену вывести, не откладывая до другого раза. Ну, и стал я на колени, сделал несколько земных поклонов, помолился святому Зосиме-Савватию, и вдохнули хозяева наши силу в меня. До самого до вечеру безотходно работал. Стену и окончил!

Монахи имена святых Зосимы и Савватия произносят, как одно имя: Зосимсавватий.

Понятно отсюда, как развилась в Соловецком монастыре такая производительность, какая не снится и Архангельску. Здесь строят пароходы, чинят их, литографируют, дубят кожи, приготовляют кирпичи; тут есть фотография, финифтщики, золотильщики, ювелиры, сапожники, портные, башмачники, восковщики, механики, скотоводы, сыровары, строители, архитекторы; тут есть магазины, великолепные хозяйственные помещения, кладовые, квасные и пекарни; монастырю принадлежат два парохода и морская шкуна, на которой монахи ловят рыбу и

промышляют зверя вдоль берегов мурманских, в Северном Ледовитом океане. Тут есть резчики, столяры, кузнецы, гончары, коневоды, огородники, опытные садовники, живописцы, даже золотопромышленники. Короче — отрезанный в течение 8-ми месяцев от всего остального мира Соловецкий монастырь ни в ком не нуждается и ничего нигде не покупает, а все, что ему необходимо, производит сам, кроме хлеба, круп и каменного угля.

Эта кипучая деятельность производит поразительное впечатление на людей, видевших такие обители, каковы Троицко-Сергиевская, Юрьевская и др., не труждающиеся и не обремененные, но все же вкушающие от плодов земных в изобилии.

Соловки прежде вываривали до 400 000 пудов соли на беломорских берегах Кемского и Онежского уездов; кроме того, в первом они разрабатывали железо, серебро на Мурмане и отправляли промысловые партии на Новую Землю. Таким образом, эта рабочая община исторически выработала свои настоящие формы. Разумеется, благосостояния, удивляющего теперь богомольцев, они не достигли бы своими средствами исключительно. Тут отчасти важное значение имели приношения богатых крестьян архангельских, олонецких, вологодских, вятских и пермских и особенно обилие даровых рабочих рук. Добровольных работников-богомольцев остается в монастыре на год не менее четырехсот человек. Считая каждый рабочий день в 30 коп. (minimum), мы получим сумму, остающуюся в пользу монастыря, — 120 руб. в день, или 43 800 руб. в год. Считая число мальчиков во 100 и принимая, что рабочий день каждого станет 10 к., или все 10 р. в день и 3650 р. в год, окажется, что даровой труд приносит обители — 47 450 руб. Ежегодно, по расчету монастыря, у них перебывает до 15 000 богомольцев. Считая, что каждый из них принесет в монастырь по 10 р. (minimum), а обойдется монастырю в 2 р. (maximum), получим 120 000 руб. Часовня обители, находящаяся в Архангельске, подворья, где квартиры, лавки и кладовые отдаются в наймы, приносят ежегодно 10 000 руб., да пароходы около 15 000 руб. Итого, кроме неопределенных, чрезвычайных пожертвований, вкладов и т. п., монастырь имеет ежегодного, правильного неизбежного дохода около 200 000 р. Процентов с принадлежащих ему капиталов монастырь, как мы слышали, получает 25 000 руб. Прибавьте, что для себя Соловки покупают только хлеб в Архангельске и каменный уголь в Англии, что все необходимое производится здесь и в таком излишке, который допускает продажу на сторону, достигающую 30 000 р., и вы тогда сообразите, насколько богата эта община. Тем не менее истинные средства ее выше показанных нами. Монастырь своею работою содержит себя сам. Он мог бы легко обойтись и без всех этих ресурсов, которые только увеличивают его фонды, неподвижные, не пускаемые в обороты,

его лежачий капитал. Если бы обратить в деньги движимое и недвижимое имущество монастыря, т. е. самые острова, составляющие его собственность (грамоты Марфы Посадницы, Иоанна IV Грозного и пр.), строения, скиты, пароходы, суда, доки, все его производительные заведения фабрично-заводского характера, его церкви, ризницу, часовни, его табуны и стада, его подворья в других местах, то получилась бы сумма, наверно превышающая 10 000 000 руб. И все это цветет, все производства совершенствуются и расширяются. Вот краткий очерк экономических средств монастыря. И это развилось в глуши, посреди негостеприимного Белого моря, без всякого участия грамотных, образованных классов, среди горсти крестьян, приявших иноческий чин и сумевших в течение четырех столетий обратить голые Соловецкие камни в чудные оазисы, поразительные своею оригинальною красотою, богатством и производительностью.

Прежде средства монастыря были еще значительнее. Несмотря на улучшение путей сообщения на севере устройством пароходства по реке Северной Двине, — обеднение нашего крестьянства дошло до той степени, что оно отразилось и на доходах монастыря. Прежде не только богомольцев было больше (до 25 000 чел.), но и приношения делались чаще и крупнее. Так, еще недавно, как мы слышали, цифра таких приношений доходила до 280 000 р. Разумеется, все эти данные только приблизительно верны, но их достаточно для общих заключений.

— Оскудевает усердие к святой обители! — жаловался мне старый седой монах, опираясь на костыль.

— Дух времени!

— Не дух времени, а дух вольномыслия, дух погибельный, дух зла...

— Работать нынче много приходится, все дорого, а средств мало. Обеднели!

— А обеднело все потому, что ослабело усердие к благолепию храмов Божиих. Вера оскудевает. От князя власти воздушные все. Последние времена приходят. Крестьяне и те скупятся на приношения!

— Да, ведь, и они до голода доходят...

— Прежде слепая вера была — оттого и нищеты той не замечалось. Ныне разумом своим величаются и оскудевают!

— Что ж, последний кусок нести в монастырь?

— Зачем последний... Господь подаст: ты принесешь свой дар обители, домой вернешься — а тебе, может, за это ангел Господень невесть какое богатство подаст!

— Ну, на это мало надежды!

— Враны пророка питали в пустыне!

Кожевня помещается в двухэтажном каменном доме; как и большая часть здешних производительных заведений, она бывает

в действии только восемь зимних месяцев. Четыре месяца навигации, когда монастырь посещается богомольцами, она стоит без дела. В кожевне работают один монах и шестеро рабочих из богомольцев; выделывают здесь до 8 000 штук одних нерпичьих кож; кроме того, тюленьи, моржовые, оленьи и коровьи. Тут же и кельи работающих в кожевне людей. Кожевня приносит монастырю немалый доход, как и все устроенное у себя монахами. Валовой оборот ее равняется 50 000 р.

Отсюда мы вышли и углубились в лес.

— Все это, — объяснял путеводитель, — когда-то сплошным болотом было. Монастырь осушил острова, и теперь, кроме нескольких лугов, нарочно оставленных, нигде топкого места не найти. Луга и те посередь островов больше, да в Анзерах. Везде прорыты канавки!

Меня тут поразило обилие незабудок и таких цветов, которые не встречаются в Архангельском, Холмогорском и Шенкурском уездах, несмотря на то, что они гораздо южнее Соловков. Роскошная растительность последних носит на себе отпечаток северной природы. Тут есть, между прочим, великолепные леса, из-под почвы которых постоянно прорезываются гребни гранитных утесов.

Монастырь имеет свой кирпичный завод. Тут ежегодно заготовляется до 400 000 шт. кирпича, и какого кирпича! Прочность его необыкновенна, и от времени он приобретает крепость железа. Каждый кирпич весит 16 фунтов, и гораздо крупнее наших. Из него выстроены все позднейшие здания, как, например, гостиница — громадный трехэтажный дом, возведенный в три месяца, причем над постройкой трудился сам архимандрит. Кирпич для этого строения заготовлялся три года. В кирпичном заводе работают около 20 человек с пятью монахами. Он прекрасно содержится.

Нельзя отрицать, что жизнь в монастыре для годовых богомольцев-рабочих имеет свою полезную сторону. Часто, т. е. почти всегда, крестьянин является сюда ни к чему не подготовленным. Работая здесь, он присматривается к разным хозяйственным приспособлениям, упрощениям, и дома у себя старается применить виденное. Когда я проезжал Олонецкую губернию, то в большом селении Юксовичи удалось мне видеть необыкновенно чистые конюшни, особенно весьма выгодный и практический способ содержания скота и некоторые необычные в крестьянском хозяйстве приемы. Расспросив старика-крестьянина, я узнал, что село обязано этим — Соловецкому монастырю, в котором перебывала, в качестве добровольных рабочих, большая часть населения этого круга.

Особенно выгодно пребывание в монастыре отзывается на мальчиках, если, разумеется, оставить в стороне склонность к аскетизму и монашеству, выносимую отсюда. Они приезжают

домой ремесленниками или вообще производителями другого рода. Знания эти дают им возможность упрочить свое экономическое положение; здесь же они привыкают к опрятности и строгому порядку — двум добродетелям, реже всего встречающимся в нашем крестьянстве.

XVII
КАНАЛЫ, ЛЕСА И ДОРОГИ

Монахи умеют пользоваться местностью.

По склону, едва заметному, некогда бежал ручей из одного внутреннего озера в другое. Тонкая струя воды — и только. Казалось, она ни к чему и не пригодна. Какой-то послушник расчистил берег ручья, углубил его ложе и выровнял его: незначительный исток обратился в узенький канал.

Я поднялся вверх по его течению; монастырь и тут не упустил случая воспользоваться силою воды и устроил в одном месте точильню, на другом пункте водоподъемную машину. Точильня состояла из большого ворота, движимого водою. Диаметр его $1^1/_2$ сажени. Ворот стоит вертикально. Его дугу охватывали ремни, которые затем, перекрещиваясь, разделялись на два, к каждому из них было прикреплено большое точильное колесо. Вследствие движения воды в канале ворот вращался и в свою очередь посредством ремня вертел два точильных колеса. Перед последними устроены были скамьи, на которых при нас сидели точившие косы и топоры монахи. Механизм до крайности прост, удобен и выгоден. В день такая точильня может выточить более 300 кос, 450 топоров — и сколько хотите ножей. Ее одной достаточно на город средней руки. Над точильнею — дом, чисто содержимый и весьма опрятный. Зимою, когда канава замерзает, ворот приводится в движение механическою силой. Эта точильня — изобретение крестьянина, прожившего здесь год и, кажется, оставшегося в монастыре навсегда.

Солнечный свет мягко обливает зеленую мураву сухого луга. Безоблачное небо синело над нами, напоминая необыкновенно прозрачною лазурью своей дальний юг. По окраинам словно замерли гигантские сосны и белые березы, протянув недвижные ветви в свет и тепло яркого летнего дня. Мы шли все вверх по течению канала.

Новое здание каменное, большое — это водоподъемная машина.

Мы вошли. Род сарая; посредине несложным механизмом вода подымалась вверх на высоту четырех аршин, лошадь с бочкою подъезжала под кран, которым заканчивался желоб, и струя отвесно падала сверху. И легко, и просто, и удобно. А

главное — сокращает рабочую силу, заменяя ее механической. В сарай влетела чайка и спокойно села на край желоба.

— Кто это строил у вас?

— Монах один... Из крестьян. Хорошо придумал!

— Да, хорошо!

— Все от угодников. Их заступлением; не оставляют обители — дом свой... Потому здесь вси труждающиеся и обремененные. Шелков да бархатов, как в иных прочих монастырях, не носим!

Действительно, соловецкий монах — всегда и везде является в одной и той же рясе из толстого и грубого сукна. Простое холщовое белье крестьянского покроя, сапоги-бахилы из нерпичьей кожи — одинаковы у всех, у наместника и у простого послушника. Черные, грубые мантии дополняют костюм. Роскоши нигде не заметно.

И какой здоровый, коренастый народ — соловецкие монахи! Все это люди сильные, незнакомые с недугами. Оригинальную картину представляет здешний инок, когда с засученными по локоть рукавами, клобуком на затылке и подобранной спереди рясой он большими шагами выступает, с крестьянской перевалкой и приседаниями, по двору обители. Это тот же самый хлебопашец, только переодетый в рясу. С одним из таких подвижников мы отправились в лес.

По обе стороны дороги лежали громадные валуны. За ними недвижно стояли лесные гиганты. Оттуда веяло свежестью и прохладой. Мы вошли в эту тенистую глушь. Высоко над нами переплетались могучие ветви, мягкий дерн устилал все промежутки между деревьями. Что это были за прямые стволы! Порою из-под почвы выступала острым краем серая масса гранита. Кое-где целые скалы торчали в глуши, плотно охваченные молодою порослью. Земля была холмиста. На верхушках пригорков поднимались купы сосен, протягивая далеко на юг свои ветви. Северная сторона этих великанов была обнажена. Деревья, росшие внизу, распростирали во все стороны одинаково свои сучья. Их не достигал грозный северный ветер. И какие чудные озера были разбросаны в глуши этих лесов, чистые, прозрачные, как кристалл. Невольно приходило в голову сравнение их с красавицей, лениво раскинувшейся в зеленой ложбине. Кругом нее стоят ревнивые сосны — а она нежится в лучах яркого солнца, отражая в бездонной глубине своих чудных очей и это синее небо, и эти жемчужные тучки!.. Тут все дышит идиллией, все навевает блаженные грезы, все говорит о далеком милом крае, где нам было так хорошо, весело и отрадно, о прекрасном, бесконечно прекрасном крае, где царствует вечная весна, о светлом крае воспоминаний, имя которому — юность!..

И как становится досадно, когда встречаешь кругом только серые, аскетические лица!..

А прозвучи здесь громкая, вдохновенная песня, проникнутая всею негой потрясенного страстью сердца, этот призыв неудержимо рвущейся куда-то человеческой души, — и как волшебно прекрасен показался бы этот идиллический мир с его лесною глушью и светловодными озерами!..

На этих поразительно живописных берегах как мила была бы любящая пара, вся проникнутая доверием к будущему, золотыми мечтами юности, радужными надеждами на счастье...

И разве это счастье не было бы лучшею молитвою, чистейшим славословием, хвалебною песнею сердца?..

Побродив с час по лесу, мы опять вышли на дорогу, ведущую назад к монастырю. Соловецкие дороги замечательно хороши. Прямые, плотно убитые щебнем, достаточно широкие, они во всех направлениях перерезывают острова, свидетельствуя о предусмотрительной энергии монахов. Как любил я бродить по ним, когда спадет полуденный зной, и тихая прохлада веет из лесу, с зеркального простора озер, с синеющего безбрежного моря... Да, это прекрасный уголок земли, лучшая часть нашего далекого севера. К сожалению, теперь здесь нельзя остаться даже на лето больному, потому что острова Соловецкие принадлежат монастырю и там негде жить постороннему.

«Рай — наши Соловки!» — говорят монахи.

«Господь своим инокам предоставил их, чтоб здесь на земле еще видели, что будет даровано праведникам там, на том свете».

«Одно плохо, хлеба не родит наша пустынь блаженная!» — дополняли третьи, более практические.

XVIII

ОТЕЦ АВРААМ[1]

Я забрел в Благовещенский собор рано утром. Меня там почти оглушил шум многих голосов, раздававшихся отовсюду. Двадцать три иеромонаха одновременно служили молебны. Стоя близ служивших, нельзя было различить отдельных слов. Это был какой-то хаос выкрикиваний, звуков, пения. Поминутно являлись новые богомольцы, и семи-восьми человекам зараз, отбирая у них поминания, священник торопливо служил молебны. Деньги за молебны запрещено давать в руки иеромонахам. Сначала покупается билет на молебен (простой 35 к., с водосвятием 1 р. 50 к.); с ним богомолец является в собор, предъявляет его священнику, который уже затем начинает службу...

— Сколько вы таким образом отслужите молебнов в одно утро?

---

[1] Имя изменено.

— Все вместе — пятьсот случается. Бывало, и по шестисот удавалось. Все зависит от того, сколько богомольцев!

Говоривший со мною был приземистый, коренастый монах, только что снявший ризу. На крупном четырехугольном лице его бойко и умно смотрели несколько вкось прорезанные глаза; густые седые волосы обрамляли львиною гривою лоб. На скуластом лице отражалось выражение крайнего самодовольства. Еще бы! Приходилось отдохнуть после сорока молебнов.

— Вы не из Архангельска ли? — спросил он у меня: — Знаете Ф. и Д.? — Он назвал знакомых.

— Как же, хорошо знаю!

— Ну, так пойдем ко мне чай пить. Побеседуем, давно я не бывал в Архангельске!

Я с удовольствием принял его приглашение. До тех пор мне не удавалось видеть внутреннюю обстановку. Пройдя двумя дворами, обставленными высокими зданиями келий, я воспользовался случаем порасспросить его о хозяйстве монастыря и перечислил при этом только что виденные мною мастерские.

— Ну, а чугунолитейный завод видели? И восковой, и смолокурню не осматривали?.. Все у нас есть. Главное, Господь невидимо покровительствует. Чудодейственная сила во всем, куда ни посмотри! — И коренастый монах с гордостью оглянулся кругом.

Мы вошли в келью.

Бедная, выбеленная комната. Прямо между двумя окнами аналой. Два табурета, стол, комод и кровать. Кстати вспомнил я, как соблюдают обеты бедности иеромонахи других монастырей; сравнение было не в пользу последних...

— Что, у вас все так живут?

— Нет, — самодовольно ответил старик. — У меня попросторней, да и посветлее. А, впрочем, житие пустынное, настоящее монашеское житие. Разве мы немецкие пасторы или польские ксендзы, чтобы роскошничать?.. Пастор и польский ксендз, а по-нашему — поп, и я поп, а между нами разница, потому мы не от мира сего!

Отец Авраам бесцеремонно снял рясу, шаровары и сапоги и очутился в рубахе и нижнем белье. В один миг монах преобразился в вологодского крестьянина. Так он и присел к столу.

Засели мы за чай. Пошла беседа. Я спросил о библиотеке монастыря.

— Книгохранилище наше теперь опустело. Все рукописи старинные в Казанский университет мы отправили!

— Зачем вы их отдали? — спросил я.

— Как зачем? Да ведь у нас они, что камни лежали. Кому их разбирать. Ведь у нас — пользоваться не умеют. Теперь же там хоть что-нибудь извлекут. Мы и послали на свой счет.

Теперь читаю кое-что, вижу, и из наших рукописей есть. Оно и приятно, что нашлись умные люди.

— Неужели ж у вас никого не было?

— Некому у нас в монастыре. И члены-то собора нашего, и мы все — мужики. Крестьянское царство тут. Наше дело работать в поте лица своего. Шестьсот манускриптов послали мы. Все старинные самые рукописи... Тут бы их или мыши, или черви съели. Не до того нам. И некому, говорю тебе — некому!

— Ну, а библиотека ваша пополняется?

— Нет. Читать некому. Все же есть кое-что. Недавно я вопросом о соединении церквей занялся. Много источников нашел. Интересно было после работы почитать!

И отец Авраам принялся излагать настоящее положение этого вопроса, так что я стал в тупик. «Ошибся, — думаю, — этот верно из духовных».

— Давно вы в монастыре? — спрашиваю.

— Сорок лет. Я из мужиков ведь. Из самых из крепостных. Как-то помещик честно отпустил меня помолиться в Соловки. Я как попал сюда — и выходить не захотел. Потом бежал, скрывался, ну, а теперь кое-что могу понимать!

Из разговора оказалось, что отец Авраам вологжанин. На родине у него и теперь сестры, которым он помогает.

Беседа его обнаруживала большую начитанность и знание. Ум проглядывал в каждом выражении, в каждом приводимом им аргументе. Это — находчивый и бойкий диалектик. Ко всему этому неизбежно примешивалось чувство некоторого самодовольства. Вполне, впрочем, законное чувство; «подивись-ка ты, ученый, как тебя со всем твоим университетским образованием простой мужик загоняет». Он с особенным удовольствием при случае ссылался на свое происхождение, выражая, кстати, что достаточно пустить в монастырь двадцать пять дворян, чтобы вся производительность, все благосостояние обители рушилось: дурной пример — соблазн. «У нас стол грубый, одежда грубая, — те начнут заводить свои порядки — и все пойдет прахом. Оттого мы неохотно принимаем в нашу среду чиновников».

— А что, одолевает скука? Хочется в мир, отец Авраам?

— Отчего?.. Никогда не томит. Не зовет туда. Ну, впрочем, два месяца было. Доселе не забыл. Я уж лет пятнадцать состоял. Летом как-то раз стою у пристани, и приехали к нам богомолки да богомольцы. Кто-то из них и запой песню. Так я и дрогнул. Точно с той песни что у меня в сердце оборвалось... Даже похолодел весь... Едва-едва в келью добрался. Как пласт на пол упал, да до вечера и пролежал так... На другой день еще хуже... Все песни в голове... Хожу по лесу, начну псалом — а кончу песней.

Бью поклоны в соборе, а в глазах не иконы — поле зеленое, село родимое... Сад барский, да река синяя внизу излучиной тянется... а по-за рекой степь, наша степь, и по ней низко-низко туман виснет, не колышется, только вширь ползет, расстилается. Слезы, бывало, по лицу так и катятся... До того доходило, что бежать из монастыря думал... Да, слава Господу, опамятовался. Пошел к архимандриту и в самую тяжкую работу попросился. Месяца полтора прошло так, что вечером, как придешь домой в келью, так, не доходя кровати, в углу свернешься, шапку под голову, и до утра — словно мертвый... Отошло тогда... Больше не бывало. Известно, Господь испытывал!

— А бывали такие, что не выдерживали таких испытаний?

— Бывали, как не бывать! Малодушие это, ну, дьявол и пользуется, шепчет в уши и перед глазами живописует. Не соблюдешь себя и сгинешь, как червь. Один в монастыре у нас на что пустился, чтобы рясу сбросить: донес следователю, что-де он убийство совершил. Ну, его в острог в Архангельск, стали справки собирать — никакого такого убийства и не бывало. Ну, его из монастыря и выключили. Что же бы ты думал — с вина человек через год сгорел...

— Кстати, правда ли, что рассказывал архимандрит Александр о своей поездке на английские корабли во время осады монастыря?

— Должно быть, у Максимова читали? Просто англичане потребовали сдачи монастыря — им и отказали. У нас одному монаху ввиду неприятеля пришлось за порохом в Архангельск отплыть!

— И удалось?

— Еще бы. Крест за это получил. Ему дали лодку и отпустили. В три дня он в город попал. И погоня была. Ко дну пустили бы, если бы поймали. Он и причастился перед поездкой. Ведь на смерть шел. Впрочем, и монастырь-то защищался не для сбережения своих сокровищ. У нас одни стены оставались. Все драгоценности, деньги, документы, даже ризы с образов были отправлены в Сийский монастырь на хранение. А англичане сильно добирались до нас. Стреляли. Бомбы внутри зданий разрывались. Ну, и Господь показал свое чудо: не токмо человека не убило и не ранило — ни одной чайки, ни одного яйца птичьего не тронуло. Чайки же и задали англичанам. Как те стали палить — они и поднялись. Тысячами налетели на неприятеля, да сверху-то корабли их и самих англичан опакостили... Умная птица!

— Ну, а мужество духа, бодрость, действительно были обнаружены монахами, как писал Александр?

— И этому не вполне верь. Перетрусили некоторые до страсти, упали на землю и выли. Да и как не спужаться — мы народ мирный, наше дело молитва да труд, а не сражение.

Такого страха и не увидишь нигде. Да вот спроси у о. Пимена — он был в то время!

Я обратился к только что вошедшему о. Пимену. Это был высокий, худой монах с длинною седою бородой, сгорбленный, едва передвигавший ноги. Он подтвердил, что действительно монахи очень тогда «испужались».

— Вот какое у них мужество было. Человек пятьдесят порешительнее было!

— Что же, когда из Архангельска возвратились с порохом?

— К тому времени англичане уж домой убрались. Раньше-то мы не запаслись. Задним умом крепки!

— Как не спужаться, — продолжал старик. — Поди, если попадет — ноги тоже протянешь. Бонба, она не пожалеет, у ней разуму нет... Нешто она понимает, в кого летит. У ней все виноваты!

Разговаривая с монахами, я не раз убеждался, как фанатически привязаны они к своей обители. Простые послушники с озлоблением отзываются о каждой попытке местной администрации вмешаться в их дела. Монахи, когда им предлагали отсюда ехать настоятелями в другие монастыри, заболевали от отчаяния и умирали. Это своего рода тоска по родине. Добровольно из них не выезжает никто. А между тем к этому средству еще недавно прибегали архимандриты, чтобы отделаться от надоедавших им или почему бы то ни было неприятных им монахов.

«В других обителях, правда, богато живут, рясы шелковые носят, да у нас все лучше. У нас настоящее пустынножительство»...

Обитель для них отечество. Она заменяет им все — семью, родину.

«У вас в Рассее», — говорят монахи. «Завтра назад в Россию едете?» — «Ну, как у вас в России народ живет?» — «То в России, а то у нас!»

XIX

СОЛОВЕЦКАЯ ТЮРЬМА И ЕЕ АРЕСТАНТЫ

Соловецкий монастырский острог вместе с Суздальским едва ли не последние остатки старого времени, ужасов, когда-то пугавших наших предков и получивших на страницах истории свое место.

Сколько крови пролилось на эти сырые, холодные плиты, сколько стонов слышали эти влажные, мрачные стены! Каким холодом веет отсюда, точно в этом душном воздухе еще стелется и расплывается отчаяние и скорбь узников, тела которых давно истлели на монастырском кладбище. Невольный трепет охватывал меня, когда я вступал в ограду этой исторической тем-

ницы. Князья, бояре, митрополиты, архиереи, расколоучители, крамольники томились когда-то за этими черными, насквозь проржавевшими решетками. Сотнями свозили сюда колодников со всех сторон России. Тут всегда страдали за мысль, за убеждение, за пропаганду. Цари московские часто ссылали сюда своих приближенных. Петр наполнял кельи этого острога людьми, не преклонявшимися пред его железной волей. Измученные, часто прямо от пытки, с вырезанными языками и ноздрями, сюда отправлялись искатели истины, за заблуждения на пути этого искания. Одиночество, суровые условия жизни ожидали их здесь, вплоть до могилы или нового мученичества. Расколоучители иногда отсюда посылались внутрь России, где их живьем сжигали в деревянных срубах. Это была наша старорусская инквизиция. Соловецкая тюрьма, когда к ней приближаешься, кажется такою же громадною, многоэтажною гробницей, откуда вот-вот покажутся, открыв свои незрячие очи и потрясая цепями, бледные призраки прошлого. Суеверный страх охватывает вас, когда вы входите в узкую дверь темницы, за которой тянется вдаль черный коридор, словно щель в какой-то каменной массе.

Снаружи, перед вами, ряды узких окон. Порою в некоторые выглянет бледное-бледное лицо... Нет, это галлюцинация!.. Тройные ряды рам и решеток едва ли пропускают свет в одинокую келью заключенного.

Кто попал в Соловецкий острог, тот позабыт целым миром. Он схоронен заживо. О нем не вспомнит никто. Пройдет двадцать, тридцать, сорок лет — он увидит только лицо своего сторожа. Тут содержатся преступники против веры. Теперь здесь лишь два арестанта. Кроме того, живут в тюрьме двое «не в роде арестантов» по официальной номенклатуре.

На меня тюрьма произвела отвратительное впечатление. Эта сырая каменная масса внутри сырой каменной стены переносит разом за несколько веков назад. Жутко становилось мне, когда я подходил к ней. На лесенке у входа сидело несколько солдатиков. Для двух арестантов содержатся здесь двадцать пять солдат с офицером.

— Что, братцы, можно осмотреть тюрьму?

Все переглянулись; молчание. Явился старшой. Оказалось, что арестантов видеть не позволяется... Они помещены в верхнем коридоре; но остальные коридоры видеть можно.

Я вошел в первый. Узкая щель без света тянулась довольно далеко. Одна стена ее глухая, в другой — несколько дверей с окошечками. За этими дверями мрачные, потрясающе мрачные темничные кельи. В каждой окно. В окне по три рамы, и между ними две решетки. Все это позеленело, прокопчено, прогнило, почернело. День не бросит сюда ни одного луча света. Вечные сумерки, вечное молчание.

Я вошел в одну из пустых келий. На меня пахнуло мраком и задушающею смрадною сыростью подвала. Точно я был на дне холодного и глубокого колодца.

Я отворил двери другой кельи — и удивился. В этой черной дыре комфортабельно поместился жидок — фельдшер местной команды. Он был, как у себя дома. В третьей жил фельдфебель. Второй коридор этажом выше — то же самое.

— Тут никого нет?

— Есть, только «не род арестантов». Добровольно сидят.

«Кто решится жить добровольно в такой ужасной трущобе?» — и я вошел к одному из этих странных узников. Передо мною оказался высокий высохший старик. Как лунь, седая голова едва держалась на плечах. Глаза смотрели бессмысленно, губы что-то шептали. «Арестантом тоже был когда-то. Ему уж сто два года», — пояснил солдат. — Что же, он освобожден?

Оказалось, что лет шестьдесят тому назад этого старика посадили в Соловецкую тюрьму и позабыли о нем. Только лет двадцать назад вспомнили — и он был освобожден. Когда ему объявили об этом — было уже поздно. Старик помешался за это время. Его вывели из тюрьмы, он походил-походил по двору, глупо и изумленно глядя на людей, на деревья, на синее небо, и воротился назад в свою темничную келью. С тех пор он не оставлял ее. Его кормят, дают ему одежду, иногда водят его в церковь. Он подчиняется всему, как ребенок, и ничего не понимает. Где-то у него осталась семья, но во все продолжение своего заточения ни он о ней, ни она о нем ничего не слышала. Какая печальная жизнь! Что может сравниться с этим!

Другой узник, помещавшийся рядом и тоже добровольный, был высокий, крепкий, красивый человек, с окладистою русою бородою. Это бывший петербургский палач, пожелавший, по окончании своего термина, постричься в монастыре. Соловецкие монахи не отказались принять его, но с тем условием, чтобы он предварительно, пока они присмотрятся к нему, несколько лет прожил у них в тюрьме. Какое странное сближение: палач и монах. Этот узник совершенно доволен своею судьбою. Он замаливает старые грехи, веруя в искупление. Сила, чисто рабочая сила его не пропадет для монастыря даром. Из него будет хороший каменотес или носильщик, а Соловкам ничего больше и не надо.

— Ну, а наверх решительно нельзя? — спросил я у солдатика. Оказалось, что строго запрещено новым архимандритом.

— При старом капитан, что сидят здесь, ходили везде. Их и в кельи монашеские пущали, по лесам, по лугам. Ну, а как новый вступил, сейчас их высокоблагородие заперли, и никого к ним не пущают... Они ничего, ласковы, я допреж с ними в лес хаживал вместях!

— Что ж он делает?

— Чудной человек и больше ничего. Из себя жида изображают. Субботу соблюдают и разное такое. Одначе с архимандритом горды очень — не покоряются. Те их обращают назад, в православие, но одначе капитан не слушаются и на своем стоят!

— Скучает, верно?

— Как не скучать! Книжки тоже читают!

Как оказалось, это человек весьма образованный... Властные люди, которым тюрьма открыта, видевшие его, говорили, что он помешан и что его следует держать в психиатрической лечебнице.

— Они под святыми воротами, при старом архимандрите, проповеди богомольцам держали. Оченно это быстро говорят и руками машут! — заметил мой проводник.

— А кроме него кто еще там есть?

— Купец один... Хороший человек... Обходительный...

Больше я ничего не мог узнать об арестантах Соловецкого острога.

Когда я вышел отсюда, и меня со всех сторон охватил теплый воздух летнего дня, когда впереди опять раскинулась передо мною синь морская, а в вышине лазурь безоблачного неба, я невольно почувствовал все бесконечное счастье свободы... Какое блаженство пройти по этому зеленому лугу, углубиться в этот тенистый, словно замерший над зеркалом извилистого озера, лес. А там — в этих черных кельях острога, в этих погребах...

Да, только узник из-за решеток своей тюрьмы поймет неизмеримое, божественное счастье свободы. Как оттуда он должен смотреть на едва доступный его взгляду клочок голубого неба! С какою мучительною болью следит он за жемчужною каймою облака, набегающего на него, за серебряной искрою чайки, ныряющей в высоте, за робко мигающей оттуда звездочкой ясной зимней ночи. О, не дай Бог никому пережить эти ужасные годы одиночества и неволи. Легче — смерть!

XX

В ТРАПЕЗНОЙ

Я осведомился у монаха об исторических подземельях Соловецкого монастыря.

— Какие подземелья? Погреба наши, что ли? Квасная, кладовая...

— Нет, тюрьмы подземные!

— Этого у нас вовсе нет. Слух один пущен, что есть будто. У нас есть один брат, очень эту старину любит. Ничего и он не нашел. Потом слышно было, что никаких таких мест у нас нет и звания. Ты, поди, у газетчиков читал? Врут!

Наконец, мы отправились в трапезную. Длинный коридор был весь расписан фресками, возбуждавшими в крестьянах-богомольцах беспредельный ужас.

— Б-оже мой!.. Глядь-ка, из глотки-то змей ползет...

Разговор шел, по-видимому, между фабричными, которые и здесь оставались верны своей бесшабашной манере говорить.

— Чудеса, братец мой. А черт во какой... Ишь... Господи, спаси и помилуй!

— А вон пламя адово...

— Змий, исходящий из гортани, обозначает грехи, — объяснял монах: — сей грешник прииде ко схимнику, дабы покаяться во гресех своих. И виде схимник, что по наименовании грехов из гортани кающегося излетают гады и всяческая мерзость — скорпии и жабы, василиски и аспиды, хамелеоны и драконы крылатые. Напоследок оттуда показалась глава змия погибельного, но грешник не покаялся искренно, и змий обратно в гортани сокрылся. Из сего научитеся не таиться перед пастырем во дни покаянные!

— Удавит он его, братцы, змий этот...

— Не, он тихо...

— А змий сей обозначает великий грех противу духа святого...

— Поди, кто о благолепии храмов не заботится, тоже не похвалят? — спрашивает странница у монаха.

— Заботься по силам. Через силу тоже не подобает, ибо и о детях малых подумать надлежит, а кто имеет избыток, тому точно жутко будет за равнодушие ко храму, — объяснял монах. — Древле на церковь десятина шла, ныне — на волю каждому предоставлено!

Богомольцы продолжали изумляться и пугаться изображений адских мук и делать свои соображения о том, кого больше будут жарить на том свете...

— Всякому по делам его, значит... Все зачтется... Премудрость это, братцы!

Наконец, мы вошли в трапезную. Эта громадная комната в сводах поддерживается необыкновенной толщины колонной. Она вся расписана. Яркие краски, позолота, лазурь так и бросаются в глаза зрителю. Впрочем, все носит на себе отпечаток чисто восточного великолепия. Некоторые рисунки отличаются талантливостью. Таковы работы отца Николая, молодого художника-монаха — 25 лет. Чрезвычайно хороша его картина «Снятие со креста». В ней изящно и тщательно отделаны женские фигуры. Многие картины обнаруживают хорошее знакомство с анатомией.

Стол для богомольцев поставлен отдельно. На счет монастыря каждого кормят три дня. Затем нужно ехать, если на дальнейшее пребывание в обители не дано особого разрешения высшею властью. Богомольцу дают обед и ужин. За обедом, на котором

присутствовали мы, все шло тихо, чинно и спокойно. Перед каждым — оловянная тарелка, деревянная ложка, вилка и нож. На каждые четыре человека подается одна общая миска с варевом. Сначала все, стоя у своих мест, ждут колокола. При первом ударе все молятся и садятся, но есть еще не начинают. Лишь при третьем ударе ложки опускаются в миски, и вдоль всех столов послушники разносят небольшие куски благословенного белого хлеба. Каждая перемена блюд возвещается колоколом. Хорошенькие монашки-подростки, похожие на девочек, разносят миски с кушаньем. По окончании обеда все строятся у своих столов в два ряда, и поется благодарственная молитва. Затем опять раздача благословенного хлеба и вновь пение псалма. Во время обеда читается св. Писание. Крестьяне обедают внизу со служителями, женщины же отдельно от всех. Как видите, и здесь относительно сословий соблюдается табель о рангах. При мне на обед было подано: соленая сельдь, окрошка из щуки со свежими огурцами, суп из палтуса, уха из свежих сельдей, пшенная каша с маслом и молоко. Кроме того перед каждым лежал громадный кусок хлеба, фунта в $2^1/_2$. Мяса, разумеется, не подается никогда, и монахи быстро привыкают к этому, тем более, что большинство — крестьяне и дома у себя редко видели мясо. Северный крестьянин питается трескою и прочими рыбами из рода gadus, хлебом, брусникой, морошкой, солеными грибами (волнухами) и у моря — сельдью.

— Хорошо едят монахи!

— Кажись, такую бы жисть — не ушел бы из монастыря!

— А ты больше — о душеспасении... Подумай о душе... Ишь, тебя яства смущают... А в них, в яствах этих — блуд!

— Если с верой — какой блуд? Без молитвы, да без веры — блуд. А я с чистым сердцем...

— То-то... О душе подумай, главное. Потому ей-то — душе — оченно жутко, ежели да без Господа Бога!

— Одно слово всевидящее око... И все как на ладони... Должны мы, кажется, это понимать и чувствовать...

— А мы не понимаем. Потому в нас грех вселился... И за это нас следовает во как... Гли, гли — бесы бабу хворостят... во как. Поди, подлая, проштрафилась... Известно — она баба и в ей ум бабий... Однако и их на том свете не похвалят... Ишь хворостят как, а ей больно, и она кричит...

— Кается...

— Поздно... На том свете не спокаешься... Там разделка будет...

— А вот ежель на Паску помереть — беспременно в рай пойдешь — такой придел положен...

— А ежель еретик на Паску помрет?

— Его в жупел. Потому он поганый и в Бога не верует...

— Одначе и еретики есть, молятся!

— Глаза отводят — известно. Потому в Рассее всем им царь приказал: у меня, значит, чтоб молиться, а ежели нет — ступай вон!

— Известно, народ некрещеный. В петуха веруют!

— Ну? В петуна?..

— Ванька Шалый сказывал, у них заместо креста петух на церквах...

— Ах, ты злое семя!.. В петуха!.. Ну!.. Как же это наш царь-батюшка терпит? Разнесет он их, поди, за это...

— Турка, сказывают, в луну верит...

— То луна — планида небесная, не петух. В ей, в луне, — премудрость... А петух что, ему только бы горло драть, потому он дурак и ничего понимать не может...

— Насчет кур тоже... блудлив поганый!..

— В петуха!.. Каких необразованных наций на свете нет... Немец, так говорят, в колбасу больше верует, оттого его Карла Карлыч прозывают, и большой он, этот немец, плут...

— Ноничe народ плут. Время такое!..

— Жулик народ!..

— Куда таперче?..

— Спать, братцы, давай, потому мы, как следует, утром, рано встамши, помолились, потом в церкви были, опосля потрапезовали. Теперь спокой требуется...

XXI

ПОЕЗДКА В МУКСАЛЬМУ. ГИГАНТСКИЙ МОСТ. ФЕРМА

Соловецкий архипелаг, отданный Марфою Посадницею в вечное и безраздельное владение монастырю, право которого признано было и Иоанном Грозным, состоит собственно из острова Соловецкого и из островов Анзерского, Муксальмы, Зайцева и др. мелких. На Муксальме скот и молочные фермы обители. Доехать туда можно весьма удобно в монастырском экипаже за пятьдесят копеек.

Утро было чудное. Только что поднявшееся солнце сверкало в листве зеленого леса изумрудным, лучистым блеском. В ветвях берез задорно перекликались птицы. Роса на каждом просвете отливалась бриллиантовыми искрами. Кругом все дышало жизнью и привольем. Кое-где по обеим сторонам дороги, словно колонны, подпирающие своды голубого неба, поднимались вековые сосны. Сквозь чащу трепетали под светом летнего яркого дня небольшие озера. Громадные валуны, вырытые, когда проводились эти дороги, лежали по краям их, уже охваченные молодою порослью. Порою, из-под самых ног лошадей, не торопясь, выбегали тетерки. В лесах, полях и лугах Соловецких

островов никто не имеет права убивать дичи. Вследствие этого олень здесь на десять шагов подходит к человеку, лисицы и те не убегают от него. Минут пять рядом со мною бежала на Анзерском острове куропатка и взлетела только тогда, когда я вздумал ее погладить. Разумеется, такое доверие к человеку развилось веками. Монахи гордятся этим и называют свои леса скотным и птичьим дворами.

Не было примера, чтобы они давали кому-нибудь разрешение охотиться здесь. Понятно, что все это производит сильное впечатление на богомольца, объясняющего себе подобные явления чудом, невидимым вмешательством сверхъестественной силы.

— Кротость — это... Значит, и зверь чувствует, что здесь ему милость!

— Нешто зверь чувствует?

— Господь через него, незримо!

— Ну, и чудеса, братцы мои!

— Молись, знай. Этаких чудес здесь по всякий час довольно, потому обитель святая!

— Древле враны пророка в пустыне питали, а ноне... Гляди, олень не бежит...

Виды направо и налево становились все живописнее. Описывать здешние озера — невозможно. Извивы на зеленых берегах, их зеркальные прозрачные воды, их волшебные острова полны такой прелести, что я стоял по целым часам в каком-нибудь безлюдном уголке, не отрывая глаз от этих чудных картин. Да, действительно, в красоте этих озер и лесов Бог явил величайшее из чудес своих. Каждое так и просится на полотно. На небольшом клочке земли природа развивает перед вами все свои богатства. Какие сочетания цветов и линий! Посмотрите, например, хоть на это озеро. Оно и все-то протянулось сажен на тридцать, но в зеркале его вод отражаются серебряные, словно расплавленные, комья небесных тучек, голубая синь и неровная зубчатая линия лесных вершин. Каким блаженным миром и спокойствием веет на странника этот маленький, весь потонувший в зелени черемуховых кустов, островок. А этот острый камень, словно громадная игла, выступающий из воды? На крайней точке его покойно уселась белая чайка и целые часы сидит она тут, словно нежась в лучах полуденного солнца. У самого берега точно повисли в воде неподвижные рыбки. Едва-едва шевельнут они плавниками и снова замирают надолго. А вон по самому дну пробирается хищная щука. Вся она перед вами как на ладони. Чудные озера!

Всех озер на Соловецких островах около четырехсот. Большая часть их сообщается между собою. Без них прекрасные картины этого райского летом уголка были бы однообразны и безжизненны. Да, действительно, ежели отрешаться от жизни и бежать в пустыню, — то именно в такую, как эта. Тут все, что может

заменить и общество, и суету, и движение. Измученная душа труженика воскресает и, словно почка долго не распускавшегося цветка, — раскрывается для счастья и света... Каким бы чудным приютом любви могли быть эти острова, где своды молодых дерев словно манят в прохладную, тихую, ничем и никем невозмутимую глушь. Эти роскошные купы дерев посреди озер, эти челны, неподвижные на их водах, это уединение... Тишина!.. Невольно забываешься и рисуешь себе иную южную природу, пока печальный псалом монаха не возвратит к действительности.

И велик, и страшен становится этот аскетизм рядом с прелестною, полною жизни природою...

Наконец, мы выехали из лесного царства. Даль широко раздвинулась перед нами. Скоро мы уже были у берега синего, глухо шумевшего моря. Перед нами тянулся мост, если только так можно назвать эту работу титанов. Остров Муксальма находится в расстоянии двух верст от Соловецкого. Между ними — несколько мелких островков в разных направлениях. Монахи все эти острова соединили между собою — завалив море до самого дна каменьями и покрыв этот искусственный перешеек щебнем и песком. Сооружение грубое, но колоссальное, вечное. Бури, ледяные громады, время — бессильны перед этою каменною стеною. Сколько труда надо было потратить на такую стихийную работу — подумать страшно. Это кажется скорее делом природы, чем творением рук человеческих. Мост тянется зигзагами. В самой середине его — перерыв для прохода судов. Тут устроен деревянный, разводящийся мостик.

Мы были поражены. По краям этого сооружения навалены громадные валуны, целые скалы. О них разобьется всякая ледяная масса, прежде чем тронет их с места. И все это сделано без помощи машин — одною рабочею ручною силою. Трудно верить, не видев, что горсть крестьян-монахов могла создать это чудо труда и гения. И между строителями, заметьте, не было ни одного техника. Простые крестьяне устроили все сами.

— Господь нам помог: архимандриту видение было. Молились мы перед этим долго. Месяц пост строгий соблюдали и начали постройку. Сам настоятель помогал нам. Наместники камни тащили... Ну, и явил Господь чудо свое! Вот оно въявь! Кто дерзнет усомниться, кто помыслит, что ныне иссякла чудодейственная сила Его?

— И долго строили вы?

— Не мы строили; Зосима и Савватий и легионы ангелов с ними. Бывало, подымаем камни: в такое время, простое, никак и не шевельнешь их, а тут легко, потому невидимая сила была. Схимник наш один пение в воздухе слышал. Небесные рати Творца своего славословили. В лето все кончили. Да! Вера — великое дело. Сказано — горами движет. Чрез простых рыбарей

Господь силу свою являл древле, а ныне мы, иноки неграмотные, носители откровения его!

Два крестьянина, бывшие с нами в экипаже, при этом вышли и стали молиться, припадая к земле.

Монастырские лошади бойко бежали по массам камня. Несколько изгибов и поворотов — и мы въехали на Муксальму, зеленеющую, покрытую пастбищами. При нас на мост вошло целое стадо превосходных коров, телят, — всего штук двести. Их отправляли пастись на свежие луга Соловецкого острова.

Мы посетили птичий двор, ферму, где осмотрели великолепно содержимые конюшни, которые чистят и моют ежедневно. От этого так необыкновенно красив и самый скот соловецкий. Теплая комната для скваишвания молока — опрятна до педантства. В кладовой медные, хорошо вылуженные посудины для молока сияют, как зеркало. Здесь доят коров не в деревянные ведра, а в металлические. Прохладная горница для хранения молочных продуктов и рядом ледник — верх хозяйственного удобства и чистоты.

Не знаешь, чему удивляться. Мы привыкли видеть нашего крестьянина в вечной грязи, тут приходится убедиться, что эта грязь только результат его нищеты. Те же крестьяне в Соловках рационально ведут свои хозяйства и по любви к порядку напоминают собою чистокровных немцев. Нам подали сливок густоты необычайной.

На чем ни останавливался взгляд — все было безукоризненно, все поражало своим удобством и целесообразностью.

— Монастырь — хороший хозяин! — заметил один крестьянин.

— Хозяева у нас точно хороши — не от мира сего, — вступился монах. — Таких хозяев, как Зосима и Савватий, ни у кого нет. Блюдут они свои поместья и о нас, рабах своих, заботятся!..

Общий вид фермы совершенно напоминает крестьянские хозяйственные постройки. Только, разумеется, разница в приспособлениях, размерах и уходе.

— Где же у вас быки?.. Только коров мы и видели!

— А быков в начале июня, как подымется трава, мы выпускаем пастись, где хотят. Так до конца лета о них и не заботимся. Одичают совсем. Ну, их и ловим потом, по пороше. Что твоя охота!

Когда мы ехали назад, — в море перед нами чайки ловили рыбу. Целый ряд их сидел на выступе громадного валуна. Вот на гребне одной волны мелькнула серебристая спинка сельди, и в одно мгновение крайняя чайка кинулась, выхватила ее из волн, высоко взвилась и, сделав круг в воздухе, вернулась и села уже последнею. Вторая, немного спустя, повторила этот же маневр, и так до конца, не нарушая очереди и порядка...

XXII
ДОКИ И ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Пароход «Веру» ставили в доки, для перемены винта.

Соловецкие доки — уже не грубое сооружение, не работа громадной физической силы, а основанное на научных выводах и, при всей огромности своей, — изящное создание человеческого гения.

Монахи с гордостью указывают на него, и невольно чувствуешь, что в этом случае гордость их вполне законна.

— Наши, из крестьян, строили! — объясняют они вам.

— А кто наблюдал за постройкой?

— Тоже монашек из мужичков!

— И техников не было?

— Зачем нам техники: у нас Зосима и Савватий есть. Чего не поймем, они наставят!

Не описываю самого устройства доков; скажу только, что и за границей я не встречал сооружения более прочного и красивого. Бока его обшиты гранитом, все до последней мелочи изящно, несокрушимо и удобно. Края доков состоять из 8000 балясин в два ряда, промежутки между которыми завалены каменьями и засыпаны землею. Под гранитною обшивкой ничего подобного, разумеется, не видно. В док проведены каналы из Святого озера и из резервуара мельницы св. Филиппа. Когда откроют шлюзы, вода стремится по этим двум путям с ужасающей быстротою. До входа в бассейн дока две эти водные массы встречаются в небольшом углублении: тут они кружатся и пенятся с такой быстротой и шумом, что у зрителей захватывает дыхание. Говорят, что от брошенного сюда бревна остаются только щепки. Потом весь этот водоворот стремится в шлюзы и с громом наполняет бассейн доков. Когда вода поднимется до определенной высоты, ранее введенный в постоянный бассейн пароход ставится в брусья, и потом вода спускается.

— Ведь этак Святое озеро может иссякнуть!

— Нет. Святое озеро соединяется с другими. У нас все озера связаны между собою каналами и подземными протоками. Иначе как объяснить, что в маленьких озерках пропасть щук завелось? Через Святое озеро и резервуар св. Филиппа в доки идет вода восьмидесяти озер... Мы еще как приспособили: канал, который проводит воду в шлюзы, движет также и машину лесопильного завода!

— Как строился док?

— Днем и ночью строили беспрерывно. Днем богомольцы, под присмотром монахов, а ночью одни монахи, сами. А за всеми работами крестьянин-монах смотрел!

— Тяжела работа была?

— Нет, многим в это время разные явления были. Подкрепляло это. Мы ведь так: как затомимся — сейчас молитву хозяину обители, ну — как рукой и снимет; или псалом хором споем — и опять за работу!

Пароход был вдвинут и поставлен в течение двух часов. Все это время иеромонах и наместники тянули бечеву и работали наравне с простыми богомольцами. Меня поразило здесь отсутствие бранных слов и песен, без которых, как известно, работа у русского человека не спорится. Впрочем, в другом месте — «ухни, дубинушка, ухни; ухни, зеленая сама пойдет», а здесь — псалмы. Понукали ленивых мягко и снисходительно. Не было слышно ни бестолкового крика, ни не идущих к делу советов и замечаний. Все совершалось в строгом порядке. Вводом парохода в док распоряжался командир «Веры», отец Иван.

— Ну, а посторонние суда в доках у вас бывали?

— Как же, мы недавно пароход «Качалов» Беломорско-Мурманской компании чинили. Как-то раз шкуну одного помора, кажись, Антонова, разбило. Ну, он явился к нам: плачет парень, только, говорит, на постройку судна сбился, как Господь гневом своим посетил. Мы поставили его в доки, починили, пожалуй, лучше, чем прежде, сделали, и отдали ему — пусть Богу молится!

— Ничего не взяли?

— Ни единой полушки. Что брать, ежели Господь человека посетил?

— А свое что-нибудь строили в доках?

— Как же, теперь пароход «Надежду» сами здесь соорудили. Винты для пароходов делаем. Скоро и машины станем производить. Дай срок — все будет!

— Ну, а с чего наместник работает там вместе с простыми матросами?

— У нас первое дело — пример. Как гостиницу строили — сам архимандрит камни таскал. Кирпичи на тачках возил. Труд — дело святое, всякому подобает. Не трудишься, так и хлеба не стоишь!

— Экое богачество, — удивлялся рядом крестьянин. Видимо, что Промыслом Господним все!

— И что чудно, братец мой, никого не приставлено, а все как следовает идет!

— Вот, монашек, по-ихнему в больших чинах состоит, — а тоже канат тянет!

— Дома-то как почну рассказывать — уши развесят. Поди, на тот год полсела сюда вдарится!

Тут же мы побывали и в сараях лесопильного двора. Везде чистота, порядок. Работа кипит, но шума не слышно, и суеты не видать. Монахи работают рядом с богомольцами, под общим

надзором небольшого приземистого иеромонаха, тоже не ограничивающегося одним наблюдением.

Весь этот монастырь показал мне то, чем могло бы быть русское крестьянство по отношению к труду и производительности, если бы попеременно его не давило то иго монгольское, то безвыходное крепостное состояние.

XXIII
У БЛАГОЧИННОГО

Благочинный церквей Соловецкого монастыря, отец Феодосий, оказался моим архангельским знакомым. Я посетил его келью. Та же простота обстановки, что и у остальных монахов.

— Часто, я думаю, поминаете Архангельск, — все же там веселее, чем тут?

— Нет, монаху место в монастыре. Как жил я в Соловецком подворье, в Архангельске, так не знал, куда и деваться от скуки. Ходил, бывало, по келье, а на улицу и выглянуть боялся, потому там миряне. На монаха, что на дикого, смотрят: куда-де затесался? Ну, и сторонишься. В монастыре я только и отдохнул. Мы ведь все так. Думаете, те иноки, что на подворье в городе живут — довольны своею участью? Нет, они лучше на самую тяжелую работу в монастырь пойдут, чем там оставаться. Беда это, особливо коли день праздничный. Народ ходит, и все-то на тебя, что на зверя заморского, смотрит. Да и соблазна там больше. Здесь ничего не видишь — и не искушаешься, а там трудно!

— Все же есть такие, что в город бы с радостью поехали?

— Есть-то есть... Да мы их туда не пустим... Что за монах — если он в мир стремится. Надел рясу, да принял пострижение, так и сиди в келье — работай да молись, а о мире и позабудь думать, потому тебя заживо похоронили, ты это и памятуй. Нет, такого народа мы не пошлем туда. В город из монастыря идут самые надежные люди, чтобы обители нашей не посрамили. И то ныне имя монаха, словно клеймо Каиново, стало.

— Расскажите мне о чинах монашеских. Я слышал, что у вас пострижение дается не легко!

— Да... У нас послушниками по семи-восьми лет бывают. Рясофорными монахами — восемь лет, а до манатейного монаха и пятнадцать лет прослужишь. А прав повышение никаких не дает: разве что жалованье побольше. Иеромонахи, которые особенные должности занимают, получают рублей по 50-ти в год, остальные от 40 до 25 р.; простые монахи по 10, 6, 5 рублей, ну, а рясофорные, поди, и рубля в треть не получат.

— А архимандрит?

— Прежний получал 4500 руб., новый отказался, только 3000 руб. взял. Он у нас простую жизнь любит. Во всем себе отказывает. Ну, и строг тоже. Хорошо это... Дурно, ежели пастырь слишком стадо свое распустит. Большое нестроение из этого происходит...

— Правда ли, о. Феодосий, что богомольцев у вас с каждым годом меньше становится?

— Это правда. Но все же ныне хотя их и меньше, а *кадка* для приношений полна.

— Какая *кадка*?

— А у св. Зосимы стоит.

— Т. е. кружка?

— Нет, кадка, т. е. целый бочонок. Уж мы ее и опростали в этом году раз — а вновь наполняется!

— А от казны монастырь получает что-нибудь?

— Да 1200 р. в год берем!

— При ваших доходах это ведь совершенно лишнее!

— Отчего же не брать, все в пользу св. обители.

— Монастырь сам легко бы мог в казну платить подати!

— Подати?.. Это зачем же! Неслыханное дело, чтобы монахи подати платили. Мы не от мира сего!

— Богомольцы к вам одним путем через Архангельск направляются?

— Нет. Идут и через Кемский уезд. Теперь вот 600 человек в Суме сидят — шкун ждут, чтобы в монастырь переправиться. Ничего, пусть посидят. Все жители Сумы *покормятся*!

О. Феодосий в простоте души смотрел на богомольцев, как на доходную статью. Так, впрочем, смотрит на них большинство монахов. До Сумы, как оказалось, эти богомольцы шли пешком из Петербурга и Новгородской губернии. Ежегодно сюда направляются из Архангельска до 12 000 чел. (это преимущественно крестьяне Вологодской, Вятской и Пермской губ., также и архангельцы), из Онеги до 690 ч. (олончане, новгородцы), из Кеми до 1300 ч. (кемляне, корелы, петербуржцы и псковичи).

— Я слышал, что в доках за работу вы дорогонько берете?

— Мы берем дорого? Нет, у нас англичане были и те удивлялись дешевизне. Мы за то, чтобы ввести в док и вывести из дока судно, с разными исправлениями, берем 100 р., и за то, чтобы снять судно с места крушения, тоже — 100 р. А нам только развести пары да выйти лишь из гавани обходится в 70 р. Вы говорите, что у нас дорого. А вон как Беломорская компания содрала с военного корвета «Полярная Звезда» за самые ничтожные исправления 6000 р., это уж грабеж. У нас бы за то же больше 500 р. не взяли. На то они, впрочем, немцы, а немцам закон не писан. Мы бедным судохозяевам-поморам и даром чиним суда, памятуя заповедь Христову. Про нас много лишнего рассказывают!

— Ну, а относительно работ у вас как? Все ли обязаны трудиться?

— Все беспрекословно. Да оно и не трудно, потому ведь мы из мужичков. У нас так искони ведется. Царь Петр сюда духовника своего Иону присылал. Что ж? — Ведь он в Соловках поваром был. Примерно, я благочинный, ну, а пошлют меня камень тесать, я и пойду. Бывали примеры! Потому это не работа, а «послушание». На свв. Зосиму и Савватия работаем. Коли кому работы не назначат, так он сам начнет либо ложки делать деревянные, либо образки рисовать. Продаст все это, а деньги в казну нашу вложит!

— Есть у вас урочные часы для работы?

— Нет, всякому предоставлено по мере сил, кроме общих работ. Оно и лучше — больше и усерднее трудятся. Палка нам не нужна, сами работаем!

Зазвонили к вечерне. Мы вышли. Нам пришлось проходить по лестнице архимандрита. Тут терлась упомянутая прежде меланхолическая дева.

— Сударыня, пожалуйте вниз... Зачем вы здесь? Уходите, уходите. Тут нечего делать...

— Архимандрит страсть не любит, — заметил он мне, — если у него на лестнице бабье торчит. Большое к женскому полу отвращение чувствует.

XXIV

МОГИЛА АВРААМИЯ ПАЛИЦЫНА. — ПОХОРОНЫ БОГОМОЛЬЦА

В лугах Соловецкого монастыря стоят громадные стога сена. Его здесь хватит года на два. Предусмотрительные монахи запасаются надолго. Почем знать: северная природа капризна; легко может случиться, что на следующий год сена и не хватит.

— Много у вас лошадей? — «Ста два, поди, есть. Ничего, мы их прокормим. Овса тоже даем. Только вот сено олени едят баско». — Что ж, их стреляют? — «Не, у нас зверя стрелять нельзя. А для рабочих на зимнее продовольствие мы их в сети ловим». — Как, оленя в сети? — «Да, в сети: расставим сеть, да и загоняем стадо; иногда случается штук пятьдесят, семьдесят, сто попадает. Потом их бьют, ну, и на обед рабочим свежинка идет. Известно, рабочий человек не то, что наш брат, монах. Мирянин, он к одной рыбе не привык. Его кормить нужно, он и будет потом в Рассее говорить, что мы рабочего человека бережем. Как убьют оленей да посолят, смотришь, на зиму и хватит».

Мы в это время шли мимо большого кирпичного строения с открытыми окнами. Это оказался хлебный магазин.

— Муку да капусту мы только и покупаем. Тысяч двадцать пудов в год, случается, а то и все тридцать. Хлеб у нас тут в зерне. Мельницы свои, слава Богу... На сухом местечке здесь и складено. Ветерком провеивает — оно и не портится. Ты вот говоришь — зверя стрелить, а ведаешь ли: что однова богомолец пошел оленя стрелить в леса наши, так ангелы его оттуда лозой выгнали. Сам рассказывал, старики говорят. У нас место святое, излюбленное. Тут ни зверя, ни птицы не тронь — кровь вопиет!

— Где-то здесь вы могилу Авраамия Палицына открыли?

— Неужели не видал еще? Пойдем!

Мы вошли в ограду монастыря, и тут, у самой стены громадного собора, монах показал мне небольшую могилу, тщательно укрытую железным колпаком.

— Почему же известно, что это и есть могила Палицына?

— Потому у нас есть старец один Серафим, он это и знает. Надписи на камне разобрал!

— К чему же было забивать железными листами камень в таком случае?

— А чтоб не портился...

Дальнейших доказательств подлинности этой могилы не оказалось.

Когда я изъявил желание поговорить с о. Серафимом о могиле — он оказался больным. На другой день тоже. Так я и уехал.

Могила этого героя была открыта, как говорят, в прошлом году. Вокруг нее монахи построили ограду весьма мизерного вида. Единственное, что еще производит некоторое впечатление, это возносящиеся тут же старинные стены собора, веющие целыми столетиями пережитого былого, связанные с циклом многочисленных легенд. Говорят, над могилою Палицына нынче служат молебны.

Заговорив о памятниках, нельзя умолчать еще о двух, выстроенных близ доков. Это небольшие колонны из цельного гранита. Одна воздвигнута в память защиты Соловецкого монастыря от англичан, другая — в память построения соловецкой гавани. Художественными достоинствами ни та, ни другая не отличаются. Вообще, монахи соловецкие лишены артистической жилки. Все их часовенки, памятники не отличаются вкусом и изяществом. Это просто или вычурные постройки, удовлетворяющие мещанским требованиям, или прямолинейные по рутинному рисунку.

Во дворе монастыря находятся кучи ядер, брошенных сюда англичанами. Говорят, что на многих из них вовсе не английские клейма. Думаю, что такой слух несправедлив. Хотя монахи и преувеличивают подвиги свои во время так называемой осады

монастыря, но, тем не менее, бомбардировка его — несомненное и важное историческое событие.

На другое утро только что я открыл глаза, как прямо в лицо мне ударил знойный, ослепительный луч солнца. Этот яркий, летний день нельзя было не назвать пышным, редким на севере. Я начал бродить по окрестностям монастыря, только что осмотрев его литографию и слесарню — заведения, устроенные здесь в больших размерах и весьма рационально. Как в том, так и в другом руководят делом исключительно крестьяне-монахи.

Зайдя в один тенистый уголок, я наткнулся там на высокого болезненного олончанина, как оказалось, из Повенецкого уезда. Разорванная рубаха, плохонький армячок, лапти, осунувшиеся черты бледного, истощенного лица — все это веяло лютою нищетою, тяжелой борьбой из-за куска насущного хлеба. Даже обильная монастырская трапеза не повлияла на него. Я разговорился с ним.

— На год бы остался здесь... Потому баско тутотко... Да семьишка в деревне. Кто ее кормить станет?

— А теперь они как?

— Да, вишь, я в Онегу на лодке доплыл. Муку от купчей возили. Заодно уж к соловецким угодникам: не пошлют ли святители наши какого облегчения... Тяжко нам ноне, так ли тяжко, что хоть в омут. И хлебца-то цельного по праздничкам не увидишь. Вот оно каково житьишко наше горькое — неурожаи одолели!

— Хлеба у вас плохи?

— Хлеба у нас, парень, колос, что волос, глянешь зерно — всего одно... Вот они наши хлеба. На промыслы бы какие, так мироеды поедом едят нас. Такова ли жадность у них. Не подступайся. Из кабалы и не выходим. Только летом чуть уплатишь подати — зимой жрать нечего...

К говорившему подошли товарищи. Что это были за лица! Бледные, жалкие, искалеченные, с мутными, потухшими глазами, тяжело дышавшие люди казались отмеченными теми резкими чертами, которые холера кладет на свои жертвы. Поступь их была неровна, понуренные головы, бессильно повисшие руки, вдавленные от лямок груди производили на свежего человека самое тяжелое впечатление.

— Вы все через Онегу шли? — спросил я... Они переглянулись. Я повторил вопрос.

— Онегой...

— Вы сюда как? В Онегу как попали?

— Спервоначалу лямились... Потом и пошли в Онег-реку к Соловкам. Напредь уговор был.

— Трудна была, поди, работа?

— Чего трудна... Ровная... Средственная работа! — Казалось, они потеряли даже сознание тяжести этого неустанного, обессиливающего, лошадиного труда.

— Заработка мало осталось?

— Прохарчились очень. Ноне харч дорог. Рубля по четыре остаточных пришлось.

— Тоже, верно, и в кабак снесено не мало?

— Без кабака не обойдешься. Никак без кабака не обернуться. Таперчи как у всех животы подведет, так и режет, а кого и лихоманка с огневицей хватит. Как без кабака? Прогреет внутри, другим человеком станешь!

— Без кабака — пагуба. Почитай, все бы легли... Ах, родители наши, зачем на такое голодное житьишко произвели нас!

— Молитва пред св. Иринархом помогает в эфтих случаях! — вмешался молодой монашек.

— Какой Иринарх?

— Под спудом почивает!

— Святой?

— То есть, они еще не святые, не утверждены Синодом, одначе, многие чудеса бывают. Особливо, ежели кто с верою... Зубная боль теперь — тоже помогает. У нас и молитва такая есть. Но главное, чтоб сердце чисто. Онамедни вдова одна благочестивая молебен отслужила, что ж бы вы думали? — Ныне извещает из Архангельска, что ей пенцыон вышел!

Я пошел за ограду зеленевшего тут же кладбища. Все было тихо и покойно. Птицы задорно перекликались в изумрудной листве, широкие лучи солнца обливали мягким светом насыпи и могильные кресты. Цветы пестрели в прогалинах. Откуда-то доносилось молитвенное пение. Я пошел на голоса.

К свежей, вырытой только что могиле подходили иеромонах и иеродиакон. Четыре послушника выносили за ними из кладбищенской церкви деревянный гроб, еще не закрытый.

Хоронили богомольца, умершего на первый день своего приезда в монастырь, в местной больнице; темное, словно изголодавшее, лицо, синие земляные круги под глазами, странно заострившийся нос. Волосы были расчесаны. Он лежал в чистом белье, покрытый саваном. Монастырь на свой счет одел его во все новое. Даже валенки на ногах, подшитые кожей, были свежие. Только гроб оказывался не по росту трупу. Колени покойного были как-то согнуты.

— Кто это? — спросил я у послушника.

— Господь его ведает... Раб Божий Василий!

— И больше о нем ничего не известно?

— Ничего!

Привезли его на пароходе больного, чуть не холерой, от дурной пищи, от холода и сырых ночлегов во время дороги.

Несчастный, прошедший целые тысячи верст, питаясь подаянием, умер у порога всех святынь, которым он думал поклониться. Умер в забытьи, не сознавая, где он. Говорят, бредил, звал жену, детей, ласкал их, говорил с ними...

На соловецком кладбище одною могилою больше; где-нибудь в далекой глуши, в неисходном захолустье, одним кормильцем меньше. И долго будет ждать осиротевшая семья хозяина, и часто будет выходить на дорогу убогая жена его — не покажется ли милый странник вдалеке, покрытый пылью и грязью.

Из могилы поднимутся цветики алые, покосится черный крест над нею; — а родимая семья все не будет знать, что сделалось с ее кормильцем. И целые ночи напролет станут плакать дети со своей больною матерью, при тусклом, словно вздрагивающем свете лучины... Как горячи их молитвы!..

А над ним — тяжелая зеленая насыпь, и эта темная мозолистая рука уже не будет ласкать белобрысые заскорузлые головки детей, словно рой пчел кружившихся около отца когда-то...

Наконец, и ждать его перестанут. Только бродя под окнами с сумою, станет ныть жена его о том, как бросил ее с малыми детками хозяин и ушел к Соловкам, а оттуда неведомо куда. Действительно — неведомо куда!

Умерший прибыл в обитель один. Паспорта при нем не оказалось. Должно быть, оставил его в суме, а сума попала к какому-нибудь Фомушке-блаженному или к Макриде-страннице. Так и осталось неизвестным, что за человек помер. Звал его кто-то Василием — за Василия и схоронили.

Вместе с землею яму заваливали и каменьями. Тут уж такая почва. Я до конца достоял здесь, и грустные думы, и скорбные воспоминания мелькали в голове.

Хотелось плакать над этою жалкою, безрассветною жизнью.

И досадно стало на яркое, равнодушное ко всему солнце, на этих задорно перекликавшихся птиц, на всю эту роскошь ясного дня.

— Был человек, и нет человека! — заметил послушник.

— Все помрем! Верно твое слово! — согласился другой.

XXV

В БОЛЬНИЦЕ У СХИМНИКОВ

— Велика ли у вас больница?

— Что больница! Что в ей... Один грех. Господь гневом своим посетил, а миряне к земным медикам прибегают. Точно они сильнее Царя Небесного. Ох — неверие! Что медика призывать, что идолу поклоняться — все едино!

— Так у вас, значит, доктора нет?

— Пост и молитва — вот доктора. Больница есть, но для мирян больше. Истинные монахи гнушаются этим. Отцы церкви к докторам не прибегали и погибельных лекарств не вкушали, а, простираясь пред алтарем, молили Господа об исцелении и исцелялись. Так и ныне у нас многие иноки в случае недуга какого поступают. Пост и молитва! Мудрен больно народ стал, против Бога идет. Что означает болезнь? Гнев Господень означает; ибо сказано, что без воли его ни единый волос не спадет. Забываем заповеди! Не писано ли на горе Синае — «не сотвори себе кумира», а мы кому поклоняемся — магам и волшебникам!

— Ну, доктора — не маги!

— Как не маги, ежели зелья составляют, ежели с силою небесною бороться мнят? При Фараоне волшебники тоже жезлы свои обратили в змиев, но змий Моисеев пожрал их всех. Что доктора! Господь смилуется и пошлет исцеление. Вот, например, было у нас: инок заболел, горячка, тиф ли, Господь знает. В черных пятнах стал весь. Что ж. Призвал трех монахов и просил молебен у себя отслужить и помолиться за него. Три дня по утрам в келье его служили, а на четвертый он встал и работать пошел. Вот наши доктора — Зосима, Савватий, Филипп и Ирмоген. Так это медики не от мира сего. В Архангельске тоже мальчик один было заболел, ну, мать за него обещание дала: — если оправится, так на год в Соловки. Сейчас, как встрепанный, вскочил. Потому, здесь наука небесная — чудодействие, а не суемудрие и вольномыслие языческое, не измышление сатанино... Нечего ее и смотреть, больницу эту!

Богомольцы-крестьяне подтверждали это недоверие к лекарям.

— В ем, в лекаре, настоящей штоб силы ни на эстолько нет. Кого Господь захочет сказнить, что лекарь поделает? Мужичонко один у нас был, заболел это... Ну, сельский дохтур сичас. Разное давал ему; сказывают, мастью какой-то обкладали... Встал мужичонко, с виду и здоров, что ж бы ты, милой человек, полагал — не прошло и месяца, как с вина сгорел. Вот они — доктора. Что в их — мечтание одно... Прах!..

— Дух самомнения, — продолжал монах. — Есть у нас монашки: как заболят, сейчас лекарства глотать. Но я все же таким говорю: что творите? Беса в нутро свое пущаете!

— А ежель да с молитвой, — вмешался другой крестьянин: — ежель с верою, например, псаломчик?..

— Сие тому подобно, ежели бы ты на разбой или святотатство с молитвой шел. Сие усугубляет, но не отвращает. Истинно глаголю вам, не пещитеся о телесах ваших, но о душе непрестанно помышляйте. Не веруйте в медиков земных, но на медика небесного уповайте...

Другой уже монах указал нам больницу. Она вся заключалась в двух маленьких комнатах. На 600 человек, составлявших

постоянное зимнее население обители, этого мало. Воздух здесь сперт и пропитан миазмами. Большинство больных — богомольцы. Было при мне двое трудных.

Белье на кроватях безукоризненно чисто, лекарств не заметно, хотя и есть аптека.

Управляет больницею фельдшер-монах. Сначала он был нанят обителью, а потом монахи убедили его, ради душеспасения, принять пострижение. Оно и выгоднее для монастыря. Нужный человек приурочен навсегда, да и денег ему не приходится платить. Что касается до денежного интереса, тут монах забывает, что он не от мира сего.

Я видел монахов соловецких в Архангельске, заключающих договор о поставках хлеба, каменного угля, управляющих подворьями, и все тот же рисовался предо мною русский мужик, тонко замечающий подходцы благоприятеля и умеющий соблюсти свою выгоду. Тут он только трудится не для своего кармана, а для обители. Но мы уже видели выше, что монастырь для него отечество, семья родная. Вне монастыря ему все чуждо и дико. Чем сильней и богаче монастырь, тем сильнее и богаче он сам.

— Как вы лечите? — обратился я к монаху, присматривавшему за больницею.

— А мы больше на Божью волю уповаем. Нечего надеяться на медиков земных!

На одной из кроватей больницы лежал горячечный больной. Он метался, дико оглядывая окружающих. Мокрые волосы прилипли ко лбу; иногда, судорожно вздрагивая и скрипя зубами, он что-то говорил про себя. Мы уловили одну минуту сознания, когда он удивленно взглянул на нас и потом обернулся к окну, откуда виделся ему клочок голубого неба, с яркими искрами чаек, носившихся в его лазури. Какая-то невыразимая грусть сквозила в его неподвижном взгляде. Он словно прощался со всею завидною волей, со свободным воздухом родных далеких полей, с милым углом, где живут его близкие и дорогие. На одно мгновение блеснули слезы, и опять он заметался. В бреду он поминал детей, жену, поименно звал их... и, право, нам казалось, — он был счастлив в эти минуты.

— Выздоровеет? — спросили мы у фельдшера-монаха.

— Как Господь. Молебен отслужим, авось, и полегчает...

Вообще же нужно заметить, что, благодаря необыкновенно здоровому воздуху Соловецкого архипелага, здесь мало больных. Чаще всего монахи умирают от чахотки. Я видел несколько еще шевелившихся, но уже близких к смерти монахов. У них землистый цвет лица, худоба, впалая грудь, воспаленные очи... Видно, нелегко дается подвиг самоотречения и аскетизма, пустынножительство недаром обходится своим адептам.

— У нас ведь летом только и лежат в больнице. Зимой мало — человека два. Монах в больнице не станет лежать, ему в келье лучше!

Из больницы мы вышли в коридор, по одну сторону которого шли маленькие кельи. Тут мы наткнулись на полнейшее воплощение смерти. Это был схимник. Он только что вышел из собора и, едва передвигая ноги, брел домой. Весь в черных покровах, усеянных изображениями гробовых крестов и адамовых голов, в капюшоне, полузакрывавшем лицо, он производил крайне мрачное впечатление. Из-под савана, надетого на него, глядели совершенно неподвижные, бесцветные глаза. Это были глаза не только без блеска, но и без взгляда... Медленно он прошел мимо нас, и только что мы успели оправиться, как с другой стороны на темном фоне полусумрачного коридора показалась другая фигура... Длинная-длинная. Только этот был еще ужаснее. Дайте мертвецу острый, но холодный взгляд — и перед вами будет встреченный нами призрак.

— Нет спасения... Бесы, дьяволы... Геенна огненная... Пламя, пламя адово... Плачьте, скорбите!.. — бормотал он, проходя мимо нас.

— Помешанный! — шепнул нам монах.

Мы выбежали вон...

Воздуху, свету!..

XXVI

МЕЛЬНИЦА СВ. ФИЛИППА. — ПРОГУЛКА ПО СТЕНАМ. — В БАШНЕ

Несколько столетий тому назад св. Филипп, замученный потом Иоанном Грозным, устроил в стенах обители мельницу, существующую и теперь на том же месте, но, разумеется, в ином виде. Я отправился туда.

На дороге мне попалась неизменная дева с флюсом. За краткое пребывание в монастыре она до того успела надоесть монахам, что те бегали от нее, как от чумы. Несчастная, кроме того, имела претензию изъясняться с крестьянами в рясах на французском диалекте. Такие девицы только и возможны в захолустьях самых глухих провинций. Меланхолическая дева и моего проводника не оставила в покое.

— Изыди, сатана! Да воскреснет Бог, и расточатся врази его! — ожесточился благочестивый инок. — Яко от лица огня! Иди вон, что смущаешь крещеную душу. Я ведь тебя не трогаю. Поверите ли, — обратился он ко мне, когда девица удалилась, — отбиться от нее нельзя. Так лезом и лезет. Экая, прости Господи, несообразная. Вчера к монаху одному в келью забралась, едва

ее оттуда выгнали — неймется. Ах ты, расподлая душа. Страсть, как в них любопытство свирепствует!

— На Афоне лучше, там их совсем не пущают. Что в их — прах один. Нешто она человек... Хвостом вертят перед тобою, очами помавают, плечами водят... Ах, тварь!.. Бывают, впрочем, и между ними скромные, молятся, не лезут... А и смешные же есть. Года три тому из Онеги к нам одна англичанка приехала. Ей кто-то сказывал, что монахи женский пол не своей веры убивают. Так она все русскую из себя представляла: крестится по-нашему, поклоны отбивает. Смехота!

— Говорят, кемлянок вы особенно не любите?

— Правда, потому развратные они... Сто бесов в каждой сидит!

Наконец, мы вошли внутрь монастырской башни, где помещается мельница св. Филиппа. Монахи размалывают здесь рожь, покупаемую в Архангельске.

В темноте что-то вращалось и гудело. Слышались какие-то исполинские взмахи, рокот воды и глухой, рассыпчатый грохот. Я остановился в дверях, не осмеливаясь идти дальше, и хорошо сделал. Когда глаза мои привыкли к темноте, я увидел, что здесь вертикально вращался громадный ворот, каждый зубец которого мог бы убить неосторожного зрителя. Кроме того, прямо вниз отвесно шел громадный провал. Вышина — ужасная. Упасть, так и костей не соберешь. Мельница водяная. Тут свой резервуар, он приводит ворот в движение. Мука здесь стоит в воздухе; ею дышишь, она покрывает лицо, руки, платье. Помост дрожит под вами, и вы невольно смущаетесь, а тут, как нарочно, словно в успокоение, объясняет вам провожатый:

— Не извольте сумлеваться; тут двадцать сажон глубины. Одного монашика вниз бросило — и косточки смололо... Да вы подайтесь вперед, тут можно!

Разумеется, вместо того, чтобы податься вперед, я со всевозможною быстротою подался назад — прямо в двери, а оттуда во двор. Из резервуара этой мельницы вода выводится частью и в доки. В самые же резервуары проведены каналы из внутренних озер острова. Сила воды становится понятна, когда открывают шлюзы. Она с ревом бешено стремится вперед, с такою быстротой, что движение ее невозможно уловить глазами. Слышишь только его и чувствуешь.

— Хорошо у вас тут устроено!

— Я подумываю кое-что сделать сам; тут вода требуется, а я, признаться, хочу, чтобы без воды действовало!

— Что ж, паровую?

— Где!.. Нет, мысль у меня есть... На модели я пробовал, хорошо выходит.

— Как же это?

— А чтоб заводить мельницу, как часы заводят!

Я посмотрел в глаза провожатому, не сумасшедший ли... Нет, он говорил чрезвычайно просто, точно дело шло о погоде.

— Где же у вас модель?

— Модель?.. История тут вышла... Сделал я ее, да подумал, что это гордыня во мне, суемудрие, дух вольномыслия... Ну, по малом рассуждении, помолился я Богу и сжег модель... Одначе мне потом объяснил монашек один, тоже из наших крестьян, что в этом греха нет — ежели собственно для обители, потому все на пользу... Опять делать стану! — Как ни просил я его описать мне механизм этой необыкновенной, заводящейся мельницы — толку добиться не мог. Начнет — собьется, наконец, бросил.

— Язык-то у меня, парень, суконный, понимать — таково ли ясно понимаю: зажмурю глаза, так до последнего колеса все вижу, как и что... Ну, а сказать не могу. Не моего ума дело. Я и часы могу, тоже сам обучился. Только тонкой работы не могу. А поправить — хоть сейчас. Всякую пружину понимаю, а грамоте второй год учусь — и ни в зуб. Нет дарования, значит. Кому от Бога не дано — грех и стараться, потому против его воли выходит!

Мы вошли на галерею, устроенную наверху, на стенах. Она тянется вокруг монастыря. Прекрасен вид синего моря из узких бойниц этого холма. Даль раздвигалась в бесконечный простор, направо и налево зеленели окраины леса — а прямо недвижное голубое зеркало. Ни волн, ни зыби... Чайка — и та отражалась в нем до последнего перышка... Не хотелось отрываться от этой чудной картины.

— Сегодня в церкви архимандрит служит, приходите пения нашего послушать. Напевы у нас простые, пустынные напевы, но, однако, — стройно, душа парит... А теперь, прощайте... Дела есть!

Мы расстались; долго я стоял у бойниц, оглядывая окрестности. Говорят, под этим ходом есть еще ход, но совершенно темный. Без бойниц, без окон, без луча света. Воображаю, что это за черная щель! Добиться входа туда я не мог. Едва ли и сами монахи бывали там, ежели предание о нем не миф. О подземных соловецких тюрьмах писали не раз — а их не оказалось вовсе.

Бесконечная морская даль так и манила к себе. Здоровый свежий воздух охватывал меня на высоте. Дышалось легко, бодро... Сердце мое прирастало к этому прелестному острову. Если бы не аскетизм его обитателей, я, кажется, был бы готов остаться здесь навсегда.

Через полчаса я бродил уже внизу вдоль стен. Это было внутри монастырского двора. Подхожу к башне, вижу низкий,

сводчатый вход. Дверь отворена. Я вошел. Мрак, сырость, плесень охватили меня со всех сторон. Тут была тьма; только где-то на высоте, словно острие ножа, светилась какая-то щель. Я осторожно переступал по влажным каменьям, пока не забрался внутрь. Тут стояли какие-то не то бочки, не то чаны. Видеть нельзя было ничего. Перед глазами сверкали огнистые спирали, распадаясь на тысячи блесток; извивались золотые змеи, словно плавали какие-то яркие круги, сегменты... Я дышал сыростью... Становилось нестерпимо.

Сообразив, что зашел далеко, я обернулся ко входу — его не видно. Что за чудеса! Я, едва переступая, пошел к нему — мрак повсюду. Где же двери? Какое-то холодное, отвратительное чувство страха скользнуло в грудь мою. Мне казалось, что я заживо схоронен в склепе.

Я шел вперед, протянув руки и зажмурив глаза. Все равно, ежели бы и открыл их — ничего бы не увидел. А так казалось покойней. Под ногу попался влажный и скользкий камень, я поскользнулся и упал. Наконец, шагов через десять я ладонями оперся о какой-то мокрый бархат и тотчас же отдернул руки с отвращением. Это внутренние стены сводов поросли мхом и лишаями.

Мое положение становилось скверным. Прошло более часа, пока я был в башне. Я и без того устал, бродя все утро — а тут некуда и прислониться. Наконец, я крикнул. Еще раз... Громче. Ни отзыва, ни ответа... Я сообразил, что звуки терялись в этих влажных сводах. Нужно, во что бы то ни стало, найти выход. Я пошел опять вновь, поскользнулся и на этот раз уже целыми ладонями и лицом попал в холодный, мокрый бархат стены. Из-под самых ног моих что-то с противным плюханьем шарахнулось в воду. Не крысы ли? И, как нарочно, вспомнил я в эту минуту рыжих тощих, с лысинами, вечно что-то нюхающих водяных крыс... Крикнул громче — то же молчание. Оступился и по колено попал в какую-то щель, переполненную водою... Что-то мягкое как будто скользнуло по моей руке, что-то склизкое, гадкое заползает за воротник; вон, в углу шевелятся какие-то, еще более темные, чем этот мрак, очертания, складки чего-то длинного, чего-то живого, чего-то словно протягивающего руки... Я крикнул еще.

— Боже мой... Кто тут?

— Отоприте, ради Бога, дверь этой западни!

— Беги за ключом, у Симеона он, знаешь...

Когда я вышел из этого склепа на свет, на воздух, весь мокрый, в зеленых пятнах плесени, дрожа от холода, я дал себе слово не лазить в такие скважины без провожатого. Я приглашаю вас пожаловать в это черное царство холодной и влажной плесени, накоплявшейся здесь несколько столетий, мокрых крыс и этих бархатных стен, чтобы уяснить себе мое отвращение. На нервы действовало.

XXVII

ПОЕЗДКА НА СЕКИРНУЮ ГОРУ. — САВВАТЬЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ. — СЕКИРНЫЙ СКИТ. — ЕЩЕ РАССКАЗ ОБ ОСАДЕ. — ВИД С ВЫСОТЫ. — У СТРОИТЕЛЯ В КЕЛЬЕ

«Соловецкие острова — венец, а Секирная и Голгофа — адаманты венца сего», — говорили мне монахи об этих местностях. «Одно важное лицо посетило их в 1870 г., так сказывало, что таких мест по всей земле, нет».

— Ну, уж и по всей земле!

— Верно говорю. Наши монахи этого не понимают. Им бы только польза была, до красы дела нет. А вы вот хоть сегодня поезжайте...

И монах тотчас распорядился наймом лошадей. Проехать туда стоит недорого, 50 копеек с человека. Всего нас отправилось на Секирную гору до тридцати богомольцев; поезд, как видите, вытянулся довольно длинный. Дешевизна сообщений в Соловках — невероятна. До Секирной горы и обратно 16 + 16 верст. Разумеется, при этом необходимо принять в соображение, что монастырь пользуется своими сенокосами, трудом даровых ямщиков, и самые лошади не куплены им, а пожертвованы крестьянством северного края.

Как только мы выехали на лесную дорогу, глаза стали разбегаться во все стороны. Пейзажи один прелестнее другого развертывались перед нами, как будто в волшебной панораме. Не успеешь вглядеться в один, как вдруг перед вами раскинется еще более красивый, под светом этого яркого, солнечного дня. Дорога тянулась по горам. Она пробита на их откосах: часто налево перед вами возносится крутая, заросшая гигантским лесом, стена, а направо обрывается вниз такая же щетинистая стремнина. Сосны, одна величавее другой, вырастали на каждом повороте дороги. То словно канделябры, они разделялись у самой вершины на три или на четыре прямых и параллельных стволу отрасли, также стройно возносящиеся ввысь. Другие, точно в лазури неба, раскидывали свои ветви, и какая внушающая благоговение тишина стояла под этими сводами! Что за чудная глушь, какой здоровый несравненный воздух!.. А озера! Не могу еще не остановиться на них. Я бывал в Финляндии, южной Германии, в Альпах, но не видел таких чудных озер, при крайне незначительной длине и ширине их. Особенно врезалось в мою память одно. Длинное и узкое, извиваясь, легло оно в изумрудных берегах. Небольшой лесок словно опрокинулся в его глубину. На нем только один островок — но какой! Его и не видно: глаз замечает только три высоких сосны, как будто выросшие из самой середины этих серебристо-голубых вод. Но живописные линии берега, кучи валунов, поросших уже травою, отражение

жемчужных тучек, спокойное, словно все из расплавленного металла, зеркало вод — нужно видеть самому. Никакое перо не даст понятия о чудной красоте соловецких пейзажей. В другом месте вид распадается на два художественных момента. Дорога взлетела на самый гребень горы... Тут сосны реже. Сквозь них налево синеет неизмеримая яркая даль моря, а направо между стволами серебрится несколько постепенно пропадающих в отдалении озер, словно окутанных легкою, придающею им таинственную прелесть дымкой. Но верх красоты и совершенства — Белое озеро. Стоишь и не насмотришься. Затаиваешь дыхание, точно боишься, чтобы волшебный призрак не исчез из глаз. Представьте себе зеленую котловину, на дно которой брошен серебряный щит. В нем отразились все берега — и какие берега! В нем опрокинулись и маленькие, то лесистые, то покрытые травою грациозные островки. Нельзя выразить так глубоко охватывающего вас впечатления. Эти переливы света и тени, эти нежные мягкие краски, эти изящные линии не имеют ничего себе подобного.

Все эти озера — рыбные. У берега часто словно замерла в воде темная лодочка. Спуститесь вниз, к самому берегу, и вы увидите, как в кристальной влаге недвижно висят, пошевеливая лишь изредка плавниками и жмуря розовые глаза, лини, караси и другие обитатели этого поэтического дворца. Одно, что поражает здесь, это — отсутствие птичьего гомона, пения и стрекота... Это — спящая царевна. Какой витязь пробудит ее к жизни?

Таким образом, оставив экипаж, то сбегая с горы, то подымаясь на откосы, я добрался до Савватьевской пустыни. Скит святого Савватия не очень красив. Просто казарма. Тут монахами разбиты изящные цветники; клумбы редких для севера растений сверкают яркими кистями пышных и благоухающих цветов, из открытых дверей церкви доносилось сюда молитвенное пение. Я вошел туда. Давка была страшная. Здесь столпились все поехавшие на Секирную. Одни служили молебны, другие просто глазели. Оказалось, что иеромонах, священнодействовавший здесь, читает только по складам. Имена с поминальных листков разбирал он с величайшим трудом.

Пока служились молебны, я прилег в траве на берегу большого озера. Что это был за мирный уголок! Тоже много островов. На одном из них в свою очередь — микроскопическое, словно алмаз, вправленный в зеленую эмаль, озерко. Далеко-далеко, за другим берегом, синеют леса, пропадая там, где-то, на юге. Последнюю черту их трудно отличить от дымчатой полосы облаков, выступивших на краю неба...

Лежа тут на траве, посреди цветов, я невольно грезил о далеком детстве. И целый рой картин, одна ярче другой, воскресал в памяти, и сладкая, светлая грусть прокрадывалась в

сердце... Хорошо, очень хорошо было здесь. Беру на свою совесть советовать каждому решиться на далекий путь, чтобы побывать на островах Соловецких, да только не три дня, а недели две-три...

Уже желтовато-розовые тона кое-где окрасили края облаков, когда я поднялся опять.

Не ожидая спутников, я пошел вперед по дороге. Долго пришлось бродить по полянам, и, наконец, на одном повороте я стал, как вкопанный.

Передо мною, несколько вдали, высокая гора.

Дорога прямою колеей взвивается на нее; лес направо и налево раздвинулся и образовал гигантскую аллею, доходящую до самой вершины горы, и там, на крайней точке, на высоте воздушной, словно вися в лазури недосягаемого неба, сияет Секирный скит, заканчиваясь легким, необыкновенно красивым абрисом колокольни, — все это до того призрачно, все это словно плавает в пространстве: кажется, дунет ветер и разом унесет это обаятельное видение.

Что поражает более всего — это неожиданность таких художественных моментов. Идешь, ничего не ожидая, и вдруг перед тобою раскинется такая картина, что в первую минуту не сообразишь, где ты, что с тобою; не мираж ли этот величавый, воздушный силуэт монастыря, повисший в вышине голубого неба?

На Секирную гору взбираться трудно. Лошади догнали меня внизу, и тут все сошли с дрожек. Все едва полезли ввысь. Разумеется, не обошлось и без смешных эпизодов. Толстая барыня собиралась умирать на первой половине пути и, не доходя до монастыря, села на выступ гранитной скалы: так она и не окончила своего путешествия. Она было попросила крестьянина, шедшего с нами, подсобить ей, но несчастный под тяжестью ее скатился вниз, и сама она едва-едва удержалась за ствол дикорастущей черемухи.

Наконец, мы взобрались на Секирную гору. Новые красоты, новые очарования!

С первого шагу здесь я наткнулся на интересную сцену. «Блаженный», бывший с нами, запрыгал на площадке и забормотал какую-то чепуху. Народ обступил его и крестился на юродивого. «Сила чудодействует... — Поди, пророчить начнет!»

Некоторые клали земные поклоны, другие шептали молитвы, одна странница плакала от умиленья.

— Ах, ты, голубчик наш, — причитала она, — все-то за ны грешныя труждаешься. А мы-то и не понимаем и не чувствуем этого. Помолись хоша ты за наши душеньки бедные, скажи ты нам что-нибудь, открой судьбу!

— Летала птица, без хвоста синица, а волк с хвостом! — бормотал блаженный.

— Господи!.. Как ему Вседержитель открывает. Птица-то — душа наша грешная, а волк — бес... Что же, голубчик, бесы с душенькой нашей делать будут? Что они с ней, разнесчастной, во ади сотворят?

Но тут юродивый пустился в такие подробности, что баб от него как помелом смело.

К счастью, попался монах, и пророка убрали неведомо куда. «Промышляют этим, трудиться лень — ну, и безумствует. А дураки кормят!» — заметил монах...

— Это верно — народ глуп. Потому в нем настоящего разума нет! — согласился ближе стоящий крестьянин.

— А ты — Богу молись... Он тебе и пошлет разума!

Я попросил у монахов напиться квасу. Один из них тотчас же повел меня к себе. Трудно сказать, как радушно принял он меня в своей келье. «Вот тебе, голубчик, булку... хорошая булка!..»

— Сколько у вас здесь монахов живет?

— Семеро, родной, всего семеро... Что ж ты булочку-то не возьмешь?

Нужно было взять, отказ бы оскорбил его. Желая чем-нибудь отблагодарить, я спросил у монаха, не делает ли он ложек — занятие, которым, в виде отдыха, пользуются соловчане. Ложки оказались. Я взял несколько и положил на стол деньги.

— Что ты, что ты, милый... Так, так возьми себе; я ведь не из корысти. Гость — Божий дар. Мы гостю рады!

Судя по тому, как монах хотел наговориться со мною — видно, что ему, действительно, редко приходится видеть посторонних в своей келье.

Келья была шагов в пять длины и в три — ширины. Нары, покрытые рогожей — вместо кровати, некрашеные табурет и стол.

— Скучно, поди, вам семерым сидеть здесь?

— Благодать у нас, а не скука; работаем, кормилец, работаем. Некогда и скучать. Зимой только, как рано темнеет, ну, действительно, иной раз и рад бы в обитель. А все ничего. Роптать грех!

Разговор сошел на осаду Соловецкого монастыря англичанами, и я опять имел случай убедиться, как крепко держатся здесь предания об этом событии. Монах мой говорил о нем необыкновенно быстро, размахивая руками и как будто вновь переживая все случайности той эпохи.

— Подошел неприятель, и оробели, обмерли все мы. Батюшки, думаем, что мы робить станем, как он в нас палить начнет? У него ружье, у него мортир-пушка. Расшибет он нас, думаем. Кто плачет, кто в щель забился и сидит, не дышит, потому как неприятеля не бояться, на то он и прозывается враг. Ах, ты, Боже мой — все-то истомились да измучились... А

военные корабли все ближе, да ближе. Только и собрал нас архимандрит Александр и говорит: ежели что — не сдаваться, потому Россея и прочее такое. Пусть враг, что хочет, делает, а вы стойте... Боже мой... Сейчас солдат вперед поставил!

— А у вас и солдаты были?

— Какие солдаты! Они только солдатами назывались. Анвалиты были. Десять анвалитов при нашем остроге жили, кто хромой, кто безрукий, кто безногий. Ружья у них не палят. Они их заместо палок носили. У кого и ружья не было. Ну, Александр и говорит: «Братцы, выручай, потому как вы христолюбивое воинство, и церковь вас в молитвах своих поминает и не забудет, ежели враг окровянит вас таперече... Помните, говорит, что святыню защищаете!» Мы слушаем — беда. Все помрем — думаем. Вот хорошо; немало это прошло — с парохода аглицкого лодка. Страсть!

— Ну, а пушки ведь и у вас были?

— Какие пушки! С кораблей Петра Великого. Пушченки самые необходительные... Вот с аглецкой лодки епутата требуют!

— Парламентера верно?

— Его, его самого... У нас в это время в тюрьме полковник один сидел. По-аглецки хорошо говорить умел. И предложил он нам, что пойдет в епутаты. Нас и возьми сомнение. Как изменит? Ведь он рестант. Господь знает, <что> на душе у него. Долго мы об этом говорили и порешили, чтобы он на берег с солдатиком шел, а солдату приказ был дан, что ежели только тот изменит — сейчас штыком приколи, — рестанта этого. Ну, хорошо...

— Да как же бы понял солдат? Ведь те бы по-английски говорили!

— Ах, братец мой, пусть его говорит, но ежели, то есть, рестант бежать задумает — тут ему и капут. Ну, только полковник и пошел. На палочку белый плат навязал, и начали они говорить промежду собой. Англичане приказывают: подавайте ключи от монастыря, — кто у вас тут комендант? Сейчас архимандрит Александр выходит. Я, говорит, этой крепости комендант и все могу, мне власть дана... Ну, те требуют ключи! — Они не у меня, берите их сами. — У кого же? — У двух стариков! — У каких стариков? — У простеньких старичков, у Зосимы и Савватия, на раках лежат, на мощах — возьмите, если можете. Ну, те как прослышали про стариков наших и испужались. Сейчас назад, на пароход. И давай оттуда палить, спужавшись!.. Тут мы все и сели, потому он палит — страшно это очень. Ежели бы еще попалил — померли бы все, мы ведь люди мирные, не от мира сего!

— А если бы он согласился взять ключи с мощей?

— С мо-ощей?.. — самодовольно протянул монах. — С мо-ощей? Бери, друг любезный. Бери у наших старичков. Они

бы тебе показали силу свою... Сейчас бы корабли ко дну пошли, и праха от неприятелев бы не осталось, потому — святыня. Ни один бы не уцелел!

— А правда, что Александр сам на корабли к ним ездил?

— Врут; потому я тут был, и хошь очень испужался, а все помню!

Из этих легендарных рассказов все-таки можно было убедиться, что многое вымышлено в крестьянских рассказах о защите Соловецкого монастыря, хотя замечательное мужество архимандрита Александра не подлежит сомнению. Так составляется легенда. Словоохотливый монах, вероятно, задержал бы меня долго, если бы я не изъявил желания взобраться на колокольню скита.

Все рассказы о видах отсюда оказались бледным, ничего не говорящим очерком великолепной действительности. Все четыре окна колокольни были рамками несравненных картин.

Весь Соловецкий остров раскидывался далеко внизу, со своими лесами, озерами, полянами, церквами, скитами, часовнями и горами. Какие нежные переливы красок, какие мягкие изгибы линий! Тут темная зелень соснового леса, там изумрудный простор поемного луга, и повсюду серебряные щиты изящных озер! Эти — точно искры на зеленом бархате. Берега острова резко очерчивались перед глазами, как на карте, но каждый пункт их был отдельной изящной картиной. Там группа скал, обрыв, тут длинный мыс, поросший щетиною темного леса. Там зеленая отложина, нечувствительно сливающаяся с морем; тут последнее глубоко врезывается в землю, образуя в ней внутренние озера, едва заметными проливами связанные с громадным водяным простором. Сначала глаз был поражен только целым ансамблем этого чудного неописуемого ландшафта, но потом, мало-помалу, стали выделяться его детали. Эти золотящиеся лесные дороги — они, словно змеи, извиваются в чаще, то пропадая в ней, то вновь выбегая прихотливыми линиями. Вот белые церкви. Они рассеяны повсюду. Как малы и как изящны они отсюда. Вот по лесам блестят и лучатся золотые искры. Всмотритесь — это кресты затерявшихся в глуши часовен. Вот на зеленой бархатной лужайке раскинулось стадо оленей. Глаз едва различает их с этой высоты. Но как хороши гребни этих холмов, этот чудный воздух, это безбрежное море кругом. Какая это точка лучится на самом краю пейзажа?

— Это гора Голгофа и скит Голгофский!

Засияла розовая заря. Сотни озер, раскинутых внизу, вспыхнули разом. Глаз нельзя было отвести от них: точно со всех концов запылали бесчисленные костры, по всем лесам, полям и лугам острова. Вершины леса были тоже охвачены этим нежным сиянием. Море вокруг райского уголка сияло пурпуром, золотом и лазурью. Казалось, небо укрыто жемчужными тучками,

море с его неугомонными волнами и земля с ее божественными дарами оспаривали пальму первенства друг у друга... Вокруг всего острова лежала тоже огнистая полоса... Белые церкоьки стали розовыми, пурпурными, золотыми... Кто бы ни стал поэтом лицом к лицу с такою идеальною красавицей, какова эта неотразимо прекрасная природа!

По одной из дорог ползет муравей-лошадь. Она тоже горит, как золотая искра... Вот она скрылась за лесом. Вот в одном озере шевелится черная точка. Это челнок. Кто сидит в нем — не видно, но точка движется и пропадает в черном заливе...

Нельзя было насмотреться.

Из противоположных окон видно только море. Тут Секирная гора почти отвесно обрывается вниз. Пурпурно-золотой простор движется перед вами. Вы не видите волн, но замечаете только волнение. А там — точно в огнистом венце — подымается группа островов «Кузова». А еще дальше — туманное пятно и несколько искр. Оно словно висит в голубом небе. Это кемский берег и Кемь. Иногда, говорят, она вся видна отсюда — за 60 верст расстояния.

Какой чудный летний приют можно было бы создать здесь, где теперь живут только семеро монахов, равнодушных к этой сияющей, ослепительной красоте!

Мы уже собирались уезжать, как нас пригласил к себе строитель скита...

Это — красавец. На вид ему сорок, а в действительности шестьдесят лет. Он оказался воронежским крестьянином. В нем вполне выразился тип бодрого, веселого и живого труженика.

У нас быстро завязался разговор. Темою послужило недавнее монастырское неустройство, вызвавшее присылку из Петербурга следственной комиссии. В это время особенно гнал настоятель моего теперешнего собеседника, честная душа которого не мирилась с тем, что он видел в излюбленном им монастыре.

— За что же он гнал вас?

— А за то, что посметливей других выхожу. Он меня чуть было не удалил отсюда настоятелем в Онежский крестный монастырь. Едва-едва я отделался. Лучше бы помер, чем туда пошел. Я этот монастырь хорошо знаю. Строил его после пожара.

— Вы строили?

— Я самый. Вы смотрите, небось, что грамоты не знаю. Это у нас ничего. Гостиницу нашу видели?

— Еще бы. Громадное здание и, как видно, выстроено архитектором первого разбора!

— Этот архитектор — я самый и есть. Моих рук дело. Скиты тоже строил. Гостиницу в одно лето вывели. Сам архимандрит кирпичи таскал!

— Ну, этого быть не может, чтоб в одно лето!

— Справьтесь. Кирпичи предварительно три года заготовляли, а гостиницу в четыре месяца вывели всю и отделали!

Я вспомнил отзыв Диксона об этой постройке простого, неученого воронежского крестьянина: «Направо от нас большой отель, такой красивый, чистый и светлый, что любой отель на итальянских озерах не веселее и не привлекательнее его»; пришлось невольно подивиться этой богато одаренной натуре.

— Отчего же вы не захотели ехать в Онежский крестный монастырь настоятелем?

— Я — монах, а там господа больше. По 70 руб. рясы носят. Прости, Господи, осуждение мое. Разве это иноки? Роскошествуют, мамона тешут. Не по-нашему. У нас — пища грубая, жизнь пустынная. Никуда бы я отсюда своей волей не ушел! — Лицо отца Митрофана сияло, словно озаренное, когда он описывал преимущества Соловецкого монастыря.

— Ну, а в город, в Архангельск, хотели бы?

— Монаху в городе не житье, назад рвемся. Дико нам между людей. Опять же и соблазны на каждом шагу...

Мы заговорили об образованных монахах.

— Спаси Бог от них, от образованных. Мужичок — наш работничек и кормилец, а образованный смуту сеет, да неустройству всякому глава. От них и обителей падение и посрамление чина иноческого пред мирянами. Нам без образованных хорошо живется: мы и без них устроили у себя все, что нужно. Образованные у нас ничего не поделали. Все наша братия, серое крестьянство, с помощью Всевышнего и угодников Зосимы и Савватия, созидала. Видал на берегу у нас большой подъемный кран с рычагом? — Крестьянин строил. Набережную видел? — Крестьянская работа; гавань тоже, доки — все мужицкие головы задумали, да мужицкие руки сделали. Отлично мы и без образованных справляемся. А заведись их поболее, чем теперь, — все прахом пойдет. Особливо ежели из дворян монахи. Те хорошо жить любят, тело свое покоить, да ручуньки-ноженьки нежить. Ну, ослобонишь его от работы — смотришь, и другим пример дурной. Нет, счастье нам, что мы попросту живем. Давай Бог мужичков нам побольше, они все тебе сделают. Вот маяк построили. Да возьми хоть меня. Я мужик неученый, азбуки ведь не знаю; а я тебе без архитекторов дворец выстрою. Вот и эту обитель на Секирной горе я строил!

Мы всходили на секирный маяк, но тотчас же сошли вниз. Нужна была привычка. Гора и без него высока, а на ней это сооружение — высоты ужасной. Голова кружилась, все мешалось перед глазами.

Уже на возвратном пути с Секирной горы я узнал, что в числе монахов этого скита находится фотограф Сорокин, которому новый архимандрит запретил заниматься фотографией, находя ее неприличной для монаха. Не мешало бы только знать,

что один из наших митрополитов, признанный святым, занимался химией и в области ее производил специальные исследования. Теперь Сорокина теснят, и его удерживает в монастыре только то, что тут же пострижены два его брата, а мать — инокиня холмогорского женского монастыря. Фотографа смиряют разными способами, то посылая его на работы, то уединяя в скиты, где всего-навсего живут 4 — 7 монахов.

А пейзажи Соловецкого острова действительно заслуживают фотографических снимков.

Возвращаясь домой, в гостиницу, мы вновь любовались теми же чудными картинами, но уже при розовом освещении заката, трепетавшем и в листве берез, и в струях озер, и в туманной дали лесной чащи, и в мураве поемного луга. А внизу, в глубине горных долин, уже курился пар, окутывая могучие стволы сосен серыми однообразными клубами. Грустное чувство охватывало душу, когда мы думали о скором отъезде отсюда.

Каждый холм, каждая гора здесь увенчаны часовнями, зеленые купола и золотые кресты которых мягко рисуются среди окружающего их пейзажа.

На половине пути—часовня с вырытым в ней колодцем. Вода здесь холодна, как лед. Тут останавливаются и отдыхают странники. Место чрезвычайно красиво, особенно когда на пролегающих скатах раскинутся пестрые толпы богомольцев и слышится отовсюду говор разноязычной толпы...

XXVIII

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОДРОБНОСТЕЙ

Когда мы вернулись, была уже ночь. Северная летняя ночь — тот же день, только без солнца. Меня мучила бессонница, и я долго сидел у окна, глядя на прекрасную набережную, гавань и пароходы соловецкие. Вся окрестность наполняется несмолкающими криками чаек; глухой прибой морских валов казался фоном, на котором выделялся птичий гам.

Я думал обо всем, виденном мною на этих некогда пустынных и безлюдных островах. Я сравнивал их нынешнее благосостояние с положением такого торгово-промышленного центра, как Архангельск. Пришлось отдать преимущество монастырской общине, как это ни странно. В Архангельске, несмотря на его миллионные обороты, заграничный отпуск, торговлю хлебом, смолою, льном и пенькой, нет и десятой доли того, что поражает вас на каждом шагу в Соловках. В Архангельске, несмотря на то, что он весь в руках новых хитроумных улиссов-немцев, не найдете ни доков, ни таких гостиниц, ни такой набережной. Я уже не говорю о том, что здесь есть такие промышленные учреждения, о которых и не снилось городу.

«Наш крестьянин глуп, наш крестьянин беспечен, наш крестьянин неряшлив, наш крестьянин не способен к самодеятельности, не изобретателен» — на тысячи ладов проповедует пресса и в серьезных статьях, и в беллетристических очерках наших литераторов-жанристов. Отчего же, скажите на милость, здесь он и умен, и сметлив, и заботлив, и изобретателен, и чист в своей домашней обстановке, и самостоятелен, и готов тотчас отбросить старое, подметив что-нибудь получше, поновее у других? Отчего здесь он не является троглодитом, — какое троглодитом — тою гориллой, какою вы его рисуете на столбцах газет, на страницах журналов? Взгляните на него здесь, — какой у него самосуд, как он справляется со своими нуждами, со своими обязанностями. Тут он имеет возможность пьянствовать и не пьянствует, имеет возможность не работать, а работает хорошо, хотя и не чувствует над собой палки или не боится голода. Тут он, наконец, преисполнен сознанием собственного своего достоинства, как член могучего социального тела, и не поступится перед вами ни одним своим правом, так же как не забудет ни одной своей обязанности. Отчего это?

Дверь в мою комнату слегка претворилась.

— Не спите?.. Побеседовать разве?

— Заходите, о. Гавриил!

Это был коридорный.

— Как чайки ноне разорались. Экая птица беспокойная. А умная птица. Весной, тапериче, две чайки сначала прилетят, посмотрят, посмотрят — обойдут весь остров и улетят назад. Смотришь, через неделю, за ними — видимо-невидимо. Целые тучи!.. Соглядатаев, как Иисус Навин, пущают. Что и говорить, птица бойкая!.. А зимой у нас вороны!

— Что же ворон летом не видать?

— А чайка гоняет... заклевывает. Она птица смелая. С легким сердцем птица. А жрет сколько — страсть. Много и зверья разного. Лисиц мы в зиму штук тридцать имаем. У нас зверь ручной, он не бежит: имай его; сам в руки дается. На горе Секирной, у о. Митрофана, куница есть, что твоя кошка: заберется в рукав к нему, на шею сядет. Затейница! У нас зверь чувствует, что тут ему льгота предоставлена. Мы одного немца таково ли по шеям накостыляли — страсть. Забрался он в леса наши, да давай зверя стрелять. Он, паршивый, того и понять не может, что ему на час забава, — а у нас навсегда зверь пуганый будет. Экая у них жадность, право!

— Зимою у вас рабочим скучно, поди?

— Лучше зимою. Крестьянину у нас — лафа. Кормят его так, как он дома по великим праздникам не едал: без мяса и рыбы за стол не сядет. Пироги им дают. Одевают их чисто, тепло. И так он к чистоте этой приобвыкнет, что потом и дома у себя тоже наблюдает, чтобы округ грязи не было. Работать

не заставляем, а сколько усердия есть. Ежели человек бедный, обитель и деньгами поможет. Ну, а кто человек зажиточный, работать не хочет, а так восчувствует желание провести в монастыре год — заплати сто рублей и живи. Келью дадим отдельную, платье, стол. Радуйся да замаливай грехи вольные и невольные... А грехов у нас много. И за всякий грех ответ держать придется...

К счастью, оказалось, что мой собеседник — не охотник говорить проповеди.

— Где у вас рыбу ловят?

— Сельди везде, даже в гавани. Треску мы промышляем в Сосновской губе, близ Соловецкого острова, — ярусами, семгу в Анзерах. Нонешний год семга не баско ловится. Прошлый улов хорош был. Года на полтора заготовили, да еще продали сколько.

Вот еще характеристический факт. В то время, как земский крестьянин извлекает весьма ничтожные выгоды из сельдяного промысла, потому что не умеет солить сельди, крестьянин, монах соловецкий, великолепно приготовляет свою сельдь, не уступающую норвежской и голландской. За что они ни возьмутся, все у них выходит удачно, все ведется со знанием дела, упорно, неотступно, пока полный успех не увенчает их усилий.

— Слышал я, что вы и на Мурманский берег свою шкуну отправляете?

— Да, ныне командиром этой шкуны у нас молодой парень. Прежде он на кемских судах ходил, ну, и пришел к нам богомольцем: заметили мы у него способности к морскому делу и послали учиться в архангельские шкиперские курсы. Там он кончил, обучился, экзамен первым сдал. Теперь монахом у нас. Шкуна в его распоряжении. Во всем, скажу я тебе, невидимо Господь нам покровительствует. Наняли мы сначала машиниста на пароход, два наши монашика походили с ним вместях одно лето — теперь и машиниста не надо: лучше его дело знают. Сами всем и управляемся!

— Расскажите мне что-нибудь о вашем мурманском промысле!

— Что говорить. Теперь мурманской промысел у нас вниз идет. Прежде у нас на Кильдине и становище свое было, а теперь просто у Териберки рыбу промышляем. Много ловим. Ну, и морского зверя бьем — нерпу, лысуна, моржей, тюленей. И у себя их тоже ловим. Салотопню посмотри нашу, свой глаз лучше!

— Прежде соловецкие монахи и на Новую Землю хаживали?

— Как не бывать, бывали. Прежде мы по Онежскому да Кемскому побережьям сколько варниц своих держали. Четыреста тысяч пудов соли добывали в них. Теперь только земля у города Кеми осталась. Огороды наши там... Мы за всем следим, —

немного погодя продолжал он. — Швейные машины завелись, мы и их купили, да в наши швальни и сапожные мастерские поставили. Работа скорее идет, лишние-то руки, смотришь, и на другое дело употребить можно!

— Вот только читает монастырь мало!

— Зачем нам это — вот если хозяйственное — прочтем. У нас и газеты-то не больше пяти человек выписывают. Однако я разговорился у вас... Благослови, Господи, — спать пора!

Я проснулся, когда по коридору неистово зазвонили в колокол. Так в три часа утра ежедневно будят богомольцев. У меня в комнате оказалась целая семья спавших чаек. С вечера я забыл затворить окно — те забрались поклевать хлебных крошек, да тут же и расположились спать на столе: и удобно, и покойно. Я крикнул на них, они в полглаза посмотрели на меня и ни с места; что было делать с такою солидною птицей! Я оставил их. Так они у меня проспали целое утро.

На другой день мне удалось еще собрать некоторые сведения об этой обители.

Соловецкому монастырю принадлежат два больших каменных дома в Архангельске и один — в Кеми. Прежде обитель владела громадным домом в Вологде, но недавно продала его за ненадобностью. Один из каменных домов в Архангельске выведен в три этажа, в нем помещается около пятидесяти квартир, отдающихся в наймы, до ста кладовых, занимаемых купцами под товары и оптовые склады, и до десяти лавок. Тут же помещается и часовня. Это здание принадлежит к числу самых больших в губернии. Стоимость его определяется в 80 000 руб. Кроме того, в этом же городе устроено недавно монастырем новое подворье — двухэтажный каменный дом, где исключительно живут летние богомольцы. Оно, с громадным участком земли и пароходною пристанью близ него, оценивается в 25 000 р. Подворье в Сумском посаде не особенно значительно. Оно ветхо и полуразрушено. Здесь останавливаются богомольцы, направляющиеся в монастырь из Петербургской, Новгородской и западных уездов Олонецкой губернии. В подворьях архангельских иногда скопляется разом по 3000 странников, в Суме в прошлом году было до 600 чел. Здание, дворы, квартиры, лавки и амбары подворьев содержатся необыкновенно чисто. Дворники, прислуга, водовозы — монахи заведомо трезвы, честные и скромные. Монастырь нарочно выбирает таких, чтобы не опростоволоситься. Вообще же все владения Соловецкого монастыря вне его островов оцениваются в 150 000 р.

В самом монастыре — несколько лавок, содержимых монахами. Из них мы видели книжную, где продаются издания обители, а именно: «Описание Соловецких древностей», «Описание Соловецкого монастыря, архимандрита Досифея», «Описание подвигов Соловецкой обители», «О подвижнике Ионе»,

«Житие Соловецких угодников», «Путеводитель по Соловецким островам». Тут имеются и такие книги, как изданная в Лейпциге «О русском духовенстве». Здесь же сбываются изделия монастырской литографии: картины видов и зданий обители. Они исполнены несравненно лучше работ московских искусников этого рода. Цены — довольно высокие. Рассчитывают на религиозное чувство покупателя и берут втридорога. Кроме того, необходимо заметить, что, при даровом труде и при освобождении от платежа всякого рода пошлин и сборов монастырь свои издания мог бы продавать гораздо дешевле обыкновенных. Когда я сказал об этом монаху, тот сослался на св. Зосиму и Савватия.

— Не для себя! На святых трудимся. Нам что, нам немного надо, а вот угодники наши, да обитель их пресветлая — благолепия требуют. Купить книжку или картину у нас все равно, что пожертвование на обитель сделать. Все там зачтется!

Особенно хороши из литографий виды Секирной горы и Голгофы. К сожалению, как они, так и общий вид Соловецкого монастыря значительно искажены изображением ангелов, летающих по воздуху. Понятно, что тут расчет на крестьян. При нас, напр., явился один крестьянин, шенкурец, — ваган на местном наречии. Ему показали литографию. Он предпочел картину «с анделами», — она ему напоминала икону.

Крестьяне покупают такие картины десятками. Каждый везет их с собою в подарок родным и соседям. Но особенно ходко идут в этой лавке образки и — главное — ложки соловецкого изделия. Последние — простого дерева, грубо выделаны и покрыты лаком. На каждой — изображение рыбы и надпись: «Благословение Соловецкой обители». Некоторые заканчиваются точеным изображением благословляющей руки. Каждая ложка стоит не менее десяти—пятнадцати копеек. Крестьяне закупают их массами.

«Есть ими здорово, — объяснял один, — потому они священные. Они, поди, сколько у преподобных лежали». Финифтяные образки и крестики приготовляются здесь также массами. Они весьма не дешевы, сравнительно со стоимостью их производства. Им тоже сбыт хорош, особенно в первые летние месяцы, когда монастырь посещается чернорабочими богомольцами. В июле начинается съезд народа «почище», и самая торговля обители принимает иной оттенок.

Рухлядная лавка монастыря торгует сапогами из нерпичьей кожи, неизносимыми поясами из того же материала и монашескими вещами. Тут же сбывается всякого рода рухлядь, оставляемая монастырю по завещаниям. Так, при нас здесь красовался фрак министерства внутренних дел, чья-то енотовая шуба, мундиры и разная другая ветошь. Отсюда неимущим богомольцам выдаются в пособие — полушубки, серые армяки,

рубахи, сапоги. Все это стоит чрезвычайно дешево, а, в сущности, производит весьма благоприятное впечатление на массу. Впрочем, милосердие к неимущим составляет хорошую черту Соловков! Оно и понятно: крестьянин-монах никогда не забудет, чего он натерпелся прежде, чем стал полноправным членом богатой религиозной общины. Здесь естественная потребность сердца и чувства соединяется с верным расчетом на возвращение раздаваемого сторицею.

В Соловках есть еще лавка у Святых ворот; тут продается все: и колониальные продукты, и бумага, и полотно. Приказчик — молодой, необыкновенно красивый, но мертвенно-бледный монах. Это лицо оставило во мне глубокое впечатление. На нем лежит печать мучительных страданий. Каждая черта его веет скорбью, и только в глубоких черных очах вспыхивает порою огонь. Такие фигуры всего лучше в черной рясе монаха. В жизни этого затворника я чувствовал глубокую, в самое себя схоронившуюся драму. Монахи испанской школы напоминают это типическое и одухотворенное лицо. В нем, несмотря на истощение, чуется нервная сила. Подобные люди могут сделать много, и прошлое их всегда богато самыми крайними переходами: или яркий свет, или тьма без луча...

И такую эффектную личность поставить за прилавок бакалейной лавки. Нет, соловецкие монахи совершенно лишены художественного чутья!

Насколько Соловецкий монастырь богат ремесленниками, видно из того, что здесь постоянно работает до тридцати сапожников, сорок портных, двадцать слесарей, двадцать пять столяров и восемнадцать шорников. Большая часть их монахи, уже принявшие пострижение. Все эти труженики, работая на св. Зосиму и Савватия, выбиваются из сил, и совершенно добровольно. Чем больше они сделают, тем выше их подвиг перед угодниками. Летом еще, когда богомольцы отвлекают их от дела — им достается больше отдыха, зато зимою они работают «в свою волю». Тут «своя воля» означает чисто воловий труд.

— Потому они, угоднички, все видят. Горе рабу ленивому! Разумеется, ко всему этому следует прибавить, что отчасти работают хорошо и потому, что они сыты и довольны своим положением.

Монастырские конюшни отстроены на диво. Простор, чистый воздух, безукоризненная опрятность. Они выведены в два яруса. Внизу до полутораста сильных, хорошо содержимых, ценных коней. Вверху сложены запасы сена и разные хозяйственные орудия. Рядом с конюшнями трехэтажное здание — для помещения конюхов. Между последними пропасть мальчиков, живущих при монастыре. С ними и здесь обращаются прекрасно: сытенькие, бойкие мальчуганы, пока они не усвоят себе манеры взрослых монахов, производят чрезвычайно приятное впечатле-

ние. Они ловко, под надзором старших, управляются с конями. Между конюхами-монахами находится один бывший золотопромышленник, человек грамотный и не лишенный даже образования.

— Каково вам живется здесь? — расспрашивал я мальчиков-конюхов.

— Баско! Мальчику — рай. Паренькам лучше жизти не требовается!

— Домой не хотите?

— Спаси, Господи! Чего мы дома не видали? Здесь не бьют, да и кормят вдосталь. Дома так и не поешь!

— Ну, а наказывают за провинности?

— Наказывают. На колешки ставят. Ну, а не подействует — ступай домой. Похуже розог это будет. Я тут четвертый год, а дурного слова еще не слыхал...

С мальчиками я разговаривал в отсутствие монахов. Они, следовательно, не имели причины скрывать истину.

— За порядком тольки монахи больно глядят, чтобы в аккурате было...

Тут же недалеко помещается и шорная мастерская: просторно, чисто, светло. В таких хороминах и работать весело. На каждом шагу убеждаешься, что монастырь — хороший хозяин.

XXIX

КЕМЛЯНКИ В МОНАСТЫРЕ. ЧИНОВНИКИ. ОТНОШЕНИЕ МОНАХА К ВЛАСТЯМ

— Правда ли, что вы сажаете под замок кемлянок?

— Истинная. Как их не сажать, от них разврат один!

Вопрос этот я задал монахам, потому что кемлянки, содержащие почтовое сообщение от Кеми до островов Соловецких, просили моего знакомого, приехавшего с ними, исходатайствовать им у монахов позволение остаться на свободе, что оказалось невозможным.

— Они грешить сюда ездят... Ради одного соблазну. Сколько этих случаев было — и не перечесть! Теперь мы решили, чтобы их под замок беспременно. Только явится из Кеми лодка, приезжающих богомольцев — в гостиницу, а кемлянок-гребщиц в другое место и на ключ. Так до самого возвращения, потому им воли нельзя дать. У нас леса, поля. Они сейчас туда, и давай смущать души грешные. Другому бы так и в голову не пришло, а как убережешься, когда они сами лезут. Сколько про нашу святую обитель из-за них дурной славы пошло. В Архангельском был я раз, там мне про них тоже хорошо напели. И такие ли бабы бесстыдные! Запрешь их — они в окна уйдут, а то и дверь сломают...

— Неужели всех их запираете?

— Какие почтой ходят — всех. Нельзя иначе!

— А ведь по закону этого нельзя?

— А иноческие души смущать полагается? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. У нас здесь один закон и один судья — обитель!

— Как же вы поступаете, ежели кто между вами провинится?

— Эпитимию или послушание тяжкое наложим. Вот и наказание. Если не исправим — ступай вон из монастыря!

— Ну, а ежели это монах, принявший пострижение, провинится?

— Этого у нас не бывает. Прежде первого пострижения мы насквозь человека высмотрим. Восемь-девять лет вокруг него ходим... Как это можно, чтоб, не зная человека, да в иноческий сан возвести! Никак этого нельзя!..

— Ну, а ежели бы, несмотря на все это, монах сделал какое-нибудь уголовное преступление?

— И представить себе нельзя!

— Да ведь в Пертоминском монастыре случилось же убийство?

— То дело другого рода. У нас таких нет. У нас монахи с выбором...

— Ну, а гражданским властям не отдают?

— Мы не предатели. Власть — властью: то власть от мира сего, а мы свою власть знаем!..

— Ну, а ежели между богомольцами что случится?

— Бывает, но редко. Они здесь сидят смирно, потому знают, в кое место пришли. Их, в случае чего, запрем в келью на ключ — и сиди один. А летом, когда пароходы ходят, — на все четыре стороны!

— Ведь на всех Соловецких островах иной власти, кроме монастыря, нет?

— Нет, сами управляемся. И хорошо! Богомольцам легко и нам удобно!

Вообще, монахи, как огня, боятся чиновников. Последние, являясь в монастырь, держат себя совершенными баскаками. Они требуют лучшего помещения, припасов, каких монастырь доставить не может, прислуги, совершенно отдельной. Вообще, их претензиям несть конца и предела. Монахи стараются по возможности исполнять их приказания — страха ради иудейска. И что всего замечательнее, таким неукротимым является собственно мелкий люд канцелярского мира. Трепет перед властью для соловецкого монаха вещь весьма знакомая. Та же мелочь полицейского мира душила его, когда он был крестьянином, и хотя теперь она с ним ничего сделать не может, но, по старой памяти, инок побаивается ее. Мне случалось видеть отвратительные сцены этого рода.

Теперь, впрочем, мелкому чиновничеству не дают воли, а прежде зачастую из Кеми съезжалось сюда пьяное канцелярское воинство, как на загородный пикник.

— Мы их, признаться, и принимали неприветливо, да что? Разве они понимают. Раз одного судью привезли замертво, сколько бед было. Думали, поколеет он у нас от запоя. Очумел совсем: дьяволы ему виделись все. Отвадились, однако!

Крестьянин привел и собственный опыт относительно чиновничества.

— А ты угодничкам нашим помолись — и полегчает. Молебен, что ли, сослужи. А то и так. От начальства и молитва есть особая. Читай на сон грядущий и по утрам — очень помогает. Кротость она внушает им!

XXX

ПОЕЗДКА В МАКАРЬЕВСКУЮ ПУСТЫНЬ

Светлый день. Яркое солнце так и обливает трудно выносимым зноем леса и озера Соловецкого острова и зеркальную гладь застоявшегося в чудном покое моря. Что ни бухта, то картина, что ни поворот дороги, то новые восклицания восторга и изумления.

Опять мы едем лесным путем, опять направо и налево раскидывается царство могучих лесных великанов. Там и сям сквозят озера. Одни из них совсем ушли в тень высоких деревьев, другие так и лучатся резким, ослепляющим глаза светом. К этой природе не приглядишься.

Новый луч — и все изменяется перед вашими глазами; новая перебегающая тень случайного облачка, и опять иное выражение... Точно лицо красавицы, живое, подвижное, постоянно меняющееся перед вами... Вот ее глаза сверкают ослепительным блеском, губы полуоткрыты, вся она облита ярким румянцем... Грудь колышется высоко... Голова откинута назад... Еще мгновение — и глаза потемнели, только в таинственной глубине их вспыхивают мимолетные зарницы, на бледном лице лежит выражение тихой грусти, печальная улыбка не то сожаления, не то обманутой надежды замерла на устах... Как цветок, поблекший на стебле, она склонила свою головку... И вам самим становится грустно до первого солнечного луча, до первого вихря страсти и блаженства!

— Хорош ваш Соловецкий остров: приволье, краса!

— Ну, — отозвался монах, — какая такая краса? Что за земля, коли хлеба не родит? Горы все... То ли дело у нас, в Рязанской губернии — гладь. Ровнехонько — ни тебе холма, ни тебе горки. Хошь на коньках катайся. Вот это так краса. А тут — самое несообразное место! — И монах ожесточенно погнал лошадей, нахлестывая им бока.

— У нас еще лучше, — отозвался богомолец, — у нас рожь сам — 15 растет!

— Вот это краса! — согласился монах. — Как нивка золотая подымется, да колос с колосом почнут разговоры водить — сердце радуется. Хорошо место — реки у нас даже нет — а кругом море — чего уж безобразнее!

— Что у вас в Макарьевской пустыни?

— У нас там сады, огороды, парники, — все есть. Недавно был богомолец один из Питера, такой из себя значительный, словно енарал. Уж он ахал тоже. Вот, говорит, место; коли б да это место поближе к столицам — больших бы денег каждый лоскут земли стоил. Камень, говорю ему. Это ничего, мы бы тут понастроили всего. А по этим озерам гулянья, чтоб... Известно, модники!

— По нашим местам, — вставил богомолец, — не дай Бог такой земли; что с ней поделаешь? Тут и соху, и борону изломаешь!

— Камень, известно камень. На нем не посеешь!

— Сказано твердь — ну, и шабаш!

— Твердь это небо, — наставил монах. — А камень по-гречески — Петра...

— По эфтим местам, поди, сколько угодников хаживало?

— Это точно, что много. У нас угодников много!

— А мы по невежеству этого не чувствуем!

— И, значит, велик это грех!..

— Да, про все там ответим. Там, брат, не обманешь!..

— Несть греха, превышающего милосердие Его — сказано!

— Это — точно. Одначе и рассуждение иметь надо. Ходи с опаской... Не все спустится!

— Странного человека призри и успокой! — отозвалась странница.

— Ну, и из ваших бывают...

— Как не бывать, бывают, но все же, значит, чтоб по добродетели... Подай страннику — Христу подашь!

— Подать, отчего не подать. Странному человеку завсегда подать требуется, но все же в оба за ним гляди, потому ноне насчет совести чтобы — тонко!.. Народ ноне обманный, жженый народ...

— Это верно. Потому о Боге забыли!

— А ты не осуждай! — обернулся монах. — Слышал, что писано: юже мерою мерите, тою и воздается вам!

— Тут бы, вот, она те полянка — гли... Баско было бы ячменю... По-за лесом. Хорошо!

— Некому, да и мала. Не стоит!

— У нас бы сейчас сорудовали это... Распахал бы... Такая ли нивка выйдет — благодари Создателя!

— Место настоящее!

— Чего лучше. Паши!..

Наконец, трое наших дрожек подъехали к Макарьевской пустыни.

Это — прелестный уголок, затерянный среди лесистых гор в зеленой котловине. Кругом нее тишь и глушь. Мы взошли на балкон, устроенный на кровле часовни. Отсюда открывался пейзаж, так и просившийся на полотно. Прямо перед нами, одни выше других, вздымались гребни поросших соснами гор и за ними синевато-туманные полосы таких же далей. Все навевает на душу мирное спокойствие. Западавшие в глубь лесов тропинки звали в эту свежую чащу. Порою, от случайно набежавшего облака, леса уходили в тень, зато другие выступали ярко-зелеными пятнами. Изредка взгляд встречал небольшую поляну. На одной ясно рисовался силуэт отдыхавшего оленя. Серебряная кайма озера едва-едва прорезывалась из-за леса налево.

Садовник-монах, из крестьян, предложил нам посмотреть оранжереи и парники.

Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, все это в парниках. Печи были устроены с теплопроводами под почвой, на которой росли плодовые деревья. Таким образом жар был равномерен. Этим устройством монастырь обязан тоже монаху-крестьянину.

Оранжереи с цветами прелестны. В распределении клумб обнаруживаются вкус и знание дела. Я долго был тут, внимательно рассматривая все подробности этого уголка. Это — полярная Италия, как ее метко назвал высокий посетитель...

— Много ли вас тут? — спросил я у монаха.

— Трое; я, да двое работничков-богомольцев. Дело-то здесь маленькое. Порасширить бы его — да и того довольно. Фрухт только и идет, что для архимандрита и для почетных гостей!

— В Архангельск бы отправляли?

— Неужели же там нет своих парничков?

— Нет!

— А там бы лучше росло: теплее и климат способнее. У немцев, поди, есть в Архангельске все. Наши только, русские, подгадили!

Позади парников я взобрался на гору. Отсюда открывался чудный вид на потонувшие внизу леса и озера. Не хотелось верить, что мы на крайнем севере. И воздух, и небо, и земля — все напоминало юг Швейцарии. Только бы побольше животной жизни.

Пейзажи Соловков были бы еще живописнее, если это возможно, когда бы тут было побольше стад и птиц. Молчание в природе слишком сосредоточивает душу. Созерцания принимают нерадостный характер и переходят в мистицизм. Пение птиц, блеяние стад настроили бы душу на иной, более веселый лад. Даже и чайки внутри островов попадаются в одиночку, и то редко.

XXXI
СЕЛЬДЯНОЙ ЛОВ

Я направился как-то на восточную сторону соловецкой гавани. Еще издали несло ворванью и запахом свежеванного морского зверя.

Тут оказалась салотопня. Устройство ее весьма просто и практично. Тут же на солнышке сушились жирные шкуры морского зверя: нерп, белуг, тюленей, лысунов и др.

— Много ли у вас добывается зверя? — спросил я у встретившегося мне монаха.

— Ничего, довольно. На деньги ежели считать, так тысяч на пятьдесят всего промышляем!

— На Мурмане?

— И на Мурмане, и на островах наших. На Мурмане мы больше треску ловим. Скоро салотопню мы думаем совсем перестроить. Тут один монашек, из мужичков, взялся получше сделать. Ему и будет поручено. Больно уж грязна эта-то, да и запах разносит. Мы-то притерпелись, а богомольцы жалуются... Из шкур мы бахилы (род сапог) шьем, штаны, рубахи тоже. Как наденешь на себя все это, хоть по горло в воду ступай — никакая сырость не пробьется. У нас все рабочие носят их. И легко. Гораздо легче простой одежи!

— Продаете на сторону?

— Нарочно не продаем. А если желание имеете купить, можно — в рухлядной. И дешево!

Вблизи заметил я смолокурную печь. Кладка кирпичная. Она походит скорее на норвежскую, чем на наши крестьянские, которые мне случилось видеть в Шенкурском уезде и в Вологодской губернии.

— Тоже мужичок у нас строил, — объяснил монах. — Тут мы смолу гоним, пек добываем, скипидар для своего обихода. Все лучше, чем на стороне покупать. Нам этого материалу много нужно!

Сушильня со всех сторон была открыта ветру, но устроена так, чтоб дождь туда никак не мог пробиться. Отсюда мы прошли к маленькой тоне сельдяного лова. Большие тони находятся по всем берегам Соловецкого и Анзерского островов. Несколько рабочих, с одним монахом, распорядителем работ, поехали забрасывать снасть. Лодка описала громадный круг по гавани, оставляя за собою след — поплавки сети, опускаемой в воду по мере движения челнока. Внизу к снасти прикреплены гирьки, удерживающие ее на дне. Таким образом вся рыба, находившаяся на этом просторе, попала в сеть. Самая сеть, необычайно прочная, хорошо просмолена. Спустя несколько минут лодка с другим концом сети вернулась на берег. Поплавки сети описывали большой овал.

— Ну, голубчики, ну, кормильцы, давай сеть вытягивать! — приказал монах-распорядитель.

Три человека с одной и трое с другой стороны вошли в воду за сетью. Они захватывали ее как можно подальше от берега и вытягивали на берег, всходили на землю и снова входили в море. Круг все больше и больше суживался. Вот на поверхности воды заблестели серебристо-радужные, золотисто-розовые спинки сельди чаще и чаще. Вот поверхность моря сплошь покрыта ими. Ничто не может дать понятия о прелести красок, окрашивающих сельдь, когда она жива и — главное, когда она в родной своей стихии. Это — лучи, проходящие сквозь разлагающую призму, это пурпурные, розовые, синевато-золотистые блестки. Цвета менялись каждое мгновение. Нельзя налюбоваться на них. Рыба сплошь заняла все пространство, очерченное поплавками сети. Несколько сельдей перескочили через них и ушли в море.

— Путь-дорога! — проговорил монах.

— Много ли ловите?

— Разно бывает, Господь помогает. На день св. Зосимы в одну ночь пудов сто пятьдесят сельди выловили. То особая милость была. Чудо явленное!

Это оказался иеромонах. Он работал как простой рыбарь: сам входил в море, сам тащил сеть. Когда стали выбрасывать в лодку выловленную рыбу — он трудился больше всех. Тут вообще не отличишь монаха от чернорабочего. Они также возятся с киркой, ломом, косой, снастью, глиной, как и другие. Понятно, что пример их имеет громадное влияние на богомольца.

— Откуда вы? — обратился я к одному из богомольцев-рабочих.

— Свирский!

— По обету здесь?

— На год!

— Что это на вас платье все из тюленьей кожи?

— Да монастырская работа!

Он трудился по горло в воде. А, между прочим, ни одна капля не проникла на тело.

— Сколько весу будет в этой тоне?

— Не менее тридцати пудов. Редко меньше. Не гляди, что пароходы тут стоят, не распугали рыбы-то. Чудеса это. Угоднички монашикам своим посылают. Сельдь глупая; она рыба, и разумения ей не дано. Одначе это понимает: как из воды вынешь, — потемнеет вся. Ишь вон, что в лодку брошена — не играет!

Сельдь выбрасывали в лодку. Действительно, через несколько минут — краски гасли. Они заменялись мертвенным синевато-серебристым цветом. Челн наполнился почти до краев. Прямо через бухту рыбаки направились к деревянному зданию амбара

на другом берегу. Тут его выпростали. Отсюда сельдь доставляется, часа через два после лова, в погреба обители. При мне нескольким богомольцам в виде подаяния насыпали полные «козонки» сельди. Те на ночь собирались варить уху. Роздали пуда с два.

— По всем берегам так сельдь ловите?

— Зачем. Здесь лов маленький, только тут сельдь руками и вытаскиваем. По другим местам мы вороты устроили. Не в пример легче. Воротом снасть и тянешь. Ровнее и скорее идет. Меньше силы требуется?

— А треску в Анзерах как ловите?

— Как на Мурмане, — ярусами!

— И много попадает?

— Довольно... На какого святого лов, от того зависит. Тут, братцы, везде премудрость, неспроста тоже!

XXXII

МОНАСТЫРСКИЙ САД. РИЗНИЦА. ОРУЖЕЙНАЯ

После всенощной я отправился вдоль монастырских стен к лесопильному заводу. Проходя мимо садиков, разбитых у самых башен, я встретил монаха, таинственно манившего меня. Понятно, что я удивился.

— Что вам угодно?

— Поговорить с вами!

Мы вошли в садик. Сирень и черемуха были в цвету. В небольших темных аллейках стоит густой аромат.

— Вы, сказывают, из Архангельска. Что слышно там о почившем архимандрите нашем?

— Это о котором следствие производилось?

— Да... за добродетель свою пострадал человек!

— Помилуйте, какая добродетель! А деньги?

— Точно что дьявол попутал его. Но не так понимать это надо. Сущий ребенок был покойный. У него, словно у дитя малого, глаза на все блестящее зарились. Болезнь. Это он не своею волей. А что, говорят, будто эти деньги у монастыря отнимут?

— Да, есть законные наследники!

— Законный наследник — одна наша обитель. Тогда, как он помер, мы сейчас же жандармскому дали знать. Полковник приехал, все опечатал. Так и теперь!

— Однако хорошо же ведется ваше денежное хозяйство, ежели такие крупные суммы можно брать у вас незаметно!

— Не то, что хозяйство. Тут не в хозяйстве дело. Мы скандалу боялись. Ныне известно — безверие везде. Словно волки лютые, ищут, чем бы уязвить обители. Опять же супротив

архимандрита никто идти не решался — страха ради иудейска. Один было поднялся — тот его сейчас в другую обитель, в настоятели. Он было не поехал — за противление его в тот же монастырь, только уж простым монахом. Вот оно у нас каково. Опять же его, архимандрита, просто жаль становилось, потому он обходительный такой!

— Ну, вы тоже не совсем правы. У него, говорят, своих денег в монастырь было привезено около ста тысяч, а вы и те захватить думаете!

— Зачем же нам отступаться? У нас помер — наши и деньги. Пусть лучше на доброе дело в обитель пойдут, чем мирским наследникам. От богатства много и зла бывает на свете!

Оправдание — весьма характеристическое.

— Вы говорите: скандала боялись; скандал все-таки вышел. Да и хороша обходительность, если он монахов по другим монастырям разгонял!

— Горе противляющимся, сказано. Ты терпи. Вот и мы от полиции натерпелись... Острова осматривали?

— Да!

— А правда, — таинственно спросил он меня, — что у нас здесь серебряная руда должна быть?

— Не думаю. Соловки просто гранитные стержни, покрытые наносною почвой!

— Вы ведь все по наукам произошли. Железа тоже нет?

— Нет. А если бы оказалось?

— Сейчас бы разработкой занялись. У нас насчет этого хорошо. У нас ведь и горнозаводчики есть. Все мужички-с. У нас мужички есть, что и в журналах пишут!

— В духовных верно?

— Да-с, в духовных. А один шенкурский мужичок — в монахах у нас — задумал историю двинского края написать. Далась ему грамота... Хозяйство наше видели вы? А погреба изволили заметить? Нет. Ну, так завтра я раненько проведу вас...

Погреба, действительно, оказались великолепные. Я ничего не видел подобного. Холод, свежий воздух и простор. Особенно хороши ледники. Это совершенство в хозяйственном отношении. Описывать их напрасно. Нужно все видеть самому. Никакое описание не даст понятия о роскоши местных кухонь, пекарен, подвалов, квасных, кладовых и т. д.

В тот же день мы осмотрели и ризницу. Богатства особенного не видно. Монастырь не любит держать мертвые капиталы. Деньги — вернее, они хоть казенный процент принесут. В историческом отношении здесь обращают внимание: грамоты новгородская и Иоанна IV на владение островами, первая подписана Марфою Посадницею; сабля, пожертвованная Пожарским,

и меч Скопина-Шуйского, которые, помимо научной ценности, представляют довольно крупную стоимость по числу драгоценных камней, их украшающих. Тут же изящные чаши, резанные ажуром из слоновой и моржовой кости. Остальное: Евангелия, ризы — представляют только известную стоимость, не имея значения в других отношениях.

— Это бы да в деньги все — хорошо! Что там — история, сними с них рисунок, ну, и храни его. Деньги все лучше. Их в оборот можно! — откровенно высказался один монах, когда я с ним заговорил о ризнице. — Деньгам место можно найти. Новый бы пароход выстроили, на Мурмане становище, да на солеварение... Хорошо, ежели бы у нас на островах каменный уголь найти... Потому̀ надоело англичанам деньги платить за него!

— А помните: какая польза человеку, аще весь мир приобрящет, душу же свою отщетит?

— То про человека сказано, кто для себя все... А мы не для себя. Нам самим ничего не надо. Видели вы — как мы едим, как мы живем, во что одеваемся. Нам мало требуется. А это для обители, во славу Божью, для угодничков. Имение монастыря — не имение монахов. Монастырь может быть богат — а монахи бедны. Это у нас и исполняется. Роскоши вы нигде не встретите!

— Так и довольствуйтесь тем, что имеете, не желая лучшего!

— Это точно, мы для себя и не желаем. Но для угодничков мы должны стараться...

— Лучше пусть в мире богатство будет. Народ ведь бедствует у нас!

— Верно, что бедствует, но оно и лучше. Помните, что в Евангелии про богатого сказано: легче верблюду — в игольное ушко, нежели богачу в царствие Божие. В мире-то человек обогащается, а тут сокровищами обители имя Господне прославляется. Ему же честь и поклонение. Оно точно: народ в мире убогий, мы и помогаем при случае. Окроме того, в деревни деньги посылаем когда...

Оружейная Соловецкого монастыря разом переносит посетителя в ту ветхозаветную старину, когда мы бились еще бердышами, не зная прелестей митральез, шасспо и крупповских пушек. Впрочем, в расположении старого оружия не видно никакого порядка.

— Хлам старый, — с презрением говорит монах. — Один из Питера у нас был: много, говорил, денег можно за него получить, за ветошь эту. Неужли такая глупость есть?

— Есть!

— Чудеса! Какого народу на свете нет! Хошь бы железо стоющее было, а то проржавело все!

— По этим остаткам изучают старину!

— В летописях достаточно есть. Не будет народ счастливее оттого, что узнает, чем предки его затылки ломали друг другу!

Что было возразить!

— Моя бы воля — я сейчас бы продал все это!

— Мне уж говорил один монах, что он бы и ризницу в деньги обратил!

— То ризница, то дело другого рода. Там святыни: например, ризы, кои св. Филипп, св. Зосима и св. Савватий носили. То все благочестие в народе поддерживает... А от оружия этого кровью пахнет... Оно никого не просветит и не образует!

— У нас вот нынче народное образование по недостатку средств развиться не может. Вот бы от своих достатков монастырь хоть бы для селений Архангельской губернии уделил малую толику!

— В светском просвещении — добра мало. Грех и помогать ему. Ежели бы такие школы, как у нас, например, — иное дело. А то, что за сласть — изучают языческие языки, а духовного и не слыхать. Иной лба себе перекрестить не смыслит. Мотает рукой, как коромыслом... Спаси, Господи, от образования такого!

XXXIII

ШЕНКУРСКИЙ ХЛЕБОПАШЕЦ В РЯСЕ

— Да, разное на свете бывает. Иной и не помышляет об иночестве, а Господь приведет его к такому концу. Вот и я тоже, первый по волости богач был, кормил народ сам, за подряды брался... Одного хлеба сколько сеял. И не знаешь, к чему судьбинушка наша идет!

— Как же вы в монастырь попали?

— Голубчик мой, как это спрашивать так; я и сам не знаю, как попал. Случилось, вот и все. Сначала несчастие постигло меня, одно за другим. Деньги, признаться, были — родной брат, питерец, подсмотрел и украл. Господь с ним, я ему давно простил. Пусть только на добро; потом, все равно, ему же оставил бы; детей, вишь, у меня не было. Опосле этого дом сгорел. С той поры поправиться уж не мог. Жена в скорости померла, не вынесла. Потом злой человек скот у меня испортил. Как Иов многострадальный из богатства в нищету произошел: из первого по волости — последним стал. Ночью, бывало, как никто не видит, такое ли горе возьмет. Заплачешь, как дитя неразумное. Узнал стороной, что в Питере брат разбогател. Он по артельной части. Пошел к нему; думаю, отдаст, что покрал. Точно. Как увидел меня, спокаялся. Заплакал. Очень, говорит, совесть меня за это самое мучает. Но одначе я с твоих денег

жить стал. Теперь вот — бери, мне не требуется твое, своего, благодарение Богу, много. Уговаривал в Питере остаться, да я не остался. В поле тянуло. Опять же могилки там в селе. Жена да мать лежат. Как бросить? Да и питерское житье не по душе мне было, признаться. Ни тебе простору, ни тебе работишки настоящей нет. Болтаются все так-то. Кто про что. Шум, суета, народ оголтелый, добродетели в нем нет, все бьет на обман. Промеж пальцев уйдет у тебя. Пошел я домой. Только — в Новой Ладоге это было — завернул я ночевать в одно место. Утром встал, ни денег, ни паспорта. Опять лютые вороги покрали. Горше всего мне на этот раз стало. Я в полицию. Кто тебя знает, говорят, — кто ты такой? Какой ты есть человек? Может, — бродяга? Поверишь ли, кормилец, вместо защиты — в тюрьму попал. Вот она правда какая — у судий земных. Прости им, Господи, не ведят бо, что творят. Списался я из тюрьмы с братом; тот устроил все, денег малую толику прислал. Пошел я опять домой, что птица с оборванными крыльями. И стал с той поры тяготу носить. Допрежь я и неурожая не знал; а теперь, что ни год — то морозом ниву побьет, то дожди такие, что хлеб на корню погниет; то засуха, то разливом пашню смоет. Перемогался я, перемогался, да и затосковал. Просто нет мне нигде спокою. Куда ни пойду, везде люди богачество мое видели, везде мне прежде в пояс кланялись, везде я первый человек был. Не так тяжко тому, у кого никогда ничего не бывало. Выйдешь ли на поле — у других колос золотом налился, шумит нивушка на радость работнику — хозяину, а у меня колос редкий да мелкий, зеленый еще... Вдаришься об землю, да плачешь... А то уйдешь от людей в леса, глушь-от у нас беспросветная. Царство!.. И бродишь там дни, по ночам только домой, словно вор какой, пробираешься... Все опротивело! Раз я тундру на поля снимал. Осень холодная стояла. Тундру-то снимать по колено в воде приходится. Тут и робишь, тут и спишь, тут и Господу Богу своему молишься. Иногда недели по две так-то: одичаешь весь. Вот и работаю я один-одинешенек. Раз это занедужилось мне, и прилег я; место посушей нашел. Лежу я, а в глазах все обители пречестные. Купола зеленые, кресты золотые, да стены белые... В ушах — колокола... Так и гудит. Клир невидимый молитву поет. Точно кого-то в иноки посвящают. Так дня три было. Как пришел я в себя, так и обещался сходить к преподобным Зосиме и Савватию на год, ежели выздоровею. Опосле этого как рукой сняло. Ну, я и продал все: и землю, и скот, какой остался, и пошел сюда. Пожил я год — работник я хороший — монашики уговаривали меня остаться, сам архимандрит покойный: — живи, говорит, у нас, Алексей, что тебе, бобылю безродному, в мире делать, молись, да работай на обитель святую. Ну, сходил я домой, поклонился родному селу, церкви нашей, да на могилках

поплакал. Потом выправил себе от обчества увольнение и пошел в Соловки. Десятый год теперь живу здесь... А все старого горя не заесть — дьявол, видно, мутит нас. Года три тому назад брат приезжал. В купцы вышел. Помолился здесь, у меня в келье пожил. Только сам его я попросил, чтобы уезжал скорей: невмоготу было. Тоска такая. Миром от него пахло. Сам с ним ушел бы, если б он подольше остался. Как уехал, и опять ничего. Вот разве когда на лугах работаешь, так тянет домой. Так бы и бросил все и пошел!

В монастыре зазвонили.

— Пора на спокой! Прости, Христа ради! Так разговорился я с тобой, добрый человек, теперь, пожалуй, опять мутить начнет. Лучше не вспоминать. Легче...

Белая, без тьмы и без свету, ночь окутала острова.

Только крики чаек да говор волн и нарушали безмолвие этой пустыни.

XXXIV

АНЗЕРЫ

Анзеры и особенно гора Голгофа пользуются такою же славою, по поразительной красоте своих пейзажей, как и Секирная гора. Анзеры — большой и гористый остров Соловецкого архипелага. Здесь находится скит и, кроме того, у берегов производятся рыбные ловли. В Анзеры нас отправилось около пятидесяти богомольцев.

Рекомендую всем туристам от одиночества в дороге бежать, как от огня. Природа сама по себе все же не так интересна, как люди, а на таких пунктах, как Соловки, странники и странницы представляют такое разнообразие типов и племен, что ими, право, не грешно заинтересоваться. Тут и грузин с Кавказа, и казак с Дона, и корел из Кемского уезда, и сибиряк чуть ли не из-под Ялотуровска. Тут и высокая, сгорбленная фигура странника в скуфейке и с классическим посохом в руках, тут и молодое красивое лицо бабенки, посещающей святые места с целью вымолить себе у Бога ребят. Тут и бойкий поволжский мещанин, и купец старого закала, с бородою за галстухом, в сером сюртуке до пят и высокой шляпе с широкими полями. Тут и зоркий еврей перекрещенец, и батюшка соборный протопоп из-за Урала. Это целый калейдоскоп типов. А серое крестьянство — на первый взгляд оно покажется однообразным. Но всмотритесь в него: какое богатство типов, и каких еще! Общее у всех — только выражение затаенной боли в лице, словно все они носят тяготы не по силе, словно каждый чувствует над собою бич. Переговариваются они больше междометиями. Редко вырвется короткая фраза; все понуро, недоверчиво, забито,

поругано и запугано. Зато женки, что это за неугомонные болтуньи! Языки у них — словно колокольчики почтовых лошадей в дороге. Пройдите с ними часа два, и вы почувствуете боль в голове, звон в ушах, точно от угара. О чем-то они не переговорят между собою. Особенно старухи — те неистощимы: тут и пуп земной, и купец Синепупов, и Евангел какой-то, папа римский, с тремя хвостами; козьмодемьянский дьячок, у которого борода клином — большой мастер заговаривать зубы, и Иерусалим-град, и деревня Сычевка, и левиафан-рыба, лично виденная где-то за морями, и белозерский снеток, о прелестях которого распространяется новгородская торговка, замешавшаяся сюда же. Голова закружится, и все вокруг ходуном пойдет. А вот, например, волжский юркий паренек рядом с современным купчиком, в модной жакетке и шелковой летней шляпе. Послушайте их.

— И плывем этта мы на праходе; я за капитана был, — живописует паренек, — а ночь хоть глаз выколи. Сигналаф этих мы и запаху не знаем, потому— беспокойное дело, от Бога не убережешься. Бежим — авось-де Господь пронесет. Вдруг — шаррах... История! В барку въехали. Что делать?.. С барки народ орет: спасай, братцы, — тонем. А нам как спасать: мы сломали — в ответ попадешь. Я сейчас — задний ход, обошел барку, да давай Бог ноги! Так и ушли. Пассажиров в тот раз не было!

— Потонули, поди, с барки?

— Как не потонуть! Все, должно, потопли, не без эфтого. Народ отчаянный!..

— Божье произволение!

— Известно, Бог-Господь. Без него ни-ни!

— Да, это бывают, точно, случаи. О запрошлым летом хлеб я на барках послал. Только барки и дошли до пристани. Оттуда приказчик пишет: какая цена будет. Рубль за пуд — пишу. Только дня это не прошло — дает он мне депешь: у Ивана-де Ефимыча десять барок с хлебом, рожью, потопли. Я сейчас: продавай хлеб рубль двадцать. Хорошо! Только через семь ден опять депеша: у Аладьина три баржи обсохли и хлеба много попорчено. Я сейчас молебен святому Николаю Чудотворцу, а приказчику: продавай по полтора. Что ж бы ты думал? — В рубль шестьдесят хлеб пошел!.. В рубль шестьдесят!.. Что одного барыша взял я тогда — страсть!

— Но, однако, я за это нонешний год колокол в церковь пожертвовал!

— Это хорошо. По купечеству все больше колокола жертвуют!

— Фасонистей оно как-то. На целую церкву нашего финанцу не хватит. Ну, так колокола!

— Точно что фундаментальнее!

В другой группе — другие и разговоры.

— Так вы говорите, что при отношении?

— Да-с. От сего числа за нумером 0000 имею честь покорнейше просить, и пошел, и пошел. Мы сейчас, как получили, наистрожайше становому: предписываем-де... и, в случае допущения медленности, имеете вы подвергнуться законному взысканию, на осн. ст. 00, XV тома!

— Ну, и что же? — с видимым участием вопрошает первый.

— Сейчас становой в село, мужиков на цугундер — так вас, растак... Кузькину мать помянул. — Розог! Сию минуту подать!

— Далеко парень пойдет. Губерния наша отдаленная. Университетских нам не требуется!

— Н-нет. Нам модников не надо, — восхищался собеседник. — Нам дельцов подавай; чтоб все мог — единым взмахом. Veni, vidi. Vici[1]... Изволили учить в семинарии?

— Ну, а казенная палата, что?

— По уведомлении удовлетворилась. Мы ей тоже очки втерли: тотчас-де по получении отношения были приняты самострожайшие и наискорейшие меры, причем такому-то предписано неукоснительнейше взыскать, ну, и прочее...

— Неукоснительнейше?

— Неукоснительнейше...

— Хорошие слова есть, ежели кто настоящим стилем владеет!

Переходя от одной группы к другой, я не забывал и окрестных видов. Каких только здесь не было озер! Одно — словно сверкающая на солнце коса; другое — сплошь покрытое островами; третье — гладкое и чистое, как зеркало. Одни за другими сменялись волшебные картины. То обрыв — вы останавливаетесь и смотрите: под вами синеют верхушки деревьев, далеко уходит сочная понизь с лесами, озерами и скалами; то — с двух сторон сжимают дорогу крутые откосы зеленых гор. Вот море глубокою бухтою врезалось в землю; только узкий пролив соединяет ее с бесконечным водным простором. Бухту обступили высокие сосны и недвижно протягивают над нею высокие своды.

Как там покойно, тихо и прохладно. Тут ловят монахи рыбу, здесь ими выстроен домик для рыболовов и поставлены вóроты для вытаскивания неводов. Скоро мы подъехали к берегу, где кончался остров Соловецкий.

Версты за четыре синели Анзерские горы. На самой окраине берега изба, или, по-здешнему, келья перевозчиков. Мы все сели в два больших карбаса. Весла блеснули, и лодки прорезали покойную влагу. На этот раз пролив был спокоен, но здесь нередко случаются бури, опасные для маленьких судов, потому

---

[1] Пришел, увидел, победил (*лат.*).

что у Анзерского берега находится большой сувой (толчея, водоворот). Даже и теперь, когда море было тихо, — пределы сувоя очерчивались заметно, составляя совершенно правильный круг, в котором течение воды напоминало собою громадную спираль. Несмотря на самую безмятежную погоду, как только наш карбас вступил в пределы толчеи, его стало весьма заметно покачивать, и гребцы измучились, прежде чем достигли берега. Рядом со мною сидели две сестры-странницы. Одной из них было двадцать, другой — девятнадцать лет. Я разговорился с ними — и оказалось, что они бродяжничают уже десять лет обе. Их мать зажиточная перемышльская мещанка — в первый раз потащила их на богомолье в Киев.

— С тыя поры мы и одного лета не можем выжить дома, так и тянет, так и тянет. Особенно, как лески зазеленеют, да на полях цветики почнут алеть. Уж как нас тятенька бил, матушка тоже учила, не жалеючи — нет наших сил. Урвемся и уйдем. Так и бродим до зимы!

Тут же с ними оказалась и молоденькая хохлушка из Пирятинского уезда. По расспросам обнаружилось, что она пошла странствовать во избежание замужества.

— Отчего ты замуж не хочешь?

— Не хай Бог боронит!

Главное в семейной жизни пугала ее необходимость ежедневно варить «чоловику» галушки.

— Давно ты странствуешь?

— Та вже годив с три буде!

— Что же ты потом будешь делать?

— Що Господь даст!

— Ну, а отец у тебя есть? — Девушке не было и 19 лет.

— Ни... На базар поихав, та и по сий час не вертался...

Тут же присутствовала и странница из Москвы, ухитрившаяся дойти до Архангельска, питаясь подаянием и не истратив ни гроша из собственных денег.

— Ну, а в Москве, чай, много помогли на дорогу? — спросил я.

— Ка-ак не помочь, — запела та: — В Москве завсегда можно благодетеля найти. Купцы. На то им и капиталы Творец Небесный дает. А капиталы у них немалые. Ну и они тоже силу свою чувствуют. К нему, поди, тоже знать надо, как подойти: безо всякого резону — хвосты оборвут. А знаешь, так и не оставят. Что-что — а на кофий завсегда достанешь. Да... Подитко у него — другой заслужи. Ты думаешь легко?.. А все смирение мое, покорство. Обидит ли кто, собак ли напустит — травят нашу сестру тоже, — камнем ли мальчонко швырнет, я, старушка, и слова не скажу...

— Примерно годов пять тому купцы в сундушном ряду меня кирасином облили, да и подожгли, — что ж ты думала,

облаяла я их? — Залилась я — старушка — слезами горькими и, как потушили меня, пошла себе. Потому всевидящее око... Зрит оно простоту мою и взыскует за самые эти муки. Вот, примерно, к купцу одному я пришла. Мужчина из себя красивый, — десять пуд одной ручкой подымают. Страшенный такой, вид значительный. А жрет поскольку — Господи, спаси его душу. Как это допустили меня в палаты к нему, и обмерла я, мать моя. Пер он, пер этого гуся, а опосля за поросенка принялся. И меня, постницу старушку, соблазнил. У меня, говорит, апекит такой. Одначе, десять рублев на дорожку изволили пожертвовать...

— А кофь пить грех! — вставила пожелтевшая и высохшая странница.

— Врешь, кто много этого кофия пьет, тот и в могиле не тлеет. Кофь из ерусалимской земли идет, на верблюде — медведь такой большенный есть. Из благословенной земли!

— А ты сама видела?

— Сама, своими глазами! — не смигнув, подтвердила московская салопница.

— Ну, если сама...

— Медведь этот большущий и на тридцать семь верстов от Сион горы живет. Одначе, человека он не трогает, потому ему по положению большой припас от турецкого салтана идет. За это он кофь и возит. А кофь, мать моя, с неба как манна падает, и девицы невинные собирают его, и младенцы... И поэтому прозывается оно мокка... А это премудрость, и понять ее простым разумом невозможно. Главное, не измышляй и сократи себя!

Таким образом пролетело время до того момента, когда на ясном небе, над большою лесистою горою обрисовался полувоздушный Голгофский скит. Трудно определить, что изящнее — этот ли уголок, или Секирная гора. Сравнения в области красоты, будь это красота женщины или природы, все равно, — невозможны. Все зависит от того, как в данный момент падают лучи, как легла тень; важно и предварительное настроение зрителя. Сказать откровенно, встречая постоянно прелестные пейзажи на этом, сравнительно небольшом, клочке земли, я до того пригляделся к ним, что они далеко уже не производили прежнего впечатления...

Тем не менее, первое впечатление Голгофы прекрасно. Это мираж, мягко рисующийся в синеве неба... Когда смотришь в эту высь, так и кажется, что там человек должен оставить все земные помыслы и отдаться или мистическому созерцанию Божества, или изучению сокровеннейших тайн природы. Как жалко, мелко и ничтожно должно все казаться оттуда: и люди — такими маленькими, и сооружения их — такими незначительными. А этот упоительный горный воздух! Я сам испытал здесь

его влияние. Он опьяняет человека. Грудь расширяется от восторга, кровь движется быстрее, усталости нет и в помине... Все выше и выше.

Когда мы ступили на Анзерский берег — общий силуэт Голгофы заслонился другими, менее высокими горами. Тут уже озер меньше, но зато как прелестны здесь лесные дороги! Кажется, шел бы по ним без конца. А между тем — ни ярких цветов, ни певчих птиц. До чего должен быть очарователен пейзаж, если он заставляет забывать о скудости красок и звуков.

Тут многие купались в море. Вода до того пропитана солью, что последняя осаждается на бороде и на волосах. Она холодна, как лед, но когда выйдешь на берег, тело горит, и сам чувствуешь себя как будто возродившимся. А сцены при купанье!..

— Мотри, Петра, колько тут угодников, может, купалось, а ты, животная твоя душа, без молитвы в воду лезешь. Нешто это в правиле — песья твоя голова?

Петра начинает молиться.

— А ты, идол, не лайся, — серьезно заканчивает он молитву, — не знаешь, кое здесь место?

— Наш председатель ныне Анну получил! — рассуждает чиновник, приседая в воде.

— Что говорить: человек просвещенного ума!

— Во все планеты посвящен!

— Химик настоящий!

Наконец, вся орава двинулась вперед. Скоро мы нагнали баб, тараторивших впереди, как сороки. Рядом с нами, у самых ног, бежала куропатка.

— Господи! — восхищался крестьянин. — Это ли еще не чудеса? Дикая птица, а к человеку как собака льнет. Ну и монашики. Возвеличил их Бог, видимо. Это верно... — Нет, а вот у нас лесничий был, так тот голубей жрал. — «Немцы одобряют». — Народ подлый! — «Точно, что подлый». — Они от Каина пошли...

Дорога, наконец, пошла в гору. Она поднимается вокруг нее спиралью. Мы бодро подвигались вперед, и порою, как выходили на открытое место, словно заоблачный храм, светился над нами скит Голгофы. Несколько раз принимались отдыхать. Один юродивый странник полз вверх на коленях. Крестьяне чуть не крестились на него. Странница, та не отступала от него ни на шаг. Остановится он — и та станет. Начнет он класть земные поклоны, и та сейчас же. Так до вершины горы.

Вид с колокольни Голгофского скита еще шире, величественнее и разнообразнее, чем с Секирной горы. Перед вами бесконечный простор синего моря, в которое врезались бесчисленные мысы соловецких берегов. Острова Анзеры, Соловки и Муксальма лежат далеко внизу под вами. Вы охватываете каждую подробность этой картины, ни на минуту не теряя общего ее впечатления. Это — замечательно целый в художественном

отношении пейзаж. Горы, леса и озера — каждое имеет свой собственный оттенок. Бесконечное разнообразие этих оттенков привело бы в отчаяние живописца. А их переливы, их переходы одних в другие! Это целая поэма природы, и, глядя на нее, вы точно внимаете беспредельному миру чудных гармонических звуков. Под вами, внизу, словно частые стрелки поднимаются верхушки темных, бархатистых елей; рядом с ними березовые рощи под горячими лучами солнца кажутся пятнами расплавленного золота. Но что сравнится со смешанным лесом сосен, елей и берез! Это — невыразимая красота при таком освещении. А вдали Соловецкая обитель с ее часовнями, точно легкий призрак. Весь розовый, с искрами своих крестов — он ласкает взгляд туриста. Отдаление ослабляет все резкие контуры, остаются только нежные, мягко рисующиеся линии. Взгляните прямо под колокольню. У подножия горы Голгофы — озеро, это клочок голубого неба. На нем — точно щепка, всмотритесь — словно какая-то муха копошится на этой щепке. Это — плот, а на плоту монах, удящий рыбу. Каждая мелочь отсюда является совершенством, каждый штрих полон изящества и прелести. На самом краю горизонта лежит противоположная оконечность пейзажа — Секирная гора. Скит на ее вершине кажется белою искрой. Между нею и последнею чертою горы — полоса голубого неба, как будто этот монастырь, опускаясь с высоты, повис далеко над вершиною...

Оглянитесь в другую сторону — безбрежная лазурь моря. Вот на самом краю его что-то полощется, что-то мелькает. Чайка или парус? Всмотритесь. Ближе и ближе это ослепительно-белое крыло, и скоро перед вами тонко обрисуется большая поморская шкуна, рассекающая синеву моря. Вот еще несколько таких чаек. Все они тянутся к Архангельску с Мурманского берега.

— Белухи, белухи в море... — говорит около монах, указывая налево.

Я всматриваюсь и ничего не вижу.

— Да вон они... — Еще усилие, и тот же результат. Нужно приучить свой глаз к таким расстояниям; нужно постоянно жить среди такого бесконечного горизонта, чтобы в подобном отдалении отличить круглые очертания белых голов, ныряющих в синих волнах.

Как прекрасен должен быть этот вид в ясную лунную ночь! Да, — впервые подвижники Соловецкого монастыря, должно быть, не были похожи на нынешних монахов, ушедших в одну физическую работу. Пункты, выбранные для устройства скитов и часовен, обнаруживают в их строителях высокое чутье художественной красоты. Как не завидовать этой аскетической обители, отвоевавшей на севере лучшую жемчужину этого края — Соловецкие острова...

Когда мы сошли вниз, молебны были уже кончены. На скорую руку мы прошлись по кельям скита. Та же простота обстановки, та же бедность. Около лестницы, ведущей вверх, развешаны на стене морские карты. Они не напечатаны, но сделаны монахом. Это работа одного моряка, успокоившегося после треволнений кругосветных плаваний в тихой и мирной пристани монастыря.

— Назад пора, чтобы поспеть ко времени! — рассуждают богомольцы.

— Пора, пора, братцы. Трапеза, поди, скоро будет!

И толпа, помолившись в последний раз, как волна, отвалила от скита и вся рассыпалась по горе.

XXXV

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ В МОНАСТЫРЕ

Пароход «Вера» уже разводил пары.

Жаль было оставлять эту чудную природу. Хотелось еще побродить в лесах и горах Соловецкого архипелага, посидеть на берегах его озер, на скалах у вечно шумящего лазоревого моря.

Тут даже отсутствие жизни, вероятно, благодаря новости и свежести впечатлений, чувствуется не особенно тяжело.

Перед отъездом еще раз хотелось окинуть последним взглядом эти чудные острова.

Я взобрался в купол собора, где в четырех башенках проделаны маленькие окошки.

В последний раз из лазури неба и из лазури моря выступали передо мною эти — то черные, то золотые мысы... В последний раз из массы елей и сосен сверкали живописные взвивы серебряных озер. В последний раз звучал в ушах моих неугомонный крик чаек.

В монастыре загудели колокола.

Торжественные звуки разливались, как волны, на той вышине, где стоял я. Тонкая, дощатая перекладина подо мною дрожала. Колоколенка казалась висящею в воздухе. Жутко становилось здесь. Чувство инстинктивного страха проникало в душу. А все-таки не было сил оторваться от этих прекрасных окрестностей. Вот солнце зашло за тучку. Из-за ее окраины льется золотая полоса света. Косо охватывает она березовую рощу, и каждое дерево ее, каждый листик золотится, словно насквозь пронизанный лучами. Вот целые снопы света разбросило направо и налево. Одни ушли в густую тьму соснового леса, и на золотом фоне ярко обрисовалась каждою своею ветвью громадная передовая сосна. Другие сплошь охватили серую скалу, и в массе темной зелени она кажется чеканенною глыбою золота.

А эти часовни! При таком богатом освещении они теряют свой казенно-буржуазный вид. Вот что-то ослепительное лучится между деревьями, хотя его не видать, по крайней мере, трудно рассмотреть очертания светящегося предмета. Это — маленькое, все на минуту озаренное озеро. Вон по золотой полосе дороги лепится серая лошаденка с черным монахом; а там, вдалеке, на недвижном просторе моря?.. Там паруса за парусами и туманные, едва намеченные очертания поморских берегов.

Куда ни взглянешь, повсюду лазурь, золото и зелень.

Пора вниз. Богомольцы уже потянулись к пароходу. Вон целые группы серого крестьянского люда в последний раз кладут поклоны перед стенами гостеприимно приютившей их обители. Вот у пристани собрались монахи и что-то работают...

Когда я сошел вниз — трапеза была уже кончена. Остальные странники и странницы толпились на палубе парохода. Все с громадными кусками хлеба, данными им на дорогу; говорят, что выдавали и рыбу. Не знаю — не видал. Зато многие попались мне в новом платье и сапогах, безвозмездно выданных им из рухлядной лавки монастыря. У всех были ложки соловецкого изделия, финифтяные крестики и образки...

Шумный говор стоял на палубе... О. Иван, командир «Веры», — уже на своем месте... Команда ждет... Первый свисток. Пора и мне занять место. Я уже направлялся к трапу, когда случайно заметил невдалеке молодого послушника-поэта. Он тоскливо глядел на сцену отъезда. Я еще раз подошел к нему пожать руку на прощанье. Он заметно смутился.

— Послушайте, — горячо обратился я к нему, — человек с вашим талантом не должен отрешаться от жизни. Вы, как раб ленивый, зарываете таланты свои в землю. Поедем со мною... Бросьте эту рясу, вы принадлежите миру — и он вас зовет к себе. Вы — послушник и не дали никаких обетов. Еще не поздно. Через час пароход отчалит и воротит вас — к жизни, счастью, может быть, славе...

Прекрасное лицо юноши потемнело.

— Я не раб ленивый. Я не зарываю таланта в землю, а приношу его в жертву Богу. Там — указал он за море, — там весь тот мир, куда вы меня зовете, представляется мне одною могилою. Там нет истинной радости, истинного счастья. Истинная радость, истинное счастье — молиться за нее и ждать смерти, чтобы соединиться с нею. Судьба моя решена; не говорите больше... Второй свисток...

— Послушайте... Еще одно искреннее предложение: пошлите несколько ваших стихов в Петербург. Если их встретит успех, вы сами тогда решайте, что делать...

Он посмотрел на меня уныло.

— После того разговора с вами я всю ночь обдумывал ваши слова. Вы сказали, что у меня есть талант, и на минуту во мне

воскресло старое. Куда-то хотелось в даль, вырваться отсюда... Сердце билось так больно. Я испугался самого себя и стал молиться, молиться. Я молился всю ночь, и под утро Господь внушил мне, что делать... Чтобы суетность не смущала меня более — я сжег все, что написал когда-нибудь... Я сжег даже... — с усилием глухо проговорил он, — даже ее письма. Теперь я весь принадлежу Богу... Не смущайте меня!

Слезы блеснули в его глазах, печальная улыбка на миг озарила его бледное лицо... Он, не прощаясь, повернулся и, понурившись, пошел прочь... Мне было тяжело, невыразимо тяжело. Я сетовал на аскетизм, не чувствуя в эту минуту, что в жизни у человека бывают моменты, когда такой аскетизм является живою потребностью его души...

Едва я успел взбежать на трап, как дан был третий свисток, и пароход медленно отчалил от пристани.

XXXVI

В КАЮТЕ, НА ПАЛУБЕ И ДОМА

Наше обратное плавание было очаровательной прогулкой. Весь сияющий, голубой простор моря казался безграничным зеркалом, в центре которого тяжело пыхтел и дымил наш пароход. Солнце обливало горячим светом палубу с яркими группами расположившегося на ней народа. Золотые искры сверкали в воде. Лазурь голубого неба не омрачалась ни одним облачком.

— Ишь, какую Господь погодку посылает опосле поклонения угодничкам, — замечает один крестьянин, вытягиваясь у кормы на своих сумках. — В тот раз ветер, сивер был!

— Тут не ветер, а грехи наши... теперь, как от угодничков — так милость!

— Много ль ты в обители чудес видал?..

— Все видал... А чудес этих там не перечесть.

— Все Бог, братцы... Ишь, как он монашиков устроил. Посередь моря на камне живут!

Я разговорился с высоким видным монахом, отправлявшимся в Архангельск для каких-то закупок.

— Давно ли вы в монастыре?

— Шестой год. Прежде я портовым слесарем был... Монастырь меня пригласил работать на 180 руб. содержания в год. Их пища, разумеется!

— С чего же это вы постриглись?

— А монахи убедили. Нужен я им был. Жену я уговорил тоже в монастырь, в Холмогоры, дочерей туда же, а сам в Соловки!

— Сколько же вы теперь получаете за работу?
— Двенадцать рублей в год!
— За что же вам так уменьшили жалованье?
— Потому я монах теперь, обязан на обитель трудиться!
— И нравится вам в монастыре?
— Не худо... нравится... Обеты тоже дал!

Наступала ночь. Солнце садилось в одиннадцать часов. Я стоял на капитанском баке и наблюдал оттуда, как постепенно морской простор изменял свои цвета и оттенки. Из голубого он перешел в ярко-золотистый, потом в багровый, розовый, желтоватый, и, наконец, когда солнце село, море приняло свинцово-синий колорит. Мимо парохода проплывали белухи. Говорят, что здесь иногда приходится встречать и моржей. Мы нагнали несколько поморских шкун и одного неуклюжего ливерпульского угольщика... Становилось свежо. Я пошел в каюту.

Скоро между мною и спутниками моими по пароходной каюте «Веры» завязалась оживленная беседа о пережитых впечатлениях на Соловецком архипелаге. Болезненная и бледная жена моего знакомого за неделю сильно оправилась, пользуясь благорастворенным воздухом островов. На лице ее играл румянец, она чувствовала в себе больше силы и здоровья.

— Славное место. Вот бы где больницу устроить с морскими купаньями... — заметил кто-то.

— Не всегда удобно. Когда северный ветер дует — там холодно!

Наконец, разговор зашел о монахах. Мой собеседник резюмировал свои впечатления.

— Соловецкий монах, — говорил он, — тип крестьянина-хозяина. Он зорко блюдет свои интересы, работает сам, не отказываясь от косы, лопаты и снасти, слепо верит и слепо повинуется. У него развит стадный инстинкт. Он готов на все ради своей общины, ради обители. Это человек труда. Он не рутинер, потому что бойко переймет все, что найдет хорошего у других, и устроит это у себя, пожалуй, еще лучше. Он не отступит перед препятствиями. Нужен ему мост через море — он завалит море каменьями, нужны ему пароходы — выстроит их, доки — подумает и сделает их на славу. Он изобретателен и предприимчив. Но в то же время он крайне прост во всех своих потребностях. Ряса грубого сукна, рубаха — из деревенского холста, да бахилы вместо сапог; обильная, но грубая трапеза, да — как верх роскоши — чай утром и вечером, больше ему ничего не надо. Приобретательные инстинкты в нем развиты сильнее всего, но он приобретает не для себя, а для общины. Он суеверен, как пахарь, но зато и работает, как последний. За свое состояние он держится цепко, даже рискуя навлечь на себя неприятности. Он никому не дает взятки, не пойдет ни на какое рискованное дело, он везде верно рассчи-

тывает и никогда не ошибается. С первого взгляда он покажется не умен; вы с видом превосходства начнете ему объяснять что-нибудь, но будьте уверены, что он уже обдумывает в это время, как бы половчее обойти вас, заставить поработать над исполнением той же работы вас самих для обители. Нужного человека он не выпустит из рук. Рано или поздно он наденет на него клобук и рясу и приурочит к монастырю, хотя бы только для того, чтобы поменьше платить ему денег. Общинный инстинкт развит в нем так сильно, что он не станет поддаваться на невыгодные для монастыря, но выгодные для него лично предложения. Тут, кроме боязни угодников, — расчет на то, что только благодаря могучей Соловецкой общине из бедного, загнанного крестьянина-батрака он сделался сытым, обеспеченным, хорошо поставленным и уважаемым тысячами богомольцев монахом. К нему богомолец не обратится просто: отец святой; как ваше имя святое; где ваша келья святая; благослови, святой отче!.. И все в этом роде. Монахи сами для себя — лучшая полиция. В монастыре никто из них ничего не осмелится сделать — его сейчас же выведут на чистую воду, потому что каждый позорящий поступок роняет достоинство обители, подрывает веру в нее и прежде всего отзывается на суммах *прихода.* Он помнит все былое и ласков с богомольцами, ласков с рабочим-крестьянином. Короче сказать, если бы не аскетизм, — Соловки были бы идеалом рабочей общины!

— Ты нарисовал слишком привлекательную картину, друг мой, — мягко прервала моего собеседника его жена, — ты забываешь, что этот монах почти не живет духовною жизнью. Для него нет науки, искусства. Он доступен только меркантильному интересу. В его благочестии слишком много суеверия, его молитва — не живое, неудержимое излияние души, а раз навсегда установившаяся форма, исполнение которой он считает для себя обязательным. Его Бог — не Бог милосердия и любви, а Бог гнева и кары. Он замкнулся в самого себя и не поддается никакому глубокому и нежному чувству. Он не понимает даже красоты той природы, посреди которой живет. Для него важен не дух, а мертвая буква. Он хороший хозяин, но это — хозяин-мироед. Он хорошо обращается с рабочим, потому что это — рабочий добровольный, не требующий у него денег. Он корыстолюбив до жадности. А главное, в его душе нет ни понимания истины, ни потребности любви, ни поклонения красоте, в чем бы последняя ни выражалась — <в> широкой ли панораме гор, озер и лесов, в великодушном ли поступке собрата, в лазури ли голубого неба.

— Вы забываете, что отсутствием всего нежного, мягкого, всего, что отличает троглодита от человека современной нам эпохи, он обязан — своему аскетизму. Только близость женщины и детей дает все это. В крестьянской семье женщина не имеет

этого значения, потому что она сама изголодалась, огрубела, обессилела. Короче, Соловецкий монастырь показывает, чем была бы крестьянская община, если бы она не подавлялась в течение целых столетий разными пагубными влияниями. Здесь развита исключительно экономическая сторона такой образцовой общины. Выделите аскетизм, дайте сюда женщину — и вы увидите, к чему пришла бы эта горсть людей!

— Значит, вы признаете, что такая община могла бы существовать в иной форме, т. е. не в форме монастыря? Что без св. Зосимы и Савватия, действительно, создалось бы здесь такое единство и общность интересов, такая стройность взаимных отношений, такая любовь к труду?

Ни один из нас не ответил на это. До сих пор все рабочие общины оказывались прочными только тогда, когда в основу их положено религиозное начало. Таковы Моравские братья, Перфекционисты, Шэкеры, Мормоны и т. д.

Может ли существовать *чистая* община, *рабочая* община? Это вопрос будущего, тесно связанный с вопросом о воспитании.

Незадолго до приближения к Архангельску мы вышли на палубу.

На юго-востоке сверкали золотые искры — это купола городских церквей и соборов.

Потом обрисовались какие-то смутные, беловатые линии; они развертывались, светились все ярче и ярче, и, наконец, уже отсюда можно было отличить контуры каменных зданий набережной. Скоро пароход причалил к пристани Соловецкого подворья, и мы разом окунулись в шум, суету и движение городского центра.

Детский смех, улыбка женщин, говор и блеск жизни — заставили позабыть разом все прелести действительно прекрасного, но окованного аскетизмом уголка. Только теперь, через год, передо мною выступили более рельефно выдающиеся черты этой оригинальной жизни, этого крестьянского царства.

На нашем севере — Соловки самое производительное, промышленное и, сравнительно с пространством островов, самое населенное место. Без всяких пособий от правительства, без субсидий оно создало такую экономическую мощь, которая становится еще значительнее, если подумать о том, что ею обитель обязана усилиям нескольких сотен простых и неграмотных крестьян.

— Это — наше царство! — говорят крестьяне-поклонники, направляющиеся туда.

ПРИМЕЧАНИЯ

НА КЛАДБИЩАХ

Ревель: Библиофил, 1921. Печ. по этому изд. В публикацию включены три новых мемуарных очерка, увидевших свет после завершения книги «На кладбищах»: «Мои встречи с Некрасовым», «Рыцарь на час», «Как живут и работают русские писатели. Письмо из Москвы».

ОТ АВТОРА

С. 17. *...как библейская Руфь...* — В ветхозаветной Книге Руфь рассказывается о женщине, которую голод заставил покинуть Вифлеем. Через много лет Руфь Моавитянка вернулась, попав в родной город к началу жатвы ячменя. Вооз застал ее на своем поле за сбором колосьев. Эта встреча привела их к женитьбе. Вскоре у них родился сын Овид, дед будущего великого царя Израиля Давида.

О ЧЕХОВЕ

С. 20 *...в печати впервые появился «Антоша Чехонте».* — Чехов печатался под псевдонимом Антоша Чехонте в 1880 — 1882 гг. Так он подписал и свою первую книгу «Сказки Мельпомены» (1884).

Иван Великий — колокольня в Кремле со звонницей в 21 колокол, памятник архитектуры XIV в. Более двухсот лет колокольня была самым высоким (81 м) зданием в Москве.

...Вероны никакой нет. Ее Шекспир выдумал... — Верона — место действия пьес Шекспира: трагедии «Ромео и Джульетта» и комедии «Два веронца».

С. 21. *Больше с Алешей... в винт играл.* — Алексей — А. А. Суворин.

В Венеции... памятник Кановы... — Выдающийся итальянский неоклассицист А. Канова изучал в Венеции искусство скульптуры и в 1779 г. создал здесь свою первую значительную композицию «Дедал и Икар».

...конной статуи кондотьери Коллеоне. — Имеется в виду бронзовый конный монумент венецианского наемного полководца (кондотьера) Бартоломео Кол-

леони, сооруженный в 1490 г. флорентийским зодчим Андреа дель Верроккьо (1435 или 1436—1488).

С. 21. *Собачья площадка* — бывшая площадь в Москве в районе улиц Арбат и Большая Молчановка.

С. 22. *«Осколки»* — самый популярный юмористический журнал, редактировавшийся Н. А. Лейкиным. Чехов печатался в «Осколках» в 1882—1887 гг.

Театр Корша — антреприза Ф. А. Корша в Москве. В этом театре, просуществовавшем с 1882 по 1917 г., премьеры шли еженедельно, в каждую пятницу.

С. 24. *...люблю Шерлока Гольмса...* — Шерлок Холмс — главный герой серии рассказов английского классика детективного жанра Конан Дойла.

«Хороший тон» Германа Гоппе. — Вероятно, имеется в виду журнал Г. Д. Гоппе «Моды и новости», переименованный вскоре в «Модный свет» (1867—1883).

С. 26. *«Мысль изреченная есть ложь»* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium» (1829).

С. 27. *Игнатий Николаевич* — И. Н. Потапенко.

С. 28 *...запахнувшись в Чайльд-Гарольдовский плащ...* — Чайльд-Гарольд — герой одноименной поэмы Байрона, романтический гордец и разочарованный бунтарь. Татьяна Ларина в романе Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 7) создает такой образ Онегина, «москвича в Гарольдовом плаще»:

...Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

С. 29 ... *любовницу нашего морского министра...* — С мая 1881 по июнь 1905 г. главным начальником флота и морского ведомства был великий князь Алексей Александрович.

Мария Павловна в Академии... — Великая княгиня Мария Павловна заменила на посту президента Академии художеств своего мужа великого князя Владимира Александровича после его смерти в 1909 г.

С. 31. ... *был жрецам-скрибам в Мемфисском храме...* — Мемфисский храм — несохранившееся культовое сооружение в столице древнего Египта Мемфисе, построенном в 525 г. до н. э.

Луговой Алексис либр-пансером притворяется... — Под псевдонимом А. Луговой печатался писатель А. А. Тихонов. Либр-пансер (от фр. libre penseur) — вольнодумец.

Татьянин день — отмечается 12 (25) января в память о святой мученице за христианскую веру: после пыток она была казнена в Риме ок. 225 г. В этот день в 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета. С начала XIX в. Татьянин день стал праздником университетских студентов, преподавателей и выпускников.

С. 31. «Яр» — самый модный в XIX в. московский ресторан; открыт в 1826 г. на Кузнецком мосту, а затем перенесен в Петровский парк (ныне Ленинградский пр., 24). В «Яре» пели знаменитые цыганские хоры (в том числе Ильи Соколова).

...как Вейнберг, ни одних похорон не пропущу. — П. И. Вейнберг в 1897—1901 гг. был председателем Союза взаимопомощи русских писателей, а затем председателем Литературного фонда — организаций, ведавших среди прочих дел также организацией похорон.

С. 32. ... *как нероновская Поппея, купаться в молоке девятисот ослиц...* — Одна из легенд о любовнице, а затем второй жене римского императора Нерона.

С. 35. *...глупые Парки ткут без конца нити всевозможных жизней...* — Парки — в римской мифологии богини судьбы (у греков мойры).

Шатолафит — одно из лучших бордосских вин, производившееся во Франции.

Четьи Минеи — сборники, содержащие жития святых в порядке празднования их дней памяти по православному календарю, а также молитвы, псалмы, гимны, каноны на каждый день.

С. 36. *Меня вон с Мейсонье сравнивают...* — См. Месонье в Указ. имен.

Фиваида — область вокруг древнегреческого города Фивы в Египте; позже название всего Верхнего Египта.

С. 38. ... *маткой-бозкой ченстоховской благословила.* — Имеется в виду икона Ченстоховской Божией Матери (Польша), считающаяся чудотворной.

С. 41. *...мой брат Владимир...* — Вл. И. Немирович-Данченко.

С. 42. *...у «Василисы». Мы звали так хозяйку виллы Арнольди...* — Имеется в виду писательница А. А. Арнольди.

С. 43. *...автором «Пенденнисов».* — «Пенденнис» (1850, рус. пер. 1852) — роман У. М. Теккерея.

С. 47. *Лупанарий* — публичный дом в Древней Греции.

С. 52. *Извозчики тоже еще не стали Вандербильтами и Морганами.* — Т. е. не стали миллионерами, как американцы Вандербильт и Морган.

С. 53. *Калган* — многолетнее травянистое лекарственное растение.

Он и Кигна (Дедлова)... — Дедлов — псевдоним писателя В. Л. Кигна.

С. 55. *Александро-Невская лавра* — монастырь в Петербурге, основанный в 1710 г. в память победы Александра Невского над шведами. Здесь были похоронены М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, М. И. Глинка и др. Ныне заповедник с Музеем городской скульптуры.

С. 56. *Замысловские и Келеповские...* — Имеются в виду юрист Г. Г. Замысловский (1872 — ?) и помещик С. И. Келеповский (1873 — ?), депутаты Государственной думы 2—4 созывов, придерживавшиеся крайне правых, антисемитско-шовинистических позиций. Замысловский — автор скандально известной брошюры «Умученные от жидов», в которой пытался доказать существование у евреев ритуальных убийств.

...Репетиловы вроде Керенского... — А. Ф. Керенский сравнивается с персонажем из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

С. 57. *...Епиходовых, несущих во главе революционных воплениц красные знамена..* — Епиходов Семен Пантелеевич — конторщик из комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903).

...до Маньчжурской войны. — Русско-японская война 1904—1905 гг., завершившаяся поражением России.

С. 57. *...Соловьев прочел свое известное стихотворение, предсказывающее страшные события на нашем Дальнем Востоке.* — Имеется в виду стихотворение Вл. С. Соловьева «Панмонголизм» (1894), которое он читал друзьям задолго до первой публикации (в журнале «Вопросы жизни». 1905. № 8). Первую строфу («Панмонголизм! Хоть слово дико, // Но мне ласкает слух оно, // Как бы предвестием великой // Судьбины Божией полно») поэт и философ напечатал в 1900 г. как эпиграф к своей «Краткой повести об Антихристе».

И 1612 г. мы сумели пережить... — Речь идет о польской интервенции во главе с королем Сигизмундом III, захватившим в 1610 г. Москву. Поляки были изгнаны в октябре 1612 г.

...о 1812. Это была ошибка Александра I Германского на русском престоле. — Одним из поводов вторжения Наполеона в Россию и начала Отечественной войны 1812 г. стал отказ Александра I выполнять унизительные для страны условия Тильзитского договора 1807 г., заключенного после поражения союзных войск России, Австрии, Пруссии и Швеции в войне с Францией.

ДИКТАТОР НА ПОКОЕ

С. 60. *...что происходило в Западной Европе с Людовика XIV до крушения Наполеона III. — То есть с XVII по XIX в. Людовик XIV — король Франции с 1643 г. Наполеон III был низложен в 1870 г.*

...Лорис-Меликов... был выброшен новым курсом за борт вместе с Д. А. Милютиным... — Имеется в виду первый в истории России «министерский кризис» 30 апреля 1881 г. Активные реформаторы и сподвижники Александра II министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов, военный министр Д. А. Милютин и министр финансов А. А. Абаза подали новому императору Александру III прошения об отставке в знак протеста против его манифеста «о незыблемости самодержавия», воспринятого как отказ от реформ.

С. 61. *..повелел Израилю о роде и племени Амалека?..* — Амалек (Амалик) — персонаж библейской Книги Бытия, старейшина амаликитян, самого древнего кочевого народа на юге Палестины, в Аравии.

С. 62. *Германдады* («братства») — в XIII в. союзы испанских горожан против злоупотреблений дворянства. Фердинанд Католический с помощью союза призывал миронарушителей к порядку, конфисковывал их имущество в пользу казны. В дальнейшем «святою германдадой» стали называться отряды жандармерии.

С. 63. *..Николай I... поссорил Желтухина с Ростовцевым...* — Журналист А. Д. Желтухин и Я. И. Ростовцев — деятели эпохи Николая I, занимавшиеся подготовкой крестьянской реформы.

Дагмара — императрица Мария Федоровна, урожд. принцесса датская Мария София Фредерика Дагмар.

С. 64. *Владимира он называл prince-consort Бисмарковской содержанки...* — Великий князь Владимир Александрович был женат (с 1874 г.) на дочери великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II принцессе Марии, принявшей в России имя Мария Павловна (старшая).

С. 67. *«Год войны»* — дневник корреспондента Вас. Немировича-Данченко о русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Эти оперативные очерки, фронтовые репортажи с театра военных действий печатались в газетах, журналах, сборниках и читались всей Россией. Отдельное изд.: т. 1—3. СПб., 1878—1879.

С. 67. *Что вам Гекуба?* — Реплика «Что мне Гекуба и что я Гекубе?» из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Героиня «Илиады» Гомера и трагедий Еврипида Гекуба — жена троянского царя Приама, оплакивающая убитого сына, за которого она мстит убийце Полиместору: убивает его детей и ослепляет его самого.

Герман и Савватий — монахи Соловецкой обители. Преподобный Савватий (ум. в 1479), не умея писать, продиктовал свои воспоминания о сподвижниках по пустынножительству Савватии и Зосиме. Савватий (ум. в 1435) — основатель Соловецкого монастыря, прибывший на остров вместе с иноком Германом.

Ну и Федора наша цензура! — Федора — здесь в знач. простофиля.

...*с газетами больше Александр Аполлонович знакомил.* — А. А. Скальковский — брат публициста, театроведа Константина Аполлоновича Скальковского (1843—1905).

«Гром победы раздавайся» — первая строка стихотворения без названия Г. Р. Державина (1743—1816), положенного на музыку О. А. Козловским (1757—1831).

С. 69. ...*Д. А. Милютин... писал свои воспоминания...* — Военный министр Милютин — автор книг «Воспоминания» (т. 1—4) и «Дневник» (т. 1—3), написанных после выхода его в отставку в 1881 г. и изданных посмертно.

...*работники «времени реформ».* — Имеется в виду эпоха царствования Александра II, осуществившего реформы в разных сферах жизни государства, в том числе отменившего крепостное право в 1861 г.

С. 70. *Я помню его записки о Кавказской войне...* — Книга воспоминаний Д. А. Милютина «Описание военных действий 1839 г. в Северном Дагестане» (1850).

...*подвиг, подобный Геркулесову в Авгиевых конюшнях...* — Один из 12 подвигов героя греческих мифов Геракла (у римлян Геркулес): он взялся за один день очистить конюшни царя Авгия, стойла которых не очищались от навоза 30 лет. Он подвел воды близлежащих рек так, что они смыли все нечистоты.

...*обстоятельства его убийства...* — Долго обсуждавшаяся версия о гибели Скобелева: было совершено убийство, «заказанное» его великосветскими ненавистниками. Однако вскрытие, произведенное прозектором Московского университета Нейдингом, показало, что скоропостижная смерть наступила от паралича сердца и легких.

С. 71. *Бундист* — член Бунда (1897—1921), «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России».

С. 73. ...*повторится 93 год, и новый Людовик XVI взойдет на эшафот.* — Французский король Людовик XVI (1754—1793), как только началась Великая французская революция 1789—1794 гг., обратился за помощью к иностранным государствам. Однако был свергнут и казнен.

С. 74. ...*после ужасного события...* — 1 марта 1881 г. террористами был убит Царь Освободитель, Царь Преобразователь Александр II.

...*трубы израильские противу новых Иерихонов...* — Иерихон — первый город-крепость, завоеванный евреями на пути из пустыни к земле Ханаанской. Это им удалось сделать после психологической подготовки: по приказанию Иисуса Навина колонны израильтян в течение семи дней в молитвенном безмолвии шествовали вокруг стен Иерихона, деморализуя противника. А в

последний день мощно взревели серебряные трубы, вызвав панику. Крепость сдалась.

С. 74. Папская индульгенция — в католической церкви документ об отпущении грехов, выдаваемый (продаваемый) всем кающимся. Индульгенции были введены в XI в.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЦИНЦИННАТ

С. 75. *...Ростовцев, заглаживающий свое подлое предательство...* — Я. И. Ростовцев в 1825 г., не называя имен, сообщил Николаю I о заговоре декабристов.

С. 76. *...тут умер и погребен был Байрон...* — Байрон умер в 1824 г. в Греции, где командовал отрядом в освободительной борьбе против турецкого ига. В его честь здесь был объявлен национальный траур. По просьбе патриотов в Греции похоронены легкие поэта, а тело с почестями было отправлено в Англию и погребено в местечке Хакналл, близ Ньюстеда.

...сделав Рысакова и Кибальчича... исполнителями Божьих велений... — Н. И. Рысаков и Н. И. Кибальчич — террористы, участвовавшие в покушении на Александра II 1 марта 1881 г., за что были повешены.

Капитан Копейкин — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя.

С. 78. *...в нем было что-то Фамусовское.* — Фамусов — персонаж комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

С. 79. *Французы подняли гвалт по поводу Панамы.* — Во Франции в 1879 г. было основано акционерное общество для строительства Панамского канала. Вскоре выяснилось, что это была жульническая афера, разорившая десятки тысяч акционеров.

...мы-де зажали рот Джон Булю. — Джон Буль (Иван Бык) — юмористическая кличка англичан, карикатурное олицетворение Англии. Впервые так назвали соплеменников писатели-сатирики Джонатан Свифт (1667—1745) и Джон Арботнот (1667—1735), автор сатиры «История Джона Буля» (1712).

С. 82. *Жаль, нет Муравьева...* — Имеется в виду генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьев, жестоко подавивший Польское восстание 1863—1864 гг.

С. 88. *...последнего Гогенцоллерна.* — Имеется в виду Вильгельм II (1859—1941), германский император и прусский король, свергнутый в 1918 г.

ПАМЯТКА О НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДЕ

С. 91. *Феб-Аполлон* — в древнегреческой мифологии бог солнечного света, покровитель муз (Феб — прозвище Аполлона с эпитетом «блестящий»).

С. 92. *Омар... Халиф, который Александрийскую библиотеку Птолемеев сжег.* — Александрийская библиотека, содержавшая от 100 до 700 тысяч книг, была основана в Александрии при Птолемее I Сотере (ок. 367/366—283 до н. э.). Часть ее сгорела во время осады столицы эллинистического Египта Юлием Цезарем в 48—47 гг. до н. э., другая уничтожена христианскими фанатиками в 391 г. Мусульманский халиф Омар I (ок. 591 или 581—644) завоевал Египет в VII в.

С. 93. *Кэк-уок* (*англ.* «пари из-за лепешки») — танец индейцев-семинолов, ставший в начале XX в. популярным в Америке и Европе.

НЕ ГЕРОЙ

С. 103. *«Новости»* — газета, которую Нотович приобрел в ноябре 1876 г. Через четыре года он купил еще одну — «Биржевую газету» и слил их в одну, назвав ее «Новости и биржевая газета». В газете, успешно конкурировавшей с изданиями А. С. Суворина, печатались Вас. И. Немирович-Данченко, Н. С. Лесков, П. Д. Боборыкин, Г. К. Градовский, К. Д. Кавелин, П. И. Вейнберг, В. Г. Короленко. Министр И. Н. Дурново доносил в 1891 г. царю: газета Нотовича «особенно отличается своим вредным направлением».

С. 104. *...хитроумный Улисс Проппер...* — С. М. Проппер — биржевой маклер, основавший в Петербурге в 1880 г. газету «Биржевые новости». Улисс — латинская форма имени Одиссей, об изворотливости и отваге которого повествует Гомер в одноименной поэме.

С. 105. *Иван Александрович Хлестаков* — герой комедии Гоголя «Ревизор».

С. 106. *«...но и с моей книгой!».* — Вероятно, имеются в виду книга О. К. Нотовича «Немножко философии. Софизмы и парадоксы» (1886) и ее продолжение «Еще немножко философии. (К вопросу о свободе, воле.) Софизмы и парадоксы» (1887), выдержавшие 6 изданий.

С. 107. ...с *армиями Радько Дмитриева провел поход от Лозенграда через Люле-Бургас...* — Болгарский генерал Радко Димитриев во время войны с Турцией в 1912 г., командуя третьей армией, взял Лозенград и одержал победу при Люле-Бургасе. Однако в 1913 г., во 2-й Балканской войне, Болгария потерпела поражение, потеряв все земли, завоеванные ею год назад.

...новоявленного царя Фердинандуса... — Фердинанд — болгарский князь; после провозглашения в 1908 г. полной независимости Болгарии от Турции принял титул царя.

С. 109. *Плюшкин* — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя.

С. 112. *Ааронов жезл* — о нем рассказывается в ветхозаветных преданиях: с помощью жезла (посоха) первосвященник Аарон являл чудеса, соревнуясь с египетскими жрецами и волшебниками.

С. 113. *...не занимал места славного потомка Гуниади-Яноса...* — Ян Гуниади, прозванный Корвин (1387—1456), — трансильванский воевода, правивший Венгрией с 1444 г. Отразил атаку турок на Косовом поле в 1448 г., а в 1454-м защитил Белград от войск Магомета II.

Алексей Сергеевич написал Татьяну Репину... — Пьеса А. С. Суворина «Татьяна Репина» (1889) повествует о трагической судьбе оперной и драматической актрисы Евлалии Павловны Кадминой (1853 — 1881; отравилась на сцене во время спектакля). Продолжение пьесы под тем же названием написал А. П. Чехов.

С. 114. *Покойная Комиссаржевская была удивительна в Козете.* — Козета — персонаж из пьесы по роману В. Гюго «Отверженные». Роль Козеты входила в репертуар В. Ф. Комиссаржевской.

ПОГАСШАЯ ЗВЕЗДА

С. 117. *Сафические оды* — в древней Греции так назывались лирические стихотворения, исполнявшиеся хором или с музыкальным сопровождением. Сочинением таких од прославилась выдающаяся поэтесса античности Сафо (Сапфо).

С. 117. *...косолапейший из критических российских неуважай-корыт Протопопов...* — Имеется в виду критик М. А. Протопопов, сотрудничавший в «Отечественных записках», «Русской мысли» и других изданиях.

С. 119. *...фантомами Боабдилов Аль-Манзуров...* — Боабдиль Абу — последний мавританский халиф в Испании, правивший в 1482—1492 гг. Свергнут Фердинандом Католиком. Абу Джафер Альманзор (712—775) — второй халиф из династии Аббасидов, основатель Багдада, покровитель наук и искусств.

С. 121. *... своей второй дочери Надежде Александровне...* — Н. А. Лохвицкая печаталась (и прославилась) под псевдонимом Тэффи.

С. 124. *Фиваида* — область вокруг г. Фивы, построенного в Древнем Египте на обоих берегах Нила; позже название Верхнего Египта.

С. 128. *«Русская мысль»* — московский журнал, выходивший в 1880 — 1918 гг.

НЕУДАВШАЯСЯ ДУЭЛЬ

С. 130. *...экзаменов по Циммервальду и Киенталю не держали.* — Имеются в виду международные Циммервальдская (1915) и Кинтальская (1916) конференции социалистов-интернационалистов, собравшиеся в Швейцарии и призвавшие остановить первую мировую войну.

С. 131. *...какой козырь был Всеволод Крестовский, а ему Краевский за «Трущобы»...* — Знаменитый роман Вс. В. Крестовского «Петербургские трущобы» печатался сперва в журнале А. А. Краевского «Отечественные записки» в 1864—1866 гг.

С. 132. *«Гугеноты»* (1836) — опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791 — 1864).

С. 136. *Гамлет, Лаэрт* — персонажи трагедии Шекспира «Гамлет».

МОИ ВСТРЕЧИ С НЕКРАСОВЫМ

Печ. по изд.: Литературное наследство. Т. 49 — 50. Н. А. Некрасов. М.: Наука, 1946. С. 591 — 599. Автор предполагал включить очерк в книгу воспоминаний «Забытые дали», которую писал в эмиграции в 1920-е годы, но завершить не успел. По сохранившимся в архиве набросках плана работа намечалась обширная: в ней мемуарист намеревался рассказать о событиях и исторических деятелях двух веков. Писатель издал из воспоминаний лишь один том — «На кладбищах» (1921) и книгу о Скобелеве. Публикатор и комментатор мемуарного очерка о Некрасове литературовед С. А. Макашин пишет: «Находясь весной 1945 г. в Чехословакии в составе действующих частей Красной Армии, я случайно узнал о местонахождении бумаг, оставшихся после смерти Немировича-Данченко. В дачном местечке Horny Pocernicy под Прагой, в семье погибшего в немецком концлагере в Терезине любителя русской литературы д-ра Vojtech Hudacek, я ознакомился с материалами. Они были малочисленны и случайны. Но среди них находилась публикуемая рукопись воспоминаний о Некрасове. Она была подготовлена автором для напечатания в качестве самостоятельной статьи в связи с 50-летием со дня смерти Некрасова, исполнившимся в 1927 г. Что касается датировки самого содержания воспоминаний, то, как явствует из их текста, они относятся к началу 1870-х годов, и даже точнее, к 1874 г. Таким образом, автору было 80 лет, когда он вспоминал о начале своей

литературной работы и записывал о встречах и разговорах с Некрасовым, Щедриным и др.» (Литературное наследство. Т. 49—50. С. 589). Немирович-Данченко сотрудничал в журнале Некрасова «Отечественные записки» в 1871—1879 гг. Узнав о том, что поэт умирает, он послал ему свое стихотворное послание-утешение:

Н. А. Некрасову

О, нет, не думай, что напрасно
Ты жил, работал и страдал...
Не даром родине звучал...

Железный стих, как плуг, глубоко
Взрывал народные поля.
Еще ростков не видит око,
Пока — черна еще земля.

Но крепнут озими упорно,
Настанет поздняя весна,
И в этой почве благотворно
Твои воскреснут семена.

Родимый край молчит, чуть дышит,
Но пусть твой стих ему звучит.
Придет пора — народ услышит
И скорбь твою благословит.

(Немирович-Данченко Вас. И. Стихотворения.
СПб., 1882. С. 76.)

С. 139. *...начал в «Деле» очерки «У океана».* — Впервые книга «У океана» опубл.: Дело. 1874. № 7 — 9, 11, 12. Подпись: В. Н-Д. Одновременно в ж-ле «Отечественные записки» публиковался еще один очерковый цикл Немировича-Данченко: «За северным Полярным кругом» (1874. № 8—10).

Мои первенцы были хорошо приняты литературным миром. — «Кто автор записок о Солов<ецком> монастыре в В<естнике> Е<вропы>? — спрашивает И. С. Тургенев в письме к М. М. Стасюлевичу от 9 октября 1874 г. и заключает: — Отличная вещь» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. III. С. 54).

«...вы тут столько набоборыкали». — Имеется в виду П. Д. Боборыкин, о творчестве которого Салтыков-Щедрин отзывался отрицательно.

С. 140. *...затянувшийся роман, кажется, Гирса.* — Д. Гирс напечатал в журнале «Отечественные записки» роман «Старая и юная Россия» (1868. № 3, 4) и очерковую книгу «Калифорнийский рудник. Сцены прошлого» (1872. № 2, 3). Оба произведения «затянувшимися» назвать нельзя. Поэтому замечание Немировича-Данченко вряд ли может быть отнесено к Гирсу.

С. 141. *«Сто русских литераторов» Смирдина* — три сборника, выпущенные в 1839—1845 гг. книгоиздателем А. Ф. Смирдиным.

С. 1421. *«Заноза»* (1863—1865) — сатирический журнал, издававшийся и редактировавшийся М. П. Розенгеймом. Здесь печатались также Вс. В. Крестовский, В. Бенедиктов, Н. Лейкин. Раскрыть имя автора публикации, которую упоминает Немирович-Данченко, невозможно, потому что журнал все материалы публиковал анонимно. Стихотворение-памфлет о Некрасове и Щедрине «Что думает редактор, когда ему плохо спится» (Заноза. 1863. № 24) и эпизод, рассказанный в очерке, вероятно, относятся к Розенгейму. Он же автор еще более недружелюбной публикации о Некрасове в «Занозе» (1864. № 30) «Русский Ювенал».

С. 142. *Бежецкий* — под таким псевдонимом печатался в «Новом времени» А. Н. Маслов.

«Осколки» (1881—1916) — петербургский юмористический художественно-литературный журнал с карикатурами.

«Будильник» — сатирический журнал с карикатурами, издававшийся в 1865—1871 гг. в Петербурге, в 1873—1917 гг — в Москве.

С. 143. *Двуликий Янус* — в греческой мифологии бог входов и выходов, дверей и всякого начала. Изображался с двумя смотрящими в разные стороны лицами.

...как «Современник» сначала и «Отечественные Записки» потом? — Петербургские журналы Н. А. Некрасова издавались: «Современник» в 1847—1866 и «Отечественные записки» в 1867—1877 гг.

С. 144. *...легкомысленную красавицу, которую он так мученически любил...* — Имеется в виду А. Я. Панаева.

...о капиталах, которые она поручила какому-то проходимцу М. — Речь идет об аферисте И. С. Шаншиеве, которого Панаева избрала своим поверенным в делах.

С. 145. *...Тургенев, восторженно любя хотя и гениальную, но не достойную его женщину.* — Вероятно, имеется в виду Полина Виардо, знаменитая певица и композитор, много лет дружившая с И. С. Тургеневым.

«Учитесь грамоте по Пушкину». — Сравните с другим высказыванием Некрасова: «Читайте сочинения Пушкина с той любовью, с той же верою, как читали прежде, — и поучайтесь из них...» (Некрасов Н. А. Заметки о журналах за ноябрь 1855 года // Современник. 1855. № 12).

С. 146. *...его стихотворение, посвященное Муравьеву.* — Имеется в виду так называемая «муравьевская ода» Некрасова (ее текст не найден), прочитанная поэтом в 1866 г в Английском клубе на чествовании жестокого усмирителя Польского восстания 1863 — 1864 гг., председателя следственной комиссии по делу о каракозовском покушении на императора генерала М. Н. Муравьева (ему исполнилось 70 лет). Некрасов пошел на этот политический компромисс (позже он об этом сожалел), пытаясь (как оказалось, безнадежно) спасти свой журнал «Современник». Этот поступок Некрасова, осужденный «шестидесятниками»-радикалами, однако, нашел и сторонников. Например, Г. З. Елисеев, оправдывая поэта, писал: «...Жертва, принесенная чудовищу, умилостивила его и тем спасла литературу, спасла новую идею и ее бойцов, сделала возможным ее скорое возрождение с новыми силами».

РЫЦАРЬ НА ЧАС

Впервые — в журнале «Воля России». Прага. 1924. № 8/9. Печ. по изд.. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М.: Вся Москва, 1990. Очерк

назван по одноименному стихотворению Н. А. Некрасова — лирической исповеди поэта перед родиной: «От ликующих, праздно болтающих, // Обагряющих руки в крови, // Уведи меня в стан погибающих // За великое дело любви».

С. 147. *«К синей звезде»* (Берлин, 1923) — посмертный сборник Гумилева.

...о приключениях в Абиссинии. — В апреле — октябре 1913 г. Гумилев возглавлял экспедицию Академии наук, совершившую путешествие в Африку, на Сомалийский полуостров, для изучения восточно-африканских племен и составления коллекции для петербургского Музея антропологии и этнографии. В 1916 г. Гумилев опубликовал отрывки из своего путевого дневника «Африканская охота».

С. 149. *А. М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие...* — Имеется в виду издательство «Всемирная литература», основанное Горьким 4 сентября 1918 г. в Петрограде при Наркомпросе РСФСР. Он привлек к работе крупнейших деятелей культуры Петрограда. За шесть лет были переведены и изданы около двухсот книг в семи сериях. В 1924 г. «Всемирная литература» вошла в состав Ленгиза (Лениздата).

...заведовал, кажется, отделом французской поэзии... — Гумилев в издательстве «Всемирная литература» был членом редколлегии, заведующим отделом французской литературы и редактором переводных книг.

С. 150. *...чтобы повидаться с Оргом...* — Альберт Орг — выпускник Петербургского политехнического института, консул Эстонии в Петрограде. Вместе со славистом Б. Линде основал в Ревеле (ныне Таллинн) издательство «Библиофил» (1921—1923), выпускавшее книги русских писателей. В «Библиофиле» были изданы сборник стихов Гумилева «Шатер», мемуары Немировича-Данченко «На кладбищах», а также книги А. М. Ремизова, Ф. К. Сологуба, А. В. Амфитеатрова, Б. Пильняка, А. Ф. Кони, Н. Н. Евреинова и др.

Кастальский источник — родник на горе Парнас, посвященный Аполлону и музам; в эллинистическо-римскую эпоху стал символом поэзии.

Термидор — переворот во Франции, свергший 27/28 июля 1794 г. (по республиканскому календарю 9 термидора II года) диктатуру якобинцев.

...о Таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. — Чекисты назвали участников «таганцевского дела» Петербургской боевой организацией профессора В. Н. Таганцева. В 1922 г. по этому сфабрикованному и широко распропагандированному «делу» были арестованы около тысячи человек, из них 61 в этом же году расстреляли, в том числе Н. С. Гумилева.

С. 151. *Вы слышали о Гумилеве на войне?* — В 1914 г. Гумилев добровольцем уланского полка уходит на фронт. За мужество поэт-офицер был награжден двумя Георгиевскими крестами.

Любил его чудесную книжку рапсодий «Конквистадоры». — «Путь конквистадоров» (СПб., 1905) — первый сборник стихов Гумилева.

С. 152. *Николай Степанович жил в ...уступленной ему С. К. Маковским, квартире.* — На Ивановской ул., 25, кв. 15 (Маковский в это время находился в Крыму) Гумилев прожил до весны 1919 г.

С. 153. *Об этом писали и Амфитеатров и Волковыский...* — В очерке «Дом литераторов в Петрограде 1919—1921 годов» А. В. Амфитеатров (он, как и Гумилев, Волковыский, Вас. Немирович-Данченко, был членом комитета этой общественной писательской организации) вспоминал то страшное время:

«Всячески провоцировали, чтобы институт выявил свое «контрреволюционное и антипролетарское настроение». И опять-таки много дипломатического

такта нужно было нашим посредникам и парламентерам, в особенности М. Н. Волковыскому, чтобы предупреждать и сглаживать бурные взрывы вражды, одинаково готовые разразиться с той и другой стороны. Тем более что если коллектив Дома Литераторов заковался в панцирь аполитичности, то отдельные члены его к ношению такового отнюдь не были обязаны, а потому то и дело призывались пред грозные очи ЧК держать ответ по обвинению в контрреволюции активной. Из членов комитета Н. С. Гумилева эти подозрения «поставили к стенке», а меня с женою и сыном усадили на прошлую весну в тюрьму. Сидели в тюрьме В. Я. Ирецкий, поэт Всеволод Рождественский, публицист А. С. Изгоев, А. Н. Слетова... да разве всех пересчитаешь? Расстрелян был репортер «Речи» Берзин... И все это на протяжении одного года!» (Встречи с прошлым. Вып. 8. М.: Русская книга, 1996. С. 160—161).

С. 153. *...не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух. чтобы прийти в себя.* — Имеется в виду библейский эпизод, упомянутый в Евангелии от Матфея, где Иисус заявляет Петру: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». На что Петр отвечает: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (гл. 26, ст. 34—35).

С. 154. *«Дитя Аллаха»* — драматическая сказка Гумилева (ж-л «Аполлон». 1917 № 6—7).

КАК ЖИВУТ И РАБОТАЮТ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ.

Ж-л «Вестник литературы». Пг., 1921. № 3 (27).

СКОБЕЛЕВ

Впервые — СПб., 1882. Печ. по изд. 4 (с изменениями и дополнениями): СПб. Изд. П. П. Сойкина, б. г. Книга получила высокую оценку в «Отечественных записках» (1882. № 10).

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

С. 161 *...войти в соглашение с «Голосом»...* — «Голос» (1863—1884) — одна из первых в России общественно-политических газет; издавалась в Петербурге А А. Краевским (1810 — 1889). Главной своей задачей редакция считала «служить практической разработке вводившихся реформ».

С. 165. *...во время беспорядков в 1861 году...* — Имеются в виду крестьянские волнения, вспыхнувшие в некоторых районах России после объявления Манифеста об освобождении крестьян от крепостного права. Самые крупные из них — Бездненские волнения в Казанской губернии, Кандеевское выступление в Пензенской и Тамбовской губерниях.

...в военных действиях в Царстве Польском. — Военное подавление восстания в Польше в 1863—1864 гг.

С 166. *В 1864 году... театр войны в Датскую кампанию...* — Германо-датская война 1864 г.

С 167 *Карлисты* — сторонники Карлоса Старшего и Карлоса Младшего, ведших «карлистские войны» за испанскую корону.

С 169. *Гении Красного села...* — В Красном селе в окрестностях Петербурга размещались летние лагеря войск императорской гвардии.

С. 169. *Спасское* — родовое имение Скобелевых в Рязанской губернии.

С. 172. *Россия теперь вся на Малаховом кургане?* — Как и в Крымскую войну 1854—1855 гг., против России снова объединились европейские государства, настороженно воспринявшие ее освободительную миссию на Балканах. После Берлинского конгресса 1878 г., пересмотревшего условия Сан-Стефанского мира в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., Россия оказалась в дипломатической изоляции.

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

С. 178. ...с *кульмским крестом на груди...* — Кульмским крестом награждались отличившиеся в сражении при Кульме (в Чехии), в котором 18 августа 1813 г русско-прусско-австрийские войска под командованием М. Б. Барклая-де-Толли разгромили наполеоновский корпус генерала Д. Вандама.

С. 179. *Мне выпала честь в прошлую кампанию первому рассказать о нем, о его подвигах...* — Скобелев — один из героев трехтомника очерков и репортажей Немировича-Данченко «Год войны» (1878—1879).

С. 180. *...у вашего отца...* — Отец полководца — Дмитрий Иванович Скобелев.

С. 192. *Геок-Тепе заставило замолчать всех таких.* — Геок-Тепе — крепость под Ашхабадом, около двух лет (с 1879 г.) безуспешно осаждавшаяся русскими войсками. Возглавив отряд, Скобелев 12 января 1881 г. взял эту крепость хорошо подготовленным штурмом.

С. 206. *...на кухне у Фальстафа...* — Фальстаф — персонаж драм Шекспира, хвастливый чревоугодник.

С. 209. *...получить Владимира с мечами...* — Орден Св. Равноапостольного князя Владимира четырех степеней (звезда с мечами и крест с мечами трех степеней) — одна из высших наград в России. Орден учрежден 22 сентября 1782 г. в день 20-летия правления Екатерины II.

С. 211. *...в Эрфурте и Тильзите он предложил ему размежевать Европу...* — Встреча Александра I и Наполеона в Эрфурте состоялась в 1808 г для подтверждения Тильзитского мира 1807 г., заключенного также после личных переговоров двух императоров в Тильзите.

С. 230. *...из севастопольцев?* — Т. е. из участников героической обороны Севастополя в 1854 — 1855 гг.

С. 251. *«Это какая-то Капуя!»* — Капуя — древнейший город в Римской империи, разрушенный вандалами в 456 г. н. э. Прославился своей изнеженностью и безнравственностью.

...времен очаковских и покоренья Крыма... — Строка из «Горя от ума» (1824) А. С. Грибоедова. Очаков — крепость, взятая штурмом в 1788 г. во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. Крым был присоединен к России в 1783 г

С. 297. *Маренго* — селение в Италии, где 14 июня 1800 г. французские войска разгромили австрийцев.

С. 309. *Царь-Освободитель* — Александр II, осуществивший реформу, которая освободила крестьян от крепостной зависимости.

С. 330. *Башибузуки* (*тур.* сорвиголова) — в турецкой армии наемники, отличавшиеся жестокостью и зверствами в Болгарии в 1876—1877 и в Армении в 1895—1896 гг. В переносном знач.: разбойник, буйный человек.

С. 332. *Вилайет* — название административных областей в Турции, Тунисе и Алжире.

С 344. *...сцену из «Птичек певчих».* — Вероятно, имеется в виду пьеса Захара Борисовича Осетрова «Птички певчие (Канарейка)».

С 345 *Улем* (*араб.*) — в исламских странах мусульманский богослов или правовед.

С. 348. *Начиналась эпоха берлинского конгресса...* — Берлинский конгресс 1878 г выступил против усилий, предпринимаемых Россией на Балканах, и пересмотрел условия Сан-Стефанского мира, оставив Южную Болгарию под властью турецкого султана.

С. 353. *«Русская старина»* (1870—1918) — ежемесячный исторический журнал, основанный в Петербурге М. И. Семевским.

С 357. *После его парижской речи...* — Скобелев в 1881 г. произнес в Париже патриотическую речь, обращенную к представленным ему студентам-сербам. Речь была опубликована в зарубежной прессе и вызвала у русского правительства опасения в том, что она могла осложнить международные отношения. 5 апреля 1882 г. был объявлен указ Александра III, которым воспрещалось военным чинам произносить политические речи.

С. 359. — *За то, что тот не хочет закрыть «Голос» и «Русскую Мысль».* — Петербургская газета «Голос» А. А. Краевского в конце 1870-х годов усилила оппозиционность правительству; после неоднократных предупреждений ее издание было прекращено на № 1 за 1884 г. «Русская мысль» (1880—1918) — московский журнал славянофильской ориентации, основанный В. М. Лавровым.

...разговор об издателе «Руси». — Имеется в виду И. С. Аксаков.

Явился с Владимиром в петличке... — См. примеч. к с. 209.

С. 360. *Гаргантюа* — герой романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

С. 372. *..лохмотья Филипповских времен с св. Германдадой...* — При Филиппе I Красивом, ставшем королем Кастилии в 1504 г., союзы горожан германдады стали отрядами жандармерии.

...времена Гвельфов и Гибеллинов... — Имеется в виду Италия XII—XV вв., когда велась напряженная политическая борьба между сторонниками императорской власти (гибеллинами) и приверженцами папства (гвельфами).

ИЗ ПИСЕМ М. Д. СКОБЕЛЕВА

С 379. *Madam Adan, Camille Farci, Gambetta, Freycinet.* — Адан, Камил Фарси, Гамбетта, Фрейсине — общественные и политические деятели (см. Указ. имен).

С 380. *...видел гр. Николая Павловича...* — Н. П. Игнатьев.

С 382 *...безрукого Сервантеса.* — Знаменитый автор «Дон Кихота» отличился, участвуя в морской битве европейского флота с турками при Лепанто 7 октября 1571 г Здесь писатель был ранен в грудь и левую руку, которая осталась парализованной.

С. 385. *...в Нессельродовских традициях.* — Министр иностранных дел К В. Нессельроде — один из виновников дипломатической изоляции России в канун Крымской войны 1853 — 1856 гг

..во всяком ведомстве (Тегеранский, Зиновьев)... — И. А. Зиновьев в 1876 г. был аккредитован в Тегеране чрезвычайным посланником при шахе персидском. Во время Закаспийской экспедиции Скобелева помогал генералу в решении политических вопросов, содействовал в обеспечении его войск продовольствием.

С. 385. *...вооруженному Минье или Энфильдом?..* — Огюст Минье — французский историк, приверженец теории классовой борьбы. Энфильд — английский город с военным заводом, выпускавшим оружие новейших марок.

СОЛОВКИ

Впервые: Вестник Европы. 1874. № 8, 9. Отдельно книга издавалась неоднократно. Печ. по изд.: СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1904 (бесплатное приложение к журналу «Природа и люди»).

С. 390. *«Приидите сюда, вси труждающиеся...».* — Неточная цитата из Евангелия от Матфея (гл. 11, ст. 28).

С. 392. *Троице-Сергиева лавра* — знаменитая русская обитель, основанная ок. 1335 г. в Подмосковье Сергием Радонежским. Крупный центр русской культуры. Здесь работают Московская духовная академия (с 1814 г.) и Троицкая семинария (с 1741 г.).

Алексей Божий человек (ум. 411) — святой, сын знатного римлянина, прославившийся добродетелями и самоуничижительным смирением. Его память церковь отмечает 17 (30) марта.

С. 393. *Соломбала* — район Архангельска с судостроительными и судоремонтными предприятиями.

С. 399. *Свв. Зосима и Савватий* — основатели Соловецкого монастыря.

С. 409. *Казни египетские* — наказания (в виде 10 казней), ниспосланные Иеговой, чтобы показать египтянам и фараону Божью власть и силу. Об этом повествуется в библейской Второй книге Моисеевой «Исход».

С. 414. *Афон* (Афонская гора, Святая гора) — монастырский комплекс (20 обителей, 12 скитов, ок. 700 келий) на живописном полуострове Халкидика в Греции. Возник в X—XI вв. на месте древних греческих колоний. Афон — один из самых высокочтимых центров православия, ежегодно посещаемый тысячами богомольцев.

С. 415. *Камилавка* — головной убор священнослужителей.

С. 417. *...напоминали эпоху господина Великого Новгорода.* — Имеется в виду эпоха Новгородской республики, существовавшей в древней Руси с 1136 по 1478 г. Присоединена к Русскому государству Иваном III.

С. 418. *Иеромонах* — священник-монах.

С. 438. *...у Максимова читали?* — Вероятно, имеется в виду книга С. В. Максимова «Соловецкий монастырь» (1872).

С. 441. *...по окончании своего термина...* — Термин — здесь в значении: срок.

С. 443. *Скорпии* — ядовитые насекомые, разящие жалом.

Василиски — мифические чудовищные змеи, наделенные способностью убивать не только ядом, но и взглядом, дыханием.

Аспиды — ядовитые змеи из семейства гадюк.

С. 453. *Могила Авраамия Палицына* — в Соловецком монастыре, где известный деятель Смутного времени оказался не по своей воле и умер иноком, работая над книгой «История в память сущим предыдущим годам».

С. 458. *Вот наши доктора — Зосима, Савватий, Филипп и Ирмоген.* — Названы самые авторитетные деятели Соловецкой обители.

С. 460. *...св. Филипп, замеченный потом Иоанном Грозным...* — Низложенный Иваном Грозным митрополит Московский и всея Руси Филипп был задушен Малютой Скуратовым.

С. 464. *Адаманты* — алмазы.

С. 472. *...хитроумных улиссов-немцев...* — Улисс — здесь в знач.: иноземец (по имени Улисса — Одиссея, героя одноименной поэмы Гомера).

С. 478. *Баско* — хорошо, славно, красиво.

С. 479. *Эпитимия* (епитимья) — церковное наказание.

С. 488. *Как Иов многострадальный из богатства в нищету произошел...* — Эпизод из библейской Книги Иова: праведник по наущению сатаны был лишен всех земных благ, детей и здоровья, однако принял все это со смирением: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно!» За это ему все утраченное было возвращено.

С. 489. *Клир невидимый молитву поет.* — Клир (*греч.* жребий) — духовенство, совокупность церковно- и священнослужителей, за исключением архиереев (высшего духовенства).

С. 502. ...*Моравские* братья (чешские, богемские братья) — религиозная секта, возникшая в середине XV в. в Чехии и Моравии. Главным в их учении было отрицание насилия в любых его формах. Среди епископов чешских братьев самым известным был Ян Амос Коменский (1592—1670), основатель современной педагогики.

Перфекционисты (от *англ.* perfektion — совершенство, законченность) — последователи богословского учения о том, что человек может заслужить прощение у Бога верой, не знающей сомнений, добрыми делами и усердным самосовершенствованием. Современные церкви перфекционистов именуются храмами святости.

Шэкеры (шейкеры; от *англ.* shake — трястись) — известная с XVIII в. религиозная секта «трясунов» (во время религиозных действ, перевозбуждаясь, впадали в экстаз). Основным в их учении были безбрачие, общность имущества и неустанный труд.

Мормоны («Святые последнего дня») — религиозная миссионерская секта, возникшая в 1830 г. в одной из деревень американского штата Нью-Йорк. Главные источники вероучения мормонов — каноны Библии и Книга мормонов, в основном имитирующая тексты Ветхого и Нового заветов.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Наш алфавитный аннотированный Указатель основных имен является разделом примечаний, в который вынесен необходимый минимум сведений о лицах, упоминающихся в текстах книги. В указатель не включены имена эпизодические и многие из общеизвестных.

Абдул-Керим-паша (1807—1885) — турецкий генерал. В войне с Сербией в 1876 г. главнокомандующий, в 1877 г. командующий дунайской армией. Умер в ссылке.

Адам Эдмон (Ланбер Жюльетта; 1836—1936) — французская политическая публицистка, хозяйка литературно-политического салона в Париже, который посещали и русские писатели, журналисты, общественно-политические деятели. Автор памфлета «Петербургское общество», повлиявшего на подготовку франко-русского союза. Автор книги о генерале М. Д. Скобелеве, выдержавшей много переизданий.

Адлерберг Александр Владимирович, граф (1818—1888) — государственный деятель, генерал-адъютант (1855), генерал от инфантерии (1869). Управляющий делами императорской Главной квартиры и заведующий Особым отделом Военно-походной канцелярии для собственных дел его императорского величества. Доверенное лицо Александра II. С 1866 г. член Военного совета, член Государственного совета. С 1870 г. министр императорского двора, канцлер российских орденов, председатель Особой комиссии для обсуждения вопроса о замещении должностей гражданских ведомств. В отставке с 1881 г.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт, издатель, общественный деятель; лидер позднего славянофильства, идеолог панславизма. Редактор газет «День» (1861—1865), «Москва» и «Москвич» (1867—1868), «Русь» (1880—1886). Будучи монархистом, тем не менее занимал самостоятельную, во многом отличавшуюся от официальной точку зрения по многим вопросам внутренней и внешней политики. Важный документ его времени — книга «И. С. Аксаков в его письмах» (т. 1—4, 1888—1896).

Александр, принц Баттенбергский (1857—1893) — сын принца Александра Гессенского, племянник русской императрицы Марии Александровны (1824—1880), жены Александра II. С 1879 по 1886 г. князь Болгарии, ведший антирусскую политику. После свержения с княжеского престола принял титул графа Гартенау.

Александр I Павлович (1777—1825) — император России с 1801 г.

Александр II Николаевич (1818—1881) — император России с 1855 г.

Александр III Александрович (1845—1894) — император России с 1881 г.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г. Воспитывался философом Аристотелем. Совершив завоевательные походы, создал крупнейшую монархию древности.

Александров Николай Александрович (1841—1907) — журналист, художественный критик, автор этнографических очерков. Основатель и редактор в 1880—1887 гг. «Художественного журнала».

Алексей Петрович (1690—1718) — царевич, старший сын Петра I и его жены Е. Ф. Лопухиной. За отказ поддерживать реформы отца был приговорен к смертной казни.

Алексей Александрович (1850—1908) — великий князь, генерал-адмирал, генерал-адъютант. Участник многих морских походов. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. начальник морских команд на Дунае. С 1881 г. главный начальник флота и морского ведомства России, член Государственного совета. Бездеятельность великого князя привела к расцвету казнокрадства в морском ведомстве, снижению боеспособности флота, что стало одной из причин поражения России в русско-японской войне 1904—1905 гг.

Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582) — испанский военачальник; фанатичный католик. Будучи губернатором в Нидерландах, прослыл жестоким диктатором.

Амвросий (в миру Алексей Иосифович Ключарев; 1821—1901) — церковный деятель, духовный писатель. Основал и редактировал в 1860—1867 гг. журнал «Душеполезное чтение». Печатал также проповеди на общественно-политические темы в «Московских ведомостях». С 1882 г. архиепископ Харьковский.

Америго Веспуччи — см. Веспуччи А.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — прозаик, драматург, публицист, поэт-сатирик, литературный, театральный и музыкальный критик, переводчик, журналист. В эмиграции в 1904—1916 и с августа 1921 г. Жил в Италии (Леванто) с марта 1922 г

Анна Иоанновна (1693—1740) — российская императрица (с 1830 г.),

Арнольди Нина (Анна) Александровна (1843?—1921) — прозаик, автор популярного автобиографического романа о русских политэмигрантах «Василиса» (Берлин, 1879), а также романов на французском языке.

Аспазия (Аспасия; V в. до н. э.) — гетера из Милета, отличавшаяся умом, образованностью и красотой, одна из выдающихся женщин Древней Греции; вторая жена и сподвижница Перикла, крупнейшего из афинских государственных деятелей. Дом Аспазии стал интеллектуальным центром Афин, бывать в котором считал за честь философ Сократ.

Баттенберг Александр — см. Александр, принц Баттенбергский.

Баярд Пьер дю Терайль (1476—1524) — французский военачальник.

Бежецкий (наст. фам. Маслов) *Алексей Николаевич* (1852—1922) — прозаик, драматург, переводчик пьес Лопе де Вега, шедших на столичных сценах. Автор книги «Завоевание Ахал-Теке. Очерки последней экспедиции Скобелева (1880—1881)». СПб., 1882, 1887. За мужество, проявленное в этой экспедиции, был награжден золотым оружием. Член-учредитель Благотворительного комитета имени генерал-адъютанта Скобелева. С 1904 г. товарищ председателя Литературно-художественного общества. С 1908 г. генерал-лейтенант.

Бейст Фридрих Фердинанд (1809—1886) — австрийский государственный деятель; министр иностранных дел, министр-президент и канцлер. В 1871—1878 гг. посланник в Лондоне, в 1878—1882 в Париже.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — врач, общественный деятель, мемуарист. С 1877 г. сотрудник эмигрантской газеты «Общее дело». Автор крамольных брошюр «Царь и его подпоры трона» (1888), «Как царь любит своих детей» (1889), книги «Воспоминания и другие статьи» (1897).

Биконсфильд — см. Дизраэли.

Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны, обер-камергер ее двора, ставший неограниченным правителем России.

Был приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна заменила приговор ссылкой в Сибирь с лишением чинов и званий. Освобожден от наказания в 1762 г. Петром III.

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—1898) — князь, 1-й рейхсканцлер германской империи в 1871—1890 гг.

Бланки Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист

Боденштедт Фридрих (1819—1892) — немецкий поэт, драматург, переводчик, путешествовавший по России, Кавказу и Персии.

Борджиа Чезаре (ок. 1475—1507) — правитель Романьи, сын римского папы Александра VI (одного из самых порочных и безнравственных), с которым создавал в Средней Италии государство с абсолютной властью, не брезгуя ради этой цели никакими средствами.

Брандес Георг (1842—1927) — датский критик. Основной труд «Главные течения в европейской литературе» (т. 1—6; 1872—1890).

Бруно Джордано (1548—1600) — итальянский философ и поэт, отстаивавший концепцию о бесконечности Вселенной и множественности миров. Инквизиция обвинила его в ереси и свободомыслии. После восьмилетнего заключения в тюрьме был сожжен на костре.

Булацель Иван Михайлович (1846, по другим сведениям 1845—1918) — журналист, драматург.

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — прозаик, драматург, критик. Сотрудник газеты «Новое время».

Вандербильт — семья американских предпринимателей-миллионеров: Корнелий (1794—1877), его сын Вильям (1821—1885) и др.

Ванновский Петр Семенович (1822—1904) — военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1883). В русско-турецкую войну начальник штаба, а затем командир Рущукского отряда. В 1882—1898 гг. непопулярный в армии военный министр, отличавшийся властностью и грубостью. С 1901 г. министр народного просвещения.

Василевский Ипполит Федорович (псевд. Буква, наст. имя Ипполит-Петр Фердинандович; 1849—1918) — фельетонист, публицист. В 1875—1905 гг. редактор юмористической газеты «Стрекоза».

Васко да Гама — см. Гама.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы. В 1870 — 1874 гг. редактор газеты «Варшавский дневник», один из основателей журналов «Век» (1861) и «Изящное искусство» (1883—1885), редактор «Театральной газеты» (1893). В 1897—1901 гг. председатель Союза взаимопомощи русских писателей, а затем — Литературного фонда.

Вейсиль-паша (Вессель) — главнокомандующий Балканской армией турок, капитулировавшей во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, философ, критик.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855 — 1920) — историк русской литературы и общественной мысли, библиограф; автор и редактор изданий: «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» (т. 1—6. СПб., 1886—1904), «Русские книги. С биографическими данными об авторах и переводчиках.

1708—1893» (т. 1—3. СПб., 1895—1899), «Источники словаря русских писателей» (т. 1—4. СПб.; Пг., 1900—1917) и др.

Вениамин — младший и любимый сын библейского патриарха Иакова; «сын скорби»: Рахиль, родив его, скончалась. Братья увезли Вениамина в Египет, чтобы продать в рабство.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904) — живописец-баталист. Участник войн в Средней Азии (1867—1876), русско-турецкой (1877—1878), русско-японской (1904—1905). Автор мемуарной книги «На войне». Погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». Автор серий картин «Туркестанская», «Балканская», триптиха «На Шипке все спокойно!» и др. В знак дружбы Верещагин и Скобелев (они познакомились в Туркестане в 1870 г.) обменялись своими Георгиевскими крестами, полученными за боевые заслуги.

Веспуччи Америго (1454—1512) — флорентийский мореплаватель, участвовавший в испанских и португальских экспедициях к берегам Нового света (Южной Америки), названного его именем.

Виардо Мишель Фернанда Полина, урожд. Гарсиа (1821—1910) — французская певица и композитор; друг И. С. Тургенева.

Виктория (1819—1901) — королева Англии с 1837 г.

Вильгельм I (1797—1888) — король Пруссии с 1861 г. и император Германии с 1871 г, власть при нем фактически находилась в руках канцлера Бисмарка.

Винавер Максим Максимович (1862—1926) — юрист, публицист, общественный деятель. В 1907—1918 гг. один из лидеров Еврейской народной группы. В 1909—1918 гг. председатель Еврейского историко-этнографического общества. В 1906 г. депутат первой Государственной думы от Петербурга. Издавал газету «Восход» (1902—1906) и журнал «Вестник гражданского права» (1913—1917). Один из учредителей Союза адвокатов, Союза российских писателей и член ЦК конституционно-демократической партии (1905). С 1919 г. в эмиграции в Париже, где основал и редактировал еженедельник «Еврейская трибуна» (1920—1924). Соредактор газеты «Звено» (1923—1926). Автор мемуарной книги «Недавнее. Воспоминания и характеристики» (1917).

Виньи Альфред Виктор де (1797—1863) — французский поэт-романтик, драматург.

Владимир Александрович (1847—1909) — великий князь, третий сын Александра II; государственный и военный деятель, генерал-адъютант (1872), генерал от инфантерии (1880), член Государственного совета (1872). В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. отличился в боях, командуя 12-м армейским корпусом (в память об этом в болгарском селе Горный Студень был открыт дом-музей). С 1876 г. президент Императорской Академии художеств, попечитель Румянцевского музея. В 1881—1884 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа.

Волковыский Николай Моисеевич (1880 — не ранее 1940) — журналист. Один из организаторов Дома литераторов в Петрограде (1918—1922). В ноябре 1922 г. выслан из России. В 1922—1939 гг. постоянный корреспондент в Германии, а затем в Польше рижской газеты «Сегодня». Участник и докладчик от берлинской делегации на Первом съезде зарубежных писателей и журналистов в Белграде (1928).

Волошин Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877—1932) — поэт, критик, художник, переводчик.

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883) — книгоиздатель, владелец книжных магазинов, типограф, издатель журналов. Основанное им в 1882 г «Товарищество М. О. Вольф» выпустило около пяти тысяч названий книг и было закрыто в 1918 г.

Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — государственный деятель, дипломат. Боролся с засильем иностранцев при Дворе и с бироновщиной. После зверских пыток вины не признал, не раскаялся и был казнен вместе со своими сторонниками.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916) — государственный деятель, генерал-адъютант (1875); генерал от кавалерии (1890), личный друг Александра III. Участвовал в военных действиях на Кавказе, в Туркестане, участник русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. С 1881 г. главноуправляющий государственным коннозаводством, министр Императорского двора и канцлер Капитула российских императорских и царских орденов. В 1904—1905 гг председатель Российского общества Красного Креста. С 1905 г. наместник на Кавказе, главнокомандующий войсками Кавказского округа и войсковой наказной атаман Кавказских казачьих войск.

Гама Васко да (1469—1524) — португальский мореплаватель, проложивший морской путь из Европы в Южную Азию во время плаваний из Лиссабона в Индию.

Гамбетта Леон (1838—1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 гг. Лидер левых республиканцев.

Ганецкий Иван Степанович (1810—1887) — генерал-адъютант. В русско-турецкой воине 1877—1878 гг. командовал гренадерским корпусом, действовавшим под Плевной.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей Рисорджименто, национально-освободительного движения против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — прозаик, критик.

Гверчино Франческо (1591—1666) — итальянский живописец.

Генрих IV (1553—1610) — французский король, первый из династии Бурбонов. Глава гугенотов во время религиозных войн. Убит католиком-фанатиком.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — писатель, философ, публицист, революционер.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель. Основоположник немецкой литературы нового времени.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853, по другим сведениям 1855—1935) — журналист, прозаик, поэт; «король репортеров», написавший знаменитые книги «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928), «Записки москвича» (1931) и др.

Гирс Дмитрий Константинович (1837—1886) — прозаик, журналист. В 1877 г. публиковал в газете «Северный вестник» репортажи с театра русско-турецкой войны. В 1878 — 1880 гг. издавал газету «Русская правда».

Гладстон Вильям Эварт (1809—1898) — английский государственный деятель. В 1868—1874, 1880—1886, 1892—1893 гг. — премьер-министр.

Гнедич Евгения Андреевна — жена П. П. Гнедича, хозяйка литературно-артистического салона.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925) — прозаик, драматург, критик, театральный деятель, переводчик, историк искусства.

Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов в 1415—1701, прусских королей в 1701—1918 гг.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852).

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, граф (1848—1913) — поэт, прозаик, мемуарист; автор популярных романсов. В 1889—1895 гг. управляющий Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками. В 1895 г. возглавил личную канцелярию императрицы Марии Федоровны.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, критик, ученый; сотрудник и редактор многих изданий, в том числе газет «Юридический вестник», «Русский курьер», «Курьер», «Русские ведомости», журналов «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство» и др. Активный приверженец реалистического искусства.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891).

Гоппе Герман Дмитриевич (1836—1885) — основатель издательства в Петербурге (1867), выпускавшего в 1867—1900 гг. «Всеобщий календарь», журналы «Всемирная иллюстрация» (1869—1898), «Модный свет» (1868—1883), «Огонек» (1879—1881) и др.

Горбунов Иван Федорович (1834—1895) — прозаик, театровед, актер Александринского театра в Петербурге, зачинатель литературно-сценического устного рассказа.

Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — светлейший князь, государственный деятель, дипломат (с 1817 г.), государственный канцлер (1867). В 1856—1882 гг. министр иностранных дел. Обеспечил нейтралитет европейских держав во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Лицейский однокашник и приятель А. С. Пушкина.

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868—1936).

Грей Томас (1716—1771) — английский поэт; автор элегии «Сельское кладбище», переведенной Жуковским.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1900) — прозаик. Автор повестей «Антон Горемыка» (1847) и «Гуттаперчевый мальчик» (1883), принесших ему известность, а также книги «Литературные воспоминания» (1893). В 1858 г. сопровождал А. Дюма в путешествии по России.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915) — публицист, печатавшийся в газетах «Голос», «Русское обозрение», «Московский телеграф» и др. Автор книг «Война в Малой Азии в 1877 г.» (1878) и «М. Д. Скобелев» (1884; негативно оценил деятельность генерала).

Гродеков Николай Иванович (1843—1913) — полковник Генерального штаба, впоследствии генерал-лейтенант, член Государственного совета, военный писатель. Участник Кавказской войны и завоевания Средней Азии. В 1883—1893 гг. военный губернатор Сыр-Дарьинской области. В 1898—1906 гг. генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского военного округа. В 1906—1908 гг. командующий Туркестанским военным округом.

Грюнберг Ю. О. — управляющий конторой издателя А. Ф. Маркса.

Гумберт (1844—1900) — король Италии с 1878 г. Убит анархистом.

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — поэт, критик, переводчик; один из ведущих акмеистов. Осенью 1920 г. был вовлечен в так наз. «таганцевский заговор» и 24 августа 1921 г. приговорен к расстрелу.

Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828—1901) — военный и государственный деятель: генерал-адъютант (1877), генерал-фельдмаршал (1894), член Государственного совета (1886). В русско-турецкой войне 1877—1878 гг. успешно командовал войсками под Плевной и Шипкой, освободил южную Болгарию. После войны командующий войсками Одесского военного округа (1882—1883), варшавский генерал-губернатор (1883—1894).

Гутенберг Иоганн (между 1394—1399 или в 1406—1468) — немецкий изобретатель книгопечатания.

Давид — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в.—ок. 950 до н. э.

Далматов Василий Пантелеймонович (1852—1912) — актер, драматург, фельетонист, играл в московском театре Корша и в петербургском Александринском театре.

Дальский (наст. фам. Неелов) *Мамонт Викторович* (1865—1918) — актер; в 1890—1900 гг. в Александринском театре в Петербурге.

Дантон Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен за примиренческую позицию по отношению к жирондистам, противодействовавшим развитию революции.

Дедлов — см. Кигн В. Л.

Дезе Луи Шарль (1768—1800) — французский генерал; участник египетского и итальянского походов Наполеона Бонапарта. Геройски погиб, руководя сражением при Маренго.

Делянов Иван Давыдович, граф (1818—1897) — государственный деятель, статс-секретарь, сенатор. В 1861—1882 гг. директор Императорской публичной библиотеки и товарищ министра народного просвещения, с 1882 г. министр.

Демерт Николай Александрович (1833—1876) — публицист; сотрудник газет «С.-Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», некрасовского журнала «Отечественные записки».

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — афинский оратор, политический деятель. Автор знаменитых «филиппик», речей против Филиппа Македонского. После захвата Греции Македонией принял яд.

Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900) — историк, публицист, общественный деятель, мемуарист. Автор книги «Эпоха великих реформ» (1892; десять изданий).

Джером Джером Клапка (1859—1927) — английский прозаик и драматург. Автор известной повести «Трое в одной лодке (не считая собаки)».

Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг., лидер консервативной партии, писатель.

Димитриев Радко (1859 — ?) — болгарский генерал, окончивший в России Константиновское военное училище и Академию генерального штаба; подполковник российской армии. В 1913 г. главнокомандующий болгарской армией, посланник Болгарии в Петербурге. Автор книги о боевых операциях при Шипке в 1877—1878 гг.

Долгоруков Владимир Андреевич, князь (1810 — 1891) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии; в 1865—1891 гг московский генерал-губернатор.

Дон-Карлос — см. Карлос.

Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922) — журналист, публицист, театральный и художественный критик, прозаик.

Дохтуров Дмитрий Петрович (1838—1906) — генерал от кавалерии. Участник Кавказской и русско-турецкой 1877—1878 гг. войн (командовал казачьим полком).

Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — военный теоретик, педагог, историк, генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1895). Под Шипкой в августе 1877 г. был тяжело ранен. С весны 1878 г. начальник Академии Генерального штаба. В 1889—1903 гг. командующий войсками Киевского военного округа и одновременно (с 1898 г.) киевский, подольский и волынский Генерал-губернатор. Автор многих трудов. Приверженец и пропагандист идей А. В. Суворова.

Дурново Иван Николаевич (1845—1903) — главноуправляющий ведомством императрицы Марии с 1866 г., губернатор Екатеринославля (в 1870—1882 гг.), товарищ министра иностранных дел (1882—1886). С 6 мая 1889 г. (после скоропостижной кончины от паралича сердца Д. А. Толстого) по 1895 г. министр внутренних дел. В 1895—1903 гг. председатель Комитета министров.

Дурново Петр Николаевич (1844—1915) — государственный деятель; в 1884—1893 гг. директор департамента полиции, с 1893 — сенатор, в 1900—1906 товарищ министра внутренних дел и министр, затем член Государственного совета, лидер группы правых.

Елизавета Петровна (1709—1761/62) — императрица России с 1741 г

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — публицист; заведовал отделами в журналах «Современник» и «Отечественные записки».

Желтухин Алексей Дмитриевич (1820—1865) — в 1858—1860 гг. издатель «Журнала землевладельцев», член редакционных комиссий по крестьянскому делу и подготовке судебной реформы, помощник статс-секретаря.

Жемчужниковы: Алексей (1821—1908), *Александр* (1826—1896) и *Владимир* (1830—1884) *Михайловичи* — писатели; вместе с двоюродным братом А. К. Толстым соавторы «сочинений» (пародий, комедий, басен, афоризмов и стихотворений) Козьмы Пруткова.

Жирарде Дезидерий — педагог, владелец пансиона в Париже (одного из лучших в Европе), в котором в течение пяти лет воспитывался и получал образование Скобелев. Будущий полководец свободно говорил на восьми европейских языках, был неплохим музыкантом и певцом (баритон), хорошо знал европейскую и русскую литературу. Его мать О. Н. Скобелева, оценивая педагогические усилия Жирарде, говорила: «Нашему старому другу мы обязаны, что Миша стал сдерживать свою пылкую натуру... m-r Жирарде... развил в нем честные инстинкты и вывел его на дорогу». Жирарде и в России сопровождал своего воспитанника многие годы, став его другом.

Жоффр Жозеф Жак (1852—1931) — французский военный деятель; с 1916 г. маршал Франции.

Зиновьев Иван Алексеевич (1835 — ?) — дипломат; с 1876 г. чрезвычайный посол в Персии, директор Азиатского департамента МИД, в 1890-х гг. посол в Швеции и Турции.

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — живописец; автор монументального полотна «Явление Христа народу» (1837—1857).

Иванов Алексей Федорович (псевдоним Классик; 1841—1894) — поэт, прозаик, переводчик. Классиком был еще в отрочестве прозван за страсть к чтению. Получив в наследство суконную лавку отца, превратил ее в место встреч литераторов (здесь бывал и Вас. И. Немирович-Данченко).

Иванюков Иван Иванович (1814—1912) — историк, публицист; постоянный сотрудник «Русских ведомостей», «Русской мысли», «Вестника Европы».

Игнатьев Николай Павлович, граф (1832—1908) — государственный деятель, дипломат, генерал от инфантерии. Более двадцати лет был на дипломатической службе в странах Ближнего и Дальнего Востока. В 1881—1882 гг. министр государственных имуществ, министр внутренних дел, затем в отставке. С 1888 г. — председатель Славянского благотворительного общества.

Иегова, Яхве, Ягве — в иудаизме непроизносимое имя бога, заменявшееся словом Адонай; записывалось четырьмя согласными буквами — тетраграммой YHWH, которая в средние века была прочитана христианскими богословами как Иегова.

Иисус Навин — сподвижник и преемник вождя еврейского народа Моисея; автор библейской Книги Иисуса Навина, входящей в Шестикнижие Ветхого Завета.

Ирод I Великий (ок. 73—4 до н. э.) — царь Иудеи с 40 г. до н. э., родоначальник других одноименных царей, упоминаемых в Новом Завете. Здесь о нем повествуется как о жестоком правителе, который, узнав о рождении Иисуса Христа, повелел избить 14 тысяч младенцев из Вифлеема.

Иуда Искариот — один из 12 учеников Иисуса Христа, предавший его.

Кавур Камилло Бензо де (1810—1861) — итальянский государственный деятель, министр иностранных дел.

Каин — в библейских преданиях старший сын Адама и Евы, убивший из зависти своего брата Авеля.

Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, представитель неоклассицизма.

Каразин Николай Николаевич (1842—1908) — прозаик, художник, журналист. Участник военных действии в Средней Азии, Сербии и русско-турецкой войны как корреспондент «Нового времени» и «Живописного обозрения» (издал репортажи в книге «Дунай в огне»). Автор историко-приключенческих романов. В 1907 г. избран членом Академии художеств.

Карлос Старший дон (1788—1855) — сын испанского короля Карла IV, начавший под именем Карла V так называемые «карлистские войны» за захват власти. В 1872—1876 гг. эту борьбу так же безуспешно продолжил его племянник дон Карлос Младший (1848—1909).

Кауфман Константин Петрович (1818—1882) — генерал-адъютант, инженер-генерал. С 1861 г. директор канцелярии Военного министерства. В 1865—1867 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края и командующий войсками Виленского военного округа. В 1867—1882 гг. генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа, где служил Скобелев. При Кауфмане в Туркестане построено 60 школ и 2 прогимназии, открыта в Ташкенте первая в Средней Азии публичная библиотека.

Келлер Федор Эдуардович, граф (1850—1904) — генерал-лейтенант (1899). В 1876 г., после окончания Академии Генштаба, вступил добровольцем в

сербскую армию (начальник штаба русской добровольческой дивизии). Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 1899 г. екатеринославский губернатор. В русско-японскую войну 1904—1905 гг. по личной просьбе был назначен командиром Восточного отряда и погиб в бою на Янзелинском перевале.

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — государственный и политический деятель, юрист, публицист. С марта 1917 г. министр юстиции, военный и морской министр, министр-председатель (с июля) Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции. Редактор газеты «Дни» (Берлин, Париж; 1936—1940).

Кибальчич Николай Иванович (1853—1881) — член «Земли и воли», участник покушений на Александра II. Повешен. В 1881 г. в заключении создал проект реактивного летательного аппарата.

Кигн Владимир Людвигович (1856—1908) — прозаик, публицист, критик, печатавшийся под псевдонимом Дедлов.

Киприда — прозвище греческой богини любви и красоты Афродиты; в гимне Гомера она появляется из морской пены у берегов Кипра («кипророжденная»).

Кир II Великий (Старший) — основатель персидской державы. Царствовал с 558 по 529 до н. э. Захватил Мидию, Лидию и Вавилонию. Освободил иудеев из вавилонского плена.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — историк, социолог; профессор Московского университета.

Козьма Прутков — коллективный псевдоним писателей А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых (см.), совместно выступавших в 1850—1860-е годы с пародиями, баснями, афоризмами, комедиями.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса; в 1904 г. в Александринском театре создала свой театр символистской ориентации.

Константин Николаевич, великий князь (1827—1892) — генерал-адмирал, главный начальник флота (1853—1881), наместник Царства Польского (1862—1863). В 1865—1881 гг. председатель Государственного совета. Меценат.

Кортес Эрнан (1485—1547) — испанский конквистадор, возглавивший в 1519—1521 гг. завоевательный поход в Мексику. В 1524 г. в поисках прохода из Тихого океана в Атлантический пересек Центральную Америку.

Корш Федор Адамович (1852—1923) — драматург (в основном переводчик), юрист, антрепренер, владелец популярного Русского драматического театра в Москве (1882—1917).

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — публицист, издатель Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» (с 1837 г.), журнала «Отечественные записки» (с 1839 г.), газет «Петербургские ведомости» (1852—1862) и «Голос» (1863—1883).

Крестовская Мария Всеволодовна (в замужестве Картавцева; 1862—1910) — прозаик. Дочь Вс. В. Крестовского.

Крестовский Всеволод Владимирович (1839—1895) — поэт, прозаик. Автор романа «Петербургские трущобы» (1867), дилогии «Кровавый пуф» (1875) и трилогии «Тьма египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1890) и «Торжество Ваала» (1891).

Кромвель Оливер (1485—1540) — лорд — главный правитель Англии с 1539 г. Был обвинен в измене и казнен.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — теоретик утопического социализма и международного анархизма; географ, геолог, историк, биолог, публицист, мемуарист. Автор знаменитых книг «Дневник» и «Записки революционера».

Крылов Евгений Тимофеевич (?—1894) — генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, государственный деятель, воевода, писатель, переводчик. Участник Казанских походов и Ливонской войны. Опасаясь опалы Ивана Грозного, бежал в Литву. Автор мемуарного памфлета «История о великом князе Московском» (1573) и обличительных посланий царю.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Участник военных экспедиций Скобелева в Среднюю Азию и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (был начальником штаба в отряде Скобелева). Военный министр в 1898—1904 гг. В русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Маньчжурии (потерпел поражения под Ляояном и Мукденом). В 1916—1917 гг. туркестанский генерал-губернатор.

Лавров Вукол Михайлович (1852—1912) — журналист, переводчик. В 1880—1907 гг. издатель и редактор журнала «Русская мысль».

Ламздорф Константин Николаевич (1841—1900) — граф, флигель-адъютант, генерал-лейтенант.

Левинский Владимир Дмитриевич (1849—1917) — публицист, критик, редактор-издатель журнала «Будильник». Печатался под псевдонимами Маркиз Ве де Эль, Неприсяжный рецензент, Свой.

Леер Генрих Антонович (1829—1904) — генерал-лейтенант, военный писатель. В 1889—1898 гг. начальник Академии Генерального штаба. Профессор, у которого Скобелев учился в Академии; по его рекомендации молодой штабс-ротмистр после выпуска в 1868 г. был зачислен в Генеральный штаб.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — прозаик, журналист; «первый газетный увеселитель и любимый комик петербургской публики» (А. В. Амфитеатров). Автор 36 романов и повестей, 11 пьес и свыше 10 тысяч рассказов и очерков. В 1881—1905 гг. редактор-издатель журнала «Осколки», в котором активно сотрудничал А. П. Чехов.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841).

Лигниц (1841—1913) — майор, германский военный агент в России.

Лойола Игнатий (1491?—1556) — основатель ордена иезуитов.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф (1825—1888) — генерал-адъютант (1865), генерал от кавалерии (1875). Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 12 февраля по 6 августа 1880 г. главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия с неограниченными полномочиями. С 6 августа 1880 г. по 4 мая 1881 г. министр внутренних дел и шеф жандармов. Сторонник примирения общественных движений с монархией путем введения конституции и парламента; обладал диктаторскими полномочиями в конце царствования Александра II. При Александре III, взявшем курс на политическое укрепление самодержавия, Лорис-Меликов с 7 мая 1881 г. оказался не у дел.

Лот — житель Содома, за праведность спасенный, когда город и его жители были подвергнуты небесной каре: уничтожены за разврат и греховность. Жена Лота была превращена в соляной столб.

Лохвицкая Мирра (Мария) *Александровна* (1869—1905) — поэтесса. Сестра Н. А. Тэффи.

Лохвицкая Надежда Александровна — см. Тэффи.

Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884) — юрист, известный московский адвокат. Автор «Курса уголовного права». Отец М. А. Лохвицкой и Н. А. Тэффи.

Луговой А. (наст. имя и фам. Алексей Алексеевич Тихонов; 1853—1914) — прозаик, поэт, драматург.

Лукашевич (Лукашевич-Хмызникова) Клавдия Владимировна, урожд. Мирец-Имшенецкая (1859—1931) — детская писательница, педагог. Автор около 200 книг, в том числе учебников, хрестоматий и детских календарей.

Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г.

Магомет — см. Мухаммед.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт; автор антологических (в духе античных) произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

Мак-Гахан (Мак-Гэн) *Януарий Алоизий* (1844—1878) — военный корреспондент американской газеты «Нью-Йорк геральд», участник многих войн. Автор репортажей о Хивинском походе русской армии в 1873 г. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. сопровождал русскую армию, был ранен, умер от тифа.

Мак-Гахан Варвара Николаевна, урожд. Елагина (1850—1904) — журналистка, беллетристка, переводчица. Жена Я. А. Мак-Гахана. Сотрудничала в газетах «Голос», «Новое время», «Русские ведомости», «Новости и биржевая газета», «Неделя» и др.

Мак-Магон Патрис (1808—1893) — герцог, маршал Франции.

Маковский Константин Егорович (1839—1915) — живописец-портретист, создатель жанровых картин и эффектных красочных полотен на исторические темы.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, критик, искусствовед, мемуарист, издатель. Сын К. Е. Маковского. Один из основателей и редакторов журналов «Старые годы» (1907—1915) и «Аполлон» (1909—1917). В эмиграции с 1920 г.; в 1926—1932 гг. заведовал литературно-художественным отделом парижской газеты «Возрождение». Автор мемуарных книг «Портреты современников» (1955) и «На Парнасе Серебряного века» (1962).

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901) — очеркист, этнограф, мемуарист, путешественник. Автор известных книг «Год на Севере» (т. 1—2, 1859; итог его путешествия по Белому морю, Ледовитому океану и Печоре), «Сибирь и каторга» (ч. 1—3, 1871), «Соловецкий монастырь» (1872), «Бродячая Русь Христа ради» (1877), «Крылатые слова» (1890), «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903) и др.

Мальцов Сергей Иванович (1810—1893) — генерал-майор (в отставке с 1849). Крупный предприниматель, владевший машиностроительными, металлургическими, стекольными, писчебумажными и др. заводами и фабриками (около 20 крупных и 130 мелких предприятий так называемого Мальцовского промышленного округа в Орловской, Калужской и Смоленской губерниях).

Мамин (псевд. Д. Сибиряк) *Дмитрий Наркисович* (1852—1912) — прозаик, драматург.

Марат Жан Поль (1743—1793) — парижский врач, ставший одним из вождей якобинцев во время Великой французской революции 1789—1794 гг. Издатель газеты «Друг народа». Убит Шарлоттой Корде.

Марвин Чарльз (1854—1890) — английский журналист, совершивший путешествия в Россию и Среднюю Азию и написавший об этом книги.

Мария Павловна старшая (1854—1920) — великая княгиня, урожденная принцесса Мекленбург-Шверинская. С 1874 г. жена великого князя Владимира Александровича.

Мария Федоровна, урожд. принцесса датская Дагмар (Мария София Фредерика Дагмар; 1847—1928) — императрица России. С 1866 г. жена Александра Александровича, будущего императора Александра III (с 1881).

Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — с 1869 г. петербургский книгоиздатель, с 1870 г выпускал самый популярный в России журнал «Нива» (в приложении — собрания сочинений, географические атласы, альбомы).

Маркс Карл (1818—1883) — философ, социолог, основоположник марксизма, утопического учения о неизбежности перехода к коммунизму в результате пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата.

Маслов А. Н. — см. Бежецкий А. Н.

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — прозаик, поэт.

Мелас Михаил Фридрих Бенедикт (1729—1806) — барон, австрийский фельдмаршал, войска которого в 1800 г. были разбиты в битве при Маренго.

Мельницкий Всеволод Петрович (1827—1866) — военный моряк и журналист, совершивший в 1849 г плавание на корабле «Смоленск». Участник Крымской войны 1853—1856 гг Автор путевых очерков и рассказов. Редактор журнала «Морской сборник» (с 1860 г.). Умер от холеры.

Месонье Эрнест (1815—1891) — французский живописец, автор сюжетно-занимательных картин из истории Франции: «Мушкетеры Людовика XIII», «Наполеон при Сольферино» и др.

Мессалина (ок. 25—48 н. э.) — третья жена римского императора Клавдия, прославившаяся распутством и коварством. Уличенная в заговоре, была по приказу Клавдия казнена.

Меттерних Клеменс (1773—1859) — князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809 — 1821, канцлер в 1821—1848 гг.

Мидас — в греческой мифологии царь Фригии, наказанный Аполлоном: бог наделил его ослиными ушами за то, что тот, будучи судьей на музыкальном состязании Аполлона и Пана, победу присудил последнему. Царь вынужден был прятать ослиные уши под фригийским колпаком.

Милан — см. Обренович.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922—1943), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости».

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — государственный деятель; военный министр (1861—1881). Участник преобразований Александра II, осуществивший реформу в армии, что повысило ее боеготовность. Вышел в отставку

при Александре III. С 1898 г. генерал-фельдмаршал. Автор «Дневника» (т. 1—4) и «Воспоминаний» (т. 1—3).

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт-сатирик.

Минье Огюст (1796—1884) — французский историк, один из создателей теории классовой борьбы, видевший в ней главный двигатель истории.

Мирский Лев Филиппович (1858—1920) — князь, покушавшийся 13 марта 1879 г. на жизнь шефа жандармов генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна.

Михаил Михайлович (1861—1929) — великий князь, внук Николая I. Без согласия родителей и императора вступил в брак с внучкой А. С. Пушкина Софией Николаевной Нассуской, графиней Меренберг де Торби (1867—1927). За это был исключен со службы, ему было запрещено появляться в России.

Михаил Павлович (1798—1849) — великий князь, младший сын Павла I; генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженерной части, главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами.

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович; 1829—1865) — поэт, переводчик, прозаик, публицист, революционер. Осужден на каторжные работы и пожизненное поселение в Сибири.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, социолог, критик, теоретик народничества. В 1892—1904 гг. — редактор журнала «Русское богатство».

Михневич Владимир Осипович (1841—1899) — журналист, беллетрист, историк быта.

Модестов Василий Иванович (1839—1907) — филолог-классик, публицист, историк.

Моисей — библейский пророк; вождь израильского народа, выведший его через пустыню из рабства в Египте. На горе Синай Бог ему вручил скрижали с десятью заповедями. Моисей считается автором «Пятикнижия», первых книг Библии.

Мопассан Ги де (1850—1893) — французский прозаик.

Морозова Варвара Алексеевна (1850—1917) — одна из владелиц Тверской мануфактуры.

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — государственный деятель, генерал от инфантерии. В 1857—1862 гг. министр государственных имуществ. Во время польского восстания 1863 г. назначен Виленским военным губернатором и командующим войсками военного округа. Жестоко усмирил восставших, сжег много селений, казнил несколько сот и отправил в ссылку более 5 тысяч человек.

Мухаммед (ок. 570—632) — основатель ислама, пророк; в 630 г. возглавил первое мусульманское теократическое государство в Аравии.

Навуходоносор II — царь Вавилонии в 605—562 до н. э., разрушивший восставший Иерусалим и ликвидировавший Иудейское царство. При нем возведена Вавилонская башня и сооружены висячие сады.

Намык-паша — турецкий дипломат; в 1879 г чрезвычайный посол Турции в Петербурге

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, кумир молодежи 1880-х годов.

Наполеон III (1808—1873) — французский император в 1852 — 1870 гг.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/78) — поэт, прозаик, публицист, редактор-издатель журналов «Современник» (1847—1866) и «Отечественные записки» (совместно с М. Е. Салтыковым-Щедриным с 1868 г).

Немезида — в греческой мифологии богиня возмездия («справедливо негодующая»), следящая за тем, чтобы слишком много благ не выпадало на долю одного человека, и карающая за преступления.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45—1936) — прозаик, поэт, публицист, мемуарист. Как корреспондент участвовал в войнах в Средней Азии, в русско-турецкой 1877—1878, русско-японской 1904—1905 и первой мировой 1914—1918 гг. Автор многих военных романов и очерковых книг о подвигах русских воинов. С 1922 г. в эмиграции (в Берлине и Праге). Брат Вл. И. Немировича-Данченко.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — прозаик, драматург, театральный деятель и критик, режиссер. Создатель (совместно с К. С. Станиславским) Московского Художественного театра (МХТ; 1898). Брат Вас. И. Немировича-Данченко.

Непокойчицкий Артур Адамович (1813—1881) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 1864 г. член Военного совета, с 1878 г. член Государственного совета.

Нерон (37—68) — римский император; вошел в историю как развратный, жестокосердый тиран.

Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) — граф, министр иностранных дел (1816—1856), государственный канцлер (с 1845). Один из виновников изоляции России во время Крымской войны 1853—1855 гг.

Нефедов Филипп Диомидович (1838—1902) — прозаик, журналист, этнограф, археолог.

Никитин Виктор Никитич (1839—1908) — публицист, прозаик, мемуарист. Автор «Воспоминаний» (1906—1907).

Николай Николаевич Старший (1831—1891) — великий князь, третий сын Николая I, генерал-фельдмаршал. В 1864—1880 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. главнокомандующий армией.

Николай Николаевич Младший (1856—1929) — великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Старший сын Николая Николаевича Старшего. В 1905—1914 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1914—1915 гг. Верховный главнокомандующий вооруженными силами России.

Николай I Павлович (1796—1855) — император России с 1825 г.

Николай Чудотворец (Николай Мирликийский, Николай Угодник) — один из самых почитаемых святителей. Жил во времена римского императора Константина Великого (IV в.) и был епископом г. Мир в Ликии (в Малой Азии). Славился тем, что приходил на помощь мореплавателям и утопающим, оказывал заступничество невинно осужденным, вызволял пленных, был заботником о крестьянстве, считался покровителем обучающихся.

Ной — библейский патриарх-праведник, который во время всемирного потопа вместе с сыновьями спасся в ковчеге.

Нотович Осип (Иосиф) Константинович (1847—1914) — публицист, издатель, драматург. В ноябре 1876 г. стал владельцем газеты «Новости», а с 1880 г. —

«Биржевой газеты» (слил их в одну). В его изданиях печатались Вас. И. Немирович-Данченко, П. Д. Боборыкин, Н. С. Лесков, Г. К. Градовский, К. Д. Кавелин и др.

Обренович Милан — один из видных представителей княжеской (в 1852—1882 гг.) и королевской (в 1882—1903 гг.) династии Обреновичей в Сербии. В тексте, возможно, имеется в виду сербский князь Милан IV Обренович (1854—1901), занявший королевский трон в 1882 г. под именем Милана I.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — поэт, публицист.

Осман-Нури-паша (по прозванию Гази — Непобедимый; 1837—1900) — турецкий генерал, прославившийся геройской защитой Плевны в 1877 г. Во время одной из вылазок был ранен и сдался в плен вместе со своей армией. В 1878—1885 гг. военный министр Турции.

Павел I (1754—1801) — император России с 1796 г.

Палицын Авраамий (в миру Аверкий Иванович; ок. 1550—1626) — келарь Троице-Сергиева монастыря в 1608—1619 гг., писатель. Автор книг «Повесть 1606 г.» (часть «Иного сказания»), «История в память сущим предыдущим родам». Умер иноком Соловецкого монастыря.

Пальмин Лиодор (Илиодор) *Иванович* (1841—1891) — поэт.

Панаева Авдотья (Евдокия) *Яковлевна*, урожд. Брянская; во втором браке Головачева (1820—1893) — прозаик, мемуаристка. Мать писательницы Е. А. Нагродской.

Петроний Арбитр — римский писатель, занимавший высокие должности при дворе императора Нерона и называвшийся «арбитром изящества». Заподозренный в заговоре, был в 66 г. принужден Нероном покончить самоубийством.

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944) — прозаик, очеркист, критик, драматург. Директор петербургского Литературно-артистического клуба. Автор мемуаров «Что вспомнилось за 50 лет. Театральные воспоминания» (Париж, 1931). С 1919 г. в эмиграции в Париже. Сын А. Н. Плещеева.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, прозаик, критик.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель конца XIX — начала XX в. Ученый-правовед, переводчик и публицист. Учитель цесаревича Николая Александровича, императоров Александра III и Николая II, а также членов семьи венценосцев. С мая 1880 по 1905 г. обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода.

Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — поэт, отправленный в солдаты за признанную крамольной поэму «Сашка» (1825).

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — прозаик, автор известного цикла «Очерки бурсы» (1863).

Поппея Сабина (ок. 31—65) — сперва любовница, а затем вторая жена императора Нерона. Была причастна к убийству рвущейся к власти матери императора и его первой жены. Заподозренная в неверности, беременная Поппея была убита Нероном пинком в живот.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — прозаик, драматург, критик. Автор воспоминаний об А. П. Чехове, с которым встречался и переписывался.

Проппер Станислав Максимилианович (1855—1931) — коммерции советник, разбогатевший маклер. Основал в Петербурге газету «Биржевые ведомости» (1880—1917), снискавшую славу беспринципного издания.

Протич Коста (1831—1892) — сербский генерал и политический деятель; в 1873—1875 и 1888 гг. военный министр.

Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915) — критик, публицист.

Пушкарев Николай Лукич (1842—1906) — поэт, драматург, переводчик, издатель журналов «Европейская библиотека», «Мирской толк», «Свет и тени».

Радецкий Федор Федорович (1820—1890) — генерал от инфантерии. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. командовал Южным отрядом, оборонявшим перевалы через Балканы (в том числе Шипку; популярной стала фраза из его боевых донесений: «На Шипке всё спокойно»). В 1880-х гг. командовал Харьковским и Киевским военными округами.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец, рисовальщик, офортист.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен термидорианцами, свергшими диктатуру якобинцев.

Розенгейм Михаил Павлович (1820—1887) — поэт; в 1863—1865 гг. издавал сатирическую газету «Заноза».

Романовы — династия российских царей и императоров, занимавшая престол с 1613 до февраля 1917 г.

Ростовцев Яков Иванович (1803/04—1860) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии (1859), возглавлявший с 1835 г. военное образование в России. Один из деятельных участников подготовки крестьянской реформы 1861 г (автор программы отмены крепостного права).

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист, дирижер. Брат композитора А. Г. Рубинштейна. Организатор Московской консерватории (1866). Один из лучших исполнителей произведений П. И. Чайковского, посвятившего ему 1-ю симфонию, 2-й фортепьянный концерт и написавшего фортепьянное трио «Памяти великого художника» (1882).

Садовский Пров Михайлович (наст. фам. Ермилов; 1818—1872) — актер Малого театра, участвовавший в первых постановках всех пьес А. Н. Островского. Основатель знаменитой актерской династии.

Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840—1908) — прозаик, автор популярных исторических романов.

Сарду Викторьен (1831—1908) — французский драматург, академик.

Сапфо (Сафо) — древнегреческая поэтесса VII—VI вв. до н. э. Жила на о. Лесбос, где организовала кружок знатных девушек и обучала их музыке, пению, танцам и стихосложению. Из-за несчастной любви покончила с собой, бросившись со скалы.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, журналист. Основатель (1870) и редактор-издатель исторического журнала «Русская старина».

Сервантес Сааведра Мигель де (1537—1616) — испанский прозаик, поэт, драматург. Автор шедевра мировой литературы, романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605—1615).

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — критик, историк литературы, мемуарист.

Скобелев Дмитрий Иванович (1821—1880) — генерал-лейтенант. Отец М. Д. Скобелева.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В 1876 — 1877 гг военный губернатор Ферганской области (в 1910—1924 гг. именем полководца назывался г. Фергана). Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг (особенно отличился в боях под Плевной и Шипкой). Участник Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 гг.

Скобелева Надежда Дмитриевна — сестра М. Д. Скобелева.

Скобелева Ольга Николаевна, урожд. Полтавцева (1823—1880) — мать М. Д. Скобелева; участница русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.: организатор санитарных отрядов, начальник лазарета, заведующая Болгарским отделом Красного Креста. Погибла в Болгарии от рук бандита.

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — прозаик.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и книгопродавец, печатавший сочинения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и др., а также издававший журнал «Библиотека для чтения», альманах «Новоселье». Впервые в русской печати ввел авторский гонорар.

Соболев Леонид Николаевич (1844—?) — полковник Генерального штаба, позднее генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Министр-президент и министр внутренних дел Болгарии в 1882—1883 гг.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, богослов, публицист, оказавший огромное влияние на русскую философию и культуру Серебряного века. Сын С. М. Соловьева.

Соловьев Михаил Петрович (1842—1901) — государственный деятель; с 1896 по 1900 г — начальник главного управления по делам печати. Миниатюрист-любитель.

Соломко Сергей Сергеевич (1867—1928) — художник-график, иллюстратор произведений А. П. Чехова.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, журналист, профессор всеобщей истории в Петербургском университете. С 1865 по 1908 г. основатель и редактор-издатель журнала «Вестник Европы», а также газеты «Порядок», имевших репутацию либеральных.

Столетов Николай Григорьевич (1834—1912) — генерал от инфантерии, член Государственного совета (1899). Участник Крымской войны 1853—1856 гг. В 1860-х гг. служил в Туркестане, где основал г. Красноводск, руководил Амударьинской научной экспедицией. В русско-турецкой войне 1877—1878 гг. один из руководителей обороны Шипки.

Стэнли Генри Мортон (наст. имя и фам. Джон Роулендс; 1841—1904) — журналист, путешественник, исследователь Африки.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист и издатель; основал в Петербурге газету «Новое время» (1876) и журнал «Исторический вестник» (1880). На паях с П. П. Гнедичем и П. Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895—1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно-художественного общества имени А. С. Суворина.

Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937) — сын А. С. Суворина, журналист. С 1888 г. фактический редактор «Нового времени». В 1903 г. основал газету «Русь».

Суворов Александр Васильевич (1730—1800), граф Рымникский, князь Италийский — полководец, генералиссимус (1799), не проигравший ни одного сражения. Автор военно-теоретических работ «Полковое учреждение», «Наука

побеждать», в которых обоснованы наступательные принципы ведения войны и боя, а также изложена суворовская система воспитания и обучения войск.

Сулейман-паша (1838—1892) — турецкий генерал; в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. главнокомандующий в Верхней Румелии, а затем дунайской армией. 17 января 1878 г. разбит войсками генерала И. В. Гурко.

Таганцев Владимир Николаевич (1886—1921) — профессор. Обвинен в контрреволюционной деятельности, создании Петербургской боевой организации. Расстрелян 25 августа 1921 г. вместе с 61 сподвижником (среди них — поэт Н. С. Гумилев).

Твен Марк (наст. имя и фам. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс; 1835—1910) — американский писатель.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский прозаик. Автор романов «Ярмарка тщеславия» (1848), «Пенденнис» (1850), «Виргинцы» (1857).

Терпигорев (псевдоним Атава) *Сергей Николаевич* (1841—1895) — прозаик, очеркист.

Тестов И. Я. — владелец московского трактира на Красной Пресне, в котором во второй половине XIX в. выступал цыганский ансамбль, пользовавшийся большой популярностью.

Тихомиров Дмитрий Иванович (1844—1915) — педагог, редактор журнала «Детское чтение».

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — историк, публицист, сотрудник, а затем редактор газеты «Московские ведомости». В молодости входил в партии террористов «Земля и воля» и «Народная воля». В 1888 г. был помилован и возвратился из эмиграции. Автор монографии «Монархическая государственность».

Тихонов А. А. — см. Луговой А.

Тихонов Владимир Алексеевич (псевдоним Мордвин; 1857—1914) — прозаик, драматург, публицист. Офицером участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889) — государственный деятель, историк. Член Государственного совета (1866), обер-прокурор Святейшего Синода и одновременно министр народного просвещения (1865—1880). Инициатор реформы среднего образования (1871). В апреле 1880 г. был уволен с постов (министром стал А. А. Сабуров, а обер-прокурором Победоносцев). В 1882 — 1889 гг. — министр внутренних дел и шеф жандармов. С 1882 г. — президент Академии наук.

Торквемада Томас (ок. 1420—1498) — глава испанской инквизиции (великий инквизитор), инициатор изгнания евреев из Испании.

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884) — граф, герой Севастопольской обороны; в русско-турецкую войну 1877 — 1878 гг. руководил осадой Плевны. С 1879 г. генерал-губернатор Одессы.

Тэффи Надежда Александровна, урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская (1872—1952) — прозаик, поэт, критик, драматург. С конца 1919 г. в эмиграции в Париже. Сестра М. А. Лохвицкой.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт, дипломат.

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — прозаик, создатель очерковых циклов «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли» и др.

Феоктистов Евгений Михайлович (1828—1898) — государственный деятель, публицист, историк. В основном разделял взгляды Победоносцева. Печатался в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русская речь» и др. В 1871—1883 гг. редактор «Журнала министерства народного просвещения». В 1883—1896 гг. возглавлял Главное управление по делам печати. Автор мемуаров «За кулисами политики и литературы».

Фердинанд I Кобургский (1861—1948) — немецкий принц, избранный в 1887 г. князем, а в 1908—1918 гг. провозглашенный царем Болгарии. Отрекся от престола.

Фет (наст. фам. Шеншин) *Афанасий Афанасьевич* (1820—1892) — поэт.

Фидлер Федор Федорович (1859—1917) — библиограф, переводчик. Составитель сб. «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей» (М., 1911).

Филипп (в миру Федор Степанович Колычев; 1507—1569) — митрополит Московский и всея Руси с 1566 г. До этого Филипп 11 лет провел в Соловецком монастыре послушником и иноком, а в 1548 г. стал его игуменом. Погиб мученической смертью: палач Ивана Грозного Малюта Скуратов задушил низложенного митрополита подушкой в келье тверского монастыря. Мощи Филиппа, объявленного в 1875 г. святым, были перевезены в Соловки в 1591 г.

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — государственный деятель, публицист, богослов; славянофил. В 1878—1899 гг. — товарищ государственного контролера и государственный контролер. Член Государственного совета.

Форбс Арчибальд (1836—1900) — военный корреспондент английской газеты «Daili News» во время русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.

Фрейсине Шарль Луи де Сольс (1828—1923) — французский политический деятель, помощник Гамбетты в реорганизации армии. В 1879—1900 гг. занимал в правительстве различные министерские посты.

Фридрих II Прусский (Великий; 1712—1786) — король Пруссии с 1740 г.; полководец, дипломат.

Фридрих Вильгельм III (1770—1840) — король Пруссии с 1797 г.

Фрина (IV в. до н. э.) — афинская красавица-гетера, увековеченная на многих живописных полотнах. Она послужила также прототипом для древнегреческого ваятеля Праксителя (ок. 390 — ок. 330 до н. э.), своего любовника, создавшего скульптуру «Афродита Книдская» (одно из первых изображений обнаженной богини любви). А живописец Апеллес (2-я половина IV в. до н. э.) написал ее портрет на картине «Афродита, выходящая из пены».

Харитоненко Иван Герасимович (1820—1891) — крупный сахарозаводчик, занимавшийся благотворительной деятельностью.

Хитрово Михаил Иванович (1834—1903) — писатель, один из основателей Палестинского православного общества (1882).

Хлудов Алексей Иванович (1818—1882) — предприниматель, общественный деятель. В 1859—1865 гг. председатель Московского биржевого комитета, в 1862—1867 гг. председатель Московского отделения Департамента торговли и мануфактур. Собрал коллекцию древнерусских рукописей и книг (ныне в Историческом музее).

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1869) — поэт, философ, богослов, критик, публицист; основоположник славянофильства (вместе с И. В. Киреевским).

Хрущов-Сокольников Гавриил Александрович (1845—1890) — поэт, переводчик, печатавшийся в журналах «Будильник» «Мирской толк», «Свет и тени».

Цинциннат — римский полководец, в 460 г. до н. э. консул. Скромно жил в деревне. По преданиям, являл собою пример добродетели, верности долгу и храбрости. В 458 г., когда римские войска попали в окружение, грозившее им гибелью, сенат призвал его принять обязанности диктатора. Цинциннату удалось разгромить неприятеля.

Черевин Петр Александрович (1837—1896) — генерал-адъютант; в 1880 — 1883 гг. товарищ министра внутренних дел, затем начальник охраны Александра III. 13 ноября 1881 г. на него было совершено покушение.

Черкасский Владимир Александрович (1824—1878) — князь, государственный деятель, публицист-славянофил. Участник подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. В 1870—1871 гг. московский городской голова. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. заведовал гражданским управлением при штабе главнокомандующего и состоял уполномоченным Красного Креста. В 1877 г. руководил устройством гражданского управления в освобожденной Болгарии.

Чернигович-Вишневский Федор Владимирович (1838—1916) — поэт, переводчик.

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал-лейтенант (1882), в 1864—1866 гг. участник военных экспедиций в Среднюю Азию; в 1875—1876 гг. редактор-издатель газеты «Русский мир», главной трибуны панславизма. Вопреки воле правительства в 1876 г. во время герцеговинско-боснийского восстания занял пост главнокомандующего сербской армией. С 1882 по 1884 г. генерал-губернатор Туркестана.

Чехов Антон Павлович (1860—1904).

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882—1969) — критик, литературовед, историк литературы, детский писатель, переводчик.

Швейниц Ганс Лотар (1822—1901) — в 1865—1869 гг. прусский военный агент в Петербурге, с 1876 по 1893 г. германский посол при русском дворе.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, драматург, историк.

Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — граф, государственный деятель, генерал-майор свиты; с 1861 г. — управляющий III Отделением Собственной его императорского величества канцелярии, начальник штаба корпуса жандармов. В 1874—1879 гг. — посол в Англии.

Шумский (наст. фам. Чесноков) *Сергей Васильевич* (1820—1878) — актер Малого театра.

Щеглов (наст. фам. Леонтьев) *Иван Леонтьевич* (1856—1911) — прозаик, драматург, театровед; автор воспоминаний об А. П. Чехове.

Щербак Александр Викторович (1848—1884) — врач, публицист; участник русско-турецкой войны и военной экспедиции в Среднюю Азию. Автор книг

«Черногория и ее война с турками в 1877—1878 гг.», «Ахал-Текинская экспедиция Скобелева в 1880—1881 гг.» и др.

Юрьевская Екатерина Михайловна, урожд. княжна Долгорукова (1847—1922) — фаворитка Александра II, состояла с императором в морганатическом браке и имела от него четырех детей. 5 декабря 1880 г., после смерти императрицы Марии Александровны, получила фамилию и титул светлейшей княгини Юрьевской. Автор книги об Александре II.

Яворская Лидия Борисовна, урожд. Гюббенет, в замужестве Барятинская (1872—1921) — актриса.

Якоби (Якобий) *Валерий Иванович* (1834—1902) — живописец, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (1870). Автор картин «Петр и царевич Алексей», «Утро во дворце Императрицы Анны», «Привал арестантов», «Свадьба в Ледяном доме», «Робеспьер», «Волынский в кабинете министров» и др.

Яхве — см. Иегова.

СОДЕРЖАНИЕ

Вас. И. Немирович-Данченко

НА КЛАДБИЩАХ

ВОСПОМИНАНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Редактор **Т. И. Киреева**
Художественный редактор **Е. В. Поляков**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Р. А. Трушкина**

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 05913 от 24.09.01. Сдано в набор 08.08.01. Подписано в печать 01.11.01. Формат 84×108/32. Бумага писчая. На вкл. мелов. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,67 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 35,65 (в т. ч. вкл. 0,05). Тираж 2500 экз. С—25. Заказ № 2495. Изд. инд. ЛХ-226

Издательство «Русская книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32


ISBN 5-268-00460-3
9 785268 004601